

И. А. ГОНЧАРОВ

И. Гончаров

6



И. А. ГОНЧАРОВ.

Фотография М. Б. Тулинова. 1860—1861 гг.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. А. ГОНЧАРОВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2004

И. А. ГОНЧАРОВ



ТОМ ШЕСТОЙ

ОБЛОМОВ

РОМАН
В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

Примечания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2004

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос—Рус)1

Г 65

Редакционная коллегия

В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Е. А. КРАСНОЩЕКОВА,
Т. И. ОРНАТСКАЯ (зам. главного редактора), М. В. ОТРАДИН,
К. САВАДА, Н. Н. СКАТОВ, П. ТИРГЕН,
В. А. ТУНИМАНОВ (главный редактор)

Примечания составили

А. Г. ГРОДЕЦКАЯ, С. Н. ГУСЬКОВ, Н. В. КАЛИНИНА,
Т. И. ОРНАТСКАЯ, М. В. ОТРАДИН, А. В. РОМАНОВА,
В. А. ТУНИМАНОВ

Редакторы тома

Т. А. ЛАПИЦКАЯ, В. А. ТУНИМАНОВ

*Исследовательская работа проведена
при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 00-04-00167а*

Подписное

ISBN 5-02-027097-0 (Т. 6)

ISBN 5-02-028257-X

© А. Г. Гродецкая, С. Н. Гуськов,
Н. В. Калинина, Т. И. Орнатская,
М. В. Отрадин, А. В. Романова,
В. А. Туниманов, примечания,
2004

© Российская академия наук, 2004

© Издательство «Наука», 2004

ПРИМЕЧАНИЯ

ОБЛОМОВ

(Т. 4, с. 5)

Источники текста

А — автограф начала главы IX части первой, без заглавия; с подписью: «И. Гончаров» и пометой в конце текста: «Из неизданного романа. Октябрь, 1848 г.». Хранится: Фундаментальная библиотека Тартуского гос. университета, № 1106. Воспроизведен: ЛП «Обломов». С. 552—553.

ЧА — черновой автограф на 103 двойных листах большого формата первоначальной авторской нумерации в правом верхнем углу (нумеровался только первый лист; в части первой таких листов 30, остальная рукопись — части третья и четвертая в ней не выделены — содержит 73 листа) и на 203 листах, вероятно, второй авторской нумерации внизу карандашом (тоже без указания оборотов), осуществленной в 1858 г., перед тем как рукопись была отдана переписчику, и впоследствии (в 1888 г. после поступления рукописи в Публичную библиотеку) превращенной в нумерацию архивную, с учетом оборотов (тогда же были исправлены сбои в предыдущей пагинации; некоторые номера листов были обведены чернилами более четким почерком, некоторые поставлены заново). При сдаче рукописи в библиотеку Гончаров сопроводил ее несколькими пометами (см.: наст. изд., т. 5, с. 443). Датируется 1848—1858 гг. (по содержанию и по сортам бумаги, относящейся к 1848—1849, 1852, и 1857—1858 гг.). Хранится: РНБ, ф. 209 (И. А. Гончаров), № 6. Впервые опубликован: *Мазон*. Р. 428—440 (отрывок); *Обломов*. Роман / Под ред. А. Цейтлина. Харьков, 1927. С. 497—532 (фрагменты из частей первой и второй); ЛП «Обломов». С. 387—497 (значительная часть вариантов с учетом главным образом последнего слоя правленного текста).

Пометы 1888 г. впервые опубликованы: *Мазон*. Р. 427 (<1>); факсимиле: ЛП «Обломов». С. 682); *Гончаров И. А.*

Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1899. Т. 1 (<2>); факсимиле и транскрипция л. 1 рукописи, вклеенные перед титульным листом); *Мазон*. Р. 437—438 (<3>); *Ibid.* Р. 438 (<4> и <5>).

ЛСб — *Гончаров И. А.* Сон Обломова. (Эпизод из неконченного романа) // Литературный сборник с иллюстрациями / Изд. редакцией «Современника». СПб., 1849. С. 213—252 (ценз. разр. — 22 марта 1849 г., выход в свет — 28 марта 1849 г.).

Ат — *Гончаров И. А.* Отрывок из романа «Обломов» // Атеней. 1858. Ч. 1. С. 53—60 (ценз. разр. — 2 янв. 1858 г.).

ОЗ — *Гончаров И. А.* Обломов. Роман // *ОЗ*. 1859. № 1. С. 1—142 (ценз. разр. — 9 янв. 1859 г., выход в свет — 14 янв. 1859 г.); № 2. С. 255—384 (ценз. разр. — 10 февр. 1859 г., выход в свет — 14 февр. 1859 г.); № 3. С. 1—84 (ценз. разр. — 12 марта 1859 г., выход в свет — 18 марта 1859 г.); № 4. С. 275—390 (ценз. разр. — 8 апр. 1859 г., выход в свет — 20 апр. 1859 г.).

1859 — *Гончаров И. А.* Обломов: Роман в 4 ч. СПб.: Д.Е.Кожанчиков, 1859. Т.1—2 (ценз. разр. — 8 мая 1859 г., выход в свет — 30 сент. 1859 г.).

1862 — *Гончаров И. А.* Обломов: Роман в 4 ч. 2-е изд. СПб., 1862. Т. 1—2 (ценз. разр. — 15 нояб. 1861 г., выход в свет — 30 янв. 1862 г.).

1884 — *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. СПб.: И. И. Глазунов, 1884. Т. 2—3 (выход в свет — сер. дек. 1883 г.).

1887 — *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. СПб.: И. И. Глазунов, 1887. Т. 2—3 (выход в свет — июнь 1887 г.).

Впервые опубликовано (полностью): *ОЗ*. 1859. № 1. С. 1—142; № 2. С. 255—384; № 3. С. 1—84; № 4. С. 275—390.

В собрание сочинений впервые включено: *1884*.

Печатается по тексту *1887* с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями:

С. 5, строки 21—22:¹ «в каждом движении головы, рук» вместо «в каждом движении головы, руки» (по *1862*).

С. 6, строки 31—32: «это было его нормальным состоянием» вместо «это было нормальным состоянием» (по *ОЗ*, *1859*, *1862*, *1884*).

С. 9, строки 23—24: «не напоминало старины барского широкого и покойного быта» вместо «не напоми-

¹ Здесь и далее указываются страницы и строки т. 4 наст. изд.

нало старику барского широкого и покойного быта» (по ЧА).

С. 10, строка 42: «— Куда ж вы его положили — почему мне знать?» вместо «— Куда ж его положили — почему мне знать?» (по ЧА).

С. 15, строки 25—26: «присылал» вместо «прислал» (по ЧА, ОЗ).

С. 18, строка 12: «с ними» вместо «с нами» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 20, строка 26: «отыскав в куче брелоков один» вместо «отыскав в куче брелок один» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 28, строка 22: «извергнете его из круга человечества» вместо «извергнете из круга человечества» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 31, строки 24—25: «резкую характеристику» вместо «разную характеристику» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 34, строка 28: «куда-то вон туда положил» вместо «куда-то вон тут положил» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 35, строка 6: «ранние морозцы» вместо «ранние морозы» (по ЧА, ОЗ, 1859 и по аналогии — ср.: с. 95, строка 32).

С. 35, строка 16: «о беглых мужиках проведать» вместо «о беглых мужиках» (по ЧА).

С. 35, строки 37—38: «За неумением грамоте» вместо «За неуменьем грамоты» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 36, строка 20: «получил» вместо «получит» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 36, строки 30—31: «со слабой надеждой» вместо «с сладкой надеждой» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 36, строка 44: «Он бы всё уладил» вместо «Он бы уладил» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 39, строка 24: «вершить» вместо «вершать» (по ЧА).

С. 41, строка 33: «Андрей Иванович» вместо «Андрей Карлович» (ошибка во всех прижизненных изданиях).

С. 45, строки 42—44: восстановлена пропущенная реплика (по ЧА).

С. 47, строка 14: «а про место» вместо «про место» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 49, строка 23: «план преобразований» вместо «план преобразования» (по ЧА, ОЗ, 1859).

С. 59, строка 11: «своей поры» вместо «своей опоры» (по ОЗ).

С. 63, строка 34: «задачу своего существования» вместо «задачу существования» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 65, строка 4: «частными трудами» вместо «честными трудами» (по ЧА, ОЗ, 1859).

С. 67, строка 38: «присвоит» вместо «присвоить» (по 1862).

С. 68, строка 43: «поднимет» вместо «поднимает» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 69, строка 11: «на руках» вместо «в руках» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 69, строка 14: «половинку двери» вместо «половину двери» (по ЧА).

С. 71, строка 5: «крал» вместо «брал» (по ЧА и по аналогии — ср.: с. 68, строка 1).

С. 72, строки 24—25: «не только выше, даже наравне с своим!» вместо «не только даже выше, наравне с своим!» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1884).

С. 76, строка 30: «всё знакомые лица» вместо «все знакомые лица» (по ОЗ, 1862).

С. 77, строка 13: «раздается» вместо «раздался» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 89, строка 21: «никак не удастся» вместо «никак не удается» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 92, строка 23: «просипел» вместо «прошипел» (по ЧА, ОЗ и по аналогии — ср.: с. 16, строка 7, и с. 92, строка 36).

С. 95, строки 36—37: «на бумаге» вместо «на бумагу» (по 1862).

С. 96, строки 22—23: «когда вдруг в душе его возникло» вместо «как вдруг в душе его возникло» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 102, строка 30: «или поспешающих» вместо «и поспешающих» (по ЛСб).

С. 106, строка 26: «Потом взяла его за руку и подвела к образу» вместо «Потом взяла его за руку и подвела его к образу» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 107, строки 3—4: «подхватили на руки Илью Ильича и начали осыпать» вместо «подхватило Илью Ильича и начало осыпать» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 107, строка 17: «и исчезла» вместо «исчезла» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 110, строка 29: «сколько знания и забот» вместо «сколько занятий и забот» (по ЛСб, 1859, 1862, 1884).

С. 111, строка 33: «подле своей пешни» вместо «подле своей пашни» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 112, строка 42: «смотрит» вместо «осмотрит» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 112, строка 43: «плюнет или промычит» вместо «плюнет и промычит» (по ЛСб, ОЗ).

С. 113, строка 21: «прибежал» вместо «прибегал» (по ЛСб).

С. 117, строка 24: «И с самим человеком» вместо «И с самым человеком» (по ЛСб, ОЗ, 1884).

С. 119, строки 29—30: «а разбойников» вместо «и разбойников» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 119, строка 41: «учится» вместо «учился» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 125, строка 12: «в беде или при неудобстве» вместо «в беде или неудобстве» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 125, строки 29—30: «отделан был почти заново» вместо «отделан был заново (по ЛСб)».

С. 125, строка 42: «бараканом» вместо «барканом» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 126, строка 4: «сидят» вместо «сидит» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 126, строка 27: «и на двор» вместо «и во двор» (по ЛСб).

С. 129, строка 28: «шипят» вместо «скрипят» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862).

С. 131, строка 3: «Смотри-ка» вместо «Смотрите-ка» (по 1862).

С. 132, строка 17: «и живут» вместо «живут» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 134, строка 26: «Пришли» вместо «Пришел» (по ЛСб, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 146, строки 26—27: «за эти две бороды» вместо «за эти две бороды-то» (по 1862).

С. 152, строка 28: «распахиваются» вместо «размахиваются» (по 1862).

С. 158, строки 14—15: «уже не немецкий университет» вместо «не немецкий университет» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 165, строка 12: «случайно или умышленно» вместо «случайно и умышленно» (по ЧА, ОЗ).

С. 171, строка 15: «привольно» вместо «правильно» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 179, строка 14: «с цветком» вместо «с цветами» (по ЧА).

С. 184, строка 2: «подал» вместо «пожал» (по ЧА).

С. 187, строки 26—27: «бакенбарды подались в стороны» вместо «бакенбарды поднялись в сторону» (по ОЗ).

С. 190, строка 17: «пансионской подруге» вместо «пансионной подруге» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 202, строки 38—39: «и никогда» вместо «и иногда» (по ЧА, ОЗ, 1862).

С. 204, строка 15: «не надо выпускать его из глаз» вместо «не надо выпускать из глаз» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 205, строка 7: «„прикажет”» вместо «прикажет» (по ЧА, ОЗ).

С. 210, строка 15: «позволили себе» вместо «позволили» (по 1862).

С. 212, строка 10: «начертал» вместо «начертил» (по ОЗ и по аналогии — ср.: с. 70, строка 20, и с. 158, строка 27).

С. 218, строка 30: «Тут нет сирени, где вы шли» вместо «Тут нет сирени. Где вы шли?» (по ЧА).

С. 219, строки 2—3: «пропела» вместо «зазвучала» (по ЧА).

С. 219, строки 13—14: «пробирался луч мысли, и вдруг всё лицо озарилось догадкой» вместо «пробирался луч мысли, догадки, и вдруг всё лицо озарилось сознанием» (по 1862).

С. 220, строка 20: «неприготовленную» вместо «неприготовленную» (по 1884).

С. 239, строка 38: «исчезали» вместо «исчезли» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 240, строка 1: «напоминала» вместо «напомнила» (по ЧА).

С. 247, строка 38: «ускользает» вместо «ускользнет» (по ЧА).

С. 249, строка 35: «кликнул» вместо «крикнул» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 249, строка 36: восстановлена пропущенная реплика (по ЧА).

С. 255, строка 12: «ползало» вместо «ползло» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 256, строка 15: «смотрел» вместо «посмотрел» (по ЧА, ОЗ).

С. 264, строка 14: «вчера» вместо «вчера» (по 1862).

С. 265, строка 28: «приглашений» вместо «приглашение» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 266, строка 1: восстановлена пропущенная фраза: «Совсем нет!» (по ЧА).

С. 266, строки 11—12: «разложен» вместо «расположен» (по ЧА).

С. 269, строка 1: «но и у нее» вместо «но у нее» (по ЧА).

С. 271, строки 21—22: «оставляя ему обе руки» вместо «оставляя обе руки» (по 1862).

С. 276, строка 8: «с уважением» вместо «с обожанием» (по ЧА, ОЗ).

С. 276, строки 23—24: «и о том, что» вместо «о том, что» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 277, строка 16: «поцелуй» вместо «поцелуйи» (по ЧА, 1862).

С. 282, строка 21: «И ты мне ни слова» вместо «Ты мне ни слова» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 282, строка 31: «коротко» вместо «кротко» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 285, строка 28: восстановлена пропущенная реплика (по ЧА).

С. 286, строка 2: «с покойной гордостью» вместо «с спокойной гордостью» (по ЧА, 1862).

С. 288, строка 7: «на одном предмете» вместо «на одном месте» (по ЧА).

С. 291, строка 24: «я заплачу» вместо «заплачу» (по ЧА, 1862).

С. 296, строка 32: «стулья, грудой наваленные на кровать тюфяки» вместо «стулья, грудой наваленные на кровать; тюфяки» (по 1859, 1862).

С. 301, строка 34: «не смотрел» вместо «смотрел» (по ЧА).

С. 302, строка 20: «где решил остаться» вместо «где решил оставаться» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 303, строка 14: «нюхает спирт» вместо «нюхает свой спирт» (по 1862).

С. 304, строка 17: «по обыкновению же» вместо «по обыкновению» (по 1862).

С. 308, строки 37—38: «сказывали» вместо «сказывал» (по ЧА и по контексту — ср.: с. 309, строка 6).

С. 309, строка 18: «потолков и дверей» вместо «потолка и дверей» (по ЧА).

С. 313, строки 15—16: «сорваны с гряд петрушка или салат» вместо «сорвана с гряд петрушка или салат» (по ЧА).

С. 317, строка 17: «кончить это» вместо «кончить» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 318, строки 17—18: «Вон кивает теперь, на сцену указывает» вместо «Вон, кажется, теперь на сцену указывает» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 318, строка 31: «с подавляемыми слезами восторга» вместо «с подавленными слезами восторга» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 320, строка 11: «„поэтический миг”» вместо «поэтический миг» (по 1862).

С. 322, строка 21: «пойдет по лакейским» вместо «по лакейским» (по ЧА, ОЗ).

С. 336, строки 13—14: «бросьте всё, пожалуйста, мне, право, совестно, что вы занимаетесь» вместо «бросьте всё, пожалуйста! что вы занимаетесь» (по ЧА).

С. 345, строки 14—15: «Как? что ты?» вместо «Как ты? что ты?» (по 1862).

С. 348, строка 7: «шляпку» вместо «шляпу» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862 и по аналогии — ср.: с. 347, строка 26).

С. 351, строка 20: «страхи и заботы» вместо «страсти и заботы» (по ЧА, ОЗ).

С. 355, строка 29: «рубашки мне шьет» вместо «рубашки шьет» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 370, строка 43: «ты нежен... как голубь» вместо «ты нежен... голубь» (по ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 372, строка 12: «сидел» вместо «сидит» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 377, строка 5: «Постепенная осадка ила, выступление дна морского» вместо «Постепенная осадка или выступление дна морского» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 380, строки 5—6: «посмотрит» вместо «смотрит» (по 1862).

С. 384, строка 13: «порывов» вместо «позывов» (по ЧА).

С. 384, строка 39: «И так он подвигался к ней» вместо «Итак, он подвигался к ней» (по ЧА).

С. 386, строки 26—27: «кушанья» вместо «кушанье» (по ЧА).

С. 393, строки 28—29: «и что все в расход ушли» вместо «что в расход ушли» (по ЧА).

С. 395, строка 7: «Да и с пятьюдесятью» вместо «Да с пятидесятью» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 395, строки 43—44: «Что ты меня учишь?» вместо «Что ты меня мучишь?» (по ЧА).

С. 422, строка 35: «какой-то нежный голос, голос Ольги» вместо «какой-то нежный голос Ольги» (по ОЗ, 1862).

С. 423, строка 6: «где его начало, где границы» вместо «где границы» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 427, строка 33: «с необычной речью» вместо «с необычайной речью» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 433, строки 41—42: «руку» вместо «руки» (по ЧА).

С. 437, строка 17: «вот и задолжал» вместо «вот я задолжал» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 440, строка 17: «соблюдаю» вместо «соблюдая» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862, 1884).

С. 447, строка 4: «камеи и монеты» вместо «камни и монеты» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 450, строка 42: «и порождал в ее душе» вместо «и продолжал в ее душе» (по ОЗ, 1859, 1862).

С. 457, строка 40: восстановлена пропущенная реплика (по ОЗ).

С. 467, строка 10: «— Кто же это иные?» вместо «— Кто же иные?» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 474, строка 18: «созидающими» вместо «создающими» (по ЧА).

С. 477, строка 24: «любить есть» вместо «любить и есть» (по ЧА).

С. 480, строка 1: «ее гостьи» вместо «ее гости» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 485, строка 14: «в конурке» вместо «в конуре» (по ЧА, ОЗ, 1859, 1862).

С. 488, строки 33—34: «горючими слезами» вместо «горячими слезами» (по ЧА).

С. 490, строка 15: «Вон старик» вместо «Вот старик» (по ЧА).

Возникновение замысла своего романа Гончаров относил то к 1848 г. (Автобиография, 1859), то к 1847 г. («Лучше поздно, чем никогда», 1879). В «Необыкновенной истории» (конец 1870-х гг.) он называет обе даты: «В 1848 году, и даже раньше, с 1847 года, у меня родился

план „Обломова”». Уточнение «и даже раньше, с 1847 года» не случайно: и «план», и его начальное воплощение (после краткой характеристики «плана» здесь же, в «Необыкновенной истории», говорилось: «Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две — две-три главы...») датируются, скорее всего, именно 1847 г.¹ Гончаров, очевидно, надеялся, что роман удастся написать в довольно короткий срок. Иначе вряд ли бы уже в самом начале осени 1847 г. появилось печатное упоминание о будущем произведении. В объявлении «Об издании „Современника” в 1848 году», конечно же не без ведома самого писателя, сообщалось: «...И. А. Гончаров, автор „Обыкновенной истории”, изготовляет *новый роман*, который редакция также надеется поместить в своем журнале» (Некрасов. Т. XIII, кн. 1. С. 57). Объявление появилось в № 9 «Современника», цензурное разрешение на выпуск которого последовало 31 августа 1847 г.

Зарождение замысла «Обломова» было органичным и закономерным. В «Необыкновенной истории» сказано: «В начале 40-х годов, когда задумывался и писался этот роман («Обыкновенная история». — *Ред.*), я еще не мог вполне ясно глядеть в следующий период, который не наступал, но предчувствия которого жили уже во мне...».

Формирование замысла в определенной мере (по отношению к главному герою и двум его Обломовкам — деревенской и городской) могло быть связано со статьей В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» в той ее части, в которой критик полагал более «возможным» для Александра Адуева «заглохнуть в деревенской дичи апатии и лени...» (Белинский. Т. VIII. С. 397), особенно если принять во внимание, что оба этих понятия (и «апатия», и «лень») в романе «Обломов» носят ключевой, сюжетообразующий характер.

Несмотря на то что в сознании Гончарова уже давно существовало явление, получившее название «обломовщины», редакция «Современника» не получила объявленный на 1848 г. роман. В начале 1849 г. Гончаров передал Некрасову лишь большой фрагмент из романа с заглави-

¹ Существует и еще одно свидетельство автора — в письме к В. В. Стасову от 27 октября 1888 г. Гончаров относит начало работы над романом к 1846 г.: «„Обломов” начат был в 1846 году, когда я сдал в редакцию „Современника” первый роман „Обыкновенную историю”».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СБОРНИКЪ

СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

Санктпетербургъ

1849

«Литературный сборник с иллюстрациями» (СПб., 1849).
Обложка.

ем «Сон Обломова»¹ и с характерным подзаголовком: «Эпизод из неконченного романа». Некрасов чрезвычайно высоко оценил этот «эпизод»,² но отношения между ним и Гончаровым из-за непредставленного романа явно разладились.³ Позже Гончаров назовет «Сон Обломова» «увертюрой всего романа», ибо именно здесь был набросан главный мотив «обломовщины» («Лучше поздно, чем никогда»).

Вскоре писатель, все еще продолжавший надеяться на близкое завершение романа, заключил соглашение с А. А. Краевским, по которому обязывался представить рукопись романа в «Отечественные записки» к новому 1850 г.⁴ Краевский пошел на это соглашение, зная о романе не только по опубликованному «эпизоду».⁵

Получив в Министерстве финансов отпуск на 29 дней и взяв у Краевского часть будущего гонорара, Гончаров 15 июня 1849 г. уезжает в Симбирск с рукописью написанного к этому времени текста будущей части первой романа в надежде продолжить его. Но работа не шла далее написанного — ни в течение первых 29 дней, ни после полученного на службе дополнительного трехмесячного отпуска. Спустя два месяца Гончаров признается Ю. Д. Ефремовой, что надежда на предстоящие «труды»

¹ Позднее современники не раз относили это название ко всему роману. См., например, письмо А. Ф. Писемского к А. Н. Островскому в Москву от 11 марта 1857 г., в котором говорится о «покупке романа Гончарова „Сон Обломова“» «Библиотекой для чтения» (Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.; Л., 1932. С. 362). А 18 мая 1858 г. Е. А. Штакеншнейдер отметила в своем дневнике: «Гончаров кончил свой роман „Сон Обломова“ и читал его некоторым друзьям» (*Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886)*. М.; Л., 1934. С. 209—210).

² См. об этом ниже, с. 281—282.

³ О его недовольстве свидетельствует, к примеру, выпад по адресу писателя в письме к Тургеневу от 12 сентября 1848 г. «Дивясь» успехам адресата, он упоминает Герцена и Гончарова, которые одни, по его мнению, могли бы «тягаться» с ним, но оба «ничего давно не пишут (т. е. первый не печатает, а второй так заплыл жиром, что ничего и не пишет)» (*Некрасов*, Т. XIV, кн. 1. С. 110—111).

⁴ См.: *Мазон А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова*. СПб., 1912. С. 46.

⁵ Без сомнения, он был в числе тех «встречных и поперечных», которым Гончаров, по его собственным словам, «по дурному своему обыкновению (...) рассказывал, что замышляю, что пишу, и читал сплошь и рядом, кто ко мне придет, то, что написано, дополняя тем, что следует далее» («Необыкновенная история»).

не оправдалась.¹ Ничего не изменил и оставшийся последний месяц отпуска. За два дня до отъезда в Петербург, 25 сентября 1849 г., писатель обращается к Краевскому с письмом, полным искреннейших оправданий и объяснений постигшей его неудачи: «Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжить *начатый известный Вам труд* (курсив наш. — *Ред.*). Кому нужна знать, что я не могу воспользоваться всяким свободным днем и часом, что у меня вещь „вырабатывается“ в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с летами, реже и реже приходит охота писать и что без этой охоты никогда ничего не напишешь? <...> послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, кроме сомнительной надежды на будущие труды, сомнительной потому, что в Петербурге опять не буду свободен по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в самом деле от старости всякую способность писать». Далее он делает Краевскому важное признание: «...прочитавши внимательно написанное, я увидел, что всё это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта почти никуда не годится. <...> Я бы давно написал Вам об этом, но всё надеялся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей комнате, садился каждое утро за работу, но всё выходило длинно, тяжело, необработанно, всё в виде материала».² И далее, уже почти без надежды на согласие, а, скорее всего, чтобы «очистить свою совесть», он предлагает Краевскому «пожертвовать» к ранее обещанному сроку, т. е. к новому году, «началом своего романа, как оно ни дурно», «...но в таком случае, — оговаривается он, — продолжать <...> уже не стану, потому что для продолжения нужно и начало другое».

¹ «Что если б я по часу в день писал с такой охотой что-нибудь другое, с какой пишу к Вам это письмо! Да нет, нет!» (письмо от 20 августа 1849 г.).

² Писатель работал в своей обычной манере, о которой в «Необыкновенной истории» писал так: «Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п.». Ср. там же: «Я продолжал обрабатывать в голове „Обломова“, а также „Обрыв“, набросав, по обыкновению, кучи листков, клочков с заметками, очерками лиц, событий, картин и проч.».

Примерно в таком положении это «начало» романа будет находиться еще более семи лет — вплоть до середины июня 1857 г.¹ Это были годы службы в Департаменте внешней торговли (с конца июля 1851 г.), прерванной участием в экспедиции к берегам Японии,² а с марта 1856 г. и службы в цензуре.

Сохранившиеся упоминания самого Гончарова о продолжавшейся в эти годы работе над романом немногочисленны; но, перемежаемые отдельными дошедшими до нас свидетельствами современников, они дают общее представление о ее ходе. Так, касаясь в «Необыкновенной истории» продолжения работы над «Обломовым» и «Обрывом», писатель утверждает, что до 1852 г. он из-за занятости на службе «писал очень лениво и редко, пока всё еще материалы».³ И тем не менее он не отказался от намерения напечатать написанную часть романа. Из письма близкого знакомого Гончарова, писателя Г. П. Данилевского, к М. П. Погодину от начала 1852 г.⁴ известно, что редакцией «Современника» была «наряжена комиссия к Гончарову, который и даст в февральскую книжку (...) свой роман „Обломовщина“». Далее Данилевский, почти уверенный во вмешательстве цензуры в текст романа, писал: «Не знаю, как пропустит его цензура, — вряд ли он выйдет цел и невредим». Прямых сведений о прохождении начала романа через цензуру нет, но Данилевский в другом письме, также, по-видимому, относящемся к началу 1852 г., сообщал Погодину: «Гончаров же, как он мне сам вчера говорил, увидя, как цензура намерена уродовать его роман „Обломовщина“, взял его назад и даже переделывать не будет».⁵ И тем не менее работа над романом продолжалась, так же как и чтение его в близких писателю кругах. Одно из таких чтений состоялось незадолго

¹ Об этом Гончаров прямо говорит в упоминавшемся выше письме к В. В. Стасову: «Написав первую часть, я отложил ее в сторону и не касался продолжения до 1857 года. В промежуток этот я плавал вокруг света, возил и 1-ю часть „Обломова“ с собой, но не писал, а об-рабатывал в голове...».

² См.: наст. изд., т. 3, с. 398.

³ И это соответствует действительности: ср. со строками о первом романе из упомянутого выше письма к Краевскому: «...но всё выходило длинно, тяжело, необработанно: всё в виде материала».

⁴ Письмо датировано Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 554; цитируется по этому изданию).

⁵ Там же.

до отправления Гончарова к берегам Японии. В письме к Е. А. Языковой от 12 августа 1852 г. он пишет: «Бываю иногда у Коршей: читал у них рукопись».¹

Во время японской экспедиции на «Палладе» работу над романом Гончаров продолжить не смог, хотя и надеялся на это. Позднее он вспоминал в «Необыкновенной истории»: «Обе программы романов («Обломов» и «Обрыв») были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда».

В Петербург Гончаров возвратился 25 февраля 1855 г. и в течение ближайших двух лет активно печатал «очерки путешествия» в разных журналах, в том числе у Некрасова и Краевского, которые, без сомнения, напоминали ему об обещанном романе. Но и к этому времени часть первая так и не была закончена. Об этом свидетельствует письмо Гончарова к Е. В. Толстой от 1 декабря 1855 г. с описанием вечера у А. С. Норова, предложившего писателю «занять место у него, где жалованья много, больше даже, нежели сколько (...) нужно, а дела еще больше, нежели жалованья». Заранее готовясь принять предложенное место старшего цензора русской цензуры, Гончаров сетует: «...я было мечтал перейти на старинную свою должность² и оканчивать роман, мечтал даже, что Вы хоть на неделю приедете, по обещанию, выслушать его».³ Третьего дня вечером я читал некоторые главы из этого романа у того ж министра⁴ и увидел, что поправить бы немного да прибавить главы две, так первая часть и готова. Новая должность едва ли позволит это, хотя на службу ходить и не понадобится...».

¹ Сам Е. Ф. Корш, редактор «Атеней», в 1858 г. в заметке, сопровождавшей публикацию отрывка из главы II части третьей «Обломова», вспоминал об этом чтении: «Подарив „Атеней” мастерскою сценою из своего давно задуманного и давно начатого романа, автор живо напомнил нам приятные часы, проведенные с ним в 1852 году за чтением первой части „Обломова”» (1858. С. 53).

² Речь идет о должности столоначальника Департамента внешней торговли.

³ Е. В. Толстая жила в это время в Москве.

⁴ По ходатайству А. С. Норова, тогда еще товарища министра народного просвещения, в 1852 г. Гончаров отправился в плавание на фрегате «Паллада» и перед самым отходом судна был у него в числе других гостей на литературном вечере (см. об этом: наст. изд., т. 3, с. 399).

Предложенная вакансия должна была открыться в январе или, по предположению Гончарова, могла вообще «не открыться», как пишет он Е. В. Толстой в письме от 23 декабря 1855 г., в котором сообщается: «...тогда у меня есть план удалиться года на два на Волгу, к сестрам, и по-пробовать, могу ли я еще исполнить мои прежние литературные задачи <...> и, если удастся, я умру покойно, исполнив свое дело...». О серьезности этого намерения говорят строки из очередного письма к Толстой от 20 февраля 1856 г.: «Я чуть было не уехал в Симб<ирск>, чтоб поселиться там и работать, но дня через три жду приказа об определении меня на то место, о котором писал.¹ Конечно: мне предстоит не писать, а читать, читать».²

Как Гончаров и предполагал, новая должность почти не оставляла времени для работы над романом, которого продолжали требовать редакторы журналов. «Вы спрашиваете о романе: ах, одни ли Вы спрашиваете, — пишет Гончаров Е. В. Толстой в письме от 31 декабря 1855—2 января 1856 г., — редакторы спрашивают пуще Вас и трое разом,³ так что если б я и написал его, то не знаю, как бы, удовлетворив одного, отделался от других. А романа нет как нет. <...> Этот требует благоприятных, почти счастливых обстоятельств, потому что фантазия, участие которой неизбежно в романе как в поэтическом произведении, похожа на цветок: он распускается и благоухает под солнечными лучами, а она разворачивается от лучей... фортуны. А где их взять!».

Слова: «А романа нет как нет» — явно соответствовали настоящему положению дел. Даже часть первая его в начале 1856 г. еще не была доведена до конца. Характерна в этом плане запись от 13 марта 1856 г. в дневнике Дружинина: «Чтение „Обломовщины“. Бури в душе Гончарова» (*Дружинин. Дневник*. С. 378).

¹ 5 марта 1856 г. последовало предписание председателя Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусина-Пушкина Гончарову о вступлении в должность цензора (см.: *Летопись*. С. 62).

² В 1856 г. Гончаров процензуровал 10 453 рукописных листа и около 827 печатных листов различных изданий (см.: *Mazon*. P. 198).

³ К Некрасову и Краевскому прибавился М. Н. Катков, редактор «Русского вестника», в котором вскоре появились два очерка из книги «Фрегат „Паллада“» (см.: наст. изд., т. 3, с. 449).

Тем не менее роман был уже обещан (вероятно, пока еще на словах) Каткову,¹ хотя не утратила своей силы первоначальная договоренность Гончарова — с «Библиотекой для чтения», т. е. с А. В. Дружининым, о чем свидетельствует упоминавшееся выше письмо А. Ф. Писемского к А. Н. Островскому от 11 марта 1855 г.² Переговоры с Катковым, однако, продолжались. Он соглашался поместить в «Русском вестнике» уже написанную часть, поставив Гончарову лишь одно условие — ее «закругленность». Отсутствие же такой «закругленности» более всего и беспокоило писателя; замыслу конца 1840-х гг. еще предстояло трансформироваться, чтобы мог появиться тот роман, который мы знаем, а пока этот будущий роман Гончаров дважды (в мае и в июне 1857 г.) назовет «несуществующим» (см. ниже), хотя именно в это время появилось его название. Собираясь в двадцатых числах апреля 1857 г. за границу, Гончаров пишет Каткову: «...на свободе я попробую, не приведу ли в порядок „Обломова“, то есть всё, что написано, о продолжении я и думать пока не смею (частью потому, что не умею продолжать, если начало не выработано, частью от старческой немощи), но так, однако, чтоб не запретить себе выхода во вторую часть». Но пока еще сомневаясь, удастся ли нужным образом «выработать» это начало, писатель напоминает Каткову о его прежнем предложении напечатать «первую часть, без надежды на вторую <...> но только чтоб всё написанное <...> было округлено, как вещь конченная». Вроде бы уступая это начало, Гончаров все же пытается

¹ 15 января 1857 г. Е. Я. Колбасин передает Тургеневу ходившие в Петербурге слухи: «...говорят — за достоверность не ручаюсь — заплатили 300 р. Гончарову от листа за „Обломовщину“. Гончаров, на все расспросы, отнекивается, но все уверены, что „Обломовщина“ уже в редакции „Русского вест(ника)“. Посмотрим, стоит ли она таких неслыханно дорогих условий и правда ли это» (*Тургенев и круг «Современника»*. С. 317).

² «По делу твоему я сейчас же поехал к Печаткину, но вот тут какого рода обстоятельства открылись: он предполагает большие издержки для „Биб(лиотеки)для чтения“, а именно — покупку романа Гончарова „Сон Обломова“, за который будет платить по 200 руб. серб., а всех их будет до 35, значит, 7000, да мазу к тому еще 500 р. за то, что этот господин соизволяет печатать в „Биб(лиотеке)для чтения“, а не в „Русском вестнике“. Задерживать таким образом деньги на другие издания, он говорит, что не имеет возможности» (Неизданные письма к А. Н. Островскому. С. 362).

убедить Каткова не спешить: «...я не отчаиваюсь черкнуть когда-нибудь и еще, хотя чувствую, что эта надежда очень неверна, но я столько раз обманывался в хорошем, что считаю себя немного вправе обмануться и в дурном».

Катков принял решение печатать роман на прежних условиях, т. е. поместить в журнале «закругленную» часть первую, и предложил, в дополнение к прежним «условиям», позднее, когда роман будет дописан до конца, «напечатать шестьсот экз(емпляров) особо» в свою пользу, в чем Гончаров решительно отказал. 3 мая 1857 г. он пишет ему в Москву: «Так как за приведение в порядок первой части и, если смогу, за писание второй я принялся бы не прежде как за границей, на свободе от всех прочих моих занятий, и притом если буду здоров, то договариваться теперь о несуществующем произведении нахожу почти невозможным. <...> Но прекращаю разговор об этом, потому что „Обломова“ еще нет и, может быть, и не будет». И еще через месяц, за несколько дней до отъезда за границу, в письме от 5 июня 1857 г., повторяет: «Насчет несуществующего романа прибавлю вот что. <...> С обоюдного согласия *положим прежние условия несуществующими. Если у меня будет что-нибудь написано и если я с рукописью обращусь к Вам, будемте договариваться вновь*». Пока же, ссылаясь на усилившиеся болезни, из-за чего «не надеется» и за границей «написать что-нибудь», он все же сообщает, что берет «на всякий случай уже написанные главы „Обл(омова)“ с собою, чтобы, если можно, прив(ести их в поря)док и напечатать в „Вестнике“ <или> в другом журнале как *по(следнее) сказанье* и потом замолчать». И заключает: «Пусть они так и будут п(редставлены) публике как *неоконченные*, а <если в та>ком виде журналы не примут, то могут остаться и ненапеч(атанными)».

Подтверждением того, что дело с написанной частью романа и с неначатым продолжением обстояло именно так, т. е. что Гончаров готов был бросить все, служат его слова из письма к И. И. Льховскому из Варшавы от 13 (25) июня 1857 г.: «Завтра еду вон, в Дрезден, и там, вероятно, будет не веселее. Так я и кругом света ездил, только тогда я мог писать, а теперь не могу и этого <...>. Более литературы не будет».

Это была констатация кризиса первоначального замысла части первой, из которой не было выхода в часть

вторую; замысел, таким образом, постигла судьба «Стариков». Но если от «Стариков» не осталось ничего, кроме свидетельств современников,¹ то от первого замысла сохранилось «невыработанное начало» — рукопись части первой давно задуманного и «неконченного» романа. Причина кризиса первоначального замысла заключается в том, что замысел этот относился к предшествующей литературной эпохе — эпохе «физиологий», «натуральной школы» с ее методом биографической характеристики героев, и соответственно воплощался в ином литературном «ключе» — со своей архитектоникой, своим составом второстепенных персонажей, с особым отношением автора к главному герою. Именно об этом отношении Гончаров пишет в позднем письме (от 21 августа (2 сентября) 1866 г.) к С. А. Никитенко, в котором сначала признается, что с первых шагов писательства у него был «один артистический идеал: это — изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры». Эти слова, конечно же, относятся к Обломову, но к Обломову из законченного в конце 1850-х гг. романа; далее в письме следует признание, которое непосредственно относится к раннему Обломову — герою «Обломовщины» (и не к нему одному): «Но тема эта слишком обширна, я бы не совладел с нею, и притом отрицательное направление до того охватило всё общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что *и я поддался этому направлению и вместо серьезной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны*» (курсив наш. — *Ред.*). Отношение Гончарова к своему герою проницательно уловил один из самых близких литературных друзей писателя — А. В. Дружинин, несомненно хорошо знакомый с текстом первоначального замысла. В статье по поводу только что вышедшего романа он писал: «*Нет никакого сомнения в том, что первые отношения поэта к могущественному типу, завладевшему всеми его помыслами, были вна-*

¹ См. об этом замысле: наст. изд., т. 1, с. 623—625.

чале далеко не дружественными отношениями. <...> Время перед 1849 годом не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г-на Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. <...> представлялся ему как уродливое явление уродливой русской жизни» (Дружинин. С. 449—450; курсив наш. — Ред). Именно «уродливым явлением уродливой русской жизни» и изображен ранний герой на страницах части первой сохранившейся рукописи романа, причем сохранившейся именно в том виде, в каком будущий роман существовал до переломного момента, получившего в литературоведении название «мариенбадского чуда».¹ По словам самого писателя, это был лишь «материал» для пока «не существующего» произведения (отдельные главы, сцены, «разговоры», «портреты»), которому предстояло стать единым целым. В этом заключалась особенность творческого метода Гончарова, ярко охарактеризованная им самим в письмах периода «Обрыва». «Я сажусь и начинаю главу, не заботясь, чем она кончится, приведет ли к чему-нибудь, выскажет ли то, что нужно для главной цели всего романа, — писал Гончаров И. С. Тургеневу 30 июня (12 июля) 1866 г. из Мариенбада. — Меня занимает злоба дня, то есть каждая глава отдельно: как ни верти, а выйдет (как у Петрушки в чтении) сцена, разговор, силуэт или портрет лица — и иногда бойко или живо, а всё в целом не годится. И это может продолжаться ad infinitum». Таким был и первый этап в создании будущего «Обломова», как и, впрочем, «Обрыва», о котором идет речь в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 29 июня (11 июля) 1860 г. также из Мариенбада: «...я предпринимаю огромный труд — по написанному начать писать

¹ Именно до этого времени, как можно предположить, роман носил название «Обломовщина». Оно принадлежало, скорее всего, самому автору, хотя прямых свидетельств о том, что Гончаров так называл свой роман, нет, и в тексте его слово «обломовщина» появляется только начиная с части второй. Это предположение основывается на характере первоначального замысла и отношении Гончарова к своему герою на данном этапе, о которых пишет Дружинин. Под этим названием роман неоднократно упоминался в литературных кругах (см. об этом выше, с. 18, 20, 21, и ниже, с. 215).

снова, обдумывая каждую главу, не торопясь. <...> А теперь спешу писать, затем чтоб потом воспользоваться написанным как планом, как материалом».

Как известно, большинство рукописей Гончарова, бережно им хранимых,¹ до нас не дошло. Не сохранился ни начальный общий план романа, ни отдельные планы (или «программы»), ни «листки» и «клочки» с «заметками, очерками лиц, событий, картин и проч.»² Не сохранились ни самая ранняя черновая рукопись с началом романа, с которой переписывалась помещенная в том 5 настоящего издания первоначальная рукопись части первой, ни беловая,³ ни наборная.⁴ Все это затрудняет воссоздание документированной истории допечатного текста романа. И тем не менее черновая рукопись романа — в силу некоторых своих особенностей — позволяет судить о предшествующих допечатному тексту этапах создания текста «Обломова». Эта рукопись, хотя и неполная,⁵ представляет собой конгломерат разновременных и разнородных текстов. Его составляют:

1) переписанный вскоре после 1851 г.⁶ с несохранившейся рукописи текст *будущей* части первой романа, главная особенность которого состоит в том, что повествование здесь доведено до конца в полном соответствии с первоначальным замыслом, при этом переписываемая

¹ См. об этом письмо Б. М. Маркевича к неизвестному лицу (возможно, М. Н. Каткову) от 29 октября 1879 г. (протитировано: *Балакин А. Ю. Ранняя редакция очерка «Заметки о личности Белинского» // Гончаров. Материалы 1998. С. 240—241).*

² См. выше, с. 17, сноска 2.

³ Некоторое представление о ней дает фрагмент главы «Сон Обломова» (А). Возможно, что именно о рукописи, из которой был взят этот фрагмент, Гончаров пишет в «Слугах старого века» (1888): «По полу рассеяны были письма, пакеты, бумаги и между последними до тридцати больших тетрадей „Обломова“, приготовленного совсем для печати».

⁴ Она, согласно практике того времени, осталась в редакции «Отечественных записок».

⁵ В ней отсутствует текст главы «Сон Обломова» (см. помету {3} Гончарова: наст. изд., т. 5, с. 443).

⁶ О чем свидетельствует штемпель на основном массиве бумаги с текстом этой части (л. 2, 6—18, 22—30 авторской пагинации, л. 3—4, 11—34 об., 41—57 об. пагинации архивной): судя по таблице штемпелей эта бумага была изготовлена в Петербурге в 1851 г. (см.: *Клепиков С. А. Филиграния и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX веков. М., 1959. С. 124).* Отмечено Н. В. Калининой.

рукопись, начиная с л. 3 авторской пагинации и с л. 4 пагинации архивной, подвергалась по ходу работы дальнейшей авторской правке, что придало всей рукописи абсолютно черновой характер; заключительный текст этой части (ср.: наст. изд., т. 5, с. 176—191) дописывается (а точнее, «закругляется»), скорее всего, во второй половине 1856 г. после предварительного соглашения с Катковым;

2) сохранные в составе *ЧА* и восходящие к несохранившейся рукописи фрагменты, от использования которых в дальнейшем, после капитальных попыток их исправления, писатель отказался (таков вариант, относящийся к Тарантьеву, — см.: там же, с. 42—45),¹ а также целые отдельные листы несохранившейся рукописи,² включенные в рукопись первоначальной редакции части первой (таков вариант, посвященный началу служебной карьеры Обломова, и описание утра во дворе дома на Гороховой — см.: там же, с. 87—89 и 134—136; на втором фрагменте сохранилось даже его первоначальное обозначение: «Глава III»³);

3) обширный пласт текстов на полях всей рукописи, представляющих собою различного рода планы изменения написанного текста, проработку новых возможных поворотов сюжета, наброски к последующему тексту и т. д.; особенно большое число таких текстов содержится на полях части первой романа, и относятся они к 1851—началу лета 1857 г., когда вторую роль в романе играл Андрей Иванович Почаев; с части второй количество таких текстов уменьшается и по мере завершения романа сводится к минимуму;

4) первоначальная рукопись написанных летом 1857—осенью 1858 г. трех последующих частей романа (см.: там же, с. 192—442).

Важной особенностью рукописи является ее чисто внешняя упорядоченность. Эту работу писатель, скорее всего, проделал летом 1858 г., перед тем как отдать руко-

¹ Эти фрагменты написаны на бумаге с тем же штампом, что и текст части первой.

² Они написаны на другой бумаге без штампа.

³ Все эти фрагменты в публикуемой рукописи заключены в фигурные скобки, обозначающие их принадлежность к предшествующему этапу работы над сохранившейся рукописью романа.

пись переписчику.¹ При этом часть первая еще не была приведена в соответствие со второй (и следующими). Гончаров лишь отметил границу, где по новому плану текст завершался: на л. 54 рукописи появилась помета: «(До сих пор.)» (см.: там же, с. 180, сноска 6). Таким образом от законченной по первоначальному плану части первой отсекались последняя сцена — сцена встречи Обломова с Почаевым (см.: там же, с. 180—191) и набросок предполагаемого продолжения романа с участием Почаева (см.: там же, с. 191). Тогда же появились записи карандашом перед началом всего написанного текста — «Часть I», а перед будущей главой первой (пока еще не обозначенной) части второй — «Часть II-я и следующие».² На этой же стадии Гончаров вписал на свободных местах л. 11об. и следующего листа текст письма старосты, который при переписывании после 1851 г. части первой не был внесен в рукопись (место его было определено особой пометой — см.: там же, с. 36—37, сноска 11).

Особым характером рукописи, в которой часть первая представляет собою переписанное с несохранившегося автографа начало романа, а части вторая—четвертая — текст, отражающий окончательно определившийся замысел произведения, объясняется и форма публикации ее в томе 5 настоящего издания. Он открывается первоначальной редакцией части первой, причем в корпусе дан законченный текст со всеми отброшенными по ходу его писания вариантами, заключенными в квадратные и фигурные³ скобки, а под строкой помещены все последующие исправления, дополнения, пометы разного рода. При другом способе публикации этой части рукописи, например при попытке составления свода отдельных, наиболее значимых, вариантов,⁴ текст первоначального замысла полностью растворяется среди позднейших вариантов. Представление о первоначальном тексте, достаточно далеко от окончательного, дают и напе-

¹ Вероятно, В. М. Кирмалову, который как раз в это время приехал в Петербург (см.: *Летопись*. С. 84). Именно на основе этой копии, по всей видимости, и велась дальнейшая работа по приведению части первой в соответствие со следующими.

² Эта запись была позднее, в октябре 1888 г., обведена чернилами.

³ О последних см.: наст. изд., т. 5, с. 42, примеч. 2.

⁴ См.: *ЛП «Обломов»*. С. 389—497.

чатанные таким же образом главы IV, V (начало) и XII (окончание) части второй. Фрагменты чернового автографа глав IV и VII части четвертой даны по последнему слою текста с приведением предшествующих вариантов под строкой. Остальные части рукописи представлены в виде вариантов.

* * *

Выше уже отмечалось, что в рукописи текст начальной части будущего романа завершен. И если сравнить его с текстом части первой «Обломова», то станет совершенно очевидно, что это начало во многих отношениях другого произведения.

Структура части первой несложна: в ней 5 глав (вместо будущих 11 в «Обломове»); глава «Сон Обломова», как уже говорилось, в рукописи отсутствует. Цифровых обозначений глав нет, их заменяет сокращенное слово: «Гл(ава)», появляющееся в рукописи с главы второй, причем в этой главе упоминаются и предшествующая, и последующая главы: «...читатель видел в начале первой главы...» (наст. изд., т. 5, с. 101); «...и после, в 3-й гл(аве), о том, что он практически Захар» (там же, с. 89, сноска 1).

Глава первая, самая крупная по объему (см.: там же, с. 5—79; из нее в окончательном тексте Гончаров сделал четыре главы — I—IV), начинается утром на Гороховой, продолжается диалогом Обломова и Захара, появлением Алексева, долгая беседа с которым прерывается приходом Тарантьева; заканчивается глава уходом Тарантьева «к куме (...) на Выборгскую сторону», откуда он возвратится к обеду; следом за ним уходит и Алексеев.

Глава вторая (см.: там же, с. 79—134; из нее в окончательном тексте сделаны три главы — V—VII) почти полностью посвящена Обломову; начинается она с описания петербургского периода его жизни — роли в службе и в свете с экскурсами в юношеские годы героя, в старую Обломовку, из которой Илья Ильич когда-то совершил поездку в Москву на долгих, с рассказом о его плане «устройства имения», по окончании которого Обломов предполагал отправиться в деревню проводить этот план в жизнь.

После этого в рукописи появляется пробел, отделяющий от предшествующего повествования небольшое ироничное «лирическое отступление», которое следует за обобщающей фразой: «Так вот что занимает его теперь в жизни»: «У кого же после этого достанет духа обвинить героя моего в праздности, когда он взаперти, в тиши кабинета, все часы, употребляемые другими на мелкий, незаметный труд, посвящает такой важной, благородной мысли?» (там же, с. 116). Дальнейший текст с рассказом о «позах», или «категориях», лежания героя, о доступных ему наслаждениях высоких помыслов и т. д. без всякого пробела переходит в текст будущей главы VII, посвященной Захару (см.: там же, с. 121—134).

Глава третья (см.: там же, с. 134—176; из нее в окончательном тексте сделаны две главы — VIII и X), которую Гончаров в одной из авторских помет называет «Обломов и Захар», начинается со вставного фрагмента из несохранившейся рукописи, где главы еще нумеровались; на фрагменте сохранилось обозначение: «Глава III» (см.: там же, с. 134). Тогда глава начиналась с описания утра во дворе дома на Гороховой — сценки-«физиологии», в которой в деталях изображался долетавший до слуха Обломова «смешанный шум человеческих и не человеческих голосов: лай собак, пение кочующих артистов, иногда то и другое вместе, потому что собаки приняли за правило не отставать, аккомпанировать без всякого вознаграждения, иногда из одних побоев, всякому совершающемуся на дворе художественному исполнению пьес как вокальной, так и инструментальной музыки и для этого приставали и к пению певцов, и к игре шарманки», и очередной принимаемой Обломовым позы, в которой «мысленно» решались им «важные вопросы» (там же, с. 134—136). Видимо, уже в ходе переписывания главы Гончаров отказался от этого начала и выбрал новый вариант, связав его с концом главы первой, т. е. с уходом Тарантьева и Алексеева: Захар, не дождавшись, пока барин позовет его, входит в кабинет и пытается поднять его с дивана, на котором Илья Ильич предавался своим «неотвязчивым думам» — «то о предстоящем ему переезде, то об уменьшении дохода» и о письме старосты. Далее в новый текст была введена вся утренняя сценка во дворе дома с некоторыми дополнениями. Появляется живописное уточнение в описании лая собак, словно аккомпанирующих выступ-

лениям бродячих артистов: они «прилаживали то лай, то вытье, смотря по тому, поет ли артист или играет на шарманке» (там же, с. 138). Детализируются крики разносчиков, при этом первый крик: «Салат! са-ла-т! са-ла-т!» — вызывает у Обломова досаду на то, что ему мешают заниматься, а второй: «Лососина! Лососина!» — напоминает ему, что ее надо купить для Тарантьева, и он делает соответствующее распоряжение. Повествование движется далее и наконец подходит к моменту, когда сон остановил «медленный и ленивый» поток мыслей Обломова и «мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе» (там же, с. 167). Здесь в окончательном тексте будет находиться глава «Сон Обломова». В рукописи же непосредственно за этими словами следует текст будущей главы X — сцены у ворот, начинающейся со слов: «Только что храпенье Ильи Ильича достигло слуха Захара...» (там же), которая и завершает главу третью.

Далее в рукописи идет текст заключительной главы пятой (см.: там же, с. 176—191; в окончательном тексте это коротенькая глава XI), обозначенной, как и все предыдущие, сокращенно: «Гл(ава)».

Ни беловая, ни наборная рукописи «Сна Обломова» не сохранились, так что для воссоздания истории допечатного текста этой главы нет никаких материалов, кроме небольшого фрагмента (А), который, вероятнее всего, был подарен в октябре 1848 г. какому-нибудь почитателю автора «Обыкновенной истории», и текста главы в «Литературном сборнике», относящегося к 1849 г. В А текст идет единым потоком, не разбит на абзацы, и это совершенно естественно, ибо в нем каждая следующая фраза (кроме первых пяти) самым тесным образом связана с предыдущей: все они посвящены стихии моря, столь противоположной «мирному» и «благословенному уголку» — Обломке.

Сравнение фрагмента (см.: наст. изд., т. 4, с. 98—99, строки 27—18) с соответствующим текстом в «Литературном сборнике» показывает, что он претерпел значительные изменения, будучи заметно доработан в корректуре; в дальнейшем этот текст оставался неизменным (см.: наст. изд., т. 5, с. 442). Что же касается остального текста главы, то правка в нем была продолжена в «Отечественных за-

писках» и в отдельном издании (см.: там же, с. 453—462). Но это была именно стилистическая правка; по содержанию же первопечатный текст главы мало отличается от журнального текста и текста издания 1859 г. Единственное заметное отличие — это отсутствие в сборнике большого фрагмента текста (см.: наст. изд., т. 4, с. 120—122, строки 36—13) с описанием традиционной жизни обломовцев, которые «понимали ее не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом». Помимо этого в «Литературном сборнике» отсутствуют еще в общей сложности приблизительно две с половиной страницы текста — различного рода фрагменты от четырех строк до одного слова. Часть из них обозначена одной или двумя строками точек или отточием до конца строки. По этому поводу высказывалось мнение о вмешательстве цензуры в текст «Сна Обломова» (см.: *Цейтлин*. С. 114), что не подтверждается документами: согласно журналу заседаний С.-Петербургского цензурного комитета, 8 и 22 марта 1849 г. рассматривался вопрос о представленных «на разрешение Комитета» следующих «статьях»: «1. „Сон Обломова” (эпизод из романа) 2. „Фомушка” (рассказ) и 3. „Египетская сказка” {...}. Комитет разрешил г. цензора Шидловского одобрить к напечатанию три упомянутые статьи...».¹ Остается предположить, что Гончаров, который не мог не знать о характере требований цензуры того времени, а возможно и по согласованию с редакцией «Литературного сборника»,² сам устранил из текста «Сна Обломова» все то, что могло вызвать цензурный запрет, а ряды точек вместо снятого текста проставил только в тех

¹ Цит. по: *ЛП «Обломов»*. С. 615.

² Это предположение тем более правдоподобно, что редакция «Современника» только что пережила цензурный запрет на объявленный ею в конце января 1848 г. «Иллюстрированный альманах», предназначенный в подарок подписчикам «Современника». В одном из обращений редакции к подписчикам прямо говорилось, что вследствие «некоторых новых цензурных распоряжений» уже «готовый к выходу» альманах поступил «на второе рассмотрение Цензурного комитета». В результате альманах так и не вышел в свет. Вместо него 22 марта 1849 г. появился «Литературный сборник с иллюстрациями» (*Некрасов*. Т. XIII, кн. 1. С. 63, 65 и 72—75; см. также: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50 гг. Л., 1934. С. 249—275).

местах, на которые хотел обратить особое внимание читателя. Таких мест в тексте оказалось двенадцать; в 1859 г. Гончаров раскрыл десять из них (см.: наст. изд., т. 5, с. 453, варианты к с. 101, строки 24—28; с. 454, варианты к с. 104, строки 3—6, и к с. 105, строки 30—32; с. 457, варианты к с. 120, строки 19—21, и к с. 120—122, строки 36—13; с. 459, вариант к с. 128, строки 14—16; с. 460, варианты к с. 132, строки 9—13 и 15—17; с. 461, варианты к с. 138, строки 7—10, и к с. 140, строки 18—21); в двух случаях текст восполнен не был. Именно эти два случая позволяют предположить, что ряды точек могли иметь другой смысл: возможно, этим Гончаров хотел подчеркнуть не только «неконченность» всего романа, но и фрагментарность, незавершенность некоторых его эпизодов. Так, во всех последующих изданиях было снято отточие до конца строки после слов «беленькие и здоровенькие» (наст. изд., т. 4, с. 122, строка 37), за которыми вряд ли мог следовать сомнительный в цензурном отношении текст, а после заключительной фразы главы с многоточием в конце: «Возблагодарили Господа Бога ~ опять играть в снежки...» (там же, с. 142, строки 4—9) — была снята строка точек, но сохранено многоточие.

Главой пятой завершается часть первая, и не просто завершается, а именно «закругляется», как того требовал Катков. «Закругляется» расспросами приехавшего из-за границы Почаева, из ответов на которые вырисовывается картина полного и окончательного погружения Обломова в бездействие, апатию и сон и, более того, в абсолютное отупение и желание отмахнуться от любых вопросов, которые перед ним встают. Включенный Штольцем и Почаевым в число акционеров, он не знает, собирались ли эти последние во время отсутствия Почаева и раздавался ли дивиденд; он не отправил присланное ему Почаевым важное письмо в Москву; не сумел ответить на запрос из гражданской палаты; не принял от приказчика принесенные к нему домой деньги, испугавшись, что не сумеет правильно пересчитать их и отличить настоящие ассигнации от фальшивых, не зная к тому же, куда потом, на случай, если придут воры, «деть такую кучу денег», и забыв слова Почаева, что их следовало положить в банк. Не получив удовлетворительного ответа ни на один свой вопрос, Почаев сначала «внутренно бесился и на себя, и на Обломова. {...} На Обломова за неисполнение поруче-

ний, на себя за то, что, зная характер Обломова, положился на него» (наст. изд., т. 5, с. 188), а затем испытывает уже лишь «минутную досаду... на самого себя». Отказавшись от предложения Обломова «отдохнуть с дороги», Почаев просит у него почтовой бумаги, чтобы «два слова написать по делу». Не получив ни почтовой, ни простой, ни клочка серой, ни клочка картона, ни визитной карточки, он лишь «залился своим смехом...» (там же, с. 191). Глава заканчивается очередным звонком у дверей и «закругляющей» фразой Обломова: «Вот Тарантьев пришел, давай обедать, — закричал Илья Ильич» (там же).

Гончаров собирался продолжить текст, начав далее: «Тарантьев поздоровался с...», но не дописал фразу, зачеркнул ее и сделал очередную помету-отсылку: «Следует характеристика Почаева. Их воспоминания. (Отдельная сцена или глава. См. Прибавл(ения))» (там же, с. 191, сноска 6). Отсылка к «Прибавлениям» может означать, что эта «сцена» должна была войти в состав главы пятой; возможно также, что, «закруглив» главу пятую, Гончаров решил, что «Прибавлениями» откроется часть вторая романа. Но и в том и в другом случае ясно, что «Прибавления» уже существовали и именно к ним относятся слова о наличии к этому времени «нескольких глав далее».¹ По первоначальному замыслу именно Почаев (а не Штольц) играл в «Прибавлениях» центральную роль.

* * *

Все пять глав первоначальной редакции части первой так или иначе связаны с Обломовым. Только не с тем Обломовым, в котором, по определению самого писателя, выражается «все то, *что есть хорошего* в русском человеке»,² т. е. золотое сердце, простодушие, чистота, кротость, незлобие,³ а с другим. Действительно, ранний Обломов — это еще не Илья Ильич, с первой страницы бу-

¹ См. ниже, с. 43.

² Наряду с Бабушкой, Райским, Верой и Марфинькой (см. письмо Гончарова к П. Г. Ганзену от 12 марта 1878 г.).

³ По словам Б. М. Энгельгардта, «именно таким и показан Обломов в романе: в нем чувствуется огромная моральная сила, невольно подчиняющая своему влиянию окружающих. И это очарование обусловлено, конечно, его „золотым“ сердцем» (ЛН Гончаров. С. 57).

дущего романа отличающийся не только «приятной наружностью», но прежде всего мягкостью, «которая была господствующим <...> выражением не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук» (наст. изд., т. 4, с. 5). Это не тот Обломов, от которого наблюдательный, равнодушный человек «отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой» (там же), но другой, «наружность» которого была отмечена не только «дородством» и «апатическим взглядом», но даже и некоторой уродливостью: «подставкой» его «могучему туловищу» служили «две коротенькие, слабые, как будто измятые чем-то ноги», да и волосы его «уж редели на маковке. Можно было предвидеть, что этот человек обрюзгнет и опустится совсем, но теперь его от этого пока спасали еще лета» (наст. изд., т. 5, с. 5). Ум и внутреннее волнение лишь «ненадолго впечатлевались» на лице Ильи Ильича, и «оно тотчас принимало свой обычный характер беззаботности, покоя, по временам счастливого, а чаще равнодушного, похожего на усыпление» (там же, с. 7). Герой «Обломовщины», облаченный в странные «пantalоны» и удобный, великолепно драпирующийся около тела халат, склонен к некоему самолюбованию: «Илья Ильич иногда вдруг то плотно обовьется халатом, как статуя греческой богини, которой контуры сквозят чрез прозрачные покровы, и бескорыстно любит рельефами своего тела, то, как египетский истукан, обвешается бесчисленными складками или обнажит грудь и одно плечо, а на другое накинёт халат, как тогу. Обломов иногда любил заняться этим в свободное время» (там же); в прежние годы он, «нарядившись в красивый парижский шлафрок, любил полежать на шитой подушке на окне и позевать на соседок» (там же, с. 97). «Комната», где лежал герой, «с первого взгляда казалась прекрасно убранною» (там же), но в обстановке ее «опытный глаз <...> прочел бы только мещанскую претензию на роскошь, убирающуюся в павлиньи перья и рассчитывающую на эффект подешевле <...>. Всё показывало, что это была скороспелая работа Гостиного двора» (там же, с. 8—9). Точно такой же «гостинодворский» характер носила картина, украшавшая комнату; пояснения, которые давал к ней Илья Ильич едва ли не всерьез, вызывают явную усмешку автора: «На картине, изображавшей, по словам хозяина, Минина и Пожарского, пред-

ставлена была группа людей, из которых один сидел, зевая, на постели, с поднятыми кверху руками, как будто только что проснулся; другой стоял перед ним и зевал, протянув руки к первому. Обломов уверял, что они не зевали, а говорили друг другу речи. Вообще как два главные, так и прочие лица не обращали друг на друга ни малейшего внимания и смотрели своими большими глазами в разные стороны, как будто недоумевая, зачем они тут собрались. На пейзажах трава была нарисована такая зеленая и крупная, а небо такое синее, каких ни в какой земле не сыщешь» (там же, с. 9). Впрочем, и гостинодворская обстановка, и соответствующая ей картина в «Обломовщине» далеко не случайны: в первоначальном замысле нет ни слова о том, что «дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне», что Захару дороги были «предания о старинном быте и важности фамилии» (наст. изд., т. 4, с. 9); из «Сна Обломова» следовало только, что отец Ильи Ильича владел «наследственной отчиной», состоявшей всего из двух деревень — Сосновки и Вавиловки, которые находились «в одной версте друг от друга», что лежащее в пяти верстах от Сосновки село Верхлёво тоже принадлежало когда-то фамилии Обломовых, но давно перешло «в другие руки» (там же, с. 105); само выражение «господская усадьба» употреблено в «Сне Обломова», скорее, иронически: это был «дом с покрякивающимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей <...> с шатающимся крыльцом» и с «висячей галереей», которая «ветха, чуть-чуть держится» (там же, с. 107).

И тем не менее Обломов из первоначального замысла был не просто *барином*, как Илья Ильич из «Обломова», а барином почти кичливым. Текст главы первой рукописи, посвященный Алексееву и Тарантьеву, в котором объяснялась причина того, почему Обломов принимал этих «двух русских пролетариев» (там же, с. 40), завершался так: «...и тот и другой были бедные люди, нуждавшиеся во всем и не везде находившие в Петербурге радушный прием самолюбию.

Обломова, как барина и как достаточного человека, льстило одолжить их, принять у себя, накормить хорошим обедом. „Ведь это бедняки, голь, не то что наш брат!“ — говорил он с самодовольствием» (наст. изд., т. 5, с. 55—56; курсив наш. — Ред.).

И если герой «Обломова» не очень опрятен и его роскошный халат лишь «утратил свою первоначальную свежесть» (наст. изд., т. 4, с. 6), то его предшественник просто очень неопрятен: его халат «постарел, засалился, но он только в этом стареньком и грязненьком халате и чувствовал себя привольно и покойно» (наст. изд., т. 5, с. 97—98). Этот Илья Ильич «уж привык обедать нараспашку, в халате, засучить рукава и взять кость в обе руки, чтоб обглодать ее за удовольствием, а после обеда немедленно лечь спать» (там же с. 99). Не случайно Тарантьев, уговаривающий Обломова переехать на Выборгскую сторону к своей куме, где он будет жить «чисто, опрятно», так характеризует его нынешнюю квартиру: «Посмотри-ка, ведь ты живешь свинья свиньей, а еще барин, помещик» (там же, с. 64).

Даже в речи Обломов часто бывал неводержан и груб. Например, он мог злобно отозваться о мяснике, зеленщике, прачке и хлебнике, которым задолжал, призывая к тому же и Захара: «— Мерзавцы! — с ненавистью говорил Ил(ья) И(льич). — И ты-то хорош: не умеешь сладить с ними, лезут за деньгами» (там же, с. 20). Написанное показалось Гончарову неполным, и он развернул эту раздражительную реплику героя: «— Мерзавцы! Ослы! только об деньгах и забота! — с ненавистью говорил Ил(ья) И(льич). — И ты-то хорош: не умеешь сладить с ними.

— Что ж мне делать с ними?

— А ты бы сказал им, что у них душа-то не христианская, а жидовская, продажная, так вот они бы и понимали, только и знай, что лезут за деньгами» (там же, с. 20, сноска 1—3).

В ответ на грубость «чужого человека или прохожего на улице» Обломов начинал грозить «сделать с ним что-нибудь такое, чего тот и представить себе не может, отправить его туда, куда ворон костей не занасивал, дать знать о нем в полицию...» (там же, с. 132); он просто так, походя, называет бедняка «канальей» («...он, каналья, и выпится себе на войлоке где-нибудь на дворе...» — там же, с. 157), а труженика, работающего из куска хлеба, — «бестией» («„Другой” есть такое творение, которое работает, бестия, без усталости, бегают, суетятся...» — там же, с. 158). Как в свое время, будучи четырнадцатилетним мальчиком, он, «...чуть что покажется ему не так <...> под-

даст Захарке ногой в нос» (наст. изд., т. 4, с. 140), точно так и теперь тридцатипятилетний ¹ Илья Ильич норовит обойтись с Захаром: «Прочь, говорю тебе! — закричал Илья Ил(ьич), стараясь попасть в него ногой, — вот подойди, подойди только: я нацелюсь да ногой-то и одолжу тебя: ты и будешь знать... экая ведь бестия какая: лысый черт...» (наст. изд., т. 5, с. 180). Свое барское «я» он мог проявить самым натуралистическим образом: «Захочу, так чужими руками высморкаюсь, приставлю сторожа чихать за себя...» (там же, с. 158—159).

Илья Ильич из раннего замысла откровенно боязлив, подчас до трусости: если в «Обломове» он отказывается от поездки на гулянье в Екатерингоф потому, что ему показалось, будто собирается дождь (см.: наст. изд., т. 4, с. 32), то в рукописи приводятся другие доводы: «давка, теснота, пыль, того и гляди, задавят экипажи или на пьяных наткнешься, в историю попадешь...» (наст. изд., т. 5, с. 33); он вообще «боялся движения, жизни толпы, многолюдства и суеты. В тесной толпе ему казалось, что его задавят, в лодку он садился с неверною надеждою доехать благополучно до другого берега, в карете ехал с бьющимся сердцем, ожидая, что лошади понесут и разобьют. Гора ли случится на дороге, ему кажется, что по ней никак нельзя проехать, не сломив шеи; зайдет ли ошибкой незнакомый человек в его квартиру, ему кажется, что это разбойник приходил убить и обокрасть его. А случится ему остаться одному в комнате, он боится или того, что вот сейчас придут воры, ограбят и убьют его, или вдруг на него напал суеверный ужас: у него побегут мурашки по телу; он боязливо косится на темный угол, ожидая ежеминутно, что оттуда вдруг появится что-нибудь сверхъестественное. Куда ни соберутся, что ни предпримут, у него родится в голове мысль об опасности, и он впадает в раздумье, колеблется и наконец отказывается от намерения, цели прогулки и прочего, иногда с тоской, с досадой на самого себя» (там же, с. 100—101).

В рукописи резче (и подробнее) обрисовано отсутствие у Обломова склонности к какой-либо активной деятельности, в том числе к службе, которая, как ему представлялось, была целью его приезда в Петербург: «К нему,

¹ В окончательном тексте Гончаров убавил его года: Илье Ильичу 32 или 33 года (см.: наст. изд., т. 4, с. 5).

кажется, не подкрадывалось сознание, что он был характера более созерцательного, нежели деятельного, что волнения, хлопоты всякого рода, вообще движение, не уживались с его вкусом и привычками. А если иногда случай или необходимость и наталкивали Илью Ильича на заботы, то, не приведи Бог, как грустно становилось ему от этого. Он вовсе не был из числа тех людей, которые всю сладость жизни видят в труде, всю сладость труда не в цели его, а опять в труде же. От этого главное поприще — служба — на первых порах озадачила его самым неприятным образом» (там же, с. 82). Сочтя первую фразу этого фрагмента несколько общей, Гончаров дополняет ее конкретным примером: «Ему бы всего более по вкусу пришла жизнь браминов: сидеть на солнышке, поджав ноги под себя, и глубокомысленно созерцать кончик собственного носа» (там же, с. 82, сноска 8).

Иным образом представлена в рукописи удавшаяся было Обломову роль в обществе. Под влиянием «умоляющих улыбок» и «даже страстных взглядов из толпы красавиц» он «завел лошадей, нанял повара и двух лакеев» и повел себя невозможным для героя «Обломова» образом: «И он, бывало, любил подкатиться на паре борзых коней к крыльцу, когда знал, что пара хорошеньких глаз караулят его приезд у окна. И он не прочь бывал скрепить священный союз дружбы с приятелями за обедом, среди чаш, объятий, стихов и фраз» (там же, с. 91), но со временем «взгляды и улыбки красавиц стали обращаться к нему реже...» (там же, с. 91). Круг жизни Ильи Ильича начал замыкаться: «Его ничто, ничто уже не влекло из дома, и он крепче и постояннее водворялся в своей квартире, ограничась очень немногими лицами и домами...» (там же, с. 93—94). Сначала таких домов было три; потом остались «два, наконец, один» (там же, с. 96). «Последний дом было семейство хозяина, у которого он нанимал квартиру, где-то у Владимирской». Хозяин, прежний помещик, каждый вечер собирал у себя гостей — немного: «человека два приятелей» на «вистик»; Илью Ильича хозяева дома «особенно любили за аккуратный платеж денег и аккуратное хождение к ним по вечерам». Обломову этот дом должен был напоминать родительский дом в Обломовке — особенно своими «беседами». Здесь «говорили обыкновенно о последних городских происшествиях, особенно о несчастных, до которых был охотник хозяин дома, на-

пример о значительной краже, об убийстве, о пожаре, о том, как открыли убийцу, поймали воров, где нашли краденое, как утушили пожар и т. п. А если происшествий не было, то хозяин рассказывал о своей бывшей деревне, о хозяйстве, об охоте. Истощался этот предмет, тогда молча доканчивали беседу и к 12 часам расходились. Около года Илья Ильич наполнял такими беседами свои вечерние досуги» (там же, с. 96—97), пока не переехал в Гороховую, перепугавшись пожара по соседству. Здесь, на Гороховой, никто не возмущал его спокойствия: «Редко самому строгому отшельнику удастся пользоваться таким уединением и тишиной, какая окружала Обломова» (там же, с. 88), там он «постепенно дошел до того сидячего или, лучше сказать, лежачего положения, в котором застал его читатель» (там же, с. 94). И если Обломова и раньше «никуда не влекло» («Он враг всякого движения по натуре своей: он, как живет в Петербурге, не съездил ни разу в Кронштадт, не видал никаких примечательностей столицы, ни музеев, ни Эрмитажа» — там же, с. 100), то теперь он в течение целого дня может лежать на диване, лишь принимая ту или другую позу, в зависимости от занимавшего его в настоящий момент вопроса.

В рукописи этим позам Ильи Ильича посвящено несколько страниц текста (там же, с. 116—121); из них в окончательный текст романа вошло лишь два небольших абзаца (см.: наст. изд., т. 4, с. 65, строки 22—29), и то в сокращенном виде. В первоначальной редакции, кроме того, говорилось: «Илья Ильич, вследствие долговременного упражнения и опытности в лежанье изучил до удивительной тонкости и разнообразия горизонтальное положение своего тела и все позы, какие оно способно принять, как не изучили его и древние ваятели. У него на каждый час дня, на всякое расположение духа была создана приличная поза. В минуту важного труда, например работая над дельной мыслью, мучась заботой, он ложился на бок, упирал локоть в подушку, а ладонью подпирал голову: и положение корпуса, и расположение ног тоже выражали заботу и труд. Переходя от заботливого труда к покойному размышлению, он оставался всё на боку, но голову клал на подушку, подложив под голову ладонь. Когда же он волновался страстями или предавался глубокому горю или необыкновенной радости, — словом, когда был во всем пафосе наслаждений и скорбей, то ло-

жился иногда лицом к подушке. Но самую любимую и наиболее употребительную позой было у него лежание на спине. <...>

Но тут сказано только о трех или четырех главных категориях лежания, имевших множество подразделений» (наст. изд., т. 5, с. 117). Одно такое «подразделение» сохранилось в раннем варианте главы III, начинавшейся описанием позднего утра во дворе дома на Гороховой и упоминанием Обломова, который «всё еще лежал и занимался делом на диване» (там же, с. 134). Поза лежания Ильи Ильича, о которой говорится здесь, соответствовала заключительной, приятной фазе его размышлений: «Читатель, может быть, пожалеет о горе, посетившем Илью Ильича, думая, что недаром же он не может сойти с дивана, что всё та же мрачная туча, если говорить высоким слогом, висит над его челом, что в тайнике души его решается борьба множества вопросов... Нет, нет, нет! Нет мрачной тучи на челе Обломова, и на лице его водворился мягкий, кроткий оттенок, который отразился и в новой принятой Обломовым позе. Он вытянул совершенно ноги и заложил обе руки под голову. Он, уж конечно, решил мысленно несколько важных вопросов, придумав дельную меру против побегов и бродяжничества крестьян, определил им наказание, перешел к устройству собственного быта в деревне» и, оставив пока мысль о плане дома, «занялся выбором места для оранжереи. Тут невольно мелькнула соблазнительная мысль и о будущих фруктах...» (там же, с. 135—136). Переписывая главу, Гончаров изменяет и это место: «...мрачные тучи, говоря высоким слогом, слетели с его чела; в ум просились другие, менее мучительные заботы; на лице водворился мягкий и кроткий оттенок, который отразился и в новой позе» (там же, с. 139).

* * *

В первоначальной редакции части первой ближайшее окружение Обломова значительно отличается от того, которое будет фигурировать в романе «Обломов», — и не столько отсутствием ряда лиц (Волков, Судьбинский, Пенкин, доктор) и списком лишь упоминаемых знакомых Обломова (в рукописи — Овчинин, Альянов, Пхайло, Афанасьев, Пыжиков, Мазуров, Добрынин; в романе —

Горюновы, князь Тюменев, Муссинские, Савиновы, Вязниковы, Маклаковы, Фома Фомич, Свинкин, Пересветов, Кузнецов, Васильев, Махов и др.), сколько иными ролями первостепенных фигур — Штольца и Почаева.

Карл Михайлович Штольц (так он будет именоваться до конца части первой) впервые упоминается в главе первой (в окончательном тексте — в главе III). Штольца Илья Ильич отличал от «других гостей», требовавших от него участия в их «шумной жизни»: в поездках за город, в танцах, в прогулках, а Обломов «всё это <...> терпел в одном только человеке, в Карле Михайловиче Штольце, товарище детства и ученья, который был в то время за границую...» (наст. изд., т. 5, с. 56). В «Обломове» же Илья Ильич «хотя был ласков со всеми (другими гостями. — *Ред.*), но любил искренно» только Штольца, «верил ему одному, может быть, потому, что рос, учился и жил с ним вместе». Но Штольц «был в отлучке...» (наст. изд., т. 4, с. 41), в Киеве (там же, с. 169). Следующий раз в рукописи Штольц упоминается в разговоре Обломова с Тарантьевым по поводу письма к Добрынину (в романе — к исправнику — там же, с. 49). В этой сцене Обломов, требуя от Тарантьева уважения к Штольцу, говорит о нем с любовью и благодарностью: «Он сто́ит и твоего уважения; таких людей мало: я хотел бы походить на него да и другим желал бы того же... <...> после покойных отца и матери я ни к кому не был так привязан, как к нему. <...> он делал мне столько добра, сколько и родной брат не сделает; он устроил все мои дела, хлопотал об них, пока жил в Петербурге и служил здесь, и вообще, до тех пор как начал странствовать по России и за границей, заботился обо мне как о родном брате. Он три раза ездил ко мне в деревню, хозяйничал, распоряжался там за меня, наконец, взял меня в долю, в свои обороты, и сделал мне тысяч 50 капиталу, который и теперь еще у него в обороте в одной торговой компании...» (наст. изд., т. 5, с. 71—72).

В главе второй рукописи раскрывается география деятельности Штольца, который один только мог бы удержать Обломова от дальнейшего погружения в сон и апатию: он «...часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым...» (там же, с. 94) или за границу. Из последней сцены главы пятой рукописи выясняется, что Штольц решил не возвращаться из Германии, где он находился по делам вместе с Почаевым, что «он купил себе там зем-

лю и заводит ферму» и что в Петербург он лишь будет «приезжать по делам» (там же, с. 182). На этом участие Штольца в жизни и делах Обломова в первоначальном замысле романа заканчивалось. Его роль на этой стадии принадлежала другому лицу — Андрею Павловичу Почаеву.

Впервые Почаев появляется в заключительной сцене главы пятой рукописи, из которой следует, что он, как и Штолец, тоже друг Обломова. Илья Ильич встречает его «с радостным изумлением», и при встрече «они дружески, с жаром обнялись и расцеловались» (там же, с. 181). Обломов глядит на приезжего «с любовью», Почаев «заботливо» расспрашивает его о здоровье (там же, с. 182) и с испугом воспринимает сообщение Ильи Ильича о двух его несчастьях (там же, с. 183). И хотя во время расспросов об общих с Обломовым делах он не перестает досадовать на свое «доверенное лицо», но не выказывает недовольства, а лишь подчас сжимает губы и вздыхает. Сцена заканчивается тем же «веселым и звонким хохотом», с каким Почаев появляется в начале ее, и словами: «Ну, брат Илья! я вижу, ты всё тот же» (там же, с. 191). На полях л. 57 об. рядом с последней фразой главы содержится уже приводившаяся выше программа продолжения романа по тому же первоначальному плану: «Следует характеристика Почаева. Их воспоминания. (Отдельная сцена или глава. См. Прибавл(ения))» (там же, с. 191, сноска 6). Вторая программа: «Это поместить ~ хочет всё воротить разом» — записана на полях л. 49 об. рукописи. В этой последней программе имеется в виду текст, в котором описывалась «одна из редких и светлых минут» в жизни Ильи Ильича (там же, с. 164—166; ср.: наст. изд., т. 4, с. 96—97) и который Гончаров предполагал «поместить после, когда он возвращается от Ольги Павловны, где провел с Почаевым вечер и освежился чистыми и благородными впечатлениями любви и дружбы в другой сфере, с другими людьми...» (наст. изд., т. 5, с. 166).

Отсылка к упомянутым в первой программе «Прибавлениям» не единственная: подобными отсылками, начинающимися со слова «См.», Гончаров пользуется по всей рукописи;¹ что же касается второй программы, нашед-

¹ См.: наст. изд., т. 5, с. 8, сноска 2; с. 36, сноска 11; с. 80—81, сноска 4, пункты 1, 5, 7, 8; с. 82, сноска 1; с. 154, сноска 6.

шей отражение в будущей главе V части второй романа, то она свидетельствует о том, что еще до июня 1857 г., т. е. до отъезда писателя за границу, намечалось появление героини романа — Ольги Ильинской, правда еще без этой фамилии и с другим отчеством, но из светского дома, куда Обломова привел Почаев.

* * *

Описание Алексева и Тарантьева — лиц из ближайшего окружения Обломова, присутствовавших в первоначальной редакции части первой и перешедших в окончательный текст, отличалось более детальной проработкой заметных черт их внешности, характера, воспитания и т. п. в полном соответствии с требованиями «натуральной школы».

Что касается Алексева, то элементы обрисовки его фигуры в первоначальной редакции к тому же и располагались отчасти в ином порядке, чем в окончательном тексте. За почти гоголевским описанием его внешности («Вошел человек... неопределенных лет, не старый, не молодой, неопределенной наружности, с неопределенным именем, с неопределенной фамилией ~ так же как и отсутствие ничего не отнимет от него»¹ — наст. изд., т. 5, с. 23—24) следует фрагмент, переставленный (в тексте при этом сделаны небольшие изменения) в конец пассажа, посвященного Алексеву в «Обломове» (это текст: «Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил его появление на свет ~ Может быть, даже другой прохожий забежит вперед процессии и спросит об имени покойника» — там же, с. 24; ср.: наст. изд., т. 4, с. 31). Иным был по сравнению с окончательным текстом, содержащим ряд сентенций на тему о том, «любит ли, ненавидит ли, страдает ли» такой человек (наст. изд., т. 4, с. 30), фрагмент, в котором речь идет об этих чувствах применительно к Алексеву: «Другой и в любовь, и в ненависть влагает свой характер, или, лучше, дает ей свой ум, свою душу, свой нрав и привычки: любовь есть живая книга и характер человека.

¹ Ср. в «Мертвых душах»: «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод» (Гоголь. Т. VI. С. 7).

У этого неопределенного человека любовь — форма без содержания {...}. Он не знает и не может себе составить идеи о том, как он любит; надо, чтоб он сам сказал об этом, а иначе никто не догадается, хотя он иногда женится, плодится» (наст. изд., т. 5, с. 25—26). Подобные длинноты Гончаров впоследствии почти полностью снимет из текста, посвященного Алексею. Еще пример: тщательно выписанные в соответствии с набросанными на полях программами и позднее вновь правленные тексты (первая программа: «Он слаб для порока, ничтожен для достоинства» — раскрыта так: «Он не отличается ни достоинством, ни пороком: он слаб как для того, так и для другого: ему недостает содержания, чтоб вылиться в форму положительного достоинства или положительного порока» — там же, с. 25, сноска 4, пункт 2; с. 26; вторая: «...всего лучше было назвать его легион» — реализована в тексте, который содержит обобщение, предваряющее рассуждение именно об этом персонаже: «Между тем {...} такого человека или, лучше сказать, людей встречаешь на каждом шагу. Всего приличнее бы было назвать его легион. Этот легион населяет публичные места: утром его увидишь в кондитерской за газетой {...} в полдень улицы кишат им, заглянешь в партер, к ресторатору — везде видишь его во множестве. Не отличается он ничем: ни наружностью, ни умам, ни поступкам; нет в нем ничего резкого, выдающегося, делающего заметку на памяти наблюдателя» — там же, с. 25, сноска 4, пункт 4; с. 28) в роман «Обломов» не вошли.

От окончательного текста романа страницы рукописи, посвященные Тарантьеву, отличаются не только большим объемом.¹ Этому герою (его внешности, происхождению, костюму, манерам, воспитанию) посвящен по сути дела самостоятельный очерк периода «натуральной школы». Очерк включает изображение провинциальной чиновничьей среды (отец Тарантьева и его окружение) — той «адской школы», которая могла бы сформировать из Михея «колоссального злодея», «если б натура хоть немного пособила с своей стороны, одарила ребенка мощной ду-

¹ Если в окончательном тексте описание этого персонажа (в связи с первым его появлением) занимает около четырех страниц (см.: наст. изд., т. 4, с. 37—40), то в рукописи их значительно больше (наст. изд., т. 5, с. 40—42, 45—54), не считая нескольких страниц отброшенного раннего варианта (там же, с. 42—45).

шой и сильными страстями» (там же, с. 51). Но поскольку у него не было «ни того ни другого» (там же), то «картина людских преступлений и лукавого суда над ними заронили в душу Тарантьева недоверчивость к человеческому достоинству (...) напитанный примерами зла ум его отыскивал мутную причину во всяком примере добра и благородства. Наконец, готовая и созданная ему отцом теория жизни, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожной и бесполезной жизни в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения, за недостатком официальных» (там же, с. 52).

С большой долей «натурализма» (в прямом смысле слова) описана в рукописи и внешность Тарантьева (поданная, кстати, в том же стилистическом ключе, что и внешность Обломова). За сохраненной в окончательном тексте фразой: «Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном» — следовали слова: «Весь он будто был пропитан каким-то маслом. Густые черные волосы волнами покрывали его голову и лоснились природным жиром, который проступал и в лице; в ушах у него росли какие-то кусты волос; мохнатые и жирные руки с короткими пальцами высывались выше кисти из рукавов и походили на лапы ньюфаундлендской собаки» (там же, с. 40—41). Нелепый, пародийный костюм Тарантьева, не отличавшийся «ни свежестью, ни опрятностью», состоял из синего, побелевшего «не по одним швам» фрака, который «едва покрывал ему ребра», жилета «из пестрой шелковой материи с разными узорами и цветами», черного галстука, черной манишки и «старой, иссеченной дождем шляпы» (там же, с. 41). Это описание завершалось сакраментальным для 1840-х гг. штрихом: «Перчаток не было».¹ Неопрятность костюма подчеркивалась особенно настойчиво: «...где он ни садился, к чему ни прислонялся, везде или приобретал, или оставлял сам какое-нибудь пятно, но ему, по-видимому, до этого было совершенно всё равно» (там же).

Здесь же, в первоначальной рукописи, самым подробным образом, в двух вариантах, дано повествование о «школе особого рода», пройденном Михеем в доме отца,

¹ Ср. комментарий к фельетону Гончарова «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (наст. изд., т. 1, с. 786—792).

«подъячего старых времен», о «науке хождения по чужим делам», преподанной им сыну в надежде, что это поможет ему «перейти в сферу повыше той, где он жил сам» (там же, с. 42—43). В первом варианте акцент делался на отце Тарантьева, «который нажил было службою в губернии порядочные деньги (...) поселился в уездном городе, купил там домик и начал весело проживать нажитое». Его «пирушки», собиравшие «весь город», «к ночи» принимали «вид оргии». Старший Тарантьев, видя «час от часу усиливающиеся успехи просвещения, образования», «начал посылать мальчика к священнику», который «добросовестно учил тринадцатилетнего мальчика по-русски, по-славянски и по-латыне». Желая «придать некоторый блеск, сообщить модный оттенок воспитанию сына», отец «пригласил одного вольноотпущенного музыканта (...) давать Михею уроки на гитаре». После трех лет такого обучения он «решил, что уже сын довольно учен и что пора выступить ему на великое поприще (...)». Он определил сына в уездный суд, сам следил за успехами его по службе и развивал перед ним тайны...» (там же, с. 42—44).

Зачеркнув этот вариант, Гончаров обратился непосредственно к самому Михею, подробно останавливаясь на его «угрюмом и даже грубом обхождении со всеми», на резких и размашистых движениях, на «наружном цинизме» (Михей «как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь» — там же, с. 41—45). Этот текст также остался незавершенным и также был зачеркнут. Гончаров перешел затем к следующему варианту, так же как и первый, начинающемуся с абзаца, близкого к окончательному тексту (см.: наст. изд., т. 4, с. 38, строки 1—7), и продолженному рассказом о том, каким «искусным диалектиком» был Тарантьев в споре, как он «ловко пользовался софизмами, отпарировал удары, сбивая противника, нанося удары уже не противнику, а его оружию, которое и выбивал из его рук» (наст. изд., т. 5, с. 46). После фрагмента, также вошедшего (в значительно переработанном виде) в окончательный текст и объясняющего, почему Тарантьев не продвинулся по службе, вновь следовало повествование об отце Михея, «опытном и хитром крючке в провинции» (там же, с. 47), и о воспитании, данном им сыну (там же, с. 47—49).

Длинное повествование об отцовской школе завершилось живописной картиной, не вошедшей в окончательный текст: «Как охотники, собравшиеся в кружок после скаканья и порсканья по лесам и оврагам, после схватки с медведем, хвастаются своими схватками с медведем, боем с волками, гоньбой лисиц, так старые дельцы хвастались своими мрачными и страшными средствами в распутывании и решении мрачных дел, необъяснимых случаев, кривых и правых дел» (там же, с. 50). Последующий текст этого варианта, до слов: «Таковы были два самые усердные посетители Обломова...» (там же, с. 50—54) — со значительными сокращениями впоследствии вошел в окончательный текст, заняв в нем всего четыре абзаца (см.: наст. изд., т. 4, с. 39—40, строки 22—41); был также полностью переработан текст, завершавший характеристики обоих персонажей — Алексеева и Тарантьева (наст. изд., т. 5, с. 54—56).

* * *

В отличие от Алексеева и Тарантьева Захар занимал в первоначальной редакции части первой более скромное по сравнению с окончательным текстом место. В рукописи сначала отсутствовал целый ряд сцен и эпизодов, которые затем появились на полях (таковы, например, вставка: «В Петербурге с каждым годом всё меньше и меньше встречается людей ~ с этим старинным аристократическим украшением» (наст. изд., т. 5, с. 12—13, сноска 6) — или вставки, иллюстрирующие расширение диалогов барина и слуги (см.: там же, с. 20, сноска 2, с. 22, сноска 4)). Но была и подробность, которую Гончаров снял перед публикацией романа — упоминание о необыкновенных бакенбардах слуги, которые «делали Захара не только заметным лицом в огромном доме, где он жил, но снискали ему даже почет между разнородной дворовой челядью, какой иному в другом быту снискивают пара лошадей, ум, талант или что-нибудь подобное. Все звали Захара по имени, по отчеству и предоставляли ему первенствующую роль на сходках. А две няньки того дома пугали им детей, когда они упрямились и плакали, грозя отдать их буке» (там же, с. 13).

Несмотря на большое количество стилистических исправлений, рукопись все же оставалась в «невыработанном» виде, при этом на полях ее накопились многочисленные планы и программы переработки и доработки и различного рода дополнения.¹ Рассмотрим их по главам части первой.

Вопрос о составе действующих лиц не был окончательно решен Гончаровым. Свидетельством этого является его намерение ввести в главу первую (будущие главы I—IV) новое действующее лицо — влюбленную в Обломова женщину, Веру Павловну Челохову (см.: наст. изд., т. 5, с. 19, сноска 8), возможно, ту самую «страстную» героиню, о которой говорится в письме к И. И. Льховскому от 2(14) августа 1857 г.: «...в программе у меня женщина намечена была страстная...» — и которая упоминается уже на первом листе рукописи в общем плане переделки начала романа, где Обломова «будят записками». После записки «от приятелей» он получает «раздушенную записочку» «от женщины, которая его любит» и лакей которой ушел, не дождавшись ответа. Женщина «зовет его в театр, чтоб оттуда вечером к ней. Он в театр не поспевает» (там же, с. 5—6, сноска 6, пункт 1). Но пока еще намереваясь пойти с Верой Павловной в театр, он «ворочается» на своей постели с мыслью «о страсти, когда человек плавает в ней, как в океане, когда, ослепленный, подавленный ею, он волнуется, как у ног женщины (<...>). Нервы его пели, музыка нерв, он вскакивал, ходил и потом, усмиренный, ложился опять» (там же, с. 6, пункт 5). По этому же плану намечается перенос сцены, уже в общем-то существовавшей в первоначальной редакции: «Иногда он, гонимый вихрем мыслей и чувств, — он улетал куда-то высоко, он делал невероятные подвиги, потом падал с облаков и ночью, один, вскакивал и плакал холодными слезами, слезами отчаяния над своим бессилием» (там же; ср.: с. 117—121). Но в этой сцене фигурировал Штольц, который один «мог бы свидетельствовать» «об этой внутренней, исполненной тревог жизни», но которого «почти никогда не было в Петербурге» (там же, с. 121);

¹ См.: наст. изд., т. 5, с. 5—6, сноска 6; с. 8, сноска 2; с. 19, сноска 8; с. 20, сноски 4, 12; с. 25, сноска 7; с. 85, сноска 6; с. 88, сноска 1; с. 102, сноска 3, и т. д.

по новому плану рассказ обо всем этом переадресовывался другому лицу: «(Это, пожалуй, пусть он рассказывает Почаеву.)» (там же, с. 6, сноска 6, пункт 5). В этом «пожалуй» отразилась неуверенность Гончарова в том, где должна находиться эта сцена. Далее на полях вписан еще один вариант этой программы («Любил волноваться страстями, мечтать и проч., не сходя с дивана»), и опять помечено: «(Или, пожалуй, поместить это в главе «Обломов и Захар»)» (там же, с. 8, сноска 2), т. е. в главе третьей рукописи. Несколькими страницами ниже определяется наконец место для введения в текст эпизода с письмом от Веры Павловны и приводится текст самого письма (там же, с. 19, сноска 8). Еще раз сюжет с Верой Павловной возникает в главе третьей рукописи, где приходом за обещанным ответом ее слуги, теперь уже названного по имени, Кузьмой (там же, с. 144, сноска 6), должен был на время прерваться длинный диалог Обломова с Захаром о куске сыра, хересе и о вчерашней телятине. Эта новая сцена начиналась со звонка в дверь, ей предшествовала фраза Обломова: «И куда это запропастились 20 коп(еек) медных? — говорил он, шаря на столе рукой», в сущности представлявшая собой завершение записанной несколько выше на полях сценки-диалога Обломова с Захаром по поводу пропавшей мелочи (там же, с. 143, сноска 5). Ответ на письмо так и не был написан, да и сама Вера Павловна исчезает из дальнейших планов. Ее сменит другая героиня, пока еще названная Ольгой Павловной, которую писатель намерен был ввести в текст будущей части второй романа, в которой и на этой стадии вместо Штольца продолжал действовать Почаев (см.: там же, с. 166, сноска 3, пункт 4).

Продолжалась работа над характерами Алексея и Тараньева. Детальной переработке, смысл которой выражало ключевое слово «легион», подвергся текст, посвященный первому из них. К словам: «с неопределенной фамилией» (там же, с. 23) была отнесена вставка с дополняющими «неопределенную наружность» персонажа словами, позднее в еще раз исправленном виде вошедшими в окончательный текст (см.: там же, с. 23, сноски 6—7; ср.: наст. изд., т. 4, с. 29, строки 28—38). Было намечено пространное исправление текста: «Едва ли кто-нибудь ~ и тут же забудет» (см.: наст. изд., т. 5, с. 24, сноска 7), но оно не было целиком использовано в окончательном тек-

сте (ср.: наст. изд., т. 4, с. 29—30, строки 43—45). Большая вставка, относящаяся к фразе: «Конечно, должен и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого» (см.: наст. изд., т. 5, с. 25, сноска 7) — с небольшими изменениями вошла в окончательный текст (ср.: наст. изд., т. 4, с. 30, строки 9—21). Вставка, которой Гончаров собирался заменить первоначальный текст: «У этого неопределенного человека ~ плодится» (см.: наст. изд., т. 5, с. 26, сноска 2), — в окончательный текст не вошла. Не менее тщательно перерабатывался текст, связанный с Тарантьевым. Речь шла уже не только о его неопрятном костюме, но и о неопрятности всей его «особы»: «Руки и лицо он мыл, кажется, не вследствие потребности вымыться, а только вследствие принятого обычая. Редко тоже кому удавалось его видеть чисто обритым; чаще всего видали его с небритой два или три дня бородой...». Помимо пятен, которые он везде «или приобретал, или оставлял сам», он причинял всяческие неудобства окружающим: «на что обопрется — раздавит, в грязь всегда натопчет» (там же, с. 41, сноска 8). Был усилен мотив грубости и агрессивности Тарантьева: «...на всякого порядочно одетого человека, не говоря уже о франте, он смотрел как на естественного своего врага» (там же, с. 53, сноска 8); «...и когда с кем заговаривал, то со стороны казалось, что он сейчас обругает его, что и случалось на каждом шагу» (там же, с. 45, сноска 2). Кроме того, Гончаров подчеркивает неспособность Тарантьева воплотить в дело свои обещания: он «бросит дело на половине или примется за него с конца — и так всё изгадит, что и поправить никак нельзя, а еще он же потом и ругаться станет» (там же, с. 47, сноска 8). На этой стадии работы во вставке на полях появилось указание на намерение Тарантьева «перейти служить по откупам» (там же, с. 51, сноска 6), перенесенное затем в окончательный текст (см.: наст. изд., т. 4, с. 39, строка 36).

Серьезной доработке Гончаров намеревался подвергнуть главу вторую (будущие главы V—VI), посвященную петербургской жизни Ильи Ильича. План переработки состоял из восьми пунктов, в первом из которых дана суммарная характеристика Обломова, акцентирующая черты внешности, характер и образ жизни героя, который «отстал от знакомых, от всего; от лености и тяжести, от неохоты нарушать ежедневные привычки <...> не любил

он стесняться; ему бы лежать при госте, любил грязненький халат, обедать любил нараспашку, чтоб взять кость обеими руками и глодать, замусоливши и руки, и рот; пробыть целый день где-нибудь было ему уж тяжело; новых лиц тоже не любил, потому что с ними надо хоть немного принудить себя, принудить мысль, при дамах нельзя сесть слишком свободно. Но случайно он мог и сблизиться с кем-нибудь и легко привыкал. <...> он устает и от того, что спал, и от того, что не спал, и от того, <что> говорил, и что сидел и ходил, и утомляется долговременным молчанием. <...> Он любил жить, мечтать и волновать<ся> лежа...» (наст. изд., т. 5, с. 80, сноска 4, пункт 1). К небольшому фрагменту, в котором говорилось о роли Обломова в обществе и его успехах у красавиц, была отнесена объемистая вставка на полях, частично вошедшая в текст романа (ср.: наст. изд., т. 4, с. 58, строки 32—44); в ней объяснялось, почему он никогда «не отдавался» им «в плен». Причина была опять в характере Ильи Ильича: ведь «...к сближению с женщинами ведут большие хлопоты, мелкая внимательность: едва ли какая-нибудь другая служба требует таких угождений, внимательности, как служение красавицам. И потому Обломов ограничивался поклонением им издали, на почтительном расстоянии <...>. Как только дело доходило до того, что надо было поспевать в один день и в театр, и на обед, иногда и на вечер <...> иногда даже просто чтоб сказать этим присутствием, что вот и я здесь, я следую за вами всюду, Обломова уже недоставало на это. <...> От этого его любовные интриги никогда не разыгрывались в романы...» (наст. изд., т. 5, с. 92, сноска 1).

Гончаров усилил такую черту героя, как его крайняя неопрятность; в этом отношении он даже в какой-то степени близок к Тарантьеву. Илье Ильичу в новом, чистом халате «долго было <...> всё неловко. Он всё пожимался, морщился — и тогда только успокоивался, когда халат обомнется и засалится: впрочем, это не стоило больших усилий Обломову, даже никаких: у него это делалось быстро, само собою — и не только с халатом, но и со всяким другим платьем. Оно точно горело на нем. Наденет фрак или сюртук по два, по три раза — а кажется, как будто он три года носит их: всё как-то скоро изомнется, издерется, цвет полиняет, и вещь преждевременно делается старою» (там же, с. 98, сноска 4).

Обломов становится теперь еще более боязливым и осторожным: его страхи и опасения связываются не только с пребыванием «в тесной толпе» («задавят»), в лодке (ибо надежда «доехать благополучно до другого берега» была весьма «неверною»), в экипаже («лошади понесут и разобьют»), в квартире (появится разбойник, чтобы «убить и обокрасть его»), но и с пребыванием в компании или на прогулке: «...у него прежде удовольствия, прежде веселья являлась мысль, нет ли тут опасности какой-нибудь? не убьет ли чем-нибудь, не задавит ли, не вымочит ли, не обожжет ли, не обрушится ли...» (там же, с. 101, сноска 5).

Обратившись ко времени учения Илюши, Гончаров записывает на полях объемистую сцену, возвращающую читателя в Обломовку, к «старикам Обломовым». Илья Иванович советуется с соседями по поводу дальнейшего обучения пятнадцатилетнего Илюши и намерения отправить его для этого в Москву. «Одни были против, другие за. Последние говорили, что можно бы было ограничиться и тем, что Илюша выучил у Штольца {...}. Но старик Обломов сам упорно восстал против этого». Далее следовала живая беседа Ильи Ивановича с соседями по поводу одной из «новейших наук» — «психоядриа» — и рассказ Семена Семеныча о случившемся с сыном Андрея Матвеича казусе — обучении двенадцатилетнего мальчика «какой-то *каллиграфии*». Вся сцена завершалась чисто обломовской сентенцией: «Вот эдак же и психоядрие ваше: станут учить психоядрию, а выучат, того гляди, репу разводить, что мы знаем и без них. Вот нынче каков народец!» (там же, с. 102—103, сноска 5).

Был развернут и рассказ о счастливом моменте юности, — моменте «кратковременного цветения» Ильи Ильича: «Но это был только миг единый. Поэты возбудили мечты юноши, но не привили страсти к подвигам: порывы мало-помалу улеглись, трепет, слезы прошли; аппетит пережил всё. Мечты остались мечтами, Обломов не переставал волноваться всю жизнь, но без всякой практической цели, а просто из одной чисто художественной любви к мечтам» (там же, с. 107, сноска 7). И в этих мечтах, как говорится в тексте первоначального замысла, Обломов «жил полною, широкою жизнью». Слова эти были дополнены вставкой на полях: «Он любил уходить в себя и жить в созданном им себе мире; он не пролежал и дня

дома: природа дала ему пылкую голову и горячее сердце, и если б только не мешало это грубое тяжелое тело, тогда... тогда далеко бы ушел Илья Ильич!» (там же, с. 118, сноска 8).¹ В окончательном тексте от этой вставки остались только слова: «...Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире» (наст. изд., т. 4, с. 65). В первоначальной редакции главы второй к фразе, завершающей рассказ о «внутренней жизни» Ильи Ильича («Никто не знал и не видал этой внутренней жизни ~ он ни к чему не способен»), также было сделано дополнение на полях: «Таково об нем и толковали везде, где его знали. Ведь как наружность-то в самом деле обманчива: людям довольно только заметить какую-нибудь пустую слабость в человеке, иногда самую невинную, например слабость к лежанию, чтоб заключить о его лени, неспособности. Иные, пожалуй, готовы отыскать бог знает еще какие пороки» (наст. изд., т. 5, с. 121, сноска 4) — и, так же как в предыдущем случае, в окончательном тексте от этой вставки осталась только одна слегка измененная фраза: «Так о нем и толковали везде, где его знали» (наст. изд., т. 4, с. 67).

При новом обращении к фигуре Захара (в будущих главах VII—VIII) в текст были внесены обильные, главным образом стилистические, исправления, а также значительное количество дополнений, в основном включенных затем в текст романа с некоторыми поправками и сокращениями. Так, например, фраза: «Важнее сумм (чем «лежащую на столе медную гривну или пятак». — *Ред.*) он, конечно, не украдет, может быть, потому, что потребности свои измеряет гривнами и гривенниками или боялся» — была дополнена на полях текстом: «что ли, быть замеченным, но во всяком случае не от избытка честности. Но вернее всего, не крал он больше денег оттого, что это сделало бы заметный ущерб его барину, а Захар не захотел бы сделать вреда ему ни за какие тысячи. Он понимал, что, прибирая к рукам плохо положенные гривны и пятаки, он не разорит Обломова» (наст. изд., т. 5, с. 123, сноска 6), из которого в окончательный текст романа вошли, в несколько измененном виде, лишь начальные сло-

¹ Слова: «грубое тяжелое тело» напоминают читателю то, что было сказано относительно облика героя в начале части первой («могучее туловище» и «две коротенькие, слабые, как будто измятые чем-то ноги» — наст. изд., т. 5, с. 5).

ва: «Важнее сумм он не крал, может быть, потому, что потребности свои измерял гривнами и гривенниками или боялся быть замеченным, но во всяком случае не от избытка честности» (наст. изд., т. 4, с. 68). В тексте романа были использованы также следующие вставки, связанные с Захаром: наст. изд., т. 5, с. 124, сноска 2 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 68, строки 17—20), с. 125, сноска 10 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 68, строки 33—37); с. 126, сноска 14; с. 127, сноски 3, 4, 7—9 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 69—70, строки 23—9); с. 130, сноска 1 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 71, строки 20—29); с. 130—131, сноска 8 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 71—72, строки 39—13); с. 132, сноска 4 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 72—73, строки 42—2); с. 133—134, сноска 6 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 73—74, строки 26—10); с. 149, сноска 3 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 82, строки 10—30); с. 152—153, сноска 4 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 87, строки 31—39); с. 164—165, сноска 15 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 96, строки 1—16).

В главе третьей части первой (в той ее части, которой соответствует будущая глава X) поздние изменения вообще незначительны. Так, в сцене у ворот были несколько расширены фрагмент с «огромным верзилой лакеем» (там же, с. 172, сноска 2) и желчная речь Захара, обращенная к кучере (там же, с. 175, сноска 3).

В главе пятой части первой (будущая глава XI) характер поздних изменений такой же, как и в предыдущих. Помимо стилистических исправлений в ней были сделаны отдельные дополнения: так, внезапно появившийся во время погони рассвирепевшего Обломова за Захаром хохочущий Почаев в новой сцене, здороваясь, ведет последовательный диалог с Захаром, потом с Обломовым; с первым он шутит, второго, подведя к окну, рассматривает с пристрастием и любовью и замечает: «— Да что это у тебя слезы на глазах?». На что Обломов отвечает: «— Ты приехал, да еще бы не заплакать от радости. Ах, дружище, вот не чаял, не гадал; а ты как с облаков. Обними же меня еще. Вот так» (там же, с. 181, сноска 2).

Заключительные слова Почаева из ответа Обломову: «...а ты с Захаром перенес меня внутрь, в сердце России» — были заменены: «прямо в Обломовку» — и дополнены: «И сон, и квас, и русская речь... о, *fumus patriae*...» (там же, с. 181, сноска 7). Последующий диалог Почаева и Обломова подвергся в основном стилистической правке: одни фразы и слова были заменены на другие (см., на-

пример: там же, с. 182, сноски 1, 9; с. 183, сноски 1, 5; с. 186, сноска 2; с. 187, сноски 9, 10; с. 188, сноски 1, 2; с. 189, сноски 1—3), введены отдельные мелкие дополнения (см., например: там же, с. 182, сноски 2, 4, 8; с. 183, сноска 7; с. 184, сноски 2, 4, 7, 8; с. 187, сноски 2, 6—8; с. 188, сноски 6, 7; с. 190, сноски 2, 6). В этом диалоге было сделано также исправление, имевшее целью лишний раз подчеркнуть полную беспомощность Ильи Ильича в практических делах. Когда речь заходит об оставленной ему Почаевым доверенности на ведение дел, благодаря которой можно было «сделать отзыв на запрос», Обломов сначала не просто заявлял, что не умеет «писать казенных бумаг», но и почти упрекал Почаева за то, что, зная это, он дал ему доверенность. Новый ответ Ильи Ильича показывает даже не беспомощность его, а абсолютную неспособность к каким бы то ни было делам и тем более решениям: «...какой же отзыв? что это значит отзыв? я даже не понимаю, как и приняться...» (там же, с. 187, сноска 9).¹ Изменяется и прежняя довольно мягкая реакция Почаева на такую чисто обломовскую непрактичность. Андрей Павлович уже не «сказал», но «с изумлением спрашивал» (там же, с. 189, сноска 2), не «сжал губы и начал ходить», а «подавил какое-то рычание, стиснул зубы и опять пошел ходить» (там же, с. 189, сноска 7) и, наконец (это добавлено над строкой и на полях): «...молча, с озабоченным видом всё ходил взад и вперед по комнате», а «Обломов молча страдал от немого укора, написанного на лице Почаева» (там же, с. 190, сноска 5).

* * *

1 декабря 1855 г. в письме к Е. В. Толстой Гончаров сообщал о необходимости дописать «главы две», чтобы часть первая романа была закончена. Об этом же говорится в упоминавшихся выше «Прибавлениях», только здесь фигурируют уже не «главы две», а лишь «от-

¹ А ведь «в аттестате у него сказано было, что он прошел высшую алгебру, конические сечения и математику до интегральных и дифференциальных исчислений» (там же, с. 110), а еще раньше в тексте упоминалось, что в число изучавшихся им предметов входили статистика и политическая экономия (там же, с. 105; ср.: наст. изд., т. 4, с. 61).

дельная сцена или глава». В часть первую текст этих «Прибавлений» не вошел; позднее, со Штольцем вместо Почаева, он стал основой главы первой части второй (всего в части второй девять глав вместо двенадцати в печатном тексте).

Эта объемистая глава (будущие главы I—IV), особенно в ее первоначальном слое, еще достаточно далека от окончательного текста: своей описательностью, обилием подробностей и деталей разного рода она мало отличается от первоначальной редакции главы первой части второй романа. Так, если в окончательном тексте «природной речи» Штольца было отведено три с половиной строки общего характера (см.: наст. изд., т. 4, с. 152, строки 5—8), то в рукописи Гончаров остановился только на четвертом, столь же пространным, как и первые три, варианте, причем во всех вариантах настойчиво подчеркивалось, что истинное знание языка пришло к Штольцу во время его бесчисленных поездок по России, география же этих поездок все время менялась: постоянно фигурировали только Москва, Волга и Литва. Первоначально упоминавшиеся в этом ряду Сибирь и Крым были заменены на «древние озера» — Ильмень и Чудское, и «азиатские степи»; присутствовавшая в двух начальных вариантах «церковно-славянская грамота» заместила «первобытной славяно-русской речью»; в четвертый вариант были введены имена современников Обломова и Штольца. Этот последний вариант представляет собою яркий образец стиля автора «Обломовщины»: Штолец «языком говорил и думал русским и знал его вдоль и поперек, во всю ширину и глубину, от Ильменя, Москвы и Волги до Литвы, до азиатских степей, от первобытной славяно-русской речи до степного мужика, от „Слова о полку Игоревом“ до Пушкина включительно; знал со всеми его старыми и новыми заплатами, которые нашивали на него варяги, финны, татары и французы, Шишков, Каченовский, Булгарин и Греч» (наст. изд., т. 5, с. 247, вариант г. к с. 152, строки 5—8). Такой же степенью подробности отличаются друг от друга черновой автограф и окончательный текст в описании немецкого языка Штольца: «...он знал только тот, которым говорил его отец и который он нашел в книгах Шиллера и Гете» (там же, вариант к с. 152, строки 8—9), его раннего воспитания: «От матери наследовал он

русский склад ума, предания русского духа, русского сердца, от отца получил терпение, жажду деятельности и точность в отправлении всякой обязанности, всякого дела, как бы оно мало ни было. И то и другое шли в нем параллельно» (там же, с. 247—248, вариант к с. 152, строка 11), мечтаний и стремлений матери сделать из Андриюши «идеал барина», сложившийся у нее в пору ее службы гувернанткой в богатом доме: «Ужели не будет тщательно возделывать ногтей и усов, делать изящного пробора, ужели не будет принимать тех изящно-ленивых поз, а вечно будет деловым приказчиком, управляющим, фабрикантом?» (там же, с. 250, вариант к с. 155, строка 30), и ее отчаяния оттого, что в конце концов «все труды ее исчезнут: вся тонкая, изящная сторона жизни должна улетучиться от крепкого запаха конторской приемной, от кож, сала и машин на фабрике, перед этой будничной бегомней, где от тонкой мысли, от артистического чувства отрезвляются как от ошибки...» (там же, с. 251, вариант к с. 155, строки 43—44).¹ Менее ярко это стремление к подробности описаний выражено в будущих главах II и III. Здесь Штольц (как и Обломов) несколько старше: ему «давно-давно за тридцать пять»,² и он еще не «вышел в отставку», но «служит, у него есть дом, деревня, он объехал почти полсвета. Он участвует в приисках в Сибири, он член компании, отправляющей шерсть и пшеницу в Одессу,³ он занимается подрядами» (там же, с. 254, варианты к с. 161, строки 2—3, 7—11). В будущем романе говорится об отсутствии у Штольца того «диллентантизма, который любит порыскать в области чудесного» и заглянуть за «порог тайны» (наст. изд., т. 4, с. 162); после этого текста в рукописи шла речь о «жадности», с какою «хвтался он за всякий новый, возникающий вопрос, который становился на очереди науки, общественной жизни, искус-

¹ Характерно, что далее следовало начало (затем зачеркнутое) новой фразы, которая, скорее всего, должна была перейти в сентенцию, почти цитату из «Обыкновенной истории»: «Утешься...» (ср.: наст. изд., т. 1, с. 179, строки 3—16).

² В окончательном тексте — «за тридцать лет» (наст. изд., т. 4, с. 161).

³ В окончательном тексте — за границу. Можно предположить, что одесское предприятие связано с ушедшим из романа Почаевым и что упомянутые Гончаровым в конце романа Одесса и Бичурин с его пшеницей — один из следов первоначального замысла романа.

ства, как следил за процессом его разработывания, и тогда ликование, радости его не было конца» (наст. изд., т. 5, с. 255, вариант к с. 162, строка 30). За сообщением, что «сфера сердечных отправлений» еще была для Штольца «terra incognita», в рукописи следует пространный авторский текст с упоминанием имени Шекспира, к тени которого Штолец обращается с «ироническими вопросами» (там же, вариант б. к с. 162, строка 34). Более объемным был также текст, в котором изложены взгляды Штольца на «женскую сферу» вообще: на изучение ее он «едва ли <...> не больше положил сил ума и энергии воли», «нежели сколько потратил на всю свою остальную деятельность» и тем самым «застраховал себя навсегда от всякого фальшивого шага, который мог завести его в непроходимое болото», благодаря чему «в случае крайности» он всегда мог «рвануться и быть свободным» (там же, с. 256, вариант к с. 163, строки 8—20); тем не менее «женщины, с которыми встречался близко, расходились с ним, долго с сожалением оглядываясь назад и всегда оставляя за ним часть неотъемлемых прав» (там же, с. 256—257, вариант к с. 163—164, строки 41—4). Штолец, в отличие от Обломова, был чужд какой-либо «резигнации»; он вообще «не задумывался ни над чем болезненно и мучительно, не пожирали его угрызения разочарованного сердца, не болел он душой и ко всякому явлению подходил сознательно как к бывшему и знакомому» (там же, с. 257, вариант к с. 164, строки 4—9). Своеобразным заключением этих размышлений о рационализме Штольца были строки: «Не нуждался он, то есть всю жизнь старался не нуждаться ни в ком, а если случалось, то он занимал помощь как деньги и тотчас отдавал с процентами» (там же, вариант к с. 164, строка 14).

В последующем тексте еще сохранились следы от текста «Прибавлений»: Штолец собирается взять деньги не в конторе, а в банке (там же, с. 260, вариант к с. 168, строка 4); здесь еще не называются имена Пенкина, Судьбинского и Волкова (там же, с. 261, вариант к с. 169, строки 12—13); Штолец опять упоминает «почаевскую» Одессу (там же, вариант к с. 169, строка 37).

Первоначальная редакция будущей главы IV особенно заметно отличается от окончательного текста не столько пространностью, сколько по содержанию: так, Штолец с Обломовым проводят в разных петербургских домах не

неделю, а лишь один день и поэтому в рукописи монолог Обломова, обличающего «петербургскую жизнь», значительно короче и обобщеннее («...радость при падении ближнего в грязь, гримаса, когда он опередил нас, стремление к чинам, добывание мест с бессовестным или невежественным отправлением своей обязанности, кичливость с грязью на лице, гордость и смирение тоже перед этой грязью» — наст. изд., т. 5, с. 192). Этот монолог Штольц перебивает, цитируя пушкинских «Цыган» (там же, с. 193). Обломов, отвечая ему, приводит в пример гостей «золотопромышленника», у которого они провели вечер, «франтов с стеклышком в глазу» — людей общества (там же, с. 192, 193), или «толстобрюхого мещанина», нажившего «четыреста тысяч» (там же, с. 195), или «Игнатия Ивановича», который «рвался из всех сил, чтоб занять теперешнее место» (там же, с. 195), — и задает наконец свой «козырный» вопрос: «— Когда же пожить, отдохнуть...». Ответ Штольца: «— Да это и жизнь, это и отдых» — вызывает его реплику: «— Нет, это не жизнь, а беготня, искажение того идеала, который дала природа целью человеку...» — и которому название «покой» (там же, с. 195—196). Далее следует близкое к окончательному тексту описание деревенской идиллии (там же, с. 199—201), неожиданно прерываемое впервые дважды произнесенным Штольцем словом «обломовщина», но пока еще он произносит его, «хлопая в ладони и помирая от смеха» (там же, с. 201). После короткого обмена репликами по поводу слов Штольца: «Как жили отцы и деды, так и ты!» (там же), Обломов продолжает развивать свою идиллию, в одном месте которой (при упоминании девок «с загорелой шеей, с открытыми локтями») уже оба — и Обломов, и Штольц — «покатились со смеху»; после же завершающих идиллию картин наступающего вечера и предстоящего утра, когда «гости разбрелись кто удить, кто с ружьем...», Штольц вновь произносит это слово, но уже «почти с отвращением»: «Обломовщина! Обломовщина!» (там же, с. 202). Обломов еще не реагирует на новую интонацию друга, требуя, чтобы Штольц согласился, что описываемая им картина — «это рай земной»; на это Штольц в третий раз произносит — и уже как приговор: «— Нет, это не рай, а обломовщина!» (там же, с. 203). Последующий текст — с долгим разговором друзей и «их воспоминаниями» — отличается от окончательного текста

в основном стилистически; лишь после слов «ленивой и покойной дремотой» (наст. изд., т. 4, с. 183) в рукописи называется срок, в течение которого продолжалась жизнь, начавшаяся «с погасания»: «И так пятнадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше» (наст. изд., т. 5, с. 209—210). После этой фразы Обломов произносит длинную тираду, из которой следует, что все его бывшие товарищи и сослуживцы ведут такую же бессмысленную жизнь («...не я один задремал» — там же, с. 211): «Михайлов двадцать лет сряду линюет всё одну и ту же книгу да записывает приход и расход, Петров с тетрадкой всю жизнь поверяет, то же ли число людей пришло на работу, Семенов наблюдает, чтобы анбары с хлебом были вовремя отперты и заперты и чтоб кули были верно показаны в графах, а Ананьев вот уж сороковой год сдувает пыль с старых дел... А ведь и они мечтали об источниках русской жизни и тоже было засучили рукава, чтоб разрабатывать эти источники...» (там же, с. 210). В рукописи нет реакции Штольца на эту исповедь Обломова (ср.: наст. изд., т. 4, с. 184, строки 28—33); он предлагает лечь спать, чтобы завтра ехать «хлопотать о паспорте за границу», а затем собираться (наст. изд., т. 5, с. 211). Обломов пытается оттянуть время отъезда, ссылаясь на «кучу хлопот» и убеждая Штольца поехать «на будущий год»: «Что горячку-то пороть? Надо наконец ум-то расшевелить, сообразить куда, как...» (там же, с. 211—212).

Предложенный Штольцем маршрут, начинающийся с Вены, вызывает реплику Обломова: «— Терпеть не могу Австрии...». Штолец, с упреком поглядевший на Обломова, повторяет его слова: «Теперь или никогда!» — и уходит «в гостиную» (там же, с. 212—213; в окончательном тексте — «пошел спать» — наст. изд., т. 4, с. 185).

Далее в рукописи следует пространный текст, возвращающий читателя к главе первой, к различным позам Обломова, соответствующим моменту. «Долго сидел он в одном положении, закрыв глаза, боясь заглянуть в этот омут, который вдруг отверзся перед ним. Наконец вскочил и, натываясь в темноте на стулья, на столы, сдернув что-то со стола халатом, с шумом, с грохотом добежал до постели и, как камень, упал лицом на подушки¹ и погру-

¹ О позах Обломова вообще и в частности о лежании «лицом на подушки» см. выше, с. 40—41.

зился мыслию в эту бездонную пропасть сомнений, вопросов, оглядок, в эту новую сферу, куда его так неудержимо толкала рука друга» (там же, с. 213; курсив наш. — *Ред.*). Тут опять возникает Илья Ильич со страниц «Обломовщины»: он собирается взять с собой в дорогу свои подушки и одеяло, он боится почтового экипажа («в яму попадешь!» — там же), боится моря («А море: я — на море! Качка: вон на картинках всё рисуют корабли, на боку лежат, вода такая зеленая, противная на вид, из нее торчат головы и руки утопающих, сто человек плывет...¹ Господи! Что это вдруг за камень упал на меня! День и ночь ехать! Сидя спать!») (там же). Отдумав ехать со Штольцем, он вдруг начинает представлять себе, как «хорошо и за границей», — и опять решает ехать, но только со слугой: «Как же я без Захара? Я его возьму, непременно возьму» (там же, с. 214). И тут же снова передумывает. Но вдруг вспоминает произнесенное Штольцем слово «обломовщина» — «и грозная необходимость ехать являлась ему как близкая наступающая действительность — и лоб покрывался потом...» (там же). Глава заканчивается погружением Обломова в сон: «— Утро вечера мудренее... — говорил он. — Обломов... щина... обломовщина — вот оно что! Какое слово: точно клеймо, жжется... Прочь, прочь, обломовщина! — И заснул» (там же, с. 215).

К началу главы второй части второй (будущая глава V) Гончаров приступал трижды. В первом варианте «грозные слова», явившиеся Обломову как Бальтасару на пиру, относились и к «ядовитому» слову «обломовщина», и к словам Штольца: «Теперь или никогда!». Обломов читал их утром «на своих брошенных в угол книгах, на пыльных стенах и занавесках, на изношенном халате, на тупом лице Захара», а ночью «они огнем горели в его воображении, напоминая о пройденной половине жизни и угрожая перспективой тяжелого, пустого существования, без горя и без радости, без дела и без отрадного отдыха, без цели, без желаний. „Что ты делал, что делаешь, что будешь делать? — снилось ему беспрестанно, — вставай — теперь или никогда!“» (там же). После этих слов начинался текст, впервые введивший в роман будущую героиню, еще не названную здесь ни Ольгой Павловной,² ни Оль-

¹ Ср.: наст. изд., т. 2, с. 28.

² См. выше, с. 50.

гой Ильинской: «Никогда так живо не начертались ему эти слова, как в одном доме, куда вечером завез его Штольц, где он прожил четыре-пять часов тою жизнью, какую некогда жил в Кудрине, в дни своей молодости, где под животворным огнем женской сферы...» (там же, с. 215). На этом текст обрывается.

Продолжая работу над этим вариантом, Гончаров дважды вводит в него слово «обломовщина», причем во втором случае собирается более подробно рассказать о горестных размышлениях Обломова, связав этот сюжет с текстом части первой: «Прежде он бился, — говорится здесь, — стараясь определить эту пройденную половину, и не знал имени ей; теперь Штольц назвал ее: „Обломовщина“ — таким же длинным неуклюжим словом, как и сама эта жизнь» (там же, с. 215, сноски 2, 5). Правка не была доведена до конца, и появился второй вариант, начало которого отличается от окончательного текста лишь описательностью и некоторыми деталями, зато продолжение было совершенно иным. Вместо слов с упоминанием Штольца, который пишет Обломову «неистовые письма, но ответа не получает» (наст. изд., т. 4, с. 187), сообщается: «...и получает каждый раз ответ, но не с робким оправданием, а в каком-то торжественном тоне, то с необыкновенным, то тревожным, то возвышенным настроением. Послания эти повергали Штольца в совершенное недоумение; наконец он потребовал объяснения и получил в ответ такое письмо...» (наст. изд., т. 5, с. 220). Далее на трех страницах следует текст письма, в котором помимо домашних новостей Обломов¹ сообщает, что влюблен в Ольгу, к которой Штольц привел его «весной вечером и там оставил до ночи, а сам уехал», и что ее взгляд сказал ему: «Теперь!». «И он сказал так повелительно, так неотразимо, что я мгновенно проснулся и вот уже стою на возвратном пути с моей темной тропинки — опять к свету, к блеску, к счастью, к жизни» (там же, с. 221). «Вот мой план, — говорится далее в письме, — мы женимся и поедем вместе за границу» (там же, с. 222). В конце письма он пишет об Ольге, которая, по его словам, являет собою «олицетворенную энергию, волю, любовь»: «Она то покорна (мне, то есть любви своей) как пансионерка,

¹ Которому, кстати, здесь уже тридцать семь лет вместо тридцати пяти, как это было в начале части первой.

то непреклонна и властолюбива, естественна, проста, как... полевой цветок {...} а иногда она ужасает меня глубиной ума, верностью и разумностью понимания...» (там же).

И второй вариант главы не вошел в окончательный текст. Туда попали лишь отдельные исправления и дополнения либо без изменений, либо в несколько измененном виде (см., например: там же, с. 216—220 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 185—187, строки 16—35); с. 222, сноска 3 (ср.: наст. изд., т. 4, с. 188, строки 27—29)); письмо заменяется повествованием о новой деятельной жизни Ильи Ильича на даче; в текст, наконец, вводится рассказ о том, как Штольц впервые привел Обломова в дом Ильинских.

Последующий рукописный текст главы, так же как и тексты остальных глав части второй, кроме окончания главы девятой, последней (в окончательном тексте это глава XII), в основном близок к окончательному тексту романа.

Что же касается окончания главы девятой, то в нем, в ответ на вопрос Обломова, пошла ли бы Ольга к счастью «другим путем», дается ее ответ: «— Ну так я скажу тебе в ответ, что если б не было прямого и покойного пути к счастью, я решилась бы...

Она остановилась и покраснела.

— Ну? — с нетерпением спросил он.

— На всякий! — сказала она» (наст. изд., т. 5, с. 228). При последующем обращении к рукописи Гончаров усилил этот мотив. К последним словам Ольги относилась вставка на полях: «— Как, почему?

— Так, потому что я люблю тебя и чувствую, что эта любовь — долг. Я бы исполнила его» (там же, сноска 1).

Глава девятая осталась незаконченной.

* * *

Как уже отмечалось, часть третья, в рукописи последняя, не выделена (всего в части третьей шесть глав вместо двенадцати в печатном тексте); более того, текст открывающей ее главы (будущие главы I—VII) сначала был отделен от предыдущего текста лишь небольшим пробелом, обычно обозначающим переход к другой сцене. После слов Ольги: «Я не знаю, что тебе делать...» (наст. изд., т. 5, с. 231) — и пробела с новой строки было начато: «Он шел

домой, с сердцем, полным счастья...». Не закончив фразы, Гончаров зачеркивает ее, вписывает обычное обозначение «Гл(ава)» и начинает новый вариант: «Воротясь домой, он застал у себя Тарантьева и вдруг похолодел, упал с облаков. Он с изу(млением)» (там же, с. 338, вариант а. к с. 288, строки 3—8). Следующий вариант начинается с возвращения Ольги после свидания с Обломовым домой и ее беседы с теткой. В идущем далее авторском тексте подробно анализировалось состояние девушек, только что ставших невестами, у которых от этого «дрожит сердце» и «горит взгляд», и ставился вопрос: «Отчего же Ольга не трепещет?» (там же, с. 338—339, вариант б. к с. 288, строки 3—8). Этот вариант тоже зачеркивается, и Гончаров возвращается к варианту с Тарантьевым: «Обломов шел с таким праздничным лицом домой, так бодро, живо вошел к себе в комнаты и остолбенел, похолодев. Ему стало вдруг холодно, противно. Он упал с облаков. В его кресле сидел Тарантьев» (там же, с. 339, вариант в. к с. 288, строки 3—8). Но и это начало вычеркивается, и в рукописи появляется новый, уже окончательный вариант — без Тарантьева. Гончаров возвращает Обломова к его счастливому состоянию. И если Ольга «не трепетала, не бегали мурашки у ней по плечам, не горел взгляд гордостью» (вариант б.), то Обломов «почувствовал себя гордым, могучим <...>. Ему выпало на долю решительное мгновение, которое возводит человека на крайнюю высоту жизни и для которого люди с блаженством кидаются в бездну. Он вдруг вырос в собственных глазах, вдруг почувствовал и осознал в себе массу способностей и сил, которых не подозревал; воскресло всё, что он считал погибшим. Мысли потекли свободным, широким потоком, в груди закипели намерения, забились яркие и сильные надежды. <...> у него есть цель!» (там же, с. 339—340, вариант г. к с. 288, строки 3—8). По-видимому, в частности, этот текст Гончаров, по его собственному признанию в письме к И. И. Льховскому от 2(14) августа 1857 г. из Мариенбада, «писал как будто по диктовке. И, право, многое явилось бессознательно; подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать». Возможно, именно в этом состоянии он, увлеченный, вдруг незаметно для себя вернулся к уже написанной сцене последнего свидания и стал продолжать ее: «Она неподвижно сидела на скамье и гордым счастливым взглядом смотрела на трепе-

шущего у ног ее зрелого мужчину, следила, как любовь зажигала и пробуждала в нем силы, как он бился и плакал». И, не замечая смещения хронологии событий, Гончаров продолжает: «— Боже! Что со мной делается! — шептал он про себя, оглядываясь изумленными глазами вокруг. — Пятнадцать лет сна, позора, как в болоте, — и вдруг одной минутой, одной искрой она зажгла жизнь. <...> Возьми же мою жизнь <...> отдаю тебе ее всю <...>. Дай мне жить, жить!». Сцена свидания заканчивалась страстным монологом Ольги: «Я давно взяла твою жизнь! Ты — мой! Я одолела твой сон, ты спасен! Я — цель твоей жизни. Как я сильна! — сказала она гордо. — Женщина может всё, что захочет: она одна — цель мужчины: без нее нет ему жизни. — И она опять смотрела на него, лежащего у ее ног» (там же).

Вероятно, дописав этот новый вариант, Гончаров заметил свою ошибку со включением фрагментов из сцены уже закончившегося свидания и вычеркнул из текста два эпизода (первый начинался со слов: «Она неподвижно сидела на скамье» — и заканчивался словами «как он бился и плакал»; второй — со слов: «Он страстно целовал ей руки» — и до конца варианта). Последний вариант теперь заканчивался словами, мысленно обращенными к Ольге: «Возьми же мою жизнь, ты создала ее опять, отдаю тебе ее всю, сделай, что хочешь, что можешь. <...> Дай мне жить, жить!». Этот последний вариант представляет собой начало будущей главы V части третьей. Зачеркнутый же страстный монолог Ольги Гончаров попытался использовать в словах Обломова, обращенных к ней в будущей главе VII (см.: наст. изд., т. 4, с. 351—352, строки 20—2); другие следы отброшенного текста просматриваются в следующем далее тексте рукописи — там, где Ольга напоминает Обломову о его обязанностях («— Пришло время действовать, Илья: я требую этого, приказываю! — сказала она. — Я сделала всё, что может сделать женщина: теперь твоя очередь наступила. Я уже не скажу ни слова, и если правда, что от моей любви воскрес в тебе человек, мужчина, не мне уже говорить тебе, что делать! — сказала она, протягивая ему обе руки» — наст. изд., т. 5, с. 374, вариант к с. 352, строка 5), и там, где она прерывает восторженную речь Обломова, любуясь «в нем своей силой» («— Да, — говорила она, — женщина может сделать всё, одна только женщина! Штольц ничего не сделал. Не он,

а я выведу на тебя (так в рукописи. — *Ред.*) на простор и потом всю жизнь буду гордиться...» — там же, вариант к с. 352, строка 11). И немного ниже: «Она с наслаждением торжества смотрела на его голову, склоненную к ее ногам» (там же, вариант к с. 352, строки 18—19). В печатный текст вся эта торжествующая восторженность не вошла, и монологи Ольги стали менее экзальтированными.

Следующая рукописная глава (будущие главы VIII—X) — диалог Обломова с Захаром и Анисьей по поводу посещения Ольги, описание реакции Ильи Ильича на письмо поверенного, отказавшегося «присматривать» за имением и сообщавшего, что без присутствия Обломова (хотя бы в течение четырех месяцев) едва ли удастся получить дохода «больше трех тысяч», и сцена с «братцем» — была написана в очень короткий срок — к 29 июля (9 августа) 1857 г. В письме к Ю. Д. Ефремовой, датированном этим днем, Гончаров сообщал, что роман почти закончен и хотя еще «требуется значительной выработки», но тем не менее «недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить в Петербурге»; все написанное же составляет 45 листов, т. е. границей этого написанного текста назывались именно будущие главы VIII—X (л. 44—45 авторской нумерации). И по содержанию, и стилистически весь этот рукописный текст почти не отличается от будущего печатного текста. При этом фрагмент, в котором Обломов спрашивает «братца», где тот учился, а в ответ на замечание Ивана Матвеевича о том, что Обломов в отличие от него учился «настоящим наукам», Илья Ильич, подтверждая это, признается в своей полной неспособности применить эти «науки» к какому-либо практическому делу, появился в составе будущей главы IX не сразу (см.: там же, с. 378, вариант к с. 360—361, строки 30—6). Это дополнение относится, скорее, к сфере «архитектоники», так же как и последний абзац этой главы, который заключал в себе размышления Обломова, едущего к Ольге объясняться по поводу предстоящей отсрочки помолвки (см.: там же, с. 379, вариант к с. 361, строка 41); в печатном тексте этим последним фрагментом (в несколько измененном виде) открывается глава XI. Текст будущей главы X также появился при очередном обращении Гончарова к рукописи и полностью вписан на полях. В нем уже не было обычных длиннот, за исключением довольно подробного описания трактира близ дома Пшеницыной, на перво-

начальной стадии сложившегося текста (без сцены в трактире) действительно излишнего. После введения этой сцены в текст будущей главы X следы описания трактира обнаруживаются в первом же ее абзаце (ср.: там же, с. 376, вариант к с. 356, строка 10, и наст. изд., т. 4, с. 362, строки 1—10).

Гончаров несколько забежал вперед, когда в упоминавшемся выше письме к Ю. Д. Ефремовой, называя в качестве последнего написанного листа л. 45, писал: «Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого размышления, именно главная задача романа, его душа — женщина, — уже написана, поэма любви Обломова кончена...». «Душе» романа — Ольге и окончанию «поэмы любви» и была посвящена очередная глава романа (будущая глава XI печатного текста), занимающая в рукописи л. 46—47 и начало л. 48 авторской нумерации. Об этой очередной стадии работы Гончаров писал И. И. Льховскому 2(14) августа: «...31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов — и повторял: — Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места». В этом же письме Гончаров со всей определенностью признает, что он недоволен своей героиней: «Например, женщина, любовь героя (...) может быть, такое уродливое порождение вялой и обессиленной фантазии, что ее надо бросить или изменить совсем: я не знаю сам, что это такое. Выходил из нее сначала будто образ простоты и естественности, а потом, кажется, он нарушился и разложился...». Здесь, конечно же, имеются в виду упоминавшиеся выше восторженно-страстные монологи героини.

Текст той части рукописи, которая соответствует будущей главе XI романа, заметно отличается от печатного. Прежде всего он более пространен, начиная с появления Ольги после случившегося с ней обморока (см.: наст. изд., т. 5, с. 382, вариант к с. 367, строки 10—18). Гончаров предпринимает три попытки передать состояние Обломова, прочитавшего приговор себе в глазах Ольги.

«— Что ты, что с тобой? — нерешительно, едва говорил Обломов в ужасе, смутно понимая, что она хочет и не может выговорить приговора», — говорится в первом варианте после робко высказанного намерения Обломова все «устроить иначе», на которое не последовало никакой реакции Ольги (там же, с. 382—383, вариант *а.* к с. 367, строка 20). Следующий далее фрагмент уводит читателя в сторону от

реакции героя: «— Прощай! прощай!... наконец вырвалось у ней среди рыданий. — Мы не увидим... — Она не договорила, и слово утонуло в слезах. Она плакала не как плачут от живой мгновенно поразившей временной боли, слезы текли холодными струями, как осенний дождь в ненастный день заливают нивы» (там же). Второй вариант Гончаров попытался сделать более коротким и менее описательным, но введение в него третьего лица — Марьи Семеновны,¹ на которую ссылается Ольга, чтобы заставить Обломова уйти («...она заметит, что я расстроена, неловко. Я скажу ей, что извинилась перед тобой, сошлюсь на головную боль или что-нибудь такое...» — там же, с. 383—384, вариант б. к с. 367, строка 20), снижало остроту ситуации. По-прежнему не понимающий до конца решения Ольги, Обломов вновь спрашивает, когда ему приехать, что вызывает у Ольги сначала «удивление», а потом и новый вопрос: «— Как приехать? Зачем? — сказала она». Диалог опять разрастается, но в конце концов Гончаров снимает большую его часть (см.: там же, с. 383). Тем не менее длиннот в этой сцене оставалось много (см., например: там же, с. 385, варианты к с. 368, строки 10, 12, 15—16, 18—19, 23, 39; с. 386, вариант к с. 369, строки 23—24), и особенно в заключительной ее части. Более того, вместо недосказанного Ольгой слова «Прощай» (там же, с. 386, вариант к с. 369, строки 41—44) на вставном листе² появился ее большой монолог, начинающийся со слов: «А если ты вдруг женишься, прочтешь две-три книги, пожалуй, выстроишь новый дом в деревне...» — и заканчивающийся оглушительными рыданиями (там же, с. 386—387, вариант к с. 370, строка 2). Правда, в конце концов он был все же вычеркнут, так же как был заменен более коротким не столько длинный, сколько аффектированный монолог героини, который она произносит, «трясаясь в рыданиях» и прося у Обломова прощения за то, что

¹ Она уже упоминалась (см.: наст. изд., т. 4, с. 327, строка 43 и вариант к ней). Это из-за ее имени Гончаров исправил в печатном тексте имена упоминаемых Агафьей Матвеевной портних — Елизаветы Семеновны и Марьи Семеновны на Лизавету Николаевну и Марью Николаевну (см.: наст. изд., т. 5, с. 376, вариант к с. 356, строка 7).

² В конце этого листа помета: «(На особом клочке под литер(ами) А. А.)», ошибочно связанная О. М. Чеменой с именем А. А. Колзаковой (см. об этом ниже, с. 160—161).

не приносит ему в жертву свою жизнь: «...ты заснул бы, а я, я не могу уснуть... я хочу жить... любить живого человека... Смотри... как я молода... жизнь прекрасна...» и т. д. (там же, с. 388, вариант а. к с. 370, строки 31—33). И далее, после «с ужасом» произнесенного Обломовым предположения: «— Если ты умрешь?..» (наст. изд., т. 4, с. 370, строка 36), она выносит ему уже окончательный приговор: «...я не хочу уснуть, я хочу жить, а ты умер» (наст. изд., т. 5, с. 388, вариант к с. 370, строка 39) — и еще с большей жестокостью поясняет, что те качества, за которые она любила Обломова, она найдет и полюбит «...везде, в другом, в живом человеке...» (там же, вариант к с. 370—371, строки 40—4).

Под последней фразой Гончаров провел черту, обычно означавшую у него конец главы или сцены, и оставил незаполненной оставшуюся часть листа.

Далее вместо слов «Часть четвертая» следовало обычное обозначение «Гл(ава)» (там же, с. 390, вариант к с. 374, строка 2), а за ним — еще шесть глав и Заключение, в основном написанные за границей. В печатном тексте эти шесть глав и Заключение вошли в часть четвертую, состоящую уже из одиннадцати глав, причем главы X и XI были образованы из Заключения.

Будущие главы I—III части четвертой по содержанию не отличаются от печатного текста, хотя по объему превышают его за счет многочисленных длиннот, от которых при подготовке романа к печати Гончаров тщательно освобождал текст. Такова, например, абстрактная параллель к тексту, в котором говорилось о переменах в состоянии Ильи Ильича по мере его выздоровления, когда «место живого горя» в нем «заступило немое равнодушие»: «Потом всё потекло без видимых перемен, и если жизнь менялась в своих явлениях, то это происходило с такою медленною постепенностью, с какою происходят геологические видоизменения земли. Там потихоньку осыпается гора, здесь прилив в течение веков наносит ил и образует приращение почвы, там море медленно отступает» (там же, с. 391, вариант к с. 375, строка 9). Собираясь продолжать это сравнение — но уже по отношению к Агафье Матвеевне, Гончаров начинает его со слов: «Геологические постепенные...». Отбросив первое слово, он пишет: «Постепенные видоизменения в жизни Выборгской стороны всего более произошли над...», и только в третий раз

написанное устраивает его (см.: там же, с. 392, вариант к с. 377, строки 41—42), при этом приведенный выше текст, соотнесенный с Обломовым, вычеркивается. Или, например, в развернутом определении чувства любви (см.: наст. изд., т. 4, с. 381, строки 1—15) после слов: «оковывает будто сном чувства» — был еще и такой не совсем понятный фрагмент: «...и прививает, как каждая черта чужого постороннего лица, каждое слово, и какая именно черта, какое слово глубоко врежется в воображение» (там же, с. 393, вариант к с. 381, строка 7). Столь же излишними, вероятно, счел Гончаров размышления Агафьи Матвеевны, пытающейся объяснить самой себе впечатление, «сделанное на ее душу появлением в ее жизни Обломова» (наст. изд., т. 4, с. 382): «„Вот какие есть на свете люди“, — думалось ей, и Илья Ильич стал для нее нормальным человеком, идеалом» (там же, с. 394, вариант к с. 382, строки 1—2). Явно лишними оказались в тексте обращенные к Обломову слова Штольца, когда он старался доказать, что любовь Обломова и Ольги была ошибкой. После оставшихся в основном тексте слов: «Виноват больше всех я, потом она, потом уж ты, и то мало» (наст. изд., т. 4, с. 388) — было такое продолжение: «Вы не любили друг друга или любили только воображением, потом привычкой. Теперь она здорова, весела» (там же, с. 397, вариант к с. 388, строка 44). Лишними оказались и слова Штольца, советующего Обломову «переменить образ жизни», чтобы не нажить «водяную или удар». Утверждая, что у его друга «с надеждами на будущность кончено», он тем не менее продолжает: «Учиться, читать, разрабатывать русские источники, служить — словом, двинуть, положить силы и всю волю в жизнь — на это тебя не станет» (там же, вариант к с. 390, строка 10).

Некоторые длинноты, и не только в диалогах, обратили на себя внимание слушателей рукописи почти законченного романа.¹ Два чтения «Обломова» состоялись в Париже 19(31) августа и 20 августа (1 сентября) 1857 г. в присутствии Тургенева, Фета и Боткина. В окончательном тексте одной из сцен романа после парижских чтений оказалось трижды использованным тургеньевское выражение «голубая ночь» (см.: наст. изд., т. 4, с. 423, 462,

¹ См. о сходных в этом плане впечатлениях В. П. Боткина и И. С. Тургенева ниже, с. 278.

463, а также: наст. изд., т. 5, с. 410, вариант к с. 423, строки 28—33). Гончаров вспоминал по этому поводу в «Необыкновенной истории»: «...когда я читал ему последние главы „Обломова“ и дошел до того места, где *Штольц* в Швейцарии, после объяснения с *Ольгой*, назвал ее своей невестой и ушел, Тургенев был тронут ее „сном наяву“ и ее мысленным монологом: „Я — его невеста!“ и т. д. Тургенев нашел, что у меня вставлено было несколько лишних подробностей, тогда как ей (выразился он) снится *какая-то голубая ночь*... „Это очень хорошее выражение «голубая ночь», — сказал я. — Могу я употребить его — вы позволяете?» — „Конечно“, — с усмешкой отвечал он».

Примерами же излишне длинных диалогов могут служить два рукописных фрагмента (будущая глава II части четвертой). Первый из них следует после жалобы Обломова на жизнь, которая «трогает», не дает «покоя»: «Привяжешься к чему-нибудь, увидишь рай и только почувствуешь благо бытия — тут же рядом начнется мука, за каждую радость платишь втридорога слезами; не любишь никого, свободен — мука и в стоячей жизни — скука до слез. Жизнь — терзанье! Устанешь и хочется склонить голову и заснуть, хоть навсегда!

— Зачем же ты выдумал, что жизнь — покой? А ты думай, что она — движение, тогда мука, покой, труд — будут мелькать, как дни и ночи, и не заметишь. Отчего же я не устаю? Мне, напротив, всё больше хочется жить: одно опасение тревожит меня, что жизнь коротка. Ах, если б прожить лет двести, триста! — заключил он (*Штольц*. — *Ред.*), — сколько бы можно было узнать, переделать дела! А то мало, коротка!» (наст. изд., т. 5, с. 398—399, вариант к с. 391, строки 20—26). В печатном тексте от слов Обломова сохранилась одна строка, а длинный и назидательный ответ *Штольца* был полностью переписан и, вероятно, не только из-за дважды употребленного им слова «коротка», но и из-за упоминания самого себя в качестве образца для подражания.

Во втором фрагменте, значительно отличающемся от окончательного текста, Обломов дает подробный наказ *Штольцу*, за что просить от его имени у *Ольги* прощения: «...скажи, чтоб простила меня», «если я оставил в ее жизни мрачное пятно»; «если я сделал зло, ей-богу, невольно; себе я повредил еще больше». «Скажи еще, — просит

он, — что не напрасно она думала, что была огнем и разумом моей жизни, что я одну ее любил и узнал через нее всю прелесть жизни, что воспоминание о ней так свято мне...» и что если б «я был злодеем, и тогда довольно бы было мне вспомнить о ней, чтоб уж не сделать никогда зла...». В этом же монологе он признается Штольцу: «Когда я вспомню, что за рай отверзался мне, какой ангел летал над моей головой, а потом вдруг оглянусь вокруг, мне бывает так тяжело, Андрей, что я теряюсь». Ответ Штольца немного короче, но он опять-таки назидателен. Он не только передает Обломову сказанное Ольгой: «...она велела сказать, что ты оставил чистую память по себе, что воспоминание того, что она любила в тебе, она перенесет, а может быть, уже и перенесла в другую любовь», но и дает ему совет, хотя знает, что он невыполним: «Живи же ее памятью и — воскресни, ищи более строгой и серьезной цели. Сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина: в этом вы ошибались оба» (там же, с. 399—400, вариант к с. 392, строки 30—35).

Дальнейший текст (будущая глава IV части четвертой), посвященный нечаянно встреченной Штольцем в Париже Ольге, их полугодовому общению и отъезду в Швейцарию, где произошло объяснение, после которого Ольга приняла предложение Штольца, заметно отличается от печатного текста. Фрагмент, который следует после слов: «...откуда бьет этот ключ счастья...» (наст. изд., т. 4, с. 406) — и состоит из долгих и мучительных размышлений Карла и столь же долгих раздумий Ольги о том, что же такое была ее любовь к Обломову и что она испытывает теперь по отношению к Штольцу, вплоть до заключительных слов: «Я его невеста!» (там же, с. 423) — был иным: в нем не Штолец, а сама Ольга кладет конец «этой ежедневной борьбе»: «В ее чистой, простой и здоровой натуре явления совершались правильно и естественно, и она подошла к решению важного вопроса тою же прямой, не уклоняющейся в сторону дорогой, какой шла, когда над ней разыгрывалось первое, тогда еще незнакомое ей чувство любви к Обломову. Она переживала ее фазисы и шла, зорко наблюдая за всем и не выпуская из рук воли. Тут (в случае со Штольцем. — *Ред.*) было то же самое, но она шла тверже, еще сознательнее и видела дальше вперед. Она решила вопрос, когда надо было остановиться, когда не было пути вперед. Она была у цели, о ко-

торой не догадывалась» (наст. изд., т. 5, с. 231). Вероятно, не только подобные «длинноты», но и то обстоятельство, что Ольга взяла на себя разрешение сложного узла отношений со Штольцем и первой призналась ему в любви (см.: там же, с. 236—237), вызвали недовольство Гончарова созданным им образом героини. Не случайно весь упомянутый фрагмент (см.: там же, с. 231—237) был писателем переписан заново, так же как и другой, представляющий собою большую часть будущей главы VIII части четвертой печатного текста. Этот второй фрагмент (см.: там же, с. 237—243) начинается иначе уже с первой фразы: «Не приехал Штольц на будущий год в Петербург, не заглянул он даже в Обломовку» (там же, с. 237), в которой раньше побывал «три раза» и где «хозяйничал» и «распоряжался» (там же, с. 71), тогда как в печатном тексте он уже «несколько лет» не приезжал в Петербург и «однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку» (наст. изд., т. 4, с. 446). Всего в нескольких строках описывается в рукописи «домик» Штольцев (наст. изд., т. 5, с. 237), тогда как в печатном тексте их «скромному» дому, или «коттеджу», отведена почти целая страница — с подробным описанием его внутреннего убранства, носившего «печать мысли и личного вкуса хозяев» (наст. изд., т. 4, с. 446). Но зато в рукописи сразу после упоминания о семейном «домике» следовало несколько страниц текста с изложением взглядов Штольца на любовь, на холостую жизнь и особенно на женитьбу «...как на гроб — не любви, этот пошлый приговор пошлых мужей, с пошлыми, отжившими сердцами, мужей, презирающих будто бы любовь, потому что чаша эта пронеслась мимо их, не коснувшись их уст, потому что они святое пламя ее потратили на сожжение нечистых жертв, среди душевных оргий <...>. Штольц считал женитьбу гробом — не любви, а своего общественного, гражданского труда, дела и существования, — он понимал, что любовь в лице Ольги помешает ему ездить в Сибирь, копать золото, посылать грузы пшеницы за границу, участвовать в компаниях, даже служить казне так, как он понимал службу» (наст. изд., т. 5, с. 237—239). Изложение это изобиловало сентенциями вроде: «„Любовь — скоропреходящий цветок“, — говорят, платя урочную дань ей, и потом топчут в грязь, потому что нет у них почвы, где бы цветок мог приняться глубоко, пустить корни и вырасти в такое

дерево, которое бы осенило ветвями всю жизнь» (там же, с. 238). Долгая холостая жизнь Штольца объяснялась в рукописи еще и его «немецкой половиной», благодаря которой «...он верил и в любовь и считал брак делом величайшей важности. Он всегда задумывался над вопросом о том, как вдруг река его деятельности остановит свое течение, как из неустомимого туриста, чиновника, купца он обратится в мужа, в домоседа, в угодника желаний, может быть, капризов жены?». И хотя он «много ценил» Ольгу и отличал ее «от прочих», видя в ней «залог прекрасного будущего», но «этим и ограничивалось его исключительное внимание к ней» (там же, с. 239—240).

В рукописи нет большей части текста, посвященного «довоспитанию»¹ Ольги до состояния, в котором Штолец застал ее за границей. Здесь фигурирует Ольга-жена, которая не забывала «летучих уроков» Штольца и которая «бессознательно проникалась его духом, его взглядом и оттого так легко управлялась с первым опытом, с первой любовью, в которую многие женщины неразумно и неосторожно кладут всю жизнь» (там же, с. 240). Другим было в рукописи описание «строгой системы» дальнейшего воспитания Ольги Штольцем: «Она любила детей по природе и по сознанию, как долг. Но просидев долгие часы у колыбели и отходя, она искала усталым взглядом Карла, и потом взгляд этот блуждал вокруг и искал — не кого-нибудь, а еще чего-нибудь. Карл караулил этот взгляд и обращал его от детского долга на другой какой-нибудь уже готовый долг жизни, бравший столько же часов, созданный или по крайней мере открытый им. Задумывалась она над явлением, он вручал ей ключ, томила ли ее глухая грусть, он дорывался до дна и подводил ее к источнику и потом возводил и то и другое в идею и правило. То, что он прежде кидал ей беспорядочно, теперь приводилось в строгую систему...» (там же, с. 242—243).

Иным был и допечатный текст, посвященный «трудной роли» Штольца-мужа, который понимал, что Ольга «не снесла бы никакого понижения хоть на один градус достоинства его качеств» (см.: там же, с. 424, вариант

¹ Слова «довоспитается» и «довоспиталась» по отношению к Ольге употреблены и в рукописи, и в окончательном тексте (см.: наст. изд., т. 5, с. 241; наст. изд., т. 4, с. 452).

к с. 464, строки 36—37; ср.: наст. изд., т. 4, с. 464): «Каково же всю жизнь быть или казаться выше всех своих собратий, мужчин, в глазах ее, заслонять их собою, ни в чем и никогда не уступать никому и ни на минуту не сойти с своего пьедестала! Штольцу это было легче, нежели другому, но трудно было сохранить в этой трудной роли простоту и естественность, не драпироваться в костюм всесветного умника, не рисоваться никогда. С другой, может быть, и нужно тайком прибегнуть к такому способу, но с Ольгой нельзя; и заметь она это однажды, кредит его подорван без возврата» (наст. изд., т. 5, с. 422—423, вариант б. к с. 463, строка 44).

Вообще же весь рукописный текст будущей главы VIII части четвертой вплоть до того места, где Штольц вслух произносит имя друга («— Бедный Илья! — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое» — наст. изд., т. 4, с. 465), а Ольга при этом имени отложила работу и глубоко задумалась, отличался той же чрезмерной описательностью, которой изобиловали страницы рукописи части первой романа. Именно поэтому текст фрагментарно подвергся значительной стилистической правке.

Характерно, что рукописный текст (так же как впоследствии текст печатных изданий), касающийся Агафьи Матвеевны Пшеницыной (будущие главы I, III, VI и VII части третьей, будущие главы I, V, IX и X части четвертой), оставался с начала до конца почти нетронутым (небольшая правка в нем носит сугубо стилистический характер — см., например: наст. изд., т. 5, с. 344, варианты к с. 296, строки 21, 39—40; с. 349, вариант к с. 305, строка 38; с. 364, вариант к с. 336, строка 7; с. 393, варианты с с. 380, строки 15, 39, 44; с. 395, вариант к с. 385, строка 20).

Работа Гончарова над окончанием романа отражена в письме от 15(27) августа 1857 г. к неустановленному лицу (возможно, И. С. Тургеневу), которому писатель сообщал, что ему осталось «закончить две последние сцены: прощание Обломова с приятелем навсегда и заключение, небольшую сцену, в которой досказывается, что случилось со всеми героями романа». Здесь же говорилось, что уже обе «сцены набросаны и могли бы быть кончены в три-четыре присеста». В течение месяца первая из упоминаемых сцен, скорее всего, была дописана (ею завершалась будущая глава IX части четвертой), и оставалось только За-

ключение.¹ Обе «сцены» в рукописи мало отличаются от окончательного текста. При подготовке к печати в них были внесены лишь некоторые исправления (например, вместо первой фразы: «Прошло лет семь» — стало: «Прошло лет пять» — там же, с. 437, вариант к с. 484, строка 33; «ветки вербы» над могилой Обломова превратились в «ветви сирени», а «безмятежно» пахнувшая крапива стала «полынью» — там же, вариант к с. 485, строки 21—23) и отдельные дополнения (вроде опять мелькающей рано утром мимо решетчатого забора фигуры «братца» (там же, вариант к с. 485, строки 14—18) или обстоятельств предсмертной болезни Ильи Ильича (там же, с. 437—438, вариант к с. 485, строки 31—40)). Почти нетронутой осталась будущая глава XI: на полях появились две небольшие вставки — одна в рассказе Захара о его попытке «извозчиком ездить», другая в диалоге Штольца и литератора (там же, с. 442, варианты к с. 492, строки 11—21, и к с. 493, строки 13—15).

2

8 октября 1857 г. Гончаров возвратился из-за границы с недописанной последней главой. Тем не менее он считал роман законченным, хотя и «необработанным». Еще в дрезденском письме к Ю. Д. Ефремовой от 11(23) сентября 1857 г. писатель признавался, что «Обломов» «холоден, вял и сильно отзывается задачей». «Может быть, — говорится здесь далее, — если б я имел полгода свободы для выработки, так мог бы еще сделать получше, а теперь придется скомкать как-нибудь...». Несмотря на то что у него еще не было договоренности о печатании романа в определенный срок в конкретном журнале, в этих словах не было преувеличения: все расширяющийся круг цензорских обязанностей,² подготовка первого отдельно-

¹ Поздняя запись (1888 г.), в которой говорится, что роман, начиная с части второй, был весь написан в Мариенбаде, «за исключением последних 2-х или 3-х глав, дописанных зимой в Петербурге» (см.: наст. изд., т. 5, с. 443), может быть объяснена тем, что в печатном тексте Заключение превратилось в две самостоятельные главы. Ср. также упомянутое выше письмо к В. В. Стасову от 27 октября 1888 г.

² О все более увеличивающемся объеме своих «служебных занятий» Гончаров сообщал, например, А. В. Никитенко в письме от 8 ноября 1857 г.; см. также: *Мазон*. Р. 455.

го издания «Фрегата „Паллада”»,¹ обстоятельства, связанные с предложением преподавать наследнику престола русский язык и словесность (см.: *Летопись*. С. 79—80, 87), и, наконец, волнения по поводу выбора журнала для публикации романа — все это действительно оставляло мало времени для «выработки» его текста.

На роман Гончарова продолжал рассчитывать Дружинин;² о характере их соглашения в письме Гончарова к Е. Ф. Коршу от 25 ноября 1857 г. говорится следующее: «...у нас с ним <Дружининым> еще не окончательно решено, то есть если здешняя цензура, которая, как вам известно, слишком осторожна, что-нибудь предложит значительно исключить или изменить, то я предложу роман „Русскому вестнику” или же, в случае непринятия им на прежних условиях, напечатаю отдельно в Москве же». Упоминание «Русского вестника» в этом письме связано не только с прежним предложением Каткова,³ но и, возможно, с встречей Гончарова с В. П. Безобразовым, которого редактор журнала в письме от 17 октября 1857 г. просил посоветовать писателю вернуться к переговорам о продаже ему «Обломова».⁴ Ответ Гончарова на предложение Каткова не известен; скорее всего, он был отрицательным.

В начале 1858 г. попытался приобрести роман для задуманного им журнала «Русское слово» Г. А. Кушелев-Безбородко. Ближайший его помощник, Я. П. Полонский, в письме от 25 января 1858 г. из Рима к Е. А. или М. Ф. Штакеншнейдер просил передать Гончарову (через А. А. Григорьева) предложение Кушелева продать ему «Обломова» за 7000 руб. серебром и прибавлял: «Это он делает по моему внушению; я уверил его, что роман Гончарова способен дать журналу лишних 500 подписчиков. <...> Я очень бы желал, чтоб это состоялось, — начать журнал капитальным произведением и приятно, и полезно» (*РЛ*. 1969. № 1. С. 165). Очевидно, Гончаров первоначально на это предложение отвечал положительно и даже назвал свою цену за роман, но вскоре изменил решение.

¹ См.: наст. изд., т. 3, с. 450—455.

² См. об этом выше, с. 21. Ср. письмо И. И. Панаева к В. П. Боткину от 16(29) октября 1857 г.: «Гончаров продал роман Дружинину по 200 руб.!!!» (*Тургенев и круг «Современника»*. С. 429).

³ См. об этом выше, с. 20—21.

⁴ См.: Новое время. 1901. № 9140.

22 июля 1858 г. он писал А. В. Дружинину: Кушелев «предложил мне 10 тысяч руб. за роман, чтоб я позволил его напечатать у него в журнале и отдельно для раздачи подписчикам следующего года. Но я, конечно, от этого уклонился: что за журнал будет, как он пойдет и проч. До сих пор всё это довольно карикатурно...». В этом же письме он ставил Дружинина в известность, что А. А. Краевский предложил напечатать «Обломова» «в журнале и отдельно за ту же сумму, т. е. за 10 т<ысяч>», замечая при этом: «Я ему еще слова не давал, — ссылаясь на наши с Вами переговоры <...> и сказал, что обо всем этом извещу Вас и тогда уже приступлю к решению этого давно всем и мне самому наскучившего дела». Вероятно, Дружинин не возражал против сделки Гончарова с Краевским, вскоре ставшей известной и другим заинтересованным сторонам. Так, Некрасов, сообщая в конце сентября 1858 г. эту новость Тургеневу («...роман этот продан за адскую сумму 7-мь т<ысяч> от Краевского за помещение в журнале и 3 за отдельное издание — всего 10-ть!») и выражая надежду получить для «Современника» «Дворянское гнездо» («...назначение цены будет зависеть от тебя»), прибавлял: «Сказать между нами — это была одна из главных причин, почему я не гнался за этим романом...».¹

6 октября 1858 г. соглашение с Краевским было оформлено окончательно (см.: *Летопись*. С. 86). В начале декабря часть первая «Обломова» должна была поступить в типографию. Сообщая эту новость брату в Симбирск, Гончаров писал ему 20 ноября 1858 г.: «Ты, верно, читал объявление об издании „Отеч<ественных> записок“ в будущем году: там сказано, что и мой роман будет напечатан там же». В упоминаемом объявлении роману Гончарова отводилось особое место. Здесь говорилось: «...в будущем году мы дадим большой роман г-на Гончарова, который публика ждет давно с нетерпением, потому что прочла прекрасный, хотя и небольшой, отрывок из первой его части „Сон Обломова“. Этот роман, вполне оконченный, приобретен уже редакцией и печатание его в „Отечественных записках“ 1859 года начнется с первой книжки. Надеемся, что два такие произведения, как роман г-на Писемского («Тысяча душ». — *Ред.*) и Гончаро-

¹ Некрасов. Т XIV, кн. 2. С. 114—115; ср. также выше, с. 18, 20.

ва, напечатанные в нашем журнале, составят два капитальные приобретения нашей словесности 1858 и 1859 годов» (ОЗ. 1858. № 12. С. 4).

Итак, для «выработки» текста романа и для изготовления беловой или наборной рукописи оставалось меньше двух месяцев, из которых последний выдался особенно напряженным из-за занятости по цензуре. 5 ноября 1858 г. Гончаров писал об этом И. И. Льховскому: «Теперь последний месяц я пользуюсь свободой: в декабре начнут носить корректуры новых журналов (их множество)¹ и, сверх того, корректуру 1-й части „Обломова”». Представление о характере работы над предшествующими первопечатному тексту рукописями может дать опубликованный в «Атенее» у Е. Ф. Корша за год до выхода романа в «Отечественных записках» отрывок из его части третьей (см.: наст. изд., т. 4, с. 295—301, строки 10—40). «Если бы Вы не захотели отрывка, а непременно что-н(и)б(удь) целое или если он покажется Вам слаб, возвратите его Майкову,² — писал Гончаров Коршу 25 ноября 1857 г. и продолжал: — Пожалуйста, не церемоньтесь, если не понравится: я не обижусь, потому что отрывок, отдельно взятый, может показаться ничтожным, а в целом пройдет незаметно. Если же Вы его примете, то прошу не помещать ни в первом, ни во втором, ни даже в третьем номере, чтоб он не кидался очень в глаза». «Отрывок» представлял собою описание первой поездки Обломова на Выборгскую сторону с целью отказаться от навязанной ему Тарантьевым квартиры. Текст обрывался в середине абзаца, чтобы избежать упоминания имени Ольги, связывавшего отрывок «с целым»³ (см.: там же, с. 301, строка 40). Выбор именно этого фрагмента не случаен: помимо того, что он действительно выглядит законченным эпизодом,⁴ листы черновой рукописи с его текстом почти не

¹ Об этом же говорится в письме к А. А. Кирмаловой от 1 декабря 1858 г.: «...я только и делаю, что читаю, журналов прибавилось множество, а с ними и много дела цензорам...».

² Вл. Н. Майков приезжал в Москву по делам своего будущего детского журнала «Подснежник».

³ В этом же письме говорилось: «Я выбрал было два места из романа, но другое находится в тесной связи с целым, и напечатание его повредило бы интересу романа». О каком «другом» отрывке идет речь — неясно.

⁴ Первоначально его текст заканчивался там, где в окончательном тексте начиналась глава III (см.: наст. изд., т. 4, с. 302, строка 3), —

содержат исправлений, за исключением нескольких вычеркнутых фраз или слов и шести не очень значительных добавлений, вписанных на полях. Все это было учтено при изготовлении белой рукописи,¹ посланной в Москву. В тексте «Атенея» сохранился ряд мест, совпадающих с черновой рукописью и измененных позднее в «Отечественных записках». Так, например, слова «в грязном сарафане» (ЧА, Ам) были исправлены в «Отечественных записках» («в сарафане») и в таком виде вошли во все последующие издания (см.: наст. изд., т. 5, с. 344 и 475, вариант к с. 295, строка 34). Исправлению подверглись также слова «прыганье» (стало: «скаканье» — там же, с. 344 и 476, вариант к с. 296, строка 8), «лет тридцать с небольшим» (стало: «лет тридцать» — там же, с. 344 и 475, вариант к с. 296, строка 39), «по осьмому году» (стало: «по восьмому году» — там же, с. 345 и 476, вариант к с. 298, строка 9) и др.

В гораздо меньшем количестве случаев текст для «Атенея» при переписывании с рукописи (или в корректуре) был изменен, в основном в мелочах. Так, слова из рукописи «белую и румяную» были исправлены на «белую и довольно полную» и потом перешли (без союза «и») в текст «Отечественных записок» (там же, с. 344 и 475, вариант к с. 296, строка 21); «с беспокойством» изменилось на «с соболезнаванием» (там же, с. 346 и 476, вариант к с. 300, строка 18); слова «в резиновых калошах» были исправлены на «в резиновых калошах» (там же, с. 347 и 477, вариант к с. 301, строки 32—33); после слов «и затруднялся выйти» появилось пояснение, вероятно позднее показавшееся Гончарову излишним: «некуда было ступить» (там же, с. 475, вариант к с. 295, строки 29—30); вместо «высунулась из двери» стало «высунулась было из двери» (там же, с. 476, вариант к с. 297, строка 40); после слов «надо бы вернуться» появилось дополнение «да черт с ним» (там же, с. 477, вариант к с. 301, строки 38—39).

Правка этого фрагмента, но уже в гораздо большем объеме, была продолжена в тексте «Отечественных записок» и в отдельных случаях в тексте 1862 г.

именно там присутствует помета-знак для переписчика. Гончаров вычеркнул эти последние семь с половиной строк или в переписанном автографе, или в корректуре, если она у него была.

¹ А возможно и копии, сделанной переписчиком, скорее всего В. М. Кирмаловым (см.: *Летопись*. С. 84).

14 января 1859 г. вышел в свет № 1 «Отечественных записок» с частью первой романа; ¹ 29 января Гончаров отдает в печать часть вторую, сразу же поступившую в набор (см. письмо к В. П. Боткину от 30 января 1859 г.),² и, готовясь к сдаче третьей (на этом этапе последней), узнает (очевидно, в редакции или типографии журнала), что она не поместится в книжке журнала. В том же письме Боткину говорится: «Неожиданно выходит вместо трех четыре части, несмотря на убогий шрифт „Отечественных записок“». Укороченная часть третья поступает в журнал в конце февраля, а вновь образовавшаяся четвертая — в конце марта. 20 апреля³ с выходом в свет № 4 журнала печатание романа завершилось.

Это был первый и в то же время важнейший этап в истории становления текста «Обломова». Именно в журнальном тексте, а также в предшествующих ему отдельных поздних набросках на полях рукописи,⁴ в несохранившейся беловой рукописи и в корректурах⁵ окончательно сложилась «архитектоника» романа, то самое «сведение всей массы лиц и сцен в стройное целое» («Необыкновенная история»), которое стало возможным

¹ И с пометой в конце: «1849 года», которая должна была указывать читателям на время завершения работы над ней, так же как под опубликованным в 1848 г. очерком «Иван Савич Поджабрин» стояла дата «1842 г.». О нетерпении, с каким роман ожидался читателями, свидетельствует такой факт: через день по выходе номера в дневнике дочери Ф. И. Тютчева Марии Федоровны появилась запись: «Вечером заходил Шебальский, прочел отрывок из романа Гончарова „Обломов“» (ЛН. Т. 97. Кн. 2. С. 298).

² В этом письме сообщается, что сданный «накануне» текст «теперь (...) отгискивают».

³ А не 12-го, как сказано в письме Гончарова к А. Н. Майкову от 11 апреля 1859 г. Именно 20 апреля С.-Петербургский цензурный комитет выдал «билет» на выпуск № 4 «Отечественных записок» в свет (см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, № 291, л. 80).

⁴ Подробнее о них см. в статье Л. С. Гейро в изд.: ЛП «Обломов». С. 570—574.

⁵ Тоже несохранившихся. А работа писателя над корректурами, по словам А. Ф. Кони, составляла «истинную муку редакторов»: «Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры (...). В них вставлялись и исключались обширные места, по несколько раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки» (Гончаров в воспоминаниях. С. 241—242).

только к началу ноября 1858 г. — после завершения новой редакции части первой. О том, что эта редакция появилась незадолго до сдачи рукописи в журнал, свидетельствует сам Гончаров. В упоминавшемся выше письме к И. И. Льховскому от 5 ноября 1858 г. он сообщал, что лишь «недавно перечитал» часть первую¹ и что его привела в особенный ужас ее «первая половина», т. е. начальные две главы (главы I—VII печатного текста; текст их см.: наст. изд., т. 5, с. 5—134). Причина, по которой назывались именно эти главы, состояла в том, что они (как и следующие три) были написаны в соответствии с первоначальным замыслом романа, центральный персонаж которого обладал почти уродливой внешностью и целым рядом малосимпатичных, даже отталкивающих черт характера, причем окружение его изображалось в том же психологическом и стилистическом ключе. Все это входило в противоречие с содержанием написанных за границей очередных частей романа, явившихся воплощением изменившегося замысла.

И Гончаров, оставив нетронутой лишь первую фразу старого текста, создает новый портрет Обломова, в каждом штрихе которого сквозит авторская симпатия к герою и даже к некоторым его слабостям. Исчезают отдельные резкие подробности из характеристики присущих Илье Ильичу привычек, его «домашнего костюма», из описания его квартиры;² он больше не допускает грубых выражений по адресу окружающих, не «любуется рельефами своего тела», не принимает поз «египетского истукана», не носит странных панталон; из его комнаты исчезают элементы гостинодворского убранства вместе с невоз-

¹ Хотя он собирался сделать это еще год назад, будучи за границей. В парижском письме к Льховскому от 22 августа (3 сентября) после сообщения о намерении отправиться в тихий Дрезден, чтобы дописать «последние две главы» романа, он говорил, что надеется там же «пробежать» «начало романа, которого ни разу не прочел». Не «перечитал» он часть первую и позднее: не случайно он и за границей, и по возвращении в Петербург не читал эту часть друзьям и знакомым. Так, 27 октября 1858 г. Евг. П. Майкова писала А. Н. Майкову: «Гончаров читал нам своего „Обломова“, он начал читать со второй части...» (см.: *Летопись*. С. 87).

² Например, прежние слова Тарантьева, относившиеся и к Обломову, и к квартире («живешь свинья свиной...»), заменились более нейтральными: «...живешь точно на постоялом дворе...» (наст. изд., т. 5, с. 64; наст. изд., т. 4, с. 46, строки 14—15).

можной для нового героя картиной и т. д. Изменяется социальный статус Обломова: в тексте, посвященном Захару, появились строки, свидетельствующие «о старинном быте и важности фамилии» Обломовых, с ее «отжившим величием» (наст. изд., т. 4, с. 9) и былым богатством. Во вновь написанных частях романа появилось несколько вставок, в которых говорится о «честном сердце» Обломова (наст. изд., т. 5, с. 317, вариант к с. 263, строки 21—23), его нравственной чистоте (там же, с. 327, вариант к с. 272—273, строки 26—12; с. 329, вариант к с. 276, строки 24—25), красоте его души, «чистой как хрусталь» (там же, с. 440, вариант к с. 489, строки 23—24), его стремлении видеть в каждом человеке хорошее, доброе начало, заставляющее Обломова, например, упрекнуть Штольца за резкий отзыв об Иване Герасимовиче (там же, с. 262, вариант к с. 171, строки 10—14).

Упомянутому выше «сведению всей массы лиц и сцен в стройное целое» были подчинены удаление со страниц подготовленной к печати новой редакции части первой одной из центральных фигур первоначального замысла — Почаева (что обусловило новую роль заменившего его Штольца); иное построение посвященных Алексею и Тарантьеву фрагментов, которые теперь, освободившись от излишних описаний внешности и изложения биографических подробностей, утратили характер почти самостоятельных очерков; появление в тексте двух новых сцен — посещения Обломова Волковым, Судьбинским и Пенкиным (наст. изд., т. 4, с. 17—29) и визита доктора (там же, с. 82—85).

Так называемый «парад гостей» представляет собою развернутый в лицах текст из первоначальной редакции части первой. Появление Волкова подготовлено текстом: «Одним не сиделось на месте, всё бы им поехать и туда и сюда, поехать обедать куда-нибудь да в театр, летом так за город, тех занимали вечера, танцы, третьи всё волочатся за женщинами...» (наст. изд., т. 5, с. 56), а фигуры деловитого и суетливого «старого сослуживца» Обломова Судьбинского, а также Пенкина — словами: «...четвертые любят говорить о литературе, до всего им дело, везде суют свой нос; всякая городская новость им точно родная» (там же).¹

¹ На наш взгляд, не лишено оснований предположение Б. В. Томашевского о том, что зерном будущего «парада гостей» могли быть

Введение в главу VIII части первой сцены с доктором могло быть вызвано тем, что в главе III части второй Обломов в разговоре со Штольцем упоминает о только что («давеча» — см.: наст. изд., т. 4, с. 165, строка 37) состоявшейся беседе с ним. Если учесть, что эта глава первоначально входила в состав упоминавшихся выше «Прибавлений»¹ и была написана во время завершения работы над первоначальной редакцией части первой, то можно предположить, что и сцена с доктором была вчерне написана тогда же и находилась среди несохранившихся листов (ср.: ЛП «Обломов». С. 593—597). Подтверждением может служить то, что лишь в журнальном тексте появилось упоминание о докторе в разговоре Обломова с Захаром в главе VIII (см.: наст. изд., т. 4, с. 85, строки 32—33), так же как и небольшая вставка-связка в главе XII части второй (см.: там же, с. 213, строки 9—11).

Сведёнию далеко отстоящих друг от друга сцен или эпизодов в одно «стройное целое» подчинено и появление в журнальном тексте отсылочных фраз-связок (см.: там же, с. 71 («как сказано»); с. 169 (фраза: «Пенкин был, Судбинский, Волков»); с. 187 («Вот как подвинулись дела!»); с. 193 («Чего не бывает на свете! ~ А вот как»); с. 397 («Надо теперь перенестись несколько назад ~ соображениям»); с. 400 («Как это вы решились! ~ глядя ей в глаза»); с. 434 («Как у ней теперь выработался голос! ~ настаивал Штольц»); с. 436 («Так пекли только, бывало, в Обломовке да вот здесь!»); с. 480 («Настоящее и прошлое ~ ходят в золоте и серебре»...) и т. д.).

Установилась в журнальном тексте и структура романа в целом. Если в рукописи еще не было деления на части (два обозначения: «Часть I» и «Часть II-я и следующие» — появились в 1858 г.²) и роман писался главами и сценами без какого-либо цифрового обозначения («сцены» иногда выделялись небольшими отступами или черточками), то теперь кроме четырехчастного строения появились римские цифры внутри каждой из частей (без слова «глава») и в гораздо большем количестве, чем это было в рукописи:

и начальные слова из программы на л. 1 рукописи («Его будят записками, то от приятелей...» — наст. изд., т. 5, с. 5, сноска 6, пункт 1), хотя и «измененные в корне» (см.: Юров Б. (Томашевский Б. В.) Как работал Гончаров // Лит. учеба. 1931. № 9. С. 110).

¹ См. о них выше, с. 43.

² См. об этом выше, с. 27.

так, вместо пяти глав части первой стало одиннадцать; вместо девяти глав второй — двенадцать; вместо двенадцати глав и Заключения необозначенных частей третьей и четвертой — двенадцать глав части третьей и одиннадцать глав части четвертой.

Что же касается остальной правки, то она носит характер дальнейшей художественной обработки текста, такой же, какая велась писателем во всех предшествующих роману произведениях: ¹ это сокращение длиннот, введение в текст различного рода дополнений, замена отдельных фраз и слов и правка в диалогах. О сокращениях, дополнениях и заменах, касающихся «архитектоники» романа, уже говорилось выше. Дополнений всякого рода появилось в журнальном тексте романа не менее ста пятидесяти.

Остановимся на дополнениях, появившихся в тексте главы «Сон Обломова». Независимо от того, возникли они на месте строки или двух строк точек ² либо в не обозначенном точками месте, их можно условно разделить на те, что в свое время не попали в текст главы из соображений автоцензуры, и те, которые носят характер стилистической правки. К первым с бóльшим или меньшим основанием может быть отнесено все то, что связано с нравственными понятиями, с различного рода суевериями, с правительственными или государственными учреждениями, с общественными или религиозными установлениями и т. д. и т. п. Здесь имеются в виду, во-первых, изображение жизни «взрослых» в Верхлёве и Обломовке, где «всё дышало (...) первобытную ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью», где не слыхали «о так называемой многотрудной жизни», «плохо верили и душевным тревогам», «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших», и понимали жизнь «не иначе как идеалом покоя и бездействия» (там же,

¹ См.: наст. изд., т 1, с. 679—698; т. 3, с. 452—466. Эту правку Б. М. Энгельгардт справедливо определил как «борьбу со стилем», как переход от «повышенной романтической прозы» «к иным, более нейтральным» выражениям. Он писал: «Так эпитет „глубокий“ сменил эпитет „неистовый“, слово „чувство“ заменило „страсть“, „вулканический огонь“ и „пламень“ исчезли вовсе, вместо „бешенства“ стало „тоска“ и „раздражение“ и т. д. и т. д. В этом, заметим между прочим, одна из самых главных тенденций стилистической правки Гончарова вообще» (*ЛН Гончаров*. С. 56).

² См. об этом выше, с. 32—33.

с. 120—121), где по ветхой, чуть-чуть держащейся галерее «дозволяется ходить только „людям“, а господа не ходят» (там же, с. 107) и где четырнадцатилетний Илюша, которому «чуть что покажется <...> не так, то он поддаст Захарке ногой в нос», а от взрослых обломовцев, если «недовольный Захарка вздумает пожаловаться», он получит еще и «колотушку» (там же, с. 140); во-вторых, описание «неизвестных стран», «населенных чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и, наконец, всё оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю» (там же, с. 104), рассказ о гаданье на картах и мрачных предсказаниях конца света (см.: там же, с. 132, 133); в-третьих, упоминание «казны» или слова «правосудие» в несоответствующем контексте (см.: там же, с. 101, 141); в-четвертых, упоминание «крестного знамения», которым осеняли себя обломовцы, или «знамений небесных», или слов «вера», «крестины», «заговенье», «розговенье», или «святой водицы» рядом с «заговорным» словом «пошепчут», а также слов: «Возблагодарили Господа Бога» — рядом с прозаическим «напоили его мятой, там бузиной» (там же, с. 115, 117, 118, 122, 133, 142).

К дополнениям, носящим характер стилистической правки, можно отнести риторический вопрос: «Какие же страсти и волнения могли быть у них?», разбивающий текст с пространным описанием однообразной жизни обломовцев (наст. изд., т. 5, с. 454, вариант к с. 104, строки 18—19), фразу: «Дамы начали смеяться и перешептываться; некоторые из мужчин улыбались», введенную в сцену томительно-долгой беседы собравшихся в гостиной в ожидании ужина обломовцев (там же, с. 460, вариант к с. 131, строки 26—27), а также сравнение обломовца, наблюдающего «каждое мимолетное движение», с теми собаками, которые «любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего» (там же, с. 456, вариант к с. 114, строки 20—22). Иногда дополнение оказывалось необходимым для того, чтобы фраза приобрела законченность. Таков случай, когда в прежде краткий пересказ нянькой «слов медведя», бредущего по деревне на липовой ноге, были введены слова: «все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет», без которых был недостаточно нагляден переход к следующему далее «страшному» тексту (там же, с. 457, вари-

ант к с. 118, строки 35—36); таково же комически-ироничное сравнение бревен, расставленных Федотом на галерее, с «колоннами у предводителя в доме» (там же, с. 458, вариант к с. 124, строка 32).

Стилистическая правка по тексту «Сна Обломова», начатая с первых строк главы, включала и более мелкие дополнения. Это еще один штрих к портрету Ильи Ивановича, читающего «вслух, для всех» известия «из третьегодичных газет» (после слов: «— Вот из Гаги пишут, — скажет он, — что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец...» — прибавлено: «и при этом поглядит через очки на всех слушателей» — там же, с. 461, вариант к с. 137, строки 5—6), а также недостающий переход от описания воспитания Илюши у Штольца-отца к его домашней жизни, т. е. фраза: «Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца» (там же, с. 461, вариант к с. 140, строки 10—11). «Переходная» фраза была введена и в следующем случае: Илюша хоть и смирился с тем, что ему не удастся «никак (...) сделать что-нибудь самому для себя», и научился командовать «Васькой и Ванькой», но, говорится теперь в тексте, «подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему» (там же, с. 462, вариант к с. 140, строки 41—42).

Цель художественной отделки текста преследовала и замена фраз, частей фраз или одного слова другими. Например, вместо пространной фразы: «Но всматриваясь пристальнее в давнопрошедший быт Обломовки, видим, что скромным ее обитателям навязывались порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическим равнодушием» (там же, с. 458, вариант к с. 123, строки 30—32) — в журнальном тексте появился более лаконичный текст: «Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоической неподвижностью». В этом случае Гончаров, по-видимому, сознательно пожертвовал более выразительным и точным словосочетанием «стоическое равнодушие»: «стоическая неподвижность» более соответствовала сонно-бездумному бытию обломовцев. В результате замены последних слов («казалось им каким-то отчаянным делом») более выразительной стала фраза: «Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей казалось им чуть не само-

убийством», включенная в повествование о непомерной скупости обломовцев (там же, с. 459, вариант к с. 127, строки 9—10). В рассказе об одном окрестном помещике, заплатившем за экипировку к свадьбе более трехсот рублей, вместо слов: «...старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что „этакого молодца надо посадить в острог“» — до журнального текста было: «...старик Обломов сначала побледнел, потом наотрез отказался верить» (там же, с. 459, вариант к с. 127, строки 14—16). Подобную правку находим и в других случаях (см.: там же, с. 460, вариант к с. 135, строки 38—40).

Последовательно проведена и стилистическая правка другого рода. Снимаются лишние слова (во фразе: «...взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, или ясный, или теплый день» — снимаются два последних «или» — там же, с. 453, вариант к с. 99, строка 37; ср. также: с. 454, вариант к с. 103, строка 7, где снято местоимение «ее», уже присутствующее в строке 5). В случаях, когда словосочетание имеет характер, близкий к фразеологическому, добавляется недостающее слово (или слова): вместо: «или незнакомое» — «вовсе незнакомое», вместо: «в этот уголок» — «в этот забытый всеми уголок» (см.: там же, с. 453, варианты к с. 100, строки 11 и 12—13). Дважды в тексте возникают весьма значимые для всей главы (и романа) слова «сонно» и «сонная»: вместо: «Тихо всё в деревне» — стало: «Тихо и сонно всё в деревне», а вместо: «увядшая жизнь ее» (няньки. — *Ред.*) — стало: «сонная жизнь ее» (см.: там же, с. 454, вариант к с. 103, строка 14; с. 455, вариант к с. 108, строка 8).

Значительная часть дополнений приходится на части вторую и третью романа. Они затрагивают картину развития отношений Обломова и Ольги (см.: там же, с. 268, вариант к с. 194, строки 4—6; с. 270, вариант к с. 196, строки 28—31; с. 271, вариант к с. 199, строки 6—8; с. 274, варианты к с. 202, строки 25—29 и 31—34; с. 292, вариант к с. 232, строки 6—9; с. 300, вариант к с. 241, строки 15—27; с. 302, вариант к с. 244, строки 40—44; с. 307, вариант к с. 253, строки 24—26; с. 313, вариант к с. 260, строки 12—21; с. 338, вариант к с. 286—287, строки 39—35; с. 381, вариант к с. 365, строки 20—23; с. 385, вариант к с. 368—369, строки 39—21; с. 388, вариант

к с. 371, строки 19—28), Штольца и Ольги (см.: там же, с. 264, вариант к с. 189, строки 34—40; с. 406, вариант к с. 402, строки 24—27; с. 407, вариант к с. 403, строки 27—29; с. 408, вариант к с. 405, строки 1—6), обрисовку характера Ольги (подчеркивание ее рассудительности, вернее, рассудочности и рационалистичности — см.: там же, с. 299, вариант к с. 241, строки 7—14; с. 301, вариант к с. 243, строки 25—28; с. 310, вариант к с. 257, строки 1—4; с. 313, вариант к с. 260, строки 12—21; с. 328, вариант к с. 273—274, строки 36—26; с. 388, варианты к с. 371, строки 7—16, 19—28), диалоги (см.: там же, с. 260, вариант к с. 168, строки 1—2, 14—15; с. 341, вариант к с. 289, строка 26; с. 351, вариант к с. 309, строка 36; с. 357, вариант к с. 323, строки 6—7; с. 361, вариант к с. 329, строка 11; с. 372, варианты к с. 349—350, строки 44—1, и к с. 350, строка 31; с. 374, варианты к с. 352, строки 6, 18—19, 36; с. 384, варианты к с. 367, строки 23—25, 26; с. 385, варианты к с. 368, строки 15, 16—18, и др.).

Что же касается правки в части четвертой, то она почти не затрагивает центральной ее темы — жизни Обломова на Выборгской стороне. Правится текст глав IV и VIII, продолжающих рассказ о семейной жизни Штольца и Ольги (см.: там же, с. 406, варианты к с. 402, строки 24—27; с. 408, варианты к с. 404, строки 22—23 и 36, а также к с. 405, строки 1—6; с. 424, вариант к с. 464, строки 32—33). Заметная вставка, касающаяся Обломова, возникла в несколько декларативном монологе Штольца, обращенном к Ольге и характеризующем «честное, верное сердце» Ильи Ильича («Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя...» — там же, с. 427, вариант к с. 467, строки 35—44). Еще одна деталь появилась в последнем диалоге Ильи Ильича и Штольца (следом за признанием Обломова, что ребенок, которого Штолец только что видел, — его сын, теперь идут слова: «Его зовут Андреем в память о тебе! — досказал Обломов разом и покойно перевел дух, сложив с себя бремя откровенности» — там же, с. 436, вариант к с. 483, строки 21—23). Очевидно, имя мальчика возникло в связи с намерением ввести в конец главы очередную крупную вставку (монолог Штольца), начинающуюся со слов: «Нет, не забуду я твоего Андрея...» (там же, с. 436, вари-

ант к с. 484, строки 1—15), которой предшествовала еще одна — ответ Ильи Ильича на просьбу-требование Штольца покинуть «эту яму, болото»: «...мне давно совестно жить на свете!» (там же, с. 435, вариант к с. 482, строка 22). Три последних дополнения появились под влиянием «совета» одного из «приятелей» Гончарова, вероятно присутствовавшего на каком-либо из чтений романа. По этому поводу Гончаров писал в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Я закончил свою *вторую* картину русской жизни, *Сна*, нигде не пробудив самого героя, *Обломова*. <...> В последнем свидании со Штольцем только вырывается у Обломова несколько сознательных слов — и напрасно я вставил их. Я поместил их в конце, когда один приятель, гонявшийся всегда в произведениях искусства за сознательною мыслию, но мало вообще доступный непосредственному действию образа, заметил мне: „Что же он, ужели не отзовется на призыв Штольца?“»

Я и вставил несколько слов, из которых выглядывает сознание и самого Обломова.

И образ его немного, так сказать, тронулся от этого, немного потерял целостности характера: в портрете оказалось пятно. Но это, к счастью, в самом конце. Не надо было трогать вовсе. <...> Образы так образы: ими и надо говорить.

Штолец, уходя в последний раз, в слезах говорит: „*Прощай, старая Обломовка: ты отжила свой век!*“»

И того бы не нужно было говорить. Обломов сам достаточно объясняет себя, прося Штольца *уйти, не трогать его*, говоря, что *он прирос одною больною половиною к старому — отдери — будет смерть!*

Этим бы и следовало закончить вторую картину *Сон*, то есть непробудимым сном...».

* * *

После выхода в свет текста романа в журнальном варианте до появления его первым отдельным изданием (30 сентября 1859 г.) прошло менее полугода. Фактически же для дальнейшей работы над текстом у Гончарова не было и месяца: цензурное разрешение на выпуск романа было дано еще 8 мая. И тем не менее текст правился с первых страниц до последних. Следует предположить, что исправления велись по мере выхода книжек журнала,

в которые, вероятно, затем вносилась правка при подготовке писателем отдельного издания, причем исправления эти имели характер исключительно стилистической правки.

Производились отдельные незначительные по объему сокращения. Например, из описания обломовского халата были исключены слова: «и всё еще бы осталось материи на какой-нибудь парижский полуфрак» (наст. изд., т. 5, с. 444, вариант к с. 6, строка 12). В рассуждении о ливрее, которая в воспоминаниях Захара «была единственной представительницею достоинства барского дома Обломовых», снимается слово «барского» — и не только потому, что по контексту и так видно, что дом барский, но и потому, что в следующей фразе речь идет о «барском широком и покойном быте» (там же, с. 444, вариант к с. 9, строка 22). Из фразы: «Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скарёдном житье-бытье» — убирается ненужный в данном контексте фольклоризм «бытье» (там же, вариант к с. 14, строка 6). В пересудах «любопытных», наблюдающих сцену проводов Штольца-мальчика отцом, во фразе: «Он на Ивана Купала по ночам один в лесу шатается» — после слов «на Ивана Купала» было: «и на Крещение»; теперь Гончаров снимает эти слова, поскольку в крещенские морозы даже Андрюша Штолец не стал бы «шататься» по лесу (там же, с. 463, вариант к с. 160, строка 9). Из авторской характеристики Штольца, который «уже не шутил легкомысленно, слушая рассказы, как иные теряют рассудок», перед последними тремя словами до 1859 г. было: «как приходит преждевременная седина»; теперь эти слова вычеркиваются (там же, с. 487, вариант к с. 406, строки 22—23).

Вводились в текст различного рода мелкие дополнения. К примеру, после сообщения Судьбинского о своей предстоящей женитьбе вслед за вопросом Обломова: «— Что ты? В самом деле?» — теперь шли слова: «На ком?» — ибо в ответе Судьбинского уже разъяснялось: «— Не шутя, на Мурашиной» (там же, с. 445, вариант к с. 23, строка 39). Такого же рода дополнение — введение одного слова «только» в пространную фразу об «одиночестве» и «уединении» Обломова, «из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное» (там же, с. 449, вариант к с. 59, строки 36—37). Дополненное словом «все», получает пословичный характер описание жиз-

ОБЛОМОВЪ

Р О М А Н Ъ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

Ивана Гончарова

Томъ I

Издание Д. Е. Кожанчикова



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1859

«Обломов». Титульный лист первого отдельного издания.
1859 г.

ненной школы Ивана Богдановича, отпущенного отцом «на четыре стороны» (там же, с. 463, вариант к с. 158, строки 7—8). В диалоге Обломова и Ольги, происходившем в парке, восстанавливается утраченная, возможно еще в беловом автографе романа, реплика Ольги, без которой весь диалог теряет смысл (см.: там же, с. 469, вариант к с. 234, строки 13—15). Заполняется и еще одна не замеченная ранее лакуна в словах Ольги из ее последнего объяснения с Обломовым (см.: там же, с. 484, вариант к с. 371, строки 3—4). Дополнено несколькими обобщающими словами описание счастливого состояния Штольца после его женитьбы на Ольге (см.: там же, с. 492, вариант к с. 465, строки 3—4). Более пространное дополнение было введено Гончаровым по замечанию Г. А. Кушелева-Безбородко, одного из рецензентов романа (см.: там же, с. 447, вариант к с. 35, строки 40—44).¹

Что же касается остальной правки, то в основном продолжалась дальнейшая шлифовка диалогов. Иногда они сокращаются. Например, в ответ на длинное рассуждение Захара о скарёдном житье немцев, заканчивавшееся словами: «Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скарёдном житье», следовала фраза: «— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, — ты только рассуждаешь, а ты лучшей убирай». Теперь слова «ты только рассуждаешь» вычеркиваются: Гончаров, как правило, всегда убирает из текста повторяющиеся слова (там же, с. 445, вариант к с. 14, строка 8). Иногда часть диалога, напротив, значительно распространяется. Так, в ответе Обломова на похвалу Алексеева квартире Ильи Ильича после слов последнего: «— Где сыщешь другую этакую <...> и еще второпях?» — появляется текст: «Квартира сухая, теплая; в доме смирно: обокрали всего один раз! Вон потолок, кажется, и непрочен: штукатурка совсем отстала, — а всё не валится», который показывает, насколько сильно нежелание Обломова переезжать: он не чувствует всей нелепости этой похвалы своей квартире (там же, с. 446, вариант к с. 33, строки 35—38). Чаше же всего в диалогах производилась замена авторских ремарок, сопровождающих прямую речь (частое «сказал» заменяется самыми разными формами: «заметил», «говорил», «начал», «жаловался», «спросил», «приказывал», «с сердцем заключил»,

¹ См. об этом ниже, с. 500.

«решил» и т. п. — см.: там же, с. 445, вариант к с. 18, строка 8; с. 447, вариант к с. 36, строка 35; с. 449, варианты к с. 53, строки 12, 23, 27, 29, и к с. 54, строки 1—2; с. 464, вариант к с. 169, строка 39, и т. п.). Иногда авторские слова или снимаются совсем, или сокращаются. Например, в ответе Захара на жалобу Обломова, что нет стакана к графину: «— Можно и из графина напиться! — добродушно прибавил Захар» — теперь оказались снятыми следовавшие далее слова: «...полагая, что, может быть, этот способ неупотребителен потому, что не всем известен» (там же, с. 452, вариант к с. 87, строки 4—5); после ответа Обломова: «Теперь уж и не съеду!» (на вопрос Штольца, жил ли он всё это время на квартире Агафьи Матвеевны) — Гончаров также убирает слова: «тихо сказал Обломов» (там же, с. 494, вариант к с. 481, строка 10), потому что тремя строками выше было: «печально сказал Обломов» (см.: наст. изд., т. 4, с. 481).

Кроме того, в текст был внесен ряд мелких исправлений и уточнений. Это была замена малоудачных слов и выражений другими. Так, о душе Обломова сначала говорилось, что она «открыто и ясно сквозилась в глазах», — теперь слово «сквозилась» заменяется на «светилась» (там же, с. 443, вариант к с. 5, строки 20—21). Когда речь заходит о припомнившемся герою его «идеале о свадьбе, о длинном покрывале, о померанцевой ветке», Гончаров заменяет словосочетание «идеал о...» на «идеал свадьбы, длинное покрывало, померанцевую ветку» (там же, с. 479, вариант к с. 320, строки 33—34). Столь же неловкие заключительные авторские слова, сопровождающие обращение Штольца к Ольге: «спросил ее тихо, наклонив ее голову к своему плечу» — заменяются на «наклонившись к ней» (там же, с. 492, вариант к с. 458, строки 35—36). Тем самым Гончаров избегает двух местоимений «ее». В цитируемых Обломовым словах из письма старосты форма «тысячи» заменяется на «тысящи» (там же, с. 448, вариант к с. 48, строка 8); заметил Гончаров и исправил традиционно им различаемые формы «вон» и «вот» (там же, с. 452, вариант к с. 78, строка 36) и т. п.

* * *

Второе отдельное издание романа вышло в свет 30 января 1862 г. Этому предшествовал уход Гончарова со

службы,¹ ставший возможным благодаря гонорарам за «Обломова» и предпринятый с целью продолжить работу над «Обрывом». И это уже был не «месяц в году»,² а почти три года³ плодотворной творческой работы.⁴ Однако во второй половине 1861 г. писатель ощутил недостаток в средствах⁵ и, вероятно, тогда же предпринял переиздание «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Фрегата „Паллада“». В 1862 г. в февральском письме к А. В. Старчевскому, которому писателем было «подано» «объявление о втором издании „Обломова“ для припечатания в „Библиографических известиях“ „Сына отечества“», Гончаров говорил: «В первый раз я сам издаю свои книги и сам должен хлопотать об объявлениях: к сожалению, знаю мало толку в этих делах и исполняю кое-как, что мне посоветовали опытные люди».

Цензурное разрешение на выход в свет «Обломова» последовало 15 ноября 1861 г., а из-за границы Гончаров возвратился лишь в середине сентября (см.: *Летопись*. С. 117). Следовательно, для обращения к тексту 1859 г., с которого набиралось новое издание, у писателя оставалось немногим более месяца (если не меньше, потому что в это же время он готовил текст «Обыкновенной истории»⁶). И если работу над журнальным текстом и текстом последовавшего за ним в том же 1859 г. первого отдельно-

¹ 18 января 1860 г. он подал прошение на имя попечителя учебного округа И. Д. Делянова и был уволен с 1 февраля этого же года (см.: *Летопись*. С. 103, 105).

² В письме к А. А. Толстой от 14 апреля 1874 г. он писал: «...хотелось мне всегда и призван я был писать, а между тем должен был служить. Мне, нервозному, впечатлительно-раздражительному организму, нужен воздух ясный и сухой, солнце, некоторое спокойствие, а я сорок лет живу под свинцовым небом, в туманах — и не наберу месяца в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следовало...».

³ На службу Гончаров вернулся в конце сентября 1862 г., приняв на себя обязанности главного редактора газеты «Северная почта» (см.: *Летопись*. С. 123).

⁴ В 1860 г. был опубликован первый отрывок из романа «Обрыв»: «Софья Николаевна Беловодова. (Пять глав из романа «Эпизоды из жизни Райского»)» (С. 1860. № 2. С. 409—454), а в 1861 г. еще два: «Бабушка. (Из романа «Эпизоды из жизни Райского»)» (ОЗ. 1861. № 1. С. 1—38) и «Портрет. (Из романа «Эпизоды из жизни Райского»)» (ОЗ. 1861. № 2. С. 251—278).

⁵ См. письма к А. А. Кирмаловой от 20 сентября и 19 октября 1861 г. и к А. А. Музалевской от 20 сентября 1862 г.

⁶ О значительной правке текста для этого издания см.: наст. изд., т. 1, с. 682—686.

го издания Гончаров характеризовал так: *«Весь 1858 год я посвятил отделке...»* (курсив наш. — *Ред.*), то о работе над предстоящим изданием (незадолго до выхода его в свет) он отозвался в других выражениях. 15 декабря 1861 г. в ответ на просьбу племянника А. Н. Гончарова прислать ему экземпляр «Обломова» Гончаров писал ему в Дерпт: *«...я с удовольствием исполню твою просьбу <...> когда выйдет второе издание. Оно теперь печатается и будет несколько исправлено против первого»* (курсив наш. — *Ред.*). Определеннее о характере этих исправлений писатель высказался в письме к А. В. Никитенко от 21 января 1862 г.: *«На рецензию „Обломова” в „Северной почте” рассчитывать не дерзаю, — говорилось здесь, — но на несколько строк, на краткий отзыв, который бы напомнил публике о втором издании, надеяться буду. <...> И как теперь дело идет не столько о моей литературной репутации, сколько о сбыте этого второго издания* (курсив наш. — *Ред.*), то если Вы благоволите вставить как-нибудь слова: *что в первой части местами сделаны сокращения длиннот и кое-где сглажен слог, — словом, роман тщательно автором просмотрен* (что совершенно справедливо), то это много поможет сбыту книги, о чем я теперь сладостно мечтаю...».¹

Действительно, очередное «сокращение длиннот», начатое еще при подготовке рукописи к печати и продолженное в последующих изданиях, теперь касается только части первой. Почти все эти сокращения произведены в главах II—VIII части первой романа. Число их невелико: если не считать сокращений в диалогах и сопровождающих их авторских ремарках, то немногим более пятнадцати. Третья часть их относится к самому Обломову. Со-

¹ 21 февраля 1862 г. в № 39 «Северной почты» появилось объявление о продаже «Обыкновенной истории» и «Обломова», сопровождаемое следующими словами: *«Оба издания, вновь переработанные автором, отпечатаны на отличной бумаге, крупным шрифтом...»*. Несколькими днями ранее подробное объявление было напечатано и в газете «С.-Петербургские ведомости». Оно заключалось словами: *«Оба издания, вновь пересмотренные автором...»* (№ 31, 35, 45. 9 и 14 февр., 1 марта). В последующих объявлениях «Северной почты» называлась еще вышедшая к этому времени книга «Фрегат „Паллада”», но не повторялись слова о «переработке» или «пересмотре» текста книг (см.: Сев. почта. 1862. № 259. 28 нояб.; 1863. № 45. 27 февр. и др.).

ОБЛОМОВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

ИВАНА ГОНЧАРОВА

ТОМЪ I

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА
1862

«Обломов». Титульный лист второго отдельного издания.
1862 г.

крашение в главе V, самое существенное, касается рисуемого Ильей Ильичом «в уме» «узора его будущности» (наст. изд., т. 5, с. 449, вариант к с. 55, строки 20—23). В этой же главе из описания ученья Илюши в школе снимается общая фраза: «Всё это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи» (там же, с. 450, вариант к с. 61, строки 10—11), находившаяся в тексте, в котором говорится о вынужденной дисциплинированности мальчика, даже не пытающегося заглядывать «далее той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту...», — возможно, писателю показалось, что эта фраза нарушает целостность фрагмента (наст. изд., т. 4, с. 61, строки 6—9 и 12—13). Из главы VI был снят объемистый текст, в котором шла речь о принципах ведения хозяйства Ильей Ивановичем, который действовал так, как было «при дедушке», и вообще «не любил выдумок и натяжек к приобретению денег» (там же, с. 64); это текст: «— Отцы и деды не глупее нас были ~ Он уж был не в отца и не в деда» (наст. изд., т. 5, с. 450, варианты к с. 64, строки 12—14, и к с. 64—65, строки 15—1). Из глав VI и VIII снимаются фразы, относящиеся к «позам лежання» Обломова (там же, вариант к с. 65, строки 27—29; с. 451, вариант к с. 76, строки 32—33); снимается сохранившаяся в тексте «натуралистическая» деталь: «...задвигаются мускулы его, напрягутся жилы» (там же, с. 450, вариант к с. 66, строки 1—2).

Отдельные сокращения были сделаны и в тексте, связанном с Алексеевым и Тарантьевым. Из авторских рассуждений по поводу людей, подобных первому из них, изымается, во-первых, фраза: «Впрочем, надо отдать им справедливость, что любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит» (там же, с. 446, вариант к с. 30, строки 12—14) — а во-вторых, утверждение об отсутствии у Алексева какого-либо интереса к службе, отсутствии «на лице его следа заботы, мечты» и о постоянной готовности пойти всюду, куда бы ни позвал его любой «знакомый на улице» (там же, вариант к с. 30—31, строки 34—7). Из текста, относящегося к Тарантьеву и ранее почти полностью переписанного,¹ теперь снимается и сравнение силы, «запертой в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление», с тем,

¹ См. об этом выше, с. 45—48.

«как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить» (там же, с. 447, вариант к с. 39, строки 28—30).

Сокращения в тексте, в котором говорилось о Захаре, появились в главах I, VII—VIII. Это прежде всего сокращение, которое касается его как последнего хранителя преданий, связанных с «отжившим величием» дома Обломовых, этой «единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род» (там же, с. 444, вариант к с. 9, строки 40—42). Кроме того, следует назвать и большой отрывок, в котором речь идет об ущербе, причиняемом Захаром мелким вещам и предметам в кабинете Обломова, если он вдруг «воспламенится» «усердием» (там же, с. 451, вариант к с. 69—70, строки 35—19), и фрагмент, содержащий повествование о невозможности вменить Захару в обязанность какую-либо «новую постоянную статью» (там же, вариант к с. 70—71, строки 40—3), и два отрывка, в которых излагается мысль об отсутствии у него каких-либо других теорий по поводу отношений барина и слуги, кроме полученных им «от отца, деда, братьев, дворни» (там же, варианты к с. 71, строки 14—22, и к с. 72, строки 23—26), и сравнение «сипенья и хрипенья» Захара с нотой, возможной только «для какого-нибудь китайского гонга или индийского там-тама» (там же, с. 453, вариант к с. 93, строки 11—15).

Из других сокращений отметим яркое описание листа серой бумаги и почерка старосты: «Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном» (там же, с. 447, вариант к с. 34, строки 36—40). Последнее сокращение, возможно, сделано в спешке.

Освобождается текст и от некоторых лишних слов. После упоминания начатого Обломовым «плана разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением» следовали три фразы, и в каждой из них фигурировало слово «план»; из последней: «И Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное» — слова «до окончания плана» вычеркиваются (там же, с. 444, вариант к с. 8, строка 26). Из портрета Захара, который дается при первом появлении

его в романе: «...с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды» — снимается слово «необъятно» (там же, вариант к с. 9, строка 11). Из фразы: «А Обломов, лишь проснется утром, первый образ в воображении — образ Ольги, во весь рост, с веткой сирени в руках» — изымаются слова: «во весь рост» (там же, с. 469, вариант к с. 237, строка 8). Во фразе: «Он молча спрятал его (письмо. — *Ред.*) в карман и сидел подле нее, повесив голову» — Гончаров снимает слова «подле нее» (там же, с. 471, вариант к с. 256, строка 23). Обращают на себя внимание еще два случая сокращений. Первый — это удаленная из текста «натуралистическая» деталь после слов: «Обломов с вечера, по обыкновению, прислушивался к биению своего сердца» — до 1862 г. следовало: «потом ощупал его руками, поверил, увеличилась ли отверделость там...» (там же, с. 470, вариант к с. 248, строки 20—21). Второй — заключительные слова из письма Обломова к Ольге («с той ветки, на которую сели невзначай» — там же, вариант к с. 252, строки 43—44).

И наконец, в издании оказались снятыми даты в конце части второй («1857 года») и в конце всего романа («1857 и 1858 гг.»), присутствовавшие в отдельном издании 1859 г. Но не появилась и новая дата, заключающая роман, — «1862 г.», чего следовало бы ожидать, если бы Гончаров хотел подчеркнуть особый статус этого текста.

Но текст не только сокращался: в него введены и единичные дополнения. Новыми словами в главе VIII части первой дорисовывается картина шумной городской жизни, прерывающая мечты Обломова о сельской идиллии: помимо «крика рабочих» теперь «с улицы несется треск от езды. Везде говор, движение!» (там же, с. 451, вариант к с. 77, строка 17). В главе II части второй словами: «что человек вообще слишком испорчен и что нет еще настоящего воспитания» (там же, с. 463, вариант к с. 164, строка 2) — дополняется фрагмент текста, в котором Штольц раскрывает суть своего «пуританского фанатизма». В конце главы XII части третьей после фразы: «— Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег...» — Гончаров вписал слова: «...густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Всё засыпал! — шепнул потом отчаянно...» (там же, с. 484, вариант к с. 373, строки 26—28).

Что же касается остальной правки, которую сам писатель охарактеризовал словами: «...кое-где сглажен слог...», то она достаточно обильна и за некоторыми исключениями ничем не отличается от обычной гончаровской стилистической правки. Совершенно естественно, что количество ее заметно уменьшается начиная с части второй романа, написанной, как и две следующие, уже после изменения первоначального замысла. При этом правка не только уменьшается, но становится мельче и единообразнее. Последнее, правда, не относится к некоторым не очень многочисленным заменам, разбросанным по всему тексту романа. В злом монологе Тарантьева, обрушившегося на Штольца, который уехал, по словам Обломова, за границу учиться, в тексте: «...не верь ему: он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка» — слова: «как малого ребенка» (наст. изд., т. 4, с. 52) — заменяются словами: «как твой староста» (наст. изд., т. 5, с. 449, вариант к с. 52, строки 34—35). От замены «любовные интриги» на «любовные отношения» и изъятия слова «повести» приобрел другой оттенок фрагмент, характеризующий отношения Обломова с женщинами в ту пору, когда он еще бывал в свете, т. е. до встречи с Ольгой: все это были невинные кратковременные увлечения (там же, вариант к с. 58, строки 40—41, 43). В описании библиотеки Обломова, состоящей «из одних разрозненных томов по разным областям знаний», появляются слова: «по всем частям знаний» (там же, с. 450, вариант к с. 63, строка 13; тем самым Гончаров избегает близкого соседства созвучных слов: «разрозненных» и «разных»). Почти весь пространственный ответ Захара на вопрос дворника, кто такие сочинители, которые ходят к Обломову: — «Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится, — объяснил Захар.

— Что же они у вас делают? — спросил дворник.

— Что? Один трубку спросит, другой хересу... — сказал Захар...» — оказался замененным на текст более краткий и более органичный в устах слуги: «...которые всё валяются по диванам, пьют херес да курят трубки. Иной раз так натопчут, что не дай Бог... — сказал Захар» (там же, с. 462, вариант к с. 148, строки 24—28). В размышлениях Обломова, мучающегося от того, что исчезла «тайная прелесть» в его отношениях с Ольгой, опасющегося, что с ее стороны «пропадет та искра участия, которую он так неосто-

рожно погасил в самом начале», и намеревающегося «ее раздуть опять, тихо и осторожно», последнее слово заменяется на «незаметно» — вероятно, потому, что выше уже было слово «неосторожно» (там же, с. 468, вариант к с. 231, строка 25). Сцена с Обломовым, размышляющим о произошедшем накануне с Ольгой «нервическом расстройстве» и о своей сдержанности, не позволившей ему воспользоваться моментом, ранее завершалась словами: «А другой? Другие смотрят так дерзко...»; теперь же она заканчивается иначе: «А другой на его месте...» (там же, с. 473, вариант к с. 272, строки 17—18). В ответе Агафьи Матвеевны на вопрос Обломова о канцелярии, где служит «братец», последние слова: «...я не знаю, как она называется» — заменяются другими: «...я всё забываю, как она называется» (там же, с. 476, вариант к с. 298, строка 2).

Наиболее значительная стилистическая правка в издании 1862 г. была проведена в диалогах и сопровождающих их авторских ремарках. В диалогах или сокращаются отдельные фразы и слова (см., например: там же, с. 444, вариант к с. 11, строки 4—5; с. 445, варианты к с. 17, строка 37, и к с. 22, строки 29—36; с. 448, вариант к с. 44, строка 19), или снимаются многочисленные частицы, придающие речи разговорный, реже просторечный, характер (-то, -ка, -бишь), а словечко «коли» заменяется на «если» (см.: там же, с. 445, вариант к с. 15, строка 19; с. 446, варианты к с. 27, строка 27, к с. 31, строка 39, к с. 33, строка 9; с. 447, варианты к с. 34, строка 16, к с. 36, строка 3; с. 448, варианты к с. 45, строка 16, и к с. 51, строка 27; с. 493, вариант к с. 478, строка 41). Снимаются также многочисленные авторские ремарки вроде «заметил Обломов», «сказал Захар», «с изумлением говорил Волков», «говорил Обломов», «возразил Судьбинский», «яростно захрипел он», «хриплым шепотом прибавил Захар», «решила она», «с изумлением сказал Тарантьев», «спросила она с нетерпением» (там же, с. 444, вариант к с. 13, строки 1—2; с. 445, варианты к с. 15, строка 20, к с. 18, строка 6, к с. 20, строка 24, к с. 23, строка 25; с. 447, вариант к с. 42, строка 19; с. 451, вариант к с. 77, строки 39—40; с. 471, вариант к с. 261, строка 44; с. 483, вариант к с. 363, строка 39; с. 492, вариант к с. 459, строки 35—36).

В основном, как уже говорилось, правку составили более мелкие исправления. Например, упомянутая в двух

соседствующих фразах фамилия «Обломов» в последнем случае заменяется местоимением «он» (там же, с. 447, вариант к с. 34, строка 43); в одном из моментов описания «поз» Обломова: «привстанет до половины на постели» — снимаются слова «до половины» (там же, с. 450, вариант к с. 66, строка 5); фрагмент: «Он (Захар. — *Ред.*) вдруг начинал вычислять достоинства барина» — освобождается от слова «вдруг», присутствовавшего тремя строками выше (там же, с. 451, вариант к с. 72, строка 37); упрощается несколько выпяченная манера выражения мысли: «...картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта» (в тексте 1862 г.: «...картины, которыми так богато населил наше воображение Вальтер Скотт» — там же, с. 454, вариант к с. 102, строка 34); упрощается фраза: «Он то с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри, то сжимал ветку» — из нее изымаются обе частицы «то», причем вместо последнего «то» появляется слово «судорожно» (там же, с. 469, вариант к с. 235, строки 17—18).

Следует заметить, однако, что не всегда новая правка улучшала текст 1862 г. Например, явно не случайно в тексте собраний сочинений 1884 и 1887 гг. был сохранен прежний вариант портрета Обломова. Полностью переписанный уже для первопечатного текста¹ и в таком же виде перешедший в текст первого отдельного издания, в издании 1862 г. он стал вдвое короче, утратив при этом характер живописного, художественного портрета и превратившись в простое описание внешности героя.² К тому же Гончаров в очевидной спешке не заметил вызванной этой правкой «нестыковки»: теперь получалось, что слово «беспечно» относится к глазам, а не к лицу, как в прежнем тексте; тем не менее за новым текстом следовали «старые» слова: «С лица беспечность переходила...»

¹ См. об этом выше, с. 84—85.

² Вряд ли можно полностью согласиться с мнением Б. В. Томашевского, первым обратившего внимание на изменения в портрете Обломова. Он писал: «...мы имеем такую последовательность: в рукописи — полное подчеркнуто физиологических подробностей описание, в первом издании оно приобретает романтическую окраску, наконец, во втором издании — установка явно рассчитывается на реалистический характер изложения» (Юров Б. *Томашевский Б. В.*) Как работал Гончаров // Лит. учеба. 1931. № 9. С. 117). Если бы это было так, Гончаров ввел бы этот реалистический портрет в текст собраний сочинений 1884 и 1887 гг.

(см.: наст. изд., т. 4, с. 5; т. 5, с. 443, вариант к с. 5, строка 9). Но помимо утраченной живописности из-за новой правки исчез целый ряд «сцеплений»,¹ существовавших, во-первых, между этим портретом и портретом пережившего разрыв с Ольгой Обломова из части четвертой романа (Илья Ильич «тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон и не бдение: он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредоточивая их ни на чем, покойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз» — наст. изд., т. 4, с. 479; ср.: ЛП «Обломов». С. 372) и, во-вторых, между тем же ранним портретом героя и портретом Агафьи Матвеевны также из части четвертой романа (она «...не по-прежнему смотрит вокруг *беспечно* перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками всё, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость легла навсегда тенью на ее лицо» — наст. изд., т. 4, с. 488 (курсив наш. — *Ред.*)).

Еще одним примером «нестыковки», произошедшей из-за новой правки, может служить следующий фрагмент из письма старосты. Вместо прежних слов: «и тогда всякое средство будет исполнено водворить крестьян ко дворам на место жительства» — в 1862 г. стало: «и тогда будет исполнено, водворим крестьян ко дворам на место жительства» (наст. изд., т. 5, с. 447, вариант к с. 35, строки 17—18). Но несколькими страницами ниже в тексте 1862 г. слова из письма даны по неисправленному, прежнему тексту (см.: ЛП «Обломов». С. 42).

¹ Тех самых «сцеплений», о которых Л. Н. Толстой так писал в письме к Н. Н. Страхову от 23—26 апреля 1876 г.: «...каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя: а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения...» (Толстой. Т. 62. С. 269).

Не на пользу тексту пошло и почти механическое снятие везде частиц «-ко, -ка, -то», приведшее к тому, что, например, вопрос Тарантьева Обломову: «Ну, мадера-то куплена?» — без этого «-то» лишился оттенка, позволявшего воспринимать его так: «Ну, мадера-то (т. е. по крайней мере. — *Ред.*) куплена?» (там же, с. 448, вариант к с. 44, строка 12). А следующая немного ниже фраза с изъятými теперь словами: «дай деньги» — просто теряет смысл: Тарантьев без денег никуда бы не пошел (там же, вариант к с. 44, строка 19). Стремление избавиться от второго слова «здесь» (первое было в предыдущей фразе) привело к тому, что вопрос Тарантьева: «Что тебе сладко кажется?» — тоже потерял всякий смысл (там же, вариант к с. 46, строки 1—2). Иначе как спешкой нельзя объяснить замену слов «о чем уже умолчать никак было нельзя» словами «о чем, о ужас, напечатано было даже в газетах» (там же, с. 453, вариант к с. 101, строки 27—28) во фрагменте, в котором говорится о крестьянской вдове Марине Кульковой, родившей сразу четырех младенцев; ведь с упоминания газет и начинался абзац, а та фраза, где была произведена замена, тоже начиналась со слов: «И никогда бы ничего и не было напечатано...» (наст. изд., т. 4, с. 101, строки 24—28). Был неловко исправлен конец фразы: «— Вы любите Андрея? — спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза» (вместо: «в ее глаза» — стало: «на ее глаза» — наст. изд., т. 5, с. 466, вариант к с. 200, строка 23). Явно лишними оказались новые слова в сцене последнего прощанья Обломова со Штольцем (после фразы: «— Не забудь моего Андрея!» — было прибавлено: «когда меня не будет!..» — там же, с. 494, вариант к с. 483, строка 39). Приписанное теперь Агафье Матвеевне «гордое молчание» вместо «покорного молчания» (там же, вариант к с. 488, строка 30) противоречит и характеру, и облику Пшеницыной, которая даже любимого сына Андрюшу ласкала «с нежной робостью» (см.: наст. изд., т. 4, с. 489, строка 15). И наконец, сокращение фрагмента: «Отцы и деды не глупее нас были ~ Он уж был не в отца и не в деда» (наст. изд., т. 5, с. 450, варианты к с. 64, строки 12—14, и к с. 64—65, строки 15—1) — повело к утрате связи между ним и несколькими фрагментами из главы «Сон Обломова», в которых содержались обобщения такого же рода: «Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее,

тоже готовую, от бабушки, а бабушка от прабабушки, с заветом блюсти ее целостность и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке» — и ниже: «Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него.

Другой жизни и не хотели, и не любили бы они» (наст. изд., т. 4, с. 122 и 132).

* * *

К концу 1870-х гг. роман «Обломов» стал недоступен читателям.¹ С этого же времени с просьбами о новом издании всех трех романов к Гончарову обращались не только читатели, но и потенциальные издатели. Писатель то склонялся к намерению переиздать романы и даже, вероятно, время от времени возвращался к текстам своих произведений, то категорически отказывался от этого намерения. О его колебаниях достаточно определенно свидетельствует статья 1878 г. «Лучше поздно, чем никогда», задуманная, в частности, как своеобразное предисловие ко все-таки *возможному* переизданию. Здесь говорилось: «Если же бы, против моего ожидания, мне понадобилось издать вновь все мои сочинения, то этот же анализ может служить авторским предисловием к ним». Тем не менее намерение переиздать романы оставалось невыполненным — и не столько из-за болезненно воспринимаемой писателем критики «Обрыва», сколько из-за обострившихся мучительных переживаний, связанных с Тургеневым. Именно их Гончаров имеет в виду, когда пишет П. Г. Ганзену, что переиздание было бы для него «сопряжено с нравственной, большою <...> пыткой» (письмо от 7 июля 1878 г.). В относящейся к августу 1878 г. «Записке к «Необыкновенной истории» он писал о том и о другом сразу: «...новая пресса состоит не только из равнодушных, но и враждебных старым писателям лиц, частью

¹ Так же как и «Обыкновенная история», исчезнувшая из продажи значительно ранее (см. об этом: наст. изд., т. 1, с. 690 и сноска 1 к ней).

из зависти же к ним, частью потому, что и литературные понятия и вкус много изменились, подчиняясь или утилитарному, или крайне реальному направлению. Критики нет вовсе, а если кое-где есть, то она задобрена ласковым и благодушным Тургеневым!

Я и молчу, даже не возобновляю нового издания своих романов, несмотря на просьбы издателей. Пусть лучше заглохну — чем поднимать эти толки, из которых Тургенев выйдет невредим, а пострадаю я, потому что против меня многие, почти все!» (ЛН Гончаров. С. 288; курсив наш. — *Ред.*).¹ «Последний отголосок этого состояния, — вспоминал А. Ф. Кони, — видел и я, когда летом 1882 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью „Обломова“, я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. „Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!“» (Гончаров в воспоминаниях. С. 252).

Вскоре, однако, писатель уступил — но не просьбам издателей, а Александру III, у которого он имел две аудиенции,² связанные с хлопотами об увеличении пенсии. Отвечая А. Ф. Кони (в письме от 11 ноября 1882 г.), узнавшего об этих аудиенциях из «Правительственного вестника», Гончаров рассказал ему: «...я удостоен был приема наедине и нескольких минут доброго, ласкового разговора. (...) Вы как будто угадали, говоря в письме, что мне надо бы „повелеть“ издать мои книги:³ хотя повеле-

¹ Отзвук этих настроений писателя сохранился в рассказе одного из мемуаристов о вечере у Я. П. Полонского в 1880 г., на котором зашла речь о том, что ставшие библиографической редкостью сочинения Гончарова следовало бы издать вновь. Присутствовавший на вечере Гончаров при этих словах «чуть было из-за стола не высочил.

— Как, к чему это делать, зачем вновь издавать мои сочинения? их теперь никто не будет читать! — воскликнул он с раздражением» (Ободовский К. Листки из записной книжки // Исторический вестн. 1893. № 12. С. 777).

² Они состоялись 22 и 27 октября 1882 г. в летней резиденции императора в Гатчине (см.: Правительственный вестн. 1882. № 235 и 238. 26 и 29 окт.).

³ В письме от 8 ноября 1882 г. Кони говорил: «Если бы я был государем (...) я бы Вам „высочайше повелел“ издать Ваши сочинения — и этот акт самовластия, я уверен, приветствовался бы всеми партиями без различия» (Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. VIII. С. 54).

ния не было, или если было, то в форме вопроса: „печатаю ли я свои сочинения?“ Я, конечно, поспешил отвечать утвердительно. <...> Вследствие этого, неделю тому назад, я подписал контракт, которым уступаю мое авторское право на все сочинения Глазунову...».

Контракт с издателем был заключен 3 ноября 1882 г. (см.: *Летопись*. С. 262), а 7 декабря 1883 г. новое издание вышло в свет (тома 2 и 3 с «Обломовым» были помечены 1884 г.).¹ Таким образом, на подготовку текстов «Обыкновенной истории» и «Обломова» в новом издании у Гончарова был почти год, вероятно выговоренный им у издателя для того, чтобы «кое-что исправить, переделать, сократить...» (см.: *Гончаров в воспоминаниях*. С. 160), без чего, как известно, писатель не выпускал в свет ни одного из своих произведений. Но известно также, что с конца 1882 г. у Гончарова обострилась болезнь глаз (более того, «правый глаз закрылся» — см. письмо к А. Ф. Кони от 7 декабря 1882 г.) и что болезнь продолжалась почти в течение всего 1883 г., о чем сам он не раз сообщал в письмах к разным лицам. И тем не менее текст обоих романов был действительно «пересмотрен», и болезнь глаз этому не смогла помешать (жалобы на почти полную потерю зрения подчас объяснялись другими причинами, в частности нежеланием участвовать в некоторых комиссиях (см. письмо к А. Н. Островскому от 14 декабря 1883 г.)). Не случайно в этом же 1883 г. — как раз во время, на которое может приходиться подготовка романов к печати, Гончаров собственноручно в третий раз переписывает свое завещание (см. письмо к А. Ф. Кони от 18 мая 1883 г.), пишет из Дуббельна А. Ф. Кони и М. М. Стасюловичу два больших письма от 8 и 14 июня и два письма к А. Ф. Кони от 28 июня и 2 августа, а также читает «Рижский вестник» (см. об этом: *ЛН Гончаров*. С. 487).

Так же как в случае с «Обыкновенной историей»,² текст «Обломова» готовился не по последнему изданию, т. е. изданию 1862 г., а по предшествующему изданию 1859 г., в которое были внесены отдельные мелкие ис-

¹ До него, также в 1883 г., вышло третье отдельное издание романа.

² Этот роман набирался не по тексту 1868 г., а по тексту 1862 г. (см. об этом: наст. изд., т. 1, с. 689—692).

ОБЛОМОВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

Ивана Гончарова

ЧАСТИ I и II

Издание Глазунова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ 8.

1883.

«Обломов». Титульный лист третьего отдельного издания.
1883 г.

правления по изданию 1862 г.¹ Все они отличались одной особенностью — кажущейся неприметностью, незначительностью и даже вроде бы необязательностью. Но именно такой их характер свидетельствует о том, что появились они в тексте нового издания романа отнюдь не случайно, т. е. о выборе писателя: вряд ли возможно, чтобы он мог просто повторить отдельные исправления из общей обильной правки, к тому же спустя почти четверть века. Это соображение не разделяет Л. С. Гейро, которая высказывает предположение, что издание 1862 г. при подготовке собраний сочинений 1884 и 1887 гг. было «просто забыто»; странно, что одновременно она же предполагает, будто появившийся именно в издании 1862 г. фрагмент: «...густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Всё засыпал! — шепнул потом отчаянно» — был введен в издание 1884 г. в заключительный текст главы XII части третьей: «Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег ~ Но он не отвечал ничего: у него была горячка» (наст. изд., т. 4, с. 373) — «по памяти» (ЛП «Обломов». С. 635, 636). Этот фрагмент имел в романе существенное значение. Без него переход от «живого горя» к «немому равнодушию», овладевшему Обломовым, не был бы так выразителен: «Потом мало-помалу место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич по целым часам смотрел, как падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице, как покрыл дрова, курятники, конуру, садик, гряды огорода, как из столбов забора образовались пирамиды, как всё умерло и окуталось в саван» (наст. изд., т. 4, с. 375). Фрагмент усиливал общее впечатление, которое создавалось ключевыми словами: «бессмысленно», «горячка», «немое равнодушие», «всё умерло», «саван».

Характер исправлений в новом издании оставался в основном прежним: проводилось дальнейшее сокращение — уже не «длиннот», а отдельных выражений и слов;

¹ Например: «на середину» вместо «на средину»; «проживете» вместо «проживите»; «заставляли висеть» вместо «заставляя висеть»; «выпадает» вместо «выпадет»; «двуличного» вместо «двуличневого»; «кротость примирения во взгляд и в улыбку» вместо «и кротость в улыбку» (наст. изд., т. 5, с. 444, вариант к с. 12, строка 13; с. 452, вариант к с. 84, строка 14; с. 455, вариант к с. 110, строки 32—33; с. 462, вариант к с. 155, строки 36—37; с. 463, вариант к с. 162, строки 11—12; с. 486, вариант к с. 401, строка 3).

появились два дополнения; вносились мелкие уточнения. Общее количество исправлений, естественно, было значительно меньшим, чем в предыдущих изданиях.

Сокращение проводилось по двум направлениям: в диалогах и в авторском тексте. Из диалога Обломова с Захаром убрано слово «завтра» во фразе: «— Э-э-э! слыш-ком проворно! завтра!» (наст. изд., т. 5, с. 445, вариант к с. 15, строка 41), видимо не предполагавшей такого уточнения предыдущей фразы. В сцене последнего объяснения Обломова с Ольгой до 1884 г. после слов: «...за что ты терзаешь себя?» — следовала фраза, очевидно показавшаяся Гончарову лишней: «— Пусть я не стою счастья, но пощади себя» (там же, с. 484, вариант к с. 370, строки 13—14). В диалоге Обломова и Алексеева по поводу контракта на квартиру в Гороховой были авторские слова: «Оба задумались» (там же, с. 446, вариант к с. 34, строки 2—3). Очевидно, Гончаров заметил, что они также лишние, поскольку очередной вопрос Алексеева завершался авторской ремаркой со словами: «спросил, после некоторого молчания, Алексеев». После слов Агафьи Матвеевны, обращенных к Ване: «Утри лучше нос, не видишь?» — до 1884 г. была авторская ремарка: «заметила она, бросив ему платок» (там же, с. 489, вариант к с. 429, строка 34). Из отрывка: «...он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, теплее, искреннее» — вычеркивается слово «теплее»: Гончаров мог усомниться, можно ли «теплее» любить новости, свет и науку (там же, с. 447, вариант к с. 41, строка 30). До 1884 г. в тексте романа говорилось, что Обломов думал над планом «и ходя, и лежа, и дома, и в людях»; теперь слова «и дома» оказались снятыми (там же, с. 450, вариант к с. 65, строка 14): Гончарову могло не понравиться их соседство со словами «и лежа». Из фразы: «Не дай Бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает вдруг всё убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок!» — было снято слово «вдруг», производившее впечатление лишнего рядом со словами «живо, разом» (там же, с. 451, вариант к с. 69, строка 27). После слов: «Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни» — до 1884 г. было: «хотя еще счастливой жизни» (там же, с. 491, вариант к с. 452, строки 16—17), что усложняло и затемняло смысл, и Гончаров снимает уступительный оборот.

Из появившихся в тексте 1884 г. дополнений самые существенные — разговор между Агафьей Матвеевной и Ваней и Обломовым и Ваней о французских уроках мальчика (там же, с. 489, вариант к с. 429, строки 23—33) и дополнение из одного слова: до 1884 г. начальные слова фразы: «Утри лучше нос, не видишь? — заметила она, бросив ему платок» (там же, вариант к с. 429, строка 34) — имели вид: «Утри нос, не видишь?». Но если это второе дополнение носит характер простой уточняющей правки, то за первым кроется более глубокий смысл. Речь идет о характеристике отношений Ильи Ильича и Агафьи Матвеевны: Обломов проверяет французские уроки Маши и Вани, он участвует в воспитании ее детей, а Агафья Матвеевна после смерти мужа продолжит их обучение — в результате Ванюша кончит «курс наук» и «поступит на службу», а маленького Андрюшу она найдет в себе силы отдать Штольцам, поняв, что только они смогут ему дать соответствующее его происхождению воспитание и образование (см.: наст. изд., т. 4, с. 486, строки 31—41). Кроме того, за этим дополнением просматривается редкая для Гончарова поздняя автобиографическая деталь: его собственное участие в воспитании детей его слуги Карла Людвига Трейгута, умершего в 1878 г.¹

Из другой стилистической правки в тексте достаточно большое количество мелких исправлений. Это разного рода замены («такой репутации» вместо «той репутации»; «не допускать к лошадям» вместо «не подпускать к лошадям»; «резв» вместо «резов»; «вулкана» вместо «волкана»; «обдирать десятую липу» вместо «обдирать всего десятую липу»; «объял» вместо «обнял»; «ушибленное» вместо «ушибенное»; «бисквитов» вместо «бисквит»; «Посмотрите» вместо «Посмотритесь» — см.: наст. изд., т. 5, с. 445, вариант к с. 23, строка 10; с. 455, варианты к с. 107, строка 11, и к с. 108, строка 10; с. 456, вариант к с. 113, стро-

¹ Подробнее см.: *Жданова М. Б.* И. А. Гончаров и Трейгуты (новые материалы) // *Гончаров. Материалы* 1994. С. 275—286. Именно поэтому представляется неубедительным предположение Л. С. Гейро, что фрагмент «— То-то само! ∞ разговор о „нехороших словах”» был пропущен при наборе журнальной публикации (1859) и пропуск был восполнен лишь в тексте первого собрания сочинений (см.: *ЛП «Обломов»* С. 635). Вряд ли спустя почти четверть века Гончаров мог вспомнить об этом пропуске; это было явно новое дополнение в издании 1884 г.

ка 22; с. 459, вариант к с. 125, строка 33; с. 460, варианты к с. 130, строка 17, и к с. 133, строка 33; с. 465, вариант к с. 190, строка 44; с. 466, вариант к с. 202, строка 18), а также перестановки слов («Не всегда его удавалось видеть чисто обритым» вместо «Не всегда удавалось его видеть чисто обритым» (там же, с. 447, вариант к с. 37, строки 20—21); «Захар сидел с кучерами у ворот, обращенных в переулок» вместо «Захар сидел у ворот, обращенных в переулок, с кучерами» (там же, с. 467, вариант к с. 212, строка 14)) и уточнения (там же, с. 451, вариант к с. 76, строки 9—10).

В издании 1887 г., в целом повторившем текст 1884 г., преобладает мелкая стилистическая правка, т. е. идет дальнейшая «обработка» текста. В начале романа, в сцене, где Илья Ильич намеревается наконец встать, с тем чтобы «подумать хорошенько» о предстоящих делах, но потом остается лежать: ведь «...чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа» — ранее отсутствовало слово «ничто», что обесмысливало всю фразу (см. там же, с. 444, вариант к с. 8, строка 35). В ответе Захара на упрек барина, что он «изломал» спинку дивана, из заключительных слов «надо когда-нибудь и изломаться» убирается союз «и» (соседство «и» со словом «изломаться» создавало фонетическую шероховатость — там же, вариант к с. 11, строки 7—8). Фраза из «тайной исповеди» Обломова, начинающаяся со слов: «События его жизни уменьшились до микроскопических размеров...» — до 1887 г. заканчивалась так: «...он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумно вслед за другим». И только теперь слова «увлечься разумно» оказались исправленными на «увлечься разумом» (там же, с. 453, вариант к с. 97, строка 19). В тексте: «Он только было вывел: „Милостивый государь” ∞ как будто делает какое-нибудь опасное дело...» — Гончаров согласовал глагольные времена, поставив и второй глагол в прошедшем времени: «делал» (там же, с. 461, вариант к с. 135, строка 43). Такого же рода исправление было внесено в сцену за чайным столом у Ильинских, когда Обломов «в смущении захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что сидевшая с ним рядом девочка засмеялась»: «Боже мой, и она смотрит! — думал Обломов...». Это «думал» исправляется на «думает» (там же, с. 465, вариант к с. 191, строка 3). Еще примеры такого

типа — фраза: «Он где-то видал эту улыбку; он припомнил какую-то картину, на которой изображена женщина с такой улыбкой... только не Корделия...» (слово «припомнил» исправлено на «припомнил» — там же, с. 473, вариант к с. 271, строка 27) — и фраза: «Нет, нет у ней (у Ольги. — *Ред.*) любви к Штольцу, решила она, и быть не может!» («решила» исправлено на «решала»), т. е. изменен вид глагола (там же, с. 487, вариант к с. 408, строка 1). В соответствии с предпочтениями писателя вносятся изменения, касающиеся беспредложного и предложного управления: вместо «...не читает ли уже Ольга письма...» — «не читает ли уж Ольга письмо...»; вместо «одетый в поношенном пальто человек» — «одетый в поношенное пальто человек» (там же, с. 470, вариант к с. 253, строки 20—21; с. 477, вариант к с. 301, строки 30—31). Очень тонкое исправление было сделано во фразе: «И Иван Матвеевич вскочил со стула»: лишь в 1887 г. Гончаров исправил слово «вскочил» на «встал» (там же, с. 478, вариант к с. 309, строка 11): ведь «братца» с его первого появления на страницах романа сопровождают такие авторские выражения, как «кротко и совестливо возразил» (наст. изд., т. 4, с. 308), «мягко отозвался» (там же), «кротко заключил» (там же, с. 309), «послушно отвечал» (там же). Столь же существенное, хотя и мелкое на первый взгляд, исправление было сделано в сцене объяснения героев в роще: Обломов, решивший «почти в ужасе», что Ольга ушла совсем, и увидевший внезапно ее перед собой, «радостно схватил ее за руку». Но за руку берут, чтобы куда-то вести, что и происходит ниже: «— Ольга, — торопливо начал он и взял ее за руку, — пойдем отсюда вон туда...» — и поэтому в 1887 г. «схватил ее за руку» заменяется «схватил ее руку» (наст. изд., т. 5, с. 473, вариант к с. 283, строка 26). Такое же важное смысловое исправление появилось во фразе: «Он даже смолол ей (Агафье Матвеевне. — *Ред.*) однажды фунта три кофе...» (там же, с. 481, вариант к с. 339, строки 27—28): теперь Гончаров снимает словечко «ей» — ведь кофе готовился для Ильи Ильича.¹ Была исправлена и фраза из монолога захмелевшего Обломова, сравнивавшего обло-

¹ «Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как вначале, когда он, несколько лет назад, переехал в эту квартиру» (наст. изд., т. 4, с. 471).

мовский пирог с пирогом, испеченным ему Пшеницной. До 1887 г. фраза выглядела так: «И что хорошо, что не повар: тот Бог знает какими руками заправляет пирог...». Теперь начальные слова стали другими: «И что еще хорошо, так это то, что не повар...» (там же, с. 490, вариант к с. 436, строка 16). Окончательно выправляются не замеченные ранее случаи с указательными местоимениями «вон» и «вот» (см.: там же, с. 452, вариант к с. 81, строка 33; с. 486, вариант к с. 394, строка 44); восстанавливается полная форма слов «чрез», «пред», «чтоб» (там же, с. 452, вариант к с. 83, строка 26; с. 453, вариант к с. 99, строка 7; с. 466, вариант к с. 199, строка 40); формы «года» заменяются на «годы», «дорóгой» на «дорогою» (там же, с. 449, вариант к с. 55, строка 13; с. 450, вариант к с. 62, строка 25).

Итак, становление печатного текста романа продолжалось в течение почти тридцати лет — от первопечатного текста до текста 1887 г. Но «архитектоника» «Обломова» от композиции его в целом до состава и построения отдельных глав, «мир» его «творческих типов» («Лучше поздно, чем никогда»), существовавший в общих чертах уже в журнальном тексте и окончательно сложившийся в тексте первого отдельного издания 1859 г., оставались неизменными до конца. Подтверждением этого могут служить также неизменно повторяющиеся (кроме издания 1862 г.) авторские даты в конце первых двух частей романа («1857 года»¹) и в конце всего романа («1857 и 1858 гг.»²). Свод вариантов прижизненных изданий романа³ наглядно показывает, что авторская правка во всех изданиях после журнального текста — правка стилистическая, которая может быть сведена к нескольким основным направлениям, остававшимся неизменными до конца, — сокращения, причем преимущественно в части первой; дополнения (в пределах абзаца, фразы, слова); правка в диалогах и сопровождающих их ремарках; различного рода мелкая стилистическая правка и исправления лексико-грамматического плана. Вся эта правка характерна для творческой манеры Гончарова вообще.⁴

¹ В журнальном тексте была дата «1849 года» (см.: наст. изд., т. 5, с. 462, вариант к с. 151, строки 20—21).

² Характерно, что ни в первом романе, ни в последнем подобные датировки не появлялись.

³ См.: наст. изд., т. 5, с. 443—494.

⁴ См.: наст. изд., т. 1, с. 679—698; т. 3, с. 452—466.

Общий и непрерывный характер авторской правки, проводившейся последовательно, включая и прижизненные издания «Обломова» в составе собраний сочинений 1883—1884 и 1886—1887 гг. (в них, кстати, по сравнению с текстами 1859 и 1862 гг. появилось около 140 новых исправлений), и определил выбор издания 1887 г. в качестве основного источника текста романа в настоящем собрании сочинений.¹

Разумеется, в этот текст проникли разного рода погрешности, не замеченные писателем. Выявленные в результате изучения и сравнения между собою текстов всех прижизненных изданий, они (помимо явных опечаток) отражены в списке исправлений (см. выше, с. 6—13), насчитывающем 141 исправление самого разного характера — от восстановленных фраз или отдельных слов, пропущенных при наборе, до исправленных грамматических, а подчас и пунктуационных ошибок и описок, искажавших смысл текста. Источником большей части исправлений послужила черновая рукопись романа — и это закономерно: здесь еще нет следов вмешательства переписчиков, наборщиков, корректоров, ошибки которых часто остаются не замеченными автором. Первый случай исправления по ЧА относится к эпизоду появления Захара в «полуформенной одежде», в которой он видел «слабое воспоминание ⟨о⟩ ливрее» (наст. изд., т. 5,

¹ Л. С. Гейро предложила текст 1862 г. (см.: ЛП «Обломов». С. 7—382), основываясь на том, что он представляет собою «новую редакцию романа» и «в полной мере соответствует авторской воле» (Там же. С. 636, 631). Вызывает возражение то, что текст 1862 г. рассматривается как редакция. Такому утверждению противоречит собственный вывод исследовательницы, сделанный на основе изучения движения текста романа. Все произведенные исправления и изменения сводятся, по ее словам, к следующим позициям: «Во-первых, сокращения, во-вторых, смысловые, в-третьих, стилистические изменения. Велась она (правка. — *Ред.*) на разных уровнях: от слов (в том числе и грамматических форм) до изменения фразы и, наконец, до вторжения в значительные по своему объему фрагменты. Сокращения текста — как связанные с его переработкой, так и совершенно самостоятельные» (Там же. С. 625). Кроме того, неубедительными кажутся рассуждения Л. С. Гейро о введенном «по памяти» фрагменте текста из издания, которое было «просто забыто» (см. об этом выше, с. 112). Добавим, что после 1883 г. зрение писателя улучшилось, и он мог бы ввести в последнее прижизненное издание и другие элементы правки 1862 г., но не сделал этого. Как уже говорилось, Гончаров *выбирал* для издания 1884 г. *отдельные* исправления из общей обильной правки 1862 г.

с. 12, сноска 6). В этот фрагмент, вероятнее всего по вине переписчика, вкралась ошибка, прошедшая через все прижизненные издания: «Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни». Но в рукописи отчетливо написано не «старику», а «старины». Именно слово «старина» отвечает контексту всего абзаца: речь здесь идет о «старинном быте», об «отжившем величии» дома Обломовых; более того, буква «н» в слове «старины» дополнительно обведена самим Гончаровым (см. выше список исправлений, с. 9, строки 23—24). Ранее Захар назван не стариком, а «пожилым человеком» (наст. изд., т. 4, с. 9), а далее уточнено, что ему было «за пятьдесят лет» (там же, с. 67), так что если один раз в тексте он и будет назван «стариком» (там же, с. 53), то, скорее, в силу той же традиции, по которой отец семилетнего Ильи Ильича именуется стариком Обломовым (нужно иметь в виду и то, что в Обломовке, когда Илье Ильичу было 7 лет, Захарку звали «постреленком» — там же, с. 109). Второй случай относится к главе VII части второй: «„Casta diva, Casta di...” — зазвучала она (Ольга. — *Ред.*) воззвание Нормы и остановилась» (см. выше список исправлений, с. 219, строки 2—3). Но в рукописи вместо невозможного в русском языке «зазвучать воззвание» четко читается «пропела»; появление же слов «зазвучала воззвание» также связано с ошибкой переписчика, не разобравшегося в черновых вариантах, где соседствовали слова «зазвучал ее прекрасный голос» и «Она пропела первую фразу Нормы» (см.: наст. изд., т. 5, с. 284, вариант к с. 219, строки 2—3). Третий случай — исправление пунктуации в диалоге Ольги и Обломова из той же главы VII. Диалог начинается так: «— Что это у вас? — спросила она.

— Ветка.

— Какая ветка?

— Вы видите: сиреневая». Затем Ольга спрашивает: «— Где вы взяли? Тут нет сирени. Где вы шли?». Обломов отвечает: «— Это вы давеча сорвали и бросили». Но это не ответ на вопрос Ольги: «Где вы шли?». Оказывается, в рукописи весь вопрос Ольги выглядит иначе: «— Где вы взяли? Тут нет сирени, где вы шли» (см. выше список исправлений, с. 218, строка 30). Четвертый случай касается исправления по ЧА начального абзаца главы I части третьей. Обломов, сияющий от счастья после объяснения

с Ольгой, застаёт у себя в комнате неожиданного гостя: «...и вдруг сияние исчезло и глаза в неприятном изумлении остановились неподвижно на одном месте: в его кресле сидел Тарантьев». Но в рукописи читается: «на одном предмете». Ошибка переписчика произошла по простой «технической» причине: в рукописи слово «предмет» оказалось из-за переноса разбитым на две части: в конце строки «пред-» и в начале следующей «-мете». Из-за гончаровской ли скорописи, из-за автоматизма ли чтения или из-за устоявшегося словосочетания типа: «на пустом месте», «на мокром месте» и т. п., но в беловую рукопись вкралось это прочтение, сохранившееся во всех прижизненных изданиях романа (см. выше список исправлений, с. 288, строка 7). От этого фраза явно потеряла в изобразительности: «неприятное изумление» Обломова мог вызвать именно «предмет» — кресло с нежелательным гостем, сам вид которого «в одно мгновение сдернул его будто с неба опять в болото» (наст. изд., т. 4, с. 288).

Почти столько же исправлений, как и по черновой рукописи, сделано по прижизненным изданиям, например: вместо «с нами» — «с ними» (см. выше список исправлений, с. 18, строка 12); вместо «разную характеристику» — «резкую характеристику» (см. там же, с. 31, строки 24—25); вместо «Потом взяла его за руку и подвела его к образу» — «Потом взяла его за руку и подвела к образу» (см. там же, с. 106, строка 26); вместо «крикнул» — «кликнул» (см. там же, с. 249, строка 35); вместо «Постепенная осадка или выступление дна морского» — «Постепенная осадка ила, выступление дна морского» (см. там же, с. 377, строка 5).

Выше уже отмечалась особая роль издания 1862 г. в становлении текста романа. По этому изданию сделано 14 исправлений. Так, в самом начале части первой в портрете Обломова во всех изданиях было: «— в каждом движении головы, руки»; нами принято по изданию 1862 г. чтение «рук» (см. там же, с. 5, строки 21—22). В главе «Сон Обломова» остановившийся с «встревоженным видом» Илья Иванович произносит: «— Что это за беда? Смотрите-ка! — сказал он. — Быть покойнику: у меня кончик носа всё чешется». Но ведь восклицание «Смотрите-ка» (вместо правильного «Смотри-ка» в издании 1862 г.) обращено к самому себе, а не к окружающим; это и не восклицание даже, а своего рода фразеологизм, усто-

явшийся речевой оборот (см. там же, с. 131, строка 3; ср. с подобным же исправлением в тексте «Обыкновенной истории»: «слышишь» на «слышь» — наст. изд., т. 1, с. 440, строка 23, и с. 695—696). В главе VIII части третьей в диалоге Обломова с внезапно возникшей перед ним Катей, посланницей Ольги, было: «— Катя! — с изумлением сказал Обломов. — Как ты? что ты?», т. е. получалось, что Обломов интересуется самой Катей. А в исправленном (по изданию 1862 г.) виде фраза звучит совсем по-другому: «— Как? что ты?» (см. выше список исправлений, с. 345, строки 14—15).

В семи случаях исправления сделаны по *ЧА* и *ОЗ*. Бóльшая их часть — грамматические или лексические уточнения. Наиболее заметное исправление: «просипел» вместо «прошипел» (см. там же, с. 92, строка 23); ошибка возникла явно по вине переписчика или наборщика, не заметивших, что несколько ниже Захар «начал <...> сипеть с раскаянием» (наст. изд., т. 4, с. 92), а выше говорил с «мягким сипеньем» (там же, с. 16); ошибка эта оставалась незамеченной во всех изданиях романа.

Лишь одно исправление сделано не на основании прижизненных изданий романа. В конце главы III части первой Штольц назван Андреем Карловичем (вместо Андрея Ивановича); ошибка осталась незамеченной во всех прижизненных изданиях «Обломова» (см. выше список исправлений, с. 41, строка 33). У Гончарова это не единственный случай: так было и с именами в «Обыкновенной истории» (см. об этом: наст. изд., т. 1, с. 695).¹

Не замеченными автором остались три случая явной порчи текста, которые невозможно исправить. Первый из

¹ Сбои в именах других персонажей романа, иногда слишком очевидные, возможно, и не случайны: в главе «Сон Обломова» в составе «свиты» маменьки Ильи Ильича на одной странице (110) упоминаются в паре Настасья Ивановна и Степанида Агаповна; двумя абзацами ниже Настасья Ивановна становится Настасьей Петровной, а Степанида Агаповна — Степанидой Ивановной; через две страницы Настасья Ивановна возвращается первое отчество (которое за ней и остается на с. 126 и 127), а Степаниде Ивановне (Агаповне) прибавляется еще и третье — Тихоновна; у появившейся на с. 126 Пелагеи Игнатьевны отчество сохраняется и на следующей странице, а на с. 131 она уже именуется Пелагеей Ивановной. Все эти «дамы» «свиты» — персонажи без речей, за исключением последней: она чуть ли не местный Мартын Задека — и удостоивается похвалы самого Ильи Ивановича (с. 131).

них обнаруживается в главе I части второй, в тексте, в котором говорится о проказах мальчика Штольца («Однажды он пропал уже на неделю ~ и выучил роль» — наст. изд., т. 4, с. 153—154). Этот фрагмент был вписан на полях рукописи и начинался несколько иначе, чем в окончательном тексте: «Однажды он пропал *вдруг* на неделю...» (курсив наш. — *Ред.*). Далее следовали описание переживаний матери и уверенный ответ Штольца-отца, что переживать можно было бы за сына Обломова, «а Андрей придет». Затем говорилось: «На другой день после этого Андрея нашли препокойно спящего в своей постели...». Вычеркнув в рукописи слова: «после этого», объяснявшие, хоть и не очень понятно, что речь идет о первом дне, наступившем после прошедшей недели, Гончаров не заметил образовавшейся «нестыковки» текста (см.: наст. изд., т. 5, с. 249, варианты чернового автографа к с. 153, строки 23, 25 и 29).

Второй случай оставшегося неисправленным текста — это две следующие фразы из главы V части второй: «Штолец уехал. Обломов тоже собрался, но Штолец и Ольга удержали его» (наст. изд., т. 4, с. 197). Характерно, что и в рукописи это место читается так же.

Третий случай касается персонажа, имя которого лишь однажды упоминается в тексте романа (глава VIII части четвертой) в разговоре Штольца с Ольгой, — это некто Бичурин.¹ Во время одного из «неведомых припадков» Ольги Штолец пытается ее разговорить, но две первые его попытки — упоминание о недомогании дочери и об оставшихся без ответа письмах Сонички — не дают результата. Тогда он прибегает к третьей: «— Я кланялся от тебя Бичурину, — заговорил Андрей опять, — ведь он влюблен в тебя, так авось утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок.

Она сухо улыбнулась.

— Он теперь в Одессе. Ты знаешь?

— Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она» (там же, с. 457). В этом диалоге, казалось бы, требует введения конъектуры фрагмент: «утешится хоть этим² немного, <тем более> что пшеница его не поспеет на место

¹ Это имя встречается в сибирских главах «Фрегата „Паллада“» — там фигурирует реальный Бичурин — архиепископ Иннокентий (Вениаминов) (см.: наст. изд., т. 2, с. 688, и т. 3, с. 770).

² Т. е. поклоном Ольги.

в срок». Но введение в дефектную фразу вполне, на первый взгляд, вероятной конъектуры может оказаться ошибочным, ибо на месте пропуска мог быть более простран- ный текст, содержащий некий рудимент первоначального замысла, согласно которому Бичурин, как когда-то Почаев, является деловым партнером Штольца.¹ Оставляем это место без изменений, ограничиваясь восстановлением по журнальному тексту фразы: «Он теперь в Одессе. Ты знаешь?» (см. выше список исправлений, с. 457, строка 40), и это совершенно необходимо, потому что иначе совсем непонятно, к чему относится последняя реплика Ольги.

Характерно, что в 1862 г. Гончаров заметил неблагополучие с этим фрагментом, но сделал лишь одно исправление — снял фразу-ответ Ольги: «Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она» (наст. изд., т. 5, с. 492, вариант к с. 457, строка 41), что нисколько не прояснило смысла всего фрагмента.

3

Вопрос о том, существовали ли прототипы персонажей «Обломова», и о том, является ли Обломовка слепком какой-либо определенной местности, возник у исследователей творчества Гончарова далеко не сразу.

Прежде всего может быть прослежен интерес к личности самого писателя, вследствие некоторого сходства его с главным героем романа.

Б. М. Энгельгардт в своей монографии «Путешествие вокруг света И. Обломова» (см. о ней: *ЛН Гончаров*. С. 15—24) указывал, что отождествление писателя и его героя началось после знакомства широкой публики с книгой «Фрегат „Паллада“», когда, приняв «за чистую монету» его рассказ о плавании, читатель и критика приняли данную в этом рассказе „литературную маску“ за достоверное изображение автора. Именно с этого времени (...) в кри-

¹ О том, что Штолец «член компании, отправляющей шерсть и пшеницу в Одессу», см.: наст. изд., т. 5, с. 254, вариант к с. 161, строки 7—11 (глава II части второй); ср. также упоминания о его «торговых делах в Одессе» во фрагменте чернового автографа главы VIII части четвертой (там же, с. 237) и в окончательном тексте (наст. изд., т. 4, с. 446). Почаев в первоначальной редакции части первой задает Обломову вопрос о «наших акционерах» (наст. изд., т. 5, с. 185).

тике при разборе произведений Гончарова зачастую начинают широко применяться ссылки на конкретную личность писателя и возникает <...> традиционный легендарный образ Гончарова-человека...» (Там же. С. 69).

Гончаров много раз подчеркивал (и мысль эта переходила из личных бесед и частной переписки в «Необыкновенную историю» (конец 1870-х гг.), а затем опять возникала в письмах), что Обломов — не портрет конкретного лица. Например, 26 ноября 1876 г. он писал И. И. Монахову: «Из любопытства загляните, между прочим, в „Беседы о русск<ой> словесности“ Скабич<евского>, где автор поразил меня, сказав, как будто он знал или видел оригиналы, послужившие мне для создания типов *Обломова* и *Волохова*!..».¹

Цель точного воспроизведения черт какого-либо конкретного лица Гончаровым не преследовалась. При изучении рукописей «Обломова» выяснилось, что на первоначальном этапе работы над романом Гончаров пользовался наблюдениями над конкретными людьми, записывал эти наблюдения, намереваясь придать соответствующие черты романным персонажам,² но впоследствии отказался

¹ Имеется в виду статья: *Скабичевский А.* Беседы о русской словесности: (Критические письма). Письмо первое: Наше современное литературное безвременье // *ОЗ.* 1876. № 11. Отд. VIII. С. 1—33. Скабичевский, исходя из того, что «творчество, в наибольшем напряжении своих сил, отражает образы действительности в преувеличенном виде сравнительно с представлениями простых смертных» (Там же. С. 15), рассуждал следующим образом: «...указывают на личности, внушившие г-ну Гончарову *Обломова* и *Марка Волохова* (...). К этому могу я прибавить свои собственные наблюдения. Мне случалось видеть те две личности, которые были знакомы г-ну Гончарову и которые, может быть, сознательно, а может быть, и бессознательно для самого автора послужили оригиналами для его типов. Действительно, они несколько напоминают собою один *Обломова*, другой — *Марка Волохова*. Но только напоминают» (Там же. С. 21—22). И далее: «...г-н Гончаров увлекся типом *Обломова* не потому, что *Обломовых* много, а потому, что его поразили некоторые черты характера знакомого господина. Когда г-н Гончаров писал роман, он только и имел в виду представить как можно рельефнее и резче эти черты. А затем уже найти сходство *Обломова* с массою людей, подобных ему, которых писатель никогда не видал, не имел понятия о их существовании, — это уже дело читателей и критиков: писатель здесь в стороне» (Там же. С. 23).

² Факт этот впервые отмечен в статье: *Бершова Е. В.* Работа И. А. Гончарова над образом Ольги в романе «*Обломов*» // Учен. зап. Калнинингр. пед. ин-та. 1958. Вып. 4. С. 130.

от этого.¹ В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) он декларировал, что «*Обломов* был цельным, ничем не разбавленным выражением массы»; в письме к Ф. М. Достоевскому от 11 февраля 1874 г. пояснял, что пользовался методом типизации, согласно которому явления и лица складываются «из долгих и многих повторений или наслоений <...> где подобия тех и других учащаются в течение времени и наконец устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю».² В ответе на адрес русских женщин по случаю 50-летия творческой деятельности писателя Гончаров дополнил эту мысль, подчеркнув общность переживаний автора и героев: «Те образы, которые, вы говорите, вам полюбились в моих сочинениях, писаны более всего сердцем, — оттого, конечно, вы и полюбили их. Вы угадали, что автор <...> скорбел с Ольгой об *Обломове*, — с *Обломовым* о нем самом, — одним словом, что он, рисуя эти образы, сам жил их жизнью, плакал их слезами!» (БЕ. 1883. № 3. С. 445).

Однако последнее обстоятельство — публичное признание общности переживаний героев, читателей и автора и публично выраженный упрек самому себе в том, что в образах героев «сквозит много близкого и родного автору и заметно пробивается кровная его любовь к ним», что «действительно много личного, интимного, то есть своего и себя самого, вложено автором туда!» («Лучше поздно, чем никогда»), вкупе с отмеченным Гончаровым там же появлением нового метода критики («А тут еще вторгнулось в общество новое явление, так называемый *нигилизм*, явление сложное, — и заглушило, на время конечно, чистый вкус, здравые понятия в искусстве, примешав к нему бог знает что. И критика, как и само искусство, от крупного, мыслящего и осмысливающего синтеза перешла к мелкому анализу»),³ — сыграло свою роль: роман стал восприниматься как некоторое отражение событий биографии писателя.

¹ См.: ЛП «*Обломов*». С. 562.

² Как известно, эти «наслоения», прежде чем слиться в единый художественный образ, фиксировались Гончаровым в качестве заготовок. Однако его способ был отличен от способа И. С. Тургенева, который, составляя списки персонажей своих произведений, делал пометы об их прототипах, или от способа Л. Н. Толстого, который спрашивал у родственников, можно ли использовать в новом произведении случаи, которые они ему сообщили.

³ См. также более подробное рассуждение в письме к П. Г. Ганзену от 24 мая 1878 г.: «...одни требуют от искусства исключительно

Происходило это постепенно. Упрек, сходный с тем, который Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда» обращал к себе, впервые прозвучал сразу после публикации романа. Его сделал А. П. Милюков: «...г-н Гончаров, при всей силе своего художественного таланта, не совершенно объективен, не вполне предан спокойному созерцанию жизни, а подчиняет ее своему личному воззрению; потому и создаваемые им лица не всегда воплощаются в полные жизненные типы, а становятся искусственными образами, в которых он выражает свой собственный взгляд и убеждения».¹ Утверждение подобной точки зрения и увлечение позднейшей критики внеэстетическими задачами привело к тому, что произошла прямая передача свойств героя автору (или иному реальному лицу) и внимание было перенесено с изучения художественного произведения на исследование биографии и личности писателя. Гончаров, желая добиться обратного результата, отчасти сам содействовал этому. Статья «Лучше поздно, чем никогда» содержит высказывание, повторенное всеми биографами: «...я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало». Эти слова воспринимались как свидетельство того, что

служения только *злобам дня*, другие вовсе отворачиваются от искусства, называя это „*забавою барства*“, и стремятся к утилитарным целям и т. д. Есть, конечно, и истинные друзья здравых начал и вкуса и в науке, и в искусстве — но в настоящее время они пока составляют меньшинство. И в понятиях об искусстве, взглядах, вкусе произошло много перемен, вызванных новым временем, так что — не один мой „Обрыв“, но почти все сочинения прежних писателей, не имеющие тенденциозных целей и остающиеся верными художественным идеалам, встречаются холодно, чтоб не сказать больше! (...) Если, на нашей памяти и глазах, сошли со сцены и с каждым днем теряют значение в новых людях звезды такой величины, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, которых молодые поколения вовсе не читают, хотя могилы их еще не успели зарости травой, то чего же можем ожидать мы, их последователи и ученики?».

¹ Милюков А. П. «Обломов», роман И. Гончарова // Светоч. 1860. № 1. Отд. III. С. 32. Однако далее критик замечал: «Из этого, конечно, не следует, чтоб автор, создавая свои любимые характеры, рисовал в них собственный портрет: такое предположение было бы так же нелепо, как и то, будто Пушкин выразил самого себя в Онегине или Ленском, а Лермонтов в Печорине» (Там же). Ср. у И. Ф. Анненского: «...в художественный тип входит душа поэта многочисленными своими функциями, — в тип врастают мысли, чувства, желания, стремления, идеалы поэта» («Обломов» в критике. С. 224).

в его произведениях возможно отыскать конкретные факты его биографии.¹

Необходимо учесть еще одно обстоятельство. Гончаров был фигурой, которая с момента выхода «Обыкновенной истории» вызывала постоянный интерес у публики, собратьев по перу и критиков. Его сходство с героями его произведений, хотя бы внешнее, если таковое имелось, должно было обратить на себя внимание.

Поначалу эта тема обсуждалась лишь в узком дружеском кругу. Гончаров не препятствовал этому и, более того, сам был творцом легенды о себе. Ранние письма, дошедшие до нас, и рукописные журналы кружка Майковых содержат обрисовку отчасти литературной, отчасти житейской маски: ленивец, сибарит, «принц де Лень».² В коллективном письме членов кружка к путешествующим Н. А. и А. Н. Майковым от начала октября 1842 г. можно прочесть: «...я толстею, ленюсь и скучаю, как и прежде, и по обыкновению показываю вид, что замышляю что-то важное». В другом коллективном письме к ним от 14 декабря 1842 г. среди прочих стоит подпись: «Гончаров, иначе принц де Лень». Ю. Д. Ефремовой 20 августа 1849 г. из Симбирска писатель сообщал: «Здесь я окончательно постиг поэзию лени, и это — единственная поэзия, которой буду верен до гроба, если только нищета не заставит меня приняться за лом и лопату». «Островом Покоя» называлось «королевство» Гончарова в не дошедшей до нас шуточной газете, выпускавшейся кружком Майковых в 1842—1843 гг.³ В письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. из Портсмута возникает Обломов как автор записок о путе-

¹ См., например, высказывание П. Н. Сакулина в предисловии к публикации писем Гончарова к Е. В. Толстой: «Контакт между двумя психическими процессами (написанием романа и переживанием любовного чувства. — *Ред.*) был неизбежен, и это дает нам основание протянуть нити от переписки Гончарова к его роману „Обломов“. В этом случае мы идем по пути, на который давно уже вступили исследователи Гончарова (и С. А. Венгеров, и особенно Е. А. Ляцкий) и который санкционируется известным признанием Гончарова в статье „Лучше поздно, чем никогда“...» — и далее следует эта цитата (*Сакулин П. Н.* Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах // *Голос минувшего.* 1913. № 11. С. 57).

² См.: наст. изд., т. 1, с. 619—620, 633—634.

³ См.: *Гродецкая А. Г.* Литературное окружение молодого Гончарова (по материалам архива Пушкинского Дома) // *Гончаров. Материалы* 1994. С. 63.

шествии, т. е., в известной степени, снова маска самого автора: «Да разве это письмо? опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к *Путешествию вокруг света*, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. *И. Обломова*». В книге намек на героя «Сна Обломова» выражен, как известно, мягче (см.: наст. изд., т. 2, с. 66—67).¹

Характерно, что сразу же после появления романа мысль о родстве с Обломовым целого поколения русских людей (именно так и обосновывалось понятие «обломовщина») утвердилась в критике: «Перед вами до мелких оттенков создается знакомый вам с детства быт, мир тишины и невозмутимого спокойствия во всей его непосредственности»;² «Невольно переносишься при этом в свое давно мелькнувшее детство и реставрируешь в памяти несколько уже побледневшие картины... Мы говорим, конечно, про такого читателя, который на деле испытал все невзгоды и все подчас непреодолимое обаяние обломовщины, а таких читателей очень много»;³ «„Сон Обломова“ не только осветил, уяснил и разумно опoэтизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского чи-

¹ О масках Гончарова см. также: *Гейро Л. С.* История создания и публикации романа «Обломов» // *ЛП «Обломов»*. С. 550. Напомним о том, каким увидел писателя Г. Н. Потанин: «В другой раз я видел Гончарова другим человеком, в третий — третьим, уже совсем непохожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по-петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить» (цит. по: *Гончаров И. А.* Очерки; статьи; письма; Воспоминания современников. М., 1986. С. 478). Несмотря на многочисленные неточности и прямо сочиненные эпизоды этих воспоминаний (например, описание радости Н. Н. Трегубова, в действительности умершего в 1848 г., по поводу путешествия крестника на «Палладе»), следует отметить, что Потанин не стремился создать приглаженный образ писателя. Более точно о неровности характера Гончарова, которая заставляла современников относиться к нему, словно к нескольким разным людям, писал А. Н. Пыпин (в 1855 г.), отмечавший «видимую манеру избалованности и самодовольного каприза», которая была свойственна писателю (*Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910. С. 103).

² *Григорьев А. А.* Русская литература в 1849 году // *ОЗ*. 1850. № 1. Отд. V. С. 15—16.

³ *Пятковский А.* «Обломов»: Роман И. Гончарова. СПб., 1859 // *ЖМНП*. 1859. № 8. Отд. VI. С. 97.

тателя»;¹ «...каждый из нас в известную минуту делается Обломовым, благодаря впечатлениям первоначального воспитания...».² Иногда осознание своего родства с героем Гончарова приобретает оттенок саморазоблачения: «Теперь чувствуется настоятельная надобность в деле — настоящем, серьезном деле, а не в блестящих фразах (...). На дело это нет уже мужества, нет воли у нас, у всех нас, несчастных мучеников собственной лени и апатии, у всех нас, балованных трусов, еще сильно захваченных обломовщиной...».³ Автора обвиняли в схематизме, в желании навязать читателю некие заранее заготовленные выводы о пользе труда и вреде лени: эта мысль прослеживается в статье А. А. Григорьева, который парадоксальным образом защищал творение от творца и опять-таки апеллировал ко всем читателям: «Как только вы им, этим достойным, впрочем, всякой похвалы правилом («возлюби труд и избегай праздности и лени». — *Ред.*), станете, как анатомическим ножом, рассекай то, что вы называете Обломовкой и обломовщиной, бедная обиженная Обломовка заговорит в вас самих».⁴ Общее мнение один из критиков выражал так: «Самые слова: *обломовщина*, *Обломовы* — показывают, что г-н Гончаров желает доказать нам, что выбранный им *тип* не есть одно только частное лицо, но что в нем сосредоточены свойства всех нас, целого поколения, что мы все страдаем более или менее этою *обломовщиною*».⁵

В дальнейшем в сознании публики и критики происходил сложный процесс постепенного прирастания маски к лицу, так что Гончаров спустя недолгое время после выхода «Обломова» уже почувствовал необходимость объясняться по этому поводу, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка.

¹ Дружинин А. В. «Обломов», роман И. А. Гончарова. Два тома. СПб., 1859 // «Обломов» в критике. С. 115.

² Стоюнин В. Я. «Обломов», роман г. Гончарова // Рус. мир. 1859. № 21. 29 мая. С. 505.

³ Добролюбов Н. А. «Очерки Дона» А. Филонова // Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. V. С. 474.

⁴ Григорьев А. А. И. С. Тургенев и его деятельность. (По поводу романа «Дворянское гнездо»): Письма к Г. Г. А. К. Б. // Рус. слово. 1859. № 8. Отд. II. С. 5.

⁵ К. Б. (Кушелев-Безбородко Г. А.) О значении романа нравов в наше время: (По поводу нового романа г. Гончарова «Обломов») // Рус. слово. 1859. № 7. Отд. «Критика». С. 5.

В 1860 г. появился «Парнасский приговор» Д. Д. Минаева. Гончаров писал Е. А. Никитенко 13 (25) июня 1860 г. из Мариенбада: «Из Петербурга племянник прислал мне стихи, помещенные в „Искре“ на наше объяснение с Тургеневым: посылаю Вам их для забавы». У Гончарова не вызвали протеста относящиеся к нему слова: «вялый как Обломов» и «с тусклым взглядом». Согласие со стихами было вызвано, очевидно, отнюдь не желанием показаться перед адресатом в маске. В письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 14 (26) июня 1860 г. Гончаров снова подчеркнул юмористический характер портрета, созданного Минаевым (хотя в приведенных строках чувствуется также горечь признания того факта, что нравы читающей публики далеки от идеала): «Что это вы так обе напали на стихи в „Искре“? <...> Они очень забавны, и я, посылая их, думал, что вы рассмеетесь вместе со мною. <...> Ведь это везде такой обычай посмеяться над всем, что сделалось гласно, а наша история с Тургеневым огласилась, следовательно, подлежит публичному суду и смеху. У нас нет еще привычки к гласности, от этого подобные истории нас пугают или сердят. Наша история смешна, она перешла в публику, и смех должен быть общим».

Гончарову представлялось, что он и его герой имеют определенные общие положительные качества. Об этом он говорил, например, в письме к С. А. Никитенко от 29 мая (11 июня) 1868 г.: «Во мне, рядом с уродливой недоверчивостью, уживается обломовская вера в добро...» — или к А. Г. Тройницкому от 19 июня (1 июля) того же года: «Может быть, мои идеалы и стремления покажутся смешны, как, например, смешон Обломов, но они честны и искренни, как он же».

Ярко и страстно свое отношение к упрекам в обломовщине Гончаров выразил в письме к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г. Здесь он писал о своей способности понять жизнь, не поддаться иллюзиям и, более того, донести свое понимание до других, что писатель ощущал как благо: «Меня спасла живая, горячая натура, сила воображения, стремление к идеалу и та честность, о которой Вы так благосклонно отзываетесь <...> когда пришло сознание и я взглянул в зеркало на себя, я мог только закрыть глаза от ужаса и онеметь, и это онемение — теперь мое нормальное состояние и моя кара. Воротить прошло-

го нельзя, исправиться некогда, идти вперед — нет сил: всё увяло. Всё, что я мог сделать, — это изобразить обломовщину — и эту заслугу я оказал». Слова «горячая натура» повторяются и в письме к тому же адресату от 3(15) июля 1866 г.

21 августа (2 сентября) 1866 г. в письме к С. А. Никитенко он развивал эту мысль: об «артистической обломовщине» здесь говорится уже в связи с Райским.

Несколько мягче это убеждение Гончарова выражено в письме к А. В. Плетневой от 26 февраля 1870 г.: «Не судите меня строго и ложно за то, что я, устарелый, усталый и измученный, не являясь никуда, не являюсь и к Вам, и не припишите этого добродушной и пошлой „обломовщине“, как многие (Бог им судья!) приписывают, не подозревая разных других противоположных причин...». Открыто признаваясь в том, что «*внешние* причины» его «удаления от так называемого *света*» — это «скромность, простота и незначительность собственной своей особы и написанной мне на роду роли» (письмо к А. А. Толстой от 14 апреля 1874 г.), Гончаров подчеркивал: «Вы очень метко, графиня, заметили однажды, что в этой моей дикости, должно быть, кроется самолюбие. Может быть, да; но что ж с этим делать? Победить его? Зачем? Чтобы бывать там и сям? Опять-таки зачем? Во мне другим нужды не много, а мне самому (теперь, в старости) нужно тоже немного. А казаться, между тем, смешным, неловким, — не хочется. <...> „Ну, так Вы — Обломов!“ — отвечают на это обыкновенно. <...> Правда, Обломов: только не такой, как все другие Обломы. Не одна лень, не одна дикость...». И далее — упрек навязчивым «другим» (который в этом письме неожиданно переключается с патетическим монологом его героя о «других»): «А артистическое строение духа, а поэзия — и т. п. и т. д. — всё то, что чуждается всякой официальности, жэна (*gêne*), что требует разных маленьких свобод и т. д., — словом, *внутренние* причины?» (там же).

Один из наиболее выразительных документов, свидетельствующих о болезненном отношении Гончарова к тому, что его подозревали в обломовщине, — письмо к М. М. Стасюлевичу от 16 (28) июля 1868 г.: «...в круге моих знакомых есть <...> несколько веселых личностей, очень порядочных, которые *добродушно* (как Вы выразились однажды на мое замечание, что надо мной все

смеются) мистифируют меня, приняв за точку своего остроумия обломовщину и принимая меня за буквального и нормального Обломова». Отметим здесь слово «нормальный», напоминающее в контексте письма о том, как эмоционально неагрессивен был Илья Ильич. Далее Гончаров уточнял свое восприятие ситуации: «Всё это делается очень мило, деликатно, тонко, но шутка, продолжительностью своею, перешла немного границы. И, к довершению беды, на мои замечания мне отвечают иные из них с улыбкой, что никто ничего не шутит, что, вероятно, я сам шучу — или даже не в своем уме». Даже если наряду с «тонкой, женской чуткостью», фиксируемой Гончаровым у себя, в этих подозрениях большую роль играло «больное самолюбие» и оба этих обстоятельства в конце концов вызвали, по его собственному признанию, «крайнее расстройство нерв и упадок сил» (там же), характерно желание живой, развивающейся личности уйти от отождествления с уже написанным, законченным в своем развитии героем, так как такое отождествление, в понимании Гончарова, равносильно сумасшествию. И когда в письме к тому же Стасюлевичу от 19 (31) июля 1868 г. (являющемся некоей квинтэссенцией писем этого периода на тему о преследованиях) Гончаров вдруг объявляет: «...я — Обломов!», — этому предшествуют не только юмористическое описание собственной якобы способности непрестанно флиртовать с дамами, но и картина воображаемого дознания, учиненного с целью понять, что же он такое на самом деле;¹ при этом напряжение нарастает от фразы к фразе настолько, что юмор теряет опору. Воображаемые «дознатели» предстают по порядку соглядатаями, насильниками и в конце концов палачами: «Что же я такое? А вот попробуйте угадать! Пригласите для этого всех моих знакомых, и незнакомых тоже, слушать каждое мое слово, записывать, да из этих клочков и вот хоть этих писем — и угадывайте, кто я! Да! И скажете — удивительный актер! Ловкий! Он червь, он раб, он царь, он Бог, подумаете, может быть. И только подумаете, а перед Вами уж блудный, страдающий и плачущий больной ребенок. Тогда, в ярости, что ничего понять не можете, Вы хватаете что по-

¹ Сходный мотив находим и в письме к Стасюлевичу от 13 (25) июня 1868 г.

пало — и, как извозчик бедную клячу, давай хлестать сплеча: „Вот я, мол, тебе дам, вот я тебя — ты, должно быть, смеешься надо мной! Я тебя”. Изобьете, измучаете, а когда казните этого ребенка-женщину (т. е. меня), опутаете мои движения, не дадитедохнуть, загасите и ту силу, которой теперь восхищаетесь, т. е. талант, — тогда спросите себя: „Что это я наделал и зачем”?». Здесь признание в том, что он именно Обломов (а не Райский, например, роман о котором дописывается именно в эти дни), парадоксальным образом равносильно признанию таланта как свободы творческой фантазии, внутренней жизни, ухода в мир мечты, т. е. всего того, что свойственно его герою. Гончаров неоднократно повторяет свою мысль: «...моя другая жизнь — мир фантазии» (слова из письма к Стасюлевичу от 7 (19) июня 1868 г.).

После окончания работы над «Обрывом» подспудное сознание того, что следующего романа, вероятно, уже не будет (усугубленное ощущением недоброжелательства критиков), снова вызвало у Гончарова сравнение себя со своим героем: «...у меня отняли то (возможность сочинять, печататься. — *Ред.*), что *одно еще живо занимало меня* (то есть отняли у нищего суму); *а без этого всё другое — или мало, или вовсе не занимает меня*. Вот и ключ к моему положению! Никакой Штольц не отдаст того, что взяли у бедного Обломова!» (из письма к С. А. Толстой от 30 октября 1870 г.). Желание защитить себя «внутреннего», свою личность от упреков в обломовщине, которую Гончаров осуждал без всякой поэтизации, стало со временем настолько сильным, что заняло, судя по его письмам, одно из главных мест в его размышлениях; эта защита сопрягалась у Гончарова со столь же важной для него темой — разъяснением своих творческих принципов и отстаиванием своего места в литературе (внешне это вылилось в известный конфликт с И. С. Тургеневым). Внимание к этой теме, судя по сохранившимся письмам и воспоминаниям современников, усиливалось и ослабевало у Гончарова в соответствии с фазами конфликта, имея свое бытовое выражение, приведшее к тому, что писателя стали подозревать в некоем психическом отклонении. Но и в этом его сопоставляли с Обломовым.

Впервые идею болезни Обломова высказал Д. А. Дриль, у которого герой Гончарова представлен как тип вырождающегося дворянина, чье состояние обусловлено орга-

ническим оскудением, или физиологическим обеднением, из поколения в поколение. Итог — «уничтожение и отрицание темперамента», «слабая, недостаточная возбудимость и замедленная реакция». Об истории рода Обломовых сказано так: «Вместе с полным покоем, беспечностью и бездействием постепенно и незаметно стало подкрадываться, как тать в ночи, и то, что проф. Bouchardat метко назвал физиологической бедностью богатых и „недостаточностью среди обилия“. Неупражняемые органы стали жиреть, слабеть и оскудевать постепенно».¹ На Дриля ссылался Е. А. Соловьев, который говорил о болезни Ильи Ильича как о чем-то само собой разумеющемся: «Обломов, во-первых, болен»; его удивляло, что указанная мысль не была высказана критикой раньше,² и он объяснял это таким образом: «...когда у нас была настоящая критика — тогда не думали о нервных болезнях, а лишь об общественном содержании рассматриваемого литературного явления. Теперь же, когда нервные болезни привлекают к себе общее внимание и в большей или меньшей степени в главных своих чертах известны каждому образованному человеку, у нас нет критики в истинном смысле этого слова».³ Соловьев приводит название болезни Обломова: «...абулия, т. е. безволие, — одна из самых распространенных болезней нашего времени» — и считает, что Гончаров удивительно верно изобразил ее. Причина болезни, по мнению Соловьева, «услуги трехсот Захаров и легкая, праздная жизнь на чужой счет».⁴

¹ Дриль Д. А. Психофизические типы в их соотношении с преступностью и ее разновидностями: (Нервные, истерики, эпилептики и оскудевшие разных степеней) // Юридический вестн. 1890. Т. IV. № 2. С. 214, 237. Полемику с этой статьей см.: Обнинский П. Н. Иллюзии позитивизма // Журнал гражданского и уголовного права. 1890. № 4. С. 154—156.

² У Соловьева, однако, был предшественник: в 1892 г. Ю. Н. Говоруха-Отрок писал, что «для правильного понимания типа Обломова надо исправить Гончарова, надо совершенно устранить в созданном им лице черту физической болезни...» («Обломов» в критике. С. 342). Существует еще одно, несколько более позднее (1904) относительно работы Е. А. Соловьева высказывание на эту тему: обломовские «сны наяву» указывают «не только на праздность, но и на некоторую ненормальность душевной жизни» героя (Овсянко-Куликовский 1989. Т. 2. С. 237).

³ Соловьев Е. А. И. А. Гончаров, его жизнь и литературная деятельность: (Биографический очерк). СПб., 1895. С. 55.

⁴ Там же. С. 58.

Ни Дриль, ни Обнинский, ни Соловьев не касались личности автора романа. Это было проделано в работе С. Г. Тер-Микельян.¹ Исследование проводилось ею в рамках семинария Н. К. Пиксанова на Петроградских высших женских курсах.² Тер-Микельян, опираясь на опубликованные автобиографические, мемуарные и эпистолярные источники, пришла к выводу, что образ Обломова — «некое объективирование Гончаровым своего характера». «Преобладание душевной мягкости и слабая воля — основной мотив сходства», и хотя Обломова «отождествить вполне с Гончаровым, конечно, нельзя — но невольно вспоминается пухлая фигура писателя, его боязнь перемен, его вечные болезни и два апоплексических удара».³ Исследовательница не уточняла при этом, что оба удара случились после написания романа.

Близкие знакомые писателя сочли необходимым засвидетельствовать игровую сущность сравнения Гончарова с Обломовым. Прочитируем мнение М. М. Стасюлевича: «Обыкновенно говорят, что в собственной его природе было много „обломовщины“, что потому ему так и удался „Обломов“; но это могло только показаться тем, кто не знал его ежедневной жизни или увлекался тем, что действительно Гончаров охотно поддерживал в других мысль о своем личном сходстве с своим же собственным детищем. Между тем он был весьма деятельным и трудолюбивым человеком, всего менее похожим на Обломова. Его

¹ Тер-Микельян С. Г. Больная душа Гончарова. Пг., 1916. Первыми печатными работами на тему «ненормальности» Гончарова были статьи М. Ф. Суперанского (*Суперанский М. Ф.* И. А. Гончаров и новые материалы для его биографии // *ВЕ.* 1908. № 11, 12) и Е. А. Боброва (*Бобров Е. А.* К характеристике И. А. Гончарова // *Рус. филол. вестн.* Варшава, 1908. Т. 59. С. 294—295). Результатом дальнейшей работы Суперанского в этом направлении явилась его статья 1913 г. (не опубликованная при жизни ученого) «Болезнь Гончарова», в которой были собраны и систематизированы многочисленные свидетельства современников писателя и наблюдения над текстами его писем (см.: *Суперанский М. Ф.* Болезнь Гончарова / Предисл. В. А. Недзвецкого; Публ. и коммент. М. И. Трепалиной // *ЛН Гончаров.* С. 574—634).

² См.: Пиксанов Н. К. Два века русской литературы: Пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования. 1-е изд.: М.; Пг., 1923; 2-е изд.; перераб. М., 1924; в пособии как отдельная тема выделена «Психопатологическая экспертиза литературы».

³ Тер-Микельян С. Г. Больная душа Гончарова. С. 20.

постоянно занимала мысль о создании чего-нибудь нового; это было видно из его интимных бесед, причем он всегда требовал безусловной тайны» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 233).

Приведем также свидетельство П. Д. Боборыкина: «Автор „Обломова” давно уже, с самого появления этого романа, считался *сам* Обломовым. Про него все *уверенно* говорили как про человека чрезвычайно ленивого и, главное, кропотливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие пространные промежутки, не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас же печатать написанное. *Ленивой* никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к медлительности и постоянному передумыванию известной темы — да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок (...). И психически он склонен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре. Человеку, даже мало знавшему его, легко было предположить, что в писательской работе он вряд ли вел себя как апатичный фламандец, как истый сын Обломовки» (Там же. С. 469—497).

Мнение А. Ф. Кони совершенно сходно с мнением М. М. Стасюлевича: «Апатичное выражение лица и полужакрытые глаза (...) могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность души, а в глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность».¹

¹ Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. VII. С. 38. И тем не менее в чисто бытовом плане нельзя полностью отрицать отсутствие в Гончарове «обломовских» черт. М. Ф. Суперанским было записано свидетельство симбирских родственников писателя (воспоминание относится к 1862 г., когда Гончаров побывал на родине): «Ходил он действительно очень много; ездить же не любил. Когда последнее было необходимо, то просил дать ему таких кляч, „которые с третьего кнута с ноги на ногу переступят”. (...) „обломовская” черта самого автора» (ВЕ. 1908. № 11. С. 23). В другой работе Суперанский, цити-

Сам Гончаров высказывался на эту тему неоднократно. В письме к А. В. Никитенко от 17 июня 1862 г., не оправдываясь, но свидетельствуя о своей писательской природе, он замечал: «Забавно слушать, когда воображают, что лень может удержать от творческого дела, нет, не лень — а миллион других психологических, физиологических и просто логических причин. Всего досаднее, что и Софья Алекс(андровна) Никитенко (...) полагает, что одной такой пошлой причины, как лень, достаточно, чтоб положить перо человеку пробужденному и уже бравшемуся за перо», а в письме к К. Н. Посыету от 25 августа 1873 г. разъяснял: «...эта лень, как я напрасно стараюсь объяснять всем (не хотят понять!), не есть порок во мне, и не добродетель конечно, даже скорее добродетель, нежели порок: ибо, будь я деятелен и прилежен, — каких бы новых глупостей натворил я еще вдобавок к старым. Но лень моя, повторяю, ни то ни другое, а просто натура! (...) Вы сами однажды (...) великодушно прибавили, что „если на меня (т. е. на меня, И(вана) А(лександровича)) больше всего валится камней за лень, так это потому только, что я написал «Обломова»». (...) Вы справедливо поняли, что человек, написавший книгу, даже и не одну, уже отрекся тем самым от обломовщины, и, сверх того, написавши такую книгу, как „Обломов“, он — так сказать — как Авраам, даже больше Авраама, принес в жертву не сына — а самого себя!».

Можно добавить, что то же игровое начало присутствует и когда Гончаров сравнивает с обломовским поведение кого-либо из своих знакомых или родственников, например С. С. Дудышкина (см. письмо Гончарова к Евг. Вл. Майковой от 8 (20) июня 1859 г.), А. Н. Майкова (см. письмо к нему от 7 (19) сентября 1859 г.), В. М. Кирмалова (см. письмо к А. А. Музалевской от 20 сентября 1861 г.).

Оживлению споров в критике способствовал интерес к личности и творчеству писателя, возросший после его смерти, и предпринятые в связи с этим поиск и публика-

руя письмо Гончарова к М. М. Кирмалову от 17 декабря 1849 г., в котором писатель извиняется за то, что не сможет скоро прислать статуетки петербургских знаменитостей работы Степанова, так как испытывает сложности с упаковкой, замечает: «Хотя Гончаров — далеко не Обломов, но здесь нельзя не видеть чисто обломовской черты — боязни хлопот» (Там же. 1907. № 2. С. 585).

ция биографических материалов, особенно в юбилейные годы (1901, 1912 и далее). Не случайно характер публикаций о писателе после его смерти вызвал, в год десятилетия этого события, такой эмоциональный отклик в педагогической печати: «...неужели, определяя общественно-идейное значение такого большого отечественного таланта, каков Гончаров, мы станем хвататься за „реальные документы” и „протокольные факты” вроде того, что сам автор наш, мол, отличался известным флегматизмом, долголюбивал покой и неподвижность и проч.».¹

¹ *Налимов А.* Обломов как педагогический тип // *Образование*. 1901. № 1. С. 31. Примером подобного подхода к личности Гончарова служит пассаж в статье М. А. Протопопова «Гончаров» (1891). Он полагал, что Гончаров был психологом, индивидуалистом по преимуществу, и его объективность была, по его собственному слову, апатией, равнодушием: «Это равнодушие не имело ничего общего ни с отчаянием пессимиста, ни с эпикурейством эгоиста, ни с философией квиетиста, ни с холодным презрением циника, — это была чисто обломовская лень, которой нет ни до чего дела просто потому, что соснуть хочется, еще потому, что, сколько ни волнуйся, ни жизнь, ни люди не изменятся, а от волнений между тем и печень, и желудок могут расстроиться. Раз, единственный только раз, Гончаров, можно сказать, вышел из себя: это было при встрече с Марком Волоховым, на которого наш объективист напал с совершенно несвойственной ему запальчивостью и полемическим увлечением. Что же? Ведь и Обломов {...} дал однажды „громкую оплеуху” Тарантьеву, который явился в его глазах тем, чем Марк Волохов был для Гончарова с самого начала: ловким мошенником, настойчивым пройдохой и бесстыдным шантажистом» («*Обломов*» в критике. С. 190). Однако высказывались и иные взгляды. Так, например, Н. И. Коробка писал: «Хотя у самого Гончарова довольно много обломовских черт, но в основе эти натуры совершенно разные. Гончаров, при всей пассивности, обладал большим запасом воли и выдержкой, которой отличался от современников-дворян. Его пассивность была пассивностью человека себе на уме, эпикурейца, любящего покой и не желающего его нарушить, в значительной мере в силу смутного, но глубоко запавшего в душу сознания, что такое нарушение покоя, при неподвижности жизни, ни к чему не приведет, кроме смешного положения Дон Кихота. Пассивность Гончарова была пассивностью трезвой натуры, очень одаренной чувством самосохранения и чувствовавшей суть тогдашней русской жизни, ровной, безмятежной, не терпевшей беспокойных людей» (*Коробка Н. И.* Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования. СПб., 1907. Ч. 3. С. 187). Не с этим ли выводом полемизировал М. Ф. Суперанский в уже упоминавшейся статье «Болезнь Гончарова»: «Сравнивая Гончарова с Обломовым, обычно приписывают автору одну черту его знаменитого героя — лень. Но ленью он страдал всего менее. Но у него, несомненно, была другая черта Обломова — его безволие, „недостаток характера и силы воли”, слабость воли. Назвать его человеком сильной

Многие авторы, обращавшиеся к сравнению биографии Гончарова с обстоятельствами жизни его персонажей, видели в жизненных ситуациях автора прототипические ситуации и делали выводы о биографической подоплеке ряда повторяющихся сюжетных положений и сцен. Наиболее подробно в дореволюционной критике эти положения рассмотрены у Е. А. Соловьева, Е. А. Ляцкого, С. А. Венгерова, М. Ф. Суперанского, П. Н. Сакулина, Ю. И. Айхенвальда, а также в компилятивной, вслед Е. А. Ляцкому и С. А. Венгеру, работе Н. Спасской. Итог этому этапу изучения вопроса подведен в изданном в 1914 г. «Словаре литературных типов»: «Указывали также еще при жизни Гончарова на сходство самого автора с Обломовым. Против этого утверждения горячо восстает Венгеров {...}. Ляцкий, отмечая в характеристике Обломова немало автобиографических черт, замечает, что „от Обломова до Гончарова — расстояние гораздо большее, чем от обоих Адуевых“. „Кроме общей медлительности и лени, общей вялости, мы не видим у Обломова крупных черт, роднящих этот образ с самим Гончаровым“, „по отношению к Гончарову Обломов только часть, близкая, кровная, но не важнейшая”». ¹ Авторы «Словаря...», таким образом, полностью присоединились к выводу, сделанному Е. А. Ляцким.

А. Г. Цейтлин считал, что «субъективная школа» исследователей Гончарова «искажала вопрос о происхождении замысла „Обломова“, объясняя его возникновение тем, что романист рисовал Илью Ильича с себя самого, что он не раз называл себя Обломовым». По мнению ученого, «сторонники „субъективной школы“ в изучении Гончарова, и более других Е. А. Ляцкий, преуменьшали, а зачастую и

воли, способным преодолевать встречающиеся на жизненном пути препятствия, нельзя ни в каком случае. Его отличительной чертой была пассивность, подчинение обстоятельствам, направившим как всю жизнь вообще, так и детали» (*ЛН Гончаров*. С. 613).

¹ Словарь литературных типов. СПб., 1914. Т. VII, вып. 9—10: Типы Гончарова. С. 360. Для полноты картины следует учесть мнение И. И. Замотина (см.: *Замотин И. И.* Типы русской интеллигенции в изображении художественного реализма 40—50-х годов: И. А. Гончаров в 40—50-х годах; его романы «Обыкновенная история» и «Обломов» // Замотин И. И. Сороковые и шестидесятые годы: (Очерки по истории русской литературы XIX столетия). 2-е изд. Пг., 1915. С. 167—186) и В. Е. Евгеньева-Максимова (*Евгеньев-Максимов В. Е.* И. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. М., 1925. С. 74—77).

полностью игнорировали ее (обломовщины. — *Ред.*) объективные, реальные элементы. Между тем эти последние играли определяющую роль в работе Гончарова над этим образом. Обломов создавался путем многолетнего наблюдения помещичьей жизни». И наконец, «Гончаров неизменно подчеркивал несовпадения между автором и героем», что подтверждается цитатами из писем, «Необыкновенной истории» и воспоминаний о писателе.¹

¹ *Цейтлин*. С. 154. На А. Г. Цейтлина ссылался Н. О. Лосский в своей работе 1957 г. (см.: *Лосский Н. О.* Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра; Основы этики; Характер русского народа. М., 1991. С. 272, 273). Замечая, что «Гончаров, родившийся не в помещичьей, а в купеческой семье, был частичным Обломовым», и цитируя по Цейтлину отрывки из писем Гончарова, подтверждающие, что автор «Обломова» неоднократно упоминал о свойственной ему лени, Лосский писал: «...Гончаров высоко ценил совершенство формы и языка художественных произведений; в начале своей писательской деятельности он уничтожал многое написанное им, подмечая недостатки своих произведений. Такая кропотливая работа вызывала у него припадки апатии и лени, и надо удивляться силе его воли, благодаря которой он выработал в конце концов превосходный язык и создал классические произведения русской литературы». Сила воли Гончарова для Лосского была чертой, свойственной писателю как русскому человеку: «Сила воли русского народа обнаруживается (...) в том, что русский человек, заметив какой-либо свой недостаток и нравственно осудив его, повинувшись чувству долга, преодолевает его и вырабатывает в совершенстве противоположное ему положительное качество». Тем не менее существует работа (написана в 1952 г.), поддерживающая идеи «субъективной школы»: *Сергеев-Ценский С. Н.* И. А. Гончаров: (К 140-летию со дня рождения) // *Сергеев-Ценский С. Н.* Трудитесь много и радостно: Избр. публицистика. М., 1975. С. 174—192. Автор полагал, что три романа — это «три ипостаси, три лица самого автора», что необходимо «иметь в виду и помнить всякому вообще читателю, что большие книги, над которыми работают те или иные писатели-художники, не то чтобы обдумываются, а просто живут в мозгу их творцов, живут долго, живут упорно, и никто и ничто не может заставить лиц, действующих в не написанных еще книгах, покинуть их обиталище, пока они не будут воплощены в художественном слове. (...) Писатель-художник живет не только настоящим, но и прошлым и будущим, в зависимости от того, что его занимает, какая тема, и разворачивается во всю ширину именно в другом, иллюзорном своем бытии, поражая иногда своей нечувствительностью к тому, чем живут около другие. Именно таким было и творчество Гончарова. Прежде всего оно было совершенно субъективным» (Там же. С. 176). Относительно «Обломова» Сергеев-Ценский писал: «Причиной лени и апатии Обломова, героя романа, была его болезнь, очень полно и основательно наблюденная Гончаровым из себя самого, и название этой болезни „абулия“, что значит „безволие“» (Там же. С. 184).

В последующие годы тема «Гончаров—Обломов» уже не была столь популярной, акцент в исследованиях романа переместился с собственно биографических наблюдений на наблюдения над сходством морально-этических и психологических установок автора и героя.

Здесь можно привести следующее высказывание: «Подход, который избрал Гончаров для оценки явлений, лиц и процессов, изображаемых им в „Обломове“, возможно, связан с не осознаваемой самим писателем двойственностью его отношения к жизни. С одной стороны, писатель тяготел к устойчивым формам бытия, к созерцательности, к определенной отдаленности от наиболее накаленных и вместе с тем преходящих моментов современности. С другой, он не позволял своей тяге к покою и стабильности выходить из-под контроля разума, требующего действия, не в плане существующего миропорядка, а в плане его совершенствования. Не исключено, что именно поэтому так ощутима во втором романе Гончарова не высказанная прямо симпатия к Обломову-человеку, а критика обломовщины при всей „незаостренности“ в плане выражения так последовательна и недвусмысленна».¹

Итоговым для советского этапа изучения связи биографии Гончарова и его творчества можно назвать вывод Ю. М. Лощица: «...в образе Обломова мы обнаруживаем необыкновенно высокую степень *приращения* к личности писателя, вдохнувшего в этот образ жизнь. Чтобы не породить легкомысленный соблазн, сразу следует оговориться: Гончаров конечно же ни в коем случае не тождествен своему герою. Обломов — не автопортрет писателя, тем более не автошарж. Но в Обломове творчески преломилось очень много от личности и жизненной судьбы Гончарова — факт, от которого нам не уйти {...}. Вот в этом-то, пожалуй, и состоит главная личностная подоплека „феномена Обломова“ — в том, что Гончаров, „не пощадив живота своего“, заложил в своего героя громадную часть автобиографического материала. Но, уяснив для себя это обстоятельство, мы тем самым исподволь подвигаемся к уяснению корневых особенностей реализма Гончарова, к уяснению его писательской этики. Реа-

¹ См.: Таборисская Е. М. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: (Герои, художественное пространство, авторская позиция): Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Л., 1977. С. 11.

лизму Гончарова свойственна высокая концентрация исповедальности. (...) Гончаров болеет болезнями своего Обломова, и если тут перед нами реализм критический, то и самокритический одновременно».¹

Среди зарубежных исследователей много внимания разбору вопроса о биографической подоплеке гончаровских романов уделил М. Эре.²

В поисках сходства между Гончаровым и его героями критики обратились к «Обыкновенной истории», споря о том, кто из Адуевых ближе автору — племянник или дядя.

И. Ф. Анненский полагал, что, «может быть, Адуев-дядя и Штольц были некоторой душевной болью самого Гончарова. В них отразились вожделения узкого филистерства, которым заплатил дань наш поэт: он переживал их в департаментах, в чиновничьих кругах, в заботе об

¹ Лощиц Ю. М. Слушание земли. М., 1988. С. 214. В биографии Гончарова, изданной Лощицем ранее в серии «Жизнь замечательных людей», этот вывод подан в беллетризованной форме.

² См.: *Ehre M. Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1973. Эре принадлежит замечание: «...заслуженный член Королевского литературного общества Великобритании признавался, что в течение долгого времени не мог припомнить, Гончаров ли написал „Обломова“ или Обломов написал Гончарова» (Ibid. P. VII). Следуя за А. Мазоном, Е. А. Ляцким, М. Ф. Суперанским в описании детства писателя в Симбирске, детских впечатлений, Эре, однако, признавал, что «произведения литературы вырастают из других произведений литературы в той же степени, что из жизни» (Ibid. P. 12). В связи с этим Эре отмечал одни и те же опорные пункты биографий главных героев-протагонистов: «В его романах рассказаны истории трех молодых людей — Александра Адуева, Ильи Обломова и Бориса Райского, пути которых к зрелости обнаруживают удивительное сходство с тем, который проделал сам автор: детство в отдаленной провинции, переезд в столицу, обучение в университете, государственная служба» (Ibid. P. 29). Эре подчеркивал момент разочарованности в жизни, «скуки», ломки романтических иллюзий и воцарения реализма с его ироническим отношением к прежним романтическим ценностям, пережитый каждым из героев «в середине его тридцатых годов» (Ibid.), т. е. в то же время, что и самим Гончаровым. Эта тема разрабатывалась тогда же и в европейской литературе. Эре остановился на следующей точке зрения: «...несмотря на то что несколько кандидатов соперничают в науке о Гончарове в ролях моделей его центральных персонажей, я предпочел пренебречь этими предполагаемыми прототипами, так как затрудняюсь увидеть, что именно выигрывается при сокращении роли творческой фантазии, о которой мы знаем многое в отличие от реального человека, о котором мы не знаем почти ничего» (Ibid. P. 37).

устройстве своего одинокого угла, в погоне за обеспечением, за комфортом, в некоторой черствости, пожалуй, старого и хозяйственного холостяка» («Обломов» в критике. С. 228).

Очень подробно исследовал этот вопрос Е. А. Ляцкий. Он утверждал, что «...нам придется несколько разойтись с тем общепринятым мнением, что Обломов ближе других героев подходит к самому Гончарову. Если бы это было действительно так, Гончаров не относился бы к нему с таким неизменным чувством иронии, какого, например, у него вовсе нет, как только речь заходит о Петре Ивановиче Адуеве или Штольце».¹ Первое положение исследователь позже неоднократно повторял практически в неизменном виде (см.: *Ляцкий 1920*. С. 184), второе — с некоторым усилением личностного аспекта: «Эта сторона деловитой практичности, возведенной в своего рода искусство, затронута и в других романах. (...) В „Обломове“ ее олицетворяет заводчик Штольц, весьма напоминающий „тайного советника и заводчика“ Петра Адуева и столь же любезный сердцу Гончарова, скрасившего, так или иначе, свое полудворянское-полукупеческое происхождение чином действительного статского советника» (Там же). В целом по этому вопросу критик придерживался мнения, что «от Обломова до Гончарова расстояние гораздо большее, чем от обоих Адуевых».²

С. А. Венгеров прямо задавался вопросом, на кого похож Гончаров: на Обломова, Адуева-дядю, Адуева-племянника или Райского.³ Почти вся галерея гончаровских типов, по мнению Венгерова, может быть названа «собранием лимфатиков, один другого бесстрастнее».⁴ Остановившись на поиске сходства писателя с Адуевым-дядей, он отмечал и сходство Адуева-дяди с рассказчиком из «Фрегата „Паллада“».⁵ Венгеров довольно подробно перечислял факты биографии Гончарова, известные к тому времени, и делал вывод: «Нет в ней (биографии. — *Ред.*) ничего напоминающего Обломова, Райского, Адуева-младшего до его обращения на путь истинный, и если есть

¹ *Ляцкий Е. А.* И. А. Гончаров в его произведениях // *ВЕ*. 1903. № 4. С. 568.

² Там же. С. 188.

³ *Венгеров С. А.* Собр. соч. СПб., 1911. Т. 5. С. 61.

⁴ Там же. С. 71.

⁵ Там же. С. 61.

с кем сходство, то уже, конечно, только с биографией Адуева-старшего».¹ Далее следует обобщающее рассуждение: «А установив это сходство, мы получаем исходную точку зрения для объяснения смысла и содержания всей творческой деятельности Гончарова. *Общественные течения, воспроизведенные в романах Гончарова, так поняты и освещены автором, как понял и осветил бы их Адуев-дядя*».²

Биографическую параллель Гончаров — Адуев-дядя отмечал также И. И. Замотин.³

Можно сравнить со всеми вышеприведенными сопоставлениями замечание А. Ф. Кони о том, что для Гончарова «столица сыграла роль Адуева-старшего».⁴ М. Эре проследил, как во мнении современников, в том числе критиков, возник образ «двух Гончаровых» (типа Обломова и типа Петра Адуева): «Ученые предыдущих поколений, которые отождествляли критическое исследование с исследованием биографии, старались определить, кем был Гончаров — принадлежал ли он к типу Обломова или к типу Петра Адуева. Мнения его современников разделились. Тучность писателя, медлительность и отстраненный взгляд, иногда являвшийся у него, напоминали одним Обломова; другие, и таковые были в большинстве, думали, что видят Петра Адуева в его элегантности, ироничной сдержанности, иногда дидактизме, прозаической рассудительности, которые разрушали образ артиста, владевший более идеалистично настроенными соотечественниками».⁵

* * *

Делались попытки отыскания других прототипов Обломова. Гончарову было известно о них (см. выше письмо от 26 ноября 1876 г. к И. И. Монахову). Преследуемый подобными утверждениями и догадками, Гончаров возму-

¹ Там же. С. 83.

² Там же. С. 84.

³ См.: Замотин И. И. Сороковые и шестидесятые годы: (Очерки по истории русской литературы XIX столетия). С. 210.

⁴ Кони А. Ф. Иван Александрович Гончаров: (Речь в публичном заседании Симбирской Ученой Архивной комиссии 6 июня 1912 года) // Столетие со дня рождения И. А. Гончарова. Симбирск, 1912. С. 42.

⁵ Ehre M. Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov. P. 37.

шался теми, кто высказывал их, в «Необыкновенной истории»: «Один дошел до геркулесовых столбов в этих допросах: он таинственно спросил меня, „не разумел ли я, создавая тип «Обломова»"... кого? Нет, это до того безобразно-глупо и до нелепости смешно, что бумага не вытерпит».

Нежеланием отвечать на неуместные вопросы писатель подогревал любопытство публики. Впоследствии, после смерти Гончарова, было выдвинуто несколько гипотез о разных прототипах Обломова.

А. П. Рассадин предположил, что поэта Н. М. Языкова — таким, каким он нарисован в статье П. А. Вяземского «Языков — Гоголь» (1847), можно рассматривать как литературный прототип Обломова.¹ Напомнив, что план «Обломова» был готов к 1847 г., когда Гончаров, вероятно, живо интересовался откликами на «Обыкновенную историю» и внимательно читал периодику, Рассадин обратил внимание читателей на эту статью. «Статья Вяземского, посвященная памяти недавно умершего поэта, недавнего кумира молодежи, да к тому же по рождению своему симбирянина, — полагал Рассадин, — вряд ли была обойдена вниманием Гончарова и могла, на наш взгляд, стать одним из источников концепции романа, его заглавного образа».² Исследователь привел текстовые параллели, но, делая обзор фактов, говорящих о знакомстве Гончарова со статьей Вяземского, подчеркнул, что таких фактов, относящихся к 1847 г., нет (известно лишь, что Гончаров был лично знаком — по службе и не только — с Вяземским и в 1856 г. написал цензорский отзыв на готовящееся к изданию «Полное собрание сочинений Н. М. Языкова», содержавшее в том числе и статью Вяземского). «Но даже и в этом случае, — подытожил Рассадин, — случае знакомства со статьей только в 1856 году — выступление Вяземского могло сыграть свою особую роль

¹ См.: Рассадин А. П. Из рода Обломовых: (Н. М. Языков и И. А. Гончаров) // Гончаров. Материалы 1994. С. 156—159. Эту версию поддерживает Ю. М. Алексеева в статье «Роман И. А. Гончарова „Обломовщина“ и Симбирск лета 1849 года. (К вопросу о симбирских реалиях романа «Обломов»)» (см.: И. А. Гончаров: Материалы Международной научной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 2003. С. 349).

² Рассадин А. П. Из рода Обломовых: (Н. М. Языков и И. А. Гончаров). С. 157.

в процессе непрерывно продолжавшегося накопления разнородных впечатлений, мыслей и чувств, вылившегося потом в знаменитое „мариенбадское чудо”». ¹

Указание Рассадина ценно. В поэзии Языкова присутствовал мотив стремления к вольности и покою на лоне родной деревни, перекликающийся со сходным мотивом у А. С. Пушкина, ² которого Гончаров читал чрезвычайно внимательно. Однако и сам автор статьи о Языкове, князь П. А. Вяземский, также сыграл свою роль в создании Обломова: образы, содержащиеся в его стихотворениях, использованы автором «Обломова», ³ черты его мировоззрения свойственны герою романа. ⁴ Однако о времени знакомства Гончарова и Вяземского и степени их близости можно лишь строить догадки. Известно, однако, что в 1835 г. Гончаров, приехав в Петербург из Симбирска, определился в Департамент внешней торговли благодаря Вяземскому. ⁵ Наиболее вероятно, что их знакомство произошло при посредничестве А. М. Загряжского, когда Гончаров вместе с семьей последнего приехал в Петербург. ⁶

¹ Там же. С. 159.

² «Мы обнаруживаем его (этот мотив у Языкова. — *Ред.*) вновь в двух посланиях — „П. В. Киреевскому” (1835 г.) и „Е. А. Баратынскому” (1836 г.), лирический сюжет которых — призыв покинуть шумный и пошлый мир и удалиться, бежать в сельскую тишь и глушь, в благословенный приют вдохновений: „Со мною ждут тебя свобода и покой — / Две добродетели судьбы моей простой...”; „Свобода и покой, хранители поэта, / Дадут твоей душе и бодрость и простор...”» (*Фаустов А. А.* Об одном лексическом мотиве в поэзии А. С. Пушкина // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 1999. Вып. 3: Литературное произведение: Сюжет и мотив: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Т. И. Печерская. С. 80).

³ См. об этом: *Гейро Л. С.* История создания и публикации романа «Обломов». С. 585—586.

⁴ О характере Вяземского и его мировоззрении см., например: *Кошелев В. А.* «Дни минувшие и речи»: (Петр Вяземский. 1792—1878) // Кошелев В. А. Четыре портрета из пушкинской плеяды. Псков, 1996. С. 27—58.

⁵ См.: *Мазон А.* Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова. СПб., 1912. С. 13.

⁶ Во время учебы будущего писателя в Московском университете в городе славился салон Киндяковых (о вероятности знакомства Гончарова с этим семейством см. ниже, с. 168), и Вяземский бывал в этом салоне. Но был ли Гончаров вхож в великосветское московское общество? Известно лишь, что он посещал дом Сухово-Кобылиных, будучи в университетские годы дружен с А. В. Сухово-Кобылиным, который оставил свидетельства этого в своем дневнике (см.: *Волко-*

Следует сказать и об одном из знакомых писателя, Федоре Алексеевиче Кони. О нем, никак не связывая его с Обломовым, писала Н. М. Егорова.¹ Исследовательница процитировала стихотворение общего знакомого Гончарова и Кони — В. И. Соколовского из письма Соколовского к Кони от 2 мая 1833 г.:

«В своем посланье Федор Кони
Мне виден будто на ладони:
Ленив, рассеян и нелеп —
Он даром ест у Бога хлеб...
Мне не считай свои занятия,
Я знаю их напечет;

ва Н. Б. «Странная судьба»: (Из дневников А. В. Сухова-Кобылина) // Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 23, 24), но это было не светское, а университетское знакомство. Что же касается связей Гончарова с дворянским обществом Симбирска, то здесь важным представляется вывод, сделанный Ю. М. Алексеевой в результате обширной работы по разысканию сведений о предках писателя: «Очевидно, необходимо уточнить социальное положение семьи Гончаровых. Оно менялось на протяжении двух столетий. С середины XVII века Гончаровы были военными служилыми людьми и, как многие из этой категории населения, занимались торговлей, к концу XVII—началу XVIII века они, имея определенные заслуги, будучи на службе в привилегированных частях русской армии, приблизились по своему положению к мелкопоместному дворянству. В 1720-х годах основным занятием Гончаровых на короткое время становится торговля. По непосредственной отцовской линии писателя наблюдается выход Гончаровых на государственную службу, „кормление у дел” (...). Затем, в середине XVIII века, Гончаровы (по линии отца) получают дворянство. В конце XVIII—начале XIX века основным занятием семьи становятся торговля и предпринимательство. С учетом вышесказанного неудивительны высокий авторитет Гончаровых в Симбирске, их дворянское окружение и родственные связи с симбирским дворянством» (Алексеева Ю. М. Из истории родословной И. А. Гончарова // *Гончаров. Материалы* 1992. С. 147). В частности, о знакомстве (сведения эти восходят, правда, к более позднему времени — началу 1860-х гг.) родственных семейств Гончаровых—Музалевских (имеются в виду сестра писателя Анна Александровна и ее муж) с кругом симбирских дворянских семейств свидетельствует письмо А. Н. Гончарова к М. М. Стасюлевичу от 26 октября—4 ноября 1891 г., в котором он цитирует насмешливые слова В. М. Кирмалова, относившиеся к лету 1862 г., когда писатель гостил у Музалевских в Симбирске, о том, что если дядюшка, т. е. Гончаров, обьестся и где-нибудь печатно наведет критику за это на тетушку, т. е. на Музалевскую, тогда от тетушки «губернаторша отвернется, Бычков не будет принимать, а Языков перестанет приглашать на вечера!» (ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, № 453, л. 14 об.).

¹ См.: Егорова Н. М. К вопросу об окружении И. А. Гончарова в годы учебы в Московском университете // *Гончаров. Материалы* 1994. С. 262—269.

Я за тобой смотрел — и вот
 Они все сряду без изъятья...
 Часу в одиннадцатом дня
 Еще ты нежишься в постеле,
 И голову на пух склоня
 Ты и зеваешь еле-еле...
 Расколыхавшись потом,
 Берешь ты зеркало — и в нем
 Весь отпечаток жизни модной
 Ты видишь на лице своем,
 И сторяча свой чай холодный
 Пьешь осушительным глотком.
 Окончил... сызнова забылся...
 Прилег и утонул в мечты:
 Иной подумал бы, что ты
 В подушку мягкую влюбился,
 Так ты ее своей рукой
 И жмешь, и гладишь под собой...
 Потом, ермолку надевая,
 Как хан богатого Сарая,
 Накинешь небрежно халат
 И свету белому не рад...» ¹

Заметно внешнее сходство между героем стихотворения (Ф. А. Кони) и будущим Обломовым. Это стихотворение вполне могло быть знакомо Гончарову, который был дружен с Кони до смерти последнего, а затем дружен с его сыном Анатолием Федоровичем.²

Неожиданное свидетельство содержится в книге воспоминаний Н. Н. Берберовой «Курсив мой»: «С Дмитрия Львовича (Караулова, прадеда автора со стороны матери, тверского помещика. — *Ред.*) Гончаров писал своего Обломова и однажды, будучи в гостях у своего героя, забыл бисерный футляр для часов {...}. Вся галерея предков висела в полутемной гостиной {...} Дмитрий Львович, весивший под старость одиннадцать пудов. Лет до шести я

¹ Там же. С. 266—267.

² А. Ф. Кони прислал Гончарову студенческий альбом покойного отца. Гончаров ответил письмом от 16 марта 1879 г.: «...возвращаю Вам, дорогой Анатолий Федорович, альбом Вашего покойного отца, моего сверстника и универс<итетского> товарища. {...}. С Федором Алексеевичем я постоянно видался, но реже в университете, куда он нечасто жаловал, а более на стороне, и именно у доброй, симпатичной М. Д. Львовой-Синецкой {...}. Там, могу сказать, и мои „младые дни неслись“. Приходили литераторы, читали, говорили — словом, прекрасный центр и жизни, и искусства с умной, талантливой и гостеприимной хозяйкой во главе». Но, кроме приведенного стихотворения, не удастся обнаружить в биографии Ф. А. Кони ничего, сближающего его с Обломовым или обломовцем.

путала собственного прадеда, Илью Ильича Обломова и его автора, и мне казалось, что Обломов и был тем писателем, который бывал в доме и написал известный роман из жизни Дмитрия Львовича, который стал таким толстым потому, что был ленив (следы семейной басни с подбавляющим нравоучением)».¹ Это свидетельство не подтверждается другими материалами о Гончарове, в которых фамилия Караулова никак не фигурирует. Прежде всего нельзя сказать, что Гончаров «бывал» в доме у Караулова: поездка в Петербург вместе с А. М. Загряжским и его семьей в 1835 г., если верить очерку «На родине», сопровождалась чрезвычайными обстоятельствами, не позволившими путешественникам посетить кого-либо на пути из Москвы. Следовательно, Гончаров мог заехать к Караулову лишь в 1849 г., во время поездки на родину, когда он следовал мальпостом (в 1855 и 1862 гг. он путешествовал уже поездом), или, вероятнее всего, в начале января 1850 г., на обратном пути: «От Петербурга до Москвы — не езда: это прекрасная двухдневная прогулка, от которой нет боли в боках и голове; чувствуешь только приятный зуд в теле да сладострастно потягиваешься и жалеешь, что она кончилась» (письмо к Н. А. Майкову и его семье от 13 июня 1849 г.). Окончательно не исключая вероятности описанного Берберовой события, отметим и тот факт, что брат писателя, Николай Александрович (известный своей рассеянностью), следовал в Симбирск весной 1851 г. в одной карете с Н. Г. Чернышевским и Д. И. Минаевым.² Существует некоторая вероятность того, что именно его визит к Караулову оставил след в семейной истории.

* * *

Штольц — антагонист Обломова, по утверждению Гончарова, не был списан им с какого бы то ни было конкретного лица.

Однако так же как в Обломове слились наблюдения над характерами русских людей, так и Штольц, по словам писателя, «неспроста подвернулся <...> под руку»; при этом он обращал внимание на «ту роль, какую играли и

¹ Берберова Н. Н. Курсив мой. М., 1996. С. 35.

² Чернышевский Н. Г. Дневник. М., 1932. Ч. 2. 1850—1853 гг. С. 67—70.

играют до сих пор в русской жизни и немецкий элемент, и немцы», а также на тип «родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания» («Лучше поздно, чем никогда»). И это в свое время было замечено критикой: «Штольц — лицо не вымышленное, а действительное: таких людей, которые, благодаря чисто немецкому воспитанию, наживают в несколько лет сотни тысяч, очень немало в России».¹ Впоследствии Р. К. Шульц собрал высказывания Гончарова о немцах и немецком характере, сопоставил их с биографическими сведениями о писателе и на этой основе сделал достаточно субъективный вывод о том, что Гончаров не только любил путешествовать по Германии, но и был одним из немногих крупных русских писателей, которые признавали ценность вклада выходцев из Германии в развитие его родной страны.² Однако Шульц в своей книге не приводит воспоминаний племянника писателя А. Н. Гончарова³ о том, как писатель «высмеивал» немцев и «пилил» своего слугу-немца

¹ Соловьев Н. И. Вопрос об искусстве // «Обломов» в критике. С. 169. Краткий очерк способов, которыми наживались «в несколько лет сотни тысяч», сделала Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 533—534).

² «Сам автор вообще настроен весьма пронемецки, насколько можно судить по выдержкам из его статей и писем. Он высоко ценил Германию и немцев, о чем можно судить по тому, что он предпочитал немецкого камердинера, любил Берлин и другие немецкие города (особенно курорты) и могучий Рейн. Гончаров — несомненно один из немногих крупных русских писателей, которые признавали и подтверждали ценность вклада немецких иммигрантов в развитие его родной страны. Его рассуждения оправданны и поддерживают убеждение в том, что он был очень рационален и логичен — подлинный „западник“, свободный от более или менее сильных антиевропейских чувств многих из сторонников славянофильского движения» (*Schulz R. K. The Portrayal of the German in Russian Novels: Goncharov, Turgeniev, Dostoevskij, Tolstoj. München, 1969. С. 53*). Г. Димент следующим образом интерпретировала отношения Гончарова (в последние годы жизни) с его слугой-немцем: «Как Штольц, чье имя вначале фактически было Карл в некоторых ранних вариантах рукописи, Карл Трейгут был немцем, и многие славянофилы несомненно считали отношения Гончарова с вдовой Трейгута проявлением не только дурного „социального“ вкуса, но и „прискорбных“ прогерманских настроений» (*Diment G. The Precocious Talent of Ivan Goncharov // Goncharov's «Obломov»: A Critical Companion / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern University Press, 1998. P. 38*).

³ Хранятся: РГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 64. Публикатор этих воспоминаний М. Ф. Суперанский, по чьей просьбе они и были написаны, призвал, однако, читателей отнестись к ним критически.

К. Л. Трейгута, а в разговоре с племянником рассказывал анекдоты о немецком характере и произнес будто бы следующее: «Может быть, немцы хорошие филологи, дельные чиновники или купцы, но жить они не умеют, всё у них угловато, нет изящества и отсутствие воспитания» (ВЕ. 1908. № 11. С. 28—29).

А. Б. Муратов считал, что при создании образа Штольца автору «Обломова» помогли впечатления, полученные во время работы в Департаменте внешней торговли, и характер деятельности героя мог быть подсказан содержанием проходивших через руки Гончарова дел.¹

Только однажды была предпринята попытка связать образы Штольца-отца и Штольца-сына (одновременно) с реальным лицом. Ю. М. Алексеева утверждала, что имя Карл не случайно появилось в черновой рукописи романа: брат писателя, Николай Александрович, был женат на дочери симбирского врача Карла Фридриха Рудольфа Елизавете. По архивным материалам исследовательница восстановила основные этапы биографии Рудольфа (сын медицинского чиновника, обучался в Германии, в 1812 г. вступил в Рязанское ополчение, участвовал в походах и сражениях, в 1817 г. определен в Симбирскую Александровскую больницу, в 1831 г. за борьбу с холерой награжден орденом Св. Анны пятой степени, дававшим право на потомственное дворянство; в городе, по воспоминаниям А. Н. Гончарова, его с полным основанием называли «местный доктор Гааз»). Значительное имение Рудольф получил за женой. С биографией Штольца-отца здесь совпадает только то, что герой попадает из Саксонии в Россию, с биографией Штольца-сына — приобретение богатства и высокого общественного положения: «Сбылась мечта матери Андрея Штольца: немец из Саксонии стал богатым русским дворянином».²

Следует отметить еще один аспект проблемы. Неоднократно высказывалось мнение, что Штолец унаследовал черты самого писателя. Те исследователи, которые придерживались этого мнения, основывались на служебном

¹ См.: Муратов А. Б. И. А. Гончаров в Министерстве финансов // И. А. Гончаров: (Новые материалы о жизни и творчестве писателя). Ульяновск, 1976. С. 38.

² Алексеева Ю. М. Был ли Андрей Карлом? // Нар. газ. Ульяновск, 1992. № 69 (162). 17 июня. С. 5. Автор статьи ошиблась: 5-й степени ордена Св. Анны не существовало.

прилежании Гончарова, достаточно успешной его карьеры, на аккуратности и скрытности (до тех пор пока не началась публикация писем, считалось, что оборотной стороной этих качеств могла быть расчетливость).

Выше уже упоминалось, что И. Ф. Анненский называл Штольца «некоторой душевной болью самого Гончарова».¹ Е. А. Ляцкий находил, что, создавая Штольца, так же как Петра Адуева и Аянова, Гончаров анализировал собственные романтические юношеские порывы и отказывался от них в пользу практических подходов, необходимых в частной жизни и на службе.²

В Штольце воплощено также то западноевропейское начало, которое усматривали и в психологии писателя. Оно, по словам Е. А. Соловьева, «заставляло его воспевать панегирики культуре, признавать ее необходимость и полезность, выставлять в своих произведениях деятельные типы, как Штолец...».³ В. Е. Евгеньев-Максимов находил в Гончарове штольцевский «склад ума (и мирозерцания)».⁴

П. Н. Сакулин отмечал, что «ситуация Гончарова в его собственном романе (имеются в виду отношения с Е. В. Толстой. — *Ред.*) близко напоминает ситуацию созданных им героев, несмотря на то что он не пользовался взаимностью, как более счастливые в этом случае Обломов и Штолец».⁵

В. Н. Криволапов выделил никем прежде не акцентированную деталь прототипической ситуации: «...каждый, кто знаком с биографией писателя, наверняка согласится с тем, что не только в философствующем, но и в робеющем перед перспективой брака Штольце нетрудно разглядеть И. А. Гончарова, который, видимо, в силу своей чрезвычайной мнительности так и не завел семьи».⁶

¹ См. выше, с. 142—143.

² См. выше, с. 143.

³ Соловьев Е. А. И. А. Гончаров, его жизнь и литературная деятельность: (Биографический очерк). С. 50.

⁴ Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. С. 148.

⁵ Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. С. 61.

⁶ Криволапов В. Н. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете «типического опыта» мировой культуры: Дис. на соиск. учен. степени д-ра филол. наук. Курск, 2000. С. 26. Попытку объяснить сложность натуры писателя, в которой, очевидно, уживались и черты Обломова,

Мнение о том, что для создания образа главной героини Гончаров использовал самые свежие жизненные впечатления, возникло, судя по воспоминаниям современников, еще до выхода романа.¹

Образ героини поначалу был неясен для автора. Черты, которые должны были составить его, собирались мало-помалу и первоначально противоречили друг другу. Например, глаза у героини были то серовато-голубые (см.: наст. изд., т. 5, с. 266, варианты к с. 192, строки 12—22), то карие (там же, с. 271, вариант к с. 198, строка 32). Характер также менялся: «...в программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел дорисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура», — писал Гончаров И. И. Льховскому 2(14) августа 1857 г. Возникали реминисценции из ранних петербургских лет: «Она то покорна (мне, то есть любви своей), как пансионерка...» (наст. изд., т. 5, с. 222; ср.: т. 1, с. 815).

Впоследствии читателями и критиками романа были выдвинуты три основных прототипа Ольги Ильинской. Это Ек. П. Майкова, Е. В. Толстая и А. А. Колзакова.

В дневнике Е. А. Штакеншнейдер 18 мая 1858 г. было отмечено: когда Гончаров читал роман некоторым друзьям, то отвечал кому-то, кто «заметил ему, что главное женское лицо в нем слишком идеально», что «он его писал с натуры и (...) оригиналом ему служила Кате-

и черты Штольца, сделал А. А. Фаустов: «Своеобычность, а во многом и драма Гончарова состояла в том, что он нередко позволял „чужому“ „идеологически“ захватывать себя. В результате — неожиданные „переключения“ из „вертикальной“ системы ценностей в „горизонтальную“, сомнения в себе как в художнике и потребность в самооправданиях (...). Гончаров пытается обезопасить себя, отвоевав какую-нибудь укрепленную и „мимикрирующую“ под „другое“ колонию на „чужой“ ему территории (этим вызвано отчасти и появление героев типа Штольца)» (Фаустов А. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Тарту, 1990. С. 7—8).

¹ Следует отметить интерес читателей, как и в случае с любым другим писателем, к теме сердечных увлечений (см.: Пиксанов Н. К. Два века русской литературы: Пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования. 2-е изд., перераб. С. 213 (тема семинария: «Сердечные увлечения Гончарова и их отражения в творчестве»)).

рина Павловна».¹ Екатерина Павловна Майкова, жена Вл. Н. Майкова, была замечательной личностью, судя по словам тех, кто знал ее в этот период: «Катерина Павловна совсем исключительное создание. Она вовсе не красавица, невысокого роста, худенькая и слабенькая, но она лучше всяких красавиц какой-то неуловимой грацией и умом. Главное, не будучи кокеткой, не обращая особого внимания на внешность, наряды, она обладает в высшей степени тайной привлекать людей и внушать им какое-то бережное поклонение к себе <...> праздник, светлый праздник».² Гончаров был, по словам Штакеншнейдер, без ума от Майковой.³ Записки Штакеншнейдер следует дополнить шутливой характеристикой, данной Ек. П. Майковой автором «Обломова» в письме к И. И. Льховскому от 1(13) августа 1858 г.: «Старушка (прозвище Майковой. — *Ред.*) показалась мне бодрой, резвой, так что я прозвал ее *юнкером*: она рассердилась, сочтя это покушением бросить камень в ее женственную красоту. А в самом деле она — прелесть! <...> Будь мне 30 лет и не имей она мерзкой привычки любить Старика (прозвище Вл. Н. Майкова. — *Ред.*) — я бы пал пред ней на колени и сказал: „Ольга Ильинская, это ты!“». О культе семейного очага, исповедуемом Майковой, писала и Штакеншнейдер: «У Екатерины Павловны прежние идеалы веры, добра, как его понимали прежде, семьи <...>. Главное Володя, он выше всего...».⁴

Знакомство Гончарова с Екатериной Павловной произошло перед самым ее замужеством в 1852 г. и вместе с тем перед отбытием Гончарова в плавание на «Палладе» (он писал Е. А. Языковой 12 августа 1852 г.: «Я видел невесту (Вл. Н. Майкова. — *Ред.*): миленькая, немного неловкая девушка, но это-то и придает ей грацию; она мне понравилась тем, что очень естественна; ни искусствен-

¹ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. (1854—1886) / Ред., статья и коммент. И. Н. Розанова. М.; Л., 1934. С. 209—210. В период чтения Гончаровым еще не напечатанного романа в кругу друзей Евг. П. Майкова писала сыну Аполлону 27 октября 1858 г. о том, что Гончаров «...начал читать со второй части, женщины великолепны!», но не о том, что женщины похожи на кого-либо из знакомых (*ИРЛИ*, № 17374, л. 25).

² Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. (1854—1886). С. 210 (запись от 18 мая 1858 г.).

³ См.: Там же. С. 196 (запись от 9 апреля 1858 г.).

⁴ Там же. С. 279 (запись от 16 декабря 1860 г.).

ность, ни кокетство не успели дотронуться до нее»). Их общение возобновилось после возвращения Гончарова из путешествия в 1855 г. Но за период 1852—1855 гг. не сохранилось никаких свидетельств Гончарова о том, что он воспринимал Майкову как прототип своей героини. Ничего на этот счет не говорится и в письме к И. И. Льховскому от 2(14) августа 1857 г., в котором Гончаров отвечает на догадки тех, кому было уже что-то известно об Ольге Ильинской: «При этой фигуре мне не приходили в голову ни Е<лизавета> В<асильевна>, ни А<вгуста> А<ндреевна> — решительно никто».

Ек. П. Майковой была посвящена заключительная часть очерка об «Обломове» Д. Н. Овсяннико-Куликовского в работе «История русской интеллигенции» (см.: «Обломов» в критике. С. 264—265). О. М. Чемена, горячая сторонница версии о том, что именно Майкова была прототипом Ольги Ильинской, полагала, что в этом очерке «образ Ольги так тесно сплетается с личностью самой Майковой, что разъединить их невозможно»,¹ и в качестве подтверждения правоты Овсяннико-Куликовского приводила тот факт, что Майковой, лично с ним знакомой, очерк был известен, но она не потребовала исправить в нем что-либо.²

О. М. Чемена провела обширные разыскания для доказательства своего утверждения о том, что Ек. П. Майкова была прототипом Ольги.³ Она полагала, что именно в Майковой Гончаров мог видеть черты «волевой, активной героини, способной переродить Обломова».⁴ Чемена проследила биографические параллели, сближающие Майкову с героиней романа. Это отсутствие материнской опеки в детстве (Майкова рано лишилась матери), любовь к музыке (пение любимой Гончаровым арии «Casta diva»), общая артистичность натуры, искренность, отсутствие наигранности в поведении;⁵ но главное — вечное пытли-

¹ Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятиница Е. П. Майкова. М., 1966. С. 49.

² Там же. С. 49.

³ Первоначально в статье: Чемена О. М. «Обломов» И. А. Гончарова и Екатерина Майкова: (К 100-летию создания романа) // РЛ. 1959. № 3. С. 159—168.

⁴ Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятиница Е. П. Майкова. С. 28.

⁵ Ср. у Е. А. Штакеншнейдер: «Недавно я слушала Екатерину Павловну Майкову <...> как умно, плавно, красиво, прекрасно она говорит, и как спокойно и просто. Т. е. нет, не спокойно, она волну-

вое беспокойство, жадный ум, искренний и пристрастный интерес к вопросам, волновавшим в то время общество, неспособность успокоиться в лоне семейной жизни — те свойства, которые привели, как известно, к уходу Майковой из семьи. Гончаров как будто предугадал этот уход, рассказав о недовольстве жизнью Ольги Штольц, и впоследствии осудил «передовые устремления» героини романа.¹ О. М. Чемена отметила также черту, свойственную Ольге в черновиках романа, но сглаженную в окончательном тексте: недостаточно горячую любовь к детям. Ек. П. Майкова покинула детей от брака с Вл. Н. Майковым, а сына ее и Ф. Н. Любимова воспитывала другая женщина. В черновиках довольно оригинальное для положительной героини у Гончарова (ср. матерей Александра Адуева и Обломова) отношение Ольги к будущим детям декларировано в части третьей: «Любить детей, конечно, буду, но нянчить их не стану...» (наст. изд., т. 5, с. 386, вариант к с. 369, строки 31—32), особенно важна здесь оговорка «конечно». О. М. Чемена прочла строки письма Гончарова к Майковой от апреля 1869 г., тщательно зачеркнутые последней, где писатель осуждает намерение своей давней знакомой уйти из семьи, оставив детей, и упрекает ее: «...у Вас с Вашим прошедшим столь четкая живая связь — трое детей <...> и натура, и ум <...> всё должно бы было влечь обе стороны одна к другой — и если этого нет, то остается предположить некоторую заглушенность, то ли неразвитость той стороны, которую относят к понятию о сердце».²

ется, но она волнуется потому, что предмет разговора ее волнует, а не от собственной неуверенности или робости» (запись от 20 марта 1860 г.); «Анна Николаевна (Энгельгардт, «передовая женщина». — *Ред.*) в споре напоминает Екатерину Павловну Майкову: та же горячность, но, не будучи резкой вообще, Анна Николаевна все же проявляет некоторую резкость и решительность, которой у Майковой нет вовсе. И в этом-то и состоит главная разница между передовой женщиной и непередовой» (запись от 16 декабря 1860 г.) (*Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки. (1854—1886). С. 251, 278—279). Эти данные О. М. Чемена не приводит.

¹ Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятиница Е. П. Майкова. С. 41.

² О Ек. П. Майковой — прототипе Ольги см. также: Лобкарева А. В. К истории отношений И. А. Гончарова и Е. П. Майковой // И. А. Гончаров: Материалы Международной научной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова. С. 357—360.

Елизавета Васильевна Толстая как участница событий, имеющих, по видимости, отношение к роману, была впервые названа П. Н. Сакулиным.¹

Сакулин опубликовал «законченную серию» писем Гончарова к Е. В. Толстой, написанных в период с конца августа 1855 до конца октября 1856 г., т. е. после того, как Гончаров возвратился из путешествия на фрегате «Паллада» и возобновил знакомство с Толстой, начавшееся по крайней мере за двенадцать лет до того, что подтверждается его записью в ее альбоме, относящейся к февралю 1843 г. и также введенной в научный обиход Сакулиным.² На основании анализа этих писем Сакулин сделал вывод о том, что между «Елизаветой Васильевной и Ольгой в понимании их Гончаровым столько общего, что мы готовы даже Е. В. Толстую назвать прототипом Ольги Ильинской».³ Сакулин признавал: «С одной стороны, Елизавета

¹ См.: Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. С. 45—65. Появление в 1834 г. в печати нового, более полного по сравнению с публикацией в «Русском вестнике» 1901 г. текста дневника Е. А. Штакеншнейдер, где шла речь о Ек. П. Майковой, изменило «обычное представление о прототипе Ольги Ильинской», как писал во вступительной статье к этой публикации И. Н. Розанов (см.: *Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки*. (1854—1886). С. 26). Это «обычное представление» было печатно утверждено не в примечаниях Иванова-Разумника к изданию «Обломова» (см.: *Иванов-Разумник. Примечания // Гончаров И. А. Обломов*. Л., 1928. С. 489—490), как заметил И. Н. Розанов, а несколько ранее, сразу вслед за публикацией Сакулина, и отразилось в «Словаре литературных типов» со ссылкой на того же Сакулина (см.: *Словарь литературных типов*. Т. VII, вып. 9—10: Типы Гончарова. С. 360). Согласно «обычному представлению», прототипом героини «Обломова» была Е. В. Толстая.

² Сакулин был осторожен в выводах: «Разумеется, на основании одной альбомной записи [...] трудно гадать, каковы были в 1843 г. действительные отношения Гончарова к Елизавете Васильевне» (Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. С. 49). Т. В. и В. И. Мельник более решительны: «Ни один из исследователей не придал записке (записи. — *Ред.*) большого значения, но совершенно очевидно, что в ней, как в зародыше, уже есть все то, что развернется в сумбурных, нетерпеливых, почти болезненных письмах романиста 1855—1856 гг.» (*Мельник Т. В., Мельник В. И. «Такие драмы уносят лучшие наши силы»: (И. А. Гончаров и Е. В. Толстая) // Мусины-Пушкины в истории России*. Рыбинск, 1998. С. 243). Исследователей интересовала тема страсти в письмах писателя, вопроса о прототипе Ольги Ильинской они не касались.

³ Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. С. 61.

Вас(ильевна) Толстая и Гончаров, с другой — Ольга Серг(еевна) Ильинская и Обломов со Штольцем. Разница в ситуации лиц и в ходе романа — очевидна. <...> Но для нашей цели важны моменты не различия, а сходства, и сравнению, главным образом, подлежат герои. Гончарову пришлось быть заразом на амплуа и Штольца и Обломова,¹ т. е. различие он признавал за героями, а не за героинями этих «ситуаций лиц».

Сакулин выделил в своей статье те черты внешности и характера Е. В. Толстой, которые сближают ее с Ольгой Ильинской, и главные из этих черт — красота и способность озарить «тусклое существование дряхлеющего холостяка».² «Когда <...> автор „Обломова“, — писал он, — начинает любовно во всех деталях рисовать портрет Ольги <...> то трудно отделаться от мысли, что он переносил на бумагу то, что видел в стоявшем перед ним портрете Елизаветы Васильевны».³ Ясный и критический ум Ольги, разбивающей софизмы Обломова, сходен со «светлым» умом Толстой (судя по «исповеди» Гончарова «Pour и contre», посланной ей 26(?) октября 1855 г.). Любовные мечтания Обломова находят параллели в письменных излияниях Гончарова. Наконец, знаковое слово «ангел» произносится Гончаровым и в связи с Ольгой Ильинской, и в связи с Е. В. Толстой.

Вместе с тем Сакулин заметил, что героиня Гончарова не унаследовала от Толстой ни возраст (под тридцать лет), ни такие ее черты, как провинциальность, отсутствие серьезных интересов (увлечение внешностью будущего жениха, которое отразилось в ее дневнике, отданном на прочтение Гончарову). Но не это было главным, а то, о чем свидетельствовал сам Гончаров: роман «Обломов» должен был «быть готов через полтора года во имя» Е. В. Толстой (письмо от 25 октября 1855 г.).⁴

¹ Там же. С. 57.

² Там же. С. 62.

³ Там же. С. 60. О портрете Е. В. Толстой см.: Лобкарева А. В. Свет и блеск ее глаз // Памятники Отечества. 1998. № 5—6 (41). С. 178—183.

⁴ С Сакулиным соглашался В. Е. Евгеньев-Максимов (см.: Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. С. 76—77). Иванов-Разумник также поддерживал эту мысль: «По всей вероятности, Гончаров не особенно твердо знал, куда повести Обломова, неизменно лежащего на диване во всей первой части романа; любовь Гончарова к Е. В. Толстой послужила толчком к рома-

А. Г. Цейтлин в примечаниях к своей монографии отметил, что «увлечение Е. В. Толстой не прошло даром: этот роман Гончарова сильно помог ему в создании любовного сюжета „Обломова“ (...). Как показал П. Н. Сакулин (...) интимные письма к любимой женщине как бы становились для Гончарова этюдами, изображающими персонажей романа».¹

Следует сказать и об Августе (О. М. Чемена называет ее Авдотьей) Андреевне Колзаковой.² Гончаров был, оче-

ну, дав тому любви Обломова к Ольге Ильинской. (...) Роман с Е. В. Толстой был „односторонним“: Гончаров не пользовался взаимностью (...). Очень возможно, что и это обстоятельство повлияло на дальнейшее развитие плана „Обломова“, на неудачу в любви его героя и на выход замуж Ольги Ильинской за Штольца. Во всяком случае нервное потрясение, испытанное Гончаровым в неудачном личном романе, оказалось благотворным толчком для окончания романа литературного» (*Иванов-Разумник*. Примечания. С. 489—490).

¹ Цейтлин. С. 463. Поэтический образ Е. В. Толстой продолжает привлекать большее внимание, чем более приземленный образ Ек. П. Майковой. Последняя не попала на страницы художественной литературы, в то время как первая обычно присутствует (см., например: *Ермолинский Л.* Зима в середине века // Ермолинский Л. О странностях любви. Иркутск, 1992. С. 3—96; *Киреев Р. Т.* Гончаров: «Поэма изысканной любви кончена» // Киреев Р. Т. «Говорите мне о любви...»: Роман. М., 1996. С. 32—35). Р. Т. Киреев о «мариенбадском чуде» пишет в следующих выражениях: «В жизни не было подобного? Что с того — здесь, за листом бумаги, он сам творит жизнь. Это-то и есть подлинное чудо. Потом кудесник Гончаров повторит его еще раз, теперь уже в „Обрыве“, где любовь его к Елизавете Толстой оживет вновь со всеми ее драматическими перипетиями» (*Киреев Р. Т.* «Говорите мне о любви...»: Роман. С. 35). Внимание этому вопросу уделил также М. Эре. О. М. Чемена — автор работы о Майковой упомянута лишь в сноске; рассуждение же Сакулина Эре «перевернул», заметив: «Мы видим Елизавету и многих других людей в жизни Гончарова исключительно его глазами — он сжег большую часть своих бумаг, писем и рукописей, — и, таким образом, то, что предстает перед нами — не Елизавета Толстая, но восприятие ее художником. Это восприятие поразительно сходно со взглядом Обломова на Ольгу» (*Ehre M. Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov*. Р. 39); на этом основании он отказался рассматривать Толстую как достоверный прототип. Однако Г. Димент (опираясь на работы Е. А. Ляцкого) снова обращается именно к этому персонажу в биографии Гончарова (см.: *Diment G. The Precocious Talent of Ivan Goncharov*. Р. 43).

² См.: Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. С. 17—18, 38. Имя «Августа Андреевна» встречается в письме Гончарова к Е. А. и М. А. Языковым от 17—18(29—30) марта 1853 г. Об А. А. Колзаковой см. также: Литературный архив. М., 1951. Т. 3. С. 104.

видно, некоторое время увлечен ею, но к моменту его отъезда в путешествие наступило охлаждение. Напоминая о проводах «Паллады» в Кронштадтской гавани, на которых присутствовала и Колзакова, он писал, обращаясь к Ю. Д. Ефремовой: «А другая-то, лукаво скажете Вы, которая плакала? А заметили ли Вы, какие у ней злые глаза? Эта змея, которая плакала крокодиловыми слезами, как говорит Карл Моор, и плакала, моля чуть не о моей гибели. Это очень смешная любовь, как, впрочем, и все мои любви. Если из любви не выходило никакой проказы, не было юмора и смеха, так я всегда и прочь; так просто одной любви самой по себе мне было мало, я скучал, оттого и не женат» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.). Чувство Гончарова к Колзаковой, очевидно, было неглубоким, если он так открыто рассуждал о нем в письме, адресованном целому кружку друзей. Поэтому утверждение, что разрыв Гончарова с Колзаковой повлек «сложные и тягостные переживания писателя» и «нашел отражение в сцене прощания Обломова с Ольгой»,¹ выглядит малоубедительным. Тем не менее на основании пометки «А. А.» на листе рукописи романа, содержащем текст прощального диалога Обломова с Ольгой, О. М. Чемена сделала вывод, что Колзакова и была прообразом той «страстной» женщины, от мысли ввести которую в роман как возлюбленную Обломова Гончаров впоследствии отказался.

Л. С. Гейро доказала, что О. М. Чемена ошиблась, утверждая, что пометки «А. А.» на вставном листе рукописи, вложенном в л. 47 (авторской пагинации; глава XI части третьей), относятся к Колзаковой,² которую никак нельзя считать прототипом Ольги Ильинской.

¹ См.: Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятица Е. П. Майкова. С. 38.

² «На самом же деле „А. А.“ — вовсе не инициалы Колзаковой, а литерное (в отличие от обычного для Гончарова, цифрового) обозначение „вставного“ листа, вложенного в основной текст. На листе 152 архивной пагинации также помета: „А. А. К 46 листу“. На полях того же листа еще раз — „А. А.“. Отрывок текста, записанный на этом листе, теснейшим образом связан с сюжетом романа, характером его главного героя, не имеет и не может иметь отношения к жизненной судьбе Гончарова. Заметим, кстати, что в рукописи романа „Обрыв“ также имеется дополнительный лист с пометой „А. А.“, уж вовсе никакого отношения к любовному диалогу не имеющий (спор Райского и Волохова, не вошедший в окончательный текст {...}) с авторской

Образ матери Ильи Ильича сходен с образом матери Александра Адуева. Пафос, с которым Гончаров писал об этих женщинах, позволил исследователям первоначально предположить, что прототипом в обоих случаях является мать самого Гончарова, Авдотья Матвеевна (рожд. Шахторина; 1785?—1851), сугубо уважительное отношение писателя к которой было известно не только из очерка «На родине»,¹ но также из письма к сестре, А. А. Кирмаловой, от 5 мая 1851 г.: «...жизнь ее, за исключением неизбежных человеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так было строго выполнено, как она умела и могла, что я после первых невольных горячих слез смотрю покойно, с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и горжусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».²

Такой точки зрения придерживались Е. А. Ляцкий и его последователи. Затем, на основании некоторых воспоминаний родственников о суровости и деспотичности матери Гончарова, ее стали считать, скорее, прототипом бабушки в «Обрыве».

Эта последняя идея была высказана М. Ф. Суперанским, опубликовавшим, как уже говорилось, выборку из воспоминаний А. Н. Гончарова. Последний ссылался на свою тетку: «Музалевская (Анна Александровна, сестра писателя. — *Ред.*) не любила вспоминать о своей матери,

пометой: „Перед этим окончание предыдущей главы на полулисте А. А.”)» (*ЛП «Обломов»*. С. 560). Дополним наблюдения Гейро еще одним — в письме Гончарова к брату от 29 декабря 1867 г. читаем: «...я прилагаю при этом (письме. — *Ред.*) на особом листе под литерой „А” всё то, что считаю возможным и для себя удобным напечатать теперь, пока я жив» (речь шла об автобиографии для «Сборника исторических и статистических материалов Симбирской губернии» 1868 г.).

¹ В черновой рукописи очерка есть строки о том, что Авдотья Матвеевна была «от природы необыкновенно умная, прозорливая женщина», «отличная, опытная, строгая хозяйка» (*ИРЛИ*, ф. 163, оп. 1, д. 89, л. 5, 6).

² Существует еще одно признание Гончарова в письме к С. А. Никитенко от 3(15) июля 1866 г.: «Вы говорите, что не понимаете законов, по которым совершается то или другое явление, а я большею частью их вижу, признаю, но только не покоряюсь им сразу и терпеливо, а всегда с протестом. Это уже виновата — горячая натура, мнительность и т. п. — то есть всё то, что мне, вместе с *гнусной тучностью* тела, досталось от моей матери. Много ли я виноват в этом?».

которая представляется мне женщиной старой России, — России XVIII столетия. Авдотья Матвеевна была жестокая женщина, круто распоряжавшаяся со своими детьми и прислугой» (БЕ. 1908. № 11. С. 25). Но Суперанский приводил также мнения и других родственников, отмечавших энергию и ум Авдотьи Матвеевны.¹ Опубликованное позднее письмо Гончарова к брату от 12 апреля 1862 г. («Наша мать была умница (...) она была решительно умнее всех женщин, каких я знаю...»), по видимости, подтверждало эту гипотезу.

Некоторые исследователи замечали, что наблюдается соответствие между именами матери Гончарова и Пшеницыной.² Недавно в печати появилось более развернутое наблюдение И. В. Смирновой: «Интересно, что имена своей матери и деда (Матвея Ивановича Шахторина. — Ред.) И. А. Гончаров, чуть изменив, использовал в романе „Обломов“, назвав Пшеницыну — Агафьей Матвеевной, а ее брата — Иваном Матвеевичем Мухояровым».³

В определении прототипа няни исследователи были единодушны: это Аннушка, няня Гончарова (впрочем, сам писатель никогда прямо не обмолвился о том, что это так).

Об Аннушке, или Анне Михайловне,⁴ Гончаров упомянул в очерке «На родине» («старые слуги, с нянькой во

¹ «Симбирские родственники, напротив, сохранили о ней самые лучшие воспоминания: она была строгая, но умная воспитательница детей; прислуга же весьма уважала ее „за справедливость“ и распорядительность» (БЕ. 1908. № 11. С. 25). См. также: *Суперанский М. Ф.* Воспитание И. А. Гончарова // *Рус. школа.* 1912. № 5—6. С. 3—5. Подробный обзор мнений см.: *Ehre M.* Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov. P. 7. Эре проанализировал также факт потери Гончаровым отца, заметив: «Насколько отцы отсутствуют в произведениях Гончарова, настолько „матери“ вездесущи» (Ibid. P. 9); здесь характерна постановка в кавычки: имеются в виду не только собственно матери героев, но и отношения многих женских персонажей с мужскими вообще.

² Например: *Ehre M.* Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov. P. 7.

³ *Смирнова И. В.* Семья Шахториных в Симбирске: К родословной И. А. Гончарова // *Традиция в истории культуры: Сб. докл. и тезисов докл. II регион. конф. (февр. 2000 г.).* Ульяновск, 2000. С. 237.

⁴ См.: *Бейсов П. С.* Гончаров и родной край. Куйбышев, 1960. С. 68. В письме А. Н. Гончарова к М. М. Стасюлевичу от 26 октября—4 ноября 1891 г. она названа Анной Ивановной; там же дан очерк отношений В. М. Кирмалова, также племянника Гончарова, с нею (см. об этом ниже). Судя по этому письму, летом 1862 г., когда писатель гостил в Симбирске у Музалевских, няня жила в том же доме, прислуживая В. М. Кирмалову (*ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, № 453, л. 11 об.).

главе»), передавал ей поклоны в письмах к Кирмаловым, у которых она жила: «...кланяйся старухе Аннушке, если она здоровствует» (письмо к А. А. Кирмаловой от 20 апреля 1856 г.), «Кланяйся старухе Аннушке» (ей же от 1 декабря 1858 г.), «Здорова ли старая нянька Анна? Кланяйся ей» (ей же от 26 февраля 1861 г.), «Обнимаю Аннушку» (письмо к А. А., Д. Л., В. М. Кирмаловым от 26 апреля 1863 г.). Г. Н. Потанин, учившийся в симбирской гимназии, когда там преподавал Н. А. Гончаров, и вхожий в дом своего учителя, подчеркивал восторженное отношение Гончарова к своей няне.¹

Вопрос о прототипе Агафьи Матвеевны Пшеницыной не ставился исследователями. Существует лишь предположение, что ее любовь, жертвенность, заботливость, строгость в ведении хозяйства напоминают мать писателя, Авдотью Матвеевну.² Высказывания Гончарова по этому поводу до выхода романа нам неизвестны. Но позднее, в 1860—1870-е гг., он неоднократно пользовался этим образом в письмах, чтобы обрисовать роль нескольких знакомых женщин в своей судьбе (см., например, письмо к С. А. Никитенко от 29 мая (11 июня) 1868 г.). По этим высказываниям можно судить о непреходящей ценности образа Агафьи Матвеевны для Гончарова.

Длительное время не анализировались наблюдения, которые могли послужить писателю для создания образов чиновников, бывших сослуживцев, досаждавших Обломову визитами в первый день действия романа. Упоминания об этом сводились к констатации факта его службы в Департаменте внешней торговли (что дало основной материал для образа Петра Адуева в «Обыкновенной истории»). Однако А. Б. Муратов обратил внимание на письмо В. Андр. Солоницына к Гончарову от 25 апреля 1844 г.,³ где Солоницын пишет о сослуживце, правителе канцелярии Н. С. Юферове: «Юферов отвратителен с своей неж-

¹ См.: Потанин Г. Н. Воспоминания об И. А. Гончарове // *Гончаров в воспоминаниях*. С. 40.

² Например: «...Агафья Матвеевна Пшеницына не только по имени, но и по глубинной сущности своей натуры, любящей и жертвенной, есть прямое подобие матери писателя, Авдотьи Матвеевны, какой мы ее знаем по воспоминаниям сына, других современников, по сохранившемуся портрету...» (Лощиц Ю. М. Слушание земли. С. 212).

³ Опубликовано в статье: Груздев А. И. К вопросу о замысле романа И. А. Гончарова «Старики» // Вопросы изучения русской литературы XI—XX вв. М.; Л., 1958. С. 334.

ностью к службе; но таковы условия успехов по бюрократии: многие были бы гораздо дальше своих нынешних мест, если бы вели себя как этот... не скажу человек, а чиновник. Кланяйтесь, подличайте, смотрите на начальника как на Иисуса Христа, пишите хоть вздор, лишь бы доставить ему случай чаще подписывать свое имя, прикидывайтесь обремененным, убитыми делами, — и счастье Ваше сделано. Юферов далеко пойдет!». Муратов заметил, что такого «преуспевающего чиновника, тоже „обремененного“, чуть не „убитого“ многочисленными делами, с умилением говорящего о начальстве и о службе, Гончаров вывел в романе „Обломов“ под именем Судьбинского».¹

* * *

Обломовку в первую очередь сравнивали с родиной Гончарова — Симбирском и, точнее, с родным домом писателя на Большой Саратовской улице, а также с Хухоревым (селом в Ардатовском уезде Симбирской губернии) — усадьбой его сестры, Александры Александровны, и ее мужа Михаила Максимовича Кирмалова, принадлежавшей ранее Н. Н. Трегубову, воспитателю Гончарова, и подаренной им его сестре.²

Те, кто занимался этим вопросом, опирались на статью «Лучше поздно, чем никогда», из которой следовало, что наблюдения, использованные при создании Обломовки, вышли «из небольшого приволжского угла <...> в них сквозит много близкого и родного автору», а также на воспоминания «На родине», где говорится, что именно во время поездки на родину после окончания университета у будущего автора «Обломова» «зародилось неясное представление об „обломовщине“», причем «фон <...> заметок,

¹ Муратов А. Б. И. А. Гончаров в Министерстве финансов. С. 41—42.

² «Не только Симбирск, с его дворянским характером, но и Заволжье, с его простором степей, с помещичьими усадьбами, с парками, садами и прудами, наблюдал он в годы впечатлительного детства. Тогда еще воспринял он и простор волжского разлива, и тишину степи, и самую интимную сущность старинной деревенской жизни в этом „благословенном Богом уголке“ <...> которую впоследствии, с болью в сердце, назвал *обломовщиной*» (Суперанский М. Ф. Материалы для биографии И. А. Гончарова // Огни. Пг., 1916. Кн. I. С. 173); о Симбирске в том же ключе см.: Ляцкий 1920; Лошиц.

лица, сцены большею частью типически верны с натурой, а иные взяты прямо с натуры».¹

Однако «На родине» сам Гончаров назвал «заметками», отделив их от «мемуаров», где «описываются исторические лица, события и где требуется строгая фактическая правда». Он утверждал: «...напрасно было бы отыскивать в моих лицах и событиях то или другое происшествие, то или другое лицо, к чему читатели бывают наклонны вообще и при этом редко попадают на правду». Кроме того, он повторил изложение основных принципов своей работы, сделанное ранее в статье «Лучше поздно, чем никогда», подчеркнув значение художественной обработки материала, выделения основной идеи, т. е. обломовщины.² «Обломовщина, тихое, монотонное течение сонных привычек, рутина» вышли в этих воспоминаниях на первый план.

М. Ф. Суперанский создал документальную базу для обоснования тезиса о прототипичности симбирской родины писателя для Обломовки и тем указал направление для последующих краеведческих исследований.³

Какие же черты «небольшого приволжского угла» попали в роман, участвуя в создании собирательного образа обломовщины?

¹ По выражению Ю. И. Айхенвальда, Гончаров — писатель, который «сам привязан душой и телом к той Обломовке, которую выставил на всенародное позорище» (*Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей*. М., 1994. С. 212).

² В одном из писем к родным, посланном вместе с очерком «На родине», Гончаров напоминал: «Читая (...) помните, что там, в статье, не всё так написано точь-в-точь, как было на самом деле. Кое-что прибавлено, кое-что убавлено, иное прикрашено или изменено. Целиком с натуры не пишется, иначе ничего не выйдет, никакого эффекта (...). Это и называется художественная обработка» (письмо к Д. Л. Кирмаловой от 9 марта 1888 г.). Это отнюдь не противоречит тому кредо, которое было высказано однажды Гончаровым в письме к С. А. Никитенко от 28 июля (9 августа) 1865 г.: «Да, я не стану лгать вообще (...) (кроме пустяков каких-нибудь и еще в шутках)».

³ Впоследствии В. Шукин добавил к доказательствам Суперанского еще одно указание: «Нельзя исключить, что Обломовку можно было встретить в Орловской и Курской губернии и тем более в Пензенской и Тамбовской, где дыхание Азии ощущается сильнее хотя бы потому, что наряду с русскими там встречаются и татарские деревни. Возможно и обратное — появление европеизированного поместного хозяйства за Волгой, тем более что там селились поволжские немцы (ср. описание Верхлёва в романе «Обломов»)» (*Шукин В. Миф дворянского гнезда*. Краков, 1997. С. 118).

Описание нравов, царящих в Обломовке, несмотря на то что современная Гончарову критика воспринимала его как правдивое, в сравнении с известными историческими фактами обнаруживает свою подчиненность мотиву «тишины» и имеет целью создание образа особого места, удаленного от жизненных бурь. При этом мотив тишины постоянно заглушается окружающей жизнью. Слова: «Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там» — соседствуют с упоминанием о том, что «приказчик приносил ему (отцу Обломова. — *Ред.*) две тысячи, спрятав третью в карман» (наблюдение, дополнением к которому служат мелкие кражи, совершаемые Захаром); описание опасных ко всему «нездешнему» мужиков — с рассказом о том, как эти мужики бегут, «шатаются» вдали от Обломовки, и бабы, которых староста «погнал по мужей {...} не воротились, а проживают, слышно, в Челках».¹ Возникающее у «старух» «темное предчувствие»: «Пришли последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство... наступит светопредставление!» — связано с вполне конкретными чертами духовной жизни не только Симбирска, но и представителей рода Гончаровых, а именно со старообрядчеством и «византийскими» нравами.² Особый оттенок в создаваемый образ

¹ Ср. колоритное описание, относящееся к XVIII—началу XIX в.: «Оконечность Самарской Луки, с. Рождествено и окрестные с ним деревни именно основаны беглецами из крестьян монастырских и помещичьих, а отчасти из служилых городских людей разных мест. Преследуемые прежними владельцами, они или убегали за Волгу, на Яик, или укрывались временно, пока минует гроза, в лесах. С другой стороны {некоторые} из поселенцев, которые могли и желали остаться на месте, прибегали к разным уловкам, чтобы уклониться от исполнения тех или других земских повинностей, большею частию записывались в одни дворы с другими семействами, под именем соседей, подсоседников, захребетников. Память об этом сохранилась и доселе в народе; говорят, что было время когда „в одни ворота ездили по десяти дворов“» (Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии: Приложение к Памятной книжке на 1868 год / Изд. Симбирским губернским статистическим комитетом. Симбирск, 1868. С. 8).

² О старообрядчестве Гончаровых и о присутствии вследствие этого эсхатологического начала в психоклимате семьи пишет Ю. М. Алексеева (см.: Гончаровский летописец. Ульяновск, 1996. Вып. 1. С. 374). Это несколько усложняет представление о «людях „Летописца“», о «незлобивой усмешке» Гончарова над «тяжеловесным укладом» которых писал Ю. М. Лощиц (*Лощиц*. С. 95). А. Н. Гончаров говорил впоследствии о «византийской» обстановке, царившей в симбирском

тишины вносит появление на страницах романа фамилии «Радищев» как фамилии друга, близко знакомого обломцам человека.¹

Можно определить границы «сонного» времени той Обломовки, которая вспоминается Илье Ильичу. Оно, это сонное время, заключено только в пределах его личной памяти и памяти тех, кого он застал. Штольц замечает Обломову: «Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов». Временные границы указывает и возраст Захара: «Захару было за пятьдесят лет». За это время прошли две эпохи: одна, когда на первый план выступала

доме (см.: *Ляцкий 1920. С. 69*). Ср. упоминавшееся выше его письмо к М. М. Стасюлевичу от 26 октября—4 ноября 1891 г., в котором он рассказывает о няне Аннушке, жившей в семье: когда Владимир Кирмалов, один из племянников Гончарова, пугавший окружающих нигилистическими выходками, обещал «выбросить ее „пенатов” (иконы. — *Ред.*) за окно», то «хитрая старушка вставала очень рано, молилась угодникам и на целые сутки запирала их в свой тяжелый, железом окованный, сундук. Кирмалов уверял меня, что его нянюшка ему очень напоминает придворных монахинь времен Византии» (*ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, № 453, л. 12*).

¹ «Необходимо полностью выпасть из времени и русского пространства, чтобы в 30-е годы XIX в. успокоиться, прочитав фамилию „Радищев”» (*Криволапов В. Н. «Типы» и «Идеалы» Ивана Гончарова. Курск, 2000. С. 81*). Следует, вероятно, обратить внимание на интересное сближение. Летом 1849 г. Гончаров, будучи в Симбирске, мог посещать Л. В. и А. В. Киндяковых (А. В. Киндякова, как полагают некоторые исследователи, послужила одним из прототипов бабушки в задуманном тем летом «Обрыве»). Факт этот не отмечен в «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова» А. Д. Алексеева, вероятно потому, что, впервые упомянутый в «Воспоминаниях» Г. Н. Потанина, он, подобно «Воспоминаниям» в целом, является весьма спорным и, по видимости, опровергается приведенными М. Ф. Суперанским воспоминаниями симбирских родственников Гончарова о том, что писатель никогда на даче в Киндяковке не жил (см.: *ВЕ. 1908. № 11. С. 22*), хотя, вообще говоря, Гончаров мог бывать в Киндяковке и не живя там на даче. К тому же знакомство Гончарова с Киндяковыми могло состояться в более раннее время: А. О. Киндякова была крестной матерью сестры будущей жены Н. А. Гончарова, который женился в 1842 г. (см.: *Алексеева Ю. М. Был ли Андрей Карлом? С. 5*). М. Ф. Суперанский приводит свидетельство Е. А. Гончаровой (жены А. Н. Гончарова) о том, что, «будучи в Симбирске, Иван Александрович часто бывал в семействе Рудольф, где были две сестры жены его брата — девицы» (*ВЕ. 1908. № 12. С. 420*). Фамилия «Радищев» возникает в этом сюжете в связи с тем, что тетка Л. В. Киндякова М. И. Аргамакова одновременно приходилась двоюродной теткой А. Н. Радищеву (см.: *Блохинцев А. Приверженцы вольности // Памятники Отечества. 1998. № 5—6(41). С. 96*).

«безграничная преданность» слуг «к дому Обломовых», и вторая, позднейшая, с ее «утонченностью и развращением нравов» (см.: наст. изд., т. 4, с. 67), — и сменились два или три поколения.¹ Следовательно, это конец XVIII—первая половина XIX в., и именно в этих границах следует учитывать исторические события² (хотя самого Гончарова чтение семейного «Летописца» должно было увести в XVIII век несколько глубже).

Исторический фон был подробно, с привлечением обширных архивных материалов, изучен П. С. Бейсовым. Он в основном сосредоточил свое внимание на необломовских, неидиллических подробностях существования Симбирска и Хухорева, сняв тем самым с русской провинции «обвинение» в косности, сплошном застое (исследователь писал о жестоком обращении помещиков с крестьянами, крестьянских бунтах, просветительской деятельности декабристских и масонских обществ, зарождении революционно-демократического движения в губернии). «Реконструируя» впечатления, которые могли

¹ Указание на количество поколений есть в первоначальной редакции части первой романа: «Этот рыцарь был двумя или тремя поколениями моложе («русских Каледов». — *Ред.*)...» (наст. изд., т. 5, с. 122). Можно дополнить это наблюдение тем, что подьячие, рассказы которых слушал Тарантьев, названы «рыцарями Фемиды семидесятых годов» (там же, с. 50).

² Ардатовский уезд вошел в состав Симбирского наместничества после 15 сентября 1780 г. (см.: *Рябушкин М.* От уезда до области // Памятники Отечества. 1998. № 5—6(41). С. 64—67). Можно упомянуть здесь интересную деталь: слова Захара о барине («наш-то столбовой») могли иметь как реальное, так и легендарное основания. С одной стороны, столбовыми дворянами, как известно, назывались потомки древних родов, занесенных в родословные книги (столбцы). С другой стороны, существует местная легенда, попавшая в краеведческие издания (см., например: *Семенов-Тянь-Шанский П. П.*) Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1868. Т. 4. С. 601, а также упомянутый выше «Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии: Приложение к Памятной книжке на 1868 год» (с. 33)), согласно которой коренные дворяне приволжского края писались в документах именно «столбовыми», так как Симбирску, взамен старого герба, льва с мечом в лапе, Екатериной II (за то, что город остался верным престолу, когда восстание под руководством Емельяна Пугачева охватило все Поволжье) был пожалован 22 декабря 1780 г. новый герб: в синем поле белый столб с золотой короной на нем. Краткую справку о бытовании эмблемы, положенной в основу герба, см.: Симбирск и его прошлое: Хрестоматия краеведческих текстов / Сост. В. Ф. Шевченко. Ульяновск, 1993. С. 62, 107.

запасть в память Гончарова в период работы секретарем канцелярии губернатора в 1834—1835 гг., Бейсов утверждал: «Это первый шаг в расширении рамок тех „впечатлений бытия“, которые приведут писателя к „Обломову“».¹

В качестве места, где Гончаров мог близко наблюдать деревенскую жизнь, отразив затем свои наблюдения в описании Обломовки, Бейсов назвал Хухорево, где Гончаров гостил у сестры во время своего приезда на родину в 1849 г. Зятя Гончарова М. М. Кирмалова Бейсов назвал «прототипом силуэта барина» во «Фрегате „Паллада“».² Письма Гончарова подтверждают если не этот факт, то причисление писателем своего родственника к обломовцам, наряду с его сыновьями, особенно Виктором Михайловичем. Об отношениях Кирмаловых с крестьянами Гончаров (в сохранившихся письмах) не упоминал, обсуждая лишь семейные дела. Бейсов же на основании архивных материалов рассказал о событиях в деревне, приведших к тому, что М. М. Кирмалов был убит своими крестьянами в июле 1850 г.

Еще на одну реалию Симбирской губернии указал К. А. Селиванов: он полагал, что впечатление от обстановки дома княгини Е. П. Хованской (сестры декабриста В. П. Ивашева) в Репьевке (Репьевка, Архангельское, Ботьма тож, Ставропольского уезда Симбирской губернии), ранее принадлежавшего богатому помещику Н. А. Дурасову, было частично использовано в описании Обломовки.³ В этом доме помещался «небольшой пансион для детей окрестных дворян» священника Федора Степановича⁴ Троицкого. Там Гончаров учился в 1820—1822 гг., о чем писал в автобиографиях.

Следует заметить, что этот пансион не был первым в его жизни: Гончаров в письме к брату от 29 декабря 1867 г. иронически описывал и другой, который они посещали раньше. Н. А. Гончаров просил прислать автобиографию для напечатания в упомянутом выше «Сборнике исторических и статистических материалов Симбирской

¹ Бейсов П. С. Новые материалы для биографии И. А. Гончарова // Известия научного совета Государственного архива Ульяновской области. Ульяновск, 1959. Вып. 1. С. 157.

² Бейсов П. С. Гончаров и родной край. С. 60.

³ См.: Селиванов К. А. Литературные места Ульяновской области. Саратов, 1969. С. 176.

⁴ У А. Г. Цейтлина ошибочно — Антонович (см.: Цейтлин. С. 19).

губернии». Гончаров отвечал ему: «Вон ты упомянул и о том, что забыл фамилию какой-то чиновницы, содержащей пансион, куда нас возили учиться читать и писать: да, это в самом деле жаль — какая потеря для потомства и человечества вообще, что оно не узнает, где учился выводить азы такой великий человек, как я? Уж ежели вспомнишь фамилию, так не забудь прибавить, что она была рябая, как терка, злая и стегала ремнем по пальцам тех, кто писал криво или высовывал язык, когда писал».

О пансионе в Репьевке у писателя осталось совсем иное впечатление. В том же письме он говорил: «С благодарностью упомяну о Ф. С. Троицком, у которого жена-немка, знавшая и по-французски, положила основание иностранным языкам, да там же я нашел несколько книг, которые и заронили во мне охоту к чтению». Троицкий, по воспоминаниям современников, был человеком образованным, обладавшим хорошими манерами, прекрасно говорил проповеди. Ничего общего с Иваном Богдановичем Штольцем он, по видимости, не имеет.¹

4

«Обломов», согласно поздним разъяснениям самого Гончарова, занимает центральное место в романной «трилогии» (статьи «Лучше поздно, чем никогда» (1879) и «Предисловие к роману „Обрыв“» (конец 1860-х гг.; опубл. 1938)). Но то, что говорит писатель по поводу связи «Обломова» с первой частью «трилогии», романом «Обыкновенная история», носит общий характер: Гончаров пишет о связи эпох и преемственности образов главных героев романов; так, обозначена связь между Надькой из «Обыкновенной истории» и Ольгой Ильинской, — образами, по мнению Гончарова (не бесспорно-

¹ См.: *Суперанский М. Ф.* 1) Воспитание И. А. Гончарова. С. 17—19; 2) Материалы для биографии И. А. Гончарова. С. 171—172. Жена Троицкого, немка (в девичестве Лицман), преподавала немецкий и французский языки. Гончарову приписывалось использование факта ее национальности: «...немцу Штольцу соответствовала немка {...} жена священника, учившая детей немецкому и французскому языку», причем Верхлёво — это имение княгини Хованской (*Ляцкий 1920*. С. 66). П. С. Бейсов констатировал, что содержателями симбирских пансионатов были в основном иностранцы, чаще всего французы (первый пансион для дворянства был официально разрешен в 1803 г. — см.: *Бейсов П. С.* Гончаров и родной край. С. 9).

му) сливающимися в один синтетический образ Надиньки-Ольги.

Творчество Гончарова 1830—1850-х гг. дает основания говорить о целом ряде предварительных набросков к сюжетным и характерологическим линиям «Обломова». Исследователи творчества писателя (в том числе Б. М. Энгельгардт и А. Г. Цейтлин) обнаруживают в герое ранней повести «Лихая болезнь» Тяжеленко отдаленную предтечу Ильи Ильича Обломова; там же прозвучал и мотив «всепоглощающего сна».¹ А. Мазон высказал предположение, что один из мотивов другой ранней повести Гончарова «Счастливая ошибка» (письмо старосты и беседа героя с управляющим) послужил эскизом для известного эпизода романа «Обломов».² Своеобразной прелюдией к комическим диалогам Обломова с Захаром являются сцены между хозяином и слугой в «Иване Савиче Поджабрине»; в очерках предвосхищены и другие сюжетные линии романа и колоритные черты описываемого в нем быта.³ Некоторые детали будущего романа в эмбриональном виде присутствуют в фельетоне «Письма столичного друга к провинциальному другу» и «этюде» «Хорошо или дурно жить на свете?».⁴

Как известно, работа (одновременная) над романами «Обломов» и «Обрыв» в начале 1850-х гг. зашла в тупик, «и тот и другой приостановлены были кругосветным плаванием в 1852, 1853 и 1854 годах, по окончанию которого и по изданию „Фрегата «Паллада»” я обратился к забытым романам» («Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв”», 1876). Впрочем, работа над «Обломовым» была лишь частично приостановлена, о чем свидетельствует такое ценное признание Гончарова в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Я унес новый роман, взял его вокруг света

¹ См.: наст. изд., т. 1, с. 634—635. «В ранней повести предсказаны не только приемы создания портрета Обломова, но и сами эпизоды начала романа. В „Лихой болезни” фигурирует верный слуга-нянька, которому Тяжеленко приказывает: „Эй, Волобоенко! {...} воды! Окажи мне голову, опусти сторы и не беспокой меня ничем до самого обеда”. Конец Никона Устиновича от удара на руках верного слуги прямо соотносится уже с грустным концом Ильи Ильича» (*Краснощечкова*. С. 226).

² См.: *Мазон*. Р. 46, а также: наст. изд., т. 1, с. 651.

³ См.: *Ляцкий* 1920. С. 203—204; *Мазон*. Р. 93—94; наст. изд., т. 1, с. 661—662.

⁴ См.: наст. изд., т. 1, с. 791—792, 806—807.

в голове и в программе, небрежно написанной на клочках, — и говорил, рассказывал, читал вслух кому попало, радуясь своему запасу». Эта непрекращающаяся работа над «Обломовым» непосредственно отразилась в тексте «Фрегата „Паллада“»: о «глубокой внутренней связи» тематики «Фрегата „Паллада“» с тематикой «Обломова» обоснованно писал Б. М. Энгельгардт.¹ Иногда эта связь прямо выходила на поверхность книги («английский» сон о русской Обломовке в главе первой «Фрегата „Паллада“» — своеобразное дополнение к «Сну Обломова»), но чаще она присутствует подспудно, прикровенно и в то же время безусловно ощутимо, о чем верно сказано Ю. М. Лощицем: «Несмотря на резкое жанровое отличие, обе книги необычайно сильно перекликаются тематически: тема путешествия постоянно присутствует в „Обломове“ — то в виде книг, которые читает Илья Ильич, то как пугающая его перспектива заграничной поездки в лечебных целях, то как перечень коммерческо-туристических вояжей Штольца. С другой стороны, тема созерцательного, бессобытийного, погруженного в быт Востока, развитая во „Фрегате“, носит явно „обломовский“ характер. Почти весь Восток, каким он показан у Гончарова, есть, по сути, громадная, на полмира распростертая Обломовка. Иногда при чтении „Фрегата“ невольно возникает ощущение, что Илья Ильич незримо участвует в путешествии в качестве созерцателя родственного ему восточного быта и искателя „утраченного рая“. Напомним также, какое самодовлеющее место занимает в тексте „Фрегата“ тема сна: гончаровский Восток весь как бы окутан сонными испарениями, сказочными миражами» (Лощиц. С. 193).² Е. А. Краснощекова, прослеживая сибирские мотивы в романе «Обломов», обратила внимание на явную параллель пророчеств о будущих «титанах» во «Фрегате „Паллада“» («Это тоже герой в своем роде — ма-

¹ Энгельгардт Б. М. Избр. труды / Под ред. А. Б. Муратова. СПб., 1995. С. 261.

² См. также близкое к мнению Лощица наблюдение Т. Б. Зайцевой, считающей, что «пассивная созерцательность Обломова близка идее древних философов Востока о Недеянии как идеале человеческой жизни» (Зайцева: Т. Б. А. П. Чехов и И. А. Гончаров: Проблемы поэтики: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. СПб., 1996. С. 9). Ср.: Краснощекова. С. 184—188, 257. См. также: наст. изд., т. 3, с. 467—468, 505—506, 525—526.

ленький титан. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим героям легион» — наст. изд., т. 2, с. 684) и будущих Штольцах, вызвавших ироническую реакцию почти всех критиков романа (см.: *Краснощекова*. С. 213—216). Пожалуй, было бы логично, если бы Гончаров расширил «трилогию» (включив в нее «Фрегат „Паллада”») до «тетралогии». Во всяком случае бесспорно, что «проблемы „Обломова”» весьма потеряют в своей полноте, если лишатся проекции на текст „Фрегата „Паллада”»» (*Лощиц*. С. 193).

Литературный генезис «Обломова», естественно, не исчерпывается внешними и внутренними перекличками с мотивами и образами предшествующих роману произведений Гончарова.

А. Мазон перечисляет целый ряд произведений французских и английских писателей, которые в той или иной степени могли быть в сфере внимания Гончарова и, следовательно, сыграли свою роль в формировании замысла «Обломова».

Называя среди возможных литературных источников романа аллегорическую поэму Д. Томсона «Замок безделья» («*The Castle of Indolence*», 1748), Мазон подчеркивает, что созданный Гончаровым «во всей полноте и величии» новый тип резко отличен от абстрактных фигур поэмы Томсона (см.: *Mazon*. P. 163).

Исследователь считает также, что для литературной родословной «Обломова» имел значение философский роман в письмах Э. де Сенанкура «Оберман» (1804), и цитирует отрывок из «Письма XLII»: «Однако апатия стала как бы моею природой; мысль о деятельной жизни словно пугает или удивляет меня. Мелочи мне противны, но по привычке я занимаюсь ими. Великое всегда будет прельщать меня, но моя лень всегда будет его страшиться».¹ Размышляя об отражении в русской литературе середины XIX в. вообще и в «Обломове» в частности одного из главных принципов сентиментализма («поэтизация обыкновенного, камерного, негероического»), обращается к ведущим мотивам «Обермана» Э. Сенанкура и М. В. Отрадин, уделивший особенное внимание близости мечтаний «поэта» и «философа» Обломова, которого жизнь «трогает», и философского эскапизма героя романа французского писателя: «Герой Сенанкура — человек чувства, а не

¹ Сенанкур Э. Оберман. М., 1963. С. 155. См.: *Mazon*. P. 129.

действия, он выделяется среди окружающих его людей созерцательным отношением к жизни, Оберман отказывается исполнять в современном обществе какую-либо социальную роль. Отчужденность от большого мира провозглашается им как принцип существования, цель этого отчуждения — сохранение цельности собственной личности. Герой не претендует на исключительную судьбу, но хочет заявить о себе как о „друге человечества”. Желанный покой мыслится им как освобождение от страстей и благотворный контакт с природой. И наконец, особая роль воображения, которое должно соединить духовный и физический мир в единое гармоничное переживание» (*Отрадин*. С. 120, 121).¹

Среди литературных источников «Обломова» А. Мазон особенно выделяет роман Э. Сю «Лень» («*La Paresse*»), входящий в цикл «Семь смертных грехов» («*Le Sept Péchés Capitaux*», 1847—1849).² Он считает, признавая огромную эстетическую разницу между шедевром Гончарова и посредственным романом позднего Сю, что чтение этого романа могло внушить Гончарову мысль «приняться по-новому за прекрасный сюжет, интерпретированный

¹ «Самое дорогое для Обермана — „быть самим собой”, самое важное — естественные потребности личности, а не требования общества, следование которым лишает человека целостности» (*Отрадин*. С. 122). Герой Сенанкура в определенном смысле является последователем Ж.-Ж. Руссо; его «бегство» от общества преследует одну чрезвычайно важную цель — сохранение своей внутренней независимости, он в соответствии с философско-педагогической установкой Руссо желает оставаться «прежде всего человеком» (*Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании* // Руссо Ж.-Ж. Пед. соч.: В 2 т. М., 1981. Т. I. С. 30). Эта «руссоистская линия» присутствует и в романе Гончарова, иногда прямолинейно выражаясь в патетической риторике «философа» Обломова: «Где же тут человек? Где его цель? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?» (наст. изд., т. 4, с. 172—174). Но, конечно, здесь мы имеем дело с отраженными руссоистскими мотивами (огромная литературно-философская перспектива), в их «гоголевском» варианте, несколько ослабленном, отчасти даже с комическим оттенком, заставляющим вспомнить ораторские упражнения Фомы Фомича Опискина, героя повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», благожелательным цензором которой был Гончаров.

² Сю фигурирует и в тексте романа (ср. ироническую реплику Ольги: «Эти слова я недавно где-то читала... у Сю, кажется...» — наст. изд., т. 4, с. 260). В черновой рукописи романа сказано определеннее: «Ах, эти слова я вчера читала у Сю» (наст. изд., т. 5, с. 313, вариант к с. 260, строки 41—42).

французским писателем в самой романической манере, с невыносимой неправдоподобностью. Осталось призвать на помощь направляемое тончайшим и точнейшим чувством воображение, дабы творчески пересоздать все элементы сюжета романа Сю — и Обломов создан» (*Мазон*. Р. 313—314).¹

Указал А. Мазон также на близость диалога Обломова с Захаром о разнице между барином и «другими» (см.: наст. изд., т. 4, с. 91—92) и разговором в тюремной камере между Риго и Жаном-Батистом в главе первой романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит» (1856—1857):

«— Кавалетто! <...> ты знаешь, что я — барин?

— Конечно, конечно!

— Делал ли я здесь хоть что-нибудь? Дотрагивался ли я до щетки, расстилал ли или убирал рогожи, отыскивал ли шашки, собирал ли домино — одним словом, делал ли я какую-нибудь работу?

— Никогда!

— Думал ли ты когда-нибудь увидеть меня работающим?

Жан-Батист оборотил правую руку и отвечал особенным движением указательного пальца, что на итальянском языке означало безусловное отрицание.

— Нет? С первой минуты, когда ты меня здесь увидел, ты понял, что я барин?

— Altro! — возразил Жан-Батист, закрыв глаза и неистово кивнув головой. <...>

— Ха-ха! Ты прав: я барин и барином хочу жить, барином хочу и умереть. Цель моей жизни быть барином — это моя роль».²

В литературе о Гончарове русского писателя неоднократно сопоставляли с Диккенсом и в самом общем плане. Так, И. Ф. Анненский, размышляя о характерных чертах «поэтического пути» создателя «Обломова», находил, что тому был особенно близок «диккенсовский оптимизм с наказанным, обузданным злом, без всякой грязи, с мяг-

¹ См. также ниже, с. 563—564.

² ОЗ. 1856. № 4. С. 523—524. Характерно, что в оригинале слову «барин» соответствует слово «джентльмен», так же как и в современном переводе (см.: Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М., 1960. Т. 20. С. 18). Ср.: Мазон. Р. 326. О семантических различиях в тексте «Обломова» между словами «барин» и «джентльмен» см. ниже, с. 546—548, примеч. к с. 177.

кой, вдумчивой обрисовкой характеров» («Обломов» в критике. С. 215).¹ Сопоставления Гончарова с Диккенсом как общего, так и частного характера представляются обоснованными. Они опираются на исключительно высокую характеристику творчества английского писателя в статье Гончарова «Лучше поздно, чем никогда»: «В нашем веке нам дал образец художественного романа общий учитель романистов — это Диккенс. Не один наблюдательный ум, а фантазия, юмор, поэзия, любовь, которой он, по его выражению, „носил целый океан” в себе, — помогли ему написать всю Англию в живых, бессмертных типах и сценах».²

Текст «Обломова» менее насыщен прямыми литературными цитатами и реминисценциями, чем текст первого романа Гончарова, где многообразный литературный пласт определен художественными амбициями Александра Адуева и его творчеством, образцы которого даны в произведении и стали объектом иронии критиков. Но иногда в «Обломове» присутствуют своего рода литературные «подсказки», позволяющие уточнить некоторые детали его литературной родословной. Обломов в юности не только «великолепные фейерверки» «пускал <...> из головы», но и перевел какую-то работу французского экономиста и философа Ж.-Б. Сея, посвятив перевод Штольцу.³ И вероятно, внимание Обломова привлекли

¹ Но отмечались критиками и принципиальные различия: Г. И. Шнейдер писал о разной природе юмора у Гончарова и Диккенса (*Шпр. Гр.* Гончаров, Короленко и Чехов в итальянском переводе: (Письмо из Италии) // Рус. вед. 1909. № 135. 14 июня. С. 3); анонимный рецензент «Русского вестника» — о разных типа психологизма у этих писателей (1895. № 9. С. 327).

² Л. Н. Толстому Гончаров писал 2 августа 1887 г. о Диккенсе как о создателе «великих картин жизни для всех». В письме к С. А. Никитенко от ноября—декабря 1869 г. он восторгался: «Я недавно перечитал кое-что у Диккенса: какая громадная фигура». В личной библиотеке Гончарова были книги Диккенса на русском и английском языках (см.: *Библиотека.* С. 37, 110; № 54, 251). См. также: наст. изд., т. 3, с. 559.

³ См.: наст. изд., т. 4, с. 181. В первоначальной редакции части первой романа еще сильнее подчеркиваются увлечения Обломова историей, политической экономией, переводами Сея; Штольц с укором напоминает другу юношеские занятия и порывы: «...хотел изучать камеральные науки, бредил политической экономией. Где у тебя груды переводов? Ведь ты почти всего Сея перевел. Помнишь, ты читал Робертсона, Юма? Где у тебя всё это?» (наст. изд., т. 5, с. 205).

не экономические воззрения Сея, а этические постулаты, энергично им отстаиваемые в работе «*Petit volume, contenant quelques aperçus des hommes et de la société*» (Paris, 1817), в частности разговор о «скуке» во фрагменте, озаглавленном переводчиком «Основание счастья»:

А. Мне скучно.

Б. Верю.

А. Я богат; всякий спешит мне угождать, нравиться; не успеваю пожелать, уже исполнилось. <...> Кажется, мне не должно бы скучать. <...>

Б. Ты ждешь на себя впечатлений от других, ты невольник других. Для счастья надобно быть своеобразным, надобно производить, не быть производимым.

А. Как! Мне самому работать? <...>

Б. <...> Действуй — и скука убежит от тебя».¹

Сочинения экономистов и экономические теории века непосредственно отразились в романе, где «иные рассуждения кажутся своеобразными „вставками“ из экономических статей».² К примеру, Тарантьев, саркастически рассуждая о «тисках для русских денег» в связи с покупкой машин для завода, «по существу выступает как сторонник русского протекционизма, экономической замкнутости, феодальной промышленности, не способной конкурировать с дешевыми изделиями капиталистического Запада».³ Экономист и историк В. М. Штейн по поводу слов, сказанных Штольцем Обломову (черновая рукопись романа), о том, что тот «...выучил только один момент, и то прошедший, и что каждый другой момент ведет за собой и другие данные, поэтому надо следить поминутно за наукой, чтоб иметь в голове физиономию какого-нибудь государства, что, например, в политической экономии с изменением разных обстоятельств и условий государственного быта изменяются и самые истины...», писал: «Это мнение нашего великого писателя, подсказанное, несомненно, передовыми взглядами, бывшими в обращении в его время, очень удачно схватывает основной мотив, сосредоточивший общественный интерес на

¹ Сей Ж.-Б. Основание счастья // Моск. телеграф. 1825. Ч. 2. № 8. с. 273—274. Об этой публикации см.: *Отрадин*. С. 105.

² Муратов А. Б. И. А. Гончаров в Министерстве финансов // И. А. Гончаров: Новые материалы о жизни и творчестве писателя. Ульяновск, 1976. С. 47.

³ Там же. С. 51.

политической экономии и статистике. Этим мотивом было убеждение в смене общественных форм и „разных обстоятельств”. Особенно примечательно, что и самые законы политической экономии (ее «истины») должны были меняться с „разными обстоятельствами”». ¹

Обращается Гончаров, обрисовывая судьбы и характеры главных героев романа, и к трагедиям В. Шекспира «Гамлет» и «Король Лир». Илья Ильич Обломов сопоставляется с Гамлетом (в комическом, снижающем регистре), а Ольга Ильинская — с Корделией (без малейших комических оттенков, в апофеозном стиле, всячески подчеркивающим многочисленные достоинства и добродетели героини).

Императивно сформулированный Штольцем девиз «Теперь или никогда!», оттененный «ядовитым» словом «обломовщина», оборачивается для Обломова вариацией знаменитого гамлетовского вопроса, прозвучавшего в специфической, бытовой аранжировке: «Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него хуже гамлетовского. <...> „Теперь или никогда!” „Быть или не быть!” Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногою в туфлю и сел опять» (наст. изд., т. 4, с. 186—187). Комическое звучание гамлетовской темы предвещает в романе трагический, фатальный конец — «никогда». Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот» (1860) тонко заметил, что «над Гамлетом никто и не думает смеяться, и именно в этом его осуждение: любить его почти невозможно, одни люди, подобные Горацию, привязываются к Гамлету» (*Тургенев. Соч.* Т. V. С. 335). Комическое у Гончарова снижает гамлетовскую тему, мягко освещая фигуру Обломова, которого окружающие обманывают, жалеют и — более всего — сердечно любят.

На то, что герой Гончарова принадлежит к длинной цепи литературных «вечных типов», указывали многие критики, в том числе Г. В. Александровский в педагогическом пособии «Чтения по новейшей русской литературе» (Киев, 1902; 10-е изд. Киев; Пг., 1917): «Создавая тип, являющийся коренным для всей русской жизни, Гончаров

¹ См.: наст. изд., т. 5, с. 105; *Штейн В. М.* Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков. Л., 1948. С. 105.

в то же время дал нам и общечеловеческий образ. <...> Обломов такой же вековечный тип, как Гамлет, Дон Кихот, Чацкий и др.».¹

Сопоставление Обломова с Гамлетом, вызвавшее грубую саркастическую насмешку Салтыкова-Щедрина,² разумеется, не идет в романе далее ситуативно-психологической параллели;³ оно только в таком ограниченном виде, с точки зрения Гончарова, и правомерно.⁴

Отчасти смысл сопоставления Обломова (и Райского) с Гамлетом помогают понять и уточнить некоторые суждения Гончарова в статье «Опять „Гамлет” на русской сцене» (1875; опубл. 1900): «Свойства Гамлета — это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления. Их нет тогда в состоянии покоя; они рождаются от прикосновения бури, под ударами, в борьбе. В нормальном положении Гамлет ничем не отличается от других»; «Тонкие натуры, наделенные гибельным избытком сердца, неумолимою логикой и чуткими нервами, более или менее носят в себе частицы гамлетовской страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры».⁵

¹ Цит. по: И. А. Гончаров. Его жизнь и сочинения: Сб. историко-литературных статей / Сост. В. Покровский. СПб., 1912. С. 155.

² См. об этом подробнее ниже, с. 288.

³ М. В. Отрадин пишет о «гамлетовской ситуации», в которой ощущают себя Обломов и герои других романов Гончарова: «Сомнения Ильи Ильича, как и сомнения шекспировского героя, касаются и мира, и человеческой природы, и его самого. Постепенно Обломов, как и Александр Адуев, как и Райский, начинает обнаруживать неожиданное в себе самом. Это приводит его к особому состоянию „атрофии воли”, которая и есть главный признак гамлетовской ситуации» (*Отрадин*. С. 117). Ю. М. Лошиц, напротив, резко противопоставляет «обломовский» вопрос гамлетовскому, утверждая, что в герое Гончарова нет «никакого гамлетовского раздвоения, никакого метания между бытием и небытием» (*Лошиц*. С. 186).

⁴ Райский, герой последнего романа писателя, так размышляет над невольным родившимся литературным сопоставлением: «Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся. Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда!». Но сопоставление Ульяны Андреевны с Офелией Райский тут же отклоняет: «...он закатился смехом от этого сравнения».

⁵ Критики сопоставляли иногда с Гамлетом и самого Гончарова. Так, Л. Н. Войтоловский писал, что Гончаров был «Гамлет до сокровеннейших изгибов души», и обнаруживал суть «духовной личности» писателя в ее «двойственности», в «гамлетизме». Критик пришел и к такому фантастическому заключению: «Под конец жизни он, подобно Гамлету, даже притворялся сумасшедшим» (*Войтоловский* Л. Н. И. А. Гончаров // Киевская мысль. 1912. № 155. 6 июня).

Сравнение Ольги Ильинской с Корделией должно было, по замыслу Гончарова, подчеркнуть благородство и возвышенность (избранность) натуры героини. Сравнение приходит на ум влюбленному Обломову, пораженному ее мыслями о любви: «Мне без вас скучно; расставаться с вами ненадолго — жаль, надолго — больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, — и счастлива, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею»; «„Это слова... как будто Корделии!“ — подумал Обломов, глядя на Ольгу страстно...» (наст. изд., т. 4, с. 243). Окончательно убедился Обломов в том, что ему выпало счастье встретиться с русской Корделией, услышав ее определение (довольно банальное) жизни («— Жизнь — долг, обязанность; следовательно, любовь — тоже долг: мне как будто Бог послал ее, — досказала она, подняв глаза к небу, — и велел любить. — Корделия! — вслух произнес Обломов. — И ей двадцать один год! Так вот что любовь по-вашему! — прибавил он в раздумье» — там же). Удивление и восторг героя, переходящие в благоговение и обожание, естественны — ведь это взгляд страстно влюбленного Обломова, весьма наклонного к преувеличениям: «Кто ж внушил ей это? — думал Обломов, глядя на нее чуть не с благоговением. — Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма дошла она до этого ясного и простого понимания жизни и любви» (там же, с. 244). Но это, безусловно, и стратегия автора, пользующегося любым поводом, чтобы еще больше возвысить свою любимую идеальную героиню.¹ Обломов, по-видимому, припоминает

Но раздавались и другие голоса. Ю. Н. Говоруха-Отрок, к примеру, считал, что «гамлетовские вопросы не коснулись Гончарова» (*Говоруха-Отрок*. С. 334).

¹ Возможно, Гончаров почувствовал некоторую искусственность сравнения Ольги Ильинской с Корделией. Во всяком случае, он счел необходимым пояснить столь неожиданное сопоставление особым эмоциональным состоянием героя: «Обломову нужды в сущности не было, являлась ли Ольга Корделией и осталась ли бы верна этому образу или пошла бы новой тропой и преобразилась в другое видение, лишь бы она являлась в тех же красках и лучах, в каких она жила в его сердце, лишь бы ему было хорошо. {...} И потому в мелькнувшем образе Корделии, в огне страсти Обломова отразилось только одно мгновение, одно эфемерное дыхание любви, одно ее утро, один прихотливый узор» (наст. изд., т. 4, с. 246). Позднее Корделию вытесняют другие женские образы; «жаркая улыбка» смущает Обломова: «Он где-то видал эту улыбку; он припомнил какую-то картину, на кото-

слова из монолога Корделии (имеется в виду перевод «Короля Лира», принадлежавший А. В. Дружинину).¹ Гончаров очень ценил этот перевод и предисловие к трагедии, написанное А. В. Дружининым; им был посвящен его последний урок великому князю Николаю Александровичу Романову, о чем он с таким подъемом сообщал Дружинину 22 июля 1858 г.: «Давно хотелось мне передать Вам, какой важный результат, на который Вы, конечно, не рассчитывали, произвел Ваш знаменитый перевод Лира: чтением его от доски до доски я заключил свои уроки с Ник<олаем> Алекс<андровичем>, и если б Вы были свидетелем того увлечения, какому поддался ученик! Но это бы еще ничего, оно понятно; но я прочел от слова до слова и введение, к которому мне, с критической точки зрения, не нужно было прибавлять ни слова, как к роскошнейшему, вполне распустившемуся цветку на почве — критики. Какой урок для ученика и как глубоко он его понял! Вот где прямая польза литературного образования и где единственными виновниками были Шекспир да Вы, а я только покорным посредником».

рой изображена женщина с такой улыбкой... только не Корделия...» (там же, с. 271). В черновой рукописи этой женщиной была Клеопатра (см.: наст. изд., т. 5, с. 325, вариант к с. 271, строки 26—28). Но в окончательном тексте романа Гончаров воздержался назвать Клеопатру среди предшественниц-спутниц Ольги.

¹ См. ниже, с. 563, примеч. к с. 243. В сознании Обломова возникают безусловно не только слова Корделии, но и весь ее идеально-поэтический образ. А. В. Дружинин в предисловии к переводу трагедии писал: «По объему своему роль Корделии меньше, чем роль второстепенной любовницы в небольшой скрибовской комедии, а между тем, по сознанию знатоков дела, ни один театр в мире не имел в лучшей своей актрисе настоящей Корделии. Лучшие героини Шекспира вообще говорят немного; но из них Корделия — самая молчаливая, стыдливая, самая скупая на речи» (*Шекспир В. Король Лир*. СПб., 1858. С. 33). Словесная скупость в высшей степени оправдана, она в гармоническом согласии с натурой героини: «Главное, основное достоинство молодой принцессы, — достоинство, слитое со всей ее жизнью, со всеми ее словами и помыслами, есть беспредельная честность сердца. Прямота всех поступков, истекающая из этой честности, совокупившаяся со всею поэзией юности, красоты, преданности, добра, бескорыстия, как будто разливает небесное сияние вокруг всей фигуры Корделии. <...> По натуре своей Корделия богата нежной гибкостью и терпимостью ума, составляющими высшую силу женщины. <...> Но женственно кроткая вообще, она, по временам, бывает склонна к тихому, несокрушимо упрямству натур честных. <...> Слова не слушаются ее сердца, и ее сердце возмущается невинной фразой, будто преступлением» (Там же. С. 34—35).

Свой взгляд на трагедию Шекспира Гончаров изложил в несохранившемся письме к А. К. Толстому (о нем мы располагаем только свидетельством самого Гончарова) и в статье «Опять „Гамлет” на русской сцене». О любви Корделии в статье, правда, говорится в связи с великим заблуждением короля: «...так любовь, которая была в одной из них, он не узнал ее — она являлась в своей природной простоте перед *отцом* и без трепета перед королем. <...> Только на пороге гроба, после безумия становится он опять человеком при светлой и нежной улыбке существа, любви которого он не узнал в ее трогательной простоте».

Известно, что Гончаров сначала (первое и непосредственное впечатление) одобрительно отозвался о повести Тургенева «Степной король Лир» (1870). Он писал 11 ноября 1870 г. С. А. Толстой: «Как живо рассказано — прелесть! Этот рассказ я отношу к „Запискам охотника”, в которых Тургенев — истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею — и пишет с натуры, тогда как в повестях своих (Гончаров так называл романы Тургенева, о которых отзывался неизменно резко отрицательно. — *Ред.*) он уже не творит, а сочиняет. Эти две головки, дочерей Лира, не правда ли, живые, бежавшие из грезовских рамок? И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем — они перед глазами. Да, Тургенев — трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь — в песнях и отражающий видимую ему жизнь — в легендах, балладах, но не эпосе».¹

Тургеневу, видимо, очень скоро было передано мнение Гончарова о повести, высказанное им неоднократно, еще до процитированного письма к С. А. Толстой. Оно его обрадовало; Тургенев с удовлетворением сообщал 3 ноября 1870 г. М. М. Стасюлевичу: «Я рад, что моя вещь понравилась Гончарову, — он судья верный...» (*Тургенев. Письма*. Т. X. С. 262). Отношения Тургенева и Гончарова к тому времени уже основательно испортились, и, должно быть, помимо понятной радости автора, произведение ко-

¹ Тенденциозное отношение Гончарова к романам Тургенева ощутимо и в этом отклике, но оно здесь очень смягчено и затенено. Отметим также, что сравнение дочерей главного героя с «головками», «бежавшими из грезовских рамок», представляется неудачным.

тогого высоко оценили, Тургенев мог усмотреть в словах болезненно мнительного современника перелом к лучшему, признаки начавшегося «выздоровления». К сожалению, он ошибся — болезнь Гончарова только вступала в новую и злокачественную фазу. Не оказался Гончаров и «верным» судьей. В памфлетно-литературной исповеди «Необыкновенная история» конца 1870-х гг. он, в сущности, решительно пересмотрел свое мнение о повести Тургенева, этого ненавистного и коварного соперника («я один, по роду сочинений, был его соперником»), и даже высказал фантастическое предположение, что повесть возникла под непосредственным влиянием его письма к А. К. Толстому: «...я в одном из писем к гр. А. Толстому что-то заговорил о „Короле Лире“ (мой взгляд на него), Тургенев вообразил, что я задумываю писать какого-нибудь миниатюрного Лира — и вдруг — бац — повесть „Степной король Лир“, где и *снял* уродливую карикатурную *параллель* с великого произведения, не уважив даже Шекспира, и подвел своих гнуснячков под типы гения! Это чтоб помешать мне: он вообразил, что я, говоря о Лире, хочу мазать тоже копию!». Гончаров теперь исключительно пренебрежительно пишет о некогда так ему понравившейся повести «трубадура», одновременно невольно демонстрируя, как она ему отчетливо запомнилась: «Он пробовал портить Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например „Степной король Лир“. Зачем было трогать великие вещи, чтобы с них лепить из навоза уродливые, до гнусности, фигуры? Можно ли так издеваться над трагическою, колоссальною фигурою короля Лира и ставить это великое имя ярлыком над шутовскою фигурою грязного и глупого захоластуника, замечательного только тем, что он „чревом сдвигает с места бильярд“, „съедает три горшка каши“ и „издает скверный запах“!!! Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи! Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если б мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь».

Не пощадил Гончаров и другие, по его классификации, «карикатурные параллели» и «копии» Тургенева: «„Гамлет Щигровского уезда“ — тоже какая-то мелюзга: зачем подводить под эти фигуры своих вырезанных из бу-

маги человечков! Уж портить так портить нас, мелюзгу...».¹

Гончаров в отличие от Тургенева, Н. С. Лескова, А. К. Толстого и многих других избегал в названиях своих произведений прямых переключек с великими сюжетами и образами Шекспира, Гете, Шиллера, Мольера, Данте, но — вне всяких сомнений — «подводил» своих героев (главных и второстепенных) «под типы гениев»: это относится даже к Ивану Савичу Поджабрину и слугам. Обломов, Ильинская, Штольц существуют в романе в контексте мировой литературы, соотнесены, в частности, с персонажами произведений Гете, Шиллера, Жорж Санд, Сервантеса, Байрона, Диккенса, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, и — что особенно подчеркнуто — Шекспира.²

¹ Логично рождающиеся и, по сути, неотразимые возражения Гончаров в той же «Необыкновенной истории» отклоняет, отказывая Тургеневу в праве на творческую перелицовку «чужих» сюжетов: «Да ведь и Шекспир, и Пушкин, и Гоголь, — скажут мне, — делали то же самое, что сделал Тургенев, то есть брали у бездарных или малодаровитых писателей (как Шекспир, например, взял у кого-то из своих товарищей сюжет «Лира»), потом он, а за ним Пушкин почерпали из легенд, летописей, предания, и Байрон делал то же; Гоголю, говорят, Пушкин дал сюжет „Мертвых душ“!». Создается впечатление, что Гончаров считал «заимствования» у бездарных и малодаровитых писателей (равно и из фольклора, летописей, хроник) делом законным и во всяком случае допустимым в отличие от переделок сюжетов великих мастеров (мысль в высшей степени спорная, которую многократно опровергает история мировой литературы). Гончаров полагал, что перечисленные им «великие мастера делали из взятого материала великие произведения, вдыхая в них свою творческую силу, и притом, уж конечно, ни чужой манеры, ни чужих картин и сцен не брали! Если они брали у других что-нибудь, так знали сами, как делать!». Но как раз такого творческого дара, по его мнению, был лишен Тургенев, который «переделывает не по-шекспировски, не по-пушкински и не по-гоголевски, а по-тургеневски, миниатюрно, и не создает, а сочиняет, то есть подведет маленьких человечков, едва намеченных, под большие фигуры, да, сняв ниткой мерку с плана, разобьет по этому и скучную фабулу, а чего не сможет дорисовать, то доскажет *умом*...».

² В черновой рукописи романа Штольц обращается к тени Шекспира с интимными и страстными вопросами: «Открывая глубокую сокровищницу тайн сердца человеческого, проследя ряд тайн, добытых Шекспиром со дня колодезя, он обращался к тени поэта, спрашивая с ироническими вопросами: „А всё ли тут? А как тебе достались эти знания? А билось ли сердце твое уже ровно и не обливалось кровью после того, как ты добыл и отдал свету свою последнюю тайну из глубоких недр сердца?“» (наст. изд., т. 5, с. 255, вариант к с. 162, строка 34; см. также с. 254, вариант к с. 162, строка 24).

Гончаров наделил своими литературными (шире — эстетическими) симпатиями любимых героев романа — Обломова, Штольца, Ольгу Ильинскую. Они прекрасно понимают друг друга с полуслова — произведения одних и тех же писателей, историков, философов, композиторов, художников, скульпторов образуют единую обширную и возвышенную эмоционально-эстетическую сферу, причем наиболее восторженным и чутким «реципиентом» в романе является Илья Ильич Обломов. Существуют, разумеется, между этими героями и различия. «Поэт» Обломов особенно восприимчив к поэзии и музыке; он вообще самый литературный и эстетичный герой романа — и его монологи даже по объему, не говоря о поэтичности и эмоциональности, намного пространнее монологов Штольца и Ильинской. С последней органично входит в роман остросовременная тема женской эмансипации, — неизбежным становится упоминание здесь и такой символической, уже легендарной литературной фигуры, как Жорж Санд.¹

Что же касается Штольца, то его статус в романе строго выдержан: это персонаж идеальный, безупречный, своего рода герой нового делового промышленного времени. Гончарову немало досталось за образ идеального «героя-немца» от современных ему и поздних критиков самых разных направлений.

Хор недругов Штольца был настолько громок, что заставил Гончарова позднее признаться: «Он слаб, бледен — из него слишком голо выглядывает идея. Это я сам сознаю». Под непосредственным впечатлением от упреков патрио-

¹ См. об этом ниже, с. 249—253. В современной критической литературе Ольга Ильинская противопоставляется как предтеча эмансипированной и сильной женщины будущего «консервативным» героиням знаменитых русских романов («Евгений Онегин», «Война и мир»). Б. Холмгрен, в частности, особенно впечатляет ее «беспрецедентная» неудовлетворенность счастливой семейной жизнью с почти идеальным и очень современным Штольцем: «Когда Ольга жалуется, что ее монотонная домашняя рутина является „концом дороги“, она напоминает Константина Левина Толстого, а не Китти Щербацкую и, уж конечно, не Наташу Ростову» (*Holmgren B. Questions of Heroism in Goncharov's «Oblomov» // Goncharov's «Oblomov»: A Critical Companion / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern University Press, 1998. P. 85—86*). Существует и противоположная точка зрения, восходящая к Ап. Григорьеву (см.: *Лоциц. С. 180—183*).

тической критики он готов был повиниться во всех грехах: «...я молча слушал тогда порицания, соглашаясь вполне с тем, что образ Штольца бледен, не реален, не живой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы — и за нелестный образ Обломова и всего более за немца — не хотели меня, так сказать, знать. Покойный Ф. И. Тютчев однажды ласково, с свойственной ему мягкостью, упрекая меня, спросил, „зачем я взял Штольца!“ Я повинился в ошибке, сказав, что сделал это случайно: под руку, мол, подвернулся!» («Лучше поздно, чем никогда»). Но тут же Гончаров предпринимает энергичную попытку защиты Штольца, своего немца, и немцев вообще: «Между тем, кажется, помимо моей воли — тут ошибки собственно не было, если принять во внимание ту роль, какую играли и играют до сих пор в русской жизни и немецкий элемент, и немцы. Еще доселе они у нас учителя, профессоры, механики, инженеры, техники по всем частям. <...> Я вижу, однако, что неспроста подвернулся мне немец под руку. <...> Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания.

Обрусевшие немцы <...> сливаются <...> с русскою жизнью. <...> Отрицать полезность этого притока постороннего элемента к русской жизни — и несправедливо и нельзя. Они вносят во все роды и виды деятельности прежде всего свое терпение, *persévérance* (настойчивость — *фр.*) своей расы, а затем и много других качеств, и где бы ни было — в армии, во флоте, в администрации, в науке, — словом, всюду — они служат с Россией и России и большею частию становятся ее детьми».¹

«Немецкая система неизнеженного, бодрого и практического воспитания», противоположная «обломовской системе воспитания» (наст. изд., т. 4, с. 139), стала стержнем немецкой темы в романе и тем фундаментом, на котором вырос Андрей Штольц — антипод Ильи Обломо-

¹ В письме к великому князю Константину Константиновичу от 27 июня 1884 г. Гончаров выражал надежду на то, что остзейские немцы «научат нас, русских, своим в самом деле завидным племенным качествам, недостающим славянским расам, — это *persévérance* во всяком деле <...> и систематичности. Вооружась этими качествами, мы тогда и только тогда покажем, какими природными силами и какими качествами обладает Россия!».

ва.¹ Конечно, немецкая тема в романе является частью европейской, как, впрочем, и русская, при всей ее степной, полуазиатской, сонной специфике.² В сознании всех главных героев романа, принадлежащих к высшему образованному слою общества, русское и европейское слиты органично. Но в формировании личности Штольца немецкий элемент, естественно, был особенно значителен. Его воспитанием в строгом, систематическом духе руководил в детстве отец, приобщая сына к немецкой культуре и к разным видам деятельности: «С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных...» (там же, с. 152). В этой системе просвещения и обучения, унаследованной отцом Андрея («агроном, технолог, учитель») от своего отца, практические элементы гармонично сочетались с духовным, литературно-религиозным, в основе своей протестантским, воспитанием.³ Таков был грунт — то, чего было вполне достаточно для «бюргерской», «узенькой немецкой колеи». Дальнейшее развитие Штольца совершалось под мощным влиянием русской среды и поездок по Европе (Иена, Бонн, Эрланген). Систематическое и внимательное изучение европейской и русской жизни расширило его кругозор, — вступив на широкую дорогу, Штольц приобщился к величайшим достижениям европейской и русской культуры и науки. Видное место в этом интенсивном духовном развитии заняли сочинения Винкельмана, Гете, Шиллера, Канта (такой выбор ориентиров отчасти дублировал духовное развитие самого Гончарова — фактор, предопределивший

¹ «Именно в романе „Обломов” проблемам воспитания принадлежит центральная роль. Образы Обломова и Штольца демонстрируют результаты двух диаметрально противоположных „систем воспитания”» (*Тирген*. С. 23).

² Гончаров так писал великому князю Константину Константиновичу в упомянутом выше письме: «Германская культура и интеллигенция, конечно, старее, обширнее, пожалуй, выше русской; но она есть всеобщее европейское достояние вместе с французской, английской, другими культурами, и между прочим также и русской, внесшей и вносящей значительные вклады в общую сокровищницу европейской цивилизации!».

³ В. Н. Криволапов в статье «Вспомним о Штольце...» обнаруживает параллели и ассоциации с романом Гончарова в ряде работ М. Вебера, особенно в том, что касается «протестантской этики и духа капитализма» (см.: *РЛ*. 1997. № 3. С. 42—67).

многомерное и многоаспектное присутствие немецкой стихии, немецких элементов в структуре романа).

Естественно, что пристрастия Штольца разделял Обломов; эта общность интересов возникла в детстве и укрепилась в юные «романтические» годы. Не случайно Обломов в письме к Штольцу (черновая рукопись романа) сообщал: «Я опять принялся за Винкельмана...» (наст. изд., т. 5, с. 222). Возвращение Обломова к Винкельману понятно — сочинения Винкельмана (наряду с произведениями Шиллера и Гете) Гончаров с энтузиазмом переводил в юности.¹ Концепция античной красоты Винкельмана отражена в образе Ольги Ильинской (см.: *Мельник 1995*. С. 18—20).

По мнению ряда исследователей романа, исключительно важное место в его художественной структуре занимают эстетические и педагогические идеи Шиллера, более всего шиллеровский идеал воспитания.² Особенно здесь важны «Письма об эстетическом воспитании чело-

¹ Гончаров неоднократно упоминает Винкельмана в письме разных лет к С. А. Толстой, великому князю Константину Константиновичу, А. Ф. Кони. Так, последнему он писал о своих литературных занятиях в юности 24 июня 1880 г.: «Я для себя, — без всяких целей, — писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман».

² П. Тирген даже считает, что «авторский замысел романа „Обломов“ не может быть понят без знания Шиллера» (*Тирген*. С. 21). В. И. Мельник полагает также, что в романе (особенно в «Сне Обломова») своеобразно преломились и идеи («антифеодальный пафос») педагогического трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль...» (1759) (*Мельник 1985*. С. 20—21). Эту точку зрения оспаривает Тирген, считая, что она «требует основательной проверки» (*Тирген*. С. 29). Е. А. Краснощекова, напротив, не только соглашается с тезисами Мельника, но и развивает их, высказывая предположение: «Возможно, что „Сон Обломова“ был задуман с дидактической целью — как своего рода „Анти-Эмиль“» (*Краснощекова*. С. 261). Краснощекова также полагает, что рассказ о воспитании Андрея Штольца «соотнесен с идеями Руссо (...) как русская вариация на темы из „Эмиля, или О воспитании“» (Там же. С. 270). Но Штольца отец воспитывал, разумеется, не по идеям Руссо, а по установившимся рекомендациям системной практической немецкой педагогики в ее бюргерском варианте. Другое дело, что знакомство с сочинениями Руссо дополнило позднее (это относится и к Обломову) его образование. Примечательно, что именно Штолец напоминает Обломову о его увлечении в юности произведениями Руссо, Шиллера, Гете, Байрона, которые тот «носил» сестрам в Кудрино, улучшая их литературный вкус (наст. изд., т. 5, с. 208, сноска 3). Сомнительно, однако, что Обломов носил им педагогический трактат «Эмиль...». Скорее всего, это был роман «Новая Элоиза».

века» (1792—1794), где Шиллер развивает свою теорию о современном расслабленном, пассивном человеке, человеке-обломке, противоположном идеальному человеку, обладающему цельностью характера: «По мнению Шиллера, расхлябанность и нецельность суть приметы современного характера, так как законы и нравы, разум и фантазия, труд и наслаждение, усилие и вознаграждение „оторваны“ друг от друга. Потеря принципа единства определяет нецельность человека; вывод Шиллера гласит: вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится *обломком...*» (Тирген. С. 25). На эти же слова Шиллера о человеке-обломке обратил внимание В. И. Мельник, который, придав им неоправданно универсальный смысл, отнес их помимо Обломова почти ко всем героям романа — не только к Волкову, Судьбинскому, Тарантьеву, Алексееву, но даже к Штольцу (см.: Мельник 1985. С. 22).¹

Эстетические и педагогические идеи Канта и Шиллера вошли в ткань и структуру романа, что дало право утверждать: «Гончаров — это просветитель в традиции Канта и воспитатель в духе Шиллера. Он апеллирует к вере в идеал, к рассудку, к свободе воли индивидуума. Подобно Шиллеру и Канту, он ищет причины порчи нравов не столько в объективных исторических свидетельствах, сколько в субъективных слабостях человека. Просвещению противостоят и ошибки воли. Исправлять их и подавать пример должна литература, создавая „идеальные характеры“, подобные Штольцу и Ольге» (Тирген. С. 30).²

¹ Но причисление Штольца к «обломкам» разрушает заветную мысль автора, постоянно подчеркивающего контраст между Штольцем и Обломовым. Это главная антитеза в романе, суть которой П. Тирген, возводя ее к трактату Шиллера, передает так: «В жизненной норме Штольца отражается идеал „цельного человека“, как он прежде всего описывается в шиллеровском триптихе о физическом, эстетическом и нравственном совершенствовании. В противовес Обломову — человеку-обломку — здесь воплощается идеал цельности» (Тирген. С. 25).

² То обстоятельство, что И. Кант не упомянут ни в окончательном тексте романа, ни в черновой рукописи, не меняет сути дела; П. Тирген имеет в виду не только общую философскую традицию, но и прямое влияние сочинений Канта на Шиллера: «Размышления Шиллера, как он сам указывает, непосредственно связаны с Кантом, и прежде всего с его статьей „Ответ на вопрос: что есть просвещение?“ 1783 года. Знаменитое кантовское определение — превосходное объяснение „обломовского вопроса“ и его причин: „*Просвещение есть выход человека из несовершеннолетия, в котором он сам повинен.*»

В том же письме Обломова к Штольцу, в котором он сообщал о возвращении к Винкельману, названы и произведения Гете: «...твержу „Римские элегии“, письма из Рима, не знаю, за что схватиться...» (наст. изд., т. 5, с. 222). В окончательном тексте романа (глава VIII части четвертой) перед умственным взором Штольца, размышляющего о любви и браке, являются «застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся Вертеры» (наст. изд., т. 4, с. 448—449), а отвечая на тревогу вдруг затосковавшей Ольги, он говорит: «Мы не титаны с тобой <...> мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту...» (там же, с. 461). Словом, Штолец отвергает не только, что очень понятно, дорогу Вертера, но и дерзкий, вселенских масштабов, бунт Фауста. В свете такого отношения Штольца к «дерзкой борьбе» Фауста представляется неоправданным и странным стремление увидеть в герое Гончарова нечто дьявольское, Антихриста, объединившего в себе «элементы Фауста с элементами Мефистофеля».¹ «Параллели между трагедией Гете и романом Гончарова»

Несовершеннолетие — это невозможность жить собственным разумом, без чужого руководства. Вина этого несовершеннолетия не в недостатке разума, но в недостатке решительности и мужества обойтись без чьей-либо помощи. *Sapere aude!* (Имей смелость знать! — *лат.*) Имей мужество обходиться *собственным* разумом — таков девиз просвещения. Лениность и трусость — причины того, что большая часть людей <...> в течение всей жизни охотно пребывают в несовершеннолетьи» (Там же. С. 26; см. также: *Краснощекова*. С. 354).

Тирген называет в связи с проблематикой романа (физический упадок Обломова) и другую работу Ф. Шиллера «О грации и достоинстве» (1793), в которой тот пишет о тесной связи духа и матери, «деятельном духе» и «бездеятельном духе» (*Тирген*. С. 27—28). Штолец, как образцовый герой, по мнению ученого, «выдерживает высшее испытание характера», о котором шла речь в трактате Шиллера «О возвышенном» (1793) (Там же. С. 31). Работу Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795), анализируя источники идиллической картины мира в «Сне Обломова», вслед за Х. Роте и И. Клейном, упоминает Ю. Манн в статье «Гончаров как повествователь» (см.: *Leben, Werk und Wirkung*. S. 87—88).

¹ *Louria Iv., Seiden M. I. Ivan Goncharov's Oblomov: The Anti-Faust as Christian // Canadian Slavic Studies*. 1969. Vol. 3. N 1. P. 49. Можно согласиться с таким сопоставлением «Фауста» и «Обломова»: «В том и другом произведении автор занят конфликтом между двумя радикально противоположными путями жизни: жизнь как действие и жизнь как бездействие; жизнь как становление (или утилитарное

обнаруживает и Е. А. Краснощекова, правда чересчур общие, и потому они не выглядят убедительными; различия между произведениями гораздо очевиднее: «...сам ведущий сюжет имеет сходство: две женщины в судьбе героев, в конце пути оба обретают жизнь в соответствии со своими идеалами» (*Краснощекова*. С. 338). Наиболее взвешенной и осторожной представляется позиция Х. Роте, предполагающего в творчестве Гончарова «импульсы Гете», но считающего, однако, что вопрос об их силе и свойствах остается «совершенно открытым».¹

Открытым остается вопрос и об импульсах А. Шопенгауэра. В. Сечкарев обнаруживал «яркие параллели» с Шопенгауэром в тексте «Обломова», но одновременно признавал отсутствие свидетельств о знакомстве Гончарова с трудами философа, что, впрочем, не исключает возможности такового: «Гончаров знал литературу и философию своего времени лучше, чем это обычно представляется».²

* * *

В словах «Обломов», «Обломовка» очевидны негативные смысловые оттенки, которые лучше всего выражает шиллеровская идея человека-обломка. Обращаясь к русской родословной романа, отметим, что фольклорные ассоциации, преломившиеся в фамилии главного героя и названии его родного села, несут противоположный сим-

служение чему-то) и жизнь как простое существование». Но невозможно согласиться как с тем, что увлечение Фауста материальным прогрессом трансформировалось в романе Гончарова в «отрицание любого прогресса такого рода и в воспевание христианской жизни», так и с тем, что Обломов, подавивший в себе «деятельные желания Фауста, переведя их в сферу созерцания, в итоге становится святой фигурой» (*Ibid.*). Эти мысли канадских ученых прозвучали ранее, но в более мягком варианте в статье М. Мэйса (см.: *Mays M. A. Oblomov as Anti-Faust // Western Humanities Review*. 1967. Vol. 21. N 2; ср. полемические возражения: *Краснощекова*. С. 338, 476).

¹ *Rothe H. Goethes Spuren im Beginn des russischen Realismus (1845—1860) // Goethe und die Welt der Slaven / Hrsg. v. H.-B. Harder und H. Rothe. Giessen, 1981. S. 158—173.*

² *Setchkarev V. Andrej Štols in Gončarov's «Oblomov»: An attempted reinterpretation // To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague; Paris, 1967. Vol. 3. P. 1804. См. также: Bayer J. T. Arthur Schopenhauer und russische Literatur der späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. München, 1980. S. 7—19.*

волицеский смысл. Они создают представление о чем-то круглом, мягком, сонном, дородном, так сказать, о румянном солнце с двойным подбородком.¹ Ю. М. Лошиц пи-

¹ Символичны не только название села и фамилия героя, но и такой важный «внешний» атрибут-лейтмотив, органично связанный с натурой и формами существования Обломова, как его во многих отношениях замечательный халат, столь тщательно выписанный в романе: «На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но всё еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани» (наст. изд., т. 4, с. 6). Халат давно уже стал частью личности Обломова и — более того — ярким символическим воплощением бесконечного азиатского покоя, антитезой всякого движения, любых перемен и переездов. Переодевание в сюртук (это происходит в частях второй и третьей романа) означает целый переворот и попытку возрождения; возвращение к халату — конец движения и угасание. М. Эре обратил внимание на ритмическую последовательность переодеваний, соответствующих трем фазам жизни Обломова: «stasis — action — stasis» (см.: *Ehre M. Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1973. P. 163).

П. Тирген в статье «Халат Обломова» называет ряд возможных литературных источников — студенческую песнь Н. М. Языкова «К халату» (1823; опубл. в 1859), которая непосредственно связана со стихотворением П. А. Вяземского «Прощание с халатом» (1817; 1821), в свою очередь, видимо, восходящим к миниатюре в прозе Д. Дидро «Сожаление о моем старом халате» («*Regrets sur ma vieille robe de chambre*», 1772; переведена Вяземским), а также размышления автора в главах второй (замечание о Дмитрие Ларине — строфа XXXIV) и шестой (предположение о «халатном» будущем Ленского — строфа XXXVIII—XXXIX) «Евгения Онегина» (см.: *Тирген П. Халат Обломова // Ars Philologiae: Профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия / Под ред. П. Е. Бухаркина*. СПб., 1997. С. 140—142, а также: *Жук А. А. Русская проза второй половины XIX века*. М., 1981. С. 47—48).

Количество литературных (и реальных) «халатных» предшественников легко можно приумножить — это и сложившаяся в русской поэзии традиция «посвящений халату», и — что особенно существенно для романа — традиции Гоголя, уделявшего большое внимание одежде своих героев. Однако символический характер халат, пожалуй, приобрел только с появлением романа «Обломов», органически слившись с существом главного героя. Как пишет Э. М. Руттнер: «Халат — это символический лейтмотив апатии и избалованности Обломова, т. е. „обломовщины“» (*Руттнер Э. М. Лейтмотив у И. А. Гончарова и параллели в произведениях Томаса Манна // Russian Literature*. 1974.

шет: «„Сонное царство” Обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати, круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича и, следовательно, к названию деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова „обло” — круг, окружность (отсюда «облако», «область»). Такой смысл как будто вполне соответствует мягкокруглому, шароподобному человеку Обломову и его округлой, мирной блаженствующей вотчине.

Но еще явственнее в фамилии Ильи Ильича проступает другое значение, и его, на наш взгляд, и имел в первую очередь в виду автор. Это значение *обломка*. В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватной жизни? И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший „блаженный уголок” — обломок Эдема? Здешним обитателям *обломилось* доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога. Вспомним, что пирог в народном мировоззрении — один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог — это „пир горой”, рог изобилия, вершина всеобщего веселья и довольства, магическое солнце материального бытия. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ. От пирога исходят теплота и благоухание, пирог — центральный и наиболее архаический символ народной утопии. Не зря и в Обломовке царит самый настоящий культ пирога. Изготовление громадной сдобы и насыщение ею напоминает некую сакральную церемонию, исполняемую строго по календарю, из недели в неделю, из месяца в месяц. „Сонное царство” Обломовки вращается вокруг своего пирога как вокруг жаркого светила» (*Лощиц*. С. 172—173).

Фольклорная метафора «сон-обломон» своеобразно отражает двойной (двойственный) смысл фамилии героя: это и зачарованный, манящий мир сказок, и одновремен-

Н 6. С. 107). Память о халате Обломова ощутима в других, значительно позднее написанных литературных произведениях, где в той или иной степени присутствует азиатская семантика; в частности, по наблюдению Г. Димент, к халату Обломова восходит бухарский халат Николая Аполлоновича Аблеухова из «Петербурга» Андрея Белого (см.: *Diment G. The Precocious Talent of Ivan Goncharov // Goncharov's «Obломov»: A Critical Companion / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern University Press, 1998. P. 24).*

но «обломный сон», придавивший сновидца могильным камнем.¹

В связи с фамилией героя В. И. Мельник вводит в круг поэтических параллелей сборник Е. А. Баратынского «Сумерки» (1842): «По всей вероятности, именно „Сумерки“ помогли Гончарову поставить в „Обломове“ вопрос об исторической взаимосвязи (а не только противоположности) „старой“ и „новой“ правды. Речь идет о фамилии главного героя романа: Обломов. <...> Обломов — обломок древней „правды“. Гончаров, как и Баратынский, понимает, что „древняя правда“ уже умерла, но ему понятен пафос строк о связи ее с „правдой современной“» (*Мельник 1985. С. 40—41*).² Весьма вероятно, что Гончаров обратил внимание и на размышления А. И. Герцена в статье «Новые вариации на старые темы» (1847) по поводу тех же поэтических метафор Баратынского: «Заблуждения развиваются сами собою, в основе их лежит всегда что-нибудь истинное, обросшее слоями ошибочного понимания; какая-нибудь простая житейская правда — она мало-помалу утрачивается, между прочим, потому, что выражена в форме, не свойственной ей; а веками скопившаяся ложь, седая от старости, опираясь на воспоминация, переходит из рода в род. Баратынский превосходно назвал предрассудок обломком древней правды. Эти обломки составляют одно начало для противоречий, о которых мы говорим, по другую сторону их — отрицание, протест разума. Развалины эти поддерживаются привычкой, ленью, робостью и, наконец, младенчеством мысли, не умеющей быть последовательною и уже развращенной принятием в себя разных понятий без корня и без оправдания, рассказанных добрыми людьми и принятых на честное слово» (*Герцен. Т. II. С. 87*). Однако отношение Гончарова к прошлому отнюдь не исчерпывается критикой и — тем более — отрицанием.

¹ См.: *Орнатская Т. И.* «Обломок» ли Илья Ильич Обломов? (К истории интерпретации фамилии героя) // *РЛ. 1991. № 4. С. 228—230.*

² А. А. Жук приводит строчки из «Моей родословной» (1830) Пушкина («Родов дряхлеющий обломок // (И по несчастью не один) // Бояр старинных я потомок...») как литературную параллель к фамилии героя и названию села в романе Гончарова, предполагая, что такое «читательское воспоминание <...> бросает на героя тень своеобразного „исторического фатума“» (*Жук А. А. Русская проза второй половины XIX века. С. 45*).

Дальнейшее изложение русской родословной романа Гончарова включает анонимную пьесу «Ленивый» (1828), героя которой Горина В. В. Данилов предложил рассматривать в качестве литературного прототипа Обломова.¹ А. А. Измайлов писал о Гончарове: «Историк литературы найдет прототип его Обломова в одной из пьес дедушки Крылова».² В другой статье критик выразился определеннее: «Гончаров вошел в литературу, держась за руку старого дела Крылова, который в одной из своих пьес стихами живописал Обломова XVIII века:

О, любит лежебочить!
Зато ни в чем другом нельзя его порочить:
Не зол, не сварлив он, отдать последне рад
И, если бы не лень, в мужьях он был бы клад,
Приветлив и учтив, притом и не невежа;
Рад сделать все добро, да только бы лишь лежа...».³

Как говорилось выше, Обломова сближали с героем Э. Сенанкура. Но, пожалуй, мечта Обломова о «бегстве» (точнее, о спокойном и мирном перемещении в сказочном стиле «по моему желанию, по моему хотению») не так уж много имеет общего со стремлением к отчуждению (несколько надрывным, экзальтированным) героя романа Сенанкура; мечта Обломова ближе к мотиву блаженного уединения в «Похвальном слове сну» (1816) К. Н. Батюшкова, к эстетизированному идеалу эпикурейского братства: «Цель удалившихся в усадьбу людей — освобождение от страстей, наслаждение покоем как особым эстетическим состоянием, которое следует разделить с единомышленниками. Это общество мужчин и женщин, но их совместное существование не подразумевает появления любви-страсти {...} сама структура уголка, нарисованная воображением Обломова, имеет общие черты с усадьбой „ленивца“: господский дом, цветники, уединенные па-

¹ См.: Данилов В. В. Прототип Обломова в русской литературе 20-х годов // Рус. филол. вестн. 1912. № 4. С. 424—427, а также: Мазон. Р. 158—161; Цейтлин. С. 152—153.

² Измайлов А. А. Гончаров и история: (Личность и писательство в переоценке двух десятилетий) // Биржевые вед. 1912. № 12973. 6 июня.

³ Измайлов А. А. Поэт житейской мудрости // Рус. слово. 1912. № 129. 6 июня. См. также: Бродский Н. Л. Примечания // Крылов И. А. Соч. М., 1946. Т. II. С. 761. Измайлов цитирует пьесу И. А. Крылова «Лентяй», но она не могла повлиять на замысел Гончарова, так как отрывки из этого незаконченного произведения, главным героем которого был лежебока Лентул, были впервые опубликованы в 1869 г.

вильоны» (*Отрадин*. С. 108; в романе Гончарова, однако, мечты Обломова даны не только в поэтической, но и в комической плоскости — отчасти это «маниловщина»).¹

В литературе отмечалась близость идиллических фантазий Обломова не только поэзии Батюшкова, но — шире — поэтическим традициям идиллии и дружеского послания.²

Столь же близко этим традициям изображение Обломовки — «мирного», «избранного» уголка (образ этот намечен еще в «Обыкновенной истории» — см.: наст. изд., т. 1, с. 252, 768). Характерный для жанра идиллии и дружеского послания «идиллический топос»³ —

¹ Рассмотрение «Похвального слова сну» К. Н. Батюшкова в контексте романа Гончарова правомерно, но оно должно непременно учитывать большую эстетическую и психологическую дистанцию между этими произведениями: «„Лирический“ сюжет гончаровского романа, по своим компонентам во многом сходный со „Словом“ Батюшкова, оказывается внутри эпического повествования, он вступает в сложные отношения с основным сюжетом, влияет на него, вносит колоссальное напряжение в художественный мир произведения» (*Отрадин*. С. 108). Этим же исследователем было высказано предположение, что определение героя как «обломовского Платона» (см.: наст. изд., т. 4, с. 474) перекликается с отразившимися в эссе К. Н. Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1816) идеями шеллингианства, возродившего традиции «мечтательной философии» Платона (см.: *Отрадин*. С. 99).

² «Речь, Обломова, обращенная к Штольцу, в которой рисуется желанная жизнь, — это как бы устный вариант дружеского послания» (Там же. С. 110). См. также: *Ляпушкина*. С. 110—116.

³ Жизнь в Обломовке почти идеально соответствует тем общим чертам идиллии, которые выделяет М. М. Бахтин: особое отношение к пространству и времени, имеющему характер цикличности («...органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту {...}). Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограничен и довлеет себе, не связан непосредственно с другими местами, с остальным миром. Но локализованный в этом ограниченном пространственном мирке ряд жизни поколений может быть неограниченно длительным»); «строгая ограниченность {...} только основными немногочисленными реальностями жизни» («Любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье, возрасты — вот эти реальности идиллической жизни. Они сближены между собой в тесном мирке идиллии, между ними нет резких контрастов, и они равнодостоинны...») (*Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет*. М., 1975. С. 374).

Логично, что, переходя к теме крушения и ломки идиллического мировоззрения в реалистическом искусстве XIX в., Бахтин, наряду с произведениями Стендаля, Бальзака и Флобера, выделяет занимающие в этом литературном процессе «своеобразное место» романы

один из устойчивых мотивов в поэзии 1810—1830-х гг.¹

В перечень литературных источников романа Гончарова органично входит и комедия А. С. Грибоедова «Горе

Гончарова, особенно «Обломова», главным героем которого является «идиллический человек»: «В „Обломове” тема разработана с исключительной ясностью и четкостью. Изображение идиллии в Обломовке и затем на Выборгской стороне (с идиллической смертью Обломова) дано с полным реализмом. (...) В самой идиллии (особенно на Выборгской стороне) раскрываются все основные идиллические соседства — культ еды и питья, дети, половой акт, смерть и т. д. (реалистическая эмблематика). Подчеркнуто стремление Обломова к постоянству, неизменности обстановки, его боязнь перемещения, его отношение к времени» (Там же. С. 383; см. также: Klein J. Goncharov's «Obломov»: Idyllik in realistischen Roman // *Leben, Wirk und Wirkung*. S. 217—246).

К панорамной картине жизни в Обломовке относятся и слова Бахтина о быте: «Строго говоря, идиллия не знает быта. Все то, что является бытом по отношению к существенным и неповторимым биографическим и историческим событиям, здесь как раз и является самым существенным в жизни» (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. С. 374). Собственно, в сложившемся в реалистической литературе понимании быта в «Сне Обломова» нет (он неотъемлемая часть другой, петербургской жизни); ритуально-обрядовый характер жизни обломовцев «лишает понятие *быт* того оттенка негативной оценочности, которым наделило его сознание человека большого мира» (Ляпушкина. С. 95).

Образ Обломовки амбивалентен, в нем присутствуют черты идиллии и «мнимой идиллии» («квазиидиллии»), сатиры на идиллию (см.: Huwyler Van der Haegen A. Ist Oblomov ein «Heiliger»? // I. A. Goncharov: Beitrage zu Werk und Wirkung. Köln; Wien, 1989. S. 60—61; Фаустов А. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека. Тарту, 1990. С. 4, 6—15; Бёмиг М. «Сон Обломова»: Апология горизонтальности // Гончаров. Материалы 1994. С. 27; Кантор. С. 179—182; Краснощекова. С. 252—260). К тому же, как только «идиллического человека» начинают беспокоить гамлетовские вопросы, идиллия тут же дает трещину, это уже идиллия с изъяном, идиллия, изнутри съедаемая тревогой, сожалениями, идиллия с горестными оглядками на пролетевшие в пустоте и бесконечном тягостном сне годы, со слезами по утраченным идеалам и иллюзиям. По словам А. А. Фаустова, «историчность проникает именно в пустоты обломовского менталитета, изнутри перестраивая его, и в этом — кардинальное отличие „Сна” от классической русской идиллии XIX века (типа «Конца золотого века» А. А. Дельвига или гоголевских «Старосветских помещиков»), в которой самодостаточный пасторальный мир встречался с чуждым ему началом как некая тотальность, и в гибели сохраняющая свою целостность» (Фаустов А. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека. С. 10). Что же касается идиллии на Выборгской стороне, то это «неотвратимое и неуклонное „погасание” героя, исчерпание воображения» (Там же).

¹ См.: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 143 и след.; Ляпушкина. С. 113—114.

от ума», пожалуй самое любимое писателем произведение русской литературы, которое он считал бессмертным, пережившим романы Пушкина, Лермонтова и «гоголевский период».¹ Чацкий является в той или иной степени не прототипом, а ориентиром для всех положительных героев романов Гончарова, и чрезвычайно показательно, что статья «Мильон терзаний» (1872) была им написана уже после завершения романной «трилогии». Основные мотивы статьи явственно перекликаются с мотивами литературных исповедей-послесловий писателя.²

Е. А. Краснощекова правомерно сближает Чацкого в интерпретации Гончарова-критика со Штольцем как героем нового времени в романе: «Штольца, каким он задумывался первоначально, многое сближало с будущими либеральными деятелями эпохи реформ Александра Второго. (...) грибоедовский Чацкий, трактуемый в статье „Мильон терзаний“ как образ очень многозначный, в одной своей ипостаси выглядит умеренным реформатором 60-х годов. (...) В качестве противника „блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий“ Чацкий противопоставляется „передовым курьерам неизвестного будущего“, „провозвестникам новой эры“, „фанатикам“. Гончаровский Чацкий сходен со Штольцем (и не только в первоначальном замысле, но и в окончательном тексте) в неприятии мечты, отвлеченности и в верности трезвой правде: „Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, пока он не облекся в плоть и кровь, не осмыслился разумом, правдой, словом, не очеловечился. Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты он трезво остановится“» (Краснощекова. С. 217).

Если Штолец, по замыслу Гончарова, отчасти принадлежал к «позднейшим Чацким», но без присущей персо-

¹ См. об этом: наст. изд., т. 1, с. 702—703.

² «Своеобразным итогом поисков положительного героя у Гончарова стала статья „Мильон терзаний“, в которой образ Чацкого осмысливается не только как воплощение прекрасного человека в контексте „Горя от ума“, но и как образ, отвечающий представлениям о положительном герое в мировоззрении и творчестве самого писателя. (...) Гончарову важны в Чацком слияние ума, чувств и воли. (...) Критик намеренно акцентирует постепенность пути Чацкого от несвободы к свободе, его готовность действовать по программе, выработанной „уже начатым веком“» (Таборисская Е. М. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: (Герои, художественное пространство, авторская позиция): Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Л., 1977. С. 12).

нажу комедии Грибоедова «страдательной роли», то, возможно, отдаленной «литературной» родственницей и предшественницей Ольги Ильинской является Софья Фамусова, разумеется в очень свободной интерпретации Гончарова, который в статье, по сути, идеализирует героиню, сопоставляя и сравнивая ее с Татьяной Лариной: «...в Софье Павловне, спешим оговориться, то есть в чувстве ее к Молчалину, есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. <...> она в любви своей точно так же готова выдать себя, как Татьяна: обе, как в лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой. И Софья, как Татьяна же, сама начинает роман, не находя в этом ничего предосудительного, даже не догадывается о том. <...> Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онегиным и Молчалиным. <...> Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее и Чацкий. <...> Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой „милльон терзаний“».¹

В такой возвышенной интерпретации Софья Фамусова действительно близка к Татьяне Лариной, и обе они, несомненно, предтечи идеальных героинь романов Гончарова, особенно Ольги Ильинской и Веры («Обрыв»). Это находит подтверждение в ряде мест статей «Милльон терзаний» и «Лучше поздно, чем никогда»; в последней Гончаров так писал о пушкинских женских образах в «Евгении Онегине»: «Надо сказать, что у нас, в литературе (да, я думаю, и везде), особенно два главные образа женщин постоянно являются в произведениях слова парал-

¹ О некоторой «ситуативной» близости героинь Грибоедова и Гончарова осторожно, в примечании (и без упоминания Татьяны Лариной, что понятно, если учесть, каким ореолом в сознании нескольких поколений русских читателей была она окружена, — тут огромную роль сыграла Пушкинская речь Достоевского 1880 г.) пишет Е. А. Краснощекова: «Роль ведущей в любовном романе еще до Ольги Ильинской была „сыграна“ Софьей Фамусовой. Гончаров обратил внимание на ее „влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на нее глаз... Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба”» (Краснощекова. С. 474—475).

лельно, как две противоположности: характер положительный — пушкинская *Ольга*, и идеальный — его же *Татьяна*. Один — безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой — с инстинктами самосознания, самобытности, самостоятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу (*Ольга* в «Онегине», *Варвара* в «Грозе»). Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения, и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым. Есть они у наших учителей и образцов, есть и у Островского в „Грозе“ — в другой сфере; они же (...) явились и в моем „Обрыве“. Это два господствующие характера, на которые в основных чертах, с разными оттенками, более или менее делятся почти все женщины».

«Начало „Обломова“, как и всего, что есть выдающегося в нашей литературе, надо искать в Пушкине и Гоголе», — писал Ю. Н. Говоруха-Отрок («*Обломов*» в *критике*. С. 204). И это согласно со словами самого писателя, подчеркивавшего, «что черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам» («Лучше поздно, чем никогда»).¹ В первом романе Гончарова пушкинское и гоголевское начала (особенно пушкинское) прослеживаются достаточно отчетливо.² Что же касается романа «Обломов», то пушкинское столь органично вошло в его «плоть и кровь», что о нем логично говорить и в самом общем (как это и делает Гончаров в статьях по поводу своих романов), и в частном, ситуативном планах.³ Иначе обстоит дело с гоголевским началом

¹ В письме к великому князю Константину Константиновичу от 28 июня 1887 г. Гончаров счел необходимым «напомнить, что почти все писатели новой школы, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Майков, Фет, Полонский, между прочим, и я — все мы шли и идем по проложенному Пушкиным пути, следуя за ним и не сворачивая в сторону, ибо это есть единственный торный, законный, классический путь искусства и художественного творчества».

² См. об этом: наст. изд., т. 1, с. 699—703.

³ Так, к примеру В. А. Котельников сопоставляет «Сон Обломова» и стихотворение «Сон» (1816) Пушкина: няню и «мамушку», «первые впечатленья бытия» (Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров. М., 1993. С. 115—116). Есть в романе прямые и скрытые цитаты из произведений Пушкина. Еще больше их в черновой рукописи «Обломова». Особенно примечательна цитата из поэмы «Цыганы»; Штольц по поводу поэтического монолога Обломова замечает: «Ты перекладываешь в прозу стихи Пушкина» (наст. изд., т. 5, с. 193, сноска 1).

в романе. Современникам представлялось, что роман вполне вписывается в рамки «гоголевского периода» (терминологию Чернышевского охотно употреблял и Гончаров). О зависимости от Гоголя с явно недоброжелательным акцентом писал Д. В. Григорович: «Обломову он придал тот смысл, что в нем хотел изобразить сонливость русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема. Задача характера Обломова целиком между тем выражена в лице помещика Тентетникова во второй части „Мертвых душ“, не будь Тентетникова, не было бы, может быть, и Обломова».¹ Тентетникова впервые рядом с Обломовым, кстати, поставил Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?»: «Тентетников тоже много лет занимался „колоссальным сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек зрения“, но и у него „предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызлось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в сторону”»; «„Но ведь это еще не жизнь, — это только приготовление к жизни“, — думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший вместе с Обломовым и всей этой компанией тьму ненужных наук и не умевший ни йоты из них применить к жизни» («Обломов» в критике. С. 47—49). Вслед за Добролюбовым упоминание Андрея Ивановича Тентетникова рядом с Ильей Ильичом Обломовым стало почти неизменным, чуть ли не обязательным,² переключаясь из прижизненной Гончарову критики в литературоведение. В. А. Десницкий сопоставлял Обломова одновременно с Маниловым, Тентетниковым и Чичиковым, акцентируя внимание на «гоголевских приемах письма» и менее всего подразумевая прямое влияние Гоголя на Гончарова: «Перечитайте па-

¹ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 106.

² К этой параллели прибегали К. Н. Леонтьев: «Обломов это тот же Тентетников „Мертвых душ“ — только удачнее и симпатичнее исполненный» (Леонтьев К. Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой (1888) // Л. Н. Толстой: pro et contra / Изд. подгот. К. Г. Исупов. СПб., 2000. С. 156) — и Д. Н. Овсянко-Куликовский: «Если Обломов в некоторых отношениях „человек 40-х годов“, то мы скажем, что это такой „человек 40-х годов“, который обленился и опустился до того, что, в противоположность Тентетникову, даже перестал читать книги, и прежде всего должен быть вместе с Тентетниковым причислен, говоря словами Гоголя, „к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобные”» («Обломов» в критике. С. 234—235). См. также: Мазон. Р. 121, 139.

параллельно описание дня Обломова и Тентетникова, процессов вставания, одевания и умывания, вспомните их отношение к людям — вас поразит единство быта, психики, совпадения в деталях-мелочах изображения. И эта общность идет не в плане внешнего подражания, механического заимствования. Она гораздо глубже и шире, это общая стилистическая близость, она подчеркивает близость и родство социальной среды, единство культуры, которые и Обломова, и Тентетникова делают явлениями одного историко-культурного порядка».¹

Параллель Обломов—Тентетников, вполне закономерная возникшая у целого ряда критиков и исследователей, нуждается, однако, в одной очень существенной коррекции: черновики первой и второй редакции поэмы Гоголя были изданы в 1855 г. в книге «Сочинения Гоголя, найденные после смерти» — и только тогда Гончаров имел возможность познакомиться с Тентетниковым и другими героями второй части поэмы, а к тому времени образ Обломова уже сложился, и не только в общих чертах.² Но указанное корректирующее обстоятельство несколько не

¹ Десницкий В. А. Трилогия Гончарова // Десницкий В. А. Статьи и исследования. Л., 1979. С. 172—173. Десницкий также сопоставлял Тарантьева с Собакевичем, Ольгу Ильинскую — с Улинькой Бетрищевой, Волкова — с Чичиковым: «В портрете Тарантьева много от Собакевича, Ольги Ильинской — от Улиньки Бетрищевой. Портрет Волкова, с его вниманием к костюму и внешнему благоприличию, как бы списан с Чичикова в годы его благодушия и процветания...» (Там же. С. 177). Мнение Десницкого разделяет и развивает Е. А. Краснощекова, которая считает в особенности гоголевским начало романа Гончарова: «В самых первых главах „Обломова“ гоголевская стилистика подкреплена усвоением композиционных форм автора „Мертвых душ“. Построение этих глав „Обломова“ почти дублирует главы-портреты из первого тома поэмы (1842)» (Краснощекова. С. 227). Краснощекова также обращает внимание на одну яркую деталь («Последний штрих „в перекличке“ почти нарочит: у Манилова на столе книжка, которую он читал два года, с закладкой на четырнадцатой странице — страницы книги Обломова покрылись пылью и почернели») и соглашается с самой спорной из параллелей, выдвинутых Десницким: «Поэтический облик Ольги, особая аура света вокруг нее вызывают в памяти и гоголевскую Улиньку Бетрищеву, с которой связывались надежды на возрождение несчастного Тентетникова» (Там же. С. 228, 296).

² Несомненно, Гончаров хорошо знал вторую часть поэмы Гоголя — эпиграфом из нее начиналась статья Добролюбова; Гончаров несколько раз упоминал в письмах, видимо, особенно полюбившегося ему Петуха. Упоминаний Тентетникова, впрочем, нет ни в произведениях, ни в письмах Гончарова.

отменяет проблемы гоголевского присутствия в «Обломове»; из всех произведений писателя, пожалуй, именно этот роман «обнаруживает наиболее глубокую творческую связь с поэтикой Гоголя».¹ Стиль и характерология Гоголя, трагические и надрывно-исповедальные мотивы его творчества позволяют отчетливее понять не только близость «приемов письма» Гончарова к гоголевским, но и все своеобразие художественного мира Гончарова, о чем точно и тонко было сказано еще И. Ф. Анненским: «Гончаров не переживал тяжелой полосы гоголевского самообнажения и самобичевания, он не терял ни любви к людям, ни веры в людей, как Гоголь. В жизни его были крепкие устои и вера в медленный, но прочный прогресс. Эти коренные различия в обстановке творчества обусловили в Гончарове отождествление от Гоголя. Но уйти от него в материальной, эпической стороне своих типов он, конечно, не мог. (...) Для Гоголя крепостная Россия была населена еще Простаковыми и Скотининными, для Гончарова ее населяли уже Коробочки, Собакевичи, Маниловы. Наблюдения Гончарова невольно располагались в душе по определенным, поставленным Гоголем, типам. Гоголь дал прототип Обломовки в усадьбе Товстогузов. Он неоднократно изображал и мягкую, ленивую натуру, выросшую на жирной крепостнической почве: Манилов, Тентетников, Платонов. Корни Обломова сюда, по-видимому, и уходят. Впрочем, из этих трех фигур законченная и художественная одна — Манилов; Тентетников и Платонов — это только эскизы, и потому сравнивать их с Обломовым совсем неправильно. Кроме того, в Тентетникове и Платонове преобладающая черта — это вечная скука, недовольство, чуждые Обломову. Обломов, несомненно, и гораздо умнее Манилова, и совершенно лишен той восторженности и слащавости, которые в Манилове преобладают» («Обломов» в критике. С. 225).² Логичен и вывод А. Г. Цейтлина: «...образом Об-

¹ Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. Л., 1962. С. 90.

² Различия между мировоззренческими и поэтическими принципами Гоголя и Гончарова указывались и другими критиками. А. П. Милюков в 1860 г. писал о комизме писателей: «...нельзя не заметить комизма Гончарова, который заставляет подозревать в нем признаки сценического дарования. (...) Но это не комизм Гоголя, оставляющий после себя болезненное чувство негодования и желчи, а комизм, полный добродушия и грациозной мягкости» («Обломов»

ломова Гончаров в значительной степени преодолел психологическую однопланность гоголевских характеров: в нем меньше, нежели в Ноздрева или Коробочке, чувствуется „доминанта”» (*Цейтлин*. С. 154).

* * *

«Сон Обломова» был опубликован в 1849 г.; тем же годом была помечена Гончаровым и публикация части первой в «Отечественных записках». В части первой закономерно упомянуто много реалий общественной и культурной жизни России и Европы 1840-х гг. (присутствуют они и в других частях романа, но не в такой концентрации). Очевидно, что целый ряд заметных литературных явлений этого времени прямо или косвенно отразился в проблематике романа. Необходимо назвать статью западника К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), с основными положениями которой полемизировал славянофил Ю. Ф. Самарин («О мнениях „Современника”, исторических и литературных», 1847). Кавелин, в частности, так живописал застойную, спящую, застывшую в определенных традициях рамках растительную жизнь: «Здесь человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убаюкивается, предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб, беспечен, как дитя. О глубоком чувстве личности не может быть и речи».¹ «Начало личности, — писал Кавелин там же, — узаконилось в нашей жизни. Теперь пришла его очередь действовать и развиваться. Но как!».² И то был не «сугубо на-

в критике. С. 143). В ином свете представлялась разница между писателями Ю. Н. Говорухе-Отроку, явно больше симпатизировавшему поэтическому таланту Гоголя: «Весь тон, всю манеру изображения Гончаров взял у Гоголя, но, будучи только искусным рисовальщиком, он не мог взять у Гоголя того, чего самому ему не дала природа, — не мог взять того глубокого лиризма, которым проникнуты все создания Гоголя, который дает этим созданиям весь их смысл и все их значение. Манера же Гоголя, его тон, оторванные от этого лиризма, от этой поэзии, от глубокой любви к почве, породившей изображаемые явления, — эта манера и тон сообщили лишь ложное и неясное освещение изображенной жизни» (Там же. С. 204).

¹ *Кавелин К. Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 22.

² Там же. С. 59.

учный, академический, а „горячий”, публицистический вывод-вопрос Кавелина», связанный «с новым этапом русской жизни, который Гончаров назвал *Пробуждением*. (...) Это, конечно, вопрос и автора „Обломова”» (*Отрадин*. С. 85). Отразились в «Сне Обломова» и полемические выпады против славянофилов В. Г. Белинского; такой «отраженной», к примеру, является спроецированная в современность ирония Гончарова: «Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих» (наст. изд., т. 4, с. 116). Именно такие иронические авторские пояснения и реплики и предопределили устойчиво отрицательное отношение славянофилов (и почвенников) как к «Сну Обломова», так и к роману в целом.¹

А. П. Милюков в статье 1860 г. о романе с целью показать разницу между Обломовым и «лишними людьми» (от Онегина до Рудина) обратился к поэме А. Н. Майкова «Две судьбы» (1845) и ее главному герою Владимиру — «едва ли не самой печальной личности, может быть оттого, что он жил в более тяжелое время»; герой этот, «несмотря на жалкую развязку его жизни и нравственное падение, все еще симпатичен» в отличие от Обломова, этого олицетворения «одной врожденной апатии» («*Обломов*» в *критике*. С. 129—130).² Тем не менее «нравственное падение» Владимира, героя поэмы друга Гончарова, которую он, возможно, читал еще в рукописи, несомненно роднит его с «погасшим» Обломовым последней части романа. Владимир эпилога поэмы абсолютно не похож на живущего бурной внутренней жизнью молодого человека первых глав. Сбылось то, о чем он горестно размышлял в самом общем плане (еще одна вариация на темы «Думы» М. Ю. Лермонтова); Милюков с небольшими неточ-

¹ См. об этом подробнее ниже, с. 231.

² Поэма Майкова была хорошо принята современниками. Достоевский процитировал отрывок из нее (строфа из седьмой главы) в фельетоне «Петербургская летопись» за 11 мая 1847 г. (*Достоевский*. Т. XVIII. С. 23). Белинский писал, что поэма Майкова «чрезвычайно замечательна в целом и блещит удивительными частностями, исполненными ума и поэзии» (*Белинский*. Т. VIII. С. 19; ср.: Там же. С. 148). См. также его рецензию на поэму: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. VIII. С. 635—642.

ностями цитирует приводимый ниже отрывок из «думы» героя:

Ах, отчего мы стареемся рано
И скоро к жизни холодеем мы!
Вдруг никнет дух, черствеют вдруг умы!
Едва восход блеснет зарей румяной,
Едва дохнет зародыш высших сил,
Едва зардеет пламень благородный,
Как вдруг, глядишь, завял, умолк, остыл.¹

Все эти идеальные стремления и порывы герой поэмы пережил, от них в его душе остался лишь

Осадок жалкий — черная хандра! ²

Остались в прошлом и переживания, связанные с Италией, которая воспета во второй главе поэмы:

Как люблю Фраскати в праздник летний!
Лавр, кипарис высокой головой,
И роз кусты, и мирт, и дуб столетний
Рисуются так ярко на густой
Лазури неба и на дымке дали,
На бледном перламутре дальних гор.
Орган звучит торжественно. Собор
Гирляндами увит. В домах алеют
Пурпурные ковры из окон. Тут
С хоругвями по улицам идут
Процессии монахов; там пестреют,
Шумят толпы; луч солнца золотой,
Прорвавши свод аллеи вековой,
Вдруг обольет неведомым сияньем
Покров, главу смуглянки молодой:
Картина, полная очарованьем!
Для пришлеца она как пышный сон! ³

Параллелью итальянским картинам в поэме (и в других произведениях Майкова) являются юношеские мечты, восторги и слезы Обломова, о которых ему напомнил Штольц: «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не

¹ Майков А. Н. Избр. произв. / Вступ. статья Ф. Я. Приймы; Сост., подгот. текста и примеч. Л. С. Гейро. Л., 1977. С. 685. («Б-ка поэта»; Большая сер.).

² Там же. С. 686.

³ Там же. С. 681.

подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!» (наст. изд., т. 4, с. 181).¹

Эти слова заставляют вспомнить не только итальянские мотивы в поэме «Две судьбы», но и поэтический цикл Майкова «Очерки Рима», создававшийся им в 1840-е гг. в непосредственном контакте с Гончаровым, который исполнял обязанности друга-рецензента. Майков писал Гончарову из Рима, делаясь своими впечатлениями: «Словом, что мне понравилось и поразило меня более всего, — это Колизей и Аполлон Бельведерский. Да-с, Аполлон Бельведерский лучше всего в мире, лучше всех творений Божиих и человеческих. В нем вы видите Бога. Уходите от него, полные его обаянием. {...} А Колизей? После Аполлона, моего божественного патрона, это лучшая штука» (ЛН Гончаров. С. 342). 2 марта 1842 г. в большом письме к А. Н. Майкову Гончаров откликается на письма Н. А. Майкова и А. Н. Майкова к В. А. Солоницыну, с которыми последний его ознакомил. В письме А. Н. Майкова содержался и текст стихотворений поэта, подробный разбор которых по просьбе Евг. П. Майковой дает Гончаров в уже упомянутом письме (судя по текстам стихотворений «Игры» и «Древний мир» в окончательных редакциях, Майков прислушался к советам друга). Очевидно, что в 1840-е гг. во многом благодаря тому, что близкие Гончарову люди жили тогда в Италии² и вдохновенно писали как о великом искусстве прежних мастеров, так и современных ее нравах, Италия органично вошла в круг интересов и поэтических грез писателя, читавшего послания друзей «с жадностью» и, подобно герою-поэту своего будущего романа, мечтавшего посетить чудесную страну.

Удивительно, что позднее Гончаров, несмотря на уговоры друзей, так и не решился на это путешествие (в отличие от таких героев своих романов, как Штольц, Ильинская, Райский). Из письма к С. А. Никитенко от 15(27) мая

¹ Обломов не только Италию не посетил, но и вообще страшился любых путешествий и переездов; он совершил лишь одну поездку в чисто русском старинном стиле, «на долгих, среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении нескольких слуг» (наст. изд., т. 4, с. 64).

² В частности, в 1841—1849 гг. в Риме и Флоренции жил «старый, добрый, милый товарищ» писателя (см. письмо Гончарова к Н. А. и А. Н. Майковым от 14 декабря 1842 г.) М. П. Бибииков, автор многочисленных рассказов и очерков об Италии.

1869 г. явствует, что у Гончарова даже была итальянская виза, которой он, однако, не воспользовался: «У меня на паспорте есть и итальянская *visa* Пинто, но это только так, потешить воображение, потому что Стасюлевич однажды сказал, что, может быть, проедут в Венецию. Куда мне в Италию! Лень-то какая! А чемодан?». В следующем году в письме от 11 ноября к С. А. Толстой, собиравшейся в Италию и звавшей туда Гончарова, он уже с грустным юмором отвечает, идентифицируя себя с Обломовым: «В Италию! Да как же это я: ведь говорят, что я Обломов, и даже так меня устроили по-обломовски! И судьба вместо Италии, кажется, готовит мне обломовский конец: вон с осени пальцы на руках пухнут, ноги горят, в голове шум!». А между тем паломничество в Италию, как это следует из содержания письма Гончарова от 25 марта 1873 г. к А. В. Никитенко, было его давней и заветной мечтой: «...недавно дорывался в Италию, где не был и где мне всегда мечталось видеть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь: пожалуй — туда, может быть, на первых, горячих порах желания и поехал бы, так как это не так далеко, как вокруг света, но туда надо ехать осенью или зимой, а для меня зимнее странствие невысказанно...».

Обломов тоже Италию не посетил, но, пожалуй, он (в первых частях романа) гораздо более способен к возрождению, любви, поэтическим грезам, чем во всем разуберившийся и циничный герой последней главы поэмы Майкова; резкое противопоставление его Обломову, к которому прибегает Милюков, представляется неоправданным в связи с этой разрушительной эволюцией Владимира: «Скоро, правда, находим мы этого юношу в деревне, барином и помещиком: он потолстел, перестает мало-помалу читать и в промежутках обедов и ужинов только насвистывает *Casta diva* и ходит диагонально по комнате. Но он, очевидно, скучает в этой апатии, сердится на свое бездействие, и в последних словах его — „в еде спасенье только есть“ — слышится скорее сарказм человека, надломленного борьбою, чем последний отголосок задавленной жизни» («*Обломов*» в критике. С. 130). Критик чересчур мягок к опустившемуся мизантропу поэмы Майкова и чрезмерно суров к деликатному и сердечному Илье Ильичу Обломову. А. Г. Цейтлин имел немалые основания предполагать, что поэма Майкова могла повлиять на замысел «Обломова» (особенно это относится к финалу по-

эмы, где фигурирует и слуга Павлушка, с которым Владимир ведет «гастрономические» разговоры) (см.: *Цейтлин*. С. 153, 462).¹

Вполне вероятно, что некоторые характерные приметы общественно-литературной жизни 1840-х гг. отразились и в литературном диалоге между Пенкиным и Обломовым. В. А. Недзвецкий увидел здесь полемику Гончарова с «физиологическими» тенденциями «натуральной школы» и — особенно — с Н. А. Некрасовым: «Гончаров метил в Н. А. Некрасова как инициатора и составителя знаменитой „Физиологии Петербурга“» (*Недзвецкий*. С. 90). Вряд ли, однако, Гончаров высмеивает «физиологию» и иронически освещает деятельность одного из ведущих литераторов «натуральной школы». Гончаров не без гордости причислял себя к «натуральной школе», неизменно подчеркивая, подобно многим другим писателям 1840-х гг. (И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин), верность принципам этого реально-гуманного направления. В «Необыкновенной истории» Гончаров называет Тургенева «учителем и руководителем» новых французских писателей, который объяснил «им значение натуральной школы, начиная с Гоголя и умалчивая о прочих, кроме себя». Во многом благодаря этим объяснениям русского «учителя», по мнению Гончарова, роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» и оказался написанным «с новою и небывалою во французской литературе до тех пор простотою содержания, манеры, плана». Гончаров судил о Флобере крайне тенденциозно, раздраженно, несправедливо, считая, что тот работал по подсказке злонамеренного и коварного Тургенева (роман «Госпожа Бовари» «была вещь, чисто подсказанная по готовому»),² но тем ценнее эта вдруг прозвучавшая простодушная «похвала». Любопытен отзыв Гончарова о других французских реалистах и натуралистах: «А другие, истин-

¹ Цейтлин отметил и ряд «совпадений» в романе с повестью В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый» (1874), придя одновременно к выводу, что Гончаров «решительно разошелся» с Далем «в трактовке образа байбака» (*Цейтлин*. С. 485). Вывод ученого опирается на сильное (в духе идей статьи Добролюбова) преувеличение критических («обличительных») тенденций романа Гончарова. Но, разумеется, Обломов только в самом общем плане может быть сопоставлен с героем повести Даля. Впрочем, Гончарову вполне могли запомниться некоторые частные детали повести.

² Гончаров имел в виду прежде всего свой роман «Обрыв».

но талантливые французы, как Эмиль Золя, А. Доде и другие — поняли и значение нашей натуральной школы и стали самостоятельно на этот новый для них путь». У Золя, Доде, как и у Гонкуров, «близость сходства с натуральной школой заключается более в психологических характерах, отчасти в фабуле, а не во внешних приемах». И это, возможно, самое дерзкое и лестное суждение о русской «натуральной школе», к деятелям которой всегда причислял себя Гончаров, хотя Тургенев и забыл упомянуть о нем, так же как и о некоторых других писателях.¹ Получается, что «натуральная школа» 1840—1850-х гг. во многом определила развитие новейшей французской литературы.

Отчасти эти мысли о «натуральной школе» и ее значении отразились в споре Обломова с Пенкиным, особенно в апофеозе «гуманитета»: «А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманизмом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не „невидимые слезы“, а один только видимый, грубый смех, злость.. <...> Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! <...> Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой...» (наст. изд., т. 4, с. 27). Эмоциональные речи «воспламенившегося» Обломова о любви, человечности, сердечности — это своего рода воспоминание об идеальных гуманных 1840-х гг., о писателях «натуральной школы» и великом критике — «неистовом» Виссарионе Белинском. В том же духе и восторженный монолог рассказчика (тоже воспламенившегося) в повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»: «И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восста-

¹ В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров также пишет о «русской натуральной школе, опередившей появлением французскую».

новлять; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., — словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи: „Когда из мрака заблужденья...”» (*Достоевский*. Т. III. С. 160—161).¹

М. Е. Салтыков-Щедрин считал, что в литературном диалоге Пенкина и Обломова отразились реалии не только 1840-х гг., но и совсем недавние, о чем он саркастически заметил в письме к П. В. Анненкову от 29 января 1859 г.: «И заметьте ехидство: написано в 1849 году, а на двадцатых страницах есть уже выходки против натурализма, и другу Писемскому также щелчок (стр. 29). Видно, еще в 1849 году Обломову снилось, что он в 1858 году ни-

¹ Ретроспективное, оттененное грустной и мягкой иронией воспоминание о гуманной эпохе 1840-х гг. в комической повести переключается с наивными суждениями старика Ихменева о первом романе Ивана Петровича в романе «Униженные и оскорбленные» (в подтексте — воспоминания самого Достоевского о «Бедных людях»): «...так себе, просто рассказец <...> зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» (*Достоевский*. Т. III. С. 189). Характерно также, что монолог о человеке и «гуманитете» воспламенившегося героя романа Гончарова отчасти предвещает карикатурно-пародийные разглагольствования тирана Степанчикова Фомы Фомича Опискина: «...я хочу любить, любить человека <...> а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? Куда спрятался этот человек?»; «Пусть изобразят они (литераторы, поэты, ученые, мыслители. — *Ред.*) мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях <...> но преисполненного добродетелями...» (Там же. С. 154, 68). Возможно, что литературные монологи как Обломова, так и Опискина (разумеется, совершенно различные по тональности) восходят к одному и тому же источнику — к статье Н. В. Гоголя «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», в которой имеются и такие рекомендации: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников. <...> Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его. <...> Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах, и каждому из нас захотелось бы самому быть бедным» (*Гоголь*. Т. VIII. С. 280). М. В. Отрадин высказал предположение, что Обломов в споре с Пенкиным «пересказывает» слова К. С. Аксакова, писавшего о «Мертвых душах» Гоголя: «На какой бы низкой ступени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию Божию» (*Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. М., 1981. С. 147; *Отрадин*. С. 121).

куда не будет годен».¹ С. А. Макашин справедливо полагал, что то была реакция сатирика на «полемические выпады против обличительной литературы и „реального направления” середины—конца 1850-х годов», задевавшие не только Писемского, но и автора «Губернских очерков».² Салтыков-Щедрин имел в виду взгляды и творчество модного литератора Пенкина (в черновой рукописи романа отсутствует как это эпизодическое лицо, так и разговор о литературе). Пенкин ратует за «реальное направление в литературе», т. е. изображение «голой физиологии общества» («Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как всё кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...»); приводятся и образцы подобного творчества: статья самого Пенкина, в которой ему «удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер...»; «великолепная» поэма «Любовь взяточника к падшей женщине», об авторе которой Пенкин пока умалчивает, где, «как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников, и все разряды падших женщин разобраны... француженки, немки, чухонки, и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью...» (наст. изд., т. 4, с. 25—28). Ироническое отношение Гончарова к так называемой «литературе скандалов», «алгебраической» (или «алфавитной») сатире эпохи «благодетельной гласности», когда в великом множестве «явились поэты, прозаики, и всё обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы» (*Достоевский*. Т. XVIII. С. 60), вне всякого сомнения. Иногда можно с той или иной долей уверенности назвать и конкретные объекты полемики, к примеру фельетоны и очерки И. И. Панаева о камелиях и дамах полусвета. Но чаще всего это трудно сделать — полемика носит очень обобщенный, интегрированный характер, затрагивая (в нерасчлененном виде) явления русской литературной жизни России как 1840-х, так и 1850-х гг. Салтыков-Щедрин,

¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. Т. XVIII, кн. 1. С. 209.

² Там же. С. 211.

можно сказать, обиделся за все новое направление литературы, родоначальником которого провозгласили его.

В «Обломове» полемики с романом «Тысяча душ» А. Ф. Писемского нет — Салтыков-Щедрин проявил в своем эпистолярном отзыве чрезмерную подозрительность. Но он верно отметил дружеский характер отношений между писателями. Гончаров, как цензор, оказал большую услугу Писемскому, энергично отстаивая четвертую часть романа «Тысяча душ». Писемский сохранил благодарную память об этой и других услугах Гончарова. Он писал Гончарову 21 января 1875 г.: «Вы знаете, как я высоко всегда ценил ваши литературные мнения и как часто пользовался вашими эстетическими советами и замечаниями. Но помимо этого вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть „Тысячи душ“ и получили за это выговор. Вы „Горькой судьбине“ дали возможность увидеть свет Божий в том виде, в каком она написана».¹

¹ Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 284—285. Ранее, в первой половине 1858 г., Писемский сообщал А. Н. Островскому: «Гончарову было замечание за 4-ю часть («Тысячи душ». — *Ред.*), но он ее вторично пропустил с очень маленькими пометками» (Там же. С. 124). Писемский точен. Вот выписка из журнала Цензурного комитета от 23 июля 1858 г.: «...в упомянутой книжке означенного журнала (*ОЗ, 1858, июнь*) в четвертой части повести Писемского „Тысяча душ“ на стр. 558, 572, 573 и 576 выставлены слишком резко противозаконные поступки губернатора генерал-лейтенанта Базарьева, на стр. 354 сказано, что вице-губернатор, по проискам откупщика, был причислен к печальному сонму состоящих при министерстве; а на стр. 576 губернатор говорит, что по одному делу „Сенат требует вторичного пересвидетельствования и заставляет нас перепевать на тот же лад старую песню“. Г-н министр народного просвещения, находя сии места неприличными, просит его превосходительство предложить цензору, допустившему оное в печать, быть осмотнительнее при одобрении к печати подобных замечанных мест и выражений. Определение: объявить об этом г-ну цензору Гончарову» (*РГИА*, ф. 777, оп. 27, д. 49, л. 177 об.—178).

Роман Писемского, появившийся незадолго до «Дворянского гнезда» Тургенева и «Обломова» Гончарова, безусловно, стал одним из самых значительных литературных событий конца 1850-х гг. Н. Г. Чернышевский явно предпочитал (в отличие от Добролюбова) его роману Гончарова. П. В. Анненков, проигнорировавший просьбу Гончарова о критическом разборе «Обломова», написал о романе «Тысяча душ» большую и очень сочувственную статью с характерным названием «Деловой роман в нашей литературе» (Атеней. 1859. № 1. С. 246—247). А С. С. Дудышкин противопоставлял роман Писемского «Губернским очеркам» Щедрина и обличительной литературе вооб-

Возможно, в романе Гончарова (именно в литературном разговоре Пенкина и Обломова) отразились литературные суждения князя Ивана Раменского: «Он хвалил направление нынешних писателей, направление умное, практическое, в котором благодаря Бога не стало капли приторной чувствительности двадцатых годов; радовался вечному истреблению од, ходульных драм, которые своей высокопарной ложью в каждом здравомыслящем человеке могли только развивать желчь; радовался, наконец, современному изгнанию стихов *к ней, к луне, к звездам...*».¹ Отношение автора к модным литературным суждениям князя, кстати, ироническое: герой «явился в полном смысле литературным дилетантом» и ловким льстецом, сознательно стремящимся угодить Калиновичу: «Князь очень уж ловко подошел с заднего крыльца к его собственному сердцу и очень тонко польстил ему самому...».² Но этими литературными параллелями, носящими общий характер, и исчерпываются отзвуки романа Писемского в «Обломове» Гончарова.³

5

Впервые обобщающее слово «обломовщина» прозвучало в письме Г. П. Данилевского к М. П. Погодину, приблизительно датируемом началом 1852 г.: «...наряжена комиссия к Гончарову, который и даст в февральскую

ще, «которая готова была проповедовать разрушение мира оттого, что исправляющий должность состоящего в звании помощника квартального надзирателя взял на торгу даром калач у крутогорской мещанки...» (ОЗ. 1859. № 1. Отд. II. С. 14).

¹ Писемский А. Ф. Собр. соч.: В 5 т. М., 1983. Т. 3. С. 134.

² Там же.

³ В некотором отношении среди литературных предшественников Обломова может быть назван герой повести Писемского «Тюфяк» Павел Бешметов, которого так характеризует его родная тетка: «Леность непомерная, моциону никакого не имеет: целые дни сидит да лежит... тюфяк, совершенный тюфяк» (Писемский А. Ф. Собр. соч. М., 1982. Т. 1. С. 193). Но мнение тетки явно легковесное и пристрастное — герой повести просто нескладный, застенчивый, несветский человек, в сущности же он умен и трудолюбив, страстный книголюб, из которого при благоприятных обстоятельствах вполне мог получиться ученый. Критики нередко сближали Гончарова с Писемским, но, как правило, ограничивались самыми общими сопоставлениями: стремление к объективности, отсутствие лиризма (М. А. Протопопов), интерес к провинциальной, семейной жизни (А. И. Незеленов).

книжку («Современника». — *Ред.*) (...) свой роман „Обломовщина”» (цит по: ЛП «Обломов». С. 554). Это же заглавие упомянуто в другом письме Данилевскому к этому же адресату, также относящемся к началу 1852 г. (Там же). Первоначальное название сохранялось за романом довольно долго, о чем свидетельствуют два письма Е. Я. Колбасина к И. С. Тургеневу. В первом (от 2 декабря 1856 г.) Колбасин сообщал о циркулировавших в литературных кругах слухах: «Говорят, что Гончаров наконец покончил с своею „Обломовщиною”, он продал ее уже в „Русский вестник” по 200 рублей за лист и что с нового года начнется печатание» (*Тургенев и круг «Современника»*. С. 303). Ту же тему, но с явно недоброжелательным по отношению к Гончарову оттенком Колбасин развивает в письме от 15 января 1857 г., называя уже цифру 300 р. за лист (Там же. С. 317). Как «Обломовщина» новый роман Гончарова фигурирует и в дневниковой записи А. В. Дружинина от 13 марта 1856 г. (см.: *Дружинин. Дневник*. С. 378).

Предварительное название будущего произведения отражало ту его линию, которая отчетливее всего, несколько даже прямолинейно проведена в главах части первой романа, предшествующих «Сну Обломова». Гончаров, как известно, был менее всего доволен именно частью первой романа, в значительной степени написанной до плавания на фрегате «Паллада», о чем говорил неоднократно, в частности в «Необыкновенной истории» (конец 1870-х гг.): «...в этой первой части заключается только введение, пролог к роману, комические сцены *Обломова с Захаром* — и только, а романа нет! Ни Ольги, ни Штольца, ни дальнейшего развития характера Обломова!». Характерно, что уже в главе «От Кронштадта до мыса Лизарда» «Фрегата „Паллада”», впервые напечатанной в ноябрьской книжке «Русского вестника» за 1858 г., Гончаров, перенесясь на «почву родной Обломовки», отступает от критических мотивов, публицистической тенденции, присутствующих в «Сне Обломова», что чутко уловил Ю. Н. Говоруха-Отрок, который, правда, чрезвычайно субъективно отозвался о знаменитом «Сне», превзойдя самые резкие суждения славянофилов 1850—1860-х гг.: «Припомните в его „Фрегате „Паллада”» описание быта средней руки русского помещика, которого он сравнивает с средней руки англичанином. (...) Весь склад быта, простой и простодушный, изображен здесь прямо, без предвзятой цели, —

и вот почему здесь мы находим *людей*, а не затхлые мумии, как в „Сне Обломова”» («Обломов» в критике. С. 205).

Слово «обломовщина» — одно из ключевых понятий в романе. Первый раз оно прозвучало в главе четвертой части второй романа в заключительной фазе многоступенчатого диалога между Обломовым и Штольцем. Обломов в этой главе особенно красноречив, поэтичен и артистичен (именно здесь Штольц называет его «поэтом» и «философом»), а его друг и собеседник ироничен и афористичен. Обломов, действительно, вдохновенно и художественно, как и полагается «поэту», нарисовал картины той идиллической, покойной жизни, которую считает идеалом и нормой. Штольц, отдав должное поэтическим фантазиям друга, отказался обломовскую идиллию (утопию) признать идеалом и нормой; более того, с его точки зрения, «это не жизнь». И на вопрос задетого и огорченного Обломова («Что ж это, по-твоему?») он после продолжительной паузы как раз и произносит впервые это сакраментальное слово: «— Это... (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь.) Какая-то... обломовщина, — сказал он наконец» (наст. изд., т. 4, с. 180). Слово, не без труда найденное Штольцем, что понятно и логично (он почти по всем параметрам прямая противоположность, антитеза Обломову), ошеломило «поэта жизни», увидевшего в нем не иронию, не просто меткое суждение, а приговор, клеймо и грозное предупреждение. Он повторяет слово по складам, словно пытаясь понять его истинный смысл: «— О-бло-мовщина! — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. — Об-ло-мов-щина!» (там же).¹ Слово пу-

¹ В черновой рукописи слово «обломовщина» Штольц произносит немного раньше и в самом шутиливом настроении: «— Обломовщина! Обломовщина! — закричал Штольц, хлопая в ладоши и помирая от смеха. — Как жили отцы и деды, так и ты! Ты и меня хочешь туда же...». А в реакции Обломова на странное слово, произнесенное его другом с насмешкой, подчеркнута обида: «Обломов почти обиделся».

— Извини, не как отцы и деды, — сказал он, вдруг перевернувшись лицом к Штольцу и опершись на локоть, — я применяюсь к веку...»; «— Далась обломовщина: ну что ж, пусть обломовщина, если она удовлетворяет идеалу счастья, покоя...» (наст. изд., т. 5, с. 201, 203). Сам герой и объясняет далее, почему ему стало обидно: «Обло... мов... щина! — произнес он, — ух какое слово! И отчего мне

гает Обломова, которым овладевает робость; он буквально на глазах затихает, словно замороженный: « — Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? — без увлечения, робко спросил он» (там же). Слово прогнало поэтические грезы и идиллические мечты. Штольц прочно завладел инициативой в беседе, последовательно отвергая робкие попытки Обломова защититься от аргументов и упреков прагматичного, деятельного друга, время от времени повторяющего «странное» слово, которое все более теряет личностный оттенок, завоевывая все новые и новые территории; обломовщина подразделяется Штольцем на деревенскую и петербургскую, в том или ином виде она присутствует почти во всех «разрядах» общества — не только русского и не только XIX в.

Слово преследует Обломова и в начале следующей главы пятой части второй романа, наряду с другими, «литературными» «грозными словами»: «Теперь или никогда!», «Быть или не быть!» («Гамлет» Шекспира; обломовская вариация: «Идти вперед или остаться?»). Он машинально начертил его пальцем на покрытом пылью столе и тут же проворно стер. Оно проникло в его сон: «Это слово снилось ему ночью, написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру», и, пробудившись, он читает то же слово в мутном и тупом взгляде Захара. Оно звучит как библейское пророчество: «Одно слово, — думал Ильич Ильич, — а какое... ядовитое!..» (там же, с. 185).¹ Затем, укоряя За-

обидно оно: оттого, кажется, что оно только мне одному к лицу, — дураком назвать легче: дураков много...» (там же, с. 214, сноска 1). В окончательном тексте смех и хлопанье в ладоши устранились: ключевое слово произносится серьезно и взвешенно, изменяя и поэтическое, с некоторым юмористическим оттенком течение дружеской беседы. Не сохранился и мотив «обиды», слишком персонализировавший символическое слово-понятие.

¹ В черновом автографе чувства Обломова обрисованы еще резче, рельефнее: «Обломов...щина... обломовщина... — шептал потом, — вот оно что! Какое слово: точно клеймо, жжется... Прочь, прочь, обломовщина!»; «„Теперь или никогда!“ — являлись грозные слова <...>. Утром он читал их на своих брошенных в угол книгах, на пыльных стенах и занавесках, на изношенном халате, на тупом лице Захара. Ночью они огнем горели в его воображении, напоминая о пройденной половине жизни и угрожая перспективой тяжелого, пустого существования, без горя и без радости, без дела и без отрадного отдыха, без цели, без желаний». И зачеркнутое: «Прежде он бился, стараясь определить эту пройденную половину, и не знал имени ей: теперь Штольц назвал ее: „Обломовщина“ — таким же длинным неуклюжим словом, как и сама эта жизнь» (наст. изд., т. 5, с. 215 и сноска 5).

хара за пыль и сор («Ведь это гадость, это... обломовщина!»), сам Обломов употребляет «ядовитое» слово, которое слуга тут же помещает в разряд «жалких» слов: «Вона! — подумал он, — еще выдумал какое-то жалкое слово! А знакомое!» (там же, с. 212), после чего оно, исполнив свои обобщающие идеологические функции, надолго исчезает, хотя и продолжает, как рок, тяготеть над жизнью Обломова и Захара. Появляется оно вновь в главе XI части третьей в финале последнего объяснения Обломова с Ольгой Ильинской, как ответ на ее вопросы («— Отчего погибло всё? <...> Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...»): «Есть, — сказал он чуть слышно. <...> Обломовщина! — прошептал он...» (там же, с. 371). На этот раз «чужое» слово, впрочем давно уже ставшее «своим», никак не комментируется и не объясняется, но звучит уже в чисто трагическом регистре — за ним стоит здесь не половина жизненного пути, а почти вся жизнь героя, которому не суждено пробудиться от «сна». Обломов в некотором роде возвращается к «истокам», в Обломовку, правда Выборгскую. Жизнь Обломова на Выборгской стороне Штольц, отвечая на вопрос Ольги Ильинской («— Да что такое там происходит?»), определяет тем же удобным и как будто все исчерпывающе объясняющим словом: «— Обломовщина! — мрачно отвечал Андрей и на дальнейшие расспросы Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание» (там же, с. 484). И здесь знакомое слово кажется заготовленным для некролога, который очень скоро и последовал, совпав с окончанием романа. Штольц, объясняя «литератору» (и «автору» романа) причину гибели своего «товарища и друга», лаконично отвечает: «Обломовщина!», чем озадачивает собеседника: «— Обломовщина! — с недоумением повторил литератор. — Что это такое?» (там же, с. 493). Таким образом на придуманное Штольцем слово еще раз обращается особое, так сказать сугубое, внимание, но лаконичного и четкого объяснения его и в финале не дается, что очень естественно. Обломовщина, по художественному замыслу Гончарова, явление многоликое и многогранное. Понять и прочувствовать, что это такое, можно только ознакомившись со всей историей Обломова, и не в сокращенном пересказе, а в пространном, избыточном «фламандскими» подробностями повествовании.

Указанием на многоликость и символичность слова «обломовщина», содержащимся в романе, блестяще воспользовался в статье «Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбов. Собственно его публицистическая с радикальными обобщениями статья написана «по поводу романа» (в этом и состоял декларируемый им метод «реальной критики», имевший многочисленных последователей — вплоть до ведущего критика «Нового мира» В. Я. Лакшина) и представляет собой свободные вариации на тему обломовщины, в которой критик увидел «знамение времени», слово-разгадку. Обломовщина, по Добролюбову, укоренившееся в русской жизни зло, которое необходимо «сжечь и развеять». Чрезвычайно трудно назвать сферу современной русской жизни, где не чувствовалось бы тлетворное, развращающее влияние обломовщины, что обусловлено многими причинами и обстоятельствами и в определенном смысле совершенно органично, — ведь «Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам» и в «каждом из нас сидит значительная часть Обломова...», «Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь — *в настоящее время, когда и пр.*» («Обломов» в критике. С. 63—64).¹

Эмоциональное и рельефное раскрытие радикальным критиком-шестидесятником социально-политического

¹ Всероссийский и всесловный характер обломовщины усиленно подчеркивается критиком, обнаруживающим ее «во всех видах» и «под всеми масками»: «Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, — я думаю, что это всё пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неумещающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...» («Обломов» в критике. С. 62).

смысла романа Гончарова во многом способствовало успеху произведения у читающей публики, что в немалой степени определило и отношение самого писателя к статье и ее автору. Это особенно отчетливо выразилось в письмах Гончарова, отправленных им своим корреспондентам сразу же после публикации в «Современнике» статьи «Что такое обломовщина?». 20 мая 1859 г. Гончаров сообщал И. И. Лъховскому: «Добролюбов написал в „Современнике“ отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину». И в тот же день он с удовольствием писал П. В. Анненкову: «Получаете ли Вы журналы? Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об Обломове; мне кажется, об обломовщине, — т. е. о том, что она такое, — уже сказать после этого ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил написать прежде всех».¹

Но все же Гончарова иногда немного смущали крайности «отрицательного направления», открытая публицистичность статей Белинского и Добролюбова, не говоря уже о Писареве. Свое критическое отношение к радикальным идеям Белинского — и особенно публицистов-шестидесятников — писатель выразил позднее в письмах и статьях косвенно и в довольно корректной форме, упрекая при этом самого себя в том, что заплатил некоторую

¹ Е. А. Ляцкий несколько драматизировал ситуацию, но в общем верно описал волнения Гончарова, с нетерпением и страхом ждавшего критических откликов на роман в прессе, всячески торопившего Анненкова и других литературных знаменитостей: «...статья Добролюбова появилась на пятый месяц после начала печатания „Обломова“, и нетрудно угадать (...) какое нравственное испытание пришлось пережить самолюбивому художнику, болезненно прислушивавшемуся к каждому мнению, из суммы которых, уже избалованный приемом „Обыкновенной истории“, он мог выводить заключения лишь о сомнительном, спорном успехе» (*Ляцкий 1920*. С. 131). Добролюбов, не дожидаясь окончания публикации, предварительно очень высоко отзывался о романе в рецензии на «Воспитанницу» А. Н. Островского в февральской книжке «Современника» за 1859 г.: «В „Отечественных записках“ начался роман г-на Гончарова „Обломов“, которого так давно и нетерпеливо ожидала русская публика. Роман этот состоит из трех частей, и все, читавшие его вполне, соглашаются, что замечательные достоинства этого первоклассного произведения еще увеличиваются в следующих частях, далеко превосходящих первую — и в развитии характеров, и в художественной отделке подробностей. Когда он напечатан будет весь, мы надеемся поговорить о нем подробнее» (*Добролюбов Н. А. Собр. соч.*: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. IV. С. 213).

дань духу времени. Гончаров писал С. А. Никитенко 21 августа (2 сентября) 1866 г.: «...отрицательное отношение до того охватило всё общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направлению и вместо серьезной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны». А в апрельском письме 1869 г. Е. П. Майковой он, лестно отозвавшись об ее эстетическом чутье, отмечает регресс литературной критики после Белинского, сказавшийся уже в статьях Добролюбова: «Вы <...> тонко и даже раздражительно сочувствуете поэзии, искусству. Это драгоценное раздражение было и в Белинском, вначале и в Добролюбове, пока это влечение к красотам искусства он не подчинил слепо другим стремлениям. У последующих критиков стремления возобладали уже совсем над всяким эстетическим раздражением — и в Писареве эта струя совсем исчезла, у него уже чисто одна головная критика.

Всё это я понимаю, то есть несочувствие к искусству, но зачем и вражда к нему — этого не понимаю».

Еще определеннее выразился Гончаров в статье «Предисловие к роману „Обрыв“» (конец 1860-х гг.; опубл. 1938), отчасти под впечатлением критических разборов его произведения последователями Белинского и Добролюбова. О Белинском он здесь пишет, что «отсутствие <...> беспристрастия и спокойствия <...> составляет его капитальный и, может быть, единственный недостаток». Но этот «единственный» недостаток как раз и был главным образом усвоен, по мнению писателя, его преемниками: «Созданная им школа критики даже в таком даровитом деятеле, как Добролюбов, всецело приняла от своего учителя и этот огромный недостаток и донныне продолжает употреблять свойственный этому недостатку тон не только как критический прием, но почти как принцип».

Очень характерно рассуждение Гончарова в статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) о тенденциозности и художественном инстинкте, иррациональном и «спасительном»: «Мне <...> прежде всего бросался в глаза ленивый образ *Обломова* — в себе и в других — и всё ярче и ярче выступал передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека, — и пока этого

инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру.

Если б мне тогда сказали всё, что Добролюбов и другие и, наконец, я сам потом нашли в нем, — я бы поверил и, поверив, стал бы умышленно усиливать ту или другую черту — и, конечно, испортил бы.

Вышла бы тенденциозная фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю!». Иррациональное, «бессознательное», инстинктивное в этой статье противопоставляется со знаком плюс рациональному, сознательному, как неизбежно вносящему вредящий художественности элемент, который выпрямляет и упрощает художественную мысль. Гончаров рассказывает об известном эпизоде, когда он решил прислушаться к советам «одного приятеля», заставив Обломова произнести «несколько сознательных слов», но это привело лишь к тому, что «в портрете оказалось пятно». Точно так же, продолжает Гончаров, и Штольцу, уходящему от Обломова в последний раз, не следовало произносить свою фразу о старой Обломовке, отжившей свой век. Гончаров вспоминает по этому поводу слова Белинского: «Недаром Белинский в своей рецензии об „Обыкновенной истории“ упрекнул меня за то, что я там стал „на почву сознательной мысли“». Образы так образы: ими и надо говорить»; но с не меньшим основанием он мог бы привести мнение Добролюбова, которое тот высказал в связи с приведенными в гончаровской статье словами Штольца: «Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. „Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век“, — говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочтет Обломова, не согласится с этим» («Обломов» в критике. С. 63).

Есть все основания утверждать, что Гончаров не только на рубеже 1850—1860-х гг., но и гораздо позднее частично разделял добролюбовское объяснение сути обломовщины. Рассуждая в статье «Лучше поздно, чем никогда» о важной роли немцев и «немецкого элемента» в русской жизни, он основной причиной этого явления назвал обломовщину и даже вспомнил о крепостном праве: «Это, конечно, досадно, но справедливо — и причины

этого порядка дел истекают из той же *обломовщины* (между прочим, из крепостного права), главный мотив которой набросан мною в „Сне Обломова”. Гончаров, разъясняя в той же статье характер и судьбу главного героя романа «Обрыв», по сути, корректирует слишком оптимистическое заключение Штольца и тем самым соглашается с упреком Добролюбова. Он пишет, что и в переходную эпоху во всех сферах государственной, общественной и частной деятельности царили «обломовщина, тихое, монотонное течение сонных привычек, рутина»: «В обществе, в образованной среде, побегу новых, свежих стремлений мешались и путались еще с терниями и волчцами обломовщины разного рода — и вольной и невольной, с разными приманками праздного житья-бытья и с трудностями упорной борьбы с старым. Застой, отсутствие специальных сфер деятельности, служба, захватывавшая и годных и негодных, и нужных и ненужных и распложавшая бюрократию, всё еще густыми тучами лежали на горизонте общественной жизни: группа новых людей устремилась к их рассеянию». Гончаров, несомненно, к «группе новых людей» относил и Добролюбова,¹ хотя и не разделял пропагандируемых критиком способов «рассеяния» обломовщины.

Гончаров, которому принадлежало изобретение слова «обломовщина», в воспоминаниях «На родине» писал, что еще в детстве задумывался над некоторыми сторонами и обычаями русской провинциальной жизни: «Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежания, и зародилось неясное представление об „обломовщине”». Обломовщина в воспоминаниях — это «картины сна и застоя», «пустота и безмолвие», «всё старое и ветхое», царящая повсюду «пус-

¹ Гончаров говорил о Добролюбове (и, разумеется, о Белинском) с неизменным пиететом. Так обстоит дело и в статье «Лучше поздно, чем никогда», где он отнес Белинского и Добролюбова к «тонким критическим истолкователям», помогающим художникам («бессознательным», тем, у кого «при избытке фантазии и при относительно меньшем против таланта уме образ поглощает в себе значение, идею») увидеть «смысл» инстинктивно созданной ими художественной картины. В письме к П. Г. Ганзену от 30 августа 1878 г. Гончаров тепло вспоминал статью Добролюбова: «Об „Обломове”, кроме Добролюбова, тоже никто не отозвался в печати с ласковым участием».

тота и праздность», ленивое и монотонное течение провинциальной жизни: «Нам нечего делать! — зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас, — мы не торопимся, живем — хлеб жуем да небо коптим!». В письме к С. А. Никитенко от 8(20) июня 1860 г. Гончаров пишет об обломовской колыбели гораздо резче, публицистически отчетливо, добролюбовское объяснение обломовщины здесь «отзывается» почти в каждом слове: «А вы представьте себе обломовское воспитание, тучу предрассудков, всеобщее растрение понятий и нравов, среди которого мы выросли и воспитались и из которых, как из летаргического сна, только что просыпается наше общество; если б Вы могли представить себе всю грубость и грязь, которая таится в глубине наших обломовок, потом в недрах казенных и частных училищ, потом в пустоте и разврате общественной жизни, где мелкое тщеславие заменяло всякие разумные стремления, за отсутствием их, где молодой человек задумывался над вопросом, что ему делать, или, не задумываясь, пил, ел, волочился, одевался франтом, потом женился и потом направлял детей своих по тому же пути, уча служить (то есть занимать выгодные места и брать чины) и наслаждаться — в ущерб чести, нравственности и тому подобное».

«Лень», «праздношатание в молодости» — вот те повсеместно присутствующие составные обломовщины, которые называет Гончаров в «Необыкновенной истории», в очередной раз обозревая свой жизненный путь и отсылая к своему роману: «...все у нас так воспитывались, учились, росли и жили, как я, что я и старался показать в „обломовщине“». Размышляя об артистической разновидности обломовщины, отчасти присущей самому писателю и в очень большой степени его герою художнику Борису Райскому, Гончаров обращает внимание на сочетание в понятии «обломовщина» объективных и субъективных элементов, вневременных и обусловленных определенными временными обстоятельствами: «Всё это, конечно (то есть это бесцельное писание) есть своего рода „обломовщина“. Но ведь (как я показал в «Обломове») „обломовщина“ — как эта, так и всякая другая — не вся происходит по нашей собственной вине, а от многих, от нас самих „не зависящих“ причин! Она окружала нас, как воздух, и мешала (и до сих пор мешает отчасти) идти твердо по пути своего назначения, как бы сделал я в Анг-

лии, во Франции и Германии!». А в национально-психологическом смысле обломовщина, по Гончарову, — это «лень и апатия во всей ее широте и закоренелости как стихийная русская черта» («Лучше поздно, чем никогда»): пожалуй, самое широкое, всеобъемлющее объяснение, не диктующее неперенных и радикальных социально-политических выводов, но и не препятствующее появлению таковых.

Общее определение (или объяснение) достаточно сухо и отчасти абстрактно. Классификация — неоднократные указания Гончарова на существование разных родов обломовщины — неизбежна и закономерна; художественные картины нравов, быта демонстрируют неисчерпаемое богатство смысловых оттенков этого емкого понятия, которое историческими и психологическими корнями уходит в праисторию и под разными масками и личинами продолжает жить в новую переходную («от *Сна к Пробуждению*») эпоху. Обломов принадлежит прошлому времени и олицетворяет, можно сказать, обломовщину в самом законченном, чистом, классическом виде: «*Обломов* был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне и застое. И критика и публика находили это: почти все мои знакомые на каждом шагу, смеясь, говорили мне, по выходе книги в свет, что они узнают в этом герое себя и своих знакомых» («Лучше поздно, чем никогда»). В значительной степени принадлежит прошедшему времени и героиня «Обрыва» Софья Беловодова, хотя во многих внешних чертах, в стиле жизни эта аристократическая обломовщина сильно отличается от обломовщины в азиатском халате, от непробудного сна Ильи Ильича. И все-таки это пусть и светская, комильфотная, изящная, но обломовщина: героиня замурована «в фамильных преданиях рода, в завещанных предками границах недоступной гордости, в приличиях тона — словом, в аристократически-обломовской, переходившей по наследству из рода в род неподвижности» (там же). Обломовщина постоянно тянет назад и художника-дилетанта Райского, что неудивительно, так как он вырос «еще в период обломовского сна», и «если не спит по-обломовски, то едва лишь *проснулся* — и пока знает, что делать, *но не делает*», «он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарований, но он все-таки сын Обломова» (там же). Райский остается «сыном Обло-

мова» («прямой, ближайший его сын») не только в некоем общем сословно-психологическом смысле, но — это, пожалуй, особенно зримо подтверждает родство — и в унаследованных барских привычках: «даже, как прямой сын Обломова, дает, ворча, снимать с себя Егору сапоги (Обломов требовал, чтобы *Захар* натягивал на него чулки)» (там же). Райский — «натура артистическая» по преимуществу (правда, и Обломов «поэт», но больше «поэт жизни»; герой «Обрыва» упорно пытается стать художником, писателем, ваятелем). Гончаров писал 21 августа (2 сентября) 1866 г. С. А. Никитенко, что его целью было «представить русскую даровитую натуру, пропадающую даром без толку — от разных обстоятельств. Это своего рода артистическая обломовщина». И тут же он постарался отделить себя от героя-художника: «...сам я не могу быть Райским, или если во мне и есть что-нибудь от него, так столько же, сколько во множестве русских людей есть из Обломова...». Все же он именно к роду «артистической обломовщины» предпочитал относить себя (и других русских писателей), но не к роду классической, цельной сонно-застойно-ленивой обломовщины, живым и неповторимым воплощением которой был Илья Ильич Обломов. О такой «артистической обломовщине» он с надрывом и с обидой на злословие современников писал в «Необыкновенной истории»: «Если б еще мою нелюдимость и затворничество от света приписали моей обломовской лени — я бы ничего не сказал: пусть! Вместо *лени* поставить *артистическую, созерцательную натуру*, способную жить только своею внутреннею жизнью — интересами творчества, деятельности ума, особенно фантазии, и оттого чуждающуюся многолюдства, толпы, то и была бы правда, особенно если прибавить к ней вышеупомянутую нервозность, робость!

Вот такая моя обломовщина! Она есть если не у всех, то у многих писателей, художников, ученых! Граф Лев Толстой, Писемский, гр⟨аф⟩ Алексей Толстой, Островский — все живут по своим углам, в тесных кружках!». Однако «обломовская лень» — это столь важный элемент обломовщины, что с устранением его она фактически исчезает, что отчетливо сознавал Гончаров, подчеркивая различие между собой и героями «Обломова» и «Обрыва». Так, в уже процитированном ранее письме к С. А. Никитенко от 8(20) июня 1860 г. он говорил: «Лень, обломов-

щина и эпикуреизм едва ли на третью долю помешали мне делать свое дело. Да позвольте: ведь творчество — своего рода эпикуреизм; наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения — как Вы ни оспаривайте: творчество — это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма, следовательно — лениться почти нельзя, тем более что с успехом связано торжество самолюбия, многие материальные выгоды и т. п. И я ленился, повторяю, мало...». Но в таком случае «артистическая обломовщина» есть нечто исключительное, оксюморонное, не имеющее почти ничего общего с той обломовщиной, о которой Гончаров писал, в частности, в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Воплощение сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни — *переползание изо дня в день* — в одном лице и в его обстановке было всеми найдено верным — и я счастлив».

Считая, что в нем самом, как и во множестве русских людей, есть нечто «из Обломова», Гончаров иногда идентифицировал себя со своим героем. В авторе-путешественнике «Фрегата „Паллада“» акцентируются некоторые черты Обломова и генеалогическая связь с Обломовкой. В финале «Обломова» появляется лениво зевающий приятель Штольца — «литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными, глазами», который и записывает историю Обломова. Читатели, понятно, увидели в литераторе самого Гончарова, который явно этого и хотел. В рассказе «Литературный вечер» (1880) фигурирует и пожилой беллетрист Скудельников — само олицетворение лени, равнодушия, апатии: «...как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на автора и опять опускал их. Он, по-видимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе — вообще ко всему вокруг себя». Порой Скудельников, этот «прямой» родственник Обломова и литератора, записавшего его историю, немного оживлялся, но тут же вновь впадал в «апатию».¹ С. А. Толстой Гончаров жаловался на бремя обло-

¹ Интересно истолковывает в применении к Гончарову слово «апатия» Е. А. Ляцкий: «По отношению к человеку, неустанно работавшему в тиши кабинета над созданием ряда произведений, техника которых, по его собственным словам, стоила ему большого труда, это слово должно иметь особый, духовный смысл. Это менее всего внут-

мовской репутации 11 ноября 1870 г.: «...ведь говорят, что я Обломов, и даже так меня устроили по-обломовски!». Обломовым шутливо называет себя Гончаров в письме к С. А. Никитенко от 29 мая (10 июня) 1868 г. и во многих других письмах разных лет и разным людям. Спокойно он воспринял стихотворение Дм. Минаева «Парнасский приговор», в котором обыгрывались его «обломовские» черты. Он послал это показавшееся ему остроумным стихотворение Е. А. и С. А. Никитенко вместе с письмом от 13(25) июня 1860 г. со следующими своими замечаниями: «Тут лучше всего приговоренное мне богами вознаграждение: *ехать на казенный счет вокруг света...* Еще хорошо: *вялый как Обломов и с тусклым взглядом*. Всё это до такой степени правда, что нельзя и сердиться». Позднее, однако, он вспоминал с мрачным чувством и обидой строки Минаева. В письме к Ю. Д. Ефремовой от 29 июля 1857 г. он жаловался на людскую несправедливость: «Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают? Было два года свободного вре-

ренное разочарование в том, во что верилось в юности, в идеалах, надеждах, наконец, в любви и дружбе. Наоборот, мощью здорового идеализма звучат последние произведения Гончарова; ласковый юмор их достигает местами удивительной свежести, изящества и даже глубины. Это не бессилие человека, который вышел на борьбу и увидел, что руки у него связаны. Борьба не была в натуре Гончарова, и менее всего он подходил бы под понятие борца во имя чего бы то ни было. Правильнее всего признать, кажется, что гончаровская апатия, если не принимать в расчет некоторой доли скептицизма, свойственного всем пожилым людям, видевшим свет, сводилась преимущественно к внешним проявлениям, к внешнему виду или, вернее, к тому впечатлению, которое производил Гончаров на людей своей неподвижной, по виду вялой, по разговору равнодушной фигурой. В голове и в сердце творилась невидимая глазу сложная работа, из которой слагалось творчество образов и картин; на эту работу и уходила значительная доля энергии и органической самостоятельности художника» (Ляцкий 1920. С. 191—192). Противоположную точку зрения в самом крайнем варианте высказал Ю. И. Айхенвальд, полагавший, что Гончаров «в свои романы свою натуру перенес всецело и нисколько не отрешался от себя, когда живописал других»: «У него и в помине нет той строгой объективности, которая подавляет в художнике его сочувствия и неприязни и без всякого заметного посредничества ставит нас лицом к лицу с жизнью и людьми. (...) Гончаров необычайно субъективен в произведениях своего пера...» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 208).

мени на море, и я написал огромную книгу, выдался теперь свободный месяц, и лишь только ядохнул свежим воздухом, я написал книгу! Нет, хотят, чтоб человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии! Если б это говорил только Краевский, для которого это — дело темное, я бы не жаловался, а то и другие говорят! Варвары!». Не менее показательна и ирония по адресу тех, кто простодушно или злонамеренно уравнивает автора и созданных им художественных персонажей, в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Чаше всего меня видят в Обломове, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя».

Похоже, что Гончаров стал тяготиться той литературной маской, которую он с удовольствием носил во «Фрегате „Паллада”» и других произведениях (этот литературный прием, как уже говорилось, обнажен в финале «Обломова») и использовал в переписке. Литературная игра затянулась, и чем дальше, тем больше она стала задевать стареющего и чрезвычайно мнительного писателя. Неоднократно указывая, что его жизнь, особенно на ранних стадиях складывалась под гнетом обломовщины, в сонном пространстве Обломовки, Гончаров решительно отделял себя от своего фатально обреченного на угасание героя; та «самобытная русская художническая сила», которая «не могла прорваться наружу» в романе «Обрыв» «сквозь обломовщину» (судьба художника-дилетанта Райского), не только помогла писателю справиться со всеми «терниями и волчцами обломовщины разного рода», но и способствовала созданию одного из самых знаменитых русских романов, важным структурным элементом которого стало странное и загадочное слово-понятие «обломовщина», сразу же прочно вошедшее в русский язык.

Слово «обломовщина» с указанием источника («усвоенно из повести Гончарова») включил В. И. Даль в «Толковый словарь живого великорусского языка» с пространным, но одновременно и слишком прямолинейным пояснением («русская вялость, лень, косность; равнодушие к общественным вопросам, требующим дружной деятельности, бодрости, решимости и стойкости; привычка ожидать всего от других, а ничего от себя; непризнание за со-

бою никаких мирских обязанностей»),¹ в котором ощути-мо некоторое влияние статьи Добролюбова.

К статье Добролюбова неизменно отсылал и Гончаров, считая его анализ романа полным и в некоторых отношениях исчерпывающим: «Я не остановлюсь долго над „Обломовым“. В свое время (...) значение его было оценено и критикой, особенно в лице Добролюбова, и публикою весьма сочувственно» («Лучше поздно, чем никогда»). Гончаров почти не обращался к другим критическим оценкам романа, так и оставшись при убеждении, высказанном им еще в 1859 г., что Добролюбов в своей «отличной» статье настолько «полно и широко разобрал обломовщину», что другим рецензентам сказать об этом уже, собственно, нечего. И здесь писатель заблуждался, хотя, бесспорно, статья «Что такое обломовщина?», имевшая оглушительный успех, неизбежно попала в поле общественно-журнальной полемики, далеко вышедшей за рамки 1860-х гг., и во многом определила восприятие романа несколькими поколениями русских читателей. Оценки современников: «Обломов и обломовщина — эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в тумане» (Дружинин — «Обломов» в критике. С. 112); «...слово „обломовщина“ стало нарицательным для обозначения жизни в ее „широких гранях“» (Пятковский — ЖМНП. 1859. № 8. С. 96); «Слово „обломовщина“ не умрет в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникнет в язык и войдет во всеобщее употребление» (Писарев — «Обломов» в критике. С. 70) — основывались на истолковании обломовщины Добролюбовым. Именно он энергично и талантливо разъяснил «целый круг явлений» русской жизни. Однако статья критика «Современника» почти сра-

¹ А. С. Хомяков в речи, произнесенной 2 февраля 1860 г. в Обществе любителей российской словесности, сказал: «...„Обломов“ внес даже в наш разговорный язык новое выразительное слово „обломовщина“ и тем самым доказал свое художественное достоинство» (Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 328—329).

зу же после появления в печати вызвала и немало упреков, отчасти затронувших роман.

Критики славянофильской и почвеннической ориентации увидели в «ядовитом» слое «обломовщина» клевету на русскую историю, русскую жизнь, русского человека. С тем большей силой они осуждали статью Добролюбова, что особенно отчетливо выразилось в гневных строчках письма А. А. Григорьева к М. П. Погодину от 26 августа (7 октября) 1859 г.: «Ведь только выблядок мог такую слюною бешеной собаки облевать родную мать, под именем обломовщины, и свалить все вины гражданской жизни на самодурство „Темного царства”». ¹ Характерна отрицательная оценка славянофилами «Сна Обломова», в котором их раздражала «неприятно резкая струя иронии в отношении к тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины» (Григорьев. С. 329). Но, несмотря на усилия критиков славянофильской ориентации разных поколений, ни штольцевщина, ни адуевщина не вошли в словарь русского языка, не прижились в нем в отличие от обломовщины — слова, «знакового» не одному Захару, которое употребляли нередко литераторы и мыслители самых разных направлений, полемизируя со статьей критика-шестидесятника.

Во многом иначе, чем Добролюбов, объяснял обобщающее слово-понятие «обломовщина» А. В. Дружинин, менее всего склонный обнаруживать в романе острую социальную критику и — тем более — обличение темных и косных сторон русской жизни: «Не спустись г-н Гончаров так глубоко в недра обломовщины, та же обломовщина, в ее неполной разработке, могла бы нам показаться грустною, бедною, жалкою, достойною пустого смеха. Теперь над обломовщиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слез, о ее жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни для кого не унижительным, но для многих высоким и мудрым сожалением» («Обломов» в критике. С. 113). Он не считал обломовщину явлением сугубо отрицательным и только русским: «Обломовщина, так полно обрисованная г-ном Гончаровым, захватывает собою огромное количество

¹ Григорьев А. Письма / Изд. подгот. Р. Виттакер, Б. Егоров. М., 1999. С. 222 («Лит. памятники»). Цитируемый фрагмент датирован Григорьевым 29 сентября.

сторон русской жизни, но из того, что она развилась и живет у нас с необыкновенной силою, еще не следует думать, чтоб обломовщина принадлежала одной России. Когда роман <...> будет переведен на иностранные языки, успех его покажет, до какой степени общи и всемирны типы, его наполняющие». Полемизируя с Добролюбовским объяснением «гнусной» обломовщины, мешающей прогрессивному движению «вперед», Дружинин писал: «Обломовщина <...> в слишком обширном развитии вещь нестерпимая, но к свободному и умеренному ее проявлению не за что относиться с враждою. Обломовщина гадка, ежели происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей пред практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы взрослых. Русская обломовщина, так, как она уловлена г-ном Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии — проявил нам ее мирные и незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков» (Там же. С. 122). Но такое, можно сказать, амбивалентное объяснение обломовщины не было принято современниками, не привлекло оно и внимания Гончарова.

Оспаривал основные мысли Добролюбова и А. П. Милюков, полагавший, что «в публике начали распространяться преувеличенные толки о том, что в „Обломове“ в первый раз явилась глубокая идея о нашем обществе, сказано новое слово о прошедшем и будущем России» (Там же. С. 126). Упрощая и огрубляя художественную мысль Гончарова, Милюков, выражая позицию почвеннического журнала, так формулирует концепцию обломовщины: «Обломов с начала до конца — в чем согласилась и критика — выражает русскую жизнь, русское воспитание. Штольц, отражая в фокусе своей личности мысли автора, характеризует апатию своего друга под именем *обломовщины* и понимает под этим именно русскую жизнь» (Там же. С. 128). Он возражает Гончарову и Добролюбову: «Нет: если в нашем обществе проявлялась

апатия, это зависело от внешнего гнета, — и всякий раз, когда обстоятельствам случалось сдвинуть его, натура русская являлась хоть не развитой, но вовсе не апатичной» (Там же. С. 129). Далее Милюков обрушивается на Штольца, и этот его выпад, между прочим, не противоречит иронически высказанному мнению критика «Современника»: «...отвергая смысл жалкой и карикатурной *обломовщины*, мы еще больше не признаем идеального значения этой холодной штольцевщины» (Там же. С. 139).

Язвительно, хотя и сравнительно корректно, возражал Добролюбову и Гончарову в пространной статье Н. Д. Ахшарумов, в самом начале ее ясно обозначив полемическую цель: «Едва успел выйти в свет новый роман г-на Гончарова, как в медико-хирургическом департаменте нашей литературы уже объявлена была автору благодарность за то, что он первый открыл истинный корень одной из самых важнейших отраслей нашего русского общественного недуга, открыл и предложил врачевание. „Что такое обломовщина?“ — можно было спросить еще несколько месяцев тому назад; теперь уже никто не сделает подобного вопроса, теперь всем известно, что это древнейшая черта нашего народного характера, начало которой совпадает едва ли не с самым началом русской истории. Настолько дело ясно; но можно ли назвать эту черту недугом и должно ли лечить нас от него предложенным медикаментом — это еще вопрос» (Там же. С. 143—144). Радикальные «медикаменты» Добролюбова Ахшарумов, разумеется, отверг. Обломовщину критик отнес к временам прошедшим, к явлениям устаревшим, существующим только «в мечтах Ильи Ильича с его земляками»: «Да, был у нас на Руси золотой век того, что г. Гончаров называет *обломовщиной*, и прошел этот век, прошел невозвратно» (Там же. С. 145). Этот прошедший век дорог критику в отличие от той современной разновидности обломовщины, которую олицетворяет деятельный, хотя и «призрачный», Штолец: «Расходясь с Обломовым как чистейшее его отрицание, Штолец совершает гигантские подвиги, проходит моря и горы, а оканчивает все-таки тем, что приходит к прототипу *обломовщины*, то есть к такому положению в жизни, в котором остается только *жить-поживать да детей наживать*. Как жестоко мстит за себя бедный идеал Обломова, эта несчастная *обломовщина*!» (Там же.

С. 160).¹ И критик упрекает Гончарова в том, что тот «не довольствовался простым юмористическим изображением *обломовщины* в борьбе с враждебными ей началами» и «хотел взглянуть на эту борьбу как моралист и философ, хотел произнести свой суд и приговор, и это хотение играло немалую роль в сочинении таких лиц, как Ольга и Штольц» (Там же. С. 164). Суда, считает Ахшарумов, не получилось, ибо в романе «наша отечественная стихия в образе Обломова одерживает решительную и блестящую победу над вялыми, космополитическими идеалами Ольги и Штольца» (Там же. С. 146).

Д. И. Писарев, критик крайне радикальных взглядов, во многом совпал в своем отношении к обломовщине с противниками Добролюбова. Он увидел в «Обломове» «клевету на русскую жизнь» и ничего не обнаружил в слове-отгадке «обломовщина»: «Положительных деятелей нет; это факт, который решается признать наш романист; но почему их нет? — спрашивает он. Дать на этот вопрос удовлетворительный ответ он боится, потому что такой ответ может повести ужасно далеко, по русской пословице: „Язык до Киева доведет“. Вот он и отвечает: „Деятелей нет, потому что мы страдаем обломовщиною“. Это не ответ, это повторение вопроса в другой форме, а между тем фраза облетела всю Россию, „обломовщина“ вошла в язык, и даже талантливый критик „Современника“ посвятил целую критическую статью на разбор вопроса: что такое обломовщина?» (Там же. С. 97).

Критики более позднего времени или развивали положения статьи Добролюбова, или отвергали их, удивляясь тому, что эта статья в свое время с таким энтузиазмом была принята читающей публикой. Прямолинейно высказывался о статье Добролюбова и понятии «обломовщина» критик-народник М. А. Протопопов, возможно ориентируясь на затеянную в 1860-е гг. Писаревым борьбу с «авторитетами». «„Новое слово“, „ключ к разгадке“, „произведение русской жизни“, „знамение времени“ — какая чрезвычайная щедрость похвалы!» — восклицает

¹ Суждение Ахшарумова о свойственной Штольцу «обломовщине» запомнится и будет неоднократно повторено и развито как критиками, так и литературоведами (ср. рассуждения В. Сквозникова в статье «„Золотое“ сердце Обломова» (*Leben, Werk und Wirkung*. S. 281)).

Протопопов, отдавая должное пропагандистскому искусству Добролюбова, воспользовавшегося романом для своих узких публицистических целей: «Цели своей Добролюбов достиг вполне, романом Гончарова он воспользовался превосходно, но самый роман сыграл в его критике роль бича...» (Там же. С. 194—195). Подобно критикам-славянофилам, Протопопов предпочитает говорить не об обломовщине, а о штольцевщине и адуевщине, чрезвычайно при этом упрощая до плоской и грубой карикатуры содержание романа, в чем явно «превзошел» как славянофильскую, так и нигилистическую критику.¹ А. Волынский, ведущий критик предсимволистского журнала «Северный вестник», признал заслугу автора статьи «Что такое обломовщина?», но с оговоркой: «Добролюбов сделал блестящую оценку „Обломову“, или, вернее, обломовщине как явлению социальному, но не углубил достаточно анализа в направлении психологическом».² Воздав должное первым страницам статьи Добролюбова, «проникнутым ясным критическим отношением к огромному дарованию

¹ Не разделял выводов Добролюбова и И. Ф. Анненский, которому были вообще чужды принципы публицистической критики «по поводу»: «Тридцать лет тому назад критик видел в Обломове открыто и беспощадно поставленный вопрос о русской косности и пассивности. Добролюбов смотрел с высоты, и для него уничтожалась разница не только между Обломовым и Тентетниковым, но и между Обломовым и Онегиным; для него Обломов был разоблаченный Печорин или Бельтов, Рудин, низведенный с пьедестала». Но в гораздо большей степени поразило Анненского утилитарно-примитивное и вульгарное осмысление романа в статье Протопопова; он счел необходимым заметить: «Да простит мне тень Добролюбова, что я поставил рядом с упоминанием о нем отзыв М. А. Протопопова» («Обломов» в критике. С. 226). В. В. Розанов в статье «Три момента в развитии русской критики» писал о разрыве между литературой и критикой, начавшемся еще в 1860-е гг. и усилившемся позднее в работах ограниченных последователей Добролюбова: «Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были связаны с его особым душевным складом, — хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и незначашее, как не имеющее под собой никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни — все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, незначашие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки» (Розанов В. В. Соч. М., 1990. С. 158).

² Волынский А. Гончаров // Сев. вестн. 1891. № 10. С. 161.

Гончарова», отметив «несколько блестяще выраженных» мыслей о Гончарове-художнике, он отнес «публицистические соображения» по поводу обломовщины к «заслоняющим истинный смысл» романа: «Гончаров остается неосвященным — и все параллели между Обломовым и другими героями, действующими в русской поэзии, параллели, сделанные притом отрывочно и бездоказательно, не вносят ничего свежего и нового в общую характеристику романа».¹

В дореволюционной критике выдвигались и другие точки зрения на обломовщину, в той или иной степени отличные от положений статьи Добролюбова.

Мнение В. О. Ключевского об обломовщине — это мнение историка, уделившего в своих трудах много места особенностям русского национального характера и его эволюции. Интересное развитие мотив обломовщины получил в заметках Ключевского 1909 г., где он так определял ее суть: «...нравственное сибаритство, бесплодие утопической мысли и бездельное тунеядство — вот наиболее характерные особенности {...} обломовщины. Каждая из них имеет свой источник, глубоко коренится в нашем прошлом и крупной струей входит в историческое течение нашей культуры...».² И затем историк счел необходимым детализировать это общее определение: «Обломовское настроение или жизнепонимание, личное или массовое, характеризуется тремя господствующими особенностями: это 1) склонность вносить в область нравственных отношений элемент эстетический, подменять идею долга тенденцией наслаждения, заповедь правды разменять на институтские мечты о кисейном счастье; 2) праздное убивание времени на ленивое и беспечное придумывание общественных теорий, оторванных от всякой действительности, от наличных условий, какого-либо исторически состоявшегося и разумно мыслимого общежития; и 3) как заслуженная кара за обе эти греховные особенности утрата охоты, а потом и способности понимать какую-либо исторически состоявшуюся или рационально допустимую действительность, с полным обессилением воли и с неврастеническим отвращением к труду,

¹ *Волинский А.* Литературные заметки // Там же. 1894. № 3. С. 117.

² *Ключевский В. О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 319.

деятельности, но с сохранением оберегаемой бездельем и безводем чистоты сердца и благородства духа».¹

Д. Н. Овсянко-Куликовский вычленял две стороны обломовщины: «Знаменитый роман не только повествует об Обломове и других лицах, но вместе с тем дает яркую картину „обломовщины“, и эта последняя, в свою очередь, оказывается двоякою: 1) обломовщиною бытовою, дореформенною, крепостническою, которая для нас — уже прошлое, и 2) обломовщиною психологическою, не упраздненною вместе с крепостным правом и продолжающеюся при новых порядках и условиях» (Там же. С. 232). Он полагал, что «взгляд великого критика-публициста, очевидно, опирался на пессимистическом, отрицательном отношении его к *нашему национальному характеру или складу*, испорченному всей нашей прошлой историей, в которой крепостное право было не единственною, хотя, может быть, и важнейшею, причиной этой порчи. *Обломовщина* с этой точки зрения является уже не только недостатком определенного класса, именно дворян-помещиков, деморализованных крепостным правом, а всей русской нации» (Там же. С. 242). Овсянко-Куликовского преимущественно интересовала обломовщина психологическая, которая имеет две формы — «нормальную» и «гипертрофированную». «Гипертрофированная» обломовщина «в области мысли, в мирозерцании, в умонастроении» — это «склонность к фаталистическому оптимизму»,² а в области волевой — «слабость и замедленность

¹ Там же.

² О фатализме как специфической национальной черте Овсянко-Куликовский высказал особенно интересные и глубокие суждения: «...русский человек остается своеобразным фаталистом и тогда, когда не верит в судьбу. Наш национальный фатализм — *волевого происхождения*, он — не теория, не верование, а *умонастроение*, которое может прилаживаться к каким угодно теориям, верованиям, воззрениям. Но, разумеется, наиболее сродни ему те, которые отмечены известным фаталистическим пошибом. Мы с большею готовностью, чем другие народы, усваиваем себе воззрения, ограничивающие роль личности и выдвигающие на первый план закономерный, или фатальный, „ход вещей“. Это отлично гармонирует с нашим волевым укладом. Но, с другой стороны, с тем же укладом согласуются и теории, приписывающие исключительное значение великим людям, „вождям“ и „героям“: наш волевой уклад одинаково приспособлен как к тому, чтобы мы послушно и понуро шли за „ходом вещей“, так и к тому, чтобы мы более или менее охотно следовали за своим „героем“ или „вождем“, избавляя себя от труда хотеть и действовать» («Обломов» в критике. С. 256) .

волевых актов, недостаток инициативы, выдержки и настойчивости» (*Овсянико-Куликовский 1912а. С. 1819*). В «гипертрофированной» обломовщине «нормальные русские способы мыслить и действовать получили крайнее, гиперболическое выражение» (*Овсянико-Куликовский 1989. Т. 2. С. 251*). Таким образом, если устранить из психологии Обломова крайности обломовщины, возвратив ее к норме, устранить «дефект в волевой функции»¹ (Там же. С. 253), «мы получим картину русской национальной психики» (Там же. С. 251). Примеры «нормальной» обломовщины как элемента национальной психики Овсянико-Куликовский находит в персонажах «Войны и мира» Кутузове и Каратаеве. Этот «русский национальный уклад психики» проявился, по его мнению, также в «глубоконациональной философии истории», которую обосновал Толстой в этом своем романе (*Овсянико-Куликовский 1912б. С. 200*).

Суть национального характера Овсянико-Куликовский отнюдь не сводил к обломовщине, хотя и видел в ней один из основных его компонентов. «Гончаров, — писал исследователь, — взял не всю национальную русскую психологию, а только те стороны ее, которые мы

¹ Ср. в связи с этой мыслью Овсянико-Куликовского рассуждения И. П. Павлова о национальном характере, относящиеся к 1916 г.: «Рефлекс цели может ослабнуть и даже быть совсем заглушен обратным механизмом. (...) Когда отрицательные черты русского характера: леность, непредприимчивость, равнодушие или даже неряшливое отношение ко всякой жизненной работе навевают мрачное настроение, я говорю себе: нет, это — не коренные наши черты, это — дрянной нанос, это — проклятое наследие крепостного права. Оно сделало из барина тунейдца (...). Оно сделало из крепостного совершенно пассивное существо без всякой жизненной перспективы (...). И мечтается мне дальше. Испорченный аппетит, подорванное питание можно поправить, восстановить тщательным уходом, специальной гигиеной. То же может и должно произойти с загнанным исторически на русской почве рефлексом цели. Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе, как драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов сделает своей главной задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы» (*Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных // Полн. собр. соч. М.; Л., 1951. Т. 3, кн. 1. С. 312—313*).

вслед за ним называем обломовщиной» (*Овсянко-Куликовский 1912а. С. 1818*). Овсянко-Куликовский считал, что «не следует преувеличивать значение и размеры этой национальной болезни нашей», ибо «...приближается время, когда обломовщина, какая еще есть, будет вытеснена из сферы общественной жизни и деятельности и перестанет определять собою „ход вещей” у нас. Симптомы этого оздоровления нашей национальной психики уже намечаются» (*«Обломов» в критике. С. 250, 257*).¹ Даже сам создатель знаменитого романа, по мнению исследователя, «характерными чертами своей натуры, ума и творчества» (бесстрастие, оптимистический фатализм, спокойное, благодушно-ироническое созерцание жизни) «представляет любопытный образец обломовщины на известной степени ее оздоровления» (*Овсянко-Куликовский 1912а. С. 1819*).

В. Г. Короленко в очерке «Гончаров и „молодое поколение”» писал о сложном и противоречивом отношении писателя к обломовщине: «Он, конечно, мысленно отрицал „обломовщину”, но внутренне любил ее бессозна-

¹ С суждениями Овсянко-Куликовского полемизировал П. Н. Сакулин: «И теперь еще нередко говорят о национальном значении типа Обломова, видят в обломовщине особенности „русского национального уклада” (проф. Д. Н. Овсянко-Куликовский). Подобное толкование в свое время было понятно как результат публицистического самобичевания, но теперь трудно признать его твердо обоснованным, если научно говорить о свойствах русской национальности» (*Сакулин П. Н. Русская литература шестидесятых годов // История России в XX веке. М., 1908. Т. 4. С. 236*). О локальности такого явления, как обломовщина, писал В. П. Кранихфельд («Для нас очевидно, что <...> мы имели дело с психологией одного только определенного класса и лишь в определенный момент его исторической жизни» — *Кранихфельд В. П. И. А. Гончаров // Современный мир. 1912. № 6. С. 317; подпись: «Вл. Кр.»*), о его исчерпанности — Н. А. Котляревский (обломовщина «исчезла из самой жизни вместе с условиями, которые ее породили» — *Котляревский Н. А. Странности большого таланта // Биржевые вед. 1912. № 12973. 6 июня*) и П. С. Коган («Можно ли сомневаться в том, что Гончаров раз и навсегда похоронил обломовщину?» — *Коган П. С. Очерки по истории новейшей русской литературы. М., 1912. Т. 1, вып. 3. С. 156*). Еще категоричнее был Ф. Д. Батюшков, хоронивший не только обломовщину, но и Обломовых: «В России давно уже нет Обломовых <...> „Обломов” — это мавзолеей, великолепный надгробный памятник, увековечивший отошедшее в вечность». В этом, по мнению критика, отличие этого романа от «Обрыва», который «во многом близок нам и теперь» (*Батюшков Ф. Д. Гончаров как один из главнейших русских романа // ЖМНП. 1914. № 9. Отд. II. С. 211*).

тельно глубокой любовью. При всем ужасе, который во всяком живом человеке возбуждает картина обломовского сна, откуда-то из глубины души незаметно просачивается баюкающая струйка, лениво ласкающая, тихо манящая: „Эх, попасть бы вот этак же...”. И такая же бессознательная враждебность к слишком резким звукам, нарушающим тяжелое благодущие этого „покоя, близкого к смерти”» («Обломов» в критике. С. 273).

В начале XX в. нередко высказывались пессимистические мнения о том, что в России обломовщина никогда изжита не будет. По мнению критика газеты «Оренбургский край», обломовщина и карамазовщина оказались теми «двумя китами, с которых никак не может сдвинуться русская жизнь».¹ «Это тип не временный, а исконный, постоянный русский тип»,² — такая мысль в различных редакциях представлена во многих статьях.

Часто вывод о вневременной сути обломовщины приобретал острый злободневный смысл. А. Станкевич говорил о живучести обломовщины именно в России, где «энергия проявляется вспышками, но нет умения к систематическому, упорному и последовательному применению сил; где творчество жизни бледно, неумело, сентиментально, характеры так часто слабы, личности мало сознательны, податливы и не жизнеупорны; где трезвое дело продолжает разбиваться возвышенными разговорами, где толстовство, в конце концов, такой пассивный уход из жизни, такое пассивное освобождение от ее сложности, борьбы и обязанностей».³

В. В. Розанов в статье «К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова (15 сентября 1891 г.—15 сентября 1916 г.)» писал, полемизируя буквально со всеми интерпретаторами романа: «„Обломова” все прочитали, но на обломовщину в жизни никто не оглянулся. Точнее, о ней начали очень много писать и этим-то именно увлекли все дело в область журналистики, без того, чтобы тронуть дело». И далее: «После „Мертвых душ” Гоголя — „Обломов” есть второй гигантский политический трактат в России, вы-

¹ П-ов А. В. Гончаров и обломовщина // Оренбургский край. 1912. № 123. 6 июня.

² Орлов М. А. Корифей объективного романа // СПбВед. 1912. № 126. 6 июня.

³ Станкевич А. И. А. Гончаров // Южный край. 1912. № 10805. 6 июня.

раженный в неизъяснимо оригинальной форме, несравненно убедительный, несравненно доказательный и который пронесся по стране печальным и страшным звоном. Не чета пустякам (сравнительно) и Макиавелли, и Монтескье, и *Contrat sociale*. „Обломов” — вот русский *Contrat sociale*: история о том, как Илья Ильич не может дотащиться до туфли, чтобы сходить „кой-куда”, и так уже все естественное и неестественное валит кругом себя. <...> Общество волновалось, хотело перевернуть свет и не умело очинить карандаша. „Звону” звенеть напрасно, когда его слушает глухой». Гениальное предсказание-предостережение Гончарова, с горечью и болезненной иронией констатирует философ, не разбудило Русь: «Что же русские? Да „ничего же русские”. Выслушали, прочитали, сказали: „ах, как хорошо пишет”, и заснули. <...> Художественная нация, что и говорить».¹

В споре с журналистскими толкованиями Розанов выдвинул еще в 1893 г. в предисловии к собранию сочинений Ф. М. Достоевского свое объяснение феномена обломовщины (в сопоставлении с карамазовщиной): «„Карамазовщина” — это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название „обломовщина”; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в „карамазовщине”. Не правильное ли будет думать, что „обломовщина” — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он — детски чистый, эпически спокойный, — в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; „карамазовщина” — это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти наконец эти последние и подчиниться им».²

Таким образом, и в 1860-е гг., и позднее отношение к обломовщине в русской критике отличалось большим разнообразием. Соответственно критиками различных

¹ Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 648—649.

² Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 202—203.

направлений и поколений слово «обломовщина» объяснялось далеко не одинаково, часто в полемике с другими интерпретациями и — более всего — с положениями статьи Добролюбова. На фоне всего этого разнообразия абсолютно справедливым представляется вывод Н. Нарокова (псевд.; наст. фам. — Н. В. Марченко): «Существенно отметить, что <...> различные понимания Обломова и обломовщины не оказали должного влияния на общественное отношение к этому явлению. Широкие слои интеллигенции прошли как бы мимо отдельных высказываний. Но толкование Добролюбова приобрело чрезвычайную популярность и стало чуть ли не обязательным вплоть до наших дней».¹

Строго обязательным оно стало после 1917 г., когда статья Добролюбова вошла в школьные программы по русской литературе. Свою роль здесь сыграла оценка статьи В. И. Лениным, известная нам по воспоминаниям Н. Валентинова (псевд.; наст. фам. — Н. В. Вольский): «Из разбора Обломова он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе...». В речи Ленина 26 марта 1922 г. содержался призыв к выкорчевыванию обломовщины, переосмысленной в прямой связи с текущим политическим моментом; это, несомненно, была освобожденная от литературно-эстетических вопросов вариация на темы статьи Добролюбова: «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только ин-

¹ Нароков Н. Оправдание Обломова // Новый журнал. 1960. № 59. С. 98. О прогрессивном значении статьи Добролюбова как бесспорном факте писали многие. П. А. Кропоткин говорил об этом так: «...нужно было яркое воплощение нашей апатии, нужна была кличка для обозначения нашей дореформенной косности» (*Кропоткин П. А. Идеалы и действительность в русской литературе*. СПб., 1907. С. 173). Е. А. Ляцкий отмечал «осторожность Добролюбова относительно Гончарова, отсутствие всякой категоричности в отзывах о нем» (*Ляцкий 1920*. С. 12). Но суждения критиков, близких славянофильскому направлению, о статье Добролюбова оставались столь же жесткими, как и оценки А. А. Григорьева и И. С. Аксакова. Ю. Н. Говоруха-Отрок, например, негодовал по поводу того, что Добролюбов «смешал с грязью всю русскую жизнь, всю русскую историю, всю нашу деятельность» (*РВ*. 1892. № 1—2. С. 338).

теллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что *старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел*».¹

Выкорчевывание обломовщины, как известно, вылилось в тотальное разрушение всего уклада жизни Обломовки-России, которое осуществлялось с беспрецедентной жестокостью и поистине большевистской последовательностью. И в свете этой деятельности менялось постепенно отношение как к Обломову, так и к обломовщине. Перемена отчетливо выразилась в дневниковой записи М. М. Пришвина 1921 г.: «Никакая „положительная“ деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское „неделание“. (...) Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение *своего* существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом *для других*, может быть противопоставлена обломовскому покою».² Характерны и другие попытки иначе взглянуть на проблему обломовщины, очистить это понятие от обличительных мотивов; Б. М. Энгельгардт, можно сказать, «эстетизирует» обломовщину: «Сущность ее заключается не в „лени“, „распушенности“, „дряблости“ и других „способностях“ и „свойствах“, нередко приписываемых русскому человеку вообще, а в особой оформленности практического сознания, в том, что место творческих норм, стоящих над жизнью, заняли в нем фантастические представления об идеальных формах жизни,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 13—14. Н. А. Бердяев приходил к такому заключению: «Ленин хотел победить Обломова и Рудина, лишних людей. И это положительное дело ему, по-видимому, удалось» (*Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма // Юность. 1989. № 11. С. 89*). А герой романа В. В. Набокова «Дар» (1937) Федор Константинович Годунов-Чердынцев в своем недоброжелательном отзыве о Гончарове-художнике (он, очевидно, выражает точку зрения автора) высмеял расхожие мнения об «Обломове»: «Неужто вы желаете помянуть добрым словом Обломова? „Россию погубили два Ильича“, — так, что ли?» (*Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. III. С. 65—66*).

² Пришвин М. М. Незабудки. М., 1969. С. 233—234.

сочетающиеся при этом с верой в их реальную данность в действительности».¹

Отношение к статье Добролюбова меняется постепенно. Сначала это выражается в очень осторожной, с непременными оговорками, форме; так, признавалось, что критик «выделяет и возводит в политический принцип лишь один пласт — воплощение в образе Обломова крепостнических отношений», и затем следовало рутинное: «Такой анализ романа наиболее соответствовал исторической обстановке и программе революционных демократов. Добролюбовский Обломов, совпадая в своей сущности с образом гончаровского романа, и значительнее, и в то же время до некоторой степени уже этого последнего».² Потом стала звучать — косвенно и прямо, отчетливо, определенно — критика. Ю. М. Лошиц свою биографическую книгу «Гончаров» написал, можно сказать, в антидобролюбовском ключе, отвергнув обломовщину как злонамеренное изобретение «немца» Штольца, подхваченное радикальной, в основе своей антирусской, критикой. В. А. Недзвецкий констатировал негативные последствия догматического следования концепции Добролюбова: «Прочтение „Обломова“ с позиций революционной демократии приносило <...> лишь частичный успех. Не учитывалось глубокое своеобразие миропонимания Гончарова, его отличие от добролюбовского. Многие в романе при этом подходе становилось непонятным» (*Недзвецкий*. С. 40). А. М. Штейнгольд отдала явное предпочтение концепции А. В. Дружинина, которую рассматривала как полемический ответ Добролюбову: «Статья Дружинина, казалось бы, не ориентирована на возражение „Современнику“ и его главному критику, но она так очевидно противостоит добролюбовской не только кругом идей и выводов, но по жанру, заголовку, композиции, отбору материала, стилю, что возникает вопрос, не полемичны ли сознательно все эти элементы».³

Обломовщина в романе, несомненно, более всего связана с историей и бытом Обломовки и главным персона-

¹ Цит. по: *Орнатская Т. И.* Трилогия И. А. Гончарова и «Фрегат „Паллада“» // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 325.

² *Бурсов Б. И.* О национальном своеобразии и мировом значении русской классической литературы // *РЛ*. 1958. № 3. С. 84.

³ *Штейнгольд А. М.* Из истории русской критики: (Возможность и границы полемики) // *РЛ*. 1994. № 1. С. 45.

жем произведения, хотя семантика «странного», «ядовитого», «жалкого» слова этим отнюдь не исчерпывается и явно тяготеет к экспансии.

Но характер главного героя романа ни в коей мере не является иллюстрацией к этому очень емкому и многосоставному слову-понятию и тем более к тому конкретному объяснению, которое обломовщина получила в статье Добролюбова. Осмысление романа и истории Обломова в XX в. (а отчасти уже и в XIX в.) шло по пути постепенного, но неуклонного освобождения от гипноза положений-лозунгов статьи «Что такое обломовщина?», от обломовщины — к Обломову.¹ Эта господствующая тенденция присутствует в ранее приведенной дневниковой записи М. М. Пришвина, которую стали охотно цитировать во второй половине XX в. Еще чаще (это даже стало почти обязательным в литературе о Гончарове) современные исследователи обращаются к словам М. М. Бахтина об «исключительной человечности идиллического человека Обломова и его „голубиной чистоте“».² О «голубиной чистоте» и «сердце» Обломова, тех свойствах его натуры, которые никакого отношения к обломовщине не имеют, по

¹ Полемика со статьей Добролюбова присутствует и во многих зарубежных исследованиях романа. Так, Л. Штильман считает мнение критика слишком узким, не учитывающим психологических и психических обстоятельств: «В случае с Обломовым ясно, что не отсутствие достойной цели ответственно за его пассивность. Утверждение Добролюбова, что при других социальных условиях Обломов бы нашел себе полезное применение, чистое предположение. (...) Человек может лениться не только в крепостническом обществе, рантье в свободном капиталистическом мире могут вести такую же жизнь, как Обломов. Нельзя доказать, с другой стороны, что Обломов стал бы работать, если бы обстоятельства его к этому принудили... Он имеет больше общего с невротическими личностями нашего времени, чем с романтическими искателями приключений, разочарованными Дон Жуанами или потенциальными общественными реформаторами — своего» (*Stilman L. Oblomovka Revisited // The American Slavic and East European Review. 1948. Vol. 7. P. 62—63*). Полемизирует с Добролюбовым, хотя и совсем в другой плоскости, и Ф. Рив: «Обломовщина — не только психологический консерватизм, бегство от реальности, но и комплекс невзросления с соответствующей идеализацией инфантилизма, знак восточного фатализма. Обломов не хочет быть (...) участником исторического процесса, он отражает настроение многих русских, которые думают, что личное вторжение в течение событий бесполезно и даже глупо» (*Reeve F. D. Oblomovism Revisited // The American Slavic and East European Review. 1956. Vol. 15. N 1. P. 114*).

² Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 383.

преимуществу и будут размышлять исследователи романа во второй половине и — особенно — на исходе трагического, ознаменовавшегося невиданными разрушительными войнами и революциями двадцатого столетия. Обломов нередко ими противопоставляется обществу, и это противопоставление носит не временный и не классовый (сословный), а вечный, глубокий, экзистенциальный характер. Н. О. Лосский обращает внимание на то, что Гончаров изобразил обломовщину «в той ее сущности, в которой она встречается не только у русского народа, но и во всем человечестве», и что «обломовщина есть во многих случаях оборотная сторона высоких свойств русского человека — стремления к полному совершенству и чуткости к недостаткам нашей действительности».¹ Р. Поджиоли интерпретирует историю Обломова в последней ее идиллической стадии в юнгианском свете: «Гончаров обнаруживает такое понимание „существа жизни“, которое, может быть, особенно привлекательно для читателя, хорошо знакомого с идеями современной „глубинной психологии“ и поэтому способного признать в этой фазе жизни Обломова осуществление вечно детского стремления вернуться в материнское лоно».² А Вс. Сечкарев приходит к выводу, что к концу романа «метафизическая его сущность выявляется так мощно, что любые социальные значения оказываются ей соподчиненными».³ Свою попытку осмысления идеала и «нормы жизни» Обломова предлагает А. А. Фаустов. Отмечая «многоликость обломовской „практики“ покоя», он обращает, в частности, внимание на то, что «в обломовском покое есть и тот тайный, артистический смысл, который в обыденной жизни растворен в сладостной неге. Задумчивость, квинт-эссенцией которой в романе служит вечернее, закатное состояние (в отличие от других идиллических чувствований — уединенное), — это некий мост, ведущий от гедо-

¹ Лосский Н. О. Характер русского народа (1949) // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра; Основы этики; Характер русского народа. М., 1991. С. 271.

² Poggioli R. The Phoenix and Spider // A Book of Essays about some Russian Writers and their View of the Self. Cambridge: Harvard University Press, 1957. P. 43. См. также: Baratoff N. Oblomov. A Jungian Approach: A literary Image of the Mother Complex. Bern, 1990.

³ Sechkarev V. Ivan Goncharov: His Life and his Works. Würzburg, 1974. P. 152.

нистического переживания к ценностному».¹ О духовном наполнении «покоя» в романе размышляет В. А. Котельников: «В Обломове телесно-чувственный покой восходит к покою душевному и далее — к покою духовному, к области надприродного покоя, где возможно достижение абсолютного блага. Тот же внутренний порядок, только в уменьшенно-отраженном виде, присущ образу Ольги».² Идеал Обломова, отмечает Икуо Ониси, разделяет его с обществом «других» самым радикальным образом: «Общество, изображенное в „Обломове“, то есть состоящее из „других“ и иногда угрожающее существованию самого Обломова, представляет собой что-то смутное и неопределенное, как кошмар. И будучи таким смутным, как кошмар, оно освободилось от исторической и местной конкретности и превратилось в „общество вообще“. И этот образ общества, соединясь с символическим изображением героя, формирует представление об отчужденности индивидуума от общества. В „Обломове“ изображается трагедия отчужденности столь глубокой, что роман, может быть, имеет вечное значение».³

В историко-временной перспективе движение от обломовщины к Обломову, проникновение в глубинные эстетические, психологические и духовные пласты великого и многоликого романа Гончарова восходит прежде всего к статье А. В. Дружинина, к его вдохновенной апологии героя романа: «Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая натура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он дорог нам по истине, какою проникнуто все его создание, по тысяче корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвою.

¹ Фаустов А. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека. Тарту, 1990. С. 15.

² Котельников В. А. «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // РЛ. 1994. № 1. С. 30—31.

³ Икуо Ониси. Об одной стилистической особенности в романе «Обломов»: Деталь и образ героя // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 276.

И наконец, он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному» (*«Обломов» в критике*. С. 125).

6

В первом же отклике на печатающийся в «Отечественных записках» роман Гончарова «Обломов» провинциальный корреспондент журнала,¹ восхищаясь созданным писателем образом Ольги Ильинской, противопоставлял гончаровскую героиню появившимся в жизни и в литературе безусловно «под влиянием Жоржа Занда» «эмансипированным женщинам».² И хотя, по его мнению, Ольга была «неизмеримо выше» всех этих эмансипированных образцов женственности, сам факт такого сопоставления свидетельствовал об определенных читательских ожиданиях и зависимости восприятия любовных отношений в романе от проблематики, традиционно обозначаемой как «женский вопрос».

В литературно-общественную жизнь Европы женский вопрос вошел в эпоху Великой Французской революции, когда возникла необходимость пересмотра существующих отношений полов и нового осмысления роли женщины

¹ *Соколовский Н.* По поводу романа «Обломов»: (Письмо к редактору «Отечественных записок») // *«Обломов» в критике*. С. 25—34. Более подробно об этой статье см. ниже, с. 299—301. Ср. также: «Многие критики и читатели придерживались подобной позиции, считая Ольгу символом пробуждающейся России. Читатель Н. Соколовский написал пространное письмо в „Отечественные записки“, называя Ольгу „многообещающим наставником молодого поколения“. Это письмо (...) было опубликовано еще до появления статьи Н. Добролюбова, тем не менее в нем дан схожий анализ обломовщины и Ольга названа идеалом» (*Магд-Созн К. де. Эмансипация женщин в России: Литература и жизнь*. Екатеринбург, 1999. С. 91).

² Смысл этого понятия автор раскрывал в другой своей статье: «Скакать как берейтор, курить как солдат, выражаться свободно до того, что в иной раз и самый незастенчивый собеседник не найдет ответа, вести себя как куртизанка, не обращать внимания на мелочи (как думают многие) жизни, то есть на свои обязанности как матери, дочери, жены, — вот что с разными вариациями долгое время считалось за идеал эмансипированной женщины» (*Соколовский Н.* Наша женская литература последнего периода // *Светоч*. 1860. Кн. 12. Отд. «Критическое обозрение русской литературы». С. 20).

в жизни нации. В лице Жермены де Сталь («Коринна, или Италия», «Размышления о роли страстей в жизни личной и общественной») предромантическая литература отказалась признавать зависимость чувств женщины от рациональных установок классицизма.¹

Эпоха войн на некоторое время оттеснила женскую тему на периферию культурного процесса, но 1830-й год, ознаменованный вспышкой революций по всей Европе, вновь обострил интерес общества к этой проблеме. Начавшись активной критикой брака,² полемика по «женскому вопросу» быстро разрасталась, и вскоре связанный с этим понятием круг проблем заметно расширился. Главными идеологами эмансипации выступили французские социалисты К.-А. Сен-Симон, Ш. Фурье, П. Леру. Свободу женщины они связывали с реформой брака и новой концепцией любви, что, по их мнению, должно было привести к неизбежному переустройству общества в целом.

В начале 1830-х гг. состоялся литературный дебют Жорж Санд, раннее творчество которой целиком посвящалось воспеванию женщины и нового, более демократичного типа любовных отношений. «„Indiana“ и „Valentine“ появились в печати в 1832 году, „Lelia“ — годом позже. {...} Проповедь безграничной свободы чувства, любви, увлечения, провозглашение полной независимости женщины от всяких уз, ставящих ее в подчиненное положение по отношению к мужчине, проповедь освобождения женщины от всех оков, выкованных для нее на великой наковальне истории, — эта проповедь, — пишет исследователь истории „женского вопроса“ в России, — была так обаятельна и перспективы, открываемые ею, так

¹ Наиболее полное изложение взглядов на классическое воспитание девиц и социальный статус женщины эпохи классицизма представлено в трактате Ф. Фенелона «De l'Education des filles» (1697; рус. пер. (кроме переводов XVIII в.): О воспитании девочек (Рус. пед. вестн. 1857. Т. 1, № 4; Т. 2, № 5, 8; 1858. Т. 4, № 8; Т. 5, № 10)).

² «В последнее время в Европе, или, лучше сказать, во Франции (а это почти одно и то же) глухо начал раздаваться какой-то ропот против священнейшего гражданско-религиозного установления — брака; начали обнаруживаться какие-то сомнения насчет его законности и даже необходимости; теперь этот ропот превратился в какой-то неистовый вопль, а сомнения начали предлагаться во всеуслышание в виде какой-то аксиомы», — писал В. Г. Белинский в 1835 г. (Белинский. Т. I. С. 404).

заманчивы, что жоржзандовские идеи быстро завоевали почти всеобщие симпатии на Западе, проникли затем в Россию и встретили горячее сочувствие в интеллигентных слоях русского общества. (...) Именно под влиянием Жорж Занд Белинский резко и определенно высказал неоспоримое в настоящее время положение, что отношения между полами должны основываться не только на взаимной любви, но и на взаимном уважении друг к другу. (...) Именно под влиянием Жорж Занд русская литература сороковых и шестидесятых годов отнеслась очень внимательно и отзывчиво к женщине и женскому вопросу».¹

Зависимость мировоззрения русских образованных людей, духовное созревание которых пришлось на 1830—1840-е гг., от программы французских социалистов и творчества Жорж Санд давно доказана литературоведами и историками отечественной культуры.² Но наряду с мощным импульсом из Франции русская интеллигенция испытывала влияние и немецкой предромантической литературы (Гете, Шиллер), а также «самобытно воспринятой философии» Фихте, с его метафизической концепцией любви «как источника и главного двигателя жизни»,³ близкого к этой концепции положения Ф. Шеллинга, согласно которому «любовь есть связь всего сущего»,⁴ и доктрины Гегеля, в чьих представлениях о деятельности идеалистами 1830-х гг. было найдено спасительное сред-

¹ Бразоленко Б. Русская женщина в жизни и литературе: Лекции по истории и литературе // Народный университет / Издание «Вестника знания». СПб., 1908. № 7—8. С. 32—33.

² См.: Милюков П. Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1903; Гершензон М. О. 1) История молодой России. М., 1908; 2) Материалы по истории русской литературы и культуры: Русская женщина 30-х годов // Рус. мысль. 1911. № 12; 3) Образы прошлого. М., 1912; Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина: Из истории русского романтизма. М., 1915; Комарович В. Л. Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского // Венок Белинскому. М., 1924; Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971; Herrman L. George Sand and the Nineteenth-Century Russian Novel: The Quest for a Heroine. Athens, 1980; Кафанова О. Б. 1) Легенды о Жорж Санд в русской литературе XIX века // РЛ. 1998. № 1. С. 53—83; 2) Жорж Санд и русская литература XIX века: (Мифы и реальность). 1830—1860. Томск, 1998.

³ Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 49, 79.

⁴ Шеллинг Ф.-В.-Й. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 73. См. также: Сахаров В. И. О бытовании шеллингианских идей в русской литературе // Контекст 1977. М., 1978. С. 210—226.

ство от собственной умозрительности и романтического отчуждения.¹

Напряженный поиск вариантов решения «вопроса о любви», осознаваемого как фундаментальная этическая проблема («Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье» — наст. изд., т. 4, с. 203), попытка художественного изображения нового идеала женственности в лице Ольги и программа нового типа мужественности в лице Штольца, главным качеством которого являлась как раз способность к деятельности, свидетельствовали о большей степени вовлеченности Гончарова в интеллектуальную жизнь его эпохи, чем принято считать. Однако восприятию поставленных в романе вопросов как философских препятствовал творческий метод писателя, уводивший философскую проблематику от ее исходных теоретических формулировок. Философские модели в художественном пространстве «Обломова» теряли свойственный им признак абстрактности, так как разворачивались вне поля высказывания: под видом того или иного мотива они входили в сюжет романа, трансформировались в насыщенные символическим значением детали, учитывались при создании образов и при построении различных типов локуса (Обломовка/Выборгская сторона, Петербург/Верхлёво, Швейцария/Крым).²

¹ Об этом, а также о влиянии на людей 1830—1840-х гг. левогельянской «философии дела» см.: *Шукин В. Г.* Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление. *Kraków*, 1987. С. 46—51, 74—77; *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. С. 56; ср.: *Егоров Б. Ф.* В. П. Боткин — литератор и критик: Статья первая // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1963. Вып. 139. С. 28—32. (Труды по русской и славянской филологии; Т. 6).

² В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) Гончаров, сетуя на свою славу «живописца», прямо говорил о недооценке идейно-философской стороны его произведений: «Эти похвалы имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей *живописи*, за которую меня особенно хвалили, найдены были те идеи и вообще всё то, что, сначала инстинктивно, потом, по мере того как подвигались мои авторские

Идеи, определившие «простые, несложные события» романа, восходят к социально-философской полемике, которую вели «небольшие кружки тогдашней интеллигенции».¹ В годы написания «Обломова» (1855—1858) Гончаров наиболее близко сошелся с одним из таких кружков, группировавшимся вокруг «Современника». Здесь господствовали философско-эстетические категории, сформулированные еще при жизни Белинского, который придавал большое значение вопросу о женских правах. Гончаров придерживался собственного (более трезвого и осторожного, чем у друзей критика) взгляда на крайне деликатные вопросы «женской свободы». Наибольшие сомнения вызывало у него творчество Жорж Санд, бывшей, по свидетельству современника, «евангелием» литературного кружка.² Впоследствии в «Заметках о личности Белинского» (1873—1874) Гончаров описал один из споров, разгоревшийся вокруг романа «Лукреция Флориани». Героиню его, «женщину, которая настолько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников», писатель отказался «признавать „богиней“». Высказывая несогласие с апофеозом Лукреции Флориани, он дал свое понимание женской эмансипации: «Белинский, конечно, вдавался в очевидную натяжку, допуская не только снисхождение, но, при суждая, так сказать, венок женщине, которая смело оторвется от моральных и материальных уз, какими связана была, и — я полагаю — во многом будет связана, — то есть сама не позволит развязать себя, когда наступит отрезвление от горячки так называемого женского вопроса и когда последний вступит в фазис покойной и разумной обработки».

Гончаров не принимал не только главную героиню романа, но и тенденциозный, вредящий таланту писательницы творческий метод, в котором «идея нередко выска-

работы вперед, заметно для меня самого укладывалось в написанные мною образы, картины и простые, несложные события».

¹ Рассуждая об эпохе, когда «Россия доживала век петровских реформ — и ждала новых», Гончаров писал: «Что-то пронеслось новое и живое в воздухе, какие-то смутные предчувствия, потом прошли слухи о новых началах, преобразованиях; обнаружилось движение в науке, в искусстве; с профессорских кафедр послышались живые речи. В небольших кружках тогдашней интеллигенции смело выражалась передовыми людьми жажда перемен. Их называли „людьми сороковых годов“» (там же).

² Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 174.

зывалась помимо образа». По глубокому убеждению писателя, «художник перестает быть художником, как скоро он станет защищать софизм» (статья «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“», 1876), а воспринятая в качестве «очевидной натяжки» сюжетная коллизия «Лукреции» останется для него «еще не бывалым положением для женщины» (см. письмо к Е. П. Майковой от апреля 1869 г.) и десять лет спустя после написания «Обломова», в эпоху завершения «Обрыва».

Творческие принципы Жорж Санд явно диссонировали с убеждениями Гончарова-реалиста, оценившего тем не менее художественные достоинства ее стиля. «Я с большим удовольствием прочел „Лукрецию Флориани“, наслаждаясь там вовсе не ее (Жорж Санд) тенденцией освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецию, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой, заметке, и до сих пор смотрю так на Жорж Занд и наслаждаюсь всем этим независимо от ее задач», — писал он.¹

¹ Ср.: «Для Гончарова Жорж Занд не имела той притягательной силы, которая взволновала все его поколение; он ценил ее художественный талант, но не ставил выше всего ее идей; другие образцы отвечали требованиям трезвого реалистического описания — Диккенс и Бальзак» (*Веселовский А.* Западное влияние в новой русской литературе. М., 1916. С. 229—230). Несмотря на некоторые основания к сближению первоначального любовного сюжета «Обломова» с романами французской писательницы (см. об этом ниже, с. 267), в литературе об «Обломове» этот роман ни разу не сопоставлялся с произведениями Жорж Санд; сопоставления всегда относились либо к «Обыкновенной истории», которая сравнивалась с «Проступком господина Антуана» и «Орасом», либо к «Обрыву», сравнивавшемуся с романами «Мопра», «Консуэло», «Валентина» (см.: *Мазон Р.* 317; *Кулешов В. И.* Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). М., 1965. С. 234—238; *Пиксанов Н. К.* Женские образы в «Обыкновенной истории» Гончарова // Романтики и реалисты: (Статьи о русской и зарубежной литературе XIX и XX вв.). Краснодар, 1970. С. 82—107. (Науч. труды Краснодар. пед. ин-та; Вып. 121); *Hermann L. S.* «Woman as hero» in Turgenev, Goncharov and George Sand's «Mauprat» // *Ulbandus Revue*. 1979. Vol. 2, N 1. P. 128—138; *Алтышуллер М.* Нигилист Кирилин в романе Болеслава Маркевича «Типы прошлого» и Марк Волохов И. А. Гончарова // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 347—351; *Мельник 1995*. С. 129—146; *Ковалев О. А.* «Чужой» сюжет в романе И. А. Гончарова «Обрыв» // Проблемы межтекстовых связей: Сб. науч. статей. Барнаул, 1997. С. 48—53; *Кафанова О. Б.* Жорж Санд

Консерватизм писателя, восходивший к отрицавшей крайние проявления страсти этике Просвещения,¹ также являлся немаловажной причиной его сопротивления «жоржзандизму». По меткому определению И. Ф. Анненского, «Гончаров — неизменный здравомысл и резонер» («Обломов» в критике. С. 222); его интересуют не отклонения, а нормы: «норма любви», брак как «законный исход страсти» и «покойная и разумная обработка женского вопроса». В «Обломове» слышны отголоски наиболее значимых для поколения 1830—1840-х гг. представлений об отношениях полов («...любовь, с силою архимедова рычага, движет миром...» — наст. изд., т. 4, с. 448), но семейный кризис Штольцев разрешался Гончаровым не в духе этих представлений, а в духе антропологического гуманизма Руссо: отказавшись от «дерзкой борьбы с мятежными вопросами», «смирненно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье, и...» (там же, т. 4, с. 461).

За эти слова герой Гончарова был подвергнут жесткой критике слева. Уже Добролюбов, чрезвычайно высоко оценивший образ Ольги, предсказывал, что она уйдет от Штольца, коль скоро «вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы — принять их как новую стихию жизни и склонить голову» («Обломов» в критике. С. 68), в дальнейшем же количество негативных оценок этой сцены намного увеличилось.² Между тем поучения Штольца Ольге сопоставимы с поучениями Ментора новобрачным Эмилю и Софии: ведь именно

и русская литература XIX века: (Мифы и реальность). С. 193—197, 226—227; *Недзвецкий В. А.* Гончаров и Жорж Санд: («Обрыв» и «Мопра») // *Гончаров. Материалы 1998*. С. 207—218).

¹ См.: *Тихомиров В. Н.* К вопросу о взаимодействии просветительства и романтизма в реализме И. А. Гончарова // *Проблемы романтического метода и стиля*: Межвуз. сб. Калинин, 1980. С. 49—59; *Мельник Т. В.* И. А. Гончаров и французские просветители: (Вольтер и Руссо) // *Гончаровские чтения 1994*: Сб. статей и докладов. Ульяновск, 1995. С. 62—71; *Краснощекова*. С. 260—277; *Беспалова Е. К.* И. А. Гончаров и симбирские масоны: (К вопросу о реалиях очерка «На родине») // *РЛ*. 2002. № 1. С. 124—135.

² «Современники Гончарова обличали холодный практицизм Штольца. {...} Они абсолютизировали социальный аспект образа и игнорировали все другие, в том числе связанные с просветительской проблематикой («русский Эмиль», соединивший в себе «ум» с «сердцем»: в сфере первого Штольц противостоит Обломову, в сфере второго — совпадает с ним)», — пишет Е. А. Краснощекова (*Краснощекова*. С. 275).

способность «сдерживать сердце» в пределах, поставленных ему природой, являлась для Руссо не признаком конформизма, а мерой человечности («Будь человеком — удерживай свое сердце в тех пределах, какие поставлены ему природой. Изучай и познай эти пределы; как бы ни были они тесны, человек не чувствует себя несчастным, покамест он в них заключен; он становится несчастлив, лишь когда пытается их преступить; он бывает несчастен, когда, отдаваясь безумным желаниям, почитает возможным то, что по существу невозможно, он бывает несчастен, когда забывает, что он человек, и воображает себя каким-то сверхъестественным существом, а затем, утратив иллюзии, сознает, что он лишь человек»)¹. Этическая позиция Гончарова близка этим утверждениям Руссо (ср. письмо к С. А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 г., где писатель проводил отчетливую черту между «не человеческой» любовью, предметом которой должен быть Бог, и земным чувством к женщине: «Не забывайся, человек, и не надевай божескую рясу на себя! Если не будешь очень скверен — и то слава Богу!»). Направление предпринятой Гончаровым полемики становится понятным с учетом просветительской программы разумного счастья как высшей и единственной цели человечества.

Влияние просветительской модели отразилось и на главном герое романа — Обломове в его отношении к Ольге и Агафье.² Как известно, именно Руссо в своей «Исповеди» установил традицию трактовать чистую любовь и любовь физическую как два разных чувства, которые могут переживаться одновременно и испытываться к разным объектам. Чувство Жан-Жака к мадам де Варан («Я слишком любил ее, чтобы желать...»³), как и чувство Обломова к Ольге, может испытывать только интеллектуальный мечтатель. Тем не менее отношения с мадам де Варан оканчиваются разрывом, а связь с некрасивой и почти неграмотной служанкой Терезой Лавассер, с которой Руссо семейным образом прожил четверть века, пере-

¹ Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 665 (кн. V: София, или Женщина).

² Высказывалось предположение о типологическом сходстве сюжетной линии Обломов—Агафья с коллизией опубликованного в «Отечественных записках» (1845) рассказа Л. Гозлана «Кухарка» (см.: Мельник 1995. С. 88—93).

³ Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 175.

растает в конце концов в официально оформленный брак. «В „Исповеди”, — пишет Л. Я. Гинзбург, — Руссо говорит, что к этой женщине, без которой он не мог обойтись, он никогда не испытывал ни любви, ни даже чувственного влечения. Отношения с Терезой — это тоже своего рода парадокс, ибо складываются они из двух элементов, казалось бы, несовместимых. С одной стороны, самое бездушное — „потребности пола, не имевшие в себе ничего индивидуального”. И одновременно — самое задушевное: неодолимая потребность в сердечной привязанности».¹ И для «рационального» Штольца, и для «сердечного» Ильи Ильича Обломова предложен, таким образом, общий руссоистский «код», но для первого — это код педагогического трактата «Эмиль»,² для второго — сложный и противоречивый семиозис «Исповеди».

* * *

Ольга Ильинская описывается по законам канона красоты, утвержденного немецкими просветителями. В свое время указывалось на соотнесенность портрета героини с эстетикой И. Винкельмана;³ ориентация на шиллеровский идеал естественно нравственной женской натуры, отличительным признаком которой являлась грация,⁴ оказалась более скрытой. В известной статье «О грации и достоинстве» (1793) Шиллером была определена разница между заложенной от природы красотой строения (архитектонической красотой) и красотой, «которая не дана природой, но создается самим ее субъектом», или грацией, являющейся отражением прекрасного духовного мира женщины. «Архитектоническая красота делает честь творцу природы, грация, изящество — своему носителю. Первая есть дар, вторая — личная заслуга».⁵ Грация проявляется только в движении, так как только в движении отражается в чувственном мире жизнь духа: «...где имеет место

¹ Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 239.

² Ср. с наблюдениями, сделанными Е. А. Краснощековой в главах «Илюша как Анти-Эмиль» и «Воспитание по Руссо (детство—отрочество Андрея)»: Краснощекова. С. 260—277.

³ См. об этом выше, с. 188.

⁴ См. об этом у П. Тиргена, анализирующего влияние эстетики Шиллера на «авторский замысел романа „Обломов”» (Тирген. С. 27).

⁵ Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. VI. С. 127.

грация, там движущим началом является душа, и в ней кроется причина красоты движения».¹

С самого начала романа Ольга (которая «в строгом смысле не была красавица»), описывается и характеризуется Гончаровым через движение: «Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шее; двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо...» (наст. изд., т. 4, с. 192); в дальнейшем повествователем постоянно подчеркивается и особая, неотъемлемая от нее грациозность жеста:² «Она так грациозно оборотилась к нему» (там же, с. 211); «В глазах прибавилось света, в движениях грации» (там же, с. 238) и т. д. В отличие от Обломова, лежание которого «было его нормальным состоянием» (там же, с. 6), Ольга находилась в постоянном движении («в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха», — там же, с. 453), в сценах же, где фигура героини была вынужденно статична (за столом, за роялем, на скамье в парке), движение переходило на мимически активное лицо Ольги — у нее асимметричные, «говорящие брови» (там же, с. 367), маленькая «складка на лбу» (там же, с. 400), легко вспыхивающие «двумя розовыми пятнышками» щеки и губы, то сжатые, то расцветающие улыбкой, которую «можно читать как книгу» (там же, с. 198, 207 и след.).³

Код Ольги наиболее сложен, так как зависит от множества факторов (программного — идеальная героиня, ролевого — возлюбленная Обломова, потом жена Штольца, морально-эстетического — новый тип женственности). Поставленный в романе и связанный, в первую очередь, с образом героини вопрос о «праве на ошибку» является показательным примером полисемичности этого

¹ Там же. С. 119.

² Ср.: «...Шиллер различает „деятельный дух“ как положительный импульс и „бездеятельную душу“, не обладающую силой формирования. Живой и деятельный дух облагораживает тело, придает ему законченную форму и индивидуальность, в идеальном случае даже грациозность. Первое относится к Штольцу, обладающему стройным телом и выразительной физиономией. Грация же становится лейтмотивом в описаниях Ольги» (*Тирген*. С. 27).

³ Напомним, что ее антагонистка Агафья Матвеевна Пшеницына — обладательница белого, безбрового лица с единственным застывшим на нем выражением и усмешкой, являющейся «больше принятой формой».

образа. В переломный момент своей жизни Ольга больше всего терзалась ошибкой в выборе возлюбленного: до сих пор идеальной литературной героине полагалось любить только один раз и верить, что «сердце не ошибается» (там же, с. 419). Факты из жизни гончаровской героини явно противоречили этой максиме: «Она порылась в своей опытности: там о второй любви никакого сведения не отыскивалось. Вспомнила про авторитет теток, старых дев, разных умниц, наконец, писателей, „мыслителей о любви“, — со всех сторон слышит неумолимый приговор: „Женщина истинно любит только однажды“» (там же, с. 407).

Вопрос о праве женщины (и тем более девушки) на любовную ошибку не обсуждался в России 1840—1850-х гг. Русская литературная традиция опиралась на жесткие этические нормы, в соответствии с которыми любовный опыт вне брака расценивался как недопустимый. Ошибка в выборе возлюбленного («К беде неопытность ведет») воспринималась как непоправимое несчастье, которое приводило либо к гибели героини, либо к ее беспрекословному осуждению со стороны общества. В зависимости от тяготения сюжета к одной из означенных позиций литературные произведения обретали большую или меньшую степень драматичности.

Первая попытка нивелировать конфликт между свободой чувства и предписаниями долга в Европе была принята еще в эпоху просветителей. Затем эта проблема вновь актуализировалась в общественной жизни Франции 1830-х гг. Право на любовь до брака широко обсуждалось как в художественной литературе, так и в публицистике. Подводя итоги, Бальзак в «Физиологии брака» писал: «Угодно ли вам узнать всю правду? Откройте Руссо, ибо нет такого вопроса общественной морали, о котором он бы не сказал хоть несколько слов. Читайте: „У народов нравственных девицы покладисты, а замужние женщины недоступны. У народов безнравственных дело обстоит противоположным образом“.

Из этой глубокой и правдивой мысли вытекает, что число несчастливых браков уменьшилось бы, если бы мужчины женились бы на своих любовницах. (...) оплошность девицы даже и проступком не назовешь в сравнении с грехом замужней женщины. В таком случае разве нельзя утверждать, что куда безопаснее предоставлять

свободу девушкам, нежели давать волю мужним женам? <...> Многие девицы будут обмануты в своих надеждах; не такой воображали они любовь!.. Но разве не бесконечным благом станет для них возможность не связывать себя узами брака с человеком, которого они были бы вправе презирать?

Да погибнет добродетель десяти дев, лишь бы пребыл незапятнанным священный венец матери семейства!».¹

Гончаров был первым русским писателем, откликнувшимся на эту тему и разработавшим ее в более осторожной форме. «Ошибка» Ольги анализировалась им подробно и обстоятельно. Являясь на протяжении романа в нескольких интерпретациях (обломовской — «...ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая...» (наст. изд., т. 4, с. 251), самой Ольги — «Зачем... я любила?» (там же, с. 411), Штольца — «сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина: в этом вы ошибались оба!» (там же, с. 392), наконец, повествователя — «такие женщины не ошибаются два раза» (там же, с. 464)), она становится одним из значимых мотивов в романе.

Постоянное педалирование Гончаровым этой темы можно попытаться объяснить стремлением оправдать заблуждение идеальной героини, но главным образом лейтмотив ошибки понадобился писателю, чтобы провести мысль о праве женщины искать и найти свой «идеал мужского совершенства» (там же, с. 464), исходя из личного опыта. Из недопустимых, с точки зрения ходячей морали, поступков Ольги (таких как свидание в Летнем саду или визит к Обломову на Выборгскую сторону) Гончаровым делался смелый и нетрадиционный вывод. Ольга не становилась жертвой собственных заблуждений. Напротив, по мнению писателя, все проступки его героини должны были послужить ей не во зло, а во благо, так как ее отношения с Обломовым являлись той школой чувств, после которой героиня была навсегда защищена от «случайного увлечения» и слепых «женских страстишек» (там же, с. 464).

¹ Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М., 1997. Т. I. С. 84—85; ср.: «Для девушки гораздо большее нарушение стыдливости — лечь в одну постель с человеком, которого она видела два раза в жизни, после того как в церкви сказали три слова по-латыни, нежели невольно уступить человеку, которого она обожает уже два года» (Стендаль. О любви // Собр. соч.: В 5 т. М., 1995. Т. III. С. 257).

«Терзания» Ольги в разумно-счастливым браке со Штольцем относились к гораздо более распространенной, чем «право на ошибку», литературной традиции, а именно к теме утраты женственности вследствие чрезмерного развития интеллекта: «Что если этот ропот бесплодного ума или, еще хуже, жажда не созданного для симпатии, не-женского сердца! Боже! Она, его кумир — без сердца, с черствым, ничем не довольным умом! Что ж из нее выйдет? Ужели синий чулок!» (там же, с. 456). Проблематика, восходящая к известному пушкинскому: «Не дай мне Бог сойтись на бале / Иль при разъезде на крыльце / С семинаристом в желтой шале / Иль с академиком в чепце!» («Евгений Онегин», глава третья, строфа XXVIII), — затрагивалась во многих произведениях русской литературы (достаточно вспомнить, например, постоянный разлад в семье молодых Багровых или несчастливый брак Круциферских) и была излюбленным типом конфликта в женской прозе, нередко являясь здесь одним из сюжетообразующих элементов.¹ В повести «Женщина», написанной близкой знакомой Гончарова Евг. П. Майковой, герой, оскорбленный внезапной переменой своей бывшей пылкой возлюбленной, превратившейся в холодную рассудочную резонерку, резюмировал спектр мнений по этому вопросу в следующих словах: «Женщина только тогда может нравиться, когда не походит на нас, мужчин. Она нравится своим сердцем, своей изящною чувствительностью. Мы не ищем в ней гениального ума, философии, обширных познаний: это педантизм; мы ценим ее сердце...».² «Говоря о развитии ума, — вторила Майковой автор статьи в «Журнале для воспитания», — я буду иметь в виду преимущественно взгляды мужчин на этот предмет. Нам нравится, говорят они, в женщине ум, но ум женственный {...} развивайте в женщине ум, но развивайте его так, чтобы он не жил на счет сердца; берегитесь пуще всего сделать его сухим и холодным».³ Приверженность общества к такой точке зрения констатировалась и в одной из статей Вал. Майкова: «Само собою разумеется,

¹ Первым таким произведением стала повесть Зенеиды Р-вой (Е. А. Ган) «Суд света», напечатанная в «Библиотеке для чтения» (1840. Т. 38) и получившая высокую оценку В. Г. Белинского.

² М...ва Е. Женщина // БдЧ. 1850. Т. 99. С. 174.

³ В-ва Н. Советы старушки матерям, имеющим дочерей: Статья первая // Журнал для воспитания. 1858. № 11. С. 290—291.

что жестокое обращение с женщиной, с успехами образованности делается у нас, как и везде, гнусным исключением. Но спрашивается: изменился ли у нас допетровский взгляд на ее значение? Как смотрят на жен своих мужья (...)? Лучше всего этот взгляд выражается в том, чего требуют иногда *образованные* господа от женщины. „Нужно, — говорят они, — чтоб женщина прежде всего была мила, чтобы в ней все было легко, игриво, грациозно, чтоб все в ней *нравилось* — и наружность, и ум, и чувство. Глубокого ума в женщине я не жалую: это мужское дело. Энергия ей тоже вредит: она тоже делает женщину мужчиной”. На основании такого взгляда возникла у нас даже целая теория, проповедующая, что достоинства женщины должны быть диаметрально противоположны достоинствам мужчины. Люди, придерживающиеся отчасти метафизического направления, основывают его на психологическом законе, по которому, как утверждают они, нам может нравиться только то, что противоположно нам самим. Таким образом, выходит, что если мужчина должен быть умен и силен, то женщина, наоборот, должна быть глупа и немощна. Но пусть бы так и думали наши мужчины: замечательно то, что русские женщины подчиняются этому взгляду и даже скандализируются всем, что с тем несогласно».¹

* * *

Вопрос о «женской свободе», которую, по замечанию Гончарова, следовало рассматривать «в числе всяких свобод», после смерти Белинского почти исчезает со страниц русской прессы. Так, например, статья Д. И. Мацкевича «Заметки о женщинах», опубликованная им в журнале «Современник» в 1850 г.,² прошла фактически незамеченной, а отклики на ее отдельное издание³ носили вполне рядовой характер.⁴ Настоящее оживление интереса

¹ Майков Вал. Н. Критические опыты. (1845—1847). СПб., 1889. С. 109—110.

² Мацкевич Д. Заметки о женщинах // С. 1850. № 3. Отд. VI. С. 52—70.

³ Мацкевич Д. Заметки о женщинах. Киев, 1853.

⁴ См.: «Кто не писал „Заметок о женщинах“ после Лабрюйера и Ларошфуко, которые писали заметки обо всем, а в том числе и о женщинах? Но Лабрюйер и Ларошфуко делали заметки более невыгод-

к «женскому вопросу» обнаруживается лишь в 1856 г., в эпоху начала правительственных реформ и ослабления цензуры. Инициатива исходила от журнала, в котором незадолго до того публиковались отдельные очерки из «Фрегата „Паллада“»: в январской книжке «Морского сборника» за 1856 г. была напечатана обширная статья Бёма «О воспитании». Статья открывалась предисловием «От Морского ученого комитета», предлагавшим открытую полемику всем заинтересовавшимся этой проблемой. Результат превзошел все ожидания, так как шквал откликов (более десятка в одном только «Морском сборнике» за 1856—1857 гг.)¹ скоро выплеснулся на страницы других периодических изданий («Отечественные записки», «Современник», «Атеней», «Сын отечества», «Светоч», «С.-Петербургские ведомости»), что, в конечном итоге, привело к образованию двух специальных журналов — «Журнала для воспитания» и «Русского педагогического вестника».² «В последнее время один из самых жи-

ные, чем выгодные для женщин; господина же Мацкевича вполне можно назвать защитником прекрасного пола по тому справедливому усердию, какое он высказывает в изображении прелестей сердца, воображения и характера женщин. {...} „Заметки о женщинах“ — не что иное, как букет, поднесенный всему прекрасному полу со стороны любезного автора» (ОЗ. 1853. № 8. Отд. V. С. 109); ср. также с отзывом в «Современнике» (С. 1854. № 9. Отд. IV. С. 30—32).

¹ Вопросы женского воспитания затрагивались в статьях: *Пирогов Н. И.* Вопросы жизни // Морской сборник. 1856. Т. 23. Неофиц. отд.; *Михайлов В. В.* Еще мысли о воспитании, по поводу статьи г. Бёма // Там же. 1856. Т. 24. Неофиц. отд.; *Валуев П. А.* Еще несколько мыслей о воспитании // Там же. 1857. Т. 28. Неофиц. отд.

² См.: *Х—ва А.* Письма к русским женщинам // Журнал для воспитания. 1857. № 1, 3; *А.* Жалоба женщины // С. 1857. № 5; *В—ая.* Отголосок на «Жалобу женщины» // Там же. 1858. № 1; *Аппельрот Г. Я.* Образование женщин среднего и высшего сословия // ОЗ. 1858. № 2; *Колмогоров.* Важность женского воспитания // СО. 1858. № 38; *Славинский П. Г.* 1) Общественная самостоятельность женщин: (По поводу статьи «Женский труд» в «Экономическом указателе», № 60) // СПбВед. 1858. № 55. 11 марта; 2) Еще и еще о женском труде // СПбВед. 1858. № 148. 9 июля; *Пальховский А.* Еще о женском труде: По поводу журнальных толков об этом вопросе // Атеней. 1858. Ч. 3. Май—июнь; *С—на А.* Мысли по поводу статей о женском воспитании // Рус. пед. вестн. 1858. Т. 4, № 8; Т. 5, № 10; *Р—ов И.* Женский труд // СО. 1859. № 21—23; *Шишкин Т.* Несколько слов о необходимости юридических познаний для женщин // Рассвет. 1859. Т. 3; *Михайлов М. Л.* Женщины: Их воспитание и значение в семье и обществе: (Посв. Л. П. Шелгуновой) // С. 1860. № 4, 5, 8; *Кривошапкин М.* Значение женщины // Светоч. 1860. Кн. 4. Отд. II.

вых вопросов нашей литературы есть вопрос о воспитании. Вслед за статьей г. Бёма явился разнообразный ряд исследований разных частных этого вопроса. Возникли два педагогические журнала. Даже наша публика, обыкновенно столь холодная к общим рассуждениям, читала с жаром статьи о воспитании. Важность этого вопроса сознается каждым, кто внимательно взглянул на настоящее и на будущее нашего общества», — писал участник этой полемики.¹

Одним из аспектов дискуссии о воспитании являлся вопрос о назначении женщины. Точкой отсчета в возможной деятельности женщины по-прежнему была семья: «Мать, безусловно принадлежащая семейству, имеющая и время, и возможность следить за каждым шагом ребенка, должна обречь себя этой семейной государственной службе; должна безропотно нести бремя, добровольно на себя наложенное, и твердо вкоренить в ребенка семена добродетели, — писал Вл. Михайлов. — (...) Вообще должно сказать, что от женщины же зависит наиболее и самое благосостояние целого общества. Влияние ее на человека никогда не прекращается, с первого до последнего часа. Если мужчина — сила, которая должна действовать, то женщина — примирительное или разрушительное влияние на эту силу».² Такая позиция не отличалась ни смелостью, ни новизной,³ но вопрос, как видим, ставился очень серьезно: женщина в роли воспитательницы отвечала за нравственный рост будущих поколений, несла «государственную службу», определяла перспективы духовного развития общества. Не случайно авторы посвященных «женскому вопросу» статей часто цитировали стихотворение Н. Ф. Щербины «Женщине», оно наиболее полно соответствовало существующим в это время представлениям об ее общественной роли: «Твое святое назна-

¹ Л. По поводу вопроса о воспитании: Критериум для направления нравственного воспитания // ОЗ. 1857. № 1. С. 119.

² Михайлов В. В. Еще мысли о воспитании, по поводу статьи г. Бёма. С. 68.

³ Ср.: «...нравственные судьбы мира не столько зависят от гражданских постановлений, не столько от воспитания умственного, сколько от нравственного влияния. Самое сильное из всех возможных влияний есть влияние матери. От характера матери зависят ум, добродетели и предрассудки народа; скажем более: на нем зиждутся и самые судьбы народов» (Призвание женщины / С англинского. СПб., 1840. С. 35).

ченье — / Наш гений из пелен приять, / Направить душу поколенья, / Отчизне граждан воспитать...».¹

Попытка внести изменения в традиционную сферу профессиональной женской деятельности («Женщина, говорят, кроме гувернантки и классной дамы, ничем не может быть. Это обвинение несправедливо: поле деятельности, открытое для женщины, очень велико, но они сами не хотят им пользоваться. Конечно, женщину не примут в кавалерию и даже вообще в военную службу (...). Чиновником женщина тоже не может быть; но, кроме этих двух занятий, разве мало других? Торговля, фабричное дело, сельское хозяйство, литература, поэзия, наука, преподавание, медицина, художества, сценическое искусство, пение, музыка, ремесла — вот уже, кажется, довольно большое число занятий, которые также доступны женщинам, как и мужчинам»²) была встречена на границе десятилетий скорее с недоумением, чем с протестом. Ответ журналистам, впервые заговорившим о предоставлении женщине более обширных профессиональных возможностей, был дан на страницах «Атеней», журнала, сохранившегося в библиотеке Гончарова (см.: *Библиотека*. С. 101. № 229). Напечатанная здесь статья А. Пальховского «Еще о женском труде: По поводу журнальных толков об этом вопросе» интересна в первую очередь тем, что предельно консервативная позиция ее автора аргументировалась при помощи многочисленных физиологических аналогий, взятых из животного мира, что было скорее в духе будущих нигилистов, чем славянофильски ориентированного автора статьи. В ней доказывалось, например, что назначение женщины (как самки) состоит в «сохранении вида», и поэтому только мужчина может содействовать общественному прогрессу непосредственно, тогда как женщина участвует в историческом процессе «посредственно, т. е. своими детьми». Вследствие такой логики вопрос о назначении женщины неизбежно возвра-

¹ *Шербина Н. Ф.* Избр. произв. Л., 1970. С. 176. («Б-ка поэта»; Большая сер.). Стихотворение было опубликовано в 1856 г. в журнале «Отечественные записки»; в связи с романом «Обломов» цитировалось в статье А. П. Милюкова (см.: «Обломов» в критике. С. 149).

² *М. В. Вернадская М. Н.* Женский труд // Экономический указатель. 1858. № 60; см. также первую из указанных выше статей П. Г. Славинского и статью: *Колмогоров*. О замене мужского труда женским // *СО*. 1859. № 2—4.

щался к «вопросу о воспитании»: «*Образованная мать* — вот наше спасение, наша панацея от всех общественных зол, от всей нашей безнравственности. Когда у нас будут *образованные матери*, тогда в последующем поколении исчезнут сами собой и взяточники, и казнокрады, и общественные паразиты, и вообще вся фаланга негодных граждан. До тех же пор самые большие усилия правительства и литературы далеко не будут успешны».¹

Начатая в 1858 г. дискуссия о женском труде продолжалась затем долгие годы. Взгляды на «женское дело» все более и более расходились, что привело, как известно, к образованию двух враждующих между собой направлений: «радикалов» и «консерваторов»; первые («Современник», «Русское слово») стояли за политическое решение «женского вопроса», вторые («Время», «Эпоха», «Светоч», «Русский вестник», «Вестник Европы») рассматривали общественную роль женщины в традиционном этико-философском аспекте.² Высказывались зачастую и в самом прямом смысле ретроградные воззрения;³ так, М. П. Погодин, размышляя о понятии «эмансипация», писал: «По смыслу, в котором у нас это слово употребляется, оно значит: допущение до равноправности, предоставление одинаковых прав. Каких же? Женщины должны иметь право быть судьями, командирами полков, профессорами, медиками, депутатами? Так ли? А кто же будет родить детей?»⁴

Автор «Обломова» вопрос о назначении женщины в его социально-детерминированном, «политическом» виде либо игнорировал, либо вообще перед собой не ставил. Ключ к решению проблемы писатель, как и многие

¹ Пальховский А. Еще о женском труде: По поводу журнальных толков об этом вопросе. С. 500; ср.: *Словцов*. Несколько замечаний на статью г. Пальховского // *СПбВед*. 1858. № 175. 12 авг.; *Без подписи*. Еще о женском труде А. Пальховского // *Рассвет*. 1859. Т. 3. Отд. «Русские периодические издания». С. 15, а также вторую из указанных выше статей П. Г. Славинского и статью Р—ова.

² Подробнее об этом см.: *Попова А. В.* Женский вопрос в русских журналах 60-х годов XIX века // *Взаимодействие творческих индивидуальностей русских писателей XIX—начала XX в.: Межвузовский сб. науч. трудов*. М., 1994. С. 151—160.

³ См., например: *Без подписи*. Несостоятельность женской эмансипации // *Домашняя беседа*. 1862. № 38. 22 сент.; *Без подписи*. Заметки литературного медиума: Женский вопрос в русской жизни и журналистике // *Петербургский листок*. 1866. № 8. 15 янв.

⁴ М. П. *Погодин М. П.* Эмансипация женщины // *Русский*. 1868. № 101. 12 нояб.

его современники, видел в реформе женского образования, но «вопрос о воспитании», по его мнению, был напрямую связан с «вопросом о любви». Он писал Майковым 20 июля (1 августа) 1860 г. из-за границы: «Вы там теперь лучше проводите время, открываете женские школы. Я не поверил одной Вашей фразе: „Не лучше ли, — пишете Вы (Евг. П. Майкова. — *Ред.*), — не затевать школ, а пусть женщина только понимает мужчину!” Не поверил я этому парадоксу и принимаю за маленькое кокетство женщины умной и образованной, которая просит комплимента, — вот он, извольте! Позвольте Вас спросить, как, посредством чего поняли Вы сами окружавших Вас мужчин и почему они поняли Вас? Почему и за что Вы полюбили и почему, за что были любимы сами? За доброе сердце, что ли? <...> любили и понимали Вас, кроме природных Ваших даров, и за школу. Я тоже решаюсь сказать, что недостаток школы в наших женщинах ослабляет отчасти привязанность и уважение к ним мужчин: в Англии, например, и в Сев(ерной) Америке женщина поставлена очень высоко, потому что она приготовлена к жизни почти как мужчина. Нет, слава Богу, что у нас проникла в общество эта мысль, — дай Бог, чтоб привилась, а не ослабела». Взгляды писателя, таким образом, во многом совпадали с общепринятой моралью конца 1850-х гг.: женщина рождена, чтобы создавать гармонию в обществе, чтобы воспитывать детей и содействовать просвещению народа.¹ Для того чтобы справиться с этой ролью, она должна быть нравственно и интеллектуально развита.²

¹ Эти убеждения Гончаров пронес через всю жизнь. С. А. Толстой в феврале 1877 г. он писал: «Одна <...> задача может и должна поглощать женщину-мать: няньки, гувернантки, лекаря, учителя — это всё есть, но это подставные лица. Настоящая, главная, безотлучная нянька, гувернантка, доктор, учитель, — словом, всё — это мать, и только мать. Она одна может только морально создать *людей* вторично, как создала их материально, и эта подготовка людей начинается с колыбели и кончается у порога возмужалости. От нее же, конечно, зависит, наоборот, и пренебречь, следовательно, заглушить в человеке человека»; ср. также с посвящением Райского к его предполагаемому роману в «Обрыве».

² Ср.: «Дело эмансипации внести в женское воспитание науку во всем ее строгом величии. Те женщины, для которых настала пора самостоятельности, с жадностью возьмутся за науку, они поймут, что знание, только знание делает человека великим и свободным. <...> Так проводится в жизнь вопрос о самостоятельности женщин в Англии и в Америке» (<*Без подписи*>). Парижские письма М. Л. Михайло-

«Довоспитавшаяся до строгого понимания жизни» Ольга Ильинская должна была стать в будущем «создательницей и участницей нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения» (наст. изд., т. 4, с. 455). Эта цель была сформулирована Гончаровым на гребне полемики о воспитании, на одном из последних этапов написания романа, при этом некоторые варианты развития образа были отброшены в процессе его создания. В черновом автографе «Обломова» сохранились черты первоначального замысла писателя, в соответствии с которым возлюбленная Обломова, под знакомым из другого романа именем Веры Павловны, должна была исполнять роль женщины страстной, решительной и настойчивой до забвения приличий, так как в ее «раздушенной» записке содержалось, по сути, не что иное, как предложение интимного свидания: «Сегодня наши не обедают дома, — сказано было в записке, — я одна; заезжайте вскоре после обеда, я позову вас в театр, у нас ложа, а из театра к нам пить чай. Dites, si ce projet vous sourit. J'attends. <Ответьте, если этот план вам улыбается. Я жду. — *фр.*>» (наст. изд., т. 5, с. 19).

По сохранившимся фрагментам трудно судить, с какой именно традицией могло соотноситься такое решение женского образа. Из-за своей незавершенности Вера Павловна легко вписывалась в различные литературные парадигмы. Возможно, например, предположить ее связь с женскими образами из наводнивших Россию в 1830—1840-е гг. романов Ж. Санд, но в той же мере Вера Павловна могла оказаться и сатирической героиней из не менее популярных в то время «физиологий».¹ Неоспоримым же является лишь факт отказа Гончарова от своего замысла, связанный с тем, что интересы писателя со временем сместились в сторону образа менее эксцентричного, воплощающего

ва. Письмо V // Рассвет. 1859. Т. 4. Отд. «Русские периодические издания». С. 48—53).

¹ Ср.: «Вера Павловна, которая первоначально в рукописи занимает место Ольги, вероятно, должна была представлять тип великосветской львицы, подобно той Мине, с которой Обломов прожил в молодости свое состояние» (*Бершова Е. В.* Работа И. А. Гончарова над образом Ольги в романе «Обломов» // Учен. зап. Калнинград. пед. ин-та. 1958. Вып. 4. С. 135); см. также: *Таборисская Е. М.* Идейно-художественная структура образа Ольги Ильинской в романе Гончарова «Обломов» // Сборник материалов по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год. Борисоглебск, 1969. С. 87—90. (Борисоглебский пед. ин-т).

«простоту и естественность»: «...в программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел дорисовывать остальные уже согласно этой черте и вышла иная фигура» (из письма к И. И. Льховскому от 2 августа 1857 г.). Первым жизненным этапом для новой героини, обретшей свое имя — Ольга Сергеевна (промежуточное имя — Ольга Павловна),¹ стала ее любовь к Обломову; в связи с этим важна такая деталь, как девичья фамилия Ольги — Ильинская.

Один из первых рецензентов «Обломова» справедливо отметил важную роль взглядов В. Г. Белинского 1830-х гг. для Гончарова — создателя образа Ольги: «*Обломов*, человек с детства надломленный, убитый, лишенный всякой энергии, всякого пыла, сталкивается в жизни с девушкой (*Ольгой*), которая буквально может служить представительницей того идеала, о котором говорит Белинский (поставляя женщине в святую обязанность „возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому“)».²

Напомним, что взгляды Белинского к началу 1840-х гг. радикально переменились, и в 1847 г. он уже высмеивал Гоголя за мысли, мало отличавшиеся от его собственной позиции 1830-х гг.³ Тем не менее созданная «идеалистами

¹ См. выше, с. 50.

² *Пальховский А.* О русской женщине: По поводу романа г. Гончарова «Обломов». (Посвящается исключительно читательницам) // Моск. вестн. 1859. № 28. С. 341; ср. у В. Г. Белинского: «...правосудие и любящее Провидение Божие, возложив на человека (т. е. мужчину) бремя его жизни и подвига, разочло и взвесило силы его человеческой природы и, в сем намерении, дало ему новый, вне его самого находящийся, источник силы в той таинственной симпатии, в той высокой душевной гармонии, в том чистом, эфирном пламени любви, которое соединяет его с женщиною. Женщина — ангел-хранитель мужчины на всех ступенях его жизни (...) поприще женщины — возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому» («Жертва (...). Сочинение г-жи Монборн», 1835 // *Белинский*. Т. I. С. 406—407).

³ «Влияние женщины может быть очень велико именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и всё чего-то теперь ждет от женщины. (...) Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы;

1830-х гг.» модель, согласно которой отношения мужчины и женщины наделялись высшим метафизическим смыслом, была прочно усвоена обществом и не во власти Белинского было что-либо изменить — к концу 1850-х гг. эта концепция обратилась в своеобразный стереотип массового сознания, и суждения вроде: «идеальное понимание своего высшего назначения дает женщине возможность сделаться идеалом человечества», «мир, хотя смутно, но сознает, что только посредством женщины он может обновиться к новой жизни; к той жизни, где будут царствовать истина, добро и красота»¹ — стали повседневным журнальным фоном. В литературе первого ряда именно женские образы восполнили остроощутимый к этому времени дефицит позитивного начала. Отмечалась высокая степень клишированности этих образов эпохи реализма; кроме того, русские литературные героини были скорее воплощением общественного идеала, чем отражением действительно существующих реалий «женского мира».² «Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы, — писал Гончаров в дни создания второй части «Обломова», — годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели» (письмо к И. И. Льховскому от 2 августа 1857 г.).

она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую...» (Гоголь. Т. VIII. С. 224); реакцию Белинского см. в его рецензии на «Выбранные места из переписки с друзьями» (Белинский. Т. VIII. С. 224).

¹ *X—ва А.* Письма к русским женщинам // Журнал для воспитания. 1857. № 1. С. 46.

² См. об этом: *Heldt B.* Terrible perfection: Woman and Russian Literature. Bloomington; Indianapolis, 1987. P. 12—24. По мнению исследовательницы, компенсаторный механизм, использованный при создании клишированного женского образа, базировался на корреляции двух главных тем: «горькая судьбина» женщины, вынужденной покинуть свой дом, и высокая миссия чистой, не тронутой никакими из социальных зол хранительницы домашнего очага, что представляется верным лишь отчасти. В масштабе предложенного обобщения (конец XVIII—XIX в.) уместнее было бы говорить об уравнивании мужского (сложного, по преимуществу отрицательного) характера женским (цельным, положительным) характером, ср.: «Женский образ дал литературе положительного героя. Именно здесь сформировался художественный (и жизненный) стереотип: мужчина — воплощение социально типичных недостатков, женщина — воплощение общественного идеала» (Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: (XVIII—начало XIX века). СПб., 1994. С. 64).

Идеально-романтическая любовь Обломова и Ольги, в которой героине отводилась роль «ангела-хранителя», «луча света», «путеводной звезды», оканчивалась разрывом и взаимным признанием ошибок. «Ангел» не унес Обломова «на своих крыльях», «роль спасительницы» не удалась, и ложной была названа идея о том, что высшей целью в жизни является женщина. Приговор, произнесенный устами Штольца чувствительному гончаровскому герою, перекликался с более поздними мыслями Белинского, высказанными во второй статье из его цикла «Сочинения Александра Пушкина» в 1843 г.: «Романтизм есть вечная потребность духовной природы человека: ибо сердце составляет основу, коренную почву его существования, а без любви и ненависти, без симпатии и антипатии человек есть призрак. Любовь — поэзия и солнце жизни. Но горе тому, кто в наше время здание счастья своего вздумает построить на одной только любви и в жизни сердца вознамерится найти полное удовлетворение всем своим стремлениям! В наше время это значило бы отказаться от своего человеческого достоинства, из мужчины сделаться — самцом! (...) Если человек захочет жить только сердцем, во имя одной любви, и в женщине найти цель и весь смысл жизни, — он непременно дойдет до результата самого противоположного любви (...) смешон, жалок и недостоин любви женщины мужчина, который только на то и способен, чтоб влюбиться да любить жену и детей своих. Так как истинно человеческая любовь теперь может быть основана только на взаимном уважении друг в друге *человеческого достоинства*, а не на одном капризе чувства и не на одной прихоти сердца, — то и любовь нашего времени имеет уже совсем другой характер, нежели какой имела она прежде. Взаимное уважение друг в друге *человеческого достоинства* производит равенство, а равенство — свободу в отношениях. Мужчина перестает быть властелином, а женщина — рабою, и с обеих сторон устанавливаются одинаковые права и одинаковые обязанности: последние, будучи нарушены с одной стороны, тотчас же не признаются более и другою».¹

¹ Белинский. Т. VI. С. 127—129. В этой же статье Белинский дает широкий исторический очерк любовных нравов от классической древности до «понятий нашего времени», который также сопоставим с пространными рассуждениями Штольца о любви в части четвертой романа Гончарова (см.: наст. изд., т. 4, с. 448—450).

Гончаров разделял убеждения Белинского о несостоятельности романтической концепции любви, но горячо проповедуемая критиком альтернатива («равенство» и «свобода в отношениях») вызвала у него сомнения. Изначально он, по-видимому, все же хотел развернуть отношения Андрея и Ольги именно в таком ключе, но впоследствии отказался от этого замысла. Колебания писателя отразились в черновом автографе «Обломова», в котором героиня сама бралась разрешить запутавшиеся отношения со своим будущим супругом и первой признавалась ему в любви, а заканчивалась сцена объяснения соглашением об их взаимном равенстве в браке. «— Не надевайте же на себя маску ложного смирения, — говорила она. — Мы долго не понимали друг друга, теперь поняли. И если вы мне скажете когда-нибудь: „мы равны“ — я буду горда и счастлива...

— Мы равны! — сказал он, быстро протягивая ей руку: она подала ему свою, и они тихо пошли к тетке» (наст. изд., т. 5, с. 236—237).

В окончательном тексте романа демократическая идея равенства полов заменялась на оправданное опытом многочисленных поколений убеждение в лидерстве мужчины в браке: «Перед этим опасным противником у ней уж не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову» (наст. изд., т. 4, с. 412). Здесь на предложение Штольца дать ей совет потерявшая уверенность в себе героиня отвечает «почти страстной покорностью»: «Говорите... я слепо исполню!» (там же, с. 422), а последовавшие за этим штольцевские «гарантии» семейного счастья имеют совершенно иную, чем в рукописи романа, модальность: «...отдайте мне ваше будущее и не думайте ни о чем — я ручаюсь за всё. Пойдемте к тетке» (там же, с. 422).

Основной характеристикой Ольги Ильинской, т. е. Ольги части второй романа, была грациозность и простота, в последней, четвертой части романа эта простота объявлялась «умничаньем»,¹ а главным атрибутом Ольги

¹ В обширном письме Гончарова к Е. П. Майковой от 16 мая 1866 г., посвященном обсуждению новых «семейных начал», значение этого слова раскрывается как далекое от жизни, наивное и безответственное доктринерство: «Я только против умничанья, против хлеста-

Штольц становилась страстность: она «...бросалась на грудь к мужу, всегда с пылающими от радости щеками, с блестящим взглядом, всегда с одинаким жаром нетерпеливого счастья...» (там же, с. 447); «...как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками» (там же, с. 462); «...говорила она, не отнимая рук от шеи мужа» (там же, с. 468). Акцентируя этот мотив, Гончаров вновь сближается с Белинским: «В наше время умный человек, уже вышедший из пелен фантазии, не станет искать себе в женщине идеала всех совершенств, — не станет потому, во-первых, что не может видеть в самом себе идеала всех совершенств и не захочет запросить больше, нежели сколько сам в состоянии дать, а во-вторых, потому, что не может, как умный человек, верить возможности осуществленного идеала всех совершенств. <...> Найти одну или, пожалуй, несколько нравственных сторон и уметь их понять и оценить — вот идеал *разумной* (а не *фантастической*) любви нашего времени. <...> В чем же должны заключаться нравственные качества женщины нашего времени? В страстной натуре и возвышенно простом уме».¹

Функцию воспитателя, предполагавшую и заботу об уме Ольги, автор передавал ставшему ее супругом Штольцу («Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование...» — там же, с. 454), от которого у героини не только не было, но и не могло быть никаких тайн («Под успокоительным и твердым словом мужа, в безграничном доверии к нему отдыхала Ольга и от своей загадочной, не всем знакомой грусти, и от вещей и грозных снов будущего...» — там же, с. 463). Эта миссия стоила Андрею Штольцу немалых трудов, «...ему долго, почти всю жизнь предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины <...> чтоб не помрачилась эта хрустальная жизнь; а это могло бы случиться, если б хоть немного поколебалась ее вера в него»

ковского *предрешения* жизненных, не испытанных на себе еще вопросов, против этой мнимой простоты, мнимой потому, что жизнь кажется проста не ведающим ее, которые еще не озадачены опытом и потому так бесцеремонно и распоряжаются ею».

¹ Белинский. Т. VI. С. 130—131; о категориях «сердечного» и «разумного» в творчестве Гончарова см. также: Буланов А. М. «Ум» и «сердце» в русской классике. Саратов, 1992. С. 34—56.

(там же, с. 463). Роль «путеводной звезды» в части четвертой романа, таким образом, переходила от женщины к мужчине, и «крымская идиллия» Штольцев выстраивалась как отчетливо ощутимая противоположность взаимоотношениям Ольги и Обломова.

При описании брака Штольцев, для Гончарова оказались немаловажными идеи французского историка Ж. Мишле,¹ который написал в конце 1850-х гг. сразу две книги, посвященные культуре чувств и этике брака, — «Любовь» (1858)² и «Женщина» (1859).³ «В сельском уединении, среди природы, вступив в брак с молодой женщиной, — писал П. Л. Лавров, — пятидесятипятiletний историк вдруг обратился к новому роду занятий; ряд его брошюр: „Птица“ (1856), „Насекомое“ (1857), „Любовь“ (1858), „Женщина“ (1859) — вызвал жесткие порицания {...} так как незаметно для самого Мишле в этих книгах отразились впечатления старика аскета, охваченного поздним порывом половых влечений».⁴ Основным положением Мишле являлась мысль о том, что боготворящий женщину мужчина («Женщина есть религия»),⁵ должен поло-

¹ В пользу того, что научная и литературная деятельность Ж. Мишле находилась в поле зрения Гончарова, говорит тот факт, что в не попавшем в окончательный текст романа письме Обломова к Штольцу герой просил своего друга прислать ему «Мишле второй том» (см.: наст. изд., т. 5, с. 220).

² Рус. пер. (под несколько иным загл.) — Любовь и женщина: Физиологический очерк в 2-х частях. СПб., 1900; перевод обширных фрагментов см.: *Тур Е.* Женщина и любовь по понятиям г. Мишле («L'amour» par M. J. Michelet. Paris, 1858) // *РВ.* 1859. Т. 21, кн. 1. Июнь. С. 461—500.

³ Рус. пер.: *Мишле Ж.* Женщина. Одесса, 1863; см. также: *Мишле Ж.* Ведьма. Женщина. М., 1997.

⁴ *Лавров П.* Мишле и его «Колдунья». J. Michelet: «La Sorcière» (2-me éd., revue et augmentée. Bruxelles et Leipzig, 1863) // *СПбВед.* 1863. № 29. 5 (17) февр.

⁵ Ср. с рассуждением на эту тему в уже цитировавшемся письме Гончарова к ушедшей из семьи Е. П. Майковой: «...не любовь виновата, а Ваше понимание любви. Вместо того чтоб дать движение жизни, она дала Вам инерцию. Вы ее считали не естественной потребностью, а какой-то роскошью, праздником жизни, тогда как она — могучий рычаг,двигающий многими другими силами. Она не высокая, не небесная, не такая, не сякая, но она просто — стихия жизни, вырабатывающаяся у тонких, человечно развитых натур до степени какой-то другой религии, до культа, около которой и сосредоточивается вся жизнь. Не понимают и не признают этого иные, так называемые холодные люди: это просто — или неразвитые люди, или люди с органическим недостатком».

жить на воспитание жены все свои силы, чтобы «создать» из прелестного, но слабого и полубольного от природы существа¹ достойную спутницу жизни. По Мишле, мужчина поставлен над женщиной «вечным опекуном». Чтобы достичь нравственного влияния на жену, он «должен предаться физическим над нею наблюдениям и даже вести журнал ее физической жизни».² Главным же средством в деле «сотворения женщины» Мишле считал полную откровенность супругов («Брак — это исповедь»). «По мере того как мы будем выходить из грубого состояния, в котором мы до сих пор находимся, мы познаем, что брак есть именно эта возможность ежедневно сообщаться друг с другом всеми помыслами, чувствами, идеями, делами, открывая всю свою душу даже до смутных облаков, могущих накопиться до бури в сердце, которое скрывает их, вместо того чтобы рассеивать доверием. Повторяю, что в этом весь смысл брака, а не в деторождении», — писал он.³

В обеих книгах Мишле подробно регламентировался любовный быт. Местоположение усадьбы супругов, распорядок их дня и занятия описывались им так поэтически-сентиментально и в то же время с такой откровенной физиологичностью, что вызвали раздраженные нападки русского рецензента, иронизировавшего по поводу их цинизма и буржуазности: «Во-первых, этот дом должен быть за городом, и в нем никто не должен жить, кроме молодых супругов. Он сверху донизу устлан коврами, положим обыкновенными, но зато с двойною и тройною подкладкой, чтобы маленькая ножка мягко утопала в них. Мебели дома разнообразны, они и высоки и низки, и широки и узки, чтобы жена могла по воле принимать различные прихотливые позы. Как же иначе? Ведь она будет вести жизнь сидячую, уединенную, и сам г. Мишле называет ее *пленницею*, прибавляя к этому незаманчивому слову эпи-

¹ «Несмотря на все совершенства женщины, на все обаяние и всемогущую власть над мужчиной, она существо слабое и, что еще более достойно сожаления и нежнейшего участия, существо вечно больное. О женщинах говорят, что они капризны. Какая клевета! Они только больны! Когда около женщины нет доброй, заботливой матери, которая бы ухаживала за ней, ей надо доброго мужа, услугами которого она могла бы пользоваться и злоупотреблять ими», — писал Мишле в книге «Любовь» (цит. по: Тур Е. Женщина и любовь по понятиям г. Мишле («L'amour» par M. J. Michelet. Paris, 1858). С. 466).

² Там же. С. 475.

³ Мишле Ж. Женщина. С. 302—303.

тет добровольною <...>. Кроме того, дом должен быть в изобилии снабжен комодами, шкафами, полками, потаенными ящиками, полками в стенах, потому что женщины любят копошиться, убирать и прятать, те особенно, которым скрывать и прятать нечего. Около дома непременно должен быть тенистый сад с редкими растениями и плещущим фонтаном или ручьем живой воды. Около дома же предполагается навес из чугуна или цинка, где в дождливые или жаркие дни жена могла бы приютиться и работать при шуме бьющего фонтана. Ключи от всего надо отдать ей; она не только будет наблюдать за хозяйством, но должна сама лично заняться им, ибо ни горничной, ни кухарки ей иметь не дозволяется: одна только молодая, здоровая крестьянка приставлена будет к ней, чтоб исправлять всю черную, тяжелую работу хозяйства. За мужем остается главный бюджет и высший надзор за всем, как за женой, так и за хозяйством. Женщина, по словам автора, не любит мужчин, которые отрекаются от права повелевать и ревниво блюсти свою власть. <...> Жить вдвоем, а не втроем — аксиома для сохранения домашнего мира и тишины, по словам г. Мишле, и потому он удаляет служанку-крестьянку в нижний этаж и ограждает второй двойными дверями, чтоб она не могла подглядывать или подслушать что-нибудь. „А горничная? — восклицает удивленная молодая. — Как же я обойдусь без нее?“ Горничная, лакей, дворецкий, доктор — все эти должности и многие другие <...> которые все поименованы, будет исполнять сам муж. <...> Муж и жена служат другу другу. Она готовит обед, причем говорит, подавая блюдо: „Откушай, друг мой, руки мои прикасались к этому!“. Это, конечно, очень трогательно, но кроме этого занятия есть ли у нее другие? Конечно, есть. Ее постоянное занятие состоит в том, чтобы предаваться любви, а его в том, чтобы лично служить ей одной. Одевать ее, укладывать спать, нянчиться, даже кормить известными блюдами и строго наблюдать за ее диетой и гигиеной».¹

Утопичность и консерватизм книги Мишле, известного до того своими демократическими убеждениями,² вы-

¹ *Тур Е.* Женщина и любовь по понятиям г. Мишле. («L'amour» par M. J. Michelet. Paris, 1858). С. 473—475.

² Один из самых энергичных сторонников эмансипации женщин, поэт и публицист М. Л. Михайлов, первым отозвавшийся на книгу

текали из его преклонения перед педагогической (и философской) концепцией Руссо. Начинаясь с того момента, где обрывалось повествование в «Эмиле» (свадьба воспитанника и прощание с ним Ментора), книга Мишле, в сущности, являлась прямым продолжением трактата Руссо и уже этим могла привлечь внимание Гончарова. Известно, что большая часть главы VIII части четвертой, изображавшей жизнь Штольцев в Крыму, была переписана им на последнем этапе работы осенью 1858 г. Внесенные писателем изменения¹ могли возникнуть под влиянием концепции Мишле.

В любом случае центральный женский образ, задуманный Гончаровым как социально-прогрессивный, приводился им к достаточно утопическому финалу с архаичной фигурой мужа-воспитателя. Возможно, поэтому фигура Ольги Ильинской с самого начала вызвала неоднозначную реакцию критиков: от преувеличенных восхвалений до полного отрицания ее значения как героини русской жизни.²

7

Прежде чем роман «Обломов» появился на страницах журнала и, следовательно, неизбежно поступил на суд читателей (и критики), Гончаров неоднократно, как это

Мишле, по этому поводу писал: «В прошлом письме моем я успел только мельком упомянуть о новой книге Мишле „Любовь“. Благодаря знаменитому имени автора и заманчивому заглавию, она читается наперерыв и возбуждает много толков. Как эти толки ни разноречивы, из них можно вывести одно заключение, и заключение очень невыгодное для автора. Успех его книги — успех скандальный, un succès de scandal, как говорят французы. Странная и печальная судьба! Сочинение, задуманное с благороднейшей целью и пропитанное желанием общего блага, производит впечатление безнравственной книги. Мишле нельзя заподозрить в неискренности, в лицемерии, и остается жалеть об обществе, испорченность которого так глубока, что даже в лучших умах и в лучших сердцах можно открыть, всматриваясь, черты родства с маркизом де Садом и с Луве де Кувре, автором „Любковых походов Шевалье де Фоблаза“» (*Михайлов М. Л.* Парижские письма: Письмо пятое // С. 1859. № 1. С. 163).

¹ В автографе отсутствовало подробное описание внутреннего убранства коттеджа Штольцев, носившего «печать мысли и личного вкуса хозяев», а «строгая система» воспитания Ольги трактовалась с других, чем в печатном тексте, позиций; подробнее см. выше, с. 75—77.

² Подробнее об этом см. ниже, с. 307—308, 319—320, 323—324.

было и с «Обыкновенной историей» (см.: наст. изд., т. 1, с. 716—718), и с «Фрегатом „Паллада”» (см.: наст. изд., т. 3, с. 448, 524), читал главы и отрывки будущего произведения в кругу друзей и литераторов, советами которых особенно дорожил, очень внимательно и ревниво следя за их реакцией и поведением во время этих чтений.¹ Возможно, еще в начале 1849 г. он читает в узком кругу отрывок из «Сна Обломова»; об этом свидетельствует приглашение В. А. Солоницына, адресованное А. В. Старчевскому, к Майковым на чтение Гончаровым своего произведения (см.: *Летопись*. С. 33), однако какие-либо отклики слушателей на это чтение нам неизвестны. После завершения вчерне части первой романа Гончаров читал «рукопись» у Е. Ф. Корша (см. письмо от 12 августа 1852 г. к Е. А. и М. А. Языковым). В конце ноября 1855 г. он читает главы из романа у П. А. Валуева (см.: *Летопись*. С. 54), о чем свидетельствует письмо к Е. В. Толстой от 1 декабря 1855 г. Об очередном чтении романа пишет в своем дневнике под 13 марта 1856 г. А. В. Дружинин (см.: *Дружинин. Дневник*. С. 378). Перед отъездом Гончарова за границу слушателем его был и Д. В. Григорович; из письма Гончарова к М. Н. Каткову от 21 апреля 1857 г. мы узнаем, что писатель «прочел ему две сцены из дав-
(но) написанных, а он вообразил, что написано всё, и произвел слухи».

Как известно, работа над романом развернулась в основном за границей и была там почти завершена. В Париже состоялись два чтения глав из новых частей романа — 19(31) августа и 20 августа (1 сентября) 1857 г., где присутствовали В. П. Боткин, И. С. Тургенев, А. А. Фет.

Гончаров так описывал первое чтение и его предысторию 22 августа (3 сентября) И. И. Льховскому: «Воротясь в 11 часов к себе, я узнал от гарсона, что в этой же гостинице du Bresil живет много русских, и, между прочим,

¹ Характерно такое признание Гончарова в письме от 11 апреля 1859 г. к А. Н. Майкову: «Насчет „Обломова” Вы упрекнули меня напрасно, то есть что я читал его при Григоровиче, а Вам не читал. В Вас я заметил давно нерасположение к слушанию длинных вещей; еще при чтении моих путевых заметок Вы как-то уклонялись более ко сну; мне просто было совестно звать Вас на чтение, да и самолюбие шептало: „Придет он, пожалуй, придет, да внутренне будет ругаться, а в другой вечер еще и вовсе не придет, тогда станет досадно”». П. В. Анненкову он писал 20 мая 1859 г.: «Вы были самым холодным из тех слушателей, которым я читал роман».

Фет, который в тот день женился на сестре Боткина, наконец, сам Боткин. Я увиделся с ними на другой день, а на третий день и с Тургеневым, третьего дня читал им свой роман, необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякой дрянью. Несмотря на то, Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие с яростью пищал: „Длинно, длинно; а к такой-то сцене холодно подошел” — и тому подобное». Словом, литературные судьи, которым Гончаров читал новые, полуобработанные главы, были компетентнейшими и авторитетнейшими; после их одобрения можно было печатать роман в любом журнале. Парижские чтения несомненно были чрезвычайно важны для Гончарова — мнения Боткина и Тургенева послужили мощным стимулом для продолжения работы. Более всего он был благодарен Боткину, как самому благосклонному и внимательному слушателю, о чем свидетельствует письмо Гончарова от 25 августа (5 сентября) 1857 г. к Ю. Д. Ефремовой: «...Тургенев слышал только начало <...> а Боткин слышал всё и очень тонко понял, что я хотел выразить. Он предсказывает успех, но все мы трое решили, что за отделкой работы много».¹

В памяти Гончарова парижские чтения запечатлелись во всех подробностях. В письме к И. И. Льховскому от 22 августа (3 октября) 1857 г. он просит передать Н. А. Майкову, что готов отплатить ему за эскиз «головки», который должен был закончить для него, «чтением» своего романа, присовокупив: «Он любит слушать меня», и тут же вспоминает реакцию Тургенева в Париже: «Тургеневу скажите, когда приедет, что я умер, да не совсем, и что, когда я писал, мне слышались его понуждения, слова и

¹ Тургенев свою высокую оценку романа подтвердил в письме к Боткину от 21 августа (2 сентября) 1857 г., но повторил заодно и критические замечания: «...Гончарову повторяю — что его „Обломов” вещь отличная — но требует необходимых сокращений...» (Тургенев. Письма. Т. III. С. 255). А Н. А. Некрасову Тургенев в письме от 9(21) сентября 1857 г. сообщал: «Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного „Обломова”; есть длинноты, но вещь *капитальная*...» (Там же. С. 256). Боткин писал 29 января 1858 г. И. И. Панаеву, резюмируя впечатления от парижских чтений: «Это, действительно, капитальная вещь. Может быть, в нем и много длиннот, но его основная мысль и главные характеры выделаны рукою большого мастера. Особенно превосходна вторая часть» (Тургенев и круг «Современника». С. 437).

что я мечтаю о его широких объятиях». В упомянутом уже письме к Львовскому Гончаров образно и с юмором рассказывает об этих удивительных чтениях, проходивших в дружеской и непринужденной обстановке: «На другой день (после первого чтения. — *Ред.*) мы все обедали у одного Шеншина (брата Фета, от другого отца) в отличном ресторане и отлично наелись и выпили немного; вечером я читал, но у меня не двигался язык. Боткин задремал, но при одной страстной сцене очнулся. „Перл! Перл!“ — кричал он, но читать было невмочь. На другой день Тургенев уехал в поместье Виардо и через пять дней будет опять. Я сам в первый раз прочел то, что написал, и узрел, увы! что за обработкой хлопот — несть числа».¹ Возвращается — несколько раз — к очень памятным дням Гончаров и в «Необыкновенной истории» (конец 1870-х гг.), где по вполне очевидным причинам уделяет много места поведению и словам Тургенева, изображенного в памфлетном свете: «Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. „Да, хоть и вчерне, а здание кончено, стоит!“ — сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня. Я приписал это слабости моего пера». Вспоминает Гончаров там и более поздние, петербургские чтения, которые, по его свидетельству, произвели сильное впечатление на Тургенева: «В другой раз, когда я читал ему последние, написанные уже в Петербурге главы, он быстро встал (в одном месте чтения) с дивана и ушел к себе в спальню. „Вот я уж старый воробей, а вы тронули меня до слез“, — сказал он, утирая слезы». Отразилось такое внимательное и эмоциональное отношение Тургенева к роману и прямо в тексте «Обломова» (речь идет о выражении «голубая ночь» — «единственных двух словах», которые «подсказал» Гончарову Тургенев).² В общем же, как пишет Гончаров в той же «Необыкновенной истории»: «Всех скупее на советы и замечания был Тургенев — и редко-редко скажет что-нибудь, а больше слушает да молчит».³

¹ Среди тех, кто летом 1857 г. слушал чтение романа, был и В. П. Безобразов, о чем свидетельствует письмо к нему М. Н. Каткова от 17 октября 1857 г.

² См. об этом выше, с. 72—73.

³ И еще один вариант рассказа о парижских (и более поздних) чтениях и Тургеневе в «Необыкновенной истории»: «„Обломов“ — еще в рукописи, лишь только я кончил его весь в 1857 году, на водах, в Мариенбаде, был привезен мною в Париж, где я застал Боткина и Тургенева — и прочитал им все написанное (кроме последних глав,

Чтения продолжались осенью того же года в Петербурге; Л. Н. Толстой в письме к В. П. Боткину и И. С. Тургеневу от 21 октября—1 ноября 1857 г. сообщал, что Гончаров «потихоньку приглашает избранных послушать его роман...» (Толстой. Т. 60. С. 234).

Запомнились современникам, круг которых медленно, но все время возрастал, мартовские чтения 1858 г.: 1 и 3 марта «новый роман» Гончарова слушает А. В. Дружинин; 5 марта писатель читает его у издателя «Библиотеки для чтения» в присутствии Дружинина и П. В. Анненкова (см.: Дружинин. Дневник. С. 406). Впечатления от этих чтений описывает Анненков в письме от 10 марта 1858 г. к Е. Ф. Коршу: «На днях мы удостоились выслушать из уст самого Гончарова весь его роман вполне — „Обломов“. Чудная и превосходная штука. Образованная, добродушная и очень благородная по себе апатия влюбилась, засуетилась, хотела выйти из себя, но, попрыгав маленько, невидимо, незаметно опустилась опять к самой себе. Лицо женщины, растолкавшей апатию, особенно хорошо, рама картины мастерская, психологический анализ превосходен, и все кончается ровной грустью, как по отходящем явлении. Немножко многословно, но ведь мы умеем *переносить* недостатки, не то что московские сибариты, которые и в постель не ложатся, как только заметят складочку на простыне» (цит. по: ЛП «Обломов». С. 545—546).

Запись в «Дневнике» Е. А. Штакеншнейдер от 18 мая 1858 г. говорит о том, что чтения продолжались и в мае, причем слушатели позволяли себе критические замечания, в частности о главной героине.¹

Интенсивно продолжают чтения и осенью 1858 г. А. В. Никитенко записывает 10 сентября 1858 г. в «Дневнике»: «Вечером у Гончарова слушал новый роман его „Обломов“. Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки.

прибавленных уже в Петербурге в 1858 году и тоже прочитанных Тургеневу, до напечатания в 1859 году в «Отечественных записках», у Краевского».

¹ См. об этом подробнее выше, с. 153.

Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести» (Там же. С. 115). 13 сентября Никитенко присутствует на продолжении чтения (среди слушателей были А. А. Краевский, Вл. Н. Майков, С. С. Дудышкин). Одним из «практических» результатов осенних чтений были изменения, внесенные Гончаровым в текст романа; он писал И. И. Льховскому 17 октября 1858 г.: «...я переделал главу *Штольц с Ольгой в Париже*: она показалась слушателям неестественной, как и Вам».¹ В октябре 1858 г. Гончаров читает роман у Е. П. и Н. А. Майковых: Е. П. Майкова 27 октября 1858 г. писала А. Н. Майкову: «Гончаров читал нам своего „Обломова“, он начал читать со второй части, женщины великолепны! Читал только два вечера, еще на два или на три осталось чтения; прерывается оно потому, что раз захворала Юния <Ю. Д. Ефремова>, а другой — Бенедиктов. Гончаров, кажется, еще что-то пишет» (цит. по: *Летопись*. С. 87).²

8

Тему «Роман Гончарова „Обломов“ в критике» открывают отзывы, посвященные главе «Сон Обломова» и относящиеся к концу 1840-х—началу 1850-х гг. Первым печатным откликом на публикацию «Сна Обломова» было краткое высказывание, которое содержалось в заметке-объявлении о «Литературном сборнике с иллюстрациями», изданном редакцией «Современника» в 1849 г. «„Сон Обломова“, — сказано в заметке, — эпизод из неоконченного романа г. Гончарова, — эпизод, который, впрочем, имеет в себе столько целого и законченного,

¹ В «Необыкновенной истории» Гончаров пишет о том, что некоторые советы слушателей оказались ему полезны: «Конечно, много раз случалось, что если из слушавших меня, например Стасюлевич, Софья Александровна, старшая дочь А. В. Никитенко (переписывавшая набело весь роман), заметят, что то или другое длинно или ненатурально и т. п., я сокращу, или дополню, или поправлю...».

² И сами чтения, и энтузиазм, с каким роман был воспринят слушателями, в частности Е. П. Майковой, были необыкновенно важны для Гончарова. В письме к ней, которое приблизительно датируется январем—февралем 1869 г., он с благодарностью вспоминал эти счастливые мгновения своей жизни: «Вчерашняя записка Ваша напомнила мне, с каким приятным волнением Вы слушали „Обломова“, какое горячее письмо написали мне после чтения».

что его можно назвать отдельной повестью, — есть образчик того нового произведения, которое, нет сомнения, возобновит, если не усилит, прекрасные впечатления, оставленные в читателях за два года перед этим напечатанною в „Современнике” „Обыкновенною историею”. <...> В этом эпизоде снова является во всем своем художественном совершенстве перо-кисть г. Гончарова, столько замечательная в отделке мельчайших подробностей русского быта, картин природы и разнообразных, живых сцен. Мы удерживаемся хвалить этот эпизод только потому, что он помещен в нашем издании» (С. 1849. № 4. Отд. III. С. 96; Некрасов. Т. XIII, кн. 1. С. 74—75).

Мысль о том, что гончаровский «эпизод из неоконченного романа» может рассматриваться и как отдельное, законченное произведение, позднее будет повторена многими критиками. Автор процитированной заметки, призвав читателей обратить особое внимание на «Сон Обломова», пообещал, что подробно об этом произведении будет сказано в годовом обзоре русской литературы. Беллетристический отдел «Обзора русской литературы за 1849 год» не был напечатан, но это обещание редакцией «Современника» было отчасти выполнено через год. В «Обзоре русской литературы за 1850 год», во второй его статье, в частности, сказано: «Самым лучшим произведением, появившимся в 1849 году, был, мы можем смело сказать, помещенный в „Литературном сборнике”, изданном редакцией „Современника”, отрывок „Сон Обломова”. Г-н Гончаров, сразу вставший в ряд самых даровитых и известных писателей наших, в этом новом произведении своем показал еще образчик своего художественного мастерства. Читатели уже оценили достаточно талант г. Гончарова по его „Обыкновенной истории”, которую критики также встретили с должным уважением. <...> Новый отрывок, составляющий, впрочем, *полное* целое, по нашему мнению, есть произведение совершенное в художественном отношении. Это произведение, на которое можно было бы указать как на образец понимания истинного искусства псевдореальной школе, о которой было говорено в обзоре литературы за 1848 год, — школе, в настоящее время утратившей, к счастью, всю свою первоначальную привлекательность. Сравнивая картины г. Гончарова с произведениями этого псевдохудожества, можно понять различие между творчеством истинного талан-

та и труженической рисовкою непризванных художников». ¹

В 1840—1850-е гг. в «Современнике», кроме «Обыкновенной истории», был опубликован целый ряд произведений Гончарова. Это, несомненно, показывает заинтересованное отношение редакции журнала и, в частности, Некрасова к прозе автора «Сна Обломова». Оно проявилось также в сочувственных отзывах об этой главе и о некоторых очерках Гончарова, позднее вошедших в книгу «Фрегат „Паллада“». Не случайно И. С. Тургенев, прослушав «Обломова» в авторском чтении, в сентябре 1857 г. писал Некрасову, что «весьма было бы хорошо, если б можно было приобрести» роман для «Современника» (*Тургенев. Письма*. Т. III. С. 256). Но в отношении Некрасова к Гончарову была и определенная настороженность. Прежде всего это было связано с цензорской службой автора «Обломова». Эта настороженность проглядывает, в частности, в письме Некрасова к Тургеневу (октябрь 1858 г.), в котором есть такое замечание: «...молодому поколению не много может дать Гончаров, хоть и не сомневаюсь, что роман будет хорош» (*Некрасов*. Т. XIV, кн. 2. С. 115).

В 1849 г. в журнале «Москвитянин» (№ 11) была опубликована небольшая заметка о «Сне Обломова», подписанная литерами «А. В.» Ее автором был А. Ф. Вельтман, что следует из указателя содержания, помещенного в последнем номере журнала за этот год. ² «Способность сочинителя к фламандской школе, — писал автор заметки, — и вместе к гогартовскому роду ярко высказывается этим отрывком из романа. Описание пошлостей жизни в захолустье отчетливо до порошинки; ярко наброшенные тени на невозмутимую тишину, на это наружное во всем бессмыслие и беззаботность обрисовывают *застой* жизни как нельзя лучше; но иронический тон красок нейдет к захолустьям: тут нет виноватых. Мало ли на земном шаре мест, где жизнь еще прозябает и не дает еще плодов. Если в этих захолустьях живет еще только сердечная, хотя и неразумная, доброта, необщительная простота, то над ними нельзя трунить, как над детьми в пеленках, которые, не-

¹ 〈*Без подписи*〉. Обзорение русской литературы за 1850 год. II. Романы, повести, драматические произведения, стихотворения // С. 1851. № 2. Отд. III. С. 54.

² Сообщено Б. Ф. Егоровым.

смотря на свое неразумие, милы, что доказывает и „Сон Обломова”» (*«Обломов» в критике*. С. 25). В этой заметке Вельтмана в свернутом виде присутствуют некоторые идеи и оценки, которые позже получают развитие в отзывах других критиков, в частности в статье А. В. Дружинина об «Обломове»: «фламандство» как отличительная особенность писательской манеры Гончарова, «детскость» как суть жизни, изображенной в главе «Сон Обломова». Фраза Вельтмана об «ироническом тоне красок», которыми описывается Обломовка, позднее отзовется в статьях А. А. Григорьева.

В ряду первых откликов на «Сон Обломова» надо упомянуть и развернутое высказывание А. А. Григорьева, содержащееся в его обзорной статье «Русская литература в 1849 году». «В этом отрывке, — пишет критик, — выступают почти одни достоинства г. Гончарова, не подавляемые никакой наперед заданной мыслью. (...) Вы чувствуете присутствие спокойного творчества, которое по воле своей переносит вас в тот или другой мир и всему сочувствует с равной любовью. Перед вами до мелких оттенков создается знакомый вам с детства быт, мир тишины и невозмутимого спокойствия во всей его непосредственности. Поэт умеет стоять вровень с создаваемым миром, быть и комически-наивным в рассказе о чудовище, найденном в овраге обитателями Обломовки, и глубоко трогательным в создании матери Обломова, и психологом в истории с письмом, которое так страшно было распечатать мирным жителям райского уголка, и, наконец, истинным, объективным поэтом в изображении того послеобеденного сна, который объемлет всю Обломовку, который полон неодолимого обаяния. В какой степени Гончаров одарен таким действительности — доказывает еще превосходное место о сказках, которые повествовались маленькому Илье Ильичу и всем нам более или менее: поэт развивает всю эту пеструю сказочную канву и озаряет ее в отношении к нам и к нашему общему развитию светом новой, верной и ясной мысли. Напоминаем еще читателям семейный разговор в сумерки, негодование жены Ильи Ивановича на его беспамятство в отношении к разным приметам, сборы его отвечать на письмо, составившее на несколько времени предмет тревожного страха: все это — черты художнические. Повторяем опять: „Сон Обломова” — полный, сам в себе замкнутый, ху-

дожнически созданный мир, который влечет вас в свой круг — и очарование ваше не нарушается ни разу».¹

Критик неизменно признавал, что в описании обломовского мира Гончаров проявил себя первоклассным художником. «Сон Обломова», считал критик, это «зерно, из которого родился весь „Обломов”», «фокус, к которому он весь приводится, для которого чуть ли не весь он написался...» (Григорьев. С. 328).

Обломовка для Григорьева — это мир узнаваемый, родной, близкий многим.²

Если в 1850 г. в «Сне Обломова» Григорьев видит «полный», «художнически созданный мир», говорит об отсутствии в этой главе какой-либо «наперед заданной мысли», то через два года он обнаружил в ней «односторонность взгляда».³

Особое отношение — с элементами идеализации — к патриархальному русскому миру, народному быту сказалось в отзыве о «Сне Обломова», содержавшемся в обзорной статье Б. Алмазова «Наблюдения Эраста Благонравова над русской литературой и журналистикой». Критик чутко уловил, что в «Сне» дается «двойной» взгляд на обломовский мир: с одной стороны, он воссоздан поэтически, выявлена его гармоничность и цельность, а с другой — он описан аналитически, осмыслен трезво и объективно. Эту трезвость и аналитичность критик расценил как влияние «прежней русской критики», т. е. Белинского, и категорически не принял. «Что касается до „Сна Обломова”, — пишет Б. Алмазов, — то первая его половина превосходна. В ней автор с таким теплым чувством говорит о деревенском быте, так верно и с такой любовью его описывает, что, читая его произведение, проникаешься чувством особенного к нему уважения за такие благородные чувства. Взгляд г. Гончарова на этот быт — совер-

¹ <Григорьев А. А.> Русская литература в 1849 году // ОЗ. 1850. № 1. Отд. V. С. 16—17.

² В «Воспоминаниях» Григорьев, говоря о своем детстве, заметил: «...я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в „Сне Обломова”» (Григорьев А. А. Воспоминания / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров. М., 1988. С. 15. («Лит. памятники»)).

³ Григорьев А. А. Русская литература в 1851 году // Москвитянин. 1852. Т. I. № 3. Отд. V. С. 66. Когда вышло полное издание романа, критик посчитал, что к ранее опубликованной главе ничего не добавилось: «Все его новое высказано было гораздо прежде в „Сне Обломова”» («Обломов» в критике. С. 332).

шенно оригинальный и новый; выражение и язык, употребляемый им в описаниях, нельзя похвалить довольно. <...> Все похвалы, высказанные мною „Сну Обломова“, прошу отнести к первой его половине.

Вторая половина этого отрывка местами производит неприятное впечатление на читателя, потому что автор кое-где увлекается общественными взглядами прежней русской критики и пишет по рецепту, ею составленному. Тогдашняя критика все проповедовала практичность, строжайше предписывала молодым людям жить в мире действительности и избегать фантазии и мечты. Разумеется, все это справедливо, но тем не менее все это общие места, а с общими местами надо обращаться осторожно. Общие места имеют то страшное свойство, что ежели вы их будете проповедовать с жаром, то непременно впадете в крайность и увлечете за собой ваших слушателей. Г-н Гончаров тоже увлекся общими местами и вздумал приложить их к русскому помещицкому быту. Он говорит, что нянюшка его героя, рассказывая мальчику сказки про Жар-птицу и другие чудеса нашей народной поэзии, слишком сильно развила в нем фантазии, породила желание жить в сказочном мире и что это имело дурное влияние на последующую жизнь героя, который, привыкши в области сказочной фантазии, выступив на поприще действительной жизни, претерпел много разочарований и неприятных столкновений с жизнью. <...> Неужели все это говорится серьезно? Неужели есть такие люди, которые терпят неприятные соприкосновения с действительной жизнью оттого, что прежде не знали, что мертвецы не могут вставать из гробов? Ежели такие люди существуют, то мне очень жаль, что им приходится испытывать такие горькие и ужасные разочарования».¹

* * *

Первые впечатления от начавшейся в «Отечественных записках» публикации романа были высказаны министром народного просвещения Евгр. П. Ковалевским. Эти впечатления не могли стать достоянием печати, так как были изложены им в литературном обзоре, регулярно представляемом императору Александру II. 25 февраля

¹ Москвитянин. 1852. Т. V. № 17. Отд. III. С. 6—9.

1859 г. Ковалевский писал ему, что, судя по двум вышедшим частям романа, можно говорить о нем как о произведении, выходящем «из ряда обыкновенных явлений беллетристики». И далее давал краткую характеристику роману и его главному герою: «Так как роман только начинается, то содержание его приведено здесь быть не может, герой же его есть одна из тех щедро одаренных природою, но беспечных и ленивых натур, которые проживают свой век без пользы для других и не успев уловить и собственного счастья. Достоинства сочинения заключаются в художественном изложении и глубокой разработке подробностей, составляющих отличительную черту замечательного таланта г-на Гончарова...» (РГИА, ф. 772, оп. 1, ч. II, д. 4726, л. 40; *Мазон*. Р. 342—343).

27 апреля 1859 г. Ковалевский писал в самых лестных выражениях императору уже обо всем романе: «Большой роман г-на Гончарова кончен. Литература наша получила в нем капитальное приобретение, хотя некоторые длинноты и отсутствие движения делают чтение его иногда утомительным». Подробнее остановился Ковалевский на характерах Обломова, Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной: «Герой романа есть существо прекрасно одаренное умственными и нравственными качествами, но совершенно лишенное энергии, вялое и в высшей степени ленивое. Молодая девушка, — один из превосходнейших женских характеров в русской литературе, — привязывается к нему за все то, что в нем есть доброго и честного; с помощью любви надеется похитить его у поглощающей его лени, но безуспешно, и Обломов, презирая себя с каждым днем более и более, тяготясь жизнью, избегая даже воспоминаний о прошедшем, о первой молодости своей, которая широко перед ним раскрывалась, кончает тем, что женится на доброй, но совершенно простой женщине, которая постигла тайну охранить его жизнь от всяких потрясений, всякой заботы и даже всякой мысли, толстеет, лежит, тупеет и получает паралич» (РГИА, ф. 772, оп. 1, ч. II, д. 4726, л. 99—100; *Мазон*. Р. 343).

Известен эпистолярный отклик М.Е.Салтыкова-Щедрина на журнальную публикацию части первой романа. В письме к П. В. Анненкову от 29 января 1859 г. он с раздражением говорил, что ему не понравился ни сам роман, ни его главный герой (только «Сон Обломова» он благосклонно выделил — «необыкновенная вещь», «прелестная

вещь»),¹ не скупясь при этом на сочные эпитеты и сравнения: «...прочел Обломова и, по правде сказать, обломал об него все свои умственные способности. Сколько маку он туда напустил! Даже вспомнить страшно, что это только день первый! и что таким образом можно проспять 365 дней! Бесспорно, что „Сон” — необыкновенная вещь, но это уже вещь известная, зато все остальное что за хлам! что за ненужное развитие Загоскина! Что за избитость форм и приемов! Но если нам, читателям, делается тяжело провести с Обломовым два часа, то каково же было автору проваландаться с ним 9 лет! И спать с Обломовым, и есть с Обломовым, и все видеть перед собой этот заспанный образ, весь распухший, весь в складках, как будто на нем сидел антихрист! Ведь сон-то мог и не Обломов видеть, зачем же было такую прелестную вещь вставлять в такой океан смрада?». Высмеял (очень грубо) Щедрин и попытку представить Обломова своего рода русским Гамлетом: «Замечательно, что Гончаров силится психологически разъяснить Обломова и сделать из него нечто вроде Гамлета, но сделал не Гамлета, а жопу Гамлета». В немалой степени крайне раздраженный характер суждений сатирика был вызван литературным спором между Обломовым и сторонником «реального направления в литературе» Пенкиным, ироническим подтекстом этой сцены.² Позднее полемические выпады забылись, «раздражение» прошло, но большого расположения к роману у Щедрина все же не возникло. Роман Щедрин, судя по небольшому пассажи в статье 1869 г. «Уличная философия» (это, собственно, не статья о последнем произведении писателя, а мысли «по поводу», о чем красноречиво говорит подзаголовок — «По поводу 6-й главы 5-й части романа „Обрыв”»), отчасти воспринимал сквозь призму идей литературно-политического манифеста Н. А. Добролюбова: «Г-н Гончаров до сих пор воздерживался от ясного заявления каких-либо политических или социальных взглядов на современность, и, сознаемся откровенно, мы видели

¹ Примерно такого же мнения придерживался явно не расположенный к Гончарову Д. В. Григорович, полагавший, что «из всего написанного Гончаровым остается „Сон Обломова” — действительно прекрасное литературное произведение...» (*Григорович Д. В. Литературные воспоминания*. М., 1987. С. 106).

² См.: *Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.*: В 20 т. М., 1975. Т. XVIII, кн. 1. С. 209. Ср. также выше, с. 211—213.

в этом признак того такта, который всегда отличал этого писателя. В „Обломове” усматриваются, скорее, даже зачатки мысли, побуждающей вперед, зачатки, правда очень неопределенные, но, во всяком случае, не заключающие в себе ничего противоречащего преданиям сороковых годов. Но теперь, очевидно, предания кончились; „Обломов” может служить для будущего историка русской литературы только уликой того, как непрочно бывают всякие начинания и как легко они сводятся на нет».¹

В отличие от Салтыкова-Щедрина очень высоко оценил новый роман Гончарова Л. Н. Толстой. Он писал А. В. Дружинину 16 апреля 1859 г.: «„Обломов” — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от „Облом(ова)” и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это, что „Обломов” имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный в настоящей публике» (*Толстой*. Т. 40. С. 290). Гончарову передали слова Толстого, о чем свидетельствует взволнованное письмо к нему автора «капитального» романа от 13 мая 1859 г.: «Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостью; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в Вас доброжелателя новому моему труду. Еще бы приятнее мне было, если б Вы не рикошетом, а прямо сказали и о моих промахах, о том, что подействовало невыгодно. Особенно полезно бы было мне это теперь, когда я желал бы попробовать еще раз перо свое над одной давно задуманной штукой. И если время, расположение духа и разные обстоятельства позволят, я и попробую. Я желал бы указания не на случайные какие-нибудь промахи, ошибки, которые уже случились и, следовательно, неисправимы, а указания каких-нибудь постоянных дурных свойств, сторон, аллюр и т. п. моего авторства, чтобы (если буду писать) остерегаться от них. Ибо, как ни опытен автор (а я признаю за собой это одно качество, то есть некоторую опытность), а всё же

¹ *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. IX. С. 69.

ему одному не оглядеть и не осудить кругом и с полнотой самого себя».¹

¹ Вообще отношения между Толстым и Гончаровым близкими не были, а иногда на долгие годы прерывались. Но в 1880-х гг. они неожиданно оживились. В июне 1887 г. А. Ф. Кони посетил Ясную Поляну, откуда привез Гончарову очень того обрадовавший «поклон» от Толстого. Кони вспоминал: «Может быть, некоторым сходством в творчестве объясняется и то особенное теплое чувство, с которым отзывался при мне Толстой о Гончарове (...) прося передать ему сердечный привет и выражение особой симпатии, несмотря на весьма малое с ним знакомство» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 240). Гончаров 22 июля 1887 г. писал Толстому: «А. Ф. Кони, прогостивший у Вас несколько дней в деревне, привез мне поклон от Вас и сказал, что Вы сохранили добрую память обо мне». Далее он вспоминал независимую позицию Толстого в литературных дискуссиях середины века, которой явно сочувствовал: «Несмотря на мою старость, на многие годы, протекавшие со времени наших последних свиданий, я сохранил в памяти много приятных воспоминаний о Вас и о нашем тогдашнем времяпровождении. Помню, например, Ваши иронические споры всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом, их поклонении разным литературным авторитетам; помню комическое негодование их на Вас за непризнание за „гениями“ установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск. Всё помню». И еще больше обрадовался Гончаров словам из письма к нему Толстого (конец июля 1887 г.; к сожалению, не сохранилось), процитированным им в ответном послании от 2 августа 1887 г.: «Вы подарили меня дорогими словами: что будто я мог „иметь большое влияние на Вашу писательскую деятельность“». В том же утраченном письме Толстой сообщал об интересе к произведениям Гончарова своего сына Льва Львовича: «Вашего милого семнадцатилетнего юношу сына обнимите от моего имени за его симпатию к моим скромным литературным чадам. Это трогает меня. Да еще он хотел „просветить Вас на мой счет“: каков! Это он вздумал открывать глаза — кому: Льву Толстому на Гончарова! Скажи-ка он это вслух — его бы газеты заклевали. Отважен же он: по батюшке пошел».

Что же касается отношения к «капитальнейшему» роману, то в конце 1880-х гг. Толстой охладел к нему. 9, 10, 13 и 14 октября 1889 г. он читает вслух роман Гончарова в Ясной Поляне, что фиксируется в дневнике: «...читали „Облом(ова)“». Хорош идеал его» (запись от 9 октября 1889 г.; *Толстой*. Т. 50. С. 155). Но другие записи негативны: «История любви и описание прелестей Ольги невозможно пошло» (запись от 10 октября 1889 г.; Там же); «Дочел „Облом(ова)“». Как бедно!» (запись от 7 ноября 1889 г.; Там же. С. 174). И позднее (август 1906 г.), видимо все еще под впечатлением этого чтения, Толстой повторяет отрицательную оценку «Обломова», отдавая предпочтение первому роману Гончарова: «„Обломов“ (Иван Иванович <И. И. Горбунов-Посадов> хвалит его) мне не нравился. А „Обыкновенная история“ — да» (*ЛН*. Т. 90, кн. 2. С. 221).

Толстому 1850—1860-х гг., несомненно, было близко в романах Гончарова многое. В. С. Соловьев считал, что романы Гончарова и Толстого «решительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенностях их талантов».¹ В исследовательской литературе резонно обращалось внимание на психологическую и тематическую близость романа Толстого «Семейное счастье» романам «Обыкновенная история» и «Обломов».²

* * *

Особое место в истории критических отзывов на роман Гончарова занимают отзывы, объединяющие оценки «Обломова» Гончарова и «Дворянского гнезда» Тургенева. При этом прежде всего нельзя не напомнить, как «Дворянское гнездо» было воспринято Гончаровым.

«Дворянское гнездо» и «Обломов» печатались синхронно в 1859 г., но с одной существенной разницей: роман Тургенева был целиком напечатан в январской книжке «Современника», часть первая романа Гончарова — в январской книжке «Отечественных записок», а последние — обстоятельство естественное, но тем не менее очень смущавшее писателя — в феврале, марте, апреле. Тургенев присутствовал на чтениях глав из романа Гончарова и некоторыми его советами автор «Обломова» воспользовался, о чем счел необходимым рассказать в «Необыкновенной истории» (конец 1870-х гг.). Там же он приводит и очень лестные оценки романа (эпистолярные и устные), принадлежащие Тургеневу.³ Отношения между писателями были вполне дружескими вплоть до растянувшегося на два дня чтения П. В. Анненковым «Дворянского гнезда» на квартире Тургенева где-то в середине декабря 1858 г. Именно тогда Гончаров испытал сильнейшее потрясение, от которого так и не смог избавиться в дальнейшем. Через двадцать лет он вспоминал в «Необыкновенной истории»: «Что же я услышал? То, что за три года я пересказал Тургеневу, — именно сжатый, но довольно полный очерк „Обрыва“...». Позднее же ему открылось,

¹ Соловьев В. С. Три речи в память Ф. М. Достоевского (1881—1883) // Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 294.

² См.: Краснощекова. С. 122—129, 320; ср. также: наст. изд., т. 1, с. 743.

³ См. об этом ниже, с. 278—279.

что эти устные рассказы о героях и сюжетных линиях будущего романа оказались необходимым питательным материалом, которым Тургенев ловко и дипломатично воспользовался, сочиняя свои романы: «...он снял слепок со всего романа — и так как живопись и большая картина жизни — не его дело, он не сладил бы с этим, он и оборвал роман («Дворянское гнездо». — *Ред.*), не доведя его до конца. <...> Миниатюристу не под силу была широкая картина жизни — и он вот что сделал: разбил всё большое здание на части, на павильоны, беседки, гроты, с названиями: *Ma solitude*, *Mon repos*, *Mon hermitage*, то есть „Дворянское гнездо“, „Накануне“, „Отцы и дети“, „Дым“».

Гончаров рассказывает о том, что он после чтения остался с Тургеневым наедине, навязав тому крайне неприятный разговор: «Я <...> сказал Тургеневу прямо, что прослушанная мною повесть есть не что иное как *слепок с моего романа*. Как он побелел мгновенно, как клоун в цирке, как заметался, засюсюкал. „*Как, что, что вы говорите: неправда, нет! Я брошу в печку!*“ <...> „*Нет, не бросайте*, — сказал я ему, — *я вам отдал это — я еще могу что-нибудь сделать. У меня много!*“. Тем и кончилось». К сожалению, не только не кончилось, но имело длинное продолжение. В то время, когда русское общество наслаждалось чтением шедевров Тургенева и Гончарова, между ними шло странное и нелепое выяснение отношений. И даже если судить по чрезвычайно пристрастным, а иногда и просто грубым воспоминаниям Гончарова, Тургенев шел на большие уступки, явно желая покончить дело о «плагиате» мирно и раз и навсегда, — упорствовал и капризничал болезненно мнительный Гончаров. Отчасти неугасающему гневу Гончарова способствовал небывалый успех романа Тургенева в критике и у читающей публики, о чем с нескрываемым раздражением Гончаров писал много лет спустя: «„Дворянское гнездо“ наконец вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал. Так как оно писано было вскоре после рассказа моего, то и вышло полнее, сочнее, сложнее и колоритнее всего, что он написал и прежде и после него». Неожиданная, хотя и очень своеобразная, высокая оценка «Дворянского гнезда» помогает лучше понять яростную и пристрастную до нелепости реакцию Гончарова: он считал себя первым русским романистом, *эпиком*, и не видел себе здесь соперников («Война и мир» явление бо-

лее позднего времени, да и вообще к Толстому у Гончарова отношение особое). У Тургенева он очень ценил «Записки охотника» и другие примыкающие к этому циклу произведения, энергично хлопотал в цензурном ведомстве, способствуя переизданию очерков и рассказов, ценил Тургенева-«миниатюриста» и певца сельской жизни, но к Тургеневу-романисту был беспощадно суров, полагая, что тот вступил здесь в его сферу, воспользовавшись некогда простодушно рассказанными им программами будущих произведений (позднее сфера заимствований будет кардинально расширена, вобрав эпистолярный и многое другое). Все возрастающее раздражение и недоброжелательство по отношению к Тургеневу чувствуются и в письмах к общим друзьям литераторам. В. П. Боткину 30 января 1859 г. он пишет с затаенной болью: «Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно». С Тургеневым продолжают отношения еще довольно близкие, но очевидно, что все в нем вызывает у Гончарова разлитие желчи: «Сегодня мы обедали у Тургенева¹ и наелись ужасно по обыкновению. <...> Он всё по княжнам да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех домах, то печален». Сам же Гончаров «обложен корректурами, как катаплазмами», и очень боится, что уже напечатанная первая часть «Обломова» произведет неблагоприятное впечатление, почему и советует Боткину (и другим) повременить с чтением до окончания публикации в журнале всего романа: «А Вы-таки не можете не читать „Обломова“: что бы подождал до апреля! Тогда бы зорким оком обозрели всё разом и излили бы на меня — или яд, или мед — смотря по заслугам».²

¹ Гончаров часто бывал у Тургенева и в декабре 1858 г., о чем он пишет Толстому 4 декабря, вполне благосклонно отзываясь о гостеприимном хозяине, — роковое чтение «Дворянского гнезда» еще впереди.

² А. В. Дружинин необыкновенно точно передал весь драматизм столь неудачно сложившейся для произведения Гончарова ситуации (весьма ощутимы в его статье о романе «цитаты» из писем и устных жалоб Гончарова, что свидетельствует о блестящем знании закулисной стороны истории): «Успех „Дворянского гнезда“ оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г-на Тургенева зачитывались до иступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать „Дворянского гнезда“ было непозволительным делом. Его ждали несколько месяцев и кинулись на

Наконец в письме к Тургеневу от 28 марта 1859 г. Гончаров выскажет свое мнение о «Дворянском гнезде». Значительное место в письме занимает изложение суждений «одного господина», «учителя» (возможно, мифическое лицо) о романе, с которыми солидарен Гончаров: «Этот господин был под обаянием впечатления и, между прочим, сказал, что, когда впечатление минует, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвара Павловна), потому что, очевидно, автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни; но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей — совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой большой рамке, а в очерке, и действовали бы живее, не охлаждая промежутками...». В дополнение к «рецензии учителя» Гончаров, уже не скрываясь за анонимными чужими мнениями, высказывается в том же духе и заодно бесцеремонно указывает Тургеневу, в чем его специальное литературное предназначение, определяет границы, которые тому не следует переступать: «Летучие быстрые порывы, как известный лирический порыв Мицкевича, населяемые так же быстро мелькающими лицами, событиями отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в «Гнезде»), лицами жалкими и скорбными звуками или радостными клика-

него, как на давно ожидаемое сокровище. Но, положим, „Дворянское гнездо“ появилось в январе месяце, месяце новостей, толков и так далее, роман вышел в свет во всей целости, при всех наиболее приятнейших условиях для его оценки. Но вот „Обломов“ г-на Гончарова. Трудно пересчитать все шансы, собранные против этого художественного создания. Оно печаталось помесечно, стало быть, перерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда так важная, особенно важная при печатании романа в раздробленном виде, была слабее всех остальных частей. В этой первой части автор согрешил тем, чего, по-видимому, никогда не прощает читатель, — бедностью действия; все прочли первую часть, заметили ее слабую сторону, а между тем продолжение романа, так богатое жизнью и так мастерски построенное, еще лежало в типографии! Люди, знавшие весь роман, восхищенные им до глубины души, в течение долгих дней трепетали за г-на Гончарова; что же должен был перечувствовать сам автор, пока решалась судьба книги, которую он более десяти лет носил в своем сердце» («Обломов» в критике. С. 110—111).

ми, — вот где Ваша непобедимая и неподражаемая сила. А чуть эта же Лиза начала шевелиться, обертываться всеми сторонами, она и побледнела. „Но Варвара Павловна, скажут, полный, законченный образ”. Да, пожалуй, но какой внешний! У каких писателей не встречается он! Вы простите, если напомним роман Paul de Kock „Le Cocu”, где такой же образ выведен, но еще трогательный: там он извлекает слезы. Вам, кажется, дано (по крайней мере так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на *новую* дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнью, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна. Лира и лира — вот Ваш инструмент».¹

В письме Гончарова содержалось также множество намеков, уязвляющих коварного «плагиатора» и «дипломата», не разгадать которые было невозможно. Тургенев ответил на это оскорбительное письмо твердо, но в то же самое время, можно сказать, сострадательно и толерантно. Он явно не хотел сжигать мосты, от ответных оскорблений и возражений на вздорные обвинения воздержался, дав ясно понять, что все полунамеки им поняты, и тем не менее все же счел возможным ответить «человеку, который считает тебя присвоителем чужих мыслей (plagiaire), лгуном (Вы подозреваете, что в сюжете моей новой повести опять есть закорючка, что я Вам только хотел глаза отвести) и болтуном (Вы полагаете, что я рассказал Анненкову наш разговор). Согласитесь, что, какова бы ни была моя „дипломатия”, трудно улыбаться и любезничать, получая подобные пилюли. Согласитесь также, что за половину — что я говорю! — за десятую долю подобных упреков Вы бы прогневались окончательно» (*Тургенев. Письма*. Т. IV. С. 36). В этом прекрасном, грустном и неожиданно мягком письме от 7 (19) апреля 1859 г. (фон — холодная весна, скорее навевающая мысль о смерти, чем

¹ Такими наставлениями и обобщениями перенасыщено это невероятное письмо. Гончаров с необыкновенным упорством пытается внушить Тургеневу, что ему «дан нежный, верный рисунок и звуки», а он, пренебрегая природным даром, все «порывается строить огромные здания или цирки» («В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько Вы ни пишите еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей „Илиады”, Ваших „Записок охотника”: там нет ошибок; там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музыки: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве!»).

о пробуждающейся к жизни природе, переживания, связанные со смертью великой певицы Бозио, которую Тургенев слушал в день ее последнего выступления в опере «Травиата», вариации на темы Экклезиаста: «...все мы умрем и будем смердеть после смерти. (...) Прах, и тлен, и ложь — всё земное» — Там же. С. 36—37) Тургенев отвечает и на критику его романа, дав понять, что усомнился в реальном существовании «учителя», и оспаривая догматичный взгляд на роман, который будто бы непременно должен быть «эпическим»: «Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил „учитель“ о моем „Д(ворянском) г(незде)“». Но что же прикажете мне делать? Не могу же я повторять „Записки охотника“ ad infinitum! А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на целостность и крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову. Будут прорехи, сшитые белыми нитками, и т. д. Как этому горю помочь? Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов. *E sempre bene!*» (Там же. С. 36).¹ О романе Гончарова в письме Тургенева нет ни слова; правда, он желает своему подозрительному и несправедливому корреспонденту нового «Мариенбада». И позже, в том числе и в относительно мирные периоды, Тургенев от оценок «Обломова» будет воздерживаться; впрочем, до конфликта им и так было сказано о романе много дельного и лестного, о чем мы по большей части знаем по «Необыкновенной истории» и письмам к Гончарову.

Ревность Гончарова к триумфу «Дворянского гнезда» улеглась лишь тогда, когда он убедился в том, что критика и читатели высоко оценили «Обломова», — роман получил неожиданное признание самого могущественного и читаемого критика того времени — Н. А. Добролюбова.

¹ Назидательные и назойливые советы, сочетающиеся с бесцеремонными и даже инквизиторскими вылазками в сферу психологии, Тургенев считал недопустимыми, кем бы они ни предпринимались: «Но ведь Вы и в этом сознании увидите дипломатию: думает же Толстой, что я и чихаю, и пью, и сплю — ради фразы. Берите меня, каков я есмь, или совсем не берите; но не требуйте, чтоб я переделался, а главное, <не считайте> меня таким Талейраном, что уу!» (Там же).

В историю же русской литературы 1859 г. вошел как год двух шедевров, возвестивших начало эпохи великого русского романа.¹

Естественно, что «Обломов» и «Дворянское гнездо» часто назывались рядом, сопоставлялись и противопоставлялись уже в ранних отзывах критики. В суждениях А. А. Григорьева — и это главное — решительно преобладают почвеннические тезисы, в результате чего оба романа помещаются в одну национально-почвенническую плоскость. Это позволяет критику рассматривать героев романа Тургенева (да и других его произведений) как истинных обломовцев: «Ведь, собственно говоря, если бы наши яростные враги „обломовщины“ хотели и могли быть последовательны, они должны бы были с ужасом отворотиться от теперешнего Тургенева в пользу Тургенева прежнего. Ведь ни больше ни меньше как к тому, что они называют Обломовкой и обломовщиной, — относится он теперь с художнической симпатией. Ведь и Лаврецкий, и его Лиза, и неоцененная Марфа Тимофеевна — все это обломовщина, обломовцы — да еще какие, еще как тесно, физиологически связанные не только с настоящим и будущим, но с далеким прошедшим Обломовки!» (Григорьев. С. 345—346). Считая, что Лаврецкий, будучи «человеком почвы», тоже «из обломовцев», Григорьев обосновывает его преимущество как «лица художественного» перед героями Гончарова (и Писемского) (Там же. С. 316, 322).² Тенденции романа Гончарова Григорьевым отвергаются и осуждаются, поэтичность «Дворянского гнезда» всемерно подчеркивается.³

¹ Но были и читатели, весьма холодно отнесшиеся к обоим романам. Так, И. С. Аксаков, полемизируя с М. Ф. Де-Пуле в письме к нему от 24 июня 1859 г., не обнаруживал в них ничего поэтического и народного и даже пророчил: «Лет через 10 никто не станет перечитывать ни „Дворянского гнезда“, ни „Обломова“» (И. А. Гончаров в неизданных письмах, дневниках и воспоминаниях современников / Публ. Н. Г. Розенблюма // *РЛ*. 1969. № 1. С. 166).

² См. подробнее ниже, с. 318—319.

³ С оценками Григорьева отчасти перекликаются наблюдения критика «С.-Петербургских ведомостей»: «Попробуйте в довольно многочисленном обществе, где найдется пять-шесть читающих, сказать, что „Дворянское гнездо“ хорошо; непременно найдется кто-нибудь из этих читателей, который скажет: „Нет, как можно! „Обломов“ лучше“; попробуйте похвалить „Обломова“ — вы непременно услышите: „Нет, то ли дело „Дворянское гнездо“». Сам критик противопоставлял роман Гончарова как произведение остролюбодневное и

Сопоставление Лаврецкого и Обломова, культивировавшееся Григорьевым и позднее Достоевским,¹ имело некоторое основание, но, несомненно, имело и пределы.² Эти герои сильно разнятся и психологически, и «физиологически». Близкими разновидностями одного типа они могут показаться, только если признать справедливыми суждения Михалевича о Лаврецком, а они таковыми не являются: «...ты — байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек — и лежишь, ты мог бы что-нибудь делать — и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что всё, что люди ни делают, — всё вздор и ни к чему не ведущая чепуха» (*Тургенев. Соч.* Т. VI. С. 76). Эти слова «Демосфена Полтавского», пожалуй, в некоторой степени справедливы лишь по отношению к философствующему Обломову,

социальное лирическому и камерно-психологическому роману Тургенева: «В „Дворянском гнезде“ при всей наклонности нашего времени во всем видеть поучение или обличение, чрезвычайно трудно отыскать хотя бы малейший намек на тенденцию. Иные хотели видеть в романе г-на Тургенева изображение трех поколений — екатерининского, александровского и николаевского — с целью доказать, что все эти поколения оказались несостоятельными в жизни и что настоящая жизнь принадлежит четвертому, будущему поколению, которое на минуту является в конце рассказа. {...} Эти социальные и практические вопросы, которые на каждом шагу останавливают читателя „Обломова“, им нет места в „Дворянском гнезде“ {...} роман г-на Тургенева — высокая, чистая поэзия» (*СПбВед.* 1859. № 284. 31 дек.).

¹ Во многом отталкиваясь от мыслей Григорьева, Ф. М. Достоевский в середине 1870-х гг. с гораздо более жесткой, чем в статьях ведущего критика-почвенника, определенностью объединит Обломова и Лаврецкого, подчеркнув их общую русскую суть — «соприкосновение с народом» (*Достоевский.* Т. XXII. С. 44). Достоевский, пожалуй, более всех других критиков сближал «Дворянское гнездо» и «Обломова»; символично, что это было уже ретроспективное, итоговое суждение (долгое время отношение Достоевского к «Обломову» было весьма прохладным, в то время как «Дворянское гнездо» он всегда высоко ценил, даже после того как отношения между ним и Тургеневым резко ухудшились, — чего стоит только одно лишь упоминание Лизы Калитиной в Пушкинской речи Достоевского).

² Обращаются к такому сопоставлению и современные литературоведы; см., в частности: *Тиме Г. А.* Обломов и Лаврецкий: «Русская идея» или немецкая философия // *Leben, Werk und Wirkung.* S. 389—399.

хотя, конечно, далеко не исчерпывают суть его натуры. И все-таки близость между героями Тургенева и Гончарова есть, пусть во многом неуловимая, но несомненная и глубинная, коренящаяся в одной и той же взрастившей их почве Обломовки и Лавриков, словно соседствующих друг с другом.

В главе X «Дворянского гнезда» эта близость становится особенно заметной: мертвая тишина, поглотившая Лаврики («усадьба <...> не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет всё на земле, где только нет людской, беспокойной заразы»), тихое течение мыслей героя, опустившегося на «дно реки» жизни: «И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь <...> кто входит в ее круг — покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!» (Там же. С. 63, 64). Край Лаврецкого, как и Обломовка, живет по своим особым вековым законам, полудикий («во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи») и, кажется, совершенно отгороженный от динамичного, постоянно обновляющегося мира: «В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и — странное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины» (Там же. С. 65).

* * *

Из напечатанных в том же году, что и роман «Обломов», рецензий на него первой может быть названа публикация письма симбирского журналиста и адвоката Н. М. Соколовского в пятом номере «Отечественных записок» за 1859 г. Судя по содержанию письма, он написал свой отклик, не дождавшись появления заключительной части романа. Осознав актуальность затронутых романистом проблем, автор письма отметил, что критику, который намеревается писать об «Обломове», надо будет «вооружиться строгим анализом и поднять много социальных

отношений» («Обломов» в критике. С. 34). Независимо от Добролюбова (письмо и статья «Что такое обломовщина?» были напечатаны одновременно) он поставил Обломова в ряд «лишних людей». «Обломов, — писал он, — это продолжение Бельтова, Рудина, это последний исход их неудачной жизни» (Там же. С. 31). Симбирский журналист тонко почувствовал суть мучительного «несовпадения» гончаровского героя с жизнью: «У Обломова были свои идеалы, которые он страстно любил и которые не в силах был привести в исполнение» (Там же. С. 33).

В письме предлагалось разграничить Обломовых и обломовцев. Обломовец — это Обломов без «той сердечности, той гуманности, того развития, которыми проникнута насквозь вся мягкая, добрая фигура» Ильи Ильича. «Обломовцы, — пишет Соколовский, — встречаются везде», т. е. во всех слоях общества. И далее в письме идет пассаж, который по смыслу и структуре удивительно напоминает вскоре ставшую знаменитой анафорную композицию Добролюбова: «Если я вижу теперь помещика <...> Если встречаю чиновника <...>. Если слышу от офицера жалобы <...> он Обломов» (Там же. С. 62),¹ при этом социальная вертикаль представлена в перечне обломовцев Соколовского еще полнее, чем у Добролюбова, вплоть до крестьянина. «Мы привыкли, — заявляет автор письма об обломовцах, — их видеть и в лице той части нашей пишущей и воюющей братии, заветная мечта которой дослужиться до тепленького местечка, нажать себе всякими путями состояньице и затем почить на пожатых лаврах <...> и в помещике, проводящем за малыми исключениями свои годы в отъезде поле за благородным занятием травли зайцев; и в промышленнике, кое-как сколотившем себе копейку, с презрением смотрящем на все новое <...> и в крестьянине, отпахавшем свое поле и затем махнувшем рукой на все, исключая заветного пенника, на который пропивается последняя копейка, результат его тяжелых трудов... <...> Словом, обломовцы — все те, которые на труд смотрят как на наказание, а на отдых и лень — как на райское блаженство...» (Там же. С. 30—31).

«Имя Обломова будет <...> нарицательно для личностей, подобных ему», — таков финал письма Соколовского.

¹ См. также выше, с. 219.

Соколовский пришел к заключению, что роман закончится семейным счастьем Обломова и Ольги Ильинской,¹ образ которой он оценил чрезвычайно высоко; его слова, посвященные Ольге, звучат как апофеоз: «...Ольга, по нашему мнению, — тот идеал, к осуществлению которого должна стремиться современная жизнь. Она ни разу не изменила себе, она всегда и везде была женщиной, в благороднейшем смысле этого слова; она была ею и за своим роялем, и в аллее с веткой сирени, и в слезах после письма Обломова, и в своих воззрениях на жизнь, и в страстной, памятной для нее сцене в саду... Всюду она вносила все, что есть лучшего, святого в женской натуре... Заслуга Гончарова, создавшего Ольгу, огромна, тем более огромна, что в настоящее время поднят вопрос о женщине; он показал нам ее так, как она должна быть, и как несостоятельны, в сравнении с нею, все эти великосветские типы, и видом и пользой так напоминающие мыльные пузыри. Редко русская литература видела на своих страницах столь полно законченный, полно прочувствованный и, так сказать, просмысленный образ, как образ Ольги... Через всю его свежесть, всю поэзию проходит здоровый, разумный взгляд, не рассчитывающий на эффекты, не бьющий на раздирающие сцены, но выработанный долгим опытом жизни, взгляд долго подмечавший, долго следивший, прежде чем решившийся передать то, что видел...

Нравственный прогресс общества не останавливался бы на каждом шагу, счастлива была бы жизнь, в ней не было бы апатии, скуки и пустоты, в ней не встречалась бы беспрерывно мелкая, но убивающая медленным ядом пошлость, если бы в женской половине этого общества было побольше созданий вроде Ольги...» (Там же. С. 30).

¹ Рецензия Соколовского появилась уже после того, как весь роман был напечатан в журнале. Поэтому редакция снабдила публикацию Соколовского деликатным примечанием: «Вероятно, автор написал эту статью по прочтении только первых двух частей, и потому, кажется, предвидел другое окончание романа» (*«Обломов» в критике*. С. 25). Примечание, однако, не спасло рецензента от иронической реплики А. Пятковского: «Из провинции принесся одобрительный отзыв г-ну Гончарову... и хотя провинциальный читатель сильно оборвался на отгадке окончания романа, забыв русскую пословицу: „поспешись — людей насмешишь“, но тем не менее он горячо принял к сердцу новое произведение даровитого автора» (*Пятковский А. Обломов // ЖМНП*. 1859. № 8. С. 96).

К числу первых рецензий на роман принадлежала и статья В. Я. Стоюнина. Он размышлял о слове «обломовщина» и о явлении, им обозначенном. По мнению критика, автор слова «обломовщина» объективно изобразил национальный недуг («в каждом из нас есть частица „обломовщины“»), но, наделив этим качеством своего героя в такой концентрации, он сделал его лицом «исключительным», не типичным, даже «загадочным».¹ Стоюнин так и не нашел ответа на вопрос: «...каким образом в человеке может сделаться содержанием целой жизни то, что в нас проявляется только минутами, как будто бы следствие русского первородного греха».²

Еще больше недоумений и вопросов возникло у критика в связи со Штольцем. «Мы знаем, — пишет он, — как Обломовка усыпительно действовала на коренных жителей, погружая всех в ленивую дремоту, как же она подействовала на Штольца, сообщив колорит русский и вместе с тем несколько не обломовский?». Критик подошел к проблеме, которая позже будет интересовать многих: можно ли сводить влияние «благословенного уголка» (наст. изд., т. 4, с. 98) на человека только к обломовщине?

Слабостью романиста Стоюнин счел и то, что было следствием сознательной творческой установки автора «Обломова»: «недосказанность» героев. В письме к И. И. Льховскому от 2 (14) августа 1857 г. Гончаров высказался так: «Герой может быть неполон: недостает той или другой стороны, не досказано, не выражено многое: но я и с этой стороны успокоился: а читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до мелочей? Задача автора — господствующий элемент характера, а остальное — дело читателя». С этим соображением романиста, как отметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 581), перекликается замечание А. В. Дружинина, содержащееся в его статье о романе: «Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, „к которым невозможно добавить ни одной лишней черты“, — над этим типом не-

¹ Стоюнин В. Я. «Обломов», роман г. Гончарова // Рус. мир. 1859. № 20. 22 мая. С. 488—489.

² Там же. С. 505.

вольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили» («Обломов» в критике. С. 122).

Газетные и журнальные рецензии 1859 г. были в основном благожелательными и сочувственными.¹ А. Пятковский подчеркивал типичность образа главного героя: «Обломов (...) представляет нам целый тип, Обломова вы встретите на каждом шагу, в той или иной одежде, под тем или другим именем — и не нужно быть Помпеем, чтобы набрать их целые легионы» (ЖМНП. 1859. № 8. С. 101).

Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» (1859. № 284. 31 дек.) констатировал, что роман «возбудил при появлении своем бесконечные толки, которые не замолкли еще и теперь, когда уже прошло много месяцев со времени его напечатания, несмотря на множество разнообразных и весьма серьезных интересов, волнующих нашу эпоху. Этот роман принадлежит к числу произведений, о которых долго не перестают говорить и о которых слышатся самые противоположные суждения». Он отмечал неразрывную связь образов Обломова и Захара, видя в этом несомненное достоинство романа: «Захар и Обломов выросли на одной и той же почве, пропитались одними и теми же соками; их существование связано тесными неразрывными узами; они невозможны друг без друга». Глубокое впечатление на критика произвел эпилог романа: «Заключительная сцена романа, где Штольц встречается с Захаром, просящим милостыню, проливает яркий свет на идею автора и дает всему роману трагический оттенок. Эта сцена производит на читателя страшное, потрясающее действие».

* * *

Масштаб, в котором рассматривается проблема, обозначенная в названии статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» («Обломов», роман И. А. Гончарова.

¹ Встречались, однако, и крайне утилитарные оценки. Так, А. Пальховский в статье «О русской женщине. (По поводу романа г-на Гончарова «Обломов»)» с пренебрежением писал о Пшеницыной как о «язве» и «недуге» общества (Моск. вестн. 1859. № 28. 25 июля). Пальховский в том же году еще раз вернулся к разбору романа в статье «Наш современный портрет. (Несколько слов по поводу «Обломова»)» (Там же. № 42. 3 окт. С. 521—526).

«Отечественные записки», 1859, № I—IV» (С. 1859. № 5. Отд. III. С. 59—98), намечен уже в эпиграфе: «Русь», «русская душа», «веки» русской жизни.¹ Обращение к высокому гоголевскому слову о будущем России давало читателю возможность уяснить, что в сознании автора статьи содержание романа соотносится с главными вопросами национальной жизни в ее историческом развитии.

В своем понимании таланта Гончарова Добролюбов исходил из наблюдения, сделанного в 1848 г. В. Г. Белинским: «Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям» (*Белинский*. Т. VIII. С. 397—398). Добролюбов не просто признает правдивость изображения, но и отмечает, что речь идет о произведении искусства высочайшей пробы. «Уменьше охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его», «спокойствие и полнота поэтического мирозерцания» — в этом критик видит силу гончаровского таланта (*«Обломов» в критике*. С. 37).

Объективность, правдивость писателя — условие того, что он, критик, в своих рассуждениях может смело переходить от условного мира романа к жизни, рассматривать того или иного героя в контексте не только литературы, но также истории страны.

Цель автора статьи — «изложить общие результаты», выводы, к которым приводит чтение романа. В случае с «Обломовым» это тем более важно для представителя «реальной критики», что сам Гончаров «не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов» (Там же. С. 36). Это качество — отсутствие явного авторского отношения к изображаемому миру, вслед за Белинским и Добролюбовым, будет отмечено многими критиками иногда как сила, иногда как слабость таланта Гончарова.²

¹ В качестве эпиграфа Добролюбов взял отрывок из главы первой тома II «Мертвых душ». Как отметил Б. Ф. Егоров, критик заменил гоголевских «байбаков» на «болванов», значительно усилив сатирическое звучание фразы (см.: *Егоров Б. Ф.* О мастерстве литературной критики. Л., 1981. С. 216—217).

² Так, отсутствие ясного авторского отношения к героям и событиям, изображенным в «Обломове», привело Н. Г. Чернышевского к мысли о том, что Гончаров вообще «не понимал смысла картин,

Добролюбовские размышления об объективном художнике вылились в психологический этюд о творческом процессе. Именно эта часть статьи вызвала восторженную оценку Гончарова. В письме к П. В. Анненкову от 20 мая 1859 г. он признался: «Двумя замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представлении художника. Да как же он, не художник, знает это? {...} Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше».

Следующий шаг в размышлениях Добролюбова — о содержании романа, о том, на что «потратился талант», какова «сфера его деятельности» (Там же. С. 40). «Полнота поэтического мирозерцания» Гончарова проявилась в том, считает критик, что он сумел «случайный образ — ленивого и апатичного человека» — «возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение» (Там же. С. 38). В простенькой истории о том, как «лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его», «отразилась, — в этом, по мнению критика, проявился мощный творческий потенциал романиста, — русская жизнь», «сказалось новое слово нашего общественного развития» (Там же. С. 40). Слово это — «обломовщина», оно «служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни». Вот тут рассуждения критика выходят к проблематике, намеченной эпиграфом.

Не резко, но настойчиво и неуклонно в анализе романа происходит смещение акцентов с эстетических моментов на социальные и социально-исторические. Подразумеваемая роман и добролюбовскую статью, современные исследователи отметили: «...собственно говоря, мы имеем два произведения — художественное и критико-публицистическое — на одну тему».¹

Критик стремится выявить в Обломове прежде всего не индивидуальные черты, а родовые признаки типа,

которые изображал» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. XIII. С. 872). В своем пародийном отклике на роман (1860; см.: Там же. М., 1950. Т. VII. С. 450—452) критик высмеивал его затянутость («разведение водою»), повторы («одно и то же по двадцать раз»). См.: *Егоров Б. Ф.* Кого пародировал Н. Г. Чернышевский в рецензии на книгу Н. Готорна? // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков / Отв. ред. Б. П. Городецкий. М.; Л., 1958. С. 321—322.

¹ *Викторович В. А., Краснов Г. В.* Примечания // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. II. С. 769.

А понять это типовое начало можно, считает Добролюбов, лишь через анализ обломовщины. Барское в герое, который от природы «как все», рассматривается как результат воздействия на человека особых условий жизни. Возможность жить за счет других ведет к атрофии воли, к апатии, «барство» оборачивается «рабством», такой герой бездеятелен и беспомощен, барство и рабство в нем «взаимно проникают друг в друга». Критик последовательно описывает механизм, формирующий личностей подобного типа: главная черта этого характера — инертность, причина инертности — апатия. Апатия героя объясняется «отчасти его внешним положением» (он барин, у него триста Захаров), отчасти образом «его умственного и нравственного развития» («с детских лет привык быть байбаком»).

«Уродливое» воспитание не сформировало в нем «разумного понимания своих отношений к миру и людям». Показатель этой неразумности — склонность к мечтаньям. Добролюбов первым отметил эту важнейшую черту обломовского сознания и расценил ее как явную слабость, даже «ненормальность»: «...нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать...» (Там же. С. 43). Это суждение воспринимается как лозунг публициста, а не вывод аналитика. По Добролюбову, Илья Ильич в мечте не свободен: он боится, что «мечтания придут в соприкосновение с действительностью». И в реальной жизни он «раб»: «Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю» (Там же. С. 45), и даже «раб своего крепостного Захара» («...чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать...»). И в мечте, и в реальной жизни Обломов не свободен потому, что он «барин». Эта жесткая социальная («завершающая») характеристика связана с тем, что для критика главное «не Обломов, а „обломовщина”» (Там же. С. 47).

Анализ главного героя под этим углом зрения позволил Добролюбову перейти к социально-психологическим проблемам, возникшим в связи с историей зарождения и развития в русской жизни и литературе особого «типа» — «лишнего человека».

Илью Ильича критик ставит в ряд героев русской литературы, которые «не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности». Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Обломов, резко освещенные под определен-

ным углом зрения: барская бездеятельность, барская мечтательность, барское фразерство, — обнаружили сходство контрастно обозначившихся профилей. Весь этот ряд «лишних» героев Добролюбов назвал «обломовской семьей». Обломовский тип, по Добролюбову, — это «коренной, народный наш тип»; «с течением времени, по мере сознательного развития общества, этот тип изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение» (Там же. С. 41). Заслуга автора «Обломова» в том, что он подметил «новую фазу» существования этого типа. Статью «Что такое обломовщина?» писал человек, уверенный в исторической несостоятельности либерального дворянства. Членов «обломовской семьи» Добролюбов судит с позиции своего современника, человека «свежего, молодого, деятельного»; это, по мнению критика, и есть та молодая Россия, которая отказывает в доверии «лишним» людям (Там же. С. 64). В «братцах» единой обломовской семьи критик обнаружил общность не только социальных, но и психологических черт. Все они склонны презирать людей. И к женщинам относятся одинаково. В отличие от А. В. Дружинина, который писал, что такие типы, как Рудин, «не поясняются через страсть» (Дружинин. С. 361), Добролюбов считал: поясняются и очень определенно («Трусость у этих господ непомерная!» — Там же. С. 51; «Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же как и вообще в жизни» — Там же. С. 50—51). Чем больше критик позволяет себе «округлить» психологическую характеристику типа, тем менее ощутимым становится его контакт с конкретным литературным образом. Так, говоря о близости Обломова к Онегину, среди прочих черт пушкинского героя он называет и такую: «...способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит...» (Там же. С. 59).

Штольц как противоядие обломовщине представляется Добролюбову фигурой неубедительной. Во-первых, этот образ — лишь «дань своему времени», ибо таких людей, с «цельным деятельным характером», еще нет в жизни «нашего общества». А во-вторых, тот Штольц, которого родила фантазия писателя, «не дорос еще до идеала общественного русского деятеля» (Там же. С. 65).

А вот в Ольге, по мнению Добролюбова, «более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и

развеет обломовщину...» (Там же. С. 66). Имеется в виду ключевое в эпиграфе к статье слово «вперед».

Существенным добавлением к характеристике гончаровской героини является замечание, которое сделал критик в статье 1860 г. о романе И. С. Тургенева «Накануне», озаглавленной «Когда же придет настоящий день?» («Накануне», повесть И. С. Тургенева, «Русский вестник», 1860, № 1)»: «В Ольге <...> мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от всего остального общества; но где ее практическая деятельность? <...> В образе Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастья, бедность и унижение ее близких. <...> Елена как будто служит ответом на вопросы и сомнения Ольги, которая, поживши с Штольцем, томится и тоскует и сама не может дать себе отчета — о чем».¹

Многие поколения русских читателей воспринимали «Обломова» по Добролюбову. Да и критики, даже если они не принимали его концепцию, обычно так или иначе ее учитывали, писали с оглядкой на нее. Выводы Добролюбова были так остро восприняты людьми XIX в., потому что критик «замкнул» проблематику романа на российскую жизнь той эпохи. Как выразился В. В. Розанов, Добролюбов литературу «слил <...> с душой исторически развивающегося общества».²

Герцен в статьях «Very dangerous!!!»³ и «Лишние люди и желчевики»⁴ категорически отказался включить Обломова в ряд «лишних людей», которые в удушающей атмосфере николаевского режима «не по доброй воле ничего не де-

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1963. Т. VI. С. 109—110. По предположению М. Г. Зельдовича, в этих рассуждениях об Ольге есть скрытая полемика с А. А. Григорьевым, который отзывался о ней резко отрицательно (см.: Зельдович М. Г. Проблема творческого метода писателя в критике Добролюбова // Н. А. Добролюбов: Статьи и материалы. Горький, 1965. С. 37).

² Розанов В. В. Мысли о литературе / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. М., 1989. С. 179.

³ Колокол. 1859. Л. 44. 1 июня.

⁴ Там же. 1860. Л. 83. 15 окт.

дали» (Герцен. Т. XIV. С. 324). Их положение — «одно из самых трагических положений в мире» (Там же). С его точки зрения герой Гончарова к «настоящим», «почетным», «никалаевским» «лишним» никакого отношения не имеет. Если, по Добролюбову, «лишних» объединяет барство и они возникли на почве крепостничества, которое давало возможность праздной жизни (вина «лишних»), то, по Герцену, «лишние» появились вследствие политической реакции 1830—1840-х гг., которая помешала лучшим людям реализовать себя (беда «лишних»). Герцен был склонен ставить в ряд «лишних» и своих бывших товарищей, и самого себя. Поэтому для Герцена резкие отзывы о «лишних» в статье Добролюбова означают обидную недооценку прогрессивной роли всего идейного движения 1840-х гг. В системе герценовских рассуждений периода общественного подъема 1860-х гг. естественным оказался вывод: «...время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет *лишних* людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свищ или лентяй (...) общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуяло в них свои *страдания*, отвернется от Обломовых». «Обломовский хребет», по мнению Герцена, разделил «лишних» на настоящих, истинных, и людей обломовского закваса, тех, кого он называл «вольноопределяющимися в лишние люди», т. е. ставшими «лишними» добровольно (Там же. С. 317, 324).¹ Герцену «Обломов» реши-

¹ В критике XIX века есть примеры, когда определение «лишний» по отношению к Обломову понималось и не по Герцену, и не по Добролюбову. Так, Н. И. Соловьев в статье «Вопрос об искусстве. Сочинения Н. А. Добролюбова» (ОЗ. 1865. № 7. С. 436—444) слово «лишний» употребляет почти буквально (ненужный), без учета того иронического смысла, который изначально присутствовал в словосочетании «лишний человек». Он писал: «...Обломов не лишний человек, как думал Добролюбов: Обломов необходим обществу, его только нужно разбудить...» («Обломов» в критике. С. 172). Но у Добролюбова речь не о том, нужна или нет обществу такая личность, а о ее неспособности к активному участию в жизни. Что же касается самого Гончарова, то его представление о понятии «лишний человек» выражено в письме к П. Г. Ганзену от 9 февраля 1885 г.; говоря здесь о немецком переводчике, авторе статьи об «Обломове», который героя романа «относит» «к *лишним* людям», писатель замечает: «...вот и не понял! (...) Таких *лишних* людей полна вся русская толпа, скорее *не-лишних* меньше». С точки зрения Гончарова, «лишние» были исклю-

тельно не понравился и с эстетической точки зрения (он равно не разделяет здесь суждений как Добролюбова, так и Дружинина). Роман Гончарова, по его мнению, «непроехимо скучен»: «длинная одиссея (...) полузаглухой, ледящейся натуры, которая тянется, соловееет, рассыпается в одни бессмысленные подробности» (Там же. С. 116, 118). Герцен преимущественно полемизирует в статьях «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики» с «желчевиками» «Современника» (Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский); мимоходом задевается и И. И. Панаев: «Мы безропотно выносили десять лет болтовню о всех петербургских камелиях и аспазиях...» (Там же. С. 117). Но одновременно он полемизировал с А. В. Дружининым («Библиотека для чтения») и с С. С. Дудышкиным («Отечественные записки») — критиками журналов, в которых часто присутствовали нападки на «обличительную» литературу и «желчной сатире, взявшей на себя роль нравственного опекуна и гувернера», противопоставлялось творчество таких светлых и гармонических писателей, как Гончаров и С. Т. Аксаков.¹ Герцен писал: «Чистым литераторам, людям звуков и форм, надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало „Обломовых” и антологических стихотворений» (Герцен. Т. XIV. С. 116).

Гончаров статью Герцена прочел с большим вниманием. Естественно, он обратил внимание и на процитированное место, заподозрив тут (без малейших оснований) происки уехавшего за границу И. С. Тургенева. В письме к А. Ф. Писемскому от 28 августа (3 сентября) 1859 г. он жаловался: «Уж не знаю, против чего укрепляться мне: разве против сплетен известного нашего общего друга, да нет, ни море, ни расстояние не спасают. Читал некоторые статейки в одном издании, направленные против *людей, звуков и форм*, и, узнавши, что *друг* побывал в Лондоне, я сейчас понял, откуда подул ветер».² Запомнилась Гонча-

чениями. А его герой, который был «цельным, ничем не разбавленным выражением массы» («Лучше поздно, чем никогда», 1879), в эту категорию никак не может быть зачислен.

¹ См., например: *Ахшарумов Н. Д.* О порабощении искусства // *ОЗ*. 1858. № 7. Отд. I. С. 287—326.

² Немного ранее Гончаров писал А. А. Краевскому: «Хотя в лондонском издании, как слышал, меня царапают, да и не меня, а будто

рову и статья «Лишние люди и желчевики» — выражение Герцена «обломовский хребет» он употребил в статье «Лучше поздно, чем никогда».

Писарев в своей статье «„Обломов“». Роман И. А. Гончарова»,¹ как и Добролюбов и позднее Дружинин, резко отделяет произведение Гончарова от так называемой обличительной литературы. Это явление иного масштаба. В романе «Обломов», по мнению критика, «общечеловеческий интерес» согласен с «народным и современным». «Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, — подчеркивает критик, — принадлежит всем векам и народам, но имеет особенное значение в наше время, для нашего русского общества».²

Писарев дает свое объяснение умственной апатии, которая владеет героем романа: Илья Ильич не может найти удовлетворительного ответа на вопросы: «Зачем жить? К чему трудиться?». Апатия русского героя, по мысли критика, сродни байронизму. И здесь и там в основе — сомнение в главных ценностях бытия. Но байронизм — это «болезнь сильных людей», в нем доминирует «мрачное отчаяние». А апатия, с ее стремлением к покою, «мирная», «покорная» апатия — это и есть обломовщина, болезнь, развитию которой «способствует и славянская природа, и жизнь нашего общества». Сложность этой личности Писарев объясняет не изжитым, а лишь приглашенным внутренним конфликтом: «Образование научило его презирать праздность; но семена, брошенные в его душу природою и первоначальным воспитанием, принесли плоды. Нужно было согласить одно с другим, и Обломов стал объяснять себе свое апатическое равнодушие философским взглядом на людей и на жизнь {...} и он спокойно задремал с полным сознанием собственного достоинства» («Обломов» в критике. С. 70, 73).

всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что, если б я написал черт знает что, и тогда бы пошады мне никакой не было за одно только мое звание и должность» (письмо от 7 (19) июля 1859 г.). Об ироническом отношении Герцена к «Фрегату „Паллада“» и цензорской деятельности Гончарова см.: наст. изд., т. 3, с. 527.

¹ Рассвет. 1859. № 10. Отд. II. С. 5—21.

² «Обломов» в критике. С. 70. Существует косвенное свидетельство того, что эту мысль Писарева очень высоко оценил сам Гончаров «как лучшее из всего написанного о романе» (см.: Соловьев Е. А. И. А. Гончаров. Его жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк. СПб., 1895. С. 55).

Особенно важно в Обломове то, считает критик, что он человек переходной эпохи. Такие герои «стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской — и не могут шагнуть решительно из одной в другую». Промежуточностью положения этих людей объясняется и дисгармония «между смелостью их мысли и нерешительностью действий».

«Событий, действия почти нет», — это, по мысли критика, вполне объяснимо для романа Гончарова: «...интерес такой жизни заключается не в замысловатом сцеплении событий, хотя бы и правдоподобных (...) а в наблюдении над внутренним миром человека». Писарев по-своему объясняет, как герой Гончарова сумел сохранить свое «голубиное сердце»: «...он никогда не разочаровывался, потому что никогда не жил и не действовал. Оставшись до зрелого возраста с полной верою в совершенства людей, создав себе какой-то фантастический мир, Обломов сохранил чистоту и свежесть чувств, характеризующую ребенка», «в этой привлекательной личности нет мужественности и силы, нет самостоятельности» (Там же. С. 74).

В писаревских рассуждениях сравнительно легко решался вопрос о «почве», о национальных корнях, который представлялся очень непростым и самому Гончарову, и таким разным критикам, как Добролюбов, Дружинин и А. А. Григорьев, при всех различиях в их понимании обломовщины. Образование, научное знание, по мысли Писарева, дает возможность достаточно легко шагнуть в европейскую жизнь, в которой главными действующими лицами станут не мечтатели Обломы, «невинные жертвы исторической необходимости», а люди мысли и труда — Штольцы и Ольги.

«Личности, подобные Штольцу, — пишет критик, — редки в наше время». Но «характер Штольца вполне объяснен автором и, таким образом, несмотря на свою резкость, является характером понятным и законным». Для Писарева существенным в этом герое является то, что он «умел внести в практическую деятельность прочные теоретические знания», в нем есть «выработанность убеждений, твердость воли, критический взгляд на людей и на жизнь», «вера в истину и добро», он сознает, что «господство разума не исключает чувства, но осмысливает его и предохраняет от увлечений», в любви он видит «не служе-

ние кумиру, а разумное чувство», и, наконец, он «не мечтатель, потому что мечтательность составляет свойство людей больных телом или душою, не умевших устроить себе жизнь по своему вкусу» (Там же. С. 75, 76).

О Штольце много будут писать и позже. Интерпретации этого образа будут самые разнообразные. Но, пожалуй, никто не будет говорить об этом герое с такой симпатией, с прорывающимся сквозь строгие суждения лирическим чувством, как Писарев в этой статье. В гончаровском герое критик увидел черты того «мыслящего человека», «здорового члена цивилизованного общества», который с годами будет привлекать его все больше и больше.

Ольга в его толковании — это «тип будущей женщины», в ней главное — «естественность и присутствие сознания». Если Обломов и Штольц, по наблюдению Писарева, даны в романе как сложившиеся личности, то характер Ольги «формируется перед глазами читателя». Создавая этот характер, романист «показал в полной мере образовательное влияние чувства». В Ольге Писарев находит нечто, роднящее ее со Штольцем: чувство в ней «не нисходит на степень страсти, не помрачает рассудка», «подобное чувство не перестает быть сознательным» (Там же. С. 79). «Присутствие сознания» помогло героине «победить себя», «разорвать» свое чувство к Илье Ильичу, она поняла, что «обаятельная сила сонного спокойствия сильнее ее живительного влияния». А в новой любви Ольги, к Штольцу, «все было определено, ясно и твердо» (Там же. С. 80, 81).

В основе характеристики, которую Писарев с энтузиазмом просветителя дает тому или иному герою, — большая или меньшая степень освоения героем передовых, «правильных» идей.

Сознавая переходный характер эпохи, романист и критик по-разному думали о том, как может и должен осуществиться грядущий перелом. Для Гончарова мудрость в том, чтобы понять: жизнь — это органический процесс, общество не может лишь усилием воли «стряхнуть» с себя прошлое. Автор «Обломова» был убежден, что — как он напишет в статье «Лучше поздно, чем никогда» — «крупные и крутые повороты не могут совершаться как перемена платья, они совершаются постепенно, пока все атомы брожения не осият — сильные слабых — и не сольются в одно. Таковы все переходные эпохи».

В статьях «Писемский, Тургенев и Гончаров. Сочинения А. Ф. Писемского. Т. 1 и 2. Сочинения И. С. Тургенева»,¹ «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»,² Писарев будет совсем иначе оценивать творчество автора «Обломова». Теперь Писарев уже не признает не раз отмеченной как достоинство объективности Гончарова-романиста. По мысли критика, раз эпическая поэзия в чистом виде своем теперь невозможна, то и эпической объективности ждать от современного романиста не следует. Лирическое начало, авторский пафос так или иначе проявятся. «Но если в рассказе, великолепно обставленном живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатление будет совершенно неудовлетворительно» (Там же. С. 87). Это как раз случай Гончарова. «Если два больших романа, — критик имеет в виду «Обыкновенную историю» и «Обломова», — которых сюжеты взяты из современной жизни, не выражают ясно даже отношений автора к идеям и явлениям этой жизни, — это значит, что в этих романах есть умышленная или нечаянная недоговоренность» (Там же. С. 88). В гончаровском романе Писарев видит поэтому «только тщательное копирование мелких подробностей и микроскопически тонкий анализ» и не находит в нем «ни глубокой мысли, ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности» (Там же. С. 99).

С точки зрения Писарева 1861 г. «в героях „Обломова“ нет ничего русского и, кроме того, ничего типичного» (Там же. С. 92). «Бледен и неестествен до крайности» Штольц, это «нелепая фигура», сильно смахивающая на коммивояжера и похожая «на довольно искусно выточенную марионетку». Критик готов покаяться в своей ошибке: чуть больше года назад он «восторгался Ольгою как образцом русской женщины» (Там же. С. 100). Теперь он видит, что и она лишь «очень красивая марионетка». Итоговый вывод 1861 г.: «Обломов» — «клевета на русскую жизнь» (Там же. С. 98).

Именно Писарев начнет создавать тот образ писателя Гончарова («по плечу всякому читателю», «везде стоит на почве чистой практичности», «эгоист, не решающийся

¹ Рус. слово. 1861. № 11. Отд. II. С. 1—48.

² Там же. № 12. Отд. II. С. 1—53.

взять на себя крайних выводов своего мирозерцания и выражающий свой эгоизм в тепловатом отношении к общим идеям или даже, где возможно, в *игнорировании* человеческих и гражданских интересов» — Там же. С. 85), который в конце концов найдет окончательное и крайне резкое воплощение у Р. В. Иванова-Разумника: мещанин, выразитель официального мещанства.¹

Вслед за Герценом и Писарев теперь отказывает герою Гончарова в праве стоять в ряду «истинных» «лишних». В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров...» он писал: «Тип Обломова не создан Гончаровым; это повторение Бельтова, Рудина и Бешметева; но Бельтов, Рудин и Бешметев приведены в связь с коренными свойствами и особенностями нашей зачинающейся цивилизации, а Обломов поставлен в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента. Бельтов и Рудин сломлены и помяты жизнью, а Обломов просто ленив, потому что ленив. (...) Бельтов, Рудин и Бешметев доходят до своей дрянности вследствие обстоятельств, а Обломов — вследствие своей натуры. Бельтов, Рудин и Бешметев — люди, измятые и исковерканные жизнью, а Обломов — человек ненормального телосложения. В первом случае виноваты условия жизни, во втором — организация самого человека» (Там же. С. 90, 97).²

У А. А. Григорьева нет статьи об «Обломове», но в большом цикле статей «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“ («Современник», 1859 г., № 1)» (1859) и в других его работах («После „Грозы“ Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (1860), «Граф Л. Толстой и его сочинения» (1862)) находим множество замечаний, оценок, рассуждений, касающихся второго романа Гончарова. Свое внимание к творчеству Гончарова Григорьев объяснял тем, что у автора «Обломова» «отношение к почве, к жизни, к вопросам жизни стоит на первом плане» (Григорьев. С. 327).

Вместе с тем творец «органической критики», которого в художественном произведении интересовало прежде всего отношение автора к созданным им образам в свете

¹ См. об этом ниже, с. 393—394.

² О перемене в суждениях критика о Гончарове см., в частности: Сорокин Ю. С. Писарев как литературный критик // Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Л., 1981. Т. 1. С. 20.

его, автора, индивидуального идеала, обнаруживает у создателя «Фрегата „Паллада”» и «Обломова» «положительное отсутствие идеала во взгляде» (Там же. С. 332). «Как, читая произведения г. Гончарова, не скажешь, что талант их автора неизмеримо выше воззрений, их породивших!» (Там же. С. 329). Поэтому для критика роман «Обломов» — произведение «огромного, но чисто внешнего художнического дарования» (Там же. С. 325).

Идеал автора «Обыкновенной истории», по мнению Григорьева, соответствовал «требованию минуты, требованию большинства, чиновничества, морального мещанства» (Там же. С. 332). А поскольку за эти годы мало что изменилось (сознание автора «Фрегата „Паллада”», как выразился критик, «застряло в Японии», т. е. пребывало в некоем восточном оцепенении), то и в новом романе Григорьев увидел прежде всего утверждение «искусственной», «бюрократической практичности» (Там же. С. 526, 539—540) и не более того.

В этом ракурсе роман, естественно, показался критику «вчерашним»: он «опоздал, по крайней мере, пятью или шестью годами» (Там же. С. 332).¹ «Весь „Обломов”, — категорически заявляет Григорьев, — построен на азбучном правиле: „возлюби труд и избегай праздности и лени — иначе впадешь в обломовщину и кончишь, как Захар и его барин”» (Там же. С. 325). Это «азбучное правило», считал Григорьев, использовал в своем анализе романа и «публицист „Современника”» (т. е. Добролюбов. — *Ред.*), и другие критики — «люди, живущие исключительно вопросами минуты, люди честные, благородные, но недалёковидные» (Там же. С. 325). Очевидно, такое понимание авторского идеала, такое «выпрямление» авторского замысла помешали критику воспринять широкий, вневременной социально-психологический и философский смысл романа «Обломов».

Особый сюжет в суждениях Григорьева — отношение автора и критиков к Обломовке и обломовщине.

¹ Ср. с утверждением, содержащимся в статье (1860) К. Н. Леонтьева: «Но теплое и трепещущее жизнью не возбуждает возражения, несмотря на историческую отсталость. Взгляните на Обломова: кто мог ожидать появления такого забытого типа?» (*Леонтьев К. Н. Собр. соч.* М., 1913. Т. VIII. С. 13—14). О подчеркивании Леонтьевым «анакронизма» типа Обломова см.: *Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы.* М., 1999. С. 296—297.

Жизнь в Обломовке, обломовщина в сознании Григорьева теснейшим образом связана с тем, что он называет «почвой», т. е. с национальным патриархальным бытом, традицией, отношением к «почве», к обломовщине для него — жгучая, важнейшая проблема. Размышления Григорьева о почве (обломовщине) приобретают порой напряженный, открытый, лирический характер: «Как только вы <...> станете, как анатомическим ножом, рассекать то, что вы называете Обломовкой и обломовщиной, бедная обиженная Обломовка заговорит в вас самих, если только вы живой человек, органический продукт почвы и народности. Пусть она погубила Захара и его барина, — но ведь перед ней же склоняется в смирении Лаврецкий, в ней же обретает он новые силы любить, жить и мыслить» (Там же. С. 326).

И в другом месте: «Ведь мы ищем, мы просим ответа на страшные вопросы у нашей мало ясной нам жизни; ведь мы не виноваты ни в том, что вопросы эти страшны, ни в том, что жизнь наша, эта жизнь, нас окружающая, нам мало ясна с незапамятных времен. Ведь это поистине страшная, затерявшаяся *где-то* и *когда-то* жизнь, та жизнь, в которой рассказывается серьезно, как в „Грозе“ Островского, что „эта Литва, она к нам с неба упала“, и от которой, затерявшейся *где-то* и *когда-то*, отречься нам нельзя без насилия над собою, противуестественного и потому почти преступного; та жизнь, с которой мы все сначала враждуем и смирением перед неведомою правдою которой все люди с сердцем, люди плоти и крови кончали, кончают и, должно быть, будут еще кончать, как Федор Лаврецкий, обретший в ней свою исковую и созданную из ее соков Лизу; та жизнь, которой в лице Агафьи Матвеевны приносит Обломов в жертву деланную и изломанную, хотя внешне грациозную, натуру Ольги и в которой он гибнет, единственно, впрочем, по воле его автора и не мирия нас притом нисколько своею гибелью с личностью Штольца.

Да, страшна эта жизнь, как тайна страшна, и, как тайна же, она манит нас и дразнит и тащит...

Но куда? — вот в чем вопрос.

В омут или на простор и на свет? В единении ли с ней или в отрицании от нее, губящей обломовщины, с одной стороны, безысходно-темного царства, с другой, заключается для нас спасение?» (Там же. С. 375—376).

Характеры героев Тургенева, Островского, Гончарова, смысл их судеб Григорьев часто пытался объяснить, опираясь на главный критерий: как они связаны с «почвой», обломовщиной. Чаше других в поле его зрения оказывается Лаврецкий: «В нем столько же натуры и привязанности к почве, сколько идеализма. В его душе глубоко отзываются и воспоминания детства, и семейные предания, и быт родного края, и даже суеверия. *Он человек почвы*, он, если хотите, из обломовцев {...}. В этом его слабость, но в этом и его сила; слабость, разумеется, в настоящем, сила в будущем» (Там же. С. 316; курсив наш. — *Ред.*). Почему речь идет и о силе, и о слабости такого героя? Очевидно, потому, что в смирении перед почвой, обломовщиной выразились «известные мотивы нашего самосознания», «наши различные идеалы».

В размышлениях о патриархальном, обломовском мире Григорьев приходит к пониманию необходимости двойного, объемного взгляда на него: этот мир одновременно и родная «почва», и «тина», «в которой все глохнет без развития или развивается нескладно и дико» (Там же. С. 419). И в этом критик, по сути, сближается с романистом, ибо главная особенность и «Сна Обломова», и романа в целом — сосуществование двух несовпадающих точек зрения на изображаемый мир.

Это «двойное» видение Григорьев обнаружил в «Сне Обломова» и осудил: наряду с эпически объективным изображением он увидел «неприятно резкую струю иронии в отношении к тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины» (Там же. С. 329). Для критика категорически неприемлемо то, что предлагается, по его мнению, как способ выхода из «тины» — «татаро-немецкое воззрение Штольца», «бесцельная деятельность для деятельности, которая математически резко, но верно представлена Гончаровым в фокусе {...} Штольца» (Там же. С. 316).

Лаврецкий так близок Григорьеву, в частности, потому, что герой «Дворянского гнезда» воспитан той эпохой, когда «философские верования были истинно верования, переходили в жизнь, в плоть и кровь», и в то же время в нем сильна тяга к «почве». Подобного сочетания качеств: и «идеалист», и человек «почвы» — критик не находил в Обломове. Этим, очевидно, объясняется то, что о главном герое гончаровского романа он говорит мало, вскользь, не углубляясь в анализ образа. Лаврецкий для

него — «живое, с муками и болью выношенное в душе поэта лицо», а Обломов — «холодное отвлечение различных однородных свойств и качеств в пользу теории» (Там же. С. 326), «отвлеченный математический итог недостатков и дефицитов того, что автор романа называет Обломовкой» (Там же. С. 322). И вместе с тем Григорьев был категорически против того, чтобы «романтику Обломову» (Там же. С. 526) предпочесть Штольца, в котором он видел «порождение искусственное» (Там же. С. 290).

Григорьеву глубоко импонировал взгляд на характер Обломова, выраженный в неопубликованной рецензии Де-Пуле, которую он цитирует. Григорьев отметил, в частности, наблюдение Де-Пуле, касающееся потрясающей психологической глубины, с которой в романе изображены чувства героя. Так, ужас, который испытывает Илья Ильич, узнав при последнем свидании от Штольца, что Ольга ждет его у ворот, Де-Пуле сравнивает с ужасом, который охватил Вальсингама, героя пушкинского «Пира во время чумы», «потрясенного среди бешеной, отчаянной оргии увещаниями священника, приведшего ему на память образ недавно умершей жены, Матильды» (цит. по: Григорьев. С. 335).¹

Более определенно и эмоционально, чем об Обломове, Григорьев говорит об Ольге. В одном случае эту героиню он называет «грандиознейшим созданием», правда пожертвованным автором «азбучному правилу», т. е. назидательной схеме (Там же. С. 326). В других случаях критик говорит не столько о художественном образе, сколько об особом типе женщины, представленном Ольгой.

Ольга, на взгляд Григорьева, не «героиня нашей эпохи». Поскольку этот тип женщины хорошо понятен критику, он с уверенностью строит предположения о ее будущем: «...Ольга точно умнее Штольца; он ей, с одной стороны, надоест, а с другой, попадет к ней под башмак, и действительно будет жертвою того духа нервного *самогрызения*, которое эффектно в ней, только пока еще она молода, а под старость обратится на мелочи и станет одним из обычных физиологических отправления» (Там же. С. 336). Психологическая суть такого типа критику представляется настолько ясной, что он смело дорисовывает судьбу Ольги вплоть до смерти: «Я почти уверен, что она

¹ См. также ниже, с. 371—372.

будет умирать, как барыня в „Трех смертях” Толстого...» (Там же. С. 334). По мысли Григорьева, совершенно естественно, что из двух героинь Обломов выбрал Агафью Матвеевну: «...она гораздо более женщина, чем Ольга» (Там же. С. 335).

Григорьеву принадлежит подлинная филиппика от имени «русского человека» по адресу этой героини: «Гончаровская Ольга... Да сохранит господь Бог от гончаровской Ольги в ее зрелых, а тем более почтенных, летах самых жарких ее поклонников — вот ведь все, что скажет русский человек об этом хитро, умно и грациозно нарисованном женском образе. С одной стороны — она чуть что не Улинька, *подымающая* павшего Тентетникова, с другой — холодная и расчетливая резонерка, будущая чиновница — директорша департамента или, по крайней мере, начальница отделения, от которой „убегом уйдешь — в Сибирь Тобольский”, не то что на Выборгскую сторону, где спасся от нее Обломов. У русского человека есть непобедимое отвращение к *подымающим* его до вершины своего развития женщинам, — да и вообще замечено, что таковых любят только мальчики, едва скинувшие курточки. От такого идеала непосредственное чувство действительно прямо повлечет к Агафье Матвеевне, которая далеко не идеал, но в которой есть несколько черт, свойственных нашему идеалу, — и явилось бы более, если бы автор „Обыкновенной истории” и „Обломова” был побольше поэт, верил бы больше своим душевным сочувствиям, а не сочинял бы себе из этих сочувствий какого-то пугала, которое надобно преследовать» (Там же. С. 364—365). Трудно себе представить, чтобы кто-нибудь из критиков более позднего времени решился бы на такую характеристику Ольги.

В декабре 1855 г., во время работы над рецензией о Гончарове «Русские в Японии, в конце 1853 и в начале 1854 года. (Из путевых заметок И. Гончарова). СПб., 1855» (С. 1856. № 1. Отд. II. С. 1—26), А. В. Дружинин записал в своем дневнике: «Мне удалось поймать за хвост сущность таланта в Гончарове...» (Дружинин. Дневник. С. 358). Критик считал, что автор «Обыкновенной истории» и «Сна Обломова» — «поэт по преимуществу», глубоко связанный с пушкинской традицией, его «фламандство» — это «открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за безжизненную прозу» (Дружинин.

С. 129).¹ Дружинин призывал Гончарова «признать законность своей артистической самостоятельности» (Там же. С. 133).

По мнению критика, выраженному в статье «Обломов. Роман И. А. Гончарова. 2 тома. СПб., 1859» (*БдЧ*, 1859. № 12. Отд. IV. С. 1—25), создатель «Обломова» почти не изменил своим творческим принципам и потому — преуспел. «Почти» — потому, что Дружинин видит «несогласие первой части романа со всеми последующими»: в части первой герой предстает лишь как «уродливое явление уродливой русской жизни», «засаленный, нескладный кусок мяса», как образ «отталкивающий и не просветленный поэзией» («*Обломов*» в критике. С. 112, 114, 115). Такой герой — дань «дидактическим стремлениям словесности» конца 1840-х гг. «Время перед 1849 годом, — пишет Дружинин, — не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г. Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. <...> Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, может, лежит целая пропасть, которой никто не в силах уничтожить» (Там же. С. 114, 113). И все-таки в конце концов романист ушел от одностороннего взгляда на героя и тем самым остался верен своему «призванию». «Он реалист, — пишет критик, — но его реализм постоянно согрет глубокой поэзией; по своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки отдаляют от г. Гончарова самую возможность *бесплодной* и сухой натуральности» (Там же. С. 112).

Все эти соображения должны были служить подтверждением тезиса, высказанного в начале статьи, где речь шла о Гете, — тезиса, который и предназначался для того, чтобы обозначить демаркационную линию между добролюбовским и дружининским подходом к произведению искусства: «Вседневные, насущные потребности общества законны как нельзя более, хотя из этого совершенно

¹ См. также: наст. изд., т. 1, с. 740—741.

не следует, чтоб великий поэт был их прямым и непосредственным представителем» (Там же. С. 107). Иными словами, смысл романа «одного из сильнейших русских художников» (Там же. С. 111) нельзя сводить к злободневной социальной проблематике.

Добролюбов, размышляя об обломовщине, выявляя ее социальную суть, отвлекался от конкретного, «этого именно» Ильи Ильича. Дружинин, размышляя об Обломове и Обломовых разных времен и земель, отвлекался от конкретных социальных вопросов «сегодняшней» русской жизни. Для Дружинина главным оказывается не социальная, крепостническая суть обломовщины, а ее национальная основа (Там же. С. 122). В обломовщине, какой она проявилась в поведении Ильи Ильича, Дружинин увидел и «злую и противную» сторону, и «поэзию», и «комическую грацию», и «откровенное сознание своих слабостей» (Там же. С. 114).

В романе Гончарова Дружинина интересует прежде всего Илья Ильич как личность в ее нравственно-психологических проявлениях. Здесь Дружинин резко разошелся с Добролюбовым. Автору статьи «Что такое обломовщина?» Илья Ильич «противен в своей ничтожности». Дружинину гончаровский герой «любезен» и «дорог» (Там же. С. 112—113).

«„Сон Обломова“! — пишет Дружинин, — этот великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена, был первым, могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. (...) Обломов без своего „Сна“ был бы созданием неоконченным, не родным всякому из нас, как теперь, — „Сон“ его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова» (Там же. С. 115).

По Дружинину, Обломов — «чуждак» с детским сознанием, не подготовленный к практической жизни, «мирно укрывшийся от столкновений с ней», «не кидающий своей нравственной дремоты за мир волнений, к которым он не способен». «Детское» в обломовской жизни, считает критик, оказывается и «консервативным», потому что оно не готово к переменам, но это страх жизни, а не вражда к ней. Поэтому Обломов, «ребенок по натуре и условиям своего развития», «бессилен на добро, но он положительно неспособен к злему делу» (Там же. С. 122).

Обломову не дано проявить себя через поступок. Но романист находит иную возможность раскрыть героя, показать все своеобразие его души: «...Обломовы выдают всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизм своей натуры (...) через любовь к женщине. Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства — и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами! Как живет и наполняет все наши представления об Обломове эта юная, горделиво-смелая девушка, как сочувствуем мы стремлению всего ее существа к этому незлобивому чудачку, отделившемуся от окружающего его мира, как страдаем мы ее страданием, как надеемся мы ее надеждами, даже зная, и хорошо зная, их несбыточность» (Там же. С. 116—117).

Даже контрастное сопоставление со Штольцем, полагает критик, мало что добавляет к характеристике Обломова, суть героя с достаточной полнотой раскрывается в истории его отношений с Ольгой. «Ольга, — пишет Дружинин, — поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и, наконец, — чего забывать не должно — разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и нисколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе» (Там же. С. 117—118). Дружинин полагал, что создание такого образа Ольги принципиально изменило роль Штольца в сюжете романа: «Роль его стала незначительною, вовсе несоразмерною с трудом и обширностью подготовки, как роль актера, целый год готовившегося играть Гамлета и выступившего перед публикой в роли

Лаэрта. <...> Уяснение через резкую противоположность двух несходных мужских характеров стало ненужным: сухой неблагодарный контраст заменился драмой, полною любви, слез, смеха и жалости. За Штольцем осталось только некоторое участие в механическом ходе всей интриги, да еще его беспредельная любовь к особе Обломова, в какой, впрочем, у него много соперников» (Там же. С. 119).

Дружинин первым сказал об исключительной роли комического в художественной системе Гончарова. Для него Гончаров настоящий последователь Гоголя, творчество которого отнюдь не сводится к сатире. Комическое искусство Гончарова, по мысли критика, достигает гоголевской высоты: «Перед сколькими частностями <...> добродушнейший смех овладевает нами, и овладевает затем, чтоб тотчас же смениться ожиданием, грустью, волнением, горьким соболезованием к слабому! Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы — тот смех, который стал было нам ненавистен, — так часто им прикрывались скандальские стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников! Выражение, так безжалостно опозоренное бездарными писателями, вновь получило для нас свою силу: могущество истинной, живой поэзии снова воротило к нему наше сочувствие» (Там же. С. 118). Это очень существенное наблюдение по поводу романа, в начале которого решительно осмеяна «пенковщина» — механистическое распространение принципа «физиологизма» на все искусство.

Очень точные и эмоциональные слова нашел Дружинин для описания судьбы и чувств Агафьи Матвеевны. И даже параллель с Пушкиным не кажется здесь простительным перебором доброжелательно настроенного рецензента, а воспринимается как «правда»: «...ниче обожание (даже считая тут чувства Ольги в лучшую пору ее увлечения) не трогает нас так, как любовь Агафьи Матвеевны к Обломову, той самой Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая с первого своего появления показалась нам злым ангелом Ильи Ильича, — и увы! действительно сделалась его злым ангелом. Агафья Матвеевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, действительно загубила его вконец, навалила гробовой камень над всеми его стремлениями, ввергнула его

в зияющую пучину на миг оставленной обломовщины, но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила. Страницы, в которых является нам Агафья Матвеевна, с самой первой застенчивой своей беседы с Обломовым, верх совершенства в художественном отношении, но наш автор, заключая повесть, переступил все грани своей обычной художественности и дал нам такие строки, от которых сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркого читателя улетает в область такой поэзии, что до сих пор, из всех русских людей, быть творцом в этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агафьи Матвеевны о покойном Обломове, ее отношения к семейству и Андриюше, наконец, этот дивный анализ ее души и ее прошлой страсти — все это выше самой восторженной оценки» (Там же. С. 120).¹

Поскольку, по мысли критика, «Обломов, как живое лицо, достаточно полон для того, чтоб мы могли судить о нем в разных положениях, даже не замеченных его автором» (Там же. С. 123), Дружинин позволяет себе строить «догадки» (тут сказался и его опыт прозаика) о возможных вариантах судьбы гончаровского героя. Автор рецензии додумывает сюжетные возможности романа, чтобы проиллюстрировать свой вывод: Илья Ильич, в отличие от Ольги и Штольца, «людей хороших и современных», не

¹ Любопытно, что в оценке образа Агафьи Матвеевны Дружинин оказался близок к Г. А. Кушелеву-Безбородко, автору скандально известной статьи, в которой утверждалось, что «типы Обломова, Штольца, Ольги — вообще неправдоподобны», ибо представляют собой «какие-то оживленные философские умозаключения» (см.: К. Б. *Кушелев-Безбородко Г. А.* О значении романа нравов в наше время. (По поводу нового романа г. Гончарова «Обломов») // Рус. слово. 1859. № 7. Отд. «Критика». С. 14, 34; возражения анонимного рецензента «Отечественных записок», озаглавленные «Убийственная критика. (Посвящается К. Б., знаменитому критику г. Гончарова в «Русском слове»)», см.: ОЗ. 1859. № 10. Отд. «Русская литература». С. 118—121; о «несомненном воздействии на Кушелева-Безбородко Ап. Григорьева» см.: *Егоров Б. Ф.* Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982. С. 111). О любви Агафьи Матвеевны к Илье Ильичу в статье «Русского слова» сказано так: «Постепенность развития этой страсти простой женщины {...} неимоверно искусно передана. {...} Это одно из самых лучших мест всего романа, потому именно, что тут застигнута и понята природа. Здесь не вымысел, а истина, притом очерченная художником» (К. Б. *Кушелев-Безбородко Г. А.* О значении романа нравов в наше время. (По поводу нового романа г. Гончарова «Обломов»). С. 25).

либерален, так сказать, по уму, а добр по сердцу, «по инстинкту правды». «Илья Ильич, — рассуждает критик, — женился на Пшеницыной (и прижил с этой необразованной женщиной ребенка). И вот причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана преступившей все пределы! Ни Ольгу, ни ее мужа мы за это не виним: они подчинялись закону света и не без слез покинули друга. Но повернем медаль и на основании того, что дано нам поэтом, спросим себя: так ли бы поступил Обломов, если б ему сказали, что Ольга сделала несчастную *mésalliance*, что его Андрей женился на кухарке и что оба они, вследствие того, прячутся от людей, к ним близких. Тысячу раз и с полной уверенностью скажем, что не так. Ни идеи отторжения от дорогих людей из-за причин светских, ни идеи о том, что есть на свете *mésalliances*, для Обломова не существует. Он бы не сказал слова вечной разлуки, и, ковыляя, пошел бы к добрым людям, и прилепился бы к ним, и привел бы к ним свою Агафью Матвеевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и он дал бы новую пощечину Тарантьеву, если б тот стал издеваться над мужем Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильич в этом простом деле, конечно, поступил бы сообразнее с вечным законом любви и правды, нежели два человека из числа самых развитых в нашем обществе» (Там же. С. 123—124).

В глазах Дружинина герой обрел независимость от автора, живет своей жизнью, и критик обоснованно видит в этом знак психологической убедительности искусства романиста.

* * *

Почти все критики романа сходились в одном: история Ильи Ильича напрямую соотнесена у Гончарова с вопросом о прошлом и настоящем страны. Признал это в статье «„Обломов“. Роман И. Гончарова»¹ и почвенник А. П. Милюков. Но в романе он увидел клевету на русскую жизнь.

¹ Светоч. 1860. № 1. Отд. III. С. 3—38. Под названием «Русская апатия и немецкая деятельность» вошла в кн.: Милюков А. П. Отголоски на литературные и общественные явления: Критические очерки. СПб., 1875. С. 1—32.

В статье Милюкова, пожалуй, впервые был выражен особый, позднее получивший некоторое распространение взгляд на Гончарова как на блестящего бытописателя и не более того, — взгляд, который больно задевал самого романиста. «Эти похвалы, — писал Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда», — имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей живописи, за которую меня особенно хвалили, найдены были те идеи и вообще всё то, что (...) укладывалось в написанные мною образы, картины и простые, несложные события». Милюков отмечает, что автор «Обломова» безусловно мастер («верность рисунка», «поражительная живость красок», «природа», поражающая «отчетливостью форм»), «которого прямо можно поставить наряду с Гоголем», но его идеал, его понимание русской жизни ошибочны. Обломов, считает критик, это всего лишь «врожденная апатия», «человек-тряпка по самой своей природе». Его история — частный случай, касающийся больного человека. А вот апатия русского общества, продолжает свои рассуждения Милюков, зависела от «внешнего гнета». Гнет ослаб — и «натура русская» освободилась от апатии.

Аналитическая конструкция, предложенная Добролюбовым («обломовский ряд» от Онегина до героя Гончарова), воспринимается критиком как несомненная творческая установка самого романиста. Милюков писал в своей статье: «С первого взгляда видно, что (...) автор хотел показать нам в Обломове последний тип, в который переродился Онегин» («Обломов» в критике. С. 127—128). Говоря о «лишних» людях в русской литературе, выстраивая «ряд грустных и знаменательных лиц» от Онегина до Рудина, Милюков включает в него и героя поэмы А. Н. Майкова «Две судьбы» Владимира. В каждом из них критик видит «живую силу, испорченную только средою и жизнью» (Там же. С. 130). Иначе у гончаровского героя: «...лень и апатия Обломова происходят не столько от воспитания, как от негодности самой его натуры, от мелкости умственных и душевных сил» (Там же. С. 131).

Добролюбовский тезис о связи искусства и жизни (оттолкнувшись от литературного произведения, можно переходить к анализу жизненных процессов) применяется Милюковым достаточно механистично: он убежден, что именно сопоставление с конкретными жизненными фактами определяет, насколько оправдан созданный худож-

ником мир. «Наш крестьянский вопрос, — пишет критик, — шел, может быть, несколько медленно, но где же тут мертвая апатия! (...) Со стороны помещиков, что ли? Да разве мы не знаем, что делалось в комитетах, разве не нашлись там благородные личности, энергически стоявшие за дело, разве и сами Обломы ленились писать письма и проекты и без борьбы лежали колодами на диване в ожидании развязки?» (Там же. С. 128—129). Милюков говорит о стремлении русских людей побывать в других странах, о пробудившемся в них читательском азарте, вспоминает Ломоносова, Дашкову и Пушкина и делает вывод: Илья Ильич — «враг всего, к чему стремится Россия» (Там же. С. 131). Герой романа оказывается в открытом публицистическом пространстве и потому беззащитен, ведь в соответствии с этой традицией Обломова оценивают и судят как реальное историческое лицо.¹

Статья Н. Д. Ахшарумова «„Обломов“». Роман И. Гончарова» (*РВ*. 1860. № 2. С. 600—629) полемична по отношению к тем работам о романе, которые появились раньше ее. В ней предложены неожиданные характеристики главных героев. Так, Илья Ильич, по мысли Ахшарумова, не мечтатель, а настоящий реалист, трезво смотрящий на жизнь. Какова логика рассуждений автора статьи?

Ахшарумов говорит о роли предания, сказки, мифа в формировании человека обломовского мира. Что мечталось сказочному герою, что обещалось мальчику Илье, то получил помещик Обломов. Для помещика труд «отродясь существовал как нечто внешнее и случайное» («*Обломов*» в критике. С. 151). Илья Ильич видел жизнь «как она есть», понимая, что «для русского барина она действительно не содержит в себе труда как необходимого элемента». «Реалист» Илья Ильич — человек с барским со-

¹ Этот аргумент будет популярен у критиков, усматривавших в Обломове клевету на «класс». Так, через тридцать лет после Милюкова К. Ф. Головин, споря с худо понятым Добролюбовым (в интерпретации которого герой романа будто бы «лишь очень односторонний представитель дореформенного поместного дворянства»), напишет: «Странно было бы (...) подводить под мерку Обломова целый многочисленный класс в то самое время, когда в лице мировых посредников он выставил столько энергичных деятелей переустройства крестьянского быта и лишь несколько лет после того, как из его рядов вышло столько защитников Севастополя» (*Головин К. Ф. И. А. Гончаров. (Литературная характеристика)* // *Ист. вестн.* 1891. № 5. С. 374).

знанием, в этом выводе Ахшарумов совпадает с Добролюбовым.

Для понимания деятельного героя, считает Ахшарумов, важен вопрос: какой смысл имеет его труд? Если только «личное удовольствие», т. е. удовлетворение личных потребностей, то тогда между трудом Штольца-Мефистофеля, обломовского двойника, и бездельем Ильи Ильича нет существенной разницы (Там же). Ахшарумов говорит о людях, которые противостоят и Обломовым, и Штольцам, — о «смелых пионерах», которые «пролагали для нас дороги и строили мостики на опасных местах» (Там же. С. 165), о людях, действовавших вне личных целей и устремлений.

Драматизм положения Ильи Ильича Ахшарумов объясняет его приверженностью двум противоречащим друг другу жизненным принципам: один «чисто практический и реальный», принцип барского существования, другой «чисто теоретический, навязанный ему насильственно школой», который понятен ему «холодным рассудком», но который не мил его сердцу. Если, по Писареву, Обломов не может шагнуть в новую, «европейскую» жизнь, то, по Ахшарумову, он этого делать и не хочет, потому что эта «европейская», космополитическая жизнь, как она представлена в романе, не может привлечь русского человека. Жизнь, предложенная Штольцем Ольге, считает критик, оказалась «филистерским райком», «огороженным по всем карантинным правилам» «от общего недуга человечества».

При всем критическом отношении к автору «Обломова» как «моралисту и философу» Ахшарумов счел нужным отметить его искусство психологизма — прежде всего в изображении Ольги, которая проходит «целую школу любви <...> со всеми малейшими фазами этого чувства». «Давно, — замечает критик, — никто не писал у нас об этом предмете так отчетливо и подробно и не входил в такие микроскопические наблюдения над сердцем женщины <...> и надо отдать автору полную справедливость, все это выточено до последней возможности» (Там же. С. 163). По мысли Ахшарумова, романная история Штольца и Ольги не завершена. Говоря о сцене, в которой Штолец объясняет смысл ее странной тоски, критик делает такое замечание: «Сцена эта <...> единственная интересная из всех, какие происходят между Ольгой и Штоль-

цем; если бы дело шло собственно о них, то ею бы следовало не кончить, а начать их роман. Ольга, скушающая со Штольцем и требующая от него, как и от Обломова, той жизни, которую он не в силах ей дать... вот интересная задача! Что бы он сделал?» (Там же. С. 155).

Н. К. Михайловский, откликнувшись на публикацию отрывка из романа «Обрыв» «Софья Николаевна Беловодова»,¹ выразил неудовлетворенность образом Ольги Ильинской: она «полюбила бы, может быть, Обломова, если бы ей удалось его переработать. Но Обломов не мог перестать быть Обломовым, а потому Ольга не только не любила, но и не могла никогда его любить. Оттого личность Ольги как-то неопределенна, непонятна. Мы не понимаем этой лихорадочной деятельности, порожденной самолюбием и подавляющей все остальные чувства в женщине».² В той же рецензии, сопоставляя главные сюжетные линии «Обломова» и отрывка из «Обрыва» «Софья Николаевна Беловодова», Михайловский прибег к фольклорным ассоциациям, отчасти восходящим к мотивам романа (особенно к «Сну Обломова»): «В числе мифов других народов есть очарованный сон, и русская фантазия породила целое сонное царство. <...> Г. Гончаров вводит нас в настоящее сонное царство. В самом деле, бодрствуют ли Обломов и Софья Николаевна Беловодова? Нет, они спят сном крепким, непробудным, сном очарованным. Их погрузил в этот сон злой волшебник...»; «Даже и в сказках наших сонное царство просыпалось при звуках гуслей-самогудов. <...> Долго спали Обломов и Софья Николаевна спокойно; наконец их сон был не нарушен, но несколько обеспокоен — явились гусли-самогуды, это Ольга и Штольц для Обломова и Райский для Беловодовой. Борьба этих

¹ Рассвет. 1860. № 4. Это была первая критическая статья будущего народника. Вспоминая свой дебют, Михайловский с юмором писал, что тогда он «женщин не только не знал, а почти что и не встречал. Оторванный волею судеб с 14-ти лет от всякой семейной обстановки, заключенный в четырех стенах закрытого заведения и долго не имея в Петербурге никаких знакомых, я только перед самым своим выходом из корпуса, можно сказать, увидел женщин. Отсюда следует заключить, что в статейку о Софье Николаевне Беловодовой едва ли вложено особенно глубокое понимание, хотя тогда я, разумеется, был совершенно иного мнения об этом своем первенце» (*Михайловский Н. К. Литературная критика и воспоминания*. М., 1995. С. 216).

² И. А. Гончаров в русской критике: Сб. статей. М., 1958. С. 185.

элементов спящего и будящего составляет основу этих рассказов».¹

Двойное видение обнаружил в «Сне Обломова» и в романе в целом М. Ф. Де-Пуле, расценив его как порабощение искусства утилитарностью. «...„Сон Обломова“, — пишет критик, — вещь, от которой веет таким поэтическим благоуханием, что просто дух захватывает от восторга. Согласитесь, что над подобной вещью остановился бы даже Гоголь, мрачный, желчный Гоголь. Посмотрите же, как относится к собственному своему созданию практический г. Гончаров. Он просто издевается, глумится над ним, — признаюсь вам, в этом явлении я вижу глубокое падение искусства».²

Восприятие Достоевским всего гончаровского романа не было столь определенным и столь положительным,³ как восприятие им «Сна Обломова».⁴ Крайне негативная

¹ Там же. С. 184—185.

² Де-Пуле М. Нечто о подводных камнях и утесах в нашей литературе // Рус. речь. 1861. № 28. 6 апр. С. 450.

³ См.: Битюгова И. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в художественном восприятии Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 191—199; Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М., 1981.

⁴ В апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский, говоря о достижениях русской литературы 1840-х гг., наряду с «Мертвыми душами» и «Записками охотника» называет и роман «Обломов». При этом выделяет «лучший из него эпизод „Сон Обломова“, который с восхищением прочла вся Россия» (Достоевский. Т. XXII. С. 105). И это, и другие упоминания «Обломова» свидетельствуют о том, что главу IX части первой Достоевский воспринимал не только как часть романа, но и как самостоятельное художественное произведение, причем произведение замечательное, обладающее особой поэтической природой. Как свидетельствовал доктор С. Д. Яновский, он еще в 1849 г. с интересом читал и «цитировал с увлечением» быстро ставший знаменитым отрывок из будущего романа (Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 238). «Сон Обломова» долго будет жить не только в памяти, но и в творческом сознании Достоевского. Судя по подготовительным материалам, писатель собирался включить в «Преступление и наказание» (1866) главу, которая должна была иметь особое поэтическое звучание: «Глава „Христос“ (как «Сон Обломова») кончается пожаром» (Достоевский. Т. VII. С. 166). А вот строки из «Плана для рассказа (в «Зарю»)» 1869 г.: «Она с ним робка, он ее поразил трагичностью своих приемов, но возбудил симпатию, прогулки (сон Обломова, полная доверчивость...» (Там же. Т. IX. С. 117). Словосочетание «сон Обломова» в этом наброске воспринимается не как отсылка к какому-то мотивам сюжета гончаровской главы, а, скорее, как обозначение

оценка его была дана писателем в письме к брату, М. М. Достоевскому, от 9 мая 1859 г., сразу же после завершения журнальной публикации романа: «по-моему, отвратительный» (*Достоевский*. Т. XXVIII, кн. 1. С. 325).

В февральском номере журнала «Время» за 1861 г. была опубликована анонимная рецензия под названием «Гаваньские чиновники в домашнем быту, или Галерная гавань во всякое время дня и года. (Пейзаж и жанр) Ивана Генслера». В Полном собрании сочинений Достоевского она опубликована в разделе «Dubia», поскольку, по мнению комментаторов, «есть все основания говорить о редакторском вмешательстве Достоевского в рецензию, вероятно написанную Ап. Григорьевым» (Там же. Т. XXVII. С. 412). В рецензии с сочувствием («прекрасно написанный») упоминается разбор «Обломова», сделанный А. П. Милюковым, который достаточно сурово отнесся к роману. Упоминанию Милюкова предшествует пассаж, посвященный некоему «г-ну Х, одному из известных наших писателей»: «Попробуйте, например, сказать <...> что прославленный роман его не выдерживает критики, что герой его утрирован, что весь роман растянут и, несмотря на прекрасные детали, скучен; что героиня его хороша и привлекательна только в романе, благодаря той неопределенности очертаний, которая выпала на долю литературы как искусства, но что в жизни героиня эта пренесноснейшее существо, сущее наказание своего мужа. Прибавьте к этому похвалы некоторым второстепенным лицам, некоторым прекрасным страницам...» (Там же. С. 146). Комментаторы указанного тома справедливо полагают, что в этой микрорецензии подразумевается роман «Обломов». Если вспомнить, как отзывался о романе критик, каково было его отношение к Ольге как особому женскому типу, наконец, как был оценен «Обломов» в статье Кушелева-Безбородко, то с большой долей вероятности можно говорить, что абзац о романе «г-на Х» написан именно Григорьевым. Но вряд ли эти резкие суждения о гончаровском романе могли бы присутствовать в отредактированной Достоевским рецензии, если бы

ние жанрово-стилевых особенностей планируемой главы рассказа. В набросках к роману о стареющем писателе 1870 г. есть такой пункт: «...поэтическое представление вроде „Сна Обломова“, о Христе...» (Там же. Т. XII. С. 5).

они в корне противоречили его собственному восприятию «Обломова».

В 1864 г. в журнале «Эпоха» (№ 8) была опубликована статья Д. В. Аверкиева, посвященная недавно умершему А. А. Григорьеву. В примечаниях к ней, написанных Достоевским, было сказано, что автор статьи говорит «как бы от имени редакции». Аверкиев, в частности, писал об «увлечениях» Григорьева, которые были более «жизненными» и «сочувственными», чем увлечения других критиков. «Так, Григорьев, — заметил Аверкиев, — не мог никогда увлечься, подобно высокоталантливому Добролюбову, и признать гончаровского Штольца за какое-то нравственное совершенство, а бюрократическое произведение г. Гончарова за решение, окончательное и безапелляционное, вопроса о русском человеке, единственно по случаю встречающегося в этом произведении слова „*обломовщина*”».¹ Из примечаний Достоевского видно, что он солидаризуется с этой точкой зрения на роман. Для него, как и для Григорьева, в оценке «Обломова» главным был «вопрос о русском человеке», о его связи с почвой, о национальных началах русской жизни. Пример Штольца как носителя положительного, деятельного начала не поднимался ни Достоевским, ни Григорьевым. Для всякого читавшего статью «Что такое обломовщина?» было очевидно, что Аверкиев исказил точку зрения Добролюбова, который совсем не утверждал, что в Штольце надо видеть «нравственное совершенство». Достоевский пренебрег этой погрешностью своего сотрудника, потому что в целом григорьевский взгляд на этого героя ему был ближе, чем добролюбовский.²

В большинстве случаев, когда Достоевский вспоминает об «Обломове», он говорит о главном герое. Верно или нет представлен в нем русский человек — вот вопрос, который вызывает его короткие, но обычно очень катего-

¹ Эпоха. 1864. № 8. Отд. VIII. С. 9.

² В письме Достоевского к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г. есть принципиально важное противопоставление: собираясь в задуманном романе (будущие «Бесы») вывести «величавую, положительную, святую фигуру», писатель замечает: «Это уже <...> не немец (забыл фамилию) в „Обломове”» (Достоевский. Т. XXIX, кн. 1. С. 118). Анонимно, как «немец в „Обломове”», фигурирует Штолец и в подготовительных материалах к «Подростку» (1875) (Там же. Т. XVI. С. 329).

рические суждения. Одно из них содержится в записной книжке 1864—1865 г.: «Обломов. Русский человек много и часто грешит против любви; но и первый страдалец за это от себя. Он палач себе за это. Это самое характеристичное свойство русского человека. Обломову же было бы только мягко.

Это только лентяй, да еще вдобавок эгоист.

Это даже и не русский человек. Это продукт петербургский. Он также и барич, но и барич-то уже не русский, а петербургский» (Там же. Т. XX. С. 204).¹

По предположению комментаторов Полного собрания сочинений Достоевского, процитированная запись связана с замыслом передовой статьи «О помещичестве и белоручничестве в нашей литературе», которая так и не была написана. Этот замысел возник у писателя в связи с вновь вспыхнувшей журнальной полемикой о типе «лишнего человека». Об Онегине, Печорине и Рудине Достоевский говорил в этом плане еще раньше в статье «Книжность и грамотность» (1861). О «белоручничестве» Чацкого сказано в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863). В подготовительных материалах к «Подростку» есть заметка о том, что Версильов, перечисляя типы современной литературы, называет в одном ряду Чацкого, Печорина и Обломова (Там же. Т. XVI. С. 277). Судя по этим фактам, типологический ряд, в который попадал у Достоевского Обломов, оказывался близок к добролюбовскому.² Как и автор статьи «Что такое обломовщина?», Достоевский (в отличие от Герцена) делает упор на исторической вине «лишних».³

¹ Ср. в черновиках к «Братьям Карамазовым» (1879): «Напиши что хочешь дурное про русского человека — великим человеком тебя вознесут. Напиши, что ленив русский (Обломов), русский ли народ не работает» (Там же. Т. XV. С. 252).

² См.: *Викторович В. А., Краснов Г. В.* Примечания // Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. Т. II. С. 768—769, а также: *Бочаров С. Г.* Сюжеты русской литературы. С. 172—173.

³ Мнение Достоевского о романе с годами менялось. Так, в письме к А. Н. Майкову от 12 (24) февраля 1870 г. Достоевский ставит «Обломова» «по силе» в один ряд с «Мертвыми душами», «Дворянским гнездом» и «Войной и миром» (*Достоевский*. Т. XXIX, кн. 1. С. 106). Достоевский отошел и от жесткой трактовки гончаровского героя. Образ Обломова в сознании Достоевского словно двоится. Он может быть осмыслен и как «самозванец», не имеющий права представлять русского человека, и как герой, несущий в себе «народный дух». В воспоминаниях типографского работника М. А. Александров-

Обратившись к истолкованию образа Обломова, неожиданную параллель приводит П. В. Анненков. Для него сутью этой личности является «скептицизм по отношению к жизни». И в этом смысле Обломов прямой предтеча... Базарова.

Чтобы понять ход мыслей Анненкова, надо вспомнить об особой типологии, предложенной критиком. Он четко противопоставлял типы, «взятые из толпы», и «типы-понятия». Гончаров, по мнению Анненкова, как и Тургенев, обладает особой «тайной» создания сложных жизненных характеров — типов, взятых из окружающей действительности. В статье «Русская современная история в романе И. С. Тургенева „Дым“» (1867), восхищаясь образом Ирины, критик пишет: «Процесс его создания напоминает

ва, относящихся к середине 1870-х гг., приводится такой диалог его с писателем: «...однажды в разговоре коснулись И. А. Гончарова, и я с большою похвалою отозвался об его „Обломове“. Федор Михайлович соглашался, что „Обломов“ хорош, но заметил мне:

— А мой идиот ведь тоже Обломов.

— Как это, Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился. — Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты.

— Ну да! Только мой лучше гончаровского... Гончаровский идиот — мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, возвышен» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 296).

Существенное для понимания точки зрения Достоевского высказывание находим в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Заговорив о «народных типах» в литературе, Достоевский, имея в виду Обломова и Лаврецкого, пишет: «Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева векового и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» (*Достоевский*. Т. XXII. С. 44); ср. еще более определенное суждение в черновике «Дневника»: «Обломов разве народ? Не народ, но черты-то в нем основные принадлежат народному духу» (Там же. Т. XXII. С. 185).

Еще в начале 1860-х гг. под влиянием А. А. Григорьева Достоевский пришел к мысли о том, что поворот русской литературы к народу начался с пушкинского Белкина. И теперь достижения Тургенева и Гончарова как создателей образов Лаврецкого и Обломова он объясняет тем, что романисты восприняли пушкинский опыт. С идеями этого рода связана и запись в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» 1876 г.: «А целое есть. Оно уже схвачено. {...} Недалеко ходить, у Пушкина, Каратаев, Макар Иванов (Герой «Подростка». — *Ред.*), Обломов, Тургенев, ибо только положительная красота и останется на века» (Там же. Т. XXII. С. 153).

почти химический процесс, когда из соединения различных минералов получается как бы новый, самостоятельный минерал. Тайна такого производства образов уже утеряна с Пушкина и его школы, последним представителем которой остается, вместе с И. А. Гончаровым, и автор романа. Как бы то ни было, но Ирина, благодаря художническому воспроизведению типа, выражает уже не одно какое-либо частное лицо, выхваченное из жизни, говорит не за себя только, но делается выражением и олицетворением целого строя жизни в известном отделе общества» (Анненков. С. 343).

Но и у Гончарова, и у Тургенева Анненков нашел примеры «типов-понятий»: таковыми оказываются «знаменитые типы современной нашей литературы» — Обломов и Базаров.¹ «Эти понятия-типы, — пишет критик, — несколько не стыдятся и не могут стыдиться своего происхождения от мышления. Напротив, они беспрестанно и открыто намекают сами об источнике своего существования. Кто, кроме типов-понятий, может быть так беспощадно последователен, кто, кроме их, способен действовать с такой однообразной, скажем, почти отчаянной верностью своему направлению во всякую минуту жизни? От них уже нечего ожидать чего-либо похожего на добродушную измену своему началу или на ветреную попытку освободиться от требования своей природы хоть на мгновение, что так часто случается с типами, взятыми из толпы, и сообщает им прелесть, которая вызывает наше участие и отворяет сердце для потворства всем их заблуждениям. Самые увлечения Обломова и Базарова кажутся не более как припадками умопомешательства, на которые они отвечать не должны, да никогда и не увлекаются они всем существом своим: мысль автора служит им балластом и придерживает к месту, откуда они поднялись» (Там же. С. 261—262).

Выгодное отличие типов-понятий Гончарова и Тургенева от аналогичных образов, например, Н. Г. Помяловского (Молотов и Череванин) в том, что в случае с Обломовым и Базаровым эти типы «даны {...} нам жизнию» (Там же. С. 261); «сама мысль, которой они обязаны своим происхождением, родилась из непосредственного со-

¹ Рассуждения об Обломове и Базарове представляют собой относительно самостоятельный фрагмент в статье «Русская беллетристика в 1863 году. Г-н Помяловский» (1863).

зерцания общества, из проникновения, так сказать, в глубь его психологического настроения, из перехваченной тайны его существования» (Там же. С. 264).

Имея в виду «одну только нравственную их сущность, а не физическую», Анненков говорит о «поразительном сходстве» двух знаменитых героев: «...ведь известно, что между самыми противоположными, исключительными понятиями существует родственная связь» (Там же. С. 262). Более того, по логике критика, Обломов и Базаров могут быть поняты как «одно и то же лицо, только взятое в различные минуты своего развития. <...> Обломов, переродившийся в Базарова, должен был, конечно, измениться во внешнем виде, в образе жизни и в привычках, но зерно, из которого у одного растет непробудная душевная апатия, а у другого судорожная деятельность, не имеющая никакой нравственной опоры, заложено одно и то же в обеих натурах. Оно знакомо нам как нельзя более как плод, данный свойствами нашего образования, особенностями нашего развития. Лишь только Обломов пробудился и раскрыл свои тяжелые глаза — он должен был действовать не иначе как Базаров;¹ мягкая, податливая натура его, покуда он находился в летаргическом состоянии, должна была преобразиться в грубую, животную природу Базарова: на этом условии Обломов только и мог подняться на ноги. Так точно и Базаров, не знающий на свете ничего святее запросов своей не вполне просветленной личности, есть только Обломов, которого расшевелили и который с течением непредвиденных обстоятельств принужден думать и делать что-нибудь. У них одинаковый скептицизм по отношению к жизни: как Обломову все казалось невозможностью, так Базарову все кажется несостоятельным. Где же и было нажать Обломову, в пору его невозмутимой спячки, что-либо похожее на политическую веру, на нравственное правило или научное убеждение?² Он умер без всякого содержания; вот почему, когда

¹ Как известно, сам Гончаров представителя поколения «детей», «прямого, ближайшего» сына Ильи Ильича, «героя эпохи Пробуждения», «проснувшегося» Обломова видел в Райском, герое романа «Обрыв» («Лучше поздно, чем никогда»).

² В этом принципиальное отличие Обломова, как он понят Анненковым, от типа «слабого человека», о котором он написал специальную работу («Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской „Аси“», 1858), явившуюся полемическим откликом на статью Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (1858).

он воскрес, при иных условиях жизни, в Базарове, ему оставалось только сомневаться в достоинстве и значении всего существующего да высоко ценить свою крепкую, живучую натуру. Цель его стремлений при этом не изменилась. Новым скептицизмом своим он достигал точно такого же душевного спокойствия, такой же невозмутимой чистоты совести и твердости в правилах, какими наслаждался и тогда, когда сидел в комнатке своего домика на Петербургской стороне между женой, диким лакеем и кулебяками. Постарайтесь сквозь внешнюю, обманчивую деятельность Базарова пробиться до души его: вы увидите, что он спокоен совершенно по-обломовски; житейские страдания и духовная нужда окружающего мира ему нипочем. Он только презирает их, вместо того чтоб тихо соболезновать о них, как делал его великий предшественник. Прогресс времени! Оба они, однако же, выше бедствий, стремлений, падений и насущных требований человечества, и выше именно по причине морального своего ничтожества;¹ они изобрели себе, каждый по-своему, умственное утешение, которое и ограждает их от всякого излишне скорбного чувства к ближним. Разница между ними состоит в том, что Базаров наслаждается сознанием своего превосходства над людьми с примесью злости и порывистых страстей, объясняемых преимущественно физиологическими причинами, а Обломов наслаждается этим сознанием кротко, успев подчинить свои плотские и тоже весьма живые инстинкты заведенному семейному порядку» (Там же. С. 262—263).²

«Слабый человек», в понимании Анненкова, есть — при всех его недостатках — «единственный нравственный тип, как в современной жизни, так и в отражении ее — текущей литературе», «образование наградило его способностью живо понимать страдание во всех его видах и чувствовать на самом себе беды и несчастья другого», он «несет в руках своих образование, гуманность и, наконец, понимание народности» (Анненков. С. 157, 169, 170).

¹ В письме к И. С. Тургеневу от 26 сентября (8 октября) 1861 г. Анненков, только что прочитав роман «Отцы и дети» в рукописи, назвал Базарова «монголом», «Чингиз-ханом», «звериная, животная» сила которого «не только не пленительна, но увеличивает отвращение к нему и поражена бесплодием» (Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 533).

² Н. И. Соловьев в статье «Вопрос об искусстве. Сочинения Н. А. Добролюбова» (1865) резко противопоставил этих героев: «Обломов, как бы то ни было, человек. Базаров же считает чуть ли не за честь и высший либерализм выдавать себя за животное» («Обломов» в критике. С. 172).

И наконец, толкуемое таким образом родство Обломова и Базарова приводит Анненкова к совершенно оригинальному пониманию проблемы «отцов и детей», столь значимой для русской литературы середины XIX в.: «...отцы и дети изображены в литературе нашей не *одним* романом, что было бы не под силу и такому таланту, как г. Тургенев, а *двумя* замечательными романами, принадлежащими двум разным художникам, ошибавшимся и касательно выводов, которые могут быть сделаны из основной идеи их произведений. Г. Гончаров думал, что на смену Обломовых идет поколение практических Штольцев, между тем как настоящая смена явилась в образе Базарова; г. Тургенев думал противопоставить Базаровым великого и малого рода их менее развитых отцов и забыл, что истинный родоначальник всех Базаровых есть Обломов, уже давно показанный нашему обществу. Отцы г. Тургенева поэтому кажутся и будут казаться подставными отцами, не имеющими ни малейшей связи с своим племенем, кроме акта рождения, очень достаточного для признания духовного родства между членами ее. По крайней мере для нас слова „обломовщина“ и „базаровщина“ выражают одно и то же представление, одну и ту же идею, представленную талантливыми авторами с двух противоположных сторон. Это художественные антиномии. И так велико значение творческих типов, хотя бы и обязанных своим происхождением понятию, что одно призвание их открывает мгновенно длинную цепь идей и выясняет отвлеченную мысль до последних ее подробностей» (Там же. С. 263—264).

Уравнивая этих героев и в эстетическом плане (Обломов и Базаров — «понятия-типы»), и в социально-политическом («истинный родоначальник всех Базаровых есть Обломов»), Анненков, как отметил И. Н. Сухих, вступал «в необъявленный спор с Добролюбовым, говорившим об идущих на смену „обломовцам“ героях „новой русской жизни“, и с Писаревым, для которого Базаров отменил Печориных и Рудиных».¹

В статье «Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого „Война и мир“» (1868) Анненков наметил другую параллель: говоря о главных героях толстовского романа, критик первым называет «тяжелого, но

¹ Сухих И. Н. Тургенев, Базаров и критики // Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. Л., 1986. С. 16.

гуманно-развитого молодого Безухова, — тип, похожий на Обломова, если Обломова сделать безмерным богачом и побочным сыном одного из екатерининских орлов» (Там же. С. 356).

* * *

Очень большую группу критических отзывов о романе и его главном герое составляют отклики, относящиеся к концу XIX в.—1910-м гг.

Неоднозначно к образам Обломова и Штольца, как и к творчеству Гончарова в целом, относился А. П. Чехов. «Читаю Гончарова, — писал он А. С. Суворину в начале мая 1889 г., — и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его „Обломов” совсем неважная штука. Сам Илья Ильич — утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет. Остальные лица мелкие, пахнут лейковщиной, взяты небрежно и наполовину сочинены. Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают. {...} Ольга сочинена и притянута за хвост. А главная беда — во всем романе холод, холод, холод... Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов».¹ Резкими эпистолярными суждениями Чехова о свергнутом «полубоге», романе «Обломов» и его героях, которые, как известно, не были фигурами случайными,² все-таки не исчерпывается его отношение к творчеству Гончарова. Очевидно отражение некоторых поэтических мотивов «Сна Обломова» в повести «Степь». М. О. Меньшиков писал о героях чеховских произведений «Страх», «Скучная история», «Дуэль», «Же-

¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1976. Т. III. С. 201, 202; ср.: Там же. С. 421.

² С. Я. Елпатьевский вспоминал, как Чехов «несколько раз старался» убедить его в том, что «Гончаров — устарелый и скучный писатель, и никак не мог понять, почему я, перечитавши Гончарова незадолго до нашего разговора, продолжаю находить его интересным и талантливым» (Елпатьевский С. Я. Антон Павлович Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 574).

на», «Соседи»: «...слабые и дряблые русские люди, новейшие Обломовы, решительно не умеющие жить, не умеющие устраивать ни своего, ни чужого счастья при самых прекрасных внешних обстоятельствах».¹

Д. С. Мережковский в статье «И. А. Гончаров (Критический этюд)», напечатанной еще при жизни романиста,²

¹ *Меньшиков М. О.* Без воли и совести // Книжки «Недели». 1899. №1. С. 204. В исследовательской литературе высказывалось мнение, что Чехов в пьесе «Иванов» «воспроизвел заново ситуации, пережитые Обломовым» (см.: *Полоцкая Э. А.* Илья Ильич в литературном сознании 1880—1890-х годов // И. А. Гончаров: (Материалы юбилейной гончаровской конференции 1987 года). Ульяновск, 1992. С. 45); *Т. Б. Зайцева* предположила, что литературным прототипом героини рассказа «Душечка» явилась Агафья Матвеевна Пшеницына (см.: *Зайцева Т. Б.* А. П. Чехов и И. А. Гончаров: Проблемы поэтики: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. СПб., 1996. С. 13—14); ср. также: наст. изд., т. 1, с. 715; т. 3, с. 538.

² См.: Труд. 1890. № 24. С. 588—612. Мережковский включил эту работу в книгу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893. С. 133—160; отзывы см.: *Волинский А. Л.* Литературные заметки // Сев. вестн. 1893. № 3. Отд. II. С. 133—134; *Михайловский Н. К.* Русское отражение французского символизма // Рус. богатство. 1893. № 2. Отд. II. С. 61), а затем в книгу «Вечные спутники (Портреты из истории всемирной литературы)» (СПб., 1897. С. 381—413), неоднократно впоследствии переиздававшуюся. О статье Мережковского также см.: наст. изд., т. 1, с. 747—749. Своеобразным послесловием к статье можно считать следующий рассказ Мережковского: «Я видел его (Гончарова. — *Ред.*) при жизни. Это был полуслепой дряхлый старик. Лицо его тогда казалось безжизненным, равнодушным и ленивым, выражало только суетную и скучную поверхность жизни, а свое заветное он слишком глубоко таил от людей, этот одинокий, нелюдимый художник. И вот теперь, заветное и глубокое его сердца, то, что создало Веру и голубиную чистоту Обломова, выступило, освобожденное смертью, на бледном, помолодевшем и успокоенном лице. И я почувствовал вдруг, как я всегда любил этого чужого и незнакомого человека, самую чистой и бескорыстной любовью, как только можно любить на земле, не как отца, не как брата, не как друга, даже не как учителя, а как человека, чья душа открывала моей душе великое и прекрасное, и за то он был мне ближе, чем брат, отец, друг, учитель. Мне не было его жалко, не было печально, я не чувствовал страха смерти; напротив, мне было радостно за него, что тишина и примирение, которые были его творческою силою, охватили теперь все существо его. И я думал: неужели это восьмидесятилетний старик? Детская чистота, невинность и успокоение делали это мертвое лицо таким молодым и прекрасным, что нельзя было оторвать от него глаза: так тихо спят только дети. И мне становилось все легче и легче, и хотелось плакать. Я подошел к нему и стал на колени, и быстро перекрестился три раза, как в детстве, не рассуждая, не думая о том, что делаю, и без молитв, без слов, без мыслей, чувствуя радость о том, что Бог есть; и прикос-

заметил, что автор «Обломова» резко выделяется на фоне других писателей своим особым отношением к природе. Прочитав часть описания обломовского мира, где говорится о небе, которое «ближе жметя к земле», чтобы «обнять ее покрепче, с любовью», критик заметил: «Вот природа, как ни один из новых поэтов не понимает ее, — природа, лишенная тайны, ограниченная и прекрасная, какой представляли ее древние: декорация для идиллии феодалов или, еще лучше, для счастья патриархальных помещиков» («Обломов» в критике. С. 174).

«Высокий комизм», которым «озарены» многие герои гончаровских романов, и в том числе Обломов, позволяет критику сблизить созданный художественный мир с «идеальной красотой», которую донесло до нас эпическое искусство древних. Отличительная черта таланта Гончарова, по мнению Мережковского, — «любовь к будничной стороне жизни», способность одним прикосновением преобразить «прозу действительности в поэзию и красоту». На первый взгляд, критик говорит о той особенности искусства автора «Обломова», которую со времен Дружинина называют фламандством. Современный исследователь понимает фламандство как «прозаизацию традиционно возвышенного», как подчеркнуто «недифференцированное восприятие действительности», «уравнивание разномасштабных явлений», когда «мелочи быта поднимаются до человека», когда «люди и звери, важное и незначительное приводятся к общему знаменателю, становятся равнозначными». ¹ Так или иначе, речь идет о нарушении какой-то ожидаемой читателем нормы, художественный эффект достигается как результат освобождения от некоей стилистической инерции. А гомеровская эпическая традиция проявляется в том, что для художника вообще нет деления на высокое и низкое. Вот ход размышлений Ме-

нулся губами к этой маленькой, белой, холодной руке, написавшей Обломова и Обрыв» (*Мережковский Д. С. Записная книжка 1891 г. / Публ. М. Ю. Кореневой // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 352—353*). О своей встрече с Гончаровым, «тогда уже слепым стариком», Мережковский упомянул и в автобиографической заметке 1914 г. (см.: *История русской литературы XX века. (1890—1910) / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1914. Т. 1. С. 292*).

¹ Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // *От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века: Межвуз. сб. / Под ред. В. М. Марковича. СПб., 1992. С. 124—125.*

режковского: «Гомер в своих описаниях подолгу останавливался с особенною любовью на прозаических особенностях жизни. Он до мельчайших деталей изображает, как его герои и полубоги едят, пьют, принимают ванну, спят, одеваются. Для Гомера нет некрасивого в жизни, так же наивно и просто, как он говорит о смерти великих мужей, о совете богов, о разрушении Трои, он рассказывает о грязном платье, которое отправилась мыть на речку царская дочь Навзикая с рабынями; он с детским просто-душием описывает, как

Начали платья они полоскать, и потом, дочиста их
Вымыв, по взморью на млеко-блестящем хряще, наносимом
На берег плоский морскою волною, их все разостлали.¹

Такая же античная любовь к будничной стороне жизни, такая же способность одним прикосновением преобразовать прозу действительности в поэзию и красоту составляет характерную черту Пушкина и Гончарова. Перечтите „Сон Обломова“. Еда, чаепитие, заказывание кушаний, болтовня, забавы старосветских помещиков принимают здесь гомеровские идеальные очертания.

Вот как изображается смех этих счастливых людей: „Хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичьей, объял весь дом, все вспоминают забавный случай, все *хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги*. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять — и пошло писать“. И дальше почти на целой странице описывается этот гомерический хохот. Патриархальные нравы обломовских помещиков до такой степени фантастичны, несовременны и своими эпическими размерами напоминают сказку, что читатель несколько не удивляется, когда Гончаров прямо из Обломовки переносит его в героическую среду древнерусских сказаний и былин.

¹ Ср. с рассуждениями об эпичности Гомера, содержащимися в книге Ортеги-и-Гассета «Размышления о Дон Кихоте» (1914): «В целом для греков поэтическим является все существующее изначально. (...) Гомер и не собирается сообщать что-либо новое. (...) Поэтическая тема дана заранее, раз и навсегда, речь идет лишь о том, чтобы оживить ее в наших сердцах, придать полноту присутствия. Вот почему вполне уместно посвятить четыре стиха смерти героя и не менее двух — закрыванию двери» (*Ортега-и-Гассет* Х. Размышления о Дон Кихоте. СПб., 1997. С. 121—123).

Как все это не похоже на легкую, поверхностную манеру, на полунебрежный стиль современных романистов! Кажется, что творец Обломова покидает здесь перо и берется за древнюю лиру; он уже не описывает — он воспевает нравы обломовцев, которых недаром приравнивает к „олимпийским богам”» (Там же. С. 177—178).

Идея Мережковского не отменяет концепцию Дружинина, она вводит другой (эпический) контекстный вектор.

Как известно, еще Монтескье писал о значении «географического фактора» для формирования национального характера. Когда Мережковский говорит о «влиянии среды на характер», он, в частности, имеет в виду то, что сознание обломовцев в значительной степени развивается под воздействием родной природы: «Он (Гончаров. — *Ред.*) следит, как мягкие степные очертания холмов, как жаркое „румяное” солнце Обломовки отразилось на мечтательном, ленивом и кротком характере Ильи Ильича...» (Там же. С. 179). Следует напомнить, что и сам Гончаров в письме к С. А. Никитенко от 25 февраля 1873 г., говоря о внешних силах, обусловивших судьбу героя, написал: «Климат, среда, протяжение — захолустья, дремотная жизнь».

Заслуживают внимания и рассуждения Мережковского об особом отношении автора «Обломова» к прошлому и о его понимании трагизма «сегодняшней жизни».

«Есть два типа писателей, — пишет критик, — одни, как Лермонтов, Байрон, Достоевский, с жадностью и тревогой смотрят вперед, не могут ни на чем остановиться, идут к неизведанному, не любят и не знают прошлого, стремятся уловить еще несознанные чувства, горят, волнуются, негодуют и умирают, непримиренные.

Другие, как Вальтер Скотт и Гончаров, смотрят с благодарностью назад, подолгу и с любовью останавливаются на стройных и завершенных формах действительности, предпочитают прошлое — будущему, известное — неизведанному, тихие глубины жизни — взволнованной поверхности, любят, как на высотах меркнут последние лучи заката, и жалеют угасшего дня.

Они понимают поэзию прошлого.

В прошлом находится для Гончарова источник света, озаряющего созданные им характеры. Чем ближе к свету, тем они ярче. Бессмертные образы — бабушка, Марфинь-

ка, крепостная дворня, хозяйка Обломова, мать Адуева — все это люди прошлого, совсем или почти совсем не тронутые современностью. В переходных типах, как в Райском, в Александре Адуеве, все-таки ярче сторона, обращенная к свету, т. е. к прошлому, к воспитанию, воспоминаниям детства, к родной деревне.

Современность представляется Гончарову серым и дождливым петербургским утром; от нее веет холодом; в ее тусклом свете потухают все краски поэзии и являются мертвые, нехудожественные фигуры — Штольц в Обломове, дядя в „Обыкновенной истории“, Тушин в „Обрыве“.

Люди будущего кажутся призраками в сравнении с живыми людьми прошлого» (Там же. С. 184—185).

Гончаров, считает Мережковский, видит, что у этой прошлой жизни есть не только светлая («ограниченная преданиями, покорная традициям, жизнь прошлого текла светло и мирно в глубоком, вековом русле», «поэзия прошлого живет в голубином, кротком сердце Обломова»), но и обратная, темная сторона: критик напоминает о привычке барчонка Илюши Обломова «поддавать» крепостному Захарке ногой в нос. Но все-таки гончаровский мир не строится по принципу сатирического контраста. «Великий художник, — делает вывод автор статьи, — лучше и глубже сатирика чувствует своей совестью *ложь и безобразие прошлого*, но ненависть не ослепляет его: он видит и красоту, и поэзию прошлого» (Там же. С. 186).

Связь с прошлым, по мнению Мережковского, многое определяет в психологии и судьбах гончаровских героев. Вспомним, что сам романист «большое время» своей трилогии обозначал как переход от Сна к Пробуждению.¹

¹ О «Сне Обломова» в связи со следующим пассажем из входящего в трилогию романа «Антихрист. Петр и Алексей»: «...воспоминания царевича Алексея о его детских годах в Кремле, о постоянной заботе, теплом покровительстве нянь, о каком-то золотом веке нежного ухаживания и любви» — см.: Гончаров. Материалы 1994. С. 181. В других художественных произведениях Мережковского его размышления о творчестве Гончарова также оставили свой след — ср. упоминание Обломова в поэме «Вера» (1890):

Но кончен курс. Теперь бы жить, трудиться,
А он, Обломов в двадцать лет, скучал,
Не знал, что делать, жил на капитал...

(Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. СПб., 2000. С. 285. («Б-ка поэта»; Большая сер.)).

Мережковский пишет: «При смене двух исторических эпох являются характеры, принадлежащие той и другой, нецельные, раздвоенные. Их убеждения, верования принадлежат новому времени; привычки, темперамент — прошлому. Побеждает в большинстве случаев не разум, а инстинкт; не убеждения, а темперамент; отжившее торжествует над живым, и человек гибнет жертвой этой борьбы, так гибнет в пошлости Александр Адуев, в апатии — Обломов, в дилетантизме — Райский» (Там же. С. 182). А торжество темперамента над убеждениями несет смертельную угрозу духовному началу личности. Вот почему *«трагизм пошлости, спокойный, будничный трагизм — основная тема „Обломова“»* (Там же. С. 176). Гончаров без иллюзий смотрит на жизнь, в которой общечеловеческий смысл «обыкновенной истории» сменяется духовной анемией обыденного существования.

Если трактовать Александра Адуева как «первообраз Обломова», то, считал Мережковский, хотя у Ильи Ильича уже нет «напускного байронизма и фразерства», все же чувствуется его связь с героями Лермонтова и Пушкина. Эта генетическая сцепленность двух гончаровских героев позволяет осмыслить родство Обломова с Онегиным и Печориным, родство, которое совсем на других основаниях утверждал Добролюбов.

По мнению М. А. Протопопова, высказанному в статье «Гончаров»,¹ Добролюбов ошибся в размышлениях о «лишних людях» («аналогии и параллели» его «рассыпаются прахом»). И ошибся потому, что его ввел в заблуждение Гончаров («большой художественный талант»). Автор «Обломова», считал Протопопов, «умудрился общественные задачи решать на почве личной психологии; индивидуальные, хотя и не случайные, свойства своих героев поставить в связь с вопросами общественной физиологии или патологии, психологические типы представить как живые общественные силы» (Там же. С. 191—192). Исходя из этого критик делает следующий вывод: «...для Онегина, Печорина, Бельтова и Рудина <...> в невольном бездействии и заключалось проклятие их жизни, тогда как Обломов в бездействии и полагал все свое счастье. <...> нельзя ставить рядом людей, идеалы счастья которых диаметрально противоположны. Обломов, умираю-

¹ Рус. мысль. 1891. № 11. Отд. II. С. 107—131.

щий на трех перинах от паралича, постигнувшего его от обжорства и неподвижности, и, например, Рудин, умирающий со знаменем в руке на мостовой Парижа, — это будто бы люди одного типа!» (Там же. С. 195).

Не согласен Протопопов и с «главным аргументом» Добролюбова относительно «лишних». Речь об отношении их к женщинам. Вернее, женщин к ним. На «настоящих» «лишних» женщины смотрят «снизу вверх», «тогда как Ольга Ильинская командовала и даже прямо-таки помыкала Обломовым». Объяснение дается такое: «Потому что Печорин, Рудин и др. были люди, преисполненные внутренней силы, перед которой пасовали женщины, а Обломов был всего только пуховый тюфяк, который могла сколько угодно, и так, и этак, теребить и повертывать первая встречная дачная барышня» (Там же. С. 196).

И вывод: лень Обломова — это явление «личной психической жизни», результат «личного неправильного развития». Об Обломове можно говорить как о типе, «но лишь в статистическом смысле, т. е. в том смысле, что таких или почти таких людей у нас, вероятно, немало» (Там же. С. 197).

Суждение А. М. Скабичевского об Обломове впервые было высказано им в 1891 г., в первом издании его «Истории новейшей русской литературы». Критик писал, что герой Гончарова и «племенной» тип, который воплощает в себе черты, свойственные русским людям, безотносительно к тому, к какому сословию или званию они принадлежат, и, «можно даже сказать, тип общечеловеческий», — «один из тех вековых типов, каковы, например, Дон Кихот, Дон Жуан, Гамлет и т. п.».¹ Скабичевский, следовательно, отнес Обломова к таким литературным типам, которых теперь все чаще называют «сверхтипами».²

Выделяя Гончарова среди крупнейших русских романистов XIX в., В. В. Чуйко утверждал, что его талант отмечен особой печатью: «Печать эта — его символизм. Анализируйте внимательно то впечатление, которое вы

¹ Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1908. 7-е изд. СПб., 1909. С. 147.

² Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 92—103.

получаете от чтения Гончарова, и вы, я думаю, придете к убеждению, что в нем нет той художественной ясности и отчасти непосредственности, которая, например, заключается в Тургеневе. Художественная наблюдательность Гончарова необычайно велика и интенсивна, в особенности в эпизодических и вводных фигурах: тут он не только художник, наблюдатель, но и великий мастер-живописец, располагающий красками с поразительным совершенством, рисующий с безжалостной правдой Рембрандта или Веласкеса. Если бы только эти особенности заключались в Гончарове, то мы имели бы реалиста самой чистой школы, — нечто вроде Писемского, более верного действительности, чем сама фотография, — потому что его картины были бы ярче и рельефнее фотографических снимков, при той же верности. Но в Гончарове заключается и другая черта, которая, в большинстве случаев, преобладает и составляет как бы общий фон всех его произведений. Черта эта — философский синтез явлений жизни, который в искусстве очень часто переходит или перерождается в аллегоричность, в своего рода символизм. Черта эта сразу выдвинулась вперед и уже вполне ясно господствует в „Обыкновенной истории“, доходя до полного своего развития в „Обломове“. Гончаров не только воспроизводит жизнь, но и философствует по поводу ее, хотя первоначальным исходным пунктом у него всегда является непосредственное наблюдение».¹

Говоря о своих героях, Гончаров употреблял термин «идеал». В письме к И. И. Льховскому от 2 (14) августа 1857 г. он размышлял о романе «Обломов»: «Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели. Или, наконец, надобен огромный, гоголевский талант, чтобы овладеть и тем и другим». В толковании природы художественного образа Гончаров опирался на теоретические суждения С. П. Шевырева и В. Н. Майкова. С. Шевырев противопоставлял Жан Поля (как создателя «идеалов») Вальтеру Скотту, в произведениях которого мастерски представлены различные исторические типы. «Если Жан Поля, — писал критик, — мы называем

¹ Чуйко В. В. И. А. Гончаров: (Опыт литературной характеристики) // Наблюдатель. 1891. № 12. С. 125.

идеальным романистом, то В. Скотту, как совершенно ему противоположному, прилично название исторического». ¹

Идеал понимается как максимальная степень обобщения в художественном образе, когда в нем доминирует вневременная, общечеловеческая суть. Так, по определению В. Н. Майкова, идеальными могут считаться образы, которые «вполне выражают общечеловеческие характеры», как например лица драм Шекспира (*Майков*. С. 342). А искусство Вальтера Скотта проявилось, по мысли Майкова, в создании исторических типов, в умении «изобразить человека под влиянием известных условий времени, местности и судьбы» (Там же. С. 209).

Благодаря критике XIX в., да и многим литературоведческим работам нынешнего столетия, за Гончаровым, несомненно, закрепилась слава создателя в первую очередь литературных типов. Однако, анализируя структуру его образов, определяя принципы их создания, необходимо учитывать и эстетическую ориентацию самого автора. Очевидно, что художественный метод Гончарова позволял ему — как и Гоголю — выявить в герое и «сегодняшнее», «историческое», типовое, и «идеальное», вневременное, универсальное (см.: *Недзвецкий*. С. 84, 129, 137—139).

Об особой природе гончаровского образа В. В. Чуйко писал: «Не о типе, не о личности заботился он, а о символизации обобщающих понятий». Автор «Обломова» рассматривался критиком в широком литературном контексте: «Другие поэты-художники в огромном большинстве (почти все, и во главе их, конечно, Шекспир) допускают лишь одно художественное обобщение — тип. Таков, например, Тургенев; его Рудин, Лаврецкий, Базаров — только типы; в них нет никакой символизации; переберите мысленно все формы романов Тургенева: это просто характеры, индивидуальности, имеющие только психологический интерес, или же, в крайнем случае, — типы, т. е. соборные фигуры, объединяющие многие индивидуальности. Есть даже великие поэты-художники, которые считают слишком большим обобщением, несовместным с истинным искусством, даже тип. К таким

¹ Моск. вестн. 1827. № 20. С. 413—414.

художникам принадлежит, например, Гете: где вы найдете у него хоть намек на тип? Таков, с другой стороны, Байрон: у него нет, так же как у Гете, типа. Гончаров стоит от них в другом полюсе: те знают только индивидуальность; он же знает *почти только* отвлеченные понятия, олицетворяемые в создаваемых им фигурах. Байрон и Гете, — я бы рискнул сказать, — на точке зрения Аристотеля, знающего только вид и не знающего рода, они, по средневековой терминологии, реалисты; Тургенев, отчасти Толстой, Достоевский, Диккенс, Теккерей — платонисты или, схоластически говоря, номиналисты. Гончаров, подобно Данте, идет еще дальше: он, если можно так сказать, трансцендентальнее; для него даже платонических идей-типов мало; он восходит от них к еще более общим отвлеченным понятиям, долженствующим представлять уже не роды, а, так сказать, мировые единства. Я сейчас поставил Гончарова рядом с Данте; и в самом деле, у них много общего {...} они — родственные натуры и аллегористы: Беатриче для Данте не есть женщина, которую он когда-то любил и в молодости потерял, это олицетворение богословия или философии, — совершенно в таком смысле, как бабушка для Гончарова есть олицетворение старой русской консервативной жизни. Как, — может быть, скажет читатель, удивленный этими словами, противоречащими всему тому, что он до сих пор слышал о Гончарове, — у Гончарова нет типов? А Обломов, Волохов, Захар, Тушин? Действительно, все эти прекрасно изваянные фигуры, на первый взгляд, кажутся типами, но стоит только взвесить роль каждого из них, чтобы увидеть, что они больше чем типы, что они обобщающие понятия, а не психологические моменты, так, впрочем, понимал их и сам Гончаров, который, во избежание всяких недоразумений, точно и ясно высказал в своей статье „Лучше поздно, чем никогда” то, что он хотел ими сказать. Ссылаясь на Добролюбова, он говорит об Обломове: „Воплощение сна, застоя, неподвижной мертвой жизни, — переползание изо дня в день, в одном лице и в его обстановке, — было всеми найдено верным”. Несколько дальше он прибавляет: „Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне и застое”. Значит, Обломов не тип, не фигура, в которой, как в фокусе, отражаются многие русские индивидуальности,

а представление, символизация определенной эпохи в русской общественной жизни».¹

Удивительно, что критическая и исследовательская мысль конца XIX—XX в. не отреагировала на предложенную Чуйко и достаточно развернутую им параллель Гончаров — Данте, — параллель, позволяющую полнее осмыслить эпический масштаб романной трилогии. Чуйко писал: «Как бы ни казалось странным (я сознаю это) сравнение художественного создания Гончарова с „Божественной Комедией“, это сравнение невольно приходит на ум, если мы будем смотреть на оба создания с известной точки зрения. И в самом деле, поэма Данте есть величайший эпос средних веков; в нем Данте резюмировал не только общественную и государственную жизнь, но философию, религию, науку своего времени. Гончаров охватил русское XIX столетие не с таким широким размахом и не с такой гениальной глубиной, но в обеих задачах есть, несомненно, нечто родственное: желание и умение свести к одному окончательному синтезу всю историческую, государственную и общественную жизнь определенной эпохи. Эта родственность обоих великих художественных талантов тем более навязывается уму, что не только задачи их были подобны, но в приеме выполнения мы видим нечто общее... Будучи оба символистами, они оба в то же время обладали всеми свойствами великих художников-портретистов: фигуры Данте, точно бронзовые статуи, до такой степени врезаются в память, что их невозможно забыть; это великий знаток души человеческой и великий изобретатель людей. Но разве не подобное же впечатление оставляет и Гончаров (...)»? И гончаровские фигуры стоят пред нами, как бронзовые статуи, в которых, несмотря на неподвижность, кипит жизнь, совершаются душевные процессы».²

По мнению Чуйко, трилогия Гончарова — это данная в символической, «как бы в отвлеченной форме» история русского общества, «находящегося в процессе становления», гигантская художественная композиция, подчиненная классическому диалектическому принципу. «В „Обычно-

¹ Чуйко В. В. И. А. Гончаров: (Опыт литературной характеристики). С. 121, 122. О символизме образов Гончарова см. также ниже, с. 397.

² Там же. С. 124, 125.

венной истории”, — пишет Чуйко, — Гончаров изобразил первичный фазис двадцатых и тридцатых годов, слабое мерцание сознания в необходимости труда, живого дела. В „Обломове” Гончаров характеризует второй фазис русской жизни — „переползание изо дня в день, обломовщину”. Третий фазис — это уже пробуждение от обломовского сна в „Обрыве”, пробуждение от слабого сознания необходимости труда и от обломовского прозябания до сознания практической общественной деятельности; таким образом, по взгляду Гончарова, вся русская жизнь XIX столетия укладывается в три романа, логически развиваясь, как философская тема, напоминая собой триаду Гегеля».¹

Ю. Н. Говоруха-Отрок был одним из тех, кто попытался ответить на вопрос, каковы результаты более чем тридцатилетнего осмысления романа «Обломов». Он пришел к довольно печальному выводу: «Изо всех замечательных произведений русской изящной словесности едва ли было другое, понятое столь превратно, как знаменитый роман Гончарова».² А виноват в этом, по мысли критика, сам писатель: «Неясность, — писал он в статье VII «И. А. Гончаров» цикла «Литературно-критические очерки» (РВ. 1892. № 1; подп.: Ю. Елагин), — была в самом замысле романа, предвзятая цель, с которой он был написан, произвела эту неясность. Гончаров с точки зрения своей доктрины просто хотел обличить русскую помещичью лень, но, как и всегда, увлекшись своим талантом рисовальщика, создал ряд картин, которые свидетельствуют не о русской лени и праздности, а о лучших, благороднейших чертах русского характера. Из-за этих картин выступают неопределенные контуры, в которых еще неясно рисуется положительный тип русского человека из образованного общества. Таким образом, благодаря тому, что сердечные сочувствия к русскому быту пересилили в Гончарове его доктринерское отношение к действительности, вместо скучной диссертации с прописным эпиграфом: „леность — мать всех пороков” — вышел роман, который навсегда останется в русской литературе...” («Обломов» в критике. С. 203—204). Противоречивой позицией самого романиста объясняет Говоруха-Отрок то, что до 1890-х гг.

¹ Там же. С. 122, 123.

² Говоруха-Отрок Ю. Н. И. А. Гончаров // Моск. вед. 1891. № 263. 23 сент. С. 3.

в русской критике сохранились две взаимоисключающие точки зрения на «Обломова»: добролюбовская и дружининско-григорьевская. Самому Говорухе-Отроку, с его почвенническими настроениями, естественно, ближе вторая. Но в оценке «Сна Обломова» он расходится с Дружининым и Григорьевым. Говоруха-Отрок считает, что «в художественном смысле <...> „Сон” есть клевета на русскую жизнь» (Там же. С. 205).

Далее критик пишет: «Совершенно захваченный своею предвзятою идеей, Гончаров рисует с какою-то странною сухостью это, по его мнению, мертвое царство. В общем тоне этого эпизода нет не только поэзии, не только скрытого, но все пронизающего собою лиризма, как в гоголевских изображениях, — тут нет даже беспристрастия, а есть лишь реализм в грубом смысле этого слова. Талант рисовальщика тут покидает Гончарова, и его „обломовцы”, появляющиеся в „Сне”, напоминают каких-то затхлых и заплесневелых мумий, а не людей. Так изображает Гончаров целую огромную полосу русской жизни — дореформенный помещичий быт» (Там же. С. 204). Для Говорухи-Отрока обломовский мир — это «та широкая полоса русской жизни, которую изобразил Пушкин в „Капитанской дочке” и С. Т. Аксаков в „Семейной хронике”». Но в отличие от этих авторов Гончаров, считает критик, показал эту русскую жизнь как «мертвое царство», а оно было не мертвое, а лишь «заколдованное». Люди Обломовки — это люди «предания», в их существовании «не было духовного движения, но была духовная жизнь». Вот на этой почве и возрос Обломов.

Герой Гончарова воспринимается критиком как представитель мира национального, в котором (если вспомнить градацию К. С. Аксакова) протекала жизнь «народа», а не «публики» — европеизированной, оторванной от почвы части русского дворянства.¹ Это тот несколько идеализированный мир русской жизни, который рисовался в публицистических и художественных произведениях славянофилов, мир, который, как выразился Говоруха-Отрок, «преклонился» перед «святыми чудесами» Европы (критик тут использует выражение А. С. Хомякова),

¹ См.: Аксаков К. С. Опыт синонимов: Публика — народ // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 402—403. Статья относится к 1857 г.

«перед этими Дантами и Шекспирами, Рафаэлями и Мурильо», но «не уверовал в них и не поклонился им», т. е. сохранил свою самобытность, свою духовную жизнь. Самое ценное качество Обломова как представителя этого «заколдованного», но живого царства в том, что «он понимает бесконечное значение любви», что «в нем есть любовь», что он «не гуманен, а *добр*» (Там же. С. 207—208). И добр не потому, что следует гуманным правилам, а потому, что иным быть не может.

Вот почему в судьбе гончаровского героя критик видит не только трагическую обреченность, но и надежду: «Начала народные, начала христианские живут в нем — но душа его не разбужена, она томится потребностью *дейтельной любви* — и не знает, где найти удовлетворение этой потребности. Питомец растительной жизни, застывший в недейтельном предании, — Обломов почувствовал великую идею, скрытую в этом предании, но она не предстала с такою ясностью перед его духовными очами, чтобы поднять его, чтобы изменить все течение его жизни, чтобы обратить эту жизнь на путь непрерывного деятельного добра. В его лице жизнь, питомцем которой он был, только еще задумалась сама над собою. <...>

„Погиб!“ — говорит Штольц. И думает, будто „погиб“ оттого, что женился на Агафье Матвеевне, оттого, что в одиночестве своем, с „обнищавшей душой“, приютился к этому „простому сердцу“, бесконечно к нему привязанному...

Погиб! Да, погиб — потому что „обнищала душа его“, потому что не вспыхнул ярким пламенем огонь любви, тлевший в этой душе, потому что не нашел он того, во что мог бы уверовать и чему мог бы поклониться, — того, что всему остальному дало бы смысл и значение. Вот в чем трагизм положения Обломова, вот почему вся его жизнь выразилась лишь порывом куда-то и на эту жизнь упал колорит постоянной тихой скорби, вот почему мы невольно проливаем слезы над Обломовым.

Вот почему в образе Обломова мы видим залог будущего...» (Там же. С. 209).

Из названия статьи И. Ф. Анненского «Гончаров и его Обломов»¹ видно, что критика интересуется не только романом, но и его создателем. Статья написана человеком, ко-

¹ Рус. школа. 1892. № 4. С. 71—95.

торый убежден, что литературное произведение, так сказать, растет во времени, обнаруживая все новые и новые дополнительные, «сегодняшние» смыслы. Оно живет как отражение в сознании читателя, и это «отражение» и есть предмет критического разбора. Поэтому в статье Анненского подчеркнута личностная интонация, личностные оценки и выводы.

Существенной для этой работы оказалась мысль о соотношенности личности писателя и образов, им созданных. Тезис Анненского о том, что в своем романе Гончаров описал психологически близкие ему типы личности, будет подробно развит в работах начала XX в., в частности в трудах Е. А. Ляцкого.

Давно отмеченную объективность Гончарова Анненский толкует как преобладание живописных, зрительных элементов над слуховыми, музыкальными, описания над повествованием, «материального» момента над отвлеченным, «типичности лиц над типичностью речей», отсюда исключительная пластичность, «осязательность» образов.

Важную особенность гончаровского творчества помогает понять классификация писателей, предложенная Анненским. Критерий для разделения авторов — отношение к злу, характер изображения зла. Первый поэтический путь — это путь Достоевского, для которого, по мысли критика, изображение зла «есть только средство сильнее выразить исконное доброе начало в человеческой душе». Второй путь — «это известный путь от Ювенала и Персия до Барбье, Пруса, Салтыкова», т. е. путь беспощадной сатиры. Третьим путем шли: на Западе — Золя, у нас — Писемский.¹ Четвертый путь — это «диккенсовский оптимизм с наказанным, обузданным злом, без всякой грязи, с мягкой, вдумчивой обрисовкой характеров. К этому типу примыкало и творчество Гончарова» (Там же. С. 214—215).

Еще одна существенная черта автора «Обломова», которую выделил Анненский, — особое отношение к смер-

¹ С Писемским критики часто сближали Гончарова: стремление к объективности, отсутствие лиризма (М. А. Протопопов), интерес к провинциальной, семейной жизни (А. И. Незеленов). По мнению Анненского, Писемский — «пессимист и циник по натуре, он холодно и серьезно разбирает перед нами все мелочное, завистливое в человеке, вещей душевный сор: это его не пугает, потому что он ничего более и не ожидает встретить» («Обломов» в критике. С. 214—215).

ти. Об этом же чуть раньше писал и Мережковский. «Степень оптимизма писателя, — заметил он, — лучше всего определяется его отношением к смерти. Гончаров почти не думает о ней. В „Обыкновенной истории” ему пришлось говорить, как умерла мать Александра Адуева. Эта женщина — живой, яркий характер и занимает важное место в романе. Сын присутствует при смерти. А между тем о кончине ее два слова: „она умерла”. Ни одной подробности, ни одного ощущения, никакой обстановки! И так Гончаров пишет в эпоху, когда ужас смерти составляет один из преобладающих мотивов литературы.

В счастливой Обломовке смерть — такой же прекрасный обряд, такая же идиллия, как и жизнь. Это, кажется, та самая „безболезненная, мирная кончина живота”, о которой молятся верующие. <...>

Обломов умер мгновенно, от апоплексического удара; никто и не видел, как он незаметно перешел в другой мир. Хозяйка „застала его так же кротко покоящегося на одре смерти, как на ложе сна...”. „Что же стало с Обломовым? — спрашивает автор. — Где он? Где? — На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его”.

Вот спокойный взгляд на смерть, каким он был в древности, у простых и здоровых людей. Смерть — только вечер жизни, когда легкие тени Элизиума слетают на очи и смежают их для вечного сна» (Там же. С. 174—175). Эта особенность мировоззрения автора «Обломова» поразила и Анненского:

«В поэзии Гончарова даже смерти как-то нет, точно в его благословенной Обломовке. <...>

Тургенев, Толстой посвятили смерти особые сочинения. У Толстого страх смерти повлиял на все мировоззрение. А вспомните рядом с этим, как умирает у Гончарова Обломов. Мы прочли о нем 600 страниц, мы не знаем человека в русской литературе так полно, так живо изображенного, а между тем его смерть действует на нас меньше, чем смерть дерева у Толстого или гибель локомотива в „La bête humaine”. Когда-то Белинский сказал про Гончарова и его отношение к героиням: „...он до тех пор с ней только и возится, пока она ему нужна”. Так было и

с Обломовым. Он умер, потому что кончился, потому что Гончаров исчерпал для нас всю его психологическую сущность, и он перестал быть нужным своему творцу» (Там же. С. 222).

Гончаровскую «трудную работу объективирования» критик не оценивает как «безразличность в поэтическом материале»: между автором и его героями «чувствуется все время самая тесная и живая связь». Обломов для Гончарова — тип «центральный»: он «служит нам ключом и к Райскому, и к бабушке, и к Марфиньке, и к Захару. В Обломове поэт открыл нам свою связь с родиной и со вчерашним днем, здесь и грезы будущего, и горечь самосознания, и радость бытия, и поэзия, и проза жизни; здесь душа Гончарова в ее личных, национальных и мировых элементах» (Там же. С. 224).

Пример из ряда самых ярких и убедительных «отражений» в критическом наследии Анненского — образ Обломова, возникший в его сознании под действием «основных впечатлений» от романа: «Илья Ильич Обломов не обсевок в поле. Это человек породистый: он красив и чистоплотен, у него мягкие манеры и немножко тягучая речь. Он умен, но не цепким, хищным, практическим умом, а, скорее, тонким, мысль его склонна к расплывчатости. Хитрости в нем нет, еще менее расчетливости. Если он начинает хитрить, у него это выходит неловко. Лгать он не умеет или лжет наивно.

В нем ни жадности, ни распутства, ни жестокости: с сердцем более нежным, чем страстным, он получил от ряда рабовладельческих поколений здоровую, чистую и спокойно текущую кровь — источник душевного целомудрия. Обломов — эгоист. Не то чтобы он никого не любил, — вспомните эту жаркую слезу, когда во сне вспомнилась мать, он любил Штольца, любил Ольгу, но он эгоист по наивному убеждению, что он человек особой породы и на него должны работать принадлежащие ему люди. Люди должны его беречь, уважать, любить и все за него делать; это право его рождения, которое он наивно смешивает с правом личности. Вспомните разговор с Захаром и упреки за то, что тот сравнил его с „другими”.

Он никогда не представляет себе свое счастье основанным на несчастье других; но он не стал бы работать ни для своего, ни для чужого благосостояния. Работа в человеке, который может лежать, представляется ему проявле-

нием алчности или суетливости, одинаково ему противных. К людям он нетребователен и терпим донельзя, оптимист. Обломов любит свой привычный угол, не терпит стеснения и суеты, он не любит движения и особо резких наплывов жизни извне, пусть вокруг и разговаривают, спорят даже, только чтоб от него не требовали ни споров, ни разговоров. Он любит спать, любит хорошо поесть, хотя не терпит жадности, любит угостить, а сам в гости ходить не любит.

Обломов, может быть, и даровит, никто этого не знает, и сам он тоже, но он, наверное, умен. Еще ребенком обнаруживал он живость ума, который усыпляли сказками, вековой мудростью и мучной пищей.

Университетская наука не менее обломовских пирогов усыпляла любознательность; служба своей центростремительной силой отняла у него любимый и родной угол, бросила куда-то на Гороховую и взамен предоставила разговоры о производствах и орденах; на службу Обломов раньше смотрел с наивными ожиданиями, потом робко, наконец, равнодушно. Не прельщаясь ни фортуной, ни карьерой, он залег в берлогу.

Отчего его пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления стыда? <...>

Обломова любят. Он умеет внушить любовь, даже обожание в Агафье Матвеевне. Припомните конец романа и воспоминание о нем Захара. Он, этот слабый, капризный, неумелый и изнеженный человек, требующий ухода, — он мог дать счастье людям, потому что сам имел сердце.

Обломов не дает нам впечатления пошлости. В нем нет самодовольства, этого главного признака пошлости. Он смутится в постороннем обществе, наделает глупостей, неловко солжет даже; но не будет ломаться, ни позировать. В самом деле, отчего его жизнь, такая пустая, не дает впечатления пошлости? Посмотрите, в чем его опасения: в мнительности, в страхе, что кто-нибудь нарушит его покой; радости — в хорошем обеде, в довольных лицах вокруг, в тишине, порой — в поэтической мечте.

А назовете ли вы его сибаритом, ленивцем, обжорой? Нет и нет. Разве он поступится чем-нибудь из своего обломовского, чтоб кусок у него был послаще или постель мягче? Везде он один и тот же Обломов: в гостиной Ильинских с бароном и в своем старом халате с Алексеевым, трюфели ли он ест или яичницу на заплатанной скатерти.

Отнимите у Обломова средства, он все же не будет ни работать, ни лстить; в нем останется то же веками выработавшееся ленивое, но упорное сознание своего достоинства. Может быть, с жалобами, капризами, может быть, с пристрастием к рюмочке, но наверное без алчности и без зависимости, с мягкими приемами и великодушием прирожденного Обломова.

В Обломове есть крепко сидящее сознание независимости — никто и ничто не вырвет его из угла: ни жадность, ни тщеславие, ни даже любовь. Каков ни есть, а все же здесь наш русский home.

Обломов — консерватор: нет в нем заскорузлости суеверий, нет крепостнической программы, вообще никакой программы, но он консерватор всем складом, инстинктами и устоями. Вчерашний день он и помнит и любит; знает он, что завтрашний день будет лучше, робко, пожалуй, о нем мечтает, но иногда даже в воображении жмурится и ежится от этого блеска и шума завтрашнего дня. В Ольге ему все пленительно: тяжела любовная игра и маленькие обманы, и вся та, хоть и скромная, эмансипированность, для которой в его сердце просто нет клапанов. Обломов живет медленным, историческим ростом» (Там же. С. 227—229).

Создается впечатление, что некоторые критики писали о романе, так сказать, не оглядываясь на текст, рассматривая Обломова не как конкретный художественный образ, а как существующий в реальной жизни определенный социально-культурный тип, который связан с романом генетически, но не ограничен, не «определен» (М. М. Бахтин) им. Возможно, срабатывал особый эффект романа, о котором написал современный исследователь: «...есть Обломов романа, а есть позаимствованный в романе Обломов как мифологема сознания (вполне отчетливо присутствующая в сознании даже тех, кто не читал романа)».¹

Для Е. А. Соловьева Обломов — олицетворение одной из негативных особенностей духовной жизни России: инертность, отказ от активной жизненной позиции, благородные порывы вместо последовательной деятельности. Борьбу с этим недугом начал еще Петр I, «однако, — пи-

¹ Михайлов А. В. Иоганн Беер и И. А. Гончаров // Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 397.

шет критик, — обломовщина осталась, и через 170 лет после смерти Петра является перед нами во всем своем великолепии». Она по-прежнему опасна для нравственного и политического развития общества, ибо делает возможными «всякие посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близких нам людей».

Этот коренной недуг русского сознания, считает Соловьев, можно обнаружить даже у Чацкого: «Припомните, как быстро утомляется он в борьбе, как мало в нем выдержанности, деловитой приспособляемости. <...> Это отсутствие дисциплины одинаково говорит нам о том, что Чацкий способен лишь на мгновенные усилия духа».

Самое яркое проявление обломовщины в современной жизни, считает Соловьев, — толстовство. Сторонников этого учения «привлекает нирвана, полное спокойствие души, полная неподвижность и однообразие бытия». Осмысление обломовщины, считает критик, позволяет понять принципиальное отличие русского человека от западного: «...западный человек устремляет все усилия на приобретение права, русский же человек „плевать хочет на все права“ и мечтает о жизни „по-божьи“». <...> Обломову действительно никакого дела не было до юридических начал: никакого, даже слабого, представления о своих правах, правах личности, гражданина он не имел. Это чистое отрицание всякой гражданственности — конечный идеал всех опростителей. <...> Мягкосердечие, добродушие, душевная кротость заставляет всегда предпочитать моральность легальности».¹

* * *

По мнению Н. И. Коробки, Илья Ильич — типичный представитель того русского дворянства, у которого не сформировалось явно выраженного «классового самосознания». «Такая неопределенность, полусознательность и давала возможность быть в одно и то же время крепостником и способным примкнуть к либеральной партии. <...> Это чрезвычайно характерная черта для обломовщины, одна из существенных ее причин, если не основная». Выделение именно этой черты в идеологической характери-

¹ Соловьев Е. А. И. А. Гончаров, его жизнь и литературная деятельность: (Биографический очерк). С. 62—66.

стике Обломова позволяет критику сблизить его с главным героем повести А. Н. Апухтина «Дневник Павлика Дольского».¹ А от Обломовых конца века, считает Коробка, один шаг до «упаднической ночи». И его вывод: «Новые Обломовы гораздо несчастнее старых».²

Для Ю. И. Айхенвальда, автора главы «Гончаров» в книге «Силуэты русских писателей» (М., 1906), инвариантом обломовского типа является «страх перед жизнью». Это позволило продлить обломовский ряд до героев Чехова. Ошибка Гончарова, по мысли критика, заключается в том, что он придал обломовщине излишне физиологический характер. «Для того чтобы быть Обломовым, — пишет Айхенвальд, — вовсе не надо лежать по целым дням, не расставаться с халатом, плотно ужинать, ничего не читать и браниться с Захаром: можно вести самый подвижный образ жизни, можно странствовать по Европе (...) и все-таки быть Обломовым. (...) В Онегине и Бельтове, даже в Райском, в лишних людях Тургенева и Чехова обломовские черты одухотворены, и там они более глубоки, живут всецело во внутреннем мире. (...) Там гораздо идеальнее страх перед жизнью, которая „трогает, везде достает“. У Гончарова физический Обломов заслоняет Обломову души».

Хотя этот типологический ряд назван именем гончаровского героя, сам Обломов «вышел наименее интересным и глубоким из всех многочисленных разновидностей обломовского типа».³

Е. А. Ляцкий, чья научная деятельность была связана с традицией культурно-исторической школы, выпустил в 1912 г. свою книгу «Гончаров. Жизнь, личность, творчество» (это было второе переработанное и дополненное издание; первое издание под другим названием появилось в 1904 г.⁴). Главная цель Ляцкого заключалась в том, чтобы разгадать «характер» Гончарова, ибо в характере писа-

¹ Коробка Н. И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования. Ч. 3: Эпоха реалистического романа. СПб., 1907. С. 196.

² Коробка Н. И. На пороге упадка: (А. Н. Апухтин) // Коробка Н. И. Очерки литературных настроений. СПб., 1903. С. 26.

³ Айхенвальд Ю. И. Гончаров // Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 214.

⁴ Ляцкий Е. А. И. А. Гончаров: Критические очерки. СПб., 1904; 3-е изд.: Ляцкий 1920.

теля, «в нем единственно», исследователь видит «ключ к разгадке его творчества».¹ Автор стремится выявить «биографический элемент» в романах писателя. Основная методологическая посылка Ляцкого такова: «Процесс художественного изображения жизни неизменно совершается по одному из двух путей, совпадающих с теми путями, которые известны в психологии под именем объективного или субъективного методов»; этот «психологический принцип» признается единственно верным, отвечающим научным требованиям (*Ляцкий 1912. С. 51—52*).

Объективный художник — тот, кто «наблюдает {...} явления жизни вовне», стремится дать «яркое и выпуклое изображение предмета в его сущности», для субъективного же художника главное — выразить свое «я», для него внешний мир лишь «сумма внешних условий, среди которых с возможною полнотою и определенностью выражается его „я”» (Там же. С. 52—53).

Гончаров для Ляцкого — «один из наиболее субъективных писателей, для которого раскрытие своего „я” было важнее изображения самых животрепещущих и интересных моментов современной ему общественной жизни» (Там же. С. 53—54).

Очевидно, что объективность и субъективность Ляцкий понимает иначе, чем критики XIX в., писавшие о Гончарове. Для них объективность — это беспристрастие, умение показать различные стороны явления, отсутствие прямых авторских оценок. Книга Ляцкого полемична по отношению к традиционной точке зрения, формирование которой начали еще Белинский и Добролюбов и согласно которой автор «Обломова» — один из самых объективных писателей. И если, например, И. Анненский писал, что «лиризм был совсем чужд Гончарову», что в его произведениях «*minimum* личности Гончарова» («Обломов» в критике. С. 211), то Ляцкий утверждает обратное.

Отправной точкой своих размышлений Ляцкий сделал признание самого писателя: «...я писал только то, что переживал, что мыслил, что чувствовал, что любил, что близко видел и знал» («Лучше поздно, чем никогда»). Весь богатейший запас биографических сведений служит автору прежде всего для подтверждения его главного тезиса

¹ *Ляцкий Е. А.* О творчестве Гончарова // Современник. 1912. № 6. С. 168.

о субъективности Гончарова-романиста. По Ляцкому, Александр Адуев, Петр Иванович Адуев, Обломов, Райский — не объективно нарисованные герои, которые интересны «сами по себе», а лишь маски автора. Романы Гончарова имеют для исследователя интерес сугубо психологический и прикладной, как материал для понимания личности писателя. Ляцкий тщательно выискивает и обычно находит какие-то факты личной биографии писателя, которые позволяют ему связать героя и автора. В одной из своих работ Ляцкий писал: «Обломовщина и гончаровщина до такой степени близко срослись между собой, то дополняя, то объясняя друг друга, что порознь их понимание едва ли возможно».¹

По мнению Ляцкого, мемуарный характер романов Гончарова не предполагает их общественного значения. Точнее, оно «сложилось само собой, помимо воли автора» (Ляцкий 1912. С. 210). Обнаружив многочисленные параллели между биографией романиста и сюжетами его произведений, Ляцкий сделал прямолинейный вывод о субъективности, не учтя умения автора «Обломова» «объективировать субъективный по своему происхождению материал».²

Идеи и выводы Ляцкого показались убедительными многим его современникам. «В последнее время, — писал Л. Н. Войтоловский, имея в виду влияние книги Ляцкого, — от абсолютной объективности большинство переходит к не менее абсолютной субъективности».³ Так, А. А. Измайлов резко изменил свою точку зрения относительно Гончарова: в заметке, посвященной десятилетию со дня смерти писателя, критик писал об объективности романиста,⁴ а в 1912 г. — нечто прямо противоположное: «Кто станет поддерживать убеждение о Гончарове как об объективнейшем из писателей?».⁵

¹ Ляцкий Е. А. Иван Александрович Гончаров // История русской литературы XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянко-Куликовского. М., 1910. Т. 3. С. 252. Подробнее об этом см. выше, с. 123—144.

² Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. М., 1925. С. 149.

³ Войтоловский Л. Н. И. А. Гончаров // Киевская мысль. 1912. № 155. 6 июня.

⁴ См.: Измайлов А. А. Памяти И. А. Гончарова // Биржевые вед. 1901. № 251. 15 сент. С. 1—2.

⁵ Измайлов А. А. Гончаров и история: (Личность и писательство в переоценке двух десятилетий) // Биржевые вед. 1912. № 12973. 6 июня. С. 1.

Вместе с тем методологическая уязвимость труда Ляцкого была отмечена еще в 1904 г., после выхода первого издания книги. «Единственная мысль, которую можно выискать в книге Евг. Ляцкого, — писал В. Я. Брюсов, — это то, что Гончаров в своих романах пользовался как материалом виденным, так и пережитым. И это-то чудовищное общее место Евг. Ляцкий не устает повторять на каждой странице, с уверенностью, что устанавливает особый взгляд на Гончарова как „субъективного” писателя».¹

Идея Ляцкого о субъективности творчества Гончарова была близка и Д. Н. Овсяннико-Куликовскому. Тем не менее, отметив его книгу как «ценный вклад в литературу о Гончарове», он полагал, что Ляцкий «слишком расширяет субъективную сторону в творчестве Гончарова» (см.: *Овсяннико-Куликовский 1912а; Овсяннико-Куликовский 1912б*).

Свое понимание творчества Гончарова Овсяннико-Куликовский высказал еще в 1904 г., когда в «Вестнике воспитания» под общим названием «Итоги русской художественной литературы XIX века» были опубликованы очерки «Илья Ильич Обломов» и «Обломовщина и Штольц», позднее в переработанном виде вошедшие как главы X и XI в его «Историю русской интеллигенции» (1906. Ч. 1). И наконец, в сокращенном варианте его концепция была представлена в двух статьях юбилейного 1912 г.²

Овсяннико-Куликовский не стремился оценить все творчество Гончарова. Он обращался главным образом к роману «Обломов», поскольку, как считал исследователь, «изображение обломовщины было главным, можно сказать даже единственным, делом его [Гончарова] жизни как писателя» (*Овсяннико-Куликовский 1912а*. С. 1817).

Как известно, для «Истории русской интеллигенции» и ряда других работ Овсяннико-Куликовского характерно «совмещение (...) принципов психологизма с методикой культурно-исторического исследования явлений литературы и общества».³

¹ Пентаур (Брюсов В. Я.) Евг. Ляцкий. И. А. Гончаров: Критические очерки // Весы. 1904. № 3. С. 68.

² Овсяннико-Куликовский Д. Н. 1) Поэт обломовщины // Неделя «Современного слова». 1912. № 216. 28 мая. С. 1817—1820; 2) И. А. Гончаров // ВЕ. 1912. № 6. С. 193—210.

³ Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении // Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. Гл. 4. С. 378.

Деление на объективных и субъективных писателей Овсяннико-Куликовский проводил не в зависимости от характера отражения реальной действительности, а в плане психологии творчества. Субъективное творчество направлено «на воспроизведение типов, натур, характеров, умов и т. д., более или менее близких, родственных или даже тождественных личности самого художника» (*Овсяннико-Куликовский 1989. Т. 1. С. 435*). В отличие от Ляцкого Овсяннико-Куликовский не сводит все к личному опыту писателя, акцент делается на совпадении или несовпадении психических типов — автора и героя: Гончаров — «субъективный писатель», ибо он «художественно открыл и постиг обломовщину путем не объективных, а субъективных наблюдений, — он открыл ее в себе и в своих присных, родных по духу, в своей психологии» (*Овсяннико-Куликовский 1912б. С. 195*).

В истории России и в русской литературе Овсяннико-Куликовского прежде всего интересовали общественно-психологические типы; на выявление родовых черт того или иного типа и направлены его основные усилия.

Обломов, по мысли исследователя, один из самых значительных и самых «широких» в нашей художественной литературе типов (*Овсяннико-Куликовский 1989. Т. 2. С. 230*). Определение «широкий» имеет для Овсяннико-Куликовского глубокий смысл: он видит в Обломове образ конкретно-исторический и вместе с тем вневременной, не связанный с определенным периодом жизни русского общества.

Обломова и Штольца как представителей своей эпохи исследователь рассматривает в связи с проблемой «людей 40-х годов». Каково же место героев Гончарова в ряду близких им общественно-психологических типов? Какие родовые черты они сохраняют, какие утрачивают и какие обретают?

С людьми 1840-х гг. Илью Ильича связывают «известные умственные интересы», «вкус к поэзии», «дар мечты», «гуманность», «душевная воспитанность» (Там же. С. 233). А в чем отличие? «Чацкий, Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Лаврецкий <...> — пишет Овсяннико-Куликовский, — „вечные странники“ в прямом и переносном психологическом смысле, вечно ищущие и не находящие „душевного пристанища“, одинокие скитальцы в юдоли до-реформенной русской жизни» (Там же. С. 215—216).

В гоголевском Тентетникове, а потом и в Обломове, — персонажах «примыкающих, в общественно-психологическом смысле, к тому же ряду типов», эта черта впервые устраняется: «...их отщепенство, их душевное одиночество получило иное выражение — „покоя“, физической и психической бездеятельности, застыло в неподвижности, притаилось и замерло в однообразии будней, в какой-то восточной косности» (Там же. С. 216). Далее: в отличие от «ораторов» и «пропагандистов» 1840-х гг. Илья Ильич «не только не может и не умеет, но и не хочет „действовать“» (Там же. С. 234). И наконец, самое резкое отличие Обломова от идеалистов 1840-х гг. — он «крепостник», «типичный крепостник», из тех, что «не могли пережить день 19 февраля 1861 года и либо сходили с ума от изумления, либо умирали от огорчения» (Там же. С. 240). Но Обломов, замечает ученый, нельзя отнести к «крепостникам-политикам» (Там же. С. 242). В этой части своих рассуждений Овсяннико-Куликовский предлагает очень интересную параллель. Убеждения Обломова-крепостника, который «пропекает» Захара и сомневается, надо ли заводить школу для крестьян, «весьма близки к тем, которые возвестил миру Гоголь в „Выбранных местах из переписки с друзьями“» (Там же. С. 240).¹

Говоря об общественно-психологическом типе, Овсяннико-Куликовский иногда как бы забывает о конкретном герое, и тогда становятся возможными предположения вроде того, что если бы Обломов мог «сделаться адептом какой-нибудь „партии“, то он примкнул бы к либералам, к людям прогресса» (Там же. С. 242).

«Недуг» Обломова, по мысли Овсяннико-Куликовского, явственно очевиден благодаря присутствию в романе двух других героев — Штольца и Ольги, которые ни в коей мере не заражены обломовщиной. Овсяннико-Куликовский особо подчеркивает жизненность образа героини, которая явилась «психологическим типом, объединяющим лучшие стороны русской образованной женщины, сильной умом, волею и внутреннею свободой» (Там же.

¹ К этой параллели обратились и современные исследователи (см.: Мельник В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» // РЛ. 1982. №3. С. 88—89; Гейро Л. С. 1) История создания и публикации романа «Обломов» // ЛП «Обломов». С. 568; 2) Комментарий // Там же. С. 658—659).

С. 273). Очень важно, с точки зрения Овсяннико-Куликовского, и то, что именно сопоставление с Ольгой помогает читателю понять не только меру безволия и апатии Обломова, но и меру буржуазности Штольца.

Сопоставлением со Штольцем и Ольгой вопрос о «широте» образа Обломова¹ не исчерпывается. Кроме бытовой, конкретно-исторической стороны, связанной с определенным жизненным укладом Обломова, Овсяннико-Куликовский видит в этом образе еще и Обломова «психологического», который и «сейчас жив и здоровствует» (Там же. С. 231).

Попытку выстроить свой типологический ряд, включающий Обломова, предпринял Ф. П. Шипулинский. Он объединил Обломова с героями, которые «ищут правды» (Печорин, Рудин, Лиза Калитина, Нежданов, «Сокол» М. Горького), и на основании этого сопоставления назвал гончаровского героя «русским Дон Кихотом».² Герои русской литературы, названные Шипулинским, в типологический ряд все-таки не выстраиваются. А вот параллель с Дон Кихотом — мимоходом, без подробной разработки, она уже намечалась в некоторых критических статьях, — конечно, заслуживала внимания. Способность жить воображением, верить в воображаемый мир, стремиться к нему — этим качеством наделены многие литературные герои, которые генетически в большей или меньшей степени связаны с сервантесовским Дон Кихотом.³

В начале века в России очень возрос интерес к проблеме национального характера. Об этом тогда писали многие, в частности В. Г. Короленко, А. М. Горький,

¹ Об исключительной «широте» образа Обломова, о его вневременной сути сказал в работе «Три речи в память Достоевского» (1883) В. С. Соловьев: «Отличительная особенность Гончарова — это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломов, равного которому *по широте* мы не находим ни у одного из русских писателей. {...} В сравнении с Обломовым и Фамусовы, и Молчалины, Онегины и Печорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь *специальное* значение» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 294—295).

² Нагель Ф. <Шипулинский Ф. П.> Русский «Дон Кихот» // Крымский вестн. 1912. № 142. 6 июня. С. 2.

³ Иную точку зрения см. в работе В. Кантора «Долгий навыв ко сну» (Вопр. лит. 1989. № 1. С. 181—182).

И. А. Бунин. К этой теме обращались также историки, критики и публицисты.

В связи с проблемой национального характера нередко упоминался гончаровский роман и его герой.¹ Так, А. Ф. Кони в 1912 г. в своей юбилейной речи «Иван Александрович Гончаров» сказал, что современный Обломов «уже не лежит на диване и не пререкается с Захаром. Он восседает в законодательных или бюрократических креслах и своей апатией, боязнью всякого почина и ленивым непротивлением злу сводит на нет вопиющие вопросы жизни и потребности страны; или же уселся на бесплодно и бесцельно накопленном богатстве» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 248—249).

О возросшем интересе к вопросам «о национальной природе, о темпераменте русского народа, о его языках и вкусах» писала Е. А. Колтоновская: «Там, — заметила она, — ищут разгадок многих общественных неудач».² Колтоновская наметила очень плодотворную параллель: «Суходол» И. А. Бунина и «Обломов» Гончарова, — в дальнейшем она так и не была детально разработана. Что, в частности, является основой для такой параллели? В главе «Сон Обломова», как и в «Суходоле», действующими лицами являются главным образом помещики и дворовые. Но внимание писателей сосредоточено не на социальных конфликтах. Эту особенность взгляда Гончарова на изображаемую действительность отметил и Е. А. Ляцкий: «Нельзя не поражаться, как мало уделяет Гончаров внимания крепостному праву», — тут же предложив свое объяснение этому факту: Гончаров «всегда стоял далеко от подлинной народной жизни» (*Ляцкий 1912*. С. 211). Дело, конечно, не в том, что писатель не знал, не видел или не понимал сути крепостничества. Автора «Сна Обломова» прежде всего интересует другой аспект в осмысле-

¹ Проблему национального характера, как она ставится в «Обломове», вряд ли следует связывать только с главным героем. Как и Гоголя (см.: *Купреянова Е. Н.* «Мертвые души» Н. В. Гоголя: (Замысел и его воплощение) // *РЛ*. 1971. № 3. С. 68—71; *Жаравина Л. В.* К проблеме национального характера в поэме Гоголя «Мертвые души» // *Классическое наследие и современность*. Л., 1981. С. 159—166), Гончарова волновала тема искажения исконно русских коренных свойств. И эта тема в романе не сводится к барски-холопской обломовщине.

² *Колтоновская Е. А.* Поэт русской старины // *Новый журнал для всех*. 1912. № 6. С. 96.

нии русской жизни: в психике, в привычках, в строе чувств он стремится показать начало, объединяющее господ и крепостных. Жизнь в Обломовке показана не столько как жизнь помещицкой усадьбы, сколько как жизнь «племенная», общенациональная, а потому, оттолкнувшись от описания обломовского мира, автор — и это воспринимается как обоснованный ход — делает выводы о жизни «наших предков», о жизни сегодняшнего русского человека (наст. изд., т. 4, с. 116—119).

В «Суходоле», при показе помещицкой усадьбы, Бунин выбрал ракурс, близкий к гончаровскому. В психике бунинских героев — и бар и крепостных — есть нечто общее.¹ «Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина», — сказал по этому поводу в одном из интервью 1911 г. Бунин; поиски в социальной плоскости, следовательно, не помогут раскрыть тайну русской души: «Мне кажется, — говорит далее Бунин, — что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. {...} Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская».² Бунин видит, как видел и Гончаров, нелепость и несправедливость крепостнических порядков, но не на это направлено его главное внимание.

Сравнивая бунинские повести («Деревня» и «Суходол») с «Обломовым», Колтоновская отдает предпочтение Гончарову. В «интересных» повестях Бунина она увидела не национальное самоопределение, а «самоотрицание», даже «самооплевывание». Имея в виду современных писателей, обращающихся к этой теме, Колтоновская заявляет, что они «слабы духом»: «вместо спокойного и смелого анализа прошлого они проявляют в отношении к нему желчную нервность и невольно сгущают краски». Объективность Гончарова («устойчивость и светлый взгляд») критик сравнивает с пушкинской. Автор «Обломова», по мнению Колтоновской, «рисует эту самую, для всех теперь интересную старину и нашего предка с полным беспристрастием, иногда с любовью. Понятно! Это же — его родное, оно к нему „приросло“»; вывод Колтоновской та-

¹ См.: Крутикова Л. В. «Суходол», повесть-поэма И. Бунина // РЛ. 1966. № 2. С. 44—59.

² Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. IX. С. 536, 537.

ков: «В изображении всего, что касается основного уклада русского человека, его вкусов и склонностей, у Гончарова нет равного соперника».¹

Не все критики согласны были рассматривать Обломова как общенациональный тип. В. Е. Евгеньев-Максимов, например, писал в своих «Очерках по истории русской литературы 40-х—60-х годов»: «Не отрицая наличности в психике русского человека как отрицательных — некоторая слабость воли, апатичность, склонность полагаться на „авось“, так и положительных — добродушие, душевная чуткость — свойств Обломова, нельзя забывать, что ими далеко не исчерпывается внутренний мир славянина. Ведь самоотверженная до самозабвения Лиза Калинина из „Дворянского гнезда“, мужественная Елена из „Накануне“ с ее неукротимой жаждой деятельного добра, наконец, спокойный, уравновешенный культурный работник Соломин из „Нови“ — также русские люди, а между тем как мало похожи они на Обломова».²

Но все-таки доминирующей в русской критике была тенденция рассматривать Обломова как национальный тип. Как о само собой разумеющемся, через несколько лет, в год двадцатипятилетия со дня смерти Гончарова, напишет об этом В. В. Розанов: «...нельзя о „русском человеке“ упомянуть, не припомнив Обломова (...). Та „русская суть“, которая называется русскою душою, русскою стихиею (...) получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе. (...) „Вот наш ум“, „вот наш характер“, „вот резюме русской истории“».³

¹ Колтоновская Е. А. Поэт русской старины. С. 96, 97.

² Максимов В. Е. Очерки по истории русской литературы 40-х—60-х годов: Натуральная школа. СПб., 1912. С. 175. Об этом же позже писал Д. С. Лихачев: «В русской литературе мы имеем огромное множество типично русских характеров, но никто из этих характеров — носителей русских черт — не мог бы один представлять русский народ как таковой. Как много критиков XIX века пытались канонизировать Обломова как русский тип. Что от этих потуг осталось сейчас?» (Лихачев Д. С. Национальное единообразие и национальное разнообразие // РЛ. 1968. №1. С. 138).

³ Розанов В. В. К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова (15 сентября 1891—15 сентября 1916 г.) // Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 649—650.

И в прижизненной, и в последующей критике может быть отмечена одна общая для многих писавших о герое Гончарова мысль: значение мечты для Обломова. Ведь слово «обломовщина» возникает в романе как непосредственная реакция Штольца на образ желанной жизни, созданный «поэтом» Ильей Ильичом. Желанное и, по Обломову, истинное существование предстает не как сумма эмпирически проверенных возможностей, а как свободное, «живое видение» (М. М. Бахтин).

Обычно обломовщина понимается прежде всего как зависимость героя от норм и традиций определенного уклада жизни, проявляющаяся в его психике и поступках. Но мечта Ильи Ильича — это не только «память», воссоздание с помощью фантазии того, что было в реальной Обломовке. Не менее важно, что мечта — это и плод творческих усилий героя, его, так сказать, поэтических дум. Грезы Ильи Ильича о будущей жизни в Обломовке, его рассказ Штольцу об этой мечте образуют особый, поэтический сюжет в романе, который имеет важнейшее значение для понимания героя.

Мечта Обломова противостоит действительности не только как «память», как прошлое настоящему, но и как желанное существующему. В отличие от его «плана» мечта для Ильи Ильича — свободное творчество, в мечте он демиург желанного мира. О тех же событиях Обломов совсем иначе думает, когда это не «план», а свободное творчество. Скажем, о мужиках, ушедших из Обломовки.

Мечта, поэтическое переживание занимает так много места в духовном мире Обломова, что можно сказать, используя слова Ф. И. Тютчева: душа его живет «на пороге как бы двойного бытия» — и «здесь», в контакте с задевающей ее жизнью, и «там», в мечте.

О склонности к поэтическим фантазиям как доминирующей черте сознания Ильи Ильича писали многие. Одним из первых отметил это М. Ф. Де-Пуле, чей взгляд на характер Обломова А. А. Григорьев назвал «оригинально-прекрасным», с сочувствием цитируя в одной из статей цикла «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“...» следующее суждение критика из рецензии, которая так и не была опубликована: «Обломов (...) был поэт, и притом народный. И это так, хотя он не написал ни одного сонета. Обломов жил

фантазией, в мире идей, жил фантазией самой роскошной, воспитанной на чисто народной почве»; Де-Пуле признал, что именно эта черта «вследствие огромного преобладания ее над другими душевными способностями» погубила Илью Ильича: «...эта превосходная поэтическая натура все-таки погибла от нравственной болезни и погрузилась в лень и апатию. Гибель эта была бы невозможна, если бы натура Обломова была иного свойства, если бы он не был поэтом» (цит. по: *Григорьев*. С. 336).

Но, как мы видели, для Де-Пуле склонность Ильи Ильича к поэтическим фантазиям не болезнь и даже не свойство чудака, а черта характера, связывающая его с народной почвой.

Этот вывод решительно не принял славянофил И. С. Аксаков. 6 июля 1859 г. он писал Де-Пуле: «Вы не объясняете нигде, что именно поэтического в этой натуре? Что общего между Обломовым и народными песнями, например „Вниз по матушке, по Волге“? Звучит ли этот бодрый мотив в натуре Обломова? Нисколько. Он возрос не на народной, а на искаженной дворянской почве».¹

Н. И. Соловьев в статье «Вопрос об искусстве: Сочинения Н. А. Добролюбова» (ОЗ. 1865. № 7. С. 436—444) дает свое объяснение апатии гончаровского героя: «...Обломов заснул не оттого только, что воспитывался в Обломовке или был обеспечен, а оттого еще, что чувствовал страшную дисгармонию между собою и окружающим, между своей хрустальной душой и свирепствовавшей вокруг

¹ И. А. Гончаров в неизданных письмах, дневниках и воспоминаниях современников / Публ. и коммент. Н. Г. Розенблюма // *РЛ*. 1969. №1. С. 165. Объяснением того, почему славянофилы практически не заметили «Обломова», отчасти могут служить письма членов семьи Аксаковых. В цитированном выше письме к М. Ф. Де-Пуле И. С. Аксаков писал: «...в Гончарове вы не слышите ни малейшей симпатии к русской народности (...) Обломов вышел олицетворением одной лени с притязаниями на тип более глубокого и серьезного смысла». В другом письме к этому же адресату И. С. Аксаков категорически заявил: «Лет через 10 никто не станет перечитывать ни „Двор(янского) гнезда“, ни „Обломова“» (Там же. С. 165, 166). Старшая дочь С. Т. Аксакова В. С. Аксакова, как заметил Н. Г. Розенблюм, «всегда выражавшая в письмах мнения всей семьи Аксаковых», писала 19 сентября 1859 г. М. Г. Карташевской: «Ты спрашиваешь меня, читала ли я „Обломова“. Я не читала, но несколько слышала; все говорят, что очень умно задумано, но нет внутреннего нравственного убеждения» (Там же. С. 164).

него лихорадкою эгоизма и неудовлетворенного самолюбия» («Обломов» в критике. С. 172).

В качестве ядра обломовщины, ее вневременной сути, «самого характеристического качества Обломова, этого прототипа людей, полупроснувшихся для жизни», критик называет «наклонность к грезам, мечтам и планам» (Там же. С. 168). «У г. Гончарова, — пишет Соловьев, — чрезвычайно подробно обрисован весь процесс, который происходит в душе человека, у которого голова уже работает, а членами ему трудно и боязно двинуть. Все отставшие и позади других плетущиеся люди тоже живут много мечтами, хотя и благородными подчас, но все-таки мечтами» (Там же).

По мнению О. Ф. Миллера, мечты, «думы» Ильи Ильича — это «идеальное» творчество, заменившее ему реальную деятельность, которой он не сумел найти в жизни. «В Обломове, — пишет критик, — есть желание деятельности, но деятельности не механической, а самостоятельной, творческой, только эта творческая деятельность проявляется у него в *мечтах*: он многое создает, лежа у себя на постели. Обломов способен отдавать справедливость чужому труду, но, на беду, труда в настоящем смысле он не замечает вокруг себя. А труд просто ради труда, без всякой другой, высшей цели, ему непонятен; поэтому он готов бы, пожалуй, хотя и не решается этого высказать, видеть своего рода безделье и в трудолюбии Штольца. Но сознание важности и ценности настоящего труда так и остается в нем только *сознанием*».¹

И. Ф. Анненский в упоминавшейся выше статье «Гончаров и его „Обломов“» 1892 г. генетически связывал Обломова с гоголевскими персонажами (Манилов, Тентетников, Платонов, Подколесин). Но гоголевские типы, по его мнению, только намекают на гончаровского героя. Критика интересуется Ильей Ильич как оригинальный психологический образ. По мысли И. Ф. Анненского, суть этой личности составляют следующие черты: «упорное сознание своего достоинства», «крепко сидящее сознание независимости», он «консерватор всем складом, инстинктами и устоями», он «живет медленным, историческим ростом». И наконец, глубинный психологический пара-

¹ Миллер О. Ф. Публичные лекции: Русская литература после Гоголя. СПб., 1874. С. 22.

докс: «Обломов душой — целомудренный юноша, а в привычках — старик». Чтобы объяснить этот парадокс, надо понять его отношение к идеалу, к мечте: «С робкой нежностью бережет он свой идеал, но для него достижение идеала вовсе не цель жизни, для него это любимая мечта; борьба, усилия, суета в погоне за идеалом разрушают мечту, оскорбляют идеал Обломова...» (Там же. С. 229, 230).

Инвариант «мечтательность» использовал и И. А. Ильин, включив Обломова в особый типологический ряд. В работе «Пророческий дар Пушкина» (1937) он говорил о «свободе мечты, столь характерной для русской души». О свободе, которая в высшей степени была присуща Пушкину и которая уравнивалась в нем «классической силой *духовного трезвения*». Русская литература видела опасность, которая таится в этой приверженности к ничем не ограниченной мечтательности. «Опасность этой свободы, — писал Ильин, — отмеченная Пушкиным в Онегине, Гоголем — в образе Манилова, Гончаровым — в образе Обломова, Достоевским и Чеховым — во множестве образов, — состоит в духовной беспредметности и жизненной беспочвенности мечтания, в его сердечном холоде, в безответственной пассивности, в личной пустоте и пошлой незначительности. *Мечтательность* есть великий дар и великий соблазн русского человека. Через нее он вкушает *призрачную свободу*, а сам остается в мнимости и ничтожестве. Это есть своего рода душевное „пианство“...».¹

Эту же суть — уход от жизни в поэтическую мечтательность — увидел в гончаровском образе Н. Я. Берковский: «„Обломов“ Гончарова — роман, через который идет от начала до конца эстетическая проблема. Илья Ильич Обломов, как неоднократно говорится в романе, — поэт и защитник поэтической жизни, равновесия сил, „выделки покоя“, как он сам это называет. Правоту ему дает лишь антитеза его сословному быту — буржуазный, деловой, европейский прозаизм Штольца, несмотря на попытки автора улучшить его, явно безнадежный, превращающий деятельность в цель для самой себя, а действующего человека в служебное средство. {...} Аргументами от буржуа Гончарову не удастся побороть Обломова, но Гончаров

¹ Ильин И. А. Одинокый художник. М., 1993. С. 64.

показывает, как сама же эта дворянская поэзия жизни разрушает себя, потому что у ней нет деятельного обмена с жизненной прозой, как боязнь прозы, усилия, временного отчуждения от личных интересов делает невозможным общение с людьми. Любовь — поэзия любви, уничтожена Обломовым в его истории с Ольгой, где он спрятался от прозы любви, от деятельной стороны отношений к другому человеку, от самоотречения и все потерял таким образом».¹

* * *

Об Обломове критики спорили постоянно, причем, как можно было видеть, полемическая реакция иногда относилась к мнениям, которые были высказаны двадцать-тридцать лет тому назад. По критическим суждениям тех или иных авторов часто можно определить их принадлежность к конкретным общественно-эстетическим течениям: революционные демократы, почвенники, ранние марксисты.

О Штольце же почти не спорили. Более того, порой обнаруживалось неожиданное единодушие в позициях критиков разных направлений. Выводам, касавшимся Ильи Ильича, могли предшествовать размышления о сюжете романа, системе его образов, об особенностях гончаровского психологизма. О Штольце писали, как правило, категорично, итоговыми фразами. Тот или иной критик, как бы взглянув на героя «в упор», уже готов был к выводам.

«Недосказанность» этого героя была очевидна почти всем, писавшим о романе. Гончаров не просто допускает «пробелы» в обрисовке героя: при переходе от Обломова к Штольцу отчасти изменяются сами принципы создания образа. Автор сознательно не объясняет, чем же конкретно занимается Штолец, — странность эта всем бросилась в глаза; она удивляла, раздражала,² вызывала ирониче-

¹ Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. С. 111 (написано в 1945 или 1946 г.).

² Из работы в работу перекочевывали упреки Гончарову в том, что, создавая образ дельца и негоцианта, он ничего определенного не сказал о его занятиях. Попытка Л. С. Гейро дать представление о деятельности Штольца на основе разбросанных в романе глухих намеков и географического перечня мест, по которым он путешествовал, по-

ские комментарии. И почти ни у кого не пробудила желания объяснить ее с учетом творческой установки писателя. Почему Гончарову было важно обозначить причастность героя к различным сферам человеческой жизни, почему штольцевский тип сознания, как и обломовский, осмыслен не только конкретно-исторически, но и во вневременном, максимально обобщенном плане?

Добролюбов в Штольце «недосказанности» не обнаружил. С его точки зрения, Гончаров сказал даже больше, чем следовало, т. е. больше, чем подтверждалось самой жизнью: литература «забежала вперед» жизни. Но забежала в том направлении, куда идет жизнь: Штольцы — люди завтрашнего дня. «Должно появиться их много, — заметил критик, — в этом нет сомнения» («Обломов» в критике. С. 65). Но герой, который «успокоился на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье», явно «не дорос еще до идеала общественного русского деятеля», «не он тот человек, который сумеет на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово „вперед“» (Там же. С. 65).

А вот Дружинин «недосказанность» Штольца увидел и расценил ее как авторский просчет. Критик «предупредил» романиста, что эта особенность образа может спровоцировать его превратное истолкование: «...эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности» (Там же. С. 119).

лезна и интересна (см.: ЛП «Обломов». С. 533—534), но существа проблемы не решает — деятельность героя остается описанной декларативно, обозначенной легкими штрихами. Правомерной представляется неожиданная попытка увидеть в этом обстоятельстве не промах автора, а своего рода достоинство: «На протяжении всего романа Гончаров нигде не дает читателю отчетливого представления о роде деятельности Штольца. {...} Читательское воображение может как угодно заполнить предоставленное ему смысловое пространство, оно не сковано никакими авторскими ограничениями. От этого и возникает ощущение, что Штолец может быть причастен самым разным сферам — деловым, культурным, бытовым, политическим — человеческой жизни. И именно такая свобода образа от конкретных, обязательных решений, незакрепленность за ним жестких мотивировок обуславливает представление о своеобразной ренессансной устремленности героя и оправдывает его желание быть причастным всей полноте жизни» (Отрадин. С. 127).

Опасения Дружинина подтвердились: критики охотно «додумывали» Штольца. Образ его они дополняли новыми штрихами, опираясь на быстро менявшийся социальный и житейский опыт, и оценивали героя по той или иной социально-нравственной шкале.¹

А. П. Милюков, в то время уже не «западник», а приверженец либерально-почвеннической идеологии, в своей статье несколько раз отмечает, что речь идет о художественном образе: это «любимый тип Гончарова» (как и деятельный Адуев-дядя), это еще одна попытка в русской литературе создать «положительный тип», Штольц — «близкая родня Калиновичу». Но как только критик попытался дать развернутую характеристику героя, волна публицистического пафоса подхватила его, и он, забыв о тексте, принялся обличать штольцевщину российской жизни: «В этой антипатичной натуре, под маскою образования и гуманности, стремления к реформам и прогрессу, скрывается все, что так противно нашему русскому характеру и взгляду на жизнь. В этих-то Штольцах и таились основы гнета, который так тяжело налег на наше общество. Из этих-то господ выходят те черствые дельцы, которые, добиваясь выгодной карьеры, дают все, что ни попадется на пути, предводители марширующей и пишущей фаланги, готовые ранжировать людей, как вещи на своем письменном столе, — сухие бюрократы, преследователи мелких взяточников и угодники крупных, враги всего, не подходящего к немецкой чинности, готовые придавить все живое во имя своей дисциплины. Из этих полурусских Штольцев вырождаются все учредители мнимо бла-

¹ Можно сказать, что почти все современники в той или иной степени отнеслись к Штольцу неприязненно, а то и откровенно враждебно. Исключения были крайне редки и вряд ли радовали Гончарова. Так, А. И. Пальховский — его критические статьи безжалостно высмеял Добролюбов — писал: «Штольц — будущий человек России, в которого Обломов имеет превратиться в последующих поколениях» (*Пальховский А. Наш современный портрет: (Несколько слов по поводу «Обломова») // Моск. вестн. 1859. № 42. 3 окт.*). Редко высказывалось и мнение о том, что Штольца не надо «расшифровывать» исходя из представлений о сегодняшней, конкретной действительности, а следует руководствоваться той доминантой, которая организует образ. «Штольцу, — писал А. И. Незеленов, — сочувствует творец „Обломова“ не как ловкому фабриканту и дельцу, наживающему деньги, а как человеку *энергии и движения*» (*Незеленов А. И. И. А. Гончаров // Рус. обозрение. 1891. № 10. С. 559*).

годетельных предприятий, эксплуатирующие работника на фабрике, акционера в компании, при громких возгласах о движении и прогрессе, все великодушные эмансипаторы крестьян без земли, с жаром проповедующие об освобождении личности из-под влияния ненавистной и дикой русской общины. <...> Сегодня они кричат против взяточников и гонят злоупотребления оттого, что это не только безопасно для них, но может быть даже и полезно; а подуй другой ветер — и завтра они будут гонителями образования и гасителями мысли и очень умно будут говорить о необходимости подчиниться обстоятельствам. Никогда эти Штольцы не выйдут вперед, если общество потребует какой-нибудь существенной жертвы; какого-нибудь действительно гуманного подвига, разве при этом явится возможность ожидать впереди за жертву воздаяния сторицею» (Там же. С. 138—139).

По Н. Д. Ахшарумову, Штольц — «филистер с головы до конца ногтей» (Там же. С. 155). Ссылка на материнское влияние критика не убеждает: вариации Герца, мечты и песни не могли противостоять филистерству, которое жило в Верхлёве точь-в-точь, как в Германии, славящейся «количеством музыкальных вариаций всевозможного рода, мечтаний, песен, исторических памятников и воспоминаний» (Там же. С. 153). В Штольце нет противоречий, это «модель», а не живой человек: «В живом человеке принцип должен господствовать — это правда, но надо, чтоб было над чем. Принцип, как всякая сила, нуждается в противодействии, для того чтобы выразить себя с живой и действительной стороны. Без этого противодействия всякая сила остается только *in posse*, как простая возможность, как мысленное отвлечение, и такое-то отвлечение мы находим в Штольце. В нем, кроме принципа и кроме задачи, нет ничего; он не сотворен, а придуман; он родился не от живого отца и матери, а <от> их идеального антитеза, возникшего как упрек против несчастного Обломова. Это чистый контраст Обломова во всех отношениях. Что делает Штольц в романе? Он возражает Обломову то словом, то делом, стыдит, упрекает его — более ничего; это единственная его цель, единственное назначение; каждый шаг, каждое слово его направлены в эту сторону. Он даже и женится как будто бы с целью дать хорошенько почувствовать Илье Ильичу, чего именно ему недоставало, чтобы заслужить

любовь Ольги и быть ее достойным мужем» (Там же. С. 154).

Явно упрощая образ Штольца, Ахшарумов пишет, что он влюбился, как это у него заранее было положено, «не прежде, как нажив себе большой капитал» (Там же. С. 154). Критики словно не замечали тех страниц романа, на которых говорится, что главным для человека Штолец считал необходимость довоспитаться до истинной любви, что «любовь с силою архимедова рычага движет миром» (наст. изд., т. 4, с. 448). Этот ракурс в изображении героя критики выделяли редко. А если выделяли, то говорили о философии и практике чувств Штольца в лучшем случае с легкой иронией. «До уменья же Штольца управлять, как искусный ездок конем, всеми движениями своего сердца, очень немногие поднялись в наше время», — написал в своей рецензии А. П. Пятковский.¹

Ахшарумов первым, задолго до В. Ф. Переверзева,² отметил «сродство» двух резко противопоставленных героев, Обломова и Штольца, «тесную внутреннюю связь двух крайних полюсов антитеза» (Там же. С. 161). Штолец для Ильи Ильича — «его Мефистофель, его двойник, его парадоксальное и неумолимое противоречие», ибо герои совпадают как два «дилетанта», «дилетант покоя и дилетант труда». Да, «жизнь» и «труд» для Штольца синонимичны (Там же. С. 151). Но все зависит от смысла и содержания труда. Если речь идет о труде, который «клонится только к личному удовольствию», то между двумя типами существования нет принципиальной разницы. В таком истолковании («анти-Обломов», «чистое отрицание») герой превращается в чистую функцию.

Ахшарумов иронически комментирует предсказание автора романа о том, что много Штольцев явится под русскими именами («нашествие гг. Штольцев и К°»), не замечая, что это предсказание говорит как раз об обыкновенности такой личности (Там же. С. 165).

И Де-Пуле увидел в Штольце явление глубоко чуждое русской жизни. «Автор „Обломова“, — писал он, — снизошел в преисподнюю земли и там между разбитыми и опрокинутыми бочками и наваленными в кучу ретортами

¹ Пятковский А. «Обломов». Роман И. Гончарова // *ЖМНП*. 1859. № 8. Отд. VI. С. 107.

² О суждениях В. Ф. Переверзева см. ниже, с. 386—388.

нашел все, что ему было нужно, но не нашел только новой жизни...». Опасность штольцевщины, по мнению критика, столь велика, что он считает нужным обратиться к «молодому поколению» с таким призывом и предупреждением: «Развивайтесь, не насилуя своей природы: при желании пробудиться от сна и обломовщины, не будьте ни Штольцами, ни Калиновичами. Англичанами вы все-таки не сделаетесь, а только воплотите в себе сухой и отталкивающий идеал, созданный, правда, нашею жизнью, но из начал бедных, носящих в себе зародыш смерти».¹

Как об опасности для национальной жизни писал о явлении Штольцев Н. И. Соловьев: «Штолец — лицо не вымышленное, а действительное: таких людей, которые, благодаря чисто немецкому воспитанию, наживают в несколько лет сотни тысяч, очень немало в России. Обломовы потому-то и не перестают быть ленивцами, что кланяются таким особам и позволяют им водить себя за нос, а те-то их умасливают да ублаговворяют: лежите, дескать, мы все за вас сделаем — и сапоги вам сошьем, и лекарства приготовим, и об умственном продовольствии вашем позаботимся. Не торопитесь только, лежите. Вот где источник-то отсталости и узкого консерватизма, тормозящий нашу деятельность» (Там же. С. 169—170).

О. Ф. Миллер понимал отношение Гончарова к своему герою не как «сочувствие», а как идеализацию. «Гончаров, — писал он, — действительно видит образцовую личность в Штольце, в этом нет никакого сомнения». Но вместо «идеального делового человека» получился такой же «приобретатель», как гоголевские «помещик Костанжогло и откупщик Муразов».²

А. Кузин, явно отрицательно относящийся к Штольцу, так оспаривал точку зрения на него автора: «Штолец — живой человек; Штольцев у нас, особенно за последнее время, развелось видимо-невидимо; но только они — все не „соль земли“, какими *хотел* представить этот тип г-н Гончаров. Он дал нам живой тип, только погрешил в нравственной оценке его...».³

¹ Де-Пуле М. Ф. Нечто о подводных камнях и утесах в нашей литературе // Рус. речь. 1861. № 28. 6 апр. С. 450.

² Миллер О. Ф. Публичные лекции: Русская литература после Гоголя. С. 23.

³ Кузин А. Ценный вклад // Колосья. 1882. № 2. С. 289.

С. А. Венгеров возмущался, что в своей статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров признал неудачность этого образа, так сказать, в эстетическом плане, но не отказался от штольцевской идеологии: «...для Штольца дело и приобретение денег — одно и то же. <...> В своей авторской исповеди Гончаров сознался, что Штолец лицо не совсем удачное. Но, к сожалению, неудачность этого типа автор усматривает совсем не в том, в чем она действительно заключается. „Образ Штольца, — говорит он, — бледен, нереален, не живет, а просто идея”. Нужно было прибавить, что идея-то, представителем которой является Штолец, безобразна. <...> в действительности тип приобретателя груб и непривлекателен <...> в лености Обломова во сто раз больше душевных сокровищ, достойных самой горячей любви, чем в суетном самодовольном филистерстве Штольца».¹

«Штолец, — писал А. П. Чехов в письме 1889 г., — не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная».²

Категоричен в суждениях о Штольце К. Ф. Головин: «русский американец», «ловкий аферист, расправляющий крылья и умеющий отыскать новые пути к обогащению». Критик не скрывает, что он интерпретирует художественный образ в соответствии с теми «подсказками», которые сама жизнь сделала за последние тридцать лет: «В конце пятидесятых годов Гончаров как будто предугадал тот еще не сложившийся тогда класс людей, который в полном своем расцвете появился в конце шестидесятых, — железнодорожных строителей и банковых дельцов, с некоторым презрением смотревших на казенную службу, потому что та же казна при умении обращаться с ней давала им на ином поприще более широкую наживу. И в этом отношении нельзя не признать за Гончаровым что-то вроде пророческого дара. Но ликовать по поводу того, что на смену Обломовым придут Штольцы, едва ли представлялся особенный повод».³

¹ Долин Л. <Венгеров С. А.> Иван Александрович Гончаров: (Литературный портрет) // Новь. 1885. Т. 4. № 14. С. 258—259.

² Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. III. С. 201—202.

³ Головин К. Ф. И. А. Гончаров. (Литературная характеристика) // Ист. вестн. 1891. № 5. С. 376. Чуть раньше в этом же плане охаракте-

Такая личность, как Штольц, не только не вызывает уважения или хотя бы интереса у М. А. Протопопова («говорит о „мятежных вопросах ” точно о зубной боли или о дождливой погоде»), но даже не получает элементарного морального доверия. «Недосказанность» героя критик истолковал как желание романиста скрыть что-то дурное о своем герое: «Что ж это такое? Нам говорят: вот нормальный человек, которому вы должны подражать, с пафосом восклицают: „Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!” — и в то же время умалчивают о том, что более всего характеризует человека, — о его деятельности! „Зачем же так секретно?” Производство построек (по казенным подрядам, должно быть), управление имением и всякого рода „операции” и „негоции”, кажется, не такие дела, о которых нельзя было бы прямо говорить, и Гончаров *обязан* был дать нам на этот счет самые подробные разъяснения. Если же он от них уклонился, мы вправе заключить, что дело обстоит неблагоприятно, что коммерческая деятельность Штольца не сияет никакою особенною красотой и учиться нам у Штольца нечему» (Там же. С. 200—201).

Для Ю. Н. Говорухи-Отрока в Штольце нет никаких загадок, ему все ясно: «наводящий тоску кулак из немцев», который вместе с Ольгой зовет Илью Ильича «в суетолоку обыденной жизни, к деятельности ради деятельности, к устройению нравственного и материального комфорта» (Там же. С. 207, 209).

И. Ф. Анненский написал о Штольце: «Не чувствует ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни». В эстетическом плане Штольц Анненскому не интересен: этот герой «сочинен», «придуман», это — «манекен».

ризовал гончаровского героя В. П. Острогорский. По его мнению, этот «неунывающий немец» оказался предтечей целого легиона неунывающих русских, которые появились после того, как «Обломовки, Грачевки, Малиновки перешли в руки Колупаевых и Разуваевых, открылись железнодорожная, акционерная, финансовая, даже педагогическая и многие другие горячки». Гончаровский роман «сыграл основной мотив близкой победной песни многочисленных русских Штольцев, которых с таким беспощадным юмором рисует Щедрин» (*Острогорский В. П. Этюды о русских писателях: И. А. Гончаров. М., 1888. С. 159, 160*). Взгляд на героя в резком свете щедринских сатир, подсказанный реальным историческим опытом, не позволял увидеть полутона в обрисовке Штольца, неоднозначность образа, предопределенную гончаровским юмором.

Критик дает достаточно субъективный, но яркий, даже гротескный и потому запоминающийся образ деятельного друга Ильи Ильича: «Штолец человек патентованный и снабжен всеми орудиями цивилизации, от рандалевской бороны до сонаты Бетховена, знает все науки, видел все страны: он всеобъемлющ, одной рукой он упекает пшеницынского брата, другой подает Обломову историю изобретений и открытий; ноги его в это время бегают на коньках для транспирации; язык побеждает Ольгу, а ⟨ум⟩ занят невинными доходными предприятиями» (Там же. С. 228).

Д. С. Мережковский, в отличие от большинства критиков XIX в., попросту не обсуждавших штольцевскую философию любви, писал об этом в уже упоминавшейся статье 1890 г., где категорически отказал этому герою (как и Петру Адуеву и Марку Волохову) в способности к такой объединяющей людей любви. «У всех троих, — писал критик, — есть общая черта: рассудок у них преобладает над чувством, расчет над голосом сердца. ⟨...⟩ Штолец, Марк Волохов, дядя Александра только разумом понимают преимущество нравственного идеала, как понимают устройство какой-нибудь полезной машины, но сердцем они мало любят людей и не верят в божественную тайну мира, — вот почему в их добродетели есть что-то сухое, жестокое и самолюбивое» (Там же. С. 182, 184).

По мысли Мережковского, Штолец, как образ деятельного, предприимчивого человека, был «обречен» на антипатию русских читателей, потому что они не могли не чувствовать явно не выраженную, но угадываемую неприязнь к нему самого романиста. В статье «А. С. Пушкин» (1896) критик с сожалением говорил о том, что русские писатели XIX в. не унаследовали пушкинскую традицию прославления героического, деятельного начала, «наиболее полное историческое воплощение» которого автор «Медного всадника» дал в образе Петра.¹ «Если бы, — говорится в статье, — иностранец поверил Гоголю, Тургеневу, Гончарову, то русский народ должен бы представиться ему народом, единственным в истории отрицающим самую сущность исторической воли».² У Тур-

¹ Мережковский Д. С. А. С. Пушкин // А. С. Пушкин: Pro et contra. СПб., 2000. Т. 1. С. 243.

² Там же. С. 258. Ср. рассуждения на эту тему с упоминанием Гончарова в статье В. В. Розанова «Возле русской идеи» (1911; *Розанов В. В.* Соч. М., 1990. С. 323).

генева, по мысли критика, — бесконечная галерея «героев слабости, калек, неудачников» и «единственный сильный русский человек — нигилист Базаров». Но автор «Отцов и детей» не может простить ему силы. «Гончаров, — пишет Мережковский, — пошел еще дальше по этому опасному пути. Критики видели в „Обломове“ сатиру, поучение. Но роман Гончарова страшнее всякой сатиры. Для самого поэта в этом художественном синтезе русского бессилия и „неделанья“ нет ни похвалы, ни порицания, а есть только полная правдивость, изображение русской действительности. В свои лучшие минуты Обломов, книжный мечтатель, неспособный к слишком грубой человеческой жизни, с младенческой ясностью и целомудрием своего глубокого и простого сердца, окружен таким же ореолом тихой поэзии, как „живые мощи“ Тургенева, Гончаров, может быть, и хотел бы, но не умеет быть несправедливым к Обломову, потому что он его любит, он, наверное, хочет, но не умеет быть справедливым к Штольцу, потому что он втайне его ненавидит. Немец-герой (создать русского героя он и не пытается — до такой степени подобное явление кажется ему противоестественным) выходит мертвым и холодным. Искусство обнаруживает то сокровенное, что поэт чувствует, не смея выразить: не в тысячу ли раз благороднее отречение от жестокой жизни милого героя русской лени, чем прозаическая суета героя немецкой деловитости? От Наполеона, Байрона, Медного Всадника — до маленького, буржуазного немца {...} — какая печальная метаморфоза, какое падение пушкинского полубога!». ¹

Д. Н. Овсяннико-Куликовским в «Истории русской интеллигенции» Штольц трактуется как особый общественно-психологический тип, связанный родовыми чертами с людьми 1840-х и 1860-х гг. Подобно людям 1840-х гг., он «эпикурец», в том смысле, что для него «личная жизнь с ее вопросами любви, счастья, умственных интересов» остается на первом плане (Там же. С. 260). Но — с другой стороны — он имеет нечто общее со «стоиками», героями 1860-х гг., которые пришли на смену «эпикурейцам»; среди людей этого типа — «стоиков» — Овсяннико-Куликовский называет Чернышевского, Добролюбова, Елисеева (см.: Там же). Штольц «человек положительный, натура

¹ Там же.

уравновешенная, чуждая излишеств рефлексии, бодрая, деятельная»; по складу ума он — «позитивист», главное в нем — воля. В ряду общественно-психологических типов («эпикурейцы» — «стоики») Штольц — «представитель третьего, тогда нарождавшегося типа — либерала и практического деятеля...» (Там же). «Его „программа” — либерально-буржуазная и просветительная...» (Там же. С. 259).

Гончаровскую пару Обломов — Штольц Овсяннико-Куликовский рассматривает как параллель гоголевской: Тентетников — Костанжогло. По его мнению, Штольц более жизнен и художественно более убедителен, чем положительный герой второго тома «Мертвых душ» (Там же. С. 257, 259, 261).

Отделяя Штольца от «стоиков», Овсяннико-Куликовский делает вывод: такой деятель «должен быть признан явлением в свое время прогрессивным» (Там же. С. 263). Но меру прогрессивности Штольца исследователь не преувеличивал. Продолжая мысль Добролюбова, он писал о Штольце: «...одной энергии мало, — нужно еще, чтобы она была направлена на выработку общественного самосознания, на общественное дело, на продолжение новых путей внутреннего развития России» (Там же. С. 261).

Н. И. Коробка время от времени цитирует Д. Н. Овсяннико-Куликовского, но поправляет и вульгаризирует своего предшественника. Так, например, он считает, что к характеристике Штольца, данной Овсяннико-Куликовским, надо прибавить «жадность, эксплуатацию, тогда образ получится полным». Для Коробки, уже использующего классовые критерии в анализе произведений искусства, вопроса о «сердце» Штольца вообще не существует. Точнее: он легко снимается. «Идеализм Штольца, — пишет критик, — нарушает цельность типа дельца-предпринимателя и самую психологическую вероятность типа Штольца. Если, однако, вычесть этот навязанный Штольцу идеализм, то получится довольно характерная для эпохи фигура представителя чуть-чуть нарождавшейся у нас в это время просвещенной буржуазии европейского типа». Агрессивную наивность метода, который «в руках» Коробки уже воспринимается как «вульгарный», убедительно иллюстрирует следующее его утверждение: «Неумолимый ход жизни создавал необходимость смены добродушно-ленивых Обломовых энергично-хищными

Штольцами, которые расчистили дорогу лучшему будущему».¹

Наиболее глубокое сопоставление Штольца и Обломова, ярко выражающих собой две противоположности, которые составляют единство, принадлежит В. Ф. Переверзеву.²

По классификации Переверзева, Обломов, как «домосед», «воплощение душевного равновесия и покоя», не имеет ничего общего с «духовными скитальцами», «героями онегинской и рудинской складки» (*Переверзев*. С. 670); более того, он (как и близкие ему герои — Александр Адуев, Райский) никогда не был подлинным дворянином («поместной психики с ее обыденным деревенским тоном Гончаров не сумел дать своему герою, потому что он не знал этой психики» — Там же. С. 668), это «буржуа, споткнувшийся в процессе европеизации российской жизни» и «повернувший оглобли назад к патриархальности» (Там же. С. 734, 665). Поскольку Илья Ильич не имеет никакого отношения к онегинскому типу, замечает Переверзев, добролюбовская концепция — «грубая ошибка», которая «приобрела характер предрассудка» (Там же. С. 670). В Обломове Переверзев видит одного из гончаровских «неудачников». А в романном мире автора «Обломова» рядом с «неудачником» всегда есть «делец». Переверзев пишет (и в этом проявляется оригинальность мысли исследователя) о «психологической новизне» образа «дельца», в частности об умении Штольца «владеть» страстями: «Он в самом зародыше подавит такую страсть, которая не обещает успеха, и свободно отдается такой, которая сулит успех. Он не кипит и не бушует, как пламень костра или пожара, в котором чувствуется что-то стихийное, а горит ровным огнем электрической лампы с точным расчетом силы накаливания» (Там же. С. 740). Пожалуй, за семьдесят лет после выхода романа никто не нашел более яркого и точного образа для характеристики штольцевского мира чувств.

Переверзев видит в Штольце антипода Обломова: «...принципом жизни Штольца является экономия жизни

¹ Коробка Н. И. Опыт обзора истории русской литературы для школ и самообразования. Ч. 3: Эпоха реалистического романа. С. 199.

² Речь идет о двух статьях: «Социальный генезис обломовщины» (1923) и «К вопросу о монистическом понимании творчества Гончарова» (1928).

и сокращение бесполезных движений» (Там же. С. 739); «...основная особенность штольцевской натуры — это дисциплинированность и строгая расчетливость, которая проникает во все поры его существа» (Там же. С. 741).

В противопоставлении «неудачника» «дельцу» еще не было ничего необычного. Непривычным (здесь исследователь упоминает своего предшественника Н. Д. Ахшарумова) было утверждение их психологической близости, стремление показать, что Штольц «сродни» Обломову. «Это заключение, — пишет Переверзев, — на первый взгляд кажется эффектным парадоксом. {...} Обманутые полярным различием этих образов, олицетворяющих антитезу инерции и деятельности, мы совсем не спрашиваем себя: а нет ли какого-либо сходства в этом различии? {...} полярная противоположность не только не исключает сходства, но даже непременно предполагает диалектическое единство, тождество противоположностей» (Там же. С. 743—744).

Действительно, Штольц совпадает с Обломовым в отношении к любви-страсти. Оба они (один силой мечты, фантазии, «поэзии», другой — силой разума и воли) стремятся преодолеть противоречие, заложенное в природе человека.

Оба героя, по выражению Переверзева, «пронизаны семейным началом».¹ У них одинаковое по сути своей понимание любовных отношений: «Расположенный к тихо-

¹ Что касается Ильи Ильича, которому «гораздо доступнее», чем философские и гражданские мотивы романтизма, оказалась его «эстетическая сторона» (Там же. С. 680), то этим «семейным началом» окрашена его утопическая по своей сути поэтическая мечта, его идеал: «Любовь, дружба, поэзия, играющие значительную роль в жизни романтических героев, хорошо знакомы и обломовцу, хотя и не в таких блестящих проявлениях, как у этих героев. На этих мотивах и останавливается внимание обломовца, ими он и любитесь в романтической поэзии. Но и здесь далеко не все понятно Обломову. От него совершенно ускользает индивидуалистический характер всех этих чувств у романтиков. Он перерабатывает их в своей психике на патриархальный лад, вкладывает в них семейное, а не индивидуалистическое содержание. Под влиянием поэтов гончаровский герой вырабатывает весьма своеобразный и, в сущности, утопический идеал, в котором старомодный семейный уют наполняется изяществом, одухотворенностью, поэзией.

С этого момента Обломов станет искать осуществления странного внутренне противоречивого идеала лениво-деятельного, сонно-бодрого, тихо-шумного существования» (Там же).

му идиллическому течению жизни, флегматичный и тяжелый на подъем, Обломов не восхищается бурными проявлениями страсти, старается ввести ее в ровное русло „законной любви”. Но и вовсе не флегматичный и вечно кипящий деятельностью Штольц о бурях страсти думает и рассуждает совсем по-обломовски, почти дословно повторяя Илью Ильича. Перед нами — великолепный пример того, как полярные различия разрешаются в тождество, обнаруживают себя разными сторонами одной медали. Такие диаметрально противоположные психологические установки, как обломовская пассивность и штольцевская активность, укладываются в одинаковую форму отношений к женщине и страсти» (Там же. С. 745).

Современные исследователи творчества писателя чаще всего пишут о неудаче замысла Гончарова создать образ идеального героя. «„Прямой” путь Штольца, который с юных лет больше всего боялся „воображения” и „всякой мечты”, привел его все же, как ни отрицал это декларативно автор, к филистерству. Ведь это тоже обломовщина, правда всячески окультуренная, комфортабельная, без паутины и неодолимой тяги ко сну, окруженная картинами, нотами, фарфором...».¹ В. Страда говорит о центральном, фундаментальном конфликте в романе мечтательности, высокого утопического потенциала (кульминация: «Сон Обломова» — «амнеотический сон») и «штольцевщины», «активного практицизма современного общества».² М. Эре полагает, что «Штольц, несмотря на все усилия Гончарова гуманизировать его, остается механической фигурой».³ А Ю. М. Лошиц рассуждает о Штольце с нескрываемым раздражением, буквально клеймит этого негоцианта из немцев, новоявленного Мефистофеля (см.: *Лошиц. С. 177—180*).

Суждения Лошица предельно пристрастны, почти памфлетны. Другие критики и исследователи, как правило, пишут о Штольце гораздо осторожнее. Так, Е. М. Таборисская пытается шире взглянуть на «неудачу», постигшую Гончарова в его попытке создать образ гармоничного и положительного героя: «Анализ рукописи позволяет

¹ Сквозников В. Золотое сердце Обломова // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 281.

² Strada V. Le veglie della ragion: Visione della spirito russo. Torino, 1986. P. 7—8.

³ Ehre M. Meaning in Oblomov // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 207.

проследить процесс отыскания духовного облика этого персонажа — перебор вариантов, к которому прибегал писатель, наделяя Штольца то чертами энтузиаста прогресса, то скептика, то романтика в жизни, то осмотрительного эгоиста. И в окончательном тексте романа остались не сведенными некоторые, казалось бы, взаимоисключающие черты героя, которые и выявляют невозможность для Гончарова привести к общему знаменателю умозрительную модель „гармонического человека” и пластический образ весьма ограниченного в своей прогрессивности и далекого от гармонии буржуа. <...> Штолец беден чувством, эмоциональная ущербность не позволяет видеть в этом персонаже положительного героя».¹ Очевидны желание понять как замысел автора, так и причины, определившие его эволюцию и эклектичность героя, стремление преодолеть традиционный взгляд на Штольца; в конечном счете, однако, Таборисская приходит к знакомым уже безоговорочным оценкам-приговорам.

Между тем в литературе о Гончарове существует мнение о Штольце, отличное от традиционно негативного и принадлежащее такому острому и неангажированному исследователю, как В. Сечкарев. Он, отталкиваясь от содержания беседы между Штольцем и Ильинской (глава VIII части четвертой), пишет о неизбежности «экзистенциальной скуки, охватывающей человека как раз в тот момент, когда он пребывает в состоянии абсолютной удовлетворенности. Это „Пустота”, ощущаемая современными интеллектуалами, — им доступны все материальные блага, но они неспособны найти ответы на самые главные, глубинные вопросы бытия; их пугает очевидная бессмысленность жизни».² Обломов и Штолец, по Сечкареву, оказываются поразительно близки: их «в́идение жизни безнадежно пессимистично», они знают, что для них обоих жизнь прекратила свой рост и исчезли все загадки, они

¹ Таборисская Е. М. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: (Герои, художественное пространство, авторская позиция): Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Л., 1977. С. 10.

² Setchkarev V. Andrei Štolc in Gončarov's «Oblomov»: An attempted reinterpretation // To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague; Paris, 1967. Vol. 3. P. 1802. Сечкарев развивает здесь мысли, высказанные о герое романа «Обрыв» Райском В. Ремом (W. Rehm) в его известной работе «Gontscharov und Jacobsen oder Langeweile und Schwermut» (Göttingen, 1963).

живут «без иллюзий, без идеалов, без веры».¹ И Штольц в такой интерпретации оказывается не просто дельцом и сухим прагматиком, а человеком, в котором «превосходно уравновешены» разум и чувство, объединенные к тому же «с сильной волей, которая, однако, не столь сильна, чтобы подавлять сущность его личности».²

Высоко оценивает замысел Гончарова и усилия, принятые писателем для создания положительного героя, В. А. Недзвецкий: «Это интересно и глубоко задуманная фигура. (...) Разные национальные, культурные и общественно-исторические начала (от патриархального до бюргерского), объединившись в личности Штольца, создали характер, чуждый, по мысли Гончарова, любой крайности и ограниченности» (*Недзвецкий*. С. 38).

Более «умеренная» оценка принадлежит В. Г. Щукину, который рассматривает Штольца и близких ему по духу и функциям героев «Обыкновенной истории» и «Обрыва» как своеобразных культуртрегеров: «...эти герои трудолюбивы и чрезвычайно активны в деле или на службе (хотя их конкретная деятельность никогда не становится предметом изображения). (...) Девизом этих людей может послужить афоризм Гете: „Ohne Hast, ohne Rast“ (без торопливости, без отдыха), выставленный Дружининым в качестве эпиграфа на обложке редактировавшегося им журнала „Библиотека для чтения“».³

* * *

Героинь гончаровских романов критики часто сравнивали с тургеневскими женщинами. В Ольге Ильинской, считал В. Е. Евгеньев-Максимов, «чувствуется уже женщина нового времени, стремящаяся в умственном отношении сравняться с мужчиной. Этой стороной своего характера она напоминает Наталью Ласунскую и Елену Стахову. Идейность ее натуры также роднит ее с тургеневскими героинями».⁴

¹ Ibid. P. 1805.

² Ibid. P. 1801.

³ *Щукин В. Г.* Культурный мир русского западника // *Вопр. философии*. 1992. № 5. С. 80.

⁴ *Максимов В. Е.* Очерки по истории русской литературы 40-х—60-х годов: *Натуральная школа*. С. 177.

Совершенно иначе на эту параллель взглянула Е. А. Колтоновская. В отличие от «идеализированных тургеневских женщин», — пишет она, — героини романов Гончарова «производят естественное, жизненное впечатление»; «Не любовь, этот заколдованный круг женщин, у них на первом плане, — продолжает Е. Колтоновская, — а сама жизнь». Именно поэтому в романах Гончарова обломовщине противостоят прежде всего и главным образом не герои типа Штольца и Тушина, а женщины.¹ Обаяние и сила гончаровских героинь в том, считала Колтоновская, что писатель «сумел передать в их основе вечно женственное и своеобразно-национальное и те особенности, которые привнесены временем».²

На обусловленные временем отличия в этих образах обратил внимание Е. А. Ляцкий. «Если расположить женские типы в определенной последовательности, — писал он, — то можно сказать, что Гончаров проследил на них, конечно в самых общих чертах, историю женского вопроса в нашей общественности, от еле заметных признаков пробуждения сознания личности в себе и самостоятельного права на жизнь до первых попыток решить этот вопрос компромиссом между „старой“ и „новой“ правдой» (Ляцкий 1912. С. 264—265).

По мнению М. Новиковой, в романах Гончарова мы находим «последовательное развитие женской личности» (в этом она видит отличие его от Тургенева, который дает «разновидность женских характеров»). Наденька в «Обыкновенной истории» — «средний женский тип». В «Обломове» Гончаров «выдвигает цельную и глубоко интересную личность Ольги Ильинской». И наконец, Вера, которая удивляет и притягивает «своей смелостью, своим дерзанием».³

Интересную, хотя и не бесспорную, мысль высказал об Агафье Матвеевне, героине «Обломова», Е. А. Ляцкий.

¹ У героинь Гончарова есть сознательное отношение к своей «миссии». Как написал в одной из своих ранних работ Ю. И. Айхенвальд об Ольге и Вере, «обе они не столько любят, сколько спасают» (Альд Ю. <Айхенвальд Ю. И.> Несколько слов памяти И. А. Гончарова // Рус. мысль. 1901. № 9. Отд. II. С. 236).

² Колтоновская Е. А. Женские образы Гончарова // Неделя «Современного слова». 1912. № 216. 28 мая. С. 1820—1822.

³ Новикова М. Женщина в творчестве Гончарова // Женское дело. 1912. № 21. С. 17—21.

Вневременная женская суть этой героини такова, считал он, что «ее можно поместить в какой угодно век, и она в любую эпоху будет на своем месте, с своей доброй наивностью и детским равнодушием ко всему, что выходит из сферы домашних и социально-хозяйственных интересов» (Ляцкий 1912. С. 270). Но далее эта характеристика становится лишь звеном в схеме, которую предлагает исследователь. Идея о решающем влиянии культурно-исторической среды на формирование характера получает у него несколько механистическое применение. Если Агафья Матвеевна — это олицетворение вневременной женской сути, то Ольга — это Агафья Матвеевна плюс «сознательность». «Отнимите, — пишет Ляцкий, — у Ольги ее сознательность, делающую ее человеком своего века, да опустите классом пониже, и вы получите <...> ни больше ни меньше, Агафью Матвеевну Пшеницыну» (Там же). И далее в соответствии со схемой: Татьяна Марковна Бережкова — это, по Ляцкому, Агафья Матвеевна плюс опыт помещицкой жизни: «Если бы перенести Агафью Матвеевну в условия крепостного помещицкого быта, у нее развились бы те же феодальные привычки» (Там же. С. 273).

* * *

Критики второй половины XIX в.—1910-х гг. пытались выявить черты, характерные для Гончарова-художника. В связи с этим возникал вопрос о мировоззрении писателя.

Стремясь «проникнуть в самую суть <...> идеи» Гончарова — автора «Обломова», К. Ф. Головин придет к такому выводу: «Либеральные симпатии, которыми пользовался Гончаров, были, очевидно, лишь симпатиями по недоразумению», так как «идея» эта убогая, мещанская: «не что иное, как недоверие ко всякому увлечению, ко всем порывам души, к чему-либо высокому, дальнему, выходящему из пределов обыденной жизни».¹

В упоминавшейся статье 1891 г. М. А. Протопопов писал: «Гончаров объективен как художник и равнодушен как мыслитель и человек...». Суть жизненных воззрений романиста, которые критик назвал «философией поло-

¹ Головин К. Ф. И. А. Гончаров: (Литературная характеристика). С. 370, 387—388.

жительных и благоразумных людей», была передана так: «Поменьше романтизма и побольше практичности и деловитости», «не об идеалах, а о нормах следует заботиться» («Обломов» в критике. С. 193).

Из издания в издание книги А. М. Скабичевского «История новейшей русской литературы», начиная с 1891 г., переходила фраза, которой критик «заклеймил» романиста: «Гончаров (...) в качестве мыслителя остался все тем же бюрократическим оппортунистом и средневековым дуалистом».¹

Ю. Н. Говоруха-Отрок в статье 1892 г. так охарактеризовал автора «Обломова»: «Он был доктринер-западник, но западник довольно узкий (...) своим романтизмом — понимая это слово в очень широком значении — европейская цивилизация прошла мимо Гончарова (...) „гамлетовские вопросы“ не коснулись его» (Говоруха-Отрок. С. 332, 333, 334).

В получившей широкую известность книге «История русской общественной мысли» (1907) Р. В. Иванов-Разумник сделал категоричный вывод о том, что герои Гончарова «мещане», т. е. люди обыденных интересов, что «между ним и его мещанскими героями можно с уверенностью поставить знак равенства», что «сам он такой же мещанин, как Адуев, Штольц и Тушин вместе взятые».²

О том, что «Обыкновенная история» «польстила требованию (...) морального мещанства», в свое время писал еще А. А. Григорьев (Григорьев. С. 332). Но именно после книги Иванова-Разумника эта характеристика укрепилась в сознании некоторых критиков.

Р. В. Иванов-Разумник — яркий представитель народничества в критике и публицистике начала XX в. Очень характерен подзаголовок книги «История русской общественной мысли», в которой он говорит о творчестве Гончарова, — «Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века».

«Мещанство» критик понимает очень широко. В осмыслении им этого явления явно чувствуется оглядка на Герцена, который писал о «мещанской жизни Запада» в книге «Былое и думы». Мещанство, по Иванову-Разумнику,

¹ Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы: 1848—1908 гг. 7-е изд. С. 147.

² Иванов-Разумник Р. И. История русской общественной мысли. 3-е изд. СПб., 1911. Т. 1. С. 223.

это сила, враждебная интеллигенции, это «трафаретность», «сплошная посредственность», «узость формы, плоскость созерцания и безличность духа».

Он считает, что Обломов — это сочетание мещанских и антимещанских начал. Основная мещанская черта «растительной жизни Обломова — пассивность, переходящая в апатию» («Обломов» в критике. С. 266). Таков «первый этап на пути мещанства», Илья Ильич «стоит на рубеже между растительностью и мещанством» (Там же. С. 267), в нем «тщетно что-то пробивается из-под коры растительной жизни, и если горе его не от ума, то, конечно, от сознания». Но при всем при этом Обломову «до лишних людей как до звезды небесной далеко» (Там же).

Штольц, противопоставленный Илье Ильичу, представляет собой, как считает критик, «лучший образец добродетельного мещанства» (Там же). Он «верный и истинный сын эпохи официального мещанства» (так в книге обозначаются николаевские времена. — *Ред.*), «на нем легче всего проследить, как кроила людей по своему шаблону эта убивающая личность эпоха» (Там же. С. 267—268).

Хотя Штольц «является одним из наименее антипатичных героев мещанства», его положительные качества («сила, энергия, активность») направлены на отрицательную цель — «деньги и комфорт», «„проклятые вопросы“ отскакивают от него как горох от стены», а «величайшие социальные движения» могут занимать его «только теоретически». Гончаровский герой в рассуждениях Иванова-Разумника оказывается в одном ряду с Молчалиным, т. е. все сводится к некоему архетипическому ядру, которое активизируется во всякую мещанскую, т. е. антиличностную, эпоху (Там же. С. 270—271).

«Идея, — писал о Гончарове А. А. Измайлов, — которая обобщает весь жизненный путь его, есть тусклая и теплохладная идея, не возбуждающая к жизни, но осаживающая и ограничивающая жизнь».¹ «Говорить о его мещанстве или, как выражались в его время, о его „филистерстве“ значило бы ломиться в открытую дверь», — замечал о писателе А. Ачкасов.²

¹ Измайлов А. А. Поэт житейской мудрости // Рус. слово. 1912. № 129. 6 июня.

² Ачкасов А. Поэт спокойствия // Киевская мысль. 1912. № 155. 6 июня.

Мысль о заземленности, обыденности устремлений Гончарова-писателя стала в начале XX в. привычной и даже расхожей. Автор «Обломова» «не задавался отвлеченными, мировыми „проклятыми вопросами”»,¹ у него нет «постановки широких обобщающих проблем жизни и духа»,² — суждения такого типа присутствуют в целом ряде статей 1912 г. Только популярностью тезиса о мещанстве Гончарова можно объяснить то, что наиболее трезвым и объективным исследователям приходилось доказывать, казалось бы, очевидное для любого внимательного читателя: «...интеллектуальные интересы играли в его жизни выдающуюся роль».³

Представление о Гончарове-художнике, с точки зрения критики, предполагало и постановку вопроса об особенностях типов, созданных писателем. В. В. Розанов в своей ранней работе «О понимании» (1886) писал, что типы Гончарова — результат объективного изображения человека. Такой способ изображения человека «присущ художникам-наблюдателям» и требует чрезвычайно тонкого чувства меры. Кроме «объективного, наблюдательного» первого способа существует, по мнению Розанова, и «второй способ» изображения — «психологический, субъективный». Он состоит в «воспроизведении человека через то, что он думает и чувствует, — здесь за совершаемым человеком виднеется совершающееся в нем. Этот способ присущ художникам-психологам, одаренным философским пониманием духа и жизни, взор которых столь же часто обращается на свой собственный внутренний мир, как и на мир внешний. С помощью первого способа трудно изобразить характер, потому что в последнем главное — это именно внутренний мир, и его внешность, всегда своеобразная, редко может быть наблюдаема. Поэтому в характере, когда за его изображение берется сильный художник-наблюдатель, как бы он ни был прекрасен, всегда есть что-то недоконченное, непонятное. Таков характер Веры в „Обрыве” Гончарова. Он дорог нам и знаком — так велика художественная сила нашего пи-

¹ *«Без подписи»*. И. А. Гончаров // Рижский вестн. 1912. № 128. 5 июня.

² *Котляревский Н.* Странности большого таланта // Биржевые вед. 1912. № 12973. 6 июня.

³ *Евгеньев В.* *«Евгеньев-Максимов В. Е.»* И. А. Гончаров // Жизнь для всех. 1912. № 6. С. 931.

сателя, что он смог сделать это вопреки самой природе своего дарования, — но он неясен, необъясним для нас, как неясен для самого художника, потому что от нас скрыт его внутренний мир. Мы видим только его поступки и слова, но откуда вытекают они, можем только догадываться».¹

В других литературах, по мысли Розанова, нет такой резкой разделенности этих двух способов «познания и изображения» человека. Критик говорит, с одной стороны, об исключительности «таких совершенных психологов, как Л. Толстой и Достоевский», а с другой — о том, что нигде, ни в одной литературе, «нет ни одного столь чистого, беспримесного художника, как (...) Гончаров», мастерство которого проявлялось при обрисовке типов. Розанов пишет: «В типе внутренний мир несложен и неглубок, и именно потому, что он тип, этот мир всем знаком или известен до некоторой степени. То же, что типично в типе, что составляет в нем неуловимые характерные черточки, сказывается именно в словах и в поступках, часто таких же, как и у всякого другого человека, но иначе сказанных и иначе сделанных. Подметить эту типичность, уловить это „иначе“ в словах и поступках, незаметных, незначащих, для этого необходим чудный дар наблюдения, любовь к внешней причудливо волнующейся жизни, любовь к самому человеку, такому, каков он есть. Здесь именно требуется художник, с его созерцательною душою, с его спокойным наблюдением, который любит всматриваться в жизнь, а не размышлять о ней и длинным взглядом, с интересом артиста, следить за какою-нибудь убегающею и прихотливо изменяющеюся черточкою ее; подобно тому как, смотря на волнение реки, некоторые любят не столько наслаждаться общеою картиною ее, сколько следить за одною какою-нибудь волною, далеко-далеко, пока она не потеряется из виду, и потом снова привязываться взглядом, опять к чему-нибудь одному, частному, но не ко всему, не к общему. Так и в нашей литературе, столь богатой и прекрасной в изо-

¹ Розанов В. В. О понимании: Опыт исследования природы границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1996. С. 459—460. О «недостаточно проникающем» анализе человеческой души в прозе Гончарова Розанов скажет и в статье «Эстетическое понимание истории» (1892; см.: Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 7).

бражении типов, несравненные по законченности типы даны именно Гончаровым, которому чужд психологический анализ, но который взамен этого одарен глубокою артистичностью и теплою любовью к жизни и к человеку, к тому, что есть незаметного и незначащего в них, но в чем сказываются они. Таков бессмертный тип Обломова — лучшее, что до сих пор создала литература типов. Это имя не только стало нарицательным — таково свойство всякого типа как собирательной личности, что его имя становится названием целого класса людей, тех именно, которые собраны в одно и отражены в нем художником, — но оно дало еще свое название целому явлению жизни, или, точнее, — одному определенному ее состоянию, что, насколько нам известно, не было еще сделано ни одним типом».¹

Исследователи и критики не раз обращали внимание еще на одну особенность гончаровских образов — их символичность. Об этом писал В. В. Чуйко.² Д. С. Мережковский подчеркивал, что символы органично входят в художественную систему Гончарова. Он говорил о «непроизвольном, глубоко реальном символизме» автора «Обломова» и о том, что Гончаров «из всех наших писателей обладает вместе с Гоголем наибольшей способностью символизма»: «...типы Гончарова, — говорится в работе Мережковского, — весьма отличаются от исключительно бытовых типов, какие мы встречаем, например, у Островского и Писемского, у Диккенса и Теккерея. <...> Это не только Илья Ильич, которого вы, кажется, вчера еще видели в халате, но и громадное идейное обобщение целой стороны русской жизни. <...> И такого поэта, — иронически замечает критик, — наши литературные судьи считали отживающим типом эстетика, точным, но неглубоким бытописателем помещичьих нравов» (*Мережковский*. С. 46, 47).

¹ Розанов В. В. О понимании. С. 460—461. Розанов был склонен преувеличивать степень отрешенности Гончарова от изображаемого им мира. В статье «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891) он писал: «Вот задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистическою любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его и медленно рисует свой узор» (*Розанов В. В. Мысли о литературе*. С. 59).

² См. выше, с. 349—352.

Идеи Чуйко и главным образом Мережковского¹ помогли избавиться от инерции в трактовке Гончарова, согласно которой он всего лишь «жанрист», «фламандец», выдающийся бытописатель. Как известно, о «фламандстве» Гончарова писал еще А. В. Дружинин, но он не сводил к этому смысл его творчества. С. А. Венгеров отмечал «необычайный интерес к мелочам ежедневной жизни, сделавший из Гончарова первоклассного жанриста».² Внимание Гончарова к бытовой стороне жизни В. В. Розановым расценивалось как избыточное. «Вечный быт у Гончарова», — вырвалось у него.³ Довольно категорично высказывался на эту тему Ю. И. Айхенвальд. «Гончаров, — читаем в его статье, — несравненный мастер *жанра*, и в этой сфере заключается его главная сила. {...} В русской литературе он является художником фламандской школы: его тешит ее „пестрый сор“».⁴ А. М. Скабичевский в духе всех предшествующих критиков утверждал: «Он (Гончаров) не столько анализирует жизнь, старается заглянуть в глубь ее, сколько созерцает ее во всем ее наружном, внешнем разнообразии».⁵ На этом фоне несколько особняком стоит одна из многочисленных статей, появившихся сразу после смерти Гончарова, автор которой предпринял попытку осмыслить гончаровскую философию быта: «Не умея „идти от идеи“, Гончаров, в противоположность Тургеневу, не старался идти за со-

¹ Сходные соображения см. у В. Е. Евгеньева-Максимова («Склонность к широким обобщениям, переходящим иногда в символы, чрезвычайно типична для гончаровского реализма. {...} Не только типы, но даже отдельные сцены в романах Гончарова могут быть истолкованы символически» — Максимов В. Е. Очерки по истории русской литературы 40-х—60-х годов: Натуральная школа. С. 180—181) и В. Г. Короленко, который высоко ценил «художественно-бессознательный» символизм Гончарова («Обломов» в критике. С. 272). Эта тема затрагивалась и современными исследователями (см.: Ehre M. *Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1973. P. 195—219; Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова»). С. 130—131).

² Долин Л. (Венгеров С. А.) Иван Александрович Гончаров: (Литературный портрет) // Новь. 1885. Т. 4. № 13. С. 111.

³ Розанов В. В. Семья как религия (1898) // Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 69.

⁴ Альд Ю. (Айхенвальд Ю. И.) Несколько слов памяти И. А. Гончарова. С. 230.

⁵ Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы: 1848—1908 гг. 7-е изд. С. 142.

временностью. Он был убежден, что „творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова; она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои не похожи на завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, легкого очерка, а не в больших эпических произведениях”. Оттого-то он и не останавливался на взволнованной поверхности общества, а уходил в глубь, туда, где спокойно и медленно совершается органическое нарастание традиционного быта, где стоят его устои, медленно поддающиеся изменениям. Он шел туда не затем, чтобы судить и карать этот быт или превозносить его, а просто затем, чтобы рисовать или „отчеканивать” его, как он есть, предоставляя другим делать из этих образов выводы и строить на них теории. Такое отношение автора „Обломова” к русскому быту вызвало со стороны некоторых критиков упреки в „филистерстве”; отсутствие определенной тенденции показалось „отсутствием идеалов”. Замечательно, что этими упреками в особенности осыпал Гончарова Аполлон Григорьев — тот самый Аполлон Григорьев, который, захлебываясь от восторга, не находил слов для похвалы Островскому за совершенно такое же мирозерцание, какое резко осуждал в Гончарове».¹ И далее автор развивал свою мысль о «совершенно таком же мирозерцании» Гончарова и Островского: «...Островский и Гончаров — таланты, родственные по самой своей сущности: оба они, каждый в своей излюбленной и до дна изученной среде, подходят к русскому быту прямо и просто, не становясь на заранее теоретически определенную точку зрения, не делая преднамеренного выбора типов и явлений; оба они относятся к этому быту широко, свободно и с любовью, одинаково изображая и светлые, и темные его стороны; оба берут предметом наблюдения и воссоздания „установившиеся и успокоившиеся формы жизни”, медленно подвигаясь вперед по ее ровному течению и почти не отзываясь на мимолетную накипь момента. Краски, положенные на картину сонного царства Обломовки, — те же ровные и мягкие краски, какими нарисовано темное царство Замоскворечья. У обоих писателей — и у эпика, и у драматурга, мы видим одинаковую

¹ Морозов П. О. И. А. Гончаров // Книжки «Недели». 1891. № 10. С. 199—200.

простоту вымысла, отсутствие „выдумки”, эффекта, сложной интриги, и у обоих ярко выступает тонкое и прочувствованное психологическое мастерство в изображении выводимых ими лиц, раскрывающих пред нами всю свою душу до последнего уголка. Наконец, оба они являются великими художниками сердца в изображении характеров положительной красоты».¹

Рассуждения о Гончарове-художнике в критике естественно включали также вопросы стиля.

Прочитав резко отрицательную статью Л. Н. Антропова о Гончарове,² К. Н. Леонтьев так высказался в письме к Н. Н. Страхову от 12 марта 1870 г.: «Как можно нападать на писателя, который по крайней мере по манере, по приемам (если не по идеалу, не по сюжетам) менее груб, чем другие?.. Один язык его благороден до того, что заслуживает изучения. Объяснюсь примером. Откройте и посмотрите, как в иных местах он говорит о чувствах Обломова. Какой полет, какая теплота, какая трезвая и вместе с тем лирическая, воздушная образность».³

С. А. Венгеров утверждал, что гончаровский стиль излишне ровен, безындивидуален, «без сучка и задоринки».⁴ «Нет в нем, — писал он, — меланхолических тонов Тургенева, колоритных словечек Писемского, нервного нагромождения первых попавшихся выражений Достоевского. Гончаровские периоды округлены, построены по всем правилам синтаксиса, и нет у него своего синтаксиса, своей грамматики...».⁵ Д. Н. Овсяннико-Куликовский увидел в таком стиле, в «медлительности душевных процессов» и созерцательности повествования проявление «нормальной, здоровой обломовщины» (*Овсяннико-Куликовский 1912б. С. 200—201*).

¹ Там же. О традиции утверждения русского быта и бытоборчества в русской литературе XIX в. и о причастности Гончарова к этим линиям см.: *Зайцев К. И.* Пушкин как учитель жизни // *А. С. Пушкин: Pro et contra*. СПб., 2000. Т. 2. С. 20—21.

² Автор статьи, в частности, утверждал, что «талант г. Гончарова чисто внешний и сводится почти на одну художественную технику, беллетристическую виртуозность», что роман «Обломов» — «пространная, хотя и очень мелкая, сатира на русскую жизнь», что «ложь и утрировка Обломова для многих стала очевидна» (*А—ов Л. Н.* *〈Антропов Л. Н.〉* «Обрыв», роман И. А. Гончарова // *Заря*. 1869. № 11. С. 132, 134, 137).

³ *Леонтьев К.* Избранные письма: 1854—1891. СПб., 1993. С. 70.

⁴ *Долин Л.* *〈Венгеров С. А.〉* Иван Александрович Гончаров: (Литературный портрет) // *Новь*. 1885. Т. 4. № 13. С. 112.

⁵ Там же.

В связи с плавной, спокойной манерой повествования Гончарова о нем писали как об ученике Гомера и Гете. Говоря об объективном стиле Гончарова, его сближали с Флобером.¹

Ценным представляется замечание, сделанное В. Лобановым: «Можно удачно или неудачно подражать слогу Достоевского, Гоголя или Тургенева, но нельзя подражать слогу Гончарова».² Это, по-видимому, объясняется тем, что речь повествователя³ и речь героев у Гончарова находятся в постоянном взаимодействии. В его романах почти невозможно вычленить «чистое» авторское слово. В повествовании через стилевую диффузность дается одновременно не одна, а, по крайней мере, две точки зрения на событие, поступок героя. Ни один из представленных стилей не может претендовать на то, что именно он наиболее адекватно отражает жизнь, что именно он представляет высший, объективный взгляд на изображенный мир.

Историки и критики, как правило, говорили о стиле Гончарова в самом общем плане. Чуть ли не единственное исключение — замечание П. Д. Боборыкина об особом стиле «Сна Обломова»: «Когда в нашей литературно-художественной критике, — писал он, — будут заниматься *детальным* изучением того, что представляет собою письмо, т. е. стиль, язык, пошиб, ритм, — тогда ценность гончаровского письма будет установлена прочно. И такое единственное в своем роде *стихотворение в прозе*, как „Сон Обломова“, останется крупнейшей вехой в истории русского художественного письма».⁴

¹ См.: Лознгрин <Герцо-Виноградский П. Т.> Гончаров // Приазовский край. 1912. № 148. 6 июня. С. 2. К этой параллели время от времени возвращались и последующие исследователи (см., например: Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 95).

² Лобанов В. Загадочный писатель // Саратовский листок. 1912. № 121. 6 июня. С. 2.

³ Как показал В. К. Фаворин, авторская речь у Гончарова и монолитна, и разнообразна. Монолитна потому, что «элементы языка персонажей необыкновенно искусно вплетаются в авторский контекст», разнообразна потому, что «формы этого проникновения многосторонни»: от «едва уловимых, зачаточных форм — через различные виды несобственно-прямой речи — к внутренним монологам или непосредственно к репликам персонажей» (Фаворин В. К. О взаимодействии авторской речи и речи персонажей в языке трилогии Гончарова // Известия АН СССР. Отд. лит. и яз. 1960. Т. 9. Вып. 5. С. 352).

⁴ Боборыкин П. Д. Творец «Обломова»: (Памяти И. А. Гончарова) // Рус. слово. 1912. № 129. 6 июня. С. 2.

В авторской речи Гончарова, сориентированной на стиль героя, как правило, есть доля иронии. Возникают и совпадение, и расхождение, столкновение стилей, точек зрения, что дает комический эффект и позволяет достичь объемности изображения.

Критики упоминали об особой роли комического в художественной системе Гончарова неоднократно, хотя и вскользь. Первым в этом ряду стоит А. В. Дружинин, еще в 1859 г. с удивлением отметивший в рецензии на «Обломова»: «...какими простыми, часто какими комическими средствами достигнут такой небывалый результат» («Обломов» в критике. С. 118).

Судя по всему в случае с Гончаровым у критиков были все основания говорить именно о юморе. В юморе, как особой форме комического, обнаруживается своеобразное диалектическое единство утверждения и отрицания. Внешняя комическая трактовка объекта сочетается в таком искусстве с внутренней серьезностью. Юмор — неоднозначное, противоречивое отношение и к изображаемой жизни, и к субъекту повествования. Юмор не отказывается судить мир, но он обнаруживает что-то положительное, какие-то элементы идеала в самом объекте, в комически изображаемой действительности.

По мнению Д. С. Мережковского, автор «Обломова» — «первый <...> великий юморист после Гоголя и Грибоедова» (Мережковский. С. 140). Ю. И. Айхенвальд писал о «затаенном, но сказывающемся в юморе борении двух моментов, центростремительного и центробежного»; характер же гончаровского юмора он передавал так: «...вы чувствуете себя с Гончаровым свободно и легко <...> он сам имеет слабости и признает их в другом <...> сам причастен к тем грехам, над которыми посмеивается, сам привязан душой и телом к той Обломовке, которую выставил на всенародное посмешище».¹ Говоря об иронии Гончарова, Е. А. Ляцкий отметил, что «в ней нет злости, нет и оттенка желчи и раздражения, порождающего сарказм» (Ляцкий 1912. С. 178). Попытку определить своеобразие гончаровского юмора предпринял и В. Е. Евгеньев-Максимов: «Это не юмор Грибоедова, брызжащий желчью, исполненный пламенного негодования против людей, пытающихся воскресить к новой жизни „прошедшего житья

¹ Айхенвальд Ю. И. Гончаров. С. 209, 212.

подлейшие черты". Это не юмор Гоголя, который, смеясь сквозь слезы, изображал своих порочных героев {...}. В светлом, иногда наивном юморе Гончарова мы напрасно стали бы искать чего бы то ни было потрясающего; в нем все дышит снисходительностью, добродушием...».¹

Пытаясь уяснить смысл творчества Гончарова, критики нередко сопоставляли его с другими писателями, как русскими, так зарубежными, правда зачастую весьма поверхностно. «Гончаров, — писал, например, А. В. Круковский, — иначе понимает народность, чем Тургенев. У него вообще нет определенных симпатий ни к душевным страданиям интеллигенции, как в „Рудине“, ни к подвигам деятельного добра, как в „Накануне“, ни к крестьянскому миру, ни к разнообразным проявлениям психологии современников, как в „Стихотворениях в прозе“. Он не сторонник теории Достоевского о народе-богоносце. Гончаров не преклоняется перед представителями роевой правды в лице Платона Каратаева».² Если говорить о русских писателях, то, по мнению П. Н. Медведева (он называет Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского), Гончаров не похож ни на одного из них, ибо он вообще писатель не русский. «Русский писатель, — рассуждает критик, — всегда сводит счеты с конечными вопросами Космоса и Логоса {...}. Он страшно чуток к голосу совести и внутреннего, религиозного решения, и поэтому ему всегда присуще бунтарство, душевный мятеж». По отношению к такому русскому писателю Гончаров — антипод. Медведев далее пишет: «Гончаров психологически — писатель не русский; это европеец средней полосы культурного спектра; это буржуа, одаренный, правда, огромным талантом {...}. Он и русский читатель — чужие люди, иностранцы, которые плохо друг друга понимают...».³

¹ *Евгеньев В. (Евгеньев-Максимов В. Е.)* И. А. Гончаров. С. 955.

² *Круковский А. В.* Гончаров и его творчество // *ЖМНП*. 1912. № 9. Отд. III. С. 99.

³ *Медведев П.* За траурной тафтой // *Бессарабская жизнь*. 1912. № 128. 6 июня. С. 2. Увлеченный своей идеей о, так сказать, отрицательной исключительности Гончарова, Медведев приходит к выводу о том, что автору «Обломова» «чужд был глубокий психологический анализ», и в силу этого главный герой романа «интересен как колоссальное явление русской жизни, а не сам по себе, не как тип, не как личность» (Там же). Соображение об отсутствии психологического анализа у Гончарова высказывалось и ранее. А. М. Скабичевский, не отличавшийся тонким художественным чутьем и не очень склонный

В критике и историко-литературных работах неоднократно было отмечено умение Гончарова передавать «поэзию прошлого». «В прошлом находится для Гончарова, — писал Д. С. Мережковский, сближавший Гончарова с Вальтером Скоттом, — источник света, озаряющего созданные им характеры. Чем ближе к свету, тем они ярче» (*Мережковский*. С. 152).¹

Сходство Гончарова и Льва Толстого В. С. Соловьев увидел в том, что «оба они воспроизводят русское общество, выработанное веками (помещиков, чиновников, иногда крестьян), в его бытовых, давно существующих, а частью отживших или отживающих формах».²

Сопоставление с творчеством С. Т. Аксакова, по своему смыслу очень плодотворное, впервые было сделано Ю. Н. Говорухой-Отроком. Прошрое, каким оно предстает в «Сне Обломова», это, по мнению критика, не настоящая жизнь, а «мертвое царство». В этом отличие романа Гончарова от произведений С. Т. Аксакова и «Капитанской дочки» Пушкина: «У них, — пишет критик, — мы видим живых людей, своеобразный склад быта, у них мы видим и то *духовное* начало, которое проникает изображаемую ими жизнь, но ничего этого мы не видим в „Сне Обломова“...» (*Говоруха-Отрок*. С. 340). Такой взгляд отличает Говоруху-Отрока от А. А. Григорьева, который хотя и осуждал авторскую иронию в «Сне Обломова», но признавал, что в этой главе представлен «полный, художнически созданный мир, влекущий вас неодолимо в свой очарованный круг...» (*Григорьев*. С. 329). Говоруха-Отрок в «Сне Обломова» ни поэзии, ни тепла не почувствовал.

к анализу собственно текста произведений, о которых писал, находил множество изъянов в романах Гончарова по части психологизма и правдоподобия. «Обломов, — утверждал он, например, — (...) в качестве героя романа такой девушки, как Ольга, является вопиющей натяжкой» (*Скабичевский А. М.* История новейшей русской литературы: 1848—1908 гг. 7-е изд. С. 148, 151). Отметим, что и Ю. И. Айхенвальд не обнаруживал у Гончарова «истинного психологического анализа». По мнению этого критика, почти все лица у Гончарова «несколько напоминают того безличного Алексева или Андреева, который приходил в гости к Обломову...» (*Айхенвальд Ю. И.* Гончаров. С. 211).

¹ См. также: *Черепнин Н. П.* И. А. Гончаров // Родник. 1912. № 6. С. 645; *Измайлов А.* Поэт житейской мудрости. С. 2.

² *Соловьев В. С.* Три речи в память Достоевского (1881—1883). С. 294.

Огромный успех «Обломова» в критике и вообще у читающей публики своеобразно отразился прежде всего в русской художественной литературе.

А. Мазон (см.: *Mazon*. P. 124) высказал предположение, что история с письмом Филиппа Матвеевича Радищева («Сон Обломова»), вызвавшая такой переполох в Обломовке, отчасти повторилась в комедии А. Н. Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861), где кухарка Матрена (д. 1, явл. 2), подобно героям романа Гончарова, предлагает избавиться от принесенного почтальоном письма: «Нет, право, лучше назад отдадим от греха. Кто к нам письма писать станет? Кому нужно! Ведь письма-то пишут, коли дела какие есть али знакомство; а у нас что!».¹

А. Ф. Писемский в главе VII «Окончательная перемена» части пятой романа «Взбаламученное море» (1863), рассуждая об успехе, который имели произведения Пушкина, Тургенева, Островского, Гончарова у «прекрасного пола» (в отличие от его собственных «слабых творений»), с некоторой иронией рассказывал о восторженной, экзальтированной читательнице, покоренной образами Ильи Ильича Обломова и Ольги Ильинской: «„Ольга“ Гончарова, на наших глазах, произвела на одну очень милую, умную и молодую даму такое впечатление, что она зажала себе глаза рукой, закачала головой и произнесла: „О, как бы я хотела встретить Обломова, полюбить его и влюбиться в себя“».²

Ф. М. Достоевский в повести «Записки из подполья» (1864) воспользовался формулой «жалкие слова» из романа Гончарова, устранив комическую тональность, но подчеркнув факт «заимствования» курсивом и кавычками. «Жалкие слова» в повести Достоевского — это риторические упражнения в садистско-мазохистском стиле подпольного героя, увлеченного жестокой «игрой»; он упрекает жертву своего мстительного красноречия в том, что та не смогла распознать «игры»: «Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова* говорил. Ну вот ты и разнежи-

¹ *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1950. Т. II. С. 316. В той же пьесе Бальзамина, вспоминая закончившееся провалом сватовство сына (в первой части трилогии о Бальзамине «Праздничный сон — до обеда»; 1857), называет его виновника «обломком».

² *Писемский А. Ф.* Полн. собр. соч. СПб., 1910. Т. IV. С. 433.

лась, и опять тебе „жалких слов” захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. <...> Меня унизили, так и я хотел унижить, меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать...» (*Достоевский*. Т. V. С. 173). Но героиня разглядела в «жалких словах» истинное чувство и настоящую, хотя и подпольную, трагедию, чего Парадоксалист, навечно раздавленный собственным подлым жестом, не может не сознавать: «...я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от „живой жизни” отвык, что давеча вздумал попрекать ее тем, что она пришла ко мне „жалкие слова” слушать; а и не догадался, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня...» (Там же. С. 176).

К образному определению Захара Достоевский будет обращаться во многих своих публицистических и художественных произведениях и позднее (в том числе и в романе «Братья Карамазовы», 1879—1880).

Вполне вероятно, что и хозяйка Раскольниковы Зарницына («Преступление и наказание», 1866) в творческом сознании Достоевского соседствовала с Пшеницыной, — очевидны не только явное фонетическое созвучие имен героинь, но и психологическая соотнесенность; вот как живописует Разумихин комфортно-кулинарное царство Зарницыной, которая была «застенчива до судорог»: «Тут, брат, этакое перинное начало лежит, — эх! Да и не одно перинное! Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, — ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!» (*Достоевский*. Т. VI. С. 161).

Вообще выражение «жалкие слова» вошло как в повседневную речь, так и в литературные произведения современников Гончарова, тем самым разделив судьбу метких слов его любимых писателей — Крылова и Грибоедова. К примеру, оно встречается в сатирическом цикле М. Е. Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности». А И. С. Тургенев бумерангом возвращает его Гончарову, полемизируя с литературной исповедью «Лучше поздно, чем никогда» (1879)¹ в статье «Преди-

¹ См. об этом: *Никонова Т. А.* Тургенев и Гончаров: (Один полемический эпизод) // *РЛ*. 1970. 2. С. 96—101.

словие к романам» (1880): «Всемирно известно изречение: поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и судья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще жалкое слово!), а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной, общественной жизнью, — вы кричите: стой!» (Тургенев. Соч. Т. IX. С. 396).

«Голые локти» Агафьи Пшеницыной фигурируют в небольшом комическом шедевре Н. С. Лескова («фантазия» на «спиритические темы») «Дух госпожи Жанлис» (1881); героиня рассказа усмотрела тут явную непристойность и пропаганду безнравственности: «Неужто вы не помните... как его этот... герой где-то... там засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?». Там же с мягкой душевной симпатией отзывается Лесков о своем старшем современнике: «Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?».¹

Еще при жизни Гончарова появилась откровенная литературная спекуляция на мотивы знаменитого произведения — тоже своего рода свидетельство его широкой популярности — роман Л. Ф. Привольского «Внук Обломова» (СПб., 1871).² Анонимный критик «Вестника Европы» с недоумением и иронией встретил выход этого курьезного «продолжения» романа Гончарова: «...судя по внешним приемам г-н Привольский желал устроить хитрую штуку, именно состязание с г-ном Гончаровым. В самом деле,

¹ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. VII. С. 85. Ср.: Амфи-театров А. Литературный альбом. СПб., 1904. С. 63. О личных и творческих отношениях Гончарова и Лескова см.: Туниманов В. А. Гончаров и Лесков // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 399—418.

² Герой, естественно, вспоминает своего литературного «дедушку»: «Я окончательно погибший человек, — рассуждал Лялин. — Что я и кто я? „Обломов“, — подсказывал ему какой-то внутренний голос; но Лялин не доверял этому голосу, а голос в свою очередь не верил ему. В памяти Лялина воскресло далекое и близкое прошлое; голос шептал ему: „Что, не Обломов ты? Не Илья Ильич? (...) От колыбели и до могилки, — шептал враждующий голос. — Портрет его, вылитый портрет, как две капли воды”» (Указ. соч. С. 61).

отчего г-ну Привольскому не написать „Внука Обломова“, когда г-н Гончаров написал „Обломова“? Для этого надо только досуг, и ничего больше. У Обломова был человек Захар; у внука Обломова — Авдотьюшка, нечто вроде Захара; по крайней мере, она подражает Захару, как Лялин, внук Обломова, подражает Обломову. У Обломова был доктор — и у Лялина есть доктор; у Обломова была Ольга, у Лялина — Рая; у Обломова Агафья Матвеевна, у Лялина — Феклуша.¹ Все эти лица обязаны копировать² более или менее свои прототипы, и дело в шляпе. Так придумал г-н Привольский; он хорошо придумал, хотя из его думы вышла скучнейшая и бездарнейшая вещь. Но он ею доволен, и хотя внук Обломова, Лялин, умер, но будет еще правнук Обломова, ибо г-н Привольский заявляет: „читатели увидят своих знакомых в другом романе, на новой дороге“» (ВЕ. 1872. № 2. Отд. «Хроника. — Новые книги». С. 850).

Совсем иного рода, понятно, было обращение к роману Гончарова (точнее, к «Сну Обломова») И. А. Бунина в рассказе «В хлебах» (1904), который позднее писатель переименовал в «Сон Обломова-внука» (1915),³ и — что очень важно — в несколько сокращенном виде опубликовал его в 1937 г. с новым заглавием («Восемь лет») и авторским примечанием: «Жизнь Арсеньева. Вариант первого наброска». Как частое обращение художника к столь памятному для него рассказу, так и отчетливо указанная связь между главным произведением Бунина и романом

¹ К этой простой и неграмотной женщине неодолимо влечет героя: «...невольно посмотрел на ее руки, по самый локоть обнаженные из-под засученных рукавов платья»; «...украдкой посматривал, как работали руки Феклуши, подбрасывая и ловя подушки, и когда при этом колыхалась ее здоровая грудь от усиленного дыхания»; «Да какая аккуратная, — подумал Лялин, невольно заметив чистые, белые, нитяные чулки, плотно обрисовавшие икры ее ног, в то время, когда она, наклонившись,правляла края простыни под перину»; фигура этой героини «отличалась какой-то упругой плотностью и дышала цветущим здоровьем» (Привольский Л. Ф. Внук Обломова. С. 230—231).

² Копируются и отдельные яркие детали из романа Гончарова: «...в чернилице не оказалось даже и чернильной пыли, которую в таком экстренном случае можно было бы развести водой...» (Там же. С. 2).

³ Этот рассказ под еще одним названием «Далекое» (1926) напечатан в девятитомнике писателя (Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. II. С. 285—291).

Гончарова — все это представляется необыкновенно значимым и вносящим существенные коррективы в суждения критиков о творческом освоении Буниным художественного опыта Гончарова. Безмятежные и солнечно-радостные воспоминания восьмилетнего мальчика (отсюда и название «отрывка») перекликаются с поэтическими и идиллическими картинами «Сна Обломова»; особенно характерно такое место, может быть, самое безмятежное в творчестве Бунина: «Сладко пахнет васильками. И, щурясь от солнца, я, как в забытьи, слежу за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет в светозарной сини неба, слушаю, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни».¹

И эта беспричинная, божественная радость есть счастье, органично вырастающее из слияния с мирной и полной, многоцветной и просторной жизнью, окружавшей автобиографического героя в детстве: «Ах, когда я вырасту, я буду самым счастливым человеком в мире! <...> Но и теперь чудесно. Я дышу полевым ветром, слушаю хохлатых жаворонков, распевających над полями, в облаках, в бесконечном просторе. Степь вокруг, куда ни кинь взгляд, — зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, — только далеко впереди машет, как утопающий руками, какая-то мельница...».² Эти мотивы раннего рассказа Бунина прозвучат и в главах 20 и 21 первой книги «Жизни Арсеньева» — воспоминание о бескрайних степных просторах, драгоценный сон детства: «Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убежал куда-то... Куда, зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! <...> Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий...».³ С картинами быта Обломовки созвучны и другие детские вос-

¹ Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. VI. С. 302. Даже имя отрока в рассказе (Илья), видимо, навеяно «Сном Обломова» (в «романной» редакции «Восемь лет» оно, разумеется, исчезает, вытесненное «Я»).

² Там же. С. 304—305.

³ Там же. С. 54—55.

поминания героя «Жизни Арсеньева» о размеренно-тихой, изобильной, «сонной» жизни усадьбы: «И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепие бабочек... Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время...».¹ Бунин подчеркивает, что то были приметы особенной, «неевропейской», жизни, — естественной жизни в «благословенном уголке земли»: «Я родился и рос <...> совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она?».²

* * *

Мировая литература вобрала в себя многие образы, детали и словечки из популярного «русского органического романа».³ Чрезвычайно важно отметить здесь одно обстоятельство: постепенно уточнялось и — в конце концов — радикальнейшим образом изменилось представление о романе Гончарова как о произведении в высшей степени старомодном, консервативном, скучном, герои которого принадлежат истории и мало интересуют людей новой динамичной эпохи, фабула замедленна, а повество-

¹ Там же. С. 25.

² Там же. С. 40. В 1929 г. Бунин опубликовал в очень сокращенном и переработанном виде другой свой ранний рассказ «У истока дней» (1907) под новым названием «Зеркало» и с подзаголовком «Из давних набросков „Жизни Арсеньева“» (Там же. С. 292—299), мотивы которого отразились в главе 17 первой книги романа. Этот рассказ также включает в себе давние детские воспоминания, но совсем другого рода, чем в «наброске» «Восемь лет»; в нем доминирует тема смерти и тайны смерти, ужас которой впервые потряс сознание мальчика, когда он «пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, всю жизнь сопутствующее мне от самого истока дней моих» (Там же. С. 299). На этот раз давний «набросок» ассоциируется уже не со «Сном Обломова» Гончарова, а с произведениями Л. Толстого, с постоянной и главной темой обожаемого Буниным писателя.

³ Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962. С. 143.

вательная манера автора вызывала нарекания еще современников писателя.¹

Симптоматично, что необычная стилистика романа, парадоксально усугубленная слишком вольным переводом части первой «Обломова»,² поразила Р. Роллана, записавшего в своем студенческом дневнике: «„Обломов“ Гончарова. — Классический тип реалистического романа. Он начинается в 8 час. утра и оканчивается в 4 час. 30 мин. вечера, не выходит из маленькой комнатки — и насчитывает 300 страниц. — При этом он очень интересен, хотя герой проводит весь день в разговорах о том, что он сейчас встанет с постели, и не решается это сделать. Рой смутных мечтаний, прерываемых визитами. Заметьте, что Обломов — и читатель вместе с ним — нетерпеливо ждет, начиная с первых же страниц, своего друга сердца и что этот друг так и не появляется. — Очень правдиво».³ Таким образом «Обломов», в глазах студента

¹ Такая перемена закономерна и понятна. Ведь еще Добролюбов, в свое время отмечавший, что многим читателям (среди них, между прочим, Герцену, Салтыкову-Щедрину, Чернышевскому) роман показался скучным, невыносимо растянутым, бессобытийным, и не отрицавший справедливости таких упреков, вместе с тем считал, что «обвинители» Гончарова не учитывают специфических черт поэтики писателя, которые создают его индивидуальный реформаторский стиль, в самом чистом виде выразившийся именно в «Обломове»: «У него есть изумительная способность — во всякий данный момент остановить летучее явление жизни во всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника»; «Мелкие подробности, непрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят, наконец, какое-то обаяние» («Обломов» в критике. С. 37, 38—39). Но Гончаров в концепции Добролюбова менее всего жанрист, каким он часто представлялся другим критикам (см. об этом выше, с. 398); он обращал особое внимание на «необычайно тонкий и глубокий психологический анализ» «фламандца», на смелые эксперименты художника, в романе которого, «по самому характеру героя, почти вовсе нет действия», «многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства», но именно они составляют душу произведения («Обломов» в критике. С. 34—35, 38).

² О возмущении Гончарова этим переводом см ниже, с. 468.

³ Роллан Р. Из дневников и писем // Иностр. лит. 1955. № 1. С. 130. То был период страстного увлечения Роллана русской литературой, отразившийся и в его педагогической практике в лицее Луи-ле-Гран; ср. запись в дневнике от 2—10 апреля 1889 г.: «Я занимаюсь русской пропагандой». В основном он читает лицеистам своего любимого Л. Н. Толстого, но не забывает и о Гончарове: «В классе философии — отрывки из *Обломова* Гончарова» (Там же. С. 131).

Эколь Нормаль, является образцом реалистического искусства, несколько даже утрированного, но тем-то и интересного, оставляющего впечатление высшей правдивости; понравилось Роллану и то, что по произволу переводчика (этого будущий писатель не знал) Штольц так и не появился в романе.

В конце XIX—начале XX в., когда установилась репутация «Обломова» как одного из самых значительных и репрезентативных произведений золотого века русской литературы, в творчестве европейских художников появились характерные вариации на мотивы романа, а в отзывах западных критиков большое место заняла тема: «Роман Гончарова и его герой в контексте мировой литературы».

Венгерский литератор А. Карпати в эссе 1914 г. сравнивал героя стихотворения Шандора Пётефи «Господин Пал Пато» (1847) с Обломовым. Характерные черты лениво-созерцательного жизнеощущения Обломова лежат и в основе сюжета стихотворения венгерского поэта Т. Фалу «Письмо к Обломову» (1928).¹ Другой венгерский литератор М. Бабич, сравнивая «Обломова» с произведениями Г. Флобера и И. С. Тургенева в своей «Истории европейской литературы» (1935), приходил к заключению, что Гончаров даже в большей степени, чем они, обновляет поэтику европейской прозы, освобождая роман от фабулы.²

Л. Штильман считает, что Обломов «имеет больше общего с невротическими личностями нашего времени, чем с романтическими искателями приключений, разочарованными Дон Жуанами или потенциальными общественными реформаторами своего».³

С Обломовым сопоставляли Аугусто Переса, главного героя («маленького Гамлета») экзистенциалистского романа («румана») «Туман» (1914) М. де Унамуно.⁴ Вспоминает Обломова как антипода Гамлета и Орасио Оливейра, персонаж романа Х. Кортасара «Игра в классики» (1963): «Что делать? — с этого вопроса и началась его бессонни-

¹ См.: *Зельдхейи-Деак Ж.* Восприятие «Обломова» в Венгрии до второй мировой войны // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 439, 442.

² Ibid. S. 442—443.

³ *Stilman L.* Oblomovka Revisited // *The American Slavic and European Review*. 1948. N 7. P. 63.

⁴ См.: *Ciplijauskaite B.* El «heroe» indeciso: Augusto Perez y Oblomov // *Papeles de Son Armandas*. Palma de Mallorca, 1969. Vol. 79. P. 7—27.

ца. — Обломов, *cosa facciamo?* <что будем делать? — *ит.*> Великие голоса Истории побуждают к действию: „Hamlet, revenge!“ <„Гамлет, отомсти!“ — *англ.*>. Будем мстить, Гамлет, или удовольствуемся чиппендейловским креслом, тапочками и старым добрым камином?». ¹

Ж. Бло сопоставляет Обломова не только с Гамлетом и Дон Кихотом (в плоскости литературной мифологии, где они уже не просто национальные типы, но принадлежат универсальной, мировой литературе), но и со Сваном из «В поисках утраченного времени» (1913—1927) М. Пруста и Блумом из «Улисса» (1922) Дж. Джойса. ² А. Бурмейстер полагает, что повествовательные приемы Гончарова, позиция автора, сохраняющего «внешнее *бесстрастие*», отчасти предвещают поэтику «Фальшивомонетчиков» (1925) А. Жида и «Контрапункта» (1928) О. Хаксли. ³

Прочтение романа, во многом родственное суждениям М. Пришвина, М. М. Бахтина, Ж. Бло, ⁴ явственно выразилось в миниатюре «Обломов» (из цикла «Случаи из моей жизни») польского писателя Р. Брандштеттера (автора высоко оцененной о. Александром Менем прозаической трилогии «Иисус из Назарета», 1967—1972): «Ансельм испытывал к Обломову симпатию, поскольку в этом полном молодом человеке жила вера в человеческое бессилие. Во времена заносчивых, уверенных в себе гордецов, которым кажется, будто они способны всего достичь и все завоевать, бесплодные размышления Обломова, лежащего на диване, содержат почти страстный протест против безумия людей, одержимых идеей всемогущества». ⁵

¹ Кормасар Х. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1992. Т. II. С. 28.

² См.: Blot J. Ivan Gontcharov, ou Le réalisme. Paris, 1986. P. 89—91.

³ Bourmeyster A. Поэтика Гончарова: бесстрастие и насмешливость // *Leben, Werk und Wirkung*. S. 24.

⁴ И целого ряда других писателей и критиков, в том числе Р. Нойхойзера: *Neuhäuser R. Nachwort* // Gontscarov I. Oblomov. München, 1980.

⁵ Брандштеттер Р. Случаи из моей жизни // *Иностр. лит.* 1991. № 4. С. 232. Сопоставлялся с Обломовым и главный герой романа Б. Пруса «Кукла» (1887—1889) Вокульский (см.: *Giergiewicz M. Prus and Gončarov* // *American contributions to the International Congress of Slavists*. The Hague, 1963. P. 134—136, 144). Ранний период рецепции творчества Гончарова в Польше (польская печать о Гончарове, указатель польской литературы о Гончарове за 1862—1902 гг.) освещен в обзорной статье Т. Шишко: *Szyszko T. Ivan Gonczarov* // *Pisarsze i Krytycy: Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce*. Wrocław. 1975. S. 197—210.

Эти и другие мнения писателей и критиков XX в. дали основание Ю. В. Манну в статье «Гончаров как повествователь» утверждать: «Поэтика „объективнейшего из всех русских реалистов“, типичного представителя классического романа, оказывается, скрывала в себе зерна художественных форм будущего» (*Leben, Werk und Wirkung*. S. 92).

Возможно, что самым убедительным доказательством справедливости этих слов служит отношение к «Обломову» С. Беккета,¹ прочитавшего роман Гончарова задолго до работы над пьесой «В ожидании Годо» (1952), в которой один из наиболее абсурдистских персонажей драматурга носит русское имя Владимир. Восхищение романом Гончарова отразилось как в творчестве, так и в личной жизни Беккета. В некотором смысле «обломовские» отношения сложились между ним и Пегги Гугенхейм. Она получает в январе 1938 г. от писателя письмо, в котором тот поздравляет ее с успешным открытием музея в Париже и подписывается «Oblomov». П. Гугенхейм так комментирует это письмо: «Когда я впервые встретила с ним, то обнаружила живого Обломова. Я дала ему прочесть роман, и, конечно, он сразу же увидел сходство между собой и пассивным героем, у которого нет даже силы воли встать с кровати. (...) Когда я спрашивала, что он намерен предпринять с нашей жизнью, он неизменно отвечал: „Ничего“».² По мнению А. Михайловича, П. Гугенхейм несколько стилизует свои отношения с Беккетом в духе романической линии «Обломов — Ильинская».³

О сложном преломлении в творчестве Беккета различных психологических и стилистических граней романа Гончарова существует целый ряд исследований и эссе, — очень показательно уже само название статьи ирландского писателя и критика В. С. Притчета «Ирландский

¹ О восприятии С. Беккетом (и Р. Ролланом) романа Гончарова см.: Гуськов С. Хрустальный башмачок Обломова // *РЛ*. 2002. № 3. С. 44—52.

² *Guggenheim P.* Out of This Century: Confessions of an Art Addict. New York, 1979. P. 166—167. См. также: *Knowlson J.* Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett. New York, 1996. P. 271.

³ См.: *Mihailovich A.* «That Blessed state»: Western and Soviet Views of Infantilism in *Oblomov* // *Goncharov's «Oblomov»: A Critical Companion* / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern University Press, 1998. P. 61.

Обломов».¹ Помимо пьесы «В ожидании Годо» с ее «русским» пластом исследователи обращаются к прозаической трилогии («Моллой» (1947—1951), «Мэлоун умирает» (1951), «Безымянный» (1953)), пьесе «Эндшпиль» (1957) и другим произведениям Беккета.²

Однако прямыми высказываниями Беккета о романе Гончарова и его герое мы не располагаем, что же касается П. Гугенхейм, то ее взгляд на Обломова в основных чертах традиционен: он представляется ей олицетворением гипертрофированной лени и пассивности.

* * *

В силу ряда обстоятельств наибольший интерес роман Гончарова вызвал в Германии, Австрии, Швейцарии. Еще при жизни Гончарова литературный критик Е. Цабель назвал роман «совершенно необходимым произведением», увидев в нем «характеристику нашего восточного соседа».³ Он же с публицистической прямолинейностью писал: «Штольц является восхвалением немецкого прилежания, типом, созданием которого Гончаров на все времена заслужил нашу (немцев) благодарность».⁴ Позднее такой наивный и утилитарный взгляд на роман уступил место более взвешенным и глубоким оценкам, хотя, естественно, интерес к Штольцу (как и вообще к немцам и полунемцам — героям произведений русских писателей) в немецкоязычных литературах несколько не уменьшился. «Обломов» занял свою и почетную нишу среди других прозаических шедевров XIX в.

О художественных открытиях Гончарова писал С. Цвейг, откликаясь на выход первого полного перевода «Обломо-

¹ Pritchett V. S. An Irish Oblomov // The Working Novelist. London, 1965. P. 25—29. Притчет является также автором статьи о герое «Обломова» «Великое отсутствие» («The great Absentee») (см.: The Living Novel: Later Appreciations. New York, 1947) и рецензии (неподписанной) на перевод романа, принадлежащий Д. Магаршаку (The New Statesman and Nation. 1954. 20 nov. P. 661); в обеих публикациях он рассматривает Обломова как великого литературного персонажа, благодаря которому реабилитируется подсознательное начало в человеке.

² См.: Hoffman F. J. Samuel Beckett: The Language of Self. Carbondale, 1962. P. 13—19; Diment G. The Precocious Talent of Ivan Goncharov // Goncharov's «Oblomov»: A Critical Companion. P. 4, 18.

³ Zabel E. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1985. S. 252.

⁴ Ibid. S. 240.

ва» (в издательстве «Wiener Verlag») в статье «Торжество инертности» («Der Triumph der Trägheit»), опубликованной в газете «Prager Tagblatt» (26 июня 1902 г.): «...перед нами обыкновенная история, и она ужасна, как сама жизнь, если постичь ее в ее глубинах. И Гончаров упрямо следует материалу, как все русские, которые в своем аналитическом устремлении растворяют самое малое и самое невзрачное действие в тончайших потоках повествования. <...> Никогда никем не были изображены с такой психологической педантичностью те небольшие удобства, которыми окружил себя герой, вялость его пробуждения, его искусство самооправдания и самовнушения во имя лениности...» (цит. по: *ЛН Гончаров*. С. 13).¹

Философ Т. Лессинг в работе «Шопенгауэр. Вагнер. Ницше» (1906) сравнивал Ф. Ницше с Обломовым, рассуждая о типичном для человека нового времени душевном конфликте:² «Может быть, этот душевный конфликт (который типичнее всего для русской культуры, ибо в ней наиболее интенсивно и без органического развития самые древние влечения столкнулись с самыми современными интеллектуальными ценностями, самые древние инс-

¹ С. Цвейг относил Обломова к тем «обобщающим символическим образам», которыми русская литература одарила мировую, называя героя романа Гончарова рядом с Карамазовыми, Левиным и Каратаевым (см.: *Цвейг С.* Речь к шестидесятилетию Максима Горького // *Цвейг С.* Статьи; Эссе; Вчерашний мир: Воспоминания европейца. М., 1987. С. 88). Знакомясь с новой Россией (в 1928 г.), с грандиозными проектами тотальной перестройки жизни, с наивными во многом усилиями по ускоренному приобщению еще недавно пребывавшего во «тьме невежества» народа к мировой культуре, к произведениям Бетховена и Вермеера, Цвейг вспоминает роман Гончарова, и у него закономерно возникают такие вопросы: «И я посмеивался, восхищаясь, и восхищался, улыбаясь про себя; до чего же замечательный одаренный и добрый большой ребенок эта Россия, думал я постоянно и спрашивал себя: сможет ли она и в самом деле выучить этот невероятный урок так скоро, как решила? Воплотится ли этот план с еще большим великолепием или увязнет в старой русской обломовщине? Временами я был уверен в успехе, порою сомневался. Чем больше я видел, тем меньше понимал суть происходящего» (Там же. С. 383).

² «Каждая вышедшая из консервативных традиций и жизненной сферы старших поколений душа неизбежно должна прежде всего „воспринять какие-то черты Гамлета“, которые придадут „врожденной окраске решения бледность мысли“» (*Лессинг Т.* Шопенгауэр. Вагнер. Ницше // *Культурология. XX век: Антология*. М., 1995. С. 404—405).

тинкты — с самыми современными формами жизни) наиболее удачно показал Гончаров в образе *Обломова*. Черты Обломова присутствуют и в Ницше».¹

Р. Люксембург в статье «Душа русской литературы» (1918) писала, что «Гончаров возвысился в своем „Обломове“ до такого изображения пассивности человека, которое заслуживает места в галерее великих литературных образов всеобщего значения».²

Г. Гессе в свою сокровищницу мировых шедевров из произведений русских писателей включил «Мертвые души» Гоголя, роман «Отцы и дети» Тургенева, романы Достоевского и Толстого и «Обломова» Гончарова (эссе «Библиотека всемирной литературы», 1929).³

Т. Манн в «Размышлениях аполитичного» (1915—1918), раздумывая над национальными особенностями русской и немецкой литератур, их историческими и психологическими различиями, писал: «Но оставим в покое российское государство, общество, политику. Обратимся к лите-

¹ Там же. С. 405.

² Люксембург Р. О литературе. М., 1961. С. 137. В письме к К. Цеткин она вспоминает о своем первом впечатлении от чтения романа на языке оригинала: «С огромным интересом узнала, что ты читаешь „Обломова“ и в восторге от него; Бог ты мой, какие старые воспоминания он во мне пробуждает! Уже в восьмидесятых годах роман входил в железный фонд „радикальной“ молодежи России и теперь, наверное, совершенно забыт там. Во всяком случае, я прочла бы его с удовольствием, хотя бы для того, чтобы проверить давнее впечатление. Я совершенно не помню содержания и сохранила лишь общее представление о герое — человеке, прожившем жизнь без надежд, лишенном всякой способности чего-либо добиться. Если можешь, пришли мне, пожалуйста, книгу на несколько дней» (Там же. С. 258—259). Но роман в немецком переводе разочаровал Р. Люксембург, о чем она писала К. Цеткин 24 ноября 1917 г.: «Прости меня, но я смогла дочитать роман только до 25 страницы. В прежние времена я читала его по-русски и была от него в восторге. Теперь же он показался мне невыносимо многословным и бесцветным, и прежде всего потому, что уже на первой странице видишь настолько заверченный и в такой крайней форме выраженный характер, что просто не представляешь себе, как же он может развиваться дальше; всякое развитие, а вместе с ним и интерес к книге уже вначале обрываются. Так что большое спасибо, но прочитать роман выше моих сил» (Там же. С. 261). Любопытно, что на языке оригинала читал роман и Р.-М. Рильке, о чем он писал М. Цветаевой 17 мая 1926 г.: «...еще 10 лет назад я почти без словаря читал Гончарова...» (Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. СПб., 1992. С. 74).

³ См.: Гессе Г. Письма по кругу: Художественная публицистика. М., 1987. С. 158.

ратуре, содержащей в некотором роде убийственную критику русского человека, обратимся к „Обломову” Гончарова! И в самом деле, какая прискорбная и безнадежная фигура! Какая неуклюжесть, инертность, рыхлость и дряблость, какое безволие к жизни, какая безалаберная меланхолия: несчастная Россия, таков твой сын! И все же... можно ли Илью Обломова, это распухшее отрицание человека во плоти, не любить? (...) Несчастливая Россия? Счастливая, счастливая Россия, если она при всем убожестве и безысходности сознает себя настолько прекрасной и достойной любви, что, понужденная совестью своей литературы к созданию сатирического автопортрета, ставит на ноги, например, Обломова, или, скорее, укладывает его на кушетку! Что касается Германии, то сатирическая самокритика, каковую она передоверяет своему литератору, не оставляет сомнения в том, что она чувствует себя скверной страной и страной скверных: это есть выражение ее „духа”...».¹

Эти суждения Т. Манна только на первый, поверхностный взгляд кажутся неожиданными и парадоксальными. Бесспорно, они тесно связаны с его мыслями о русском «комизме» (в сравнении с европейским): «Нет на свете комизма, который был бы так мил и доставлял столько счастья, как этот русский комизм с его правдивостью и теплотой, с его фантастичностью и его покоряющей сердце потешностью — ни английский, ни немецкий, ни жанполевский юмор не идут с ним в сравнение, не говоря уже о Франции, которая — *sec* (суха — *фр.*); и когда встречаешь что-либо подобное вне России, например у Гамсуна, то русское влияние тут очевидно».² Сказанное о Гамсуне в эссе о «святой русской литературе» (1921),³ пожалуй, еще в большей степени справедливо по

¹ *Mann Th.* Betrachtungen eines Unpolitischen. Frankfurt am Main, 1991. S. 283.

² *Манн Т.* Русская антология // Манн Т. Художник и общество: Статьи и письма. М., 1986. С. 36.

³ В любви к России Т. Манн признавался неоднократно. В письме к Б. Фучику от 15 апреля 1932 г. он говорил: «В молодости я выбрал в себя многое из духовного и художественного мира русского Востока...» (Там же. С. 248). Русский роман представлялся ему важной органической частью великого европейского искусства XIX в. Он склонен был думать, «что вообще в XX веке размах художественного свершения, личности художника стал меньше, чем он был в XIX веке», и с энтузиазмом перечислял: «Английский, русский,

отношению к самому Т. Манну, и, в частности, к «славяно-евразийским» мотивам романа «Волшебная гора» (1924), главный герой которого в некотором роде соотносится с Обломовым.

Т. Манн, который сам обращал внимание на это обстоятельство («Введение к „Волшебной горе“». Доклад для студентов Принстонского университета», 1939), прерывает работу над романом, перейдя в годы войны к злободневной публицистике — «Размышлениям аполитичного», и затем, после длительного перерыва, так сказать, высказавшись и «очистившись», завершив «кропотливый, стоивший мне огромных усилий труд, плод самопознания и вживания в европейские противоречия и спорные проблемы, книгу, ставшую для меня непомерно затянувшимся, поглотившим целые годы периодом подготовки к моему следующему художественному произведению, которое потому только и смогло стать произведением искусства, то есть игрой, пусть очень серьезной, но все же игрой, что предшествовавшая ему аналитико-полемическая работа разгрузила его от излишне трудного идейного материала»,¹ возвращается к своему любимому детищу, к «европейскому» (в отличие от «немецкого») роману.² Понятно, что в «европейский» роман с некоторым скифско-монгольским завораживающим акцентом (мадам Шоша) вошло и «русское», литературное — Достоевский, Толстой, Гончаров.

О гончаровских аллюзиях в «Волшебной горе» дает представление большое эссе Т. Манна «Путешествие по морю с Дон Кихотом» (1934). Там он вспоминает Гонча-

французский роман, французская живопись, немецкая музыка XIX века — нет, неплохое это было время; оглядываясь назад, видишь целый лес великих мужей, почти тропическое изобилие великолепия, рядом с которым мы со всеми нашими крохами утонченности ничего равного поставить не можем» (Там же. С. 380; письмо М. Флинкеру от 14 июня 1955 г.). Т. Манн любил афоризм А. Шопенгауэра, который привел в лекции «Искусство романа» (1939): «Задача романиста не в том, чтобы рассказывать о крупном событии, а в том, чтобы сделать интересными мелкие», и далее уточнил: «Тайна повествования — а ведь в данном случае можно говорить о тайне — состоит в том, чтобы сделать интересными вещи, которые, собственно говоря, скучны» (Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. X. С. 281). Автор «Обломова», несомненно, этой тайной обладал.

¹ Манн Т. Собр. соч. М., 1960. Т. IX. С. 160—161.

² Манн Т. Художник и общество. С. 291 (черновой набросок письма к К. Б. Баутеллу от 21 января 1944 г.).

рова и его книгу «Фрегат „Паллада”», с которой, видимо, был знаком по переводу А. Лютера: «Я вырос на берегу Балтийского моря, провинциального внутреннего моего водоема; в крови у меня традиции старинного города средней величины, умеренная цивилизация, которой свойственна нервная сила воображения, знающая благоговейный ужас перед стихией, но и иронически ее не приемлющая. Во время шторма в открытом море капитан корабля, на котором плыл Иван Александрович Гончаров, пришел к нему в каюту: он — писатель, он должен посмотреть это грандиозное зрелище. Автор „Обломова” поднялся на палубу, огляделся кругом, сказал: „Безобразие, беспорядок!” — и снова спустился к себе».¹

В эссе явственно звучат вариации на темы книги Гончарова: «Друзья, странствующие виртуозы, рассказывали мне о комических ужасах подобного переезда, которым и мне, мол, по всей вероятности, когда-нибудь придется подвергнуться. Волны? Не волны, а горы! Гауризанкары! Выходить на палубу запрещено, раздосадованного Гончарова не вытащили бы наверх, лучше на все это смотреть в наглухо закрытый иллюминатор».² Как и автора-повествователя во «Фрегате „Паллада”», Т. Манн страшат «категории архистихийного — пустыни, моря, высокие горы».³ И здесь уже отчетливо проступают ассоциации с началом «Сна Обломова», особенно с теми фрагментами, которые приводит в своей статье Мережковский.

Вспоминает Т. Манн в том же эссе и героя «Волшебной горы» Ганса Касторпа: «Вчера после полудня и вечером под музыку в голубом зале я прочел кое-что из „Дон Кихота”, а сейчас, расположившись в палубном кресле, представляющем собою транспозицию — в другую крайность — удобнейшего шезлонга Ганса Касторпа, хочу продолжить это занятие».⁴ Палубное кресло и удобный

¹ Манн Т. Собр. соч. Т. X. С. 175—176. Примечательно, что Т. Манн обратил внимание на то же место в книге, что и Д. С. Мережковский в своей статье о Гончарове. Статья всегда высоко ценимого Т. Манном русского символиста, конечно, хорошо была ему известна. Не мог Т. Манн не обратить внимания на содержащиеся в статье мысли о своеобразном символизме Гончарова и о комическом начале его творчества.

² Там же. С. 176—177.

³ Там же. С. 175.

⁴ Там же. С. 182.

шезлонг — атрибуты созерцательной жизни, покоя, комфорта («призванного банализировать стихийное»¹). Отсутствует, но явно подразумевается текстом и контекстом эссе еще один атрибут, безупречно замыкающий «комфортную» триаду, — диван, на который «укладывает» своего героя Иван Александрович Гончаров (вполне возможно, что Т. Манн обратил внимание и на рассуждения во «Фрегате „Паллада”» о комфорте и роскоши).²

Г. Бёльль, классик немецкой литературы второй половины XX в., относил Гончарова в эссе «Попытка приближения» (предисловие к роману Л. Толстого «Война и мир», 1976), наряду с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Чеховым (Достоевский и Толстой — кумиры писателя — ни в какой «ряд» не помещались), к «звездам первой величины» русской литературы.³

Знаменательным показалось Г. Бёльлю, что именно в столице Ирландии («Ирландский дневник», 1957), ритм жизни которой напомнил ему Россию времен Гончарова, его «взгляд упал на книгу, затерявшуюся среди брошюр. Белая ее обложка с красной каймой уже порядком испачкалась; продавалась эта древность за один шиллинг, и я купил ее. Это был „Обломов” Гончарова на английском языке. Я знал, что Обломов — из тех мест, которые находятся на четыре тысячи километров восточнее Ирландии, и все-таки мне подумалось, что ему самое место в этой стране, где так не любят рано вставать».⁴

Гончаров и главный герой «Обломова» становятся участниками своеобразной литературной игры в романе «Групповой портрет с дамой» (1971), самом «русском» произведении Бёльля: славист, доктор Хенгенс, «пьяница и вообще опустившийся тип, но страстный поклонник Тургенева и особенно Чехова», заносит в ведомости некоей фирмы «Шлемм и сын» знаменитых русских писателей и их героев: «...Лермонтов — подневольный немецкой

¹ Там же. С. 195.

² О Гончарове и Т. Манне см.: *Hoffman A. Thomas Mann und die Welt der russischen Literatur*. Berlin, 1967. S. 162—200, 261—284, 285—295; *Руттнер Э. М.* Лейтмотив у И. А. Гончарова и параллели в произведениях Томаса Манна // *Russian literature*. 1974. № 6. P. 101—119; *Wegner M. Thomas Mann und Ivan Gončarov // Leben, Werk und Wirkung*. S. 419—432.

³ Бёльль Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1996. Т. IV. С. 714.

⁴ Там же. М., 1990. Т. II. С. 377.

строительной индустрии в Дании! Пушкин, Толстой, Разумихин и Чичиков месят бетон и хлеблют баланду! Гончаров с Обломовым копают землю лопатами». ¹ Новую «аферу с мертвыми душами» разоблачает другой славист, доктор Шольсдорф (он «мог точно сказать, сколько квадратных метров было в камере Раскольников и по скольким ступенькам лестницы он спускался, чтобы выйти на улицу»), следующим образом упрекавший коллегу на судебном заседании: «Всех, всех ты предал, кроме своих любимцев — Чехова и Тургенева», вынуждая прокурора пресечь эти потешные «препирательства насчет русских имен». ² Комическое состязание двух немецких славистов свидетельствует о постоянном, глубоком и интимном отношении писателя к классической русской литературе.

«Обломов» стал своего рода моделью для ряда произведений (романов и пьес) современной немецкоязычной литературы, «привлек к себе внимание различных <...> авторов, которые разрабатывают тему этого главного произведения Гончарова в своих романах или пьесах, актуализируют ее, делают попытки собственных трансформаций». ³

Роман швейцарского писателя П. Низона «Штольц» ⁴ — реакция на стремительные темпы нового времени, на экономический бум. В романе повествуется о коротком жизненном пути студента Ивана Штольца, который, однако, гораздо больше напоминает Обломова. Герой отказывается от активной жизни, им овладело безволие («Willenlosigkeit»), более того, «он сам состоял из отдельных, еще не соединенных воедино обломков», ⁵ не хочет быть разбуженным и постепенно угасает.

Эпиграфом к роману У. Грюнинга «На Выборгской стороне» ⁶ писатель взял две цитаты из «Обломова», которые подчеркивают (как и название) ориентацию на роман

¹ Там же. Т. IV. С. 300, 301.

² Там же. С. 298, 300, 302.

³ *Тирген П.* Замечания о рецепции Гончарова в немецкоязычных странах // *Гончаров. Материалы* 1998. Реминисценции из романа Гончарова могут быть отмечены в рассказе Г. Веспера «Обломовский день» (1966), в котором ностальгически прочерчены волжские реалии — воспоминания повествователя (*Vesper G. Oblomovtag. Warmbronn*, 1992).

⁴ *Nizon P.* Stolz. Frankfurt am Main, 1975 (переиздан в 1983 г.).

⁵ *Ibid.* S. 66.

⁶ *Grüning U.* Auf der Wyborger Seite. Berlin, 1978.

Гончарова. В трансформированном виде это история немецких Обломова и Ильинский «в ситуативном контексте бывшей ГДР».¹

Герой романа Г. Рюккера «Отто Бломов: История одного квартиранта».² вернувшись в Лейпциг из плена, переезжает с одной квартиры на другую, меняя диваны и женщин. Его (и автора) ангелом-хранителем является создатель «Декамерона» Д. Боккаччо, что обнажает иронически-плутовской характер произведения. Его любимый философ — А. Шопенгауэр, а жизнь — постоянный вызов утилитарной и ханжеской социалистической морали (девиз героя «Слава постели!» — явная насмешка над везде господствующим лозунгом «Слава труду!»).

Детективный сюжет романа немецкого писателя Б. Вагнера «Клуб Обломов» переплетен с литературными беседами и политической хроникой Берлина, в центральной части которого и расположился клуб, носящий имя одного из самых популярных героев русской литературы XIX в.³

10

Обзор драматизаций романа «Обломов» приводит к выводу о том, что каждая новая современная постановка (в отличие от достаточно однородного восприятия романа театром XIX в.) предлагает наряду с собственной интерпретацией текста романа активный диалог с предыдущими сценическими версиями, значительно усложняя тем самым культурно-историческое бытование гончаровских героев и сюжета.

Первые попытки инсценирования «Обломова» приходятся на конец XIX—начало XX в. Трудности, связанные с «непереводимостью» эпического произведения на язык театра, почти не беспокоили создателей многочисленных оставшихся невоплощенными сценариев романа — рукописных⁴ и

¹ *Турген П.* Замечания о рецепции Гончарова в немецкоязычных странах. С. 50.

² *Rücker G.* Otto Blomov: Geschichte eines Untermieters. Berlin, 1991.

³ *Wagner B.* Club Oblomov. Berlin, 1999.

⁴ *А. Ф. С.* (Сверчевский А. Ф.) Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова) (1 дек. 1897 г. С.-Петербург); *Владиславлев А.* (Бабецкий А. В.) Обломов: Пьеса в 6-ти действиях. Переделана из романа И. А. Гончарова «Обломов» (10 нояб. 1901 г. Харьков); *Е. К—ч* (Яковлева-Ка-

опубликованных.¹ Принцип инсценизации сводился к переработке прозы на диалогический лад и не претендовал на передачу всей сложности идейно-художественной структуры произведения. Отбор сцен из романа производился с оглядкой на установившиеся сценические стереотипы, основным «нелитературным» фактором при этом отборе было наличие актеров на точное амплуа. Обломов, например, определялся в то время как «смесь типов добродушного и мягко-забитого (темперамент — сангвинический)», Мухоморов — как «тип лицемерный», Захар — как «меланхолик, смесь разных типов, с преобладанием честолюбивого», Тарантьев — как «холерик, тип злостно-забитый» и т. д.² В соответствии с существующими представлениями о театральности за рамками сцены неизбежно оставались «Сон Обломова», сцена в театре, лодочная прогулка по Неве и некоторые другие «неудобные» для постановки эпизоды.

Значительно варьировался список гостей, посещающих героя в части первой романа, в некоторых случаях он ограничивался одним только Тарантьевым, который сохранялся ради обеспечения последующей «мещанской» интриги на Выборгской стороне. Самым обширным сокращением подвергалась часть четвертая романа: с удивительным единодушием инсценировщики игнорировали содержание глав, повествующих о любви Ольги и Штольца. Последний, как правило, появлялся на сцене лишь дважды: первый раз для того, чтобы познакомить Обломова

рич Е. П.) Обломов: Пьеса в 4-х действиях, 3-х картинах (по роману Гончарова) (4 мая 1902 г. С.-Петербург); *Poor Jorick*. (Божовский В. К.) Обломов: Драматическая характеристика в 4-х действиях (10-ти картинах), с эпилогом, по роману Гончарова (21 нояб. 1902 г. С.-Петербург); Обломов: Картины к роману «Обломов» Гончарова в 3-х действиях, 5-ти картинах (17 апр. 1906 г. С.-Петербург); (Бахарев Н.) Обломов, по роману Гончарова. Пьеса в 5-ти действиях, в 8-ми картинах (25 окт. 1911 г. С.-Петербург). Хранятся в Рукописном отделе С.-Петербургской театральной библиотеки (в скобках приведены даты цензурных дозволений к представлению и названия городов, где они были даны).

¹ Утро Обломова: Сцены в одном действии. Переделал из романа И. А. Гончарова Ин. Кузнецов-Красноярский, член общества русских драматических писателей. Томск, 1892. См. также ниже, с. 431—432.

² А. Ф. С. (Сверчевский А. Ф.) Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова) // СПбГТБ. I.XI.1.191. Лица. С. I—IV.

с семьей Ильинских и второй раз (уже в финале) для того, чтобы выслушать рассказ Ильи Ильича о его новой семье.

Предпринятые купюры компенсировались за счет вставок жанровых сцен из жизни прислуги, в которых выводились хорошо знакомые зрителю комические типы. Кроме развлекательной функции «житейские сцены» несли смысловую нагрузку: с одной стороны, они являлись своеобразным, призванным насмешить публику комментарием к основному действию, с другой — предоставляли возможность сжатого изложения пространных эпизодов. Так, в пьесе Бахарева,¹ где царит всеобщая влюбленность (няня Василиса Ивановна влюблена в кучера Никиту Парамоновича, Катя в кондитера из города, Захар в Анисью), сцена, в которой Обломов признается Ольге в любви, не показывалась, а рассказывалась (с соответствующими замечаниями) горничной Ильинских Катей своей подруге. Она же, став невольным свидетелем объяснения между господами в парке, произносила резюме, снижавшее смысл этой во многом ключевой для романа сцены до водевильной ситуации: «Место, что ли, здесь такое, что все влюбляются <...>?».² Корректно изложенный в романе эпизод с нервическим припадком Ольги («душный вечер в саду»), за которым в пьесе незамедлительно следовало предложение Обломовым руки и сердца, в целях акцентирования истинной подоплеку случившейся с героиней истерики демонстрировался на фоне ночного отсутствия убежавшей на свидание к кондитеру Кати и т. д. В пьесе Владиславлева³ вставные сцены, повествующие о несчастной любви бедной горничной к наглому и безжалостному «енеральскому» кучеру (девушка ждет от него ребенка), были призваны иллюстрировать суть отношений между Обломовым и Ольгой: по мнению этого автора, жизнь скомпрометированной в свете героини была безвозвратно загублена. В пьесе А. Ф. Сверчевского наблюдающий за Захаром и Анисьей Обломов произносил реплики, мотивирующие будущую развязку собственных отношений

¹ <Бахарев Н.> Обломов, по роману Гончарова: Пьеса в 5-ти действиях, в 8-ми картинах // СПбГТБ. № 50609.

² Там же. С. 182 (д. 3, карт. 1, явл. 17).

³ Владиславлев А. <Бабеецкий А. В.> Обломов: Пьеса в 6-ти действиях. Переделана из романа И. А. Гончарова «Обломов» // СПбГТБ. № 55225.

с Ольгой: «Эх, Захар, Захар! Женился, а не переменялся!» — или: «Что это, Захар? Опять война и разбитая посуда! И зачем ты только женился? Все такой же, только Анисью мучишь (...)». Я не упрекаю: говорю только, что и тебе, и Анисье раньше лучше было, пока не женился»,¹ которые либо отсутствовали в тексте романа, либо принадлежали там авторской речи.

Так как принципы инсценизации прозы находились в то время в стадии становления (позволяя, в числе прочего, полный отказ от авторского слова), степень корректности в обращении с текстом романа колебалась от умеренной модернизации гончаровской лексики до создания нового текста на гончаровский сюжет. Последнее часто приводило к заметному снижению уровня произведения, так как звучащие со сцены реплики, будучи речевой характеристикой персонажей, зачастую отличались чрезмерной социальной окрашенностью и изобиловали вульгаризмами («взбрызем», «канашка», «рубанем»). У А. Владиславлева обращенная к Пенкину реплика Обломова, например, звучала так: «А по-вашему лучше изобразить, как „Ванька Таньку полюбил“, да чтоб от этого Ваньки дух пошел, да подпустить такой психологии, чтоб после нее три дня есть нельзя было. Это, по-вашему, литература?»,² а рассуждения тетки Ольги М. М. Ильинской выглядели следующим образом: «Ох, трудно в наше время девушку пристроить. Мужчины всё какие-то вялые, пресыщенные, идут в силки, а сами оглядываются. Плоха у меня надежда на Штольца, про Обломова и говорить нечего, один только Волков выручить может»³ и т. д.

Метод работы с текстом «Обломова» определялся поставленной инсценировщиком задачей, и в случае, когда целью являлось создание «крепкой» фабульной пьесы, потери были особенно велики (примером такого подхода являются уже упоминавшиеся пьесы А. Владиславлева и Н. Бахарева). Драматургам, сознававшим необходимость «сохранения слова Гончарова», приходилось идти на со-

¹ А. Ф. С. (Сверчевский А. Ф.) Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова). С. 242 (д. 4, сц. 1, явл. 1); с. 188 (д. 3, сц. 1, явл. 3).

² Владиславлев А. (Бабецкий А. В.) Обломов: Пьеса в 6-ти действиях. Переделана из романа И. А. Гончарова «Обломов». Без паг. (д. 1, явл. 5).

³ Там же. Без паг. (д. 4, явл. 3).

здание ослабленных фабульных форм, таких как «сцены», «картины к роману», «драматическая характеристика». Основные причины такого подхода перечислялись в предисловии к пьесе В. К. Божовского «Я знаю, — писал он, — мне скажут, что „Обломов“ слишком роман, а потому в самой основе своей не годится для драматической переделки, что в нем нет действия, а следовательно и сценического движения, отчего пьеса как драматическое произведение не имеет главных своих элементов, представляя из себя скорее ряд картин, чем связную цельную драму. <...> Это и заставило меня сделать из „Обломова“ не драму, не комедию, даже не драматические картины, а именно „драматическую характеристику“, к которой требования собственно драмы могут быть предъявлены лишь относительно, но в которой, вместе с тем, отдельные действия и картины тесно связаны единством душевной драмы и строгой последовательностью ее развития».¹ Несмотря на стремление в ущерб действию дословно следовать Гончарову, пьеса Божовского принципиально не выделялась в общем ряду инсценировок, так как подобная скрупулезность распространялась лишь на извлеченные из романа диалоги, эпический материал «Обломова» по-прежнему оставался нереализованным.

Иногда возможность буквального соблюдения текста Гончарова достигалась постановщиком не за счет пьесы (ослабление фабулы), а с помощью ограничения темы и объема романа — в таких случаях задача сводилась к осмеянию обломовщины, а отобранный материал исчерпывался частью первой «Обломова» (прием использовался в пьесах И. П. Кузнецова и А. Ф. Сверчевского; последний допускал исполнение пролога своей пьесы в качестве самостоятельного произведения²).

¹ *Poor Jorick* (Божовский В. К.) Обломов: Драматическая характеристика в 4-х действиях (10-ти картинах), с эпилогом, по роману Гончарова // СПбГТБ. I.16.7. 23. Предисл. С. II—IV. Авторство установлено по отчету Театрально-литературного комитета при дирекции Императорских театров (см.: Ежегодник Императорских театров. XIII год. Сезон 1902/1903. СПб., 1904. С. 138).

² «Главная мысль пролога — положение и взаимные отношения бар и слуг, взрошенных крепостным правом. Представляя собою художественную, законченную картину, пролог может быть ставлен и независимо от пьесы, без ущерба цельности ее» (А. Ф. С. (Сверчевский А. Ф.) Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова). Пролог. С. 1).

Сценические версии романа «Обломов» конца XIX—начала XX в. являются дополнительным штрихом к истории его читательского восприятия. «Переделки для сцены» ориентировались на самый широкий зрительский круг и, приспосабливаясь к существующим вкусам, отражали тем самым наиболее распространенные мнения о романе и его героях. Выше уже упоминалось об умалении роли Штольца в судьбе Ольги Ильинской. Сходным образом инсценировщики были едины в негативном освещении роли Агафьи Матвеевны в жизни Ильи Ильича. Событийно связанный с Пшеницыной материал не подвергался обширным сокращениям, однако существование в доме на Выборгской стороне, поданное грубым, непоэтичным образом, неопровержимо свидетельствовало о нравственном падении героя, косвенной виновницей и олицетворением которого была она. Глубина открывшейся Обломову социальной «бездны» убедительно обосновывалась всеми возможными театральными средствами — ремарками к действию, описанием костюмов, декорацией, текстом.

Образ Ольги Ильинской, напротив, всячески укрупнялся. В принадлежавший ей текст активно вводились непосредственно-прямая речь (например: «Ольга: Возвратить человека к жизни — сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного! А спасти нравственно погибающий ум, душу? (*вздрагивает от гордого, радостного трепета*). Это урок, назначенный мне свыше! И вдруг все это должно кончиться!»¹) и реплики других персонажей;² это увеличивало его объем.

¹ А. Ф. С. (Сверчевский А. Ф.) Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова). С. 164 (д. 2, сц. 2, явл. 1).

² В пьесе Е. П. Яковлевой-Карич, например, в сцене свидания в доме на Выборгской стороне Ольга произносила слова Обломова: «Этого ничего не нужно, никто не требует! Зачем мне твоя жизнь! Ты сделай, что надо. Это уловка лукавых людей предлагать жертвы, которых не нужно или нельзя приносить, чтоб не приносить нужных. Ты не лукав, я знаю, но... Ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страсти и заботы. У меня нет другой мысли с тех пор, как я тебя знаю. Да и теперь повторяю, ты моя цель и только ты один. Я сейчас умру, сойду с ума, если тебя не будет со мною. Я теперь дышу, смотрю, мыслю и чувствую тобой! Ты удивляешься? Мне все противно, все скучно; я машина: хожу, делаю и не замечаю, что делаю. Ты огонь и сила этой машины!» (Е. К—ч (Яковлева-Карич Е. П.) Обломов: Пьеса в 4-х действиях, 3-х картинах (по роману Гончарова) // СПбГТБ. № 30585. С. 108—109 (д. 3, карт. 2, явл. 7; курсив наш. — Ред.)).

Иногда интерпретация образа Ольги требовала активных литературных реминисценций. В пьесе А. Владиславлева, например, характер и судьба Ольги прямо соотносены с пушкинским образом Татьяны (рассказ Ольги о сне, в котором явился ей медведь (подхватил, «поносил и бросил»), вставная сцена в спальне (разговор с няней), а также книга, которую в продолжение действия читает героиня (роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)).

* * *

Первой инсценировкой, увидевшей свет рампы, стала пьеса Н. Ф. Прошинской.¹ Спектакль был поставлен С.-Петербургским Василеостровским театром в начале сезона 1909/1910 гг. Рецензенты писали: «В воскресенье, 15 ноября, в Василеостровском театре была поставлена переделка г-жи Прошинской из романа Гончарова „Обломов“. Переделка оказалась весьма удачной {...}. Артисты играли с подъемом. Очень недурным Обломовым явился г. Бурьянов, особенно в первом акте артист играл с деталями и с чувством меры. Прекрасно справилась с ролью Ольги г-жа Байкова, особенно удались ей драматические сцены. Очень типичны были г. Ромашков в роли Тарантьева и г-жа Берг в роли Агафьи Матвеевны. Недурным Штольцем оказался г. Чарский. Г-ну режиссеру следует сократить 3-й акт, от этого выиграет комизм Обломова и Захара».²

Несмотря на некоторые дописки³ и перестановки, пьеса Прошинской воспроизводила фабулу романа с наи-

¹ Обломов: Пьеса в 4-х действиях и 6-ти картинах по роману Гончарова. Переделана Н. Прошинской. М.: Изд. театр. б-ки М. А. Соколовой, 1909.

² Обзорение театров. 1909. № 910. 19 нояб. С. 9.

³ Так, в финальной сцене пьесы, действующими лицами которой являются Обломов, Штольц и спрятавшаяся за деревом Ольга, сделана характерная вставка: «Штольц: Ты ли это, Илья? Ты отталкиваешь меня и Ольгу! И для кого? {...} Эта женщина, что она тебе? {...} Обломов (*решительно*): Мать моего ребенка и моя будущая жена!.. Ты видел моего сына; ради него я женюсь на ней! (*Ольга удерживает крик.*) Его зовут Андреем в память о тебе. (*Ольга бледнеет.*) Штольц: Женишься на ней? (*Грустно.*) Ты погиб, Илья! Что же я скажу Ольге? Она может сейчас войти. Обломов (*испуганно*): Войти сюда? Она... Нет, нет, не надо, я не могу встретиться с ней, я умру от стыда, не вынесу ее взгляда! Иди, Андрей, прощай! (*Обнимает его.*) {...} (*Со слезами.*) Не забудьте моего Андрея, когда меня не будет! А это скоро слу-

большей степенью приближения, являясь, в частности, первым сценарием, включавшим в себя сцену объяснения Ольги и Штольца (глава IV части четвертой романа/ карт. 1, д. IV пьесы). Небольшие сокращения, которые были приняты драматургом в сценах, повествующих о любви Обломова и Ольги (главы X—XI части второй/ карт. 1—2, д. II), восстанавливали утраченное в предшествующих инсценировках равновесие между основными сюжетными линиями романа, чем достигалась и существенная для авторской позиции Гончарова равноценность в обрисовке главных действующих лиц. В стилистическом отношении драматурга отличало последовательное стремление к упрощению гончаровских синтаксических конструкций, отказ от речевой индивидуализации персонажей в пользу более нейтрального варианта литературного языка и замена устаревшей лексики на современную.

Следующий спектакль по роману Гончарова был поставлен в совсем другую эпоху. Пьеса «Обломки Обломова»,¹ написанная М. Ф. Тименсом для Ленинградского ансамбля художественной пропаганды при Доме культуры 1-й Пятилетки, шла на сцене в середине 1930-х гг. В ней впервые обыгрывались возможности гончаровского сюжета в «чужой» культурно-исторической среде. По замыслу драматурга, Захар и погнавшийся за ним Обломов вываливались из книги и оказывались на сцене Дома культуры² в 1933 г., после чего действие пьесы, выстроен-

чится! <...> Ольга (*выскакивает вне себя от горя и жалости*): Илья! (*Бросается к нему. Он в ужасе, точно увидел призрак, пятится назад.*) Я была здесь... Я слышала... Я пришла! Боже мой, что с ним? Обломов (*шатаясь, рвет на себе галстук*): Вы... вы... вы... были здесь? О, Боже, за что ты послал мне это последнее унижение, этот позор! Она... видела меня... Ольга... (*Падают задыхаясь. Штолец бросается к нему.*) Штолец: Ничего, Ольга, не пугайся!... Это только удар! Надо внести его в дом! <...> Ольга (*в ужасе*): Что с ним? Неужели мое появление убило его? (*С мукой.*) Илья! Ах, он не слышит, он умер! А я думала оживить его, воскресить, вдохнуть жизнь! Я снова наказана за свою гордость! (*Рыдая.*) Илья, милый, добрый, прости меня! (*Обломов несут в дом.*) <...> Ольга (*окаменев от ужаса и тоски*): Всё конечно, я убила его!» (Обломов: Пьеса в 4-х действиях и 6-ти картинах по роману Гончарова. Переделана Н. Прошинской. С. 75—77 (д. 4, карт. 2)).

¹ <Тименс М. Ф.> Обломки Обломова. [Сатирическая пьеса в 2-х актах]. М., 1935.

² «Обломов: Куда же это мы попали? По внешнему виду здесь похоже на парламент. <...> Захар, спроси у молодого человека, кото-

ное на границе между реальностью и литературой, развивалось одновременно по двум направлениям: на сцене попеременно демонстрировались приключения Обломова и Захара «в жизни» и цепь предполагаемых после исчезновения главного героя событий «в книге».

Пьеса Тименса обладала остросатирической направленностью и избыточной злободневностью, поэтому, несмотря на ряд несомненно удачных театральных находок, увлекшиеся «интересным опытом переработки классики для специфических возможностей пропагандистского передвижного театра автор и постановщик (т. Боганов) не смогли преодолеть многообразия самого материала».¹ Авторы спектакля не стремились к созданию инсценировки романа, поэтому утративший все свои психологические характеристики образ Ильи Ильича Обломова целиком сливался с доминантным признаком обломовщины, превращаясь из человека в знак. «Илья Ильич — это не образ живого человека, с какими-то ему одному свойственными особенностями», а «театральная маска, наделенная всеми характерными чертами, свойственными обломовщине», — писали о нем газеты.²

В противовес такому подходу в 1935 г. из печати вышли сразу два сценария,³ характерными признаками которых являлись принципиальный отказ от дописывания Гончарова, ошутимое снижение интереса к обломовщине как явлению, концентрация действия вокруг главного героя, возврат к дословному воспроизведению диалогов романа.

Пьеса Н. Б. Лойтера ограничивалась материалом частей первой—третьей романа. Ее главной темой являлась душевная драма не сладившего с жизнью героя, поэтому

рый стоит около рояля и держит скрипку в руках, в какой мы стране? Быть может, нашу книгу увезли за границу, мы из нее вышли и очутились на чужбине? Захар (*обращаясь к одному из музыкантов*): Ваша милость, что за страна? Скрипач: Советская Россия. Захар: Он говорит, что мы в России. Обломов: А что это за господа? <...> Виолончелист: Рабочие и крестьяне» (*Тименс М. Ф.*) Обломки Обломова. С. 8).

¹ Сов. искусство. 1933. № 32 (139). 14 июля.

² Там же.

³ Бор Л. Н. *Лойтер Н. Б.* Обломов: Трагикомедия в 4-х актах, 10-ти картинах по роману И. А. Гончарова. М.: Цедрам, 1935 (2-е изд. М., 1936); *Азанчевский С., Розен А.* Обломов: Пьеса в 4-х актах по роману И. А. Гончарова. М.: Цедрам, 1935 (2-е изд. М., 1936).

особое внимание уделялось лирической (Обломов — Ольга) и этико-философской (Обломов — Штольц) сюжетным линиям, а жанр пьесы определялся как трагикомедия. Пьеса С. Азанчевского и А. Розена отличалась более полным охватом материала — границы действия в ней в целом совпадали с сюжетом Гончарова. Однако отбор сцен из романа производился с учетом их релевантности к образу главного героя — материал, направленный на описание и характеристику прочих персонажей, отбрасывался. Сокращениям подверглась даже история любви Обломова, до сих пор наиболее тщательно воспроизводимая на сцене (в пьесе отсутствовали события глав V—VII части второй романа, характеризовавшие по большей мере не Обломова, а Ольгу). Необходимые по ходу пьесы эпизоды без участия Обломова (действующими лицами которых являлись Захар, Анисья, Тарантьев, Мухояров, кучер, дворник, лакей) подавались драматургом в качестве вытесненных за рамки «большого» действия интермедий. Несмотря на активное распространение сценариев Лойтера, Азанчевского и Розена через Центральное управление по распространению драматической продукции (Цедрам), предпринявшее их переиздание уже в следующем 1936 г., пьесы не нашли своего постановщика, оставшись сценически невоплощенными.

Последним опубликованным сценарием по роману И. А. Гончарова является сценическая композиция М. Д. Волобрина и Р. М. Рубинштейн,¹ написанная ими для Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола в 1957 г.

Премьера (в постановке эстонского режиссера А. Б. Вилнера) состоялась на сцене Ленинградского театра им. Ленинского комсомола 12—13 июля 1958 г. Роли исполняли: Обломов — О. Басилашвили, Штольц — Г. Гай, Ольга — Т. Доронина, Пшеницына — А. Лузина, Захар — П. Лоба-

¹ Обломов: Сценическая композиция в 4-х действиях, 13-ти картинах М. Д. Волобрина и Р. М. Рубинштейн. Пьеса отредактирована и направлена для распространения Ленинградским театром им. Ленинского комсомола. М.: Отдел распр. драм. произв. ВУОАП, 1957. Пьеса переводилась на чешский язык: *Oblomov: Hra o 4 dejstvích, 10 obrazech*. Napsal I. A. Goncarov / Ze stejnojmenného ruského originálu přeložil Jaromír Studený; Scénickou komposicí M. D. Volobrinského a R. M. Rubinsteinj upravil Evžen Drmola. Praha: Dilia, 1959.

нов, Тарантьев — А. Хлопотов, Мухояров — И. Селянин.¹ Суть своей интерпретации режиссер определял посредством известной цитаты из доклада В. И. Ленина.² В одном из номеров «Театрального Ленинграда» по этому поводу сообщалось: «Постановка инсценировки романа (авторы М. Д. Волобринский и Р. М. Рубинштейн) осуществляется в Ленинграде впервые. Постановщик спектакля народный артист Эстонской ССР и заслуженный артист РСФСР А. Б. Винер говорит: „В. И. Ленин в одном из своих докладов дал гениальное определение обломовщины. (...) Эти слова В. И. Ленина — эпиграф нашего спектакля, определяющий его главную мысль.

Мы живем в чудесное время (...). И все же остатки обломовщины в виде равнодушия к окружающим, слабости характера, лени и апатии нет-нет да и проявятся в нашей среде.

Мы хотим, чтобы спектакль (...) будил к деянию тех, кто все еще спит, несмотря на великие дела современности”».³

В том же году С. Ф. Владычанский поставил «Обломова» на сцене Новосибирского ТЮЗа. Благодаря телевидению спектакль получил достаточно широкий резонанс: он «несколько раз игрался на телестудиях Сибири», а во время гастролей театра в Ярославле был показан и по московскому телевидению. По свидетельству артиста, исполнившего главную роль, «Владычанский решал спектакль как социально-психологическую драму».⁴

В 1965 г. на основе сценария Волобринского и Рубинштейн 3-м творческим объединением Ленинградской студии телевидения была осуществлена телепостановка «Обломов» (режиссер А. Белинский, оператор Никаноров, редактор Ефременко; в ролях: Обломов — О. Басилашвили, Ольга — Е. Немченко, Пшеницына — Т. Алешина, Тарантьев — П. Панков, Мухояров — А. Гаричев).⁵ Режиссер-постановщик (ныне академик Российского телевидения А. А. Белинский, по мнению которого «ни в кино, ни в театре нельзя воплощать литературные произведения

¹ См.: Театр. Ленинград. 1958. № 28 (520). 9—20 июля. С. 55.

² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 13—14.

³ Театр. Ленинград. 1958. № 26 (518). 25 июня—1 июля. С. 6.

⁴ Орлов В. Театральные мемуары // Сиб. огни. 1986. № 4. С. 140.

⁵ См.: Смена. 1965. № 247. 20 окт. С. 4. Исполнителей ролей Штольца и Захара установить не удалось.

с меньшим количеством потерь, чем на телевидении»¹) предлагал версию, в соответствии с которой «Обломов» оказывался «очень драматической, психологической историей гибели интересного человека, бессильного бороться с ужасом окружающего его мира».² Самое большое впечатление в этой постановке произвел сыгранный О. Базилашвили Обломов («...невозможно теперь представить себе иного Обломова, так тонко, так всеобъемлюще показал артист истинную суть этого образа...»³); в качестве удачных актерских работ отмечались роли Пшеницыной (Т. Алешина) и Мухоярова (А. Гаричев).

Событием на русской сцене стал спектакль «Обломов», поставленный в 1969 г. Московским драматическим театром им. А. С. Пушкина (инсценировка А. Окунчикова,⁴ режиссер О. Ремез, художник В. Шапорин; в ролях: Обломов — Р. Вильдан, Штольц — Ю. Стромов, Ольга — Н. Попова, Пшеницына — М. Кузнецова, Захар — В. Машков, Алексеев — Ю. Фомичев, Волков — В. Сафронов, Пенкин — А. Чернов, Тарантьев — А. Локтев, Мухояров — Н. Прокопович).⁵ Спектакль порывал с традицией прочтения «Обломова» как социально-психологической драмы, установившейся на советской сцене в предшест-

¹ *Белинский А. А. Монолог о телетеатре // Телевидение. Радиовещание. 1980. № 10. С. 32.*

² *Смена. 1965. № 247. 20 окт. С. 4.*

³ Там же; см. также: *Портреты актеров. Л., 1973. С. 127.*

⁴ Постановщик спектакля О. Ремез (однокурсник А. А. Белинского по ЛГИТМИКу) изложил историю своего знакомства со сценарием А. Окунчикова. «Все известные мне инсценировки, — писал он, — грешили теми самыми изъянами, что и читательское, школьное восприятие романа. В лучшем случае авторы забегали во вторую, третью и четвертую части и грамотно излагали любовную коллизию Обломов — Ольга — Штольц. Концепции либо не было вовсе, либо инсценировщики трактовали события, излагали роман с точки зрения его первой, „диванной“ части. Я собирался (и не один раз) сам инсценировать роман, как вдруг (уже в театре имени Пушкина) познакомился с инсценировкой А. З. Окунчикова, написанной давно, для предполагавшейся постановки А. Д. Попова в Театре Советской Армии.

Эта драматическая версия обладала достоинствами, которых не было в (версиях), известных мне ранее. {...} Отбор сцен из романа, композиция были сделаны с точным пониманием законов драматического театра. Инсценировка была пронизана действием» (*Ремез О. Сыгранные книги. М., 1977. С. 70—71*). Описание изменений, внесенных постановщиком в этот сценарий, см.: Там же. С. 71—72.

⁵ См.: *Театр. жизнь. 1970. № 8. С. 20.*

вующие годы. Важным отличием этой постановки от предыдущих стало применение нового сценического языка, решительно реализующего внутренний потенциал романа Гончарова с позиций «режиссерского» театра. По замыслу постановщика, спектаклю требовалось «„пространство трагедии“». И не просто трагедии, но трагедии *русской*, трагедии о русском Гамлете, выбирающем из двух возможностей человеческого существования («быть или не быть») небытие».¹ Сценографическим решением поставленной режиссером задачи стала созданная В. Шапориным двухуровневая сценическая установка, обладающая и предельной функциональностью, и высокой символической насыщенностью,² а на роль Обломова был утвержден «мо-

¹ Ремез О. Сыгранные книги. С. 74.

² См.: «Первое действие: На верхней площадке <...> — рояль. На нижнем уступе — диван.

По ходу действия диван исчезнет (его унесут «рабочие», те самые, что собираются «ломать», перестраивать квартиру Обломова), и на огромной сценической площадке останется лишь рояль с веткой сирени на нем. Безграничный простор откроется Илье Ильичу.

Здесь на вершине площадки, у рояля, рядом с Ольгой, и завершит Обломов первый акт словами:

— Боже, как хорошо жить на свете! <...>

Второе действие: Там, где стоял рояль, — свалена в беспорядке обломовская мебель (диван, шкаф, кресло, ширма), упакованная в рогожу. Илья Ильич переезжает на Выборгскую сторону, в дом вдовы Агафьи Пшеницыной.

На первом плане, на нижней площадке (той самой, где находился в первом действии диван), по обеим сторонам ее, по порталам разместились комод (справа от зрителей) и конторка (слева) — здесь живут Агафья Матвеевна и ее братец Иван Матвеевич. Сюда к ним спускается для переговоров (в начале второго действия) Обломов. Отказаться от квартиры ему не удастся, и он решает ненадолго здесь задержаться.

В следующей картине мужики сносят вниз и освобождают от рогожи столик, кресло, ширму. Обломов временно поселяется на Выборгской стороне. Затем нижняя площадка с каждой картиной все больше «обрастает» вещами Обломова. Они все плотнее заслоняют нижнюю площадку от верхней <...> соединяются с комодом Агафьи и конторкой братца. Наконец торжественно и плавно на бурлацких лямках волокут мужики вниз и диван. Интерьер „замкнулся“.

Пространство сжалось, съезжилось. Передняя площадка, заставленная и заваленная нужными и ненужными вещами, стала похожей на склеп, в котором заживо погребен Илья Ильич Обломов. Остается добавить, что во время обломовского сна за реальной мебелью возникнет еще фантазмагорическая, непомерно огромная, гигантская. <...> и именно во время сна вдруг исчезнет этот вещный мир, а останется Обломов наедине с необъятным, как и в начале спектакля, пространством» (Ремез О. Сыгранные книги. С. 75—76).

лодой, высокий, тощий» Р. Вильдан, чей облик непримиримо расходился «с привычным представлением о пухлом барине».¹

В спектакль Московского драматического театра им. Пушкина был впервые включен «Сон Обломова»;² критики писали об этом: «С блеском проводится сцена знаменитого „сна Обломова“. Трудно было воспроизвести этот сон на сцене. Творческая фантазия режиссера нашла обходные, чисто театральные пути. В сне Обломова совместились три плана: детство (папенька, маменька, неумение надевать чулки, приведшее к неумению жить), затем повергавшие его в панический ужас рассказы теток, лакеев о его женитьбе на Ольге и, наконец, сама свадьба».³ Включение в «Сон Обломова» венчального обряда с Ольгой—Агафьей стало возможным после перестановки сцены, предпринятой режиссером по принципиальным соображениям (по мнению О. Ремеза, сцена сна являлась кульминацией спектакля и должна была происходить «не в спокойной первой части книги, а во время болезни в главе XII третьей части»⁴). В качестве музыкального сопровождения сцены сна использовались ария Нормы из оперы Беллини («тема жизни»), которую исполняла Ольга, и колыбельная («тема сна и смерти»),⁵ которую исполняла Агафья Матвеевна Пшеницына.

¹ *Ремез О.* Сыгранные книги. С. 84. Ср. также: «Думается, что в дальнейшем сценические, кинематографические или телевизионные Обломовы будут именно такими, похожими на нашего. (Кстати сказать, уже после спектакля Театра имени Пушкина о своем желании сыграть Обломова, неожиданно для многих и так не удивительно для нас, заявили два величайших актера современности Иннокентий Смоктуновский и Марчелло Мاستрояни). Но в 1968 г. назначение Вильдана на роль Обломова было столь диковинным, что пришлось после его фамилии в приказе по театру проставить в скобках слово „проба“» (*Ремез О.* Сыгранные книги. С. 84).

² Единственной до спектакля Московского драматического театра им. А. С. Пушкина попыткой введения в действие «Сна Обломова» является запланированный, но не воплощенный музыкальный антракт в пьесе А. Ф. Сверчевского: «В антракте очень уместно и желательно было бы исполнение художественного музыкального произведения „Сон Обломова“ на тему, развитую в романе» (*А. Ф. С. (Сверчевский А. Ф.)* Обломовщина: Комедия в 4-х действиях, с прологом и эпилогом (по сюжету романа «Обломов» И. А. Гончарова). Пролог. С. 100).

³ *Кулешов В.* От формулы — к жизни // Театр. 1970. № 3. С. 39.

⁴ *Ремез О.* Сыгранные книги. С. 88.

⁵ Там же.

Поставленная режиссером цель («не повторение „Обломова“, а его пересоздание»¹) не могла не вызвать разногласий как среди зрителей, так и между театральными критиками. Постановка оставляла «впечатление дискуссионности»² и наряду с положительными откликами критиков вызвала и не слишком сочувственные высказывания: «...режиссер О. Ремез и художник В. Шапорин не нашли созвучного роману художественного образа спектакля, не создали родственной жизненной среды для сценического пребывания его персонажей. <...> из инсценировки романа театром решительно вычеркнут быт: пренебрежение к быту стало ныне модным. <...> Спектакль воспринимается как серия живых иллюстраций к роману. <...> они далеко не исчерпывают глубокой сути его содержания».³

В 1979 г. на студии Мосфильм была снята кинокартина «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (сценарий А. Адабашьяна и Н. Михалкова, режиссер Н. Михалков, оператор П. Лебешев, художники А. Адабашьян и А. Самулекин, композитор Э. Артемьев; в ролях: Обломов — О. Табаков, Штольц — Ю. Богатырев, Ольга — Е. Соловей, Захар — А. Попов, мать — Е. Глушенко, отец — Е. Стеблов, Алексеев — А. Леонтьев, барон — Г. Стриженов, тетка — Т. Пельтцер), которая, восполняя пробелы в изображении родственно-бытовой среды персонажей, тем не менее подтверждала наметившуюся в обществе тенденцию к переосмыслению стереотипных моделей интерпретации классики. В фильме, сверхзадачей которого являлась реабилитация этических ценностей главного героя, использовался (с сокращениями и дописками) материал частей первой—третьей романа. Действие протекало на фоне широких русских пейзажей и жанровых картин из помещичье-дворянского патриархального быта.

В условиях регламентированной советской действительности, где в числе прочего категорически запрещалась ностальгия по прошлому, михалковская трактовка «Обломова» отвечала давно назревшим зрительским ожиданиям. Картина не оставила равнодушных и сразу по вы-

¹ Кулешов В. От формулы — к жизни. С. 37.

² Там же. С. 39.

³ Абалкин Н. Театральная хроника. М., 1975. С. 246.

ходе вызвала полемику в прессе;¹ о ней писали: «„Обломов“ воскресил — спустя десятилетие после „Дворянского гнезда“ А. Михалкова-Кончаловского — споры, связанные с феноменом „неопочвенничества“. Сам Михалков со свойственным ему артистизмом разыграл роль новообращенного и столь энергично провозглашал свою зависимость от книги Ю. Лощица о Гончарове в <серии> „Жизнь замечательных людей“, что ему поверили. Между тем фильм Михалкова — отнюдь не вольная экранизация романа Гончарова, а пристальная и пристрастная полемика с его прочтениями <...> ведь если бы не неоконсервативный контекст, освящающий патриархальное бытие как бытие природное, органическое, и не явный афронт Добролюбову, то картина просто бы оказалась без полемического адреса».²

Оправдание Обломова в фильме Н. Михалкова («Обломов остается в фильме <...> носителем парадоксального, неполного идеала»³) достигалось не только посредством купирования гончаровского сюжета, из которого изымались нежелательные для главного героя события в доме на Выборгской стороне, но и с помощью укрупнения гончаровского противопоставления Обломова Штольцу до степени антагонизма. Программно-положительный герой Гончарова интерпретировался здесь как европейски образованный, но морально не оформившийся персонаж, как человек «без корней», сыгравший не созидательную (как в романе), а деструктивную роль в жизни Обломова (в сущности, антигерой). «После появления книги И. А. Гончарова в лексический состав русского языка вошло слово „обломовщина“, слово „штольцевщина“ пополнило нашу речь только после киноленты Н. Михалкова»,⁴ — писали критики. Фильм Н. Михалкова, показанный во многих странах мира, получил широкую известность и высокую международную оценку: в 1980 г. на кинофестивале в Оксфорде (Англия) картина была награждена призом «Золотой Оскар» за лучшую режиссуру.

¹ См.: *Рассадин С.* Обломов без Обломовки // *Искусство кино.* 1980. № 5; *Кречетова Р. В.* В поисках гармонии // Там же; *Плахов А.* Постижение или адаптация? // Там же. № 6; *Юдина Г.* Роман и фильм // *Нева.* 1981. № 5.

² *Шемакин А.* Превращение «русской идеи» // *Искусство кино.* 1989. № 6. С. 45—46.

³ Там же. С. 46.

⁴ *Юдина Г.* Роман и фильм. С. 203; см. также: *Вишневская И.* Герои и негерои Гончарова // *Сов. экран.* 1980. № 6.

В 1992 г. по мотивам романа Гончарова был создан мюзикл «Романсы с Обломовым» (сценарий и музыка М. Розовского, стихи Е. Баратынского и Ю. Ряшенцева¹), поставленный одновременно двумя крупными театрами России — театром-студией «У Никитских ворот» (режиссер М. Розовский; Москва) и Академическим театром драмы им. А. С. Пушкина (режиссер В. Голуб; С.-Петербург). Роль Обломова в Москве исполнял О. Вавилов, в Петербурге — М. Долгинин.

«Из всех действующих лиц драматург Розовский оставил только четверых: героя, Штольца, Ольгу и Захара»;² сохранив «лучшие романские монологи» и отказавшись «от лишних связей, слов и сравнений», он создал «крепкий, профессионально сработанный моноспектакль»;³ который, в силу своей необычности, встретил весьма настороженный прием как у публики, так и у профессионалов. О нем писали: «При общей растянутости действия противоречивость замысла вылезает наружу, перестанешь понимать природу жанра „Романсы с Обломовым“. Спектакль, начавшийся с отпевания Обломова, как будто бы тяготеет к социальной драме. Нам доказывают пользу принципиального аполитизма, невмешательства в глупую и вредную суету жизни. Об этом программная песня Обломова „Халат живет вдали от зла“. Затем драма оборачивается фарсом с клоунадой Захара, который в валенках забирается на барскую постель и барина с нее спихивает. Развернутая сцена под развязный куплетец „Вот ползает серьезный клоп“ венчает эту линию постановки. К сожалению, фарс нас не очень забавляет, и мы рады плавному перетеканию „Обломова“ в „Женитьбу“, где Штольцу достается роль Кочкарева, а Обломову — Под-

¹ Ср.: «Начиная с „Бедной Лизы“ и „Истории лошади“ в БДТ, у Розовского выкристаллизовались особые принципы обращения с классикой. Его литературно-режиссерскому мышлению свойственна известная фрагментарность (...) он извлекает актуальный социально-философский мотив и соединяет со стилизованными под бытовую музыку XIX века куплетами, песнями, романсами. Те мысли, что занимают Розовского, подчеркнуты броскими стихами его постоянного соавтора, поэта Ю. Ряшенцева (...) первоисточник же перелagается пунктирно, ведь романы и повести школьной программы у всех на слуху» (Соколинский Е. Классика и суета — «две вещи несовместные» // Невское время. 1993. № 43. 6 марта. С. 3).

² Столица. 1992. № 18 (76). С. 49.

³ Смена. 1993. № 62 (20412). 16 марта. С. 4.

колесина <...> зритель в первом действии потихоньку тоскует <...> и пробуждается лишь в момент появления эмансипированной боевой особы, зовущейся по роману Ольгой <...>. Узревшему глубочайшее декольте этой девушки становится ясно: тратить время на ритуал ухаживания ей недосуг. И верно, для укрепления знакомства барышня забирается к молодому человеку на колени якобы выдавить ячмень».¹ В версии Розовского деформировалась сама суть обломовского характера, так как его герой размышлял о препятствиях к браку с Ольгой уже после ночи любви.

Роман Гончарова был вновь инсценирован в 1999 г. Название поставленного С.-Петербургским театром «Русская антреприза им. Андрея Миронова» спектакля: «Обломов. Сказание в 3-х действиях по одноименному роману И. А. Гончарова» — сопровождалось дополнительным, ориентирующим на фольклорную интерпретацию подзаголовком: «Былина о сыне земли русской. Сказание об одинокой русской душе, навсегда уснувшей, но явившей миру светлый сон о безнадежном счастье на кисельных берегах и молочных реках России». Избранный автором и постановщиком спектакля В. Фурманом жанр определялся при этом как «сценическая редакция романа».

В постановке была исчерпывающе представлена фабула романа, здесь впервые были сыграны сцены свидания в Летнем саду и лодочная прогулка по Неве. Предпринятые сокращения относились к сюжетной линии Ольга — Штольц, второстепенные персонажи (гости, посещающие Обломова в части первой романа, М. М. Ильинская, барон Лангваген, Анисья) из действия изымались. Спектакль шел без перемены декораций, так как созданная художником О. Молчановым трехъярусная сценическая установка обладала исключительной функциональностью. Роли исполняли: Обломов — А. Чевычелов, Захар — Л. Неведомский, Штольц — С. Рускин, Ольга — Н. Попова, Пшеницына — О. Самошина, Тарантьев — С. Паршин, Мухояров — А. Худолеев, няня — З. Буряк, крестьяне — Д. Исаев, Д. Буцкий, Андрюша Обломов — Д. Клименков.

¹ Невское время. 1993. № 43. 6 марта. С. 3; ср.: «Сценическая версия „Обломова“, осуществленная Марком Розовским, подверглась столичными критиками недвусмысленной обструкции. Но, возможно, для того, чтобы переменить тему, встряхнуть публику, для того, чтобы пошли разговоры, и нужна была известная доля откровенного эпатажа» (Смена. 1993. № 62 (20412). 16 марта. С. 4).

«Фольклоризация» романа Гончарова в редакции В. Фурмана состояла главным образом в разворачивании былинных мотивов из главы «Сон Обломова», обрамляющих канонический сюжет основного действия, и введении в действие сквозных драматических эпизодов, связанных с обрядностью народного календарного цикла: «Так возникают в спектакле персонажи — Няня (Зоя Буряк) и два мужика-скомороха (Денис Буцкий и Дмитрий Исаев), своеобразные слуги просцениума и интерпретаторы событий: они и об опасности предупредят, и о быстротечности времени напомнят, и Илью Ильича пожурят».¹ Обрядово-календарная поэзия (консультантом по фольклору выступил И. Иванов) привлекалась для создания на сцене особого состояния раз и навсегда установленного, «неподвижного» времени, как нельзя лучше соответствующего мироощущению Обломова и обломовцев. Существенно важным компонентом спектакля оказалось также гончаровское сопоставление четырех времен года и четырех возрастов жизни (глава II части второй), которое неожиданно приобретало здесь формообразующий статус: будучи одним из условий действия, оно не только определяло композицию спектакля, но и убедительно обосновывало неизбежность возрождения героя после смерти (зимы).² Сыгранный А. Чевычеловым Обломов был очень красив и очень инфантилен, его антагонист Штольц интерпретировался создателями спектакля как отрицательный персонаж с отталкивающей демонической наружностью и иностранным акцентом.

* * *

Представители зарубежного театра впервые обратились к тексту романа в 1963 г. Комедия М. Кювелье «Oblomov»,³ впервые показанная в рамках конкурса молодых французских театров (11—27 июля 1963 г.; Париж),

¹ Ступников И. Илья Муромец из Обломовки // *СПбВед.* 1999. № 185 (2095). 8 окт. С. 3.

² В финале спектакля Обломов в образе белого всадника, в шлеме и с булавой, «гарцует» по сцене, подхватив на руки своего сына Андришу.

³ См.: Oblomov: Comédie de Marcel Cuvelier d'après le roman de I. A. Gontcharov traduit par Isabelle Kolitchev // *L'Avant-Scène.* 1963. N 299. 15 nov. P. 7—35.

была затем поставлена в театре-студии на Елисейских полях и выдержала до 100 представлений. В пьесе использовался материал частей первой—третьей романа, роли исполняли: Обломов — М. Кювелье, Штольц — Р. Жаке, Захар — М. Шампель, Ольга — Т. Кантен, хозяйка (Пшеницына) — О. Барруа.¹ Постановка имела несомненный успех, вследствие чего широко освещалась парижскими газетами.² Избранный режиссером и сценаристом жанр пьесы (комедия) во многом приближался к той ее разновидности, которая имела наиболее богатую традицию в национальной драматургии, — к комедии характеров. В прессе неоднократно отмечалось сходство комедии Кювелье по роману Гончарова с пьесами Мольера,³ а характер Обломова постоянно сопоставлялся с характером главного героя из знаменитого «Мизантропа». Одна из статей так и называлась: «Альцест, который принял бы решение спать».⁴

Отечественным откликом на это событие стала статья в журнале «Театр», автор которой писал: «До 1963 года знаменитый герой Гончарова Обломов был известен во Франции лишь специалистам в области русского языка и литературы. <...> Но в этом году постановка „Обломова“ на французской сцене стала „гвоздем“ сезона. Не только „весь Париж“, т. е. так называемая избранная „элита“, упивается сейчас свежим словечком „обломовщина“. Слово это, так же как имена Обломова и Гончарова, стало известно всем французам.

Пьесу по мотивам романа Гончарова написал и поставил в студии на Елисейских полях молодой актер, сценарист и режиссер Марсель Кювелье. <...> несмотря на неизбежные сокращения и неточности, Марсель Кювелье,

¹ См.: Ibid. P. 7.

² См.: L'Avant-Scène. 1963. N 293. 15 juin; N 297. 15 oct.; Libération. 1963. N 5855. 28 juin; N 5928. 21—22 sept.; Le Monde. 1963. N 5737. 28 juin; N 5809. 20 sept.; N 5811. 22—23 sept.; Le Figaro. 1963. N 5855. 29—30 juin; N 5928. 23 sept.; Théâtre populaire. 1963. N 50, 52; France-Observateur. 1963. N 687. 4 juillet; N 699. 26 sept.; La Tribune des nations. 1963. N 920. 5 juillet; N 932. 27 sept.; L'Acteur. 1963. N 8. Oct.

³ См., например, статью «Русский Мольер в студии на Елисейских полях» («Un Molière russe au Studio des Champs Elysées»): Le Figaro. 1963. N 5926. 20 sept. P. 22.

⁴ «Un Alceste qui aurait pris le parti de dormir»: Paris-Presse-l'Intransigeant. 1963. N 5844. 22—23 sept. P. 8.

сам играющий Обломова, создал спектакль честный и самого высокого качества».¹

В отличие от французской постановки спектакль «Obломoff, portrait of Russian gentleman», поставленный в Лондоне в следующем 1964 г., получил негативную оценку советской прессы. В статье «Модернизированный „Обломов“» говорилось: «Одевание, раздевание, медленное, нарочито подчеркнутое обыгрывание всех деталей туалета. Что это? Выступление новой дивы мюзик-холла? Или демонстрация ультрамодных фасонов нижнего белья? Нет, это пьеса по роману Гончарова „Обломов“, сценарий для которой написал и „по-своему осмыслил“ Рикардо Арагно <...>. Лежание в постели, обжорство, жалостливые разговоры с самим собой (сценарист не смог сохранить мастерски написанные диалоги Обломова и Захара и заменил их монологами, идущими параллельно) — к этому, в сущности, сводится вся пьеса. Прimitивная жизнь примитивного существа, которого и человеком-то не назовешь, — таким представил Рикардо Арагно Обломова английскому зрителю. <...> Незадачливый сценарист не пожелал вникнуть и разобраться, где причина, где следствие, и, кроме того, имел очень смутные представления о России первой половины и середины XIX века. <...> Западный театр и кино нередко <...> кормят зрителя пресловутой „клюквой“, давно уже набившей оскомину».²

В 1968 г. к «Обломову» обратился известный баварский драматург Ф.-К. Крёц, осуществивший совместно с А. Загерером драматизацию романа Гончарова для Бюхнер-театра (Мюнхен).³ В спектакле, постановщиком которого являлся Загерер, активно использовались технические средства, заменяющие актеров. Их применение являлось результатом прочтения Гончарова с позиций авангардной эстетики, в соответствии с которой действие романа происходило в пограничном между действитель-

¹ Театр. 1964. № 1. С. 149; см. также: Пиксанов Н. К. «Обломов» в театре на Елисейских полях в Париже // И. А. Гончаров: (Новые материалы о жизни и творчестве писателя). Ульяновск, 1976. С. 58—60. Отзывы в русской эмигрантской печати см.: Рус. новости. 1963. № 956. 27 сент. С. 7; Рус. мысль. 1963. № 2060. 15 окт. С. 5.

² Сов. культура. 1964. № 138. 19 нояб. С. 4.

³ Oblomow: Uraufführung die Dramatisierung des Romans «Obломow» von Gontscharow durch Franz Xaver Krötz und Alexej Zagerer. München, 1968.

ностью и мнимостью мире сна: «...схемами являются не только Штольц и Ольга. Мечтатель Обломов тоже нереален (и в этом концепция спектакля окончательно запутывается) — его голос мы слышим с магнитофона, а его изображение бросает на сцену вращающийся проектор. Не только общество есть представление Обломова, но и сам Обломов всего лишь проекция представлений общества о нем. {...} реальным действующим лицом оказывается только слуга Обломова Захар, так как именно он обслуживает магнитофон и проектор, являясь, таким образом, создателем своего господина, а не образом из мира его снов».¹ Обобщенный визуально-драматический ряд мюнхенской постановки основывался на безупречном соблюдении диалогов первоисточника в пьесе,² которая в дополненном и отчасти переработанном Крёцем виде ставилась различными театрами Германии в 1980—1990-х гг. (см. ниже).

К 1968 г. относилось действие кинокартины швейцарского режиссера С. Шредера «О, как Обломов!», демонстрировавшейся в одной из внеконкурсных программ Каннского фестиваля 1982 г. Фильм Шредера не являлся экранизацией романа. Заимствование ограничивалось применением гончаровского мотива «лежания на диване», взятого создателями фильма в качестве сюжетобразующей модели, и использованием фамилии гончаровского героя в функции эмблемы в заглавии фильма.³

В 1989 г. «Обломов» ставился в Швеции (театр «Фриа протеатерн»; Стокгольм) и Германии («Принц-регент-театр»; Мюнхен). Спектакль в постановке главного режиссера «Фриа протеатерн» С. Бёма «вызывал не просто живой интерес, а настоящий взрыв».⁴ Шведские газеты писали о символической значимости спектакля, осуществленного на пороге 1990-х гг., когда «Восток наконец пробуждается от обломовского сна и принимается за работу».⁵ Отмечая

¹ Süddeutsche Zeitung. 1968. 22—23 Juni.

² См.: «Большинство диалогов дословно взяты из книги. Они заняли три четверти часа, действие в постановке отсутствует — непонятно, зачем дожидаться конца спектакля, если только неграмотные нуждаются в озвучивании литературного текста» (Münchener Merkur. 1968. 22—23 Juni).

³ Подробнее см.: Галланов Б., Сабов А. Чьи интересы? Чьи идеалы?: Каннский фестиваль 1982 г. // Лит. газ. 1982. № 25. 23 июня. С. 8.

⁴ Сов. культура. 1990. № 2. 13 янв. С. 14.

⁵ Цит. по: Сов. культура. 1990. № 2. 13 янв. С. 14.

блистательную игру актерского ансамбля, критики писали также об особой — возможной только при условии хорошего звания классики — «литературной» выверенности инсценировки Бёма: «Стокгольмский театр в равной мере владеет и гротеском, и трагедийными интонациями <...>. Выделяя общечеловеческое в постановке, режиссер и актеры отнюдь не отказались от русских корней произведения. <...> Обломов в исполнении Свена Вольтера — вселенский философ, но сомнения и страдания его души не оторваны от русского фона. <...> Карина Лидбум играет Ольгу так, будто никогда в жизни не расставалась с книгами Гончарова и Тургенева. Ну и Оке Линдстрем не смог бы так сыграть Захара, не знай он Толстого и Чехова <...> Штольц в исполнении Томаса Больме также отчетливо узнаваемый персонаж, прошедший по русской словесности».¹

Мюнхенский спектакль являлся постановкой уже упоминавшейся пьесы Ф.-К. Крёца, осуществленной ее автором.² Роли исполняли: Обломов — В. Райнбахер, Штольц — Г. Ром, Захар — Х. Гёбель, Волков — Г. Антхоф, Ольга — О. Григолли. Участниками спектакля являлись также музыканты из инструментального фольклорного ансамбля (аккордеон, балалайка, скрипка). Бездеятельность главного героя расценивалась в этой сценической версии как поступок. По мнению Крёца, «Обломов предпочитал деятельности бездействие не из-за природной лени и не из-за каких-либо социально-политических причин, а потому, что опасался ее непредсказуемых последствий. Он остается лежать в постели из-за обостренного чувства ответственности — чтобы не причинить никому вреда».³ В спектакле актуализировался

¹ Там же. С. 14.

² Спектакль широко освещался в немецкой прессе (см.: Die Welt. 1989. N 50. 28 Febr.; N 56. 7 März; Die Tageszeitung. 1989. N 2799. 5 März; Kieler Nachrichten. 1989. N 56. 7 März; Westfälische Rundschau. 1989. N 57. 8 März; Badische Zeitung. 1989. N 57. 9 März; Kölner Stadt-Anzeiger. 1989. N 58. 9 März; Neue Zürcher Zeitung. 1989. N 56. 9 März; Rheinischer Merkur. 1989. N 10. 10 März; Saarbrücker Zeitung. 1989. N 59. 10 März; Stuttgarter Zeitung. 1989. N 58. 10 März; Der Tagesspiegel. 1989. N 13216. 14 März; Frankfurter Rundschau. 1989. N 63. 15 März; Süddeutsche Zeitung. 1989. N 53. 15 März; Bayernkurier. 1989. N 11. 18 März; Handelsblatt. 1989. N 55. 18 März; Rheinische Post. 1989. N 69. 22 März).

³ Иностр. лит. 1989. № 10. С. 255.

этический конфликт между двумя культурно-историческими укладами — эпохой «до» и эпохой «после» НТР. Носителем бездушного технического мировоззрения становился Штольц — «персонаж между профессором Унратом и Йозефом Геббельсом»,¹ «генерал от прогресса», «карикатура на современного проповедника „наступления вешей“».² «Штольц ведет войну против человечности, — писали журналисты, — его деревянная нога, которой он обязан железнодорожной катастрофе, не что иное, как боевая рана. Мы не сомневаемся, что такая война ведет к гибели скорее, чем бездействие Обломова».³ Режиссерская ремарка к действию была более сдержанной, она характеризовала Штольца как «бухгалтерского, brutального и очень немецкого» персонажа.⁴

В 1990 г. по английскому телевидению был продемонстрирован фильм, главным действующим лицом которого являлся Обломов. Фильм не был экранизацией, его основной задачей являлось исследование политической ситуации в Советском Союзе, поэтому Обломов представлял собою распространенный, по мнению создателей фильма, тип советского политика, предпочитающего удобства собственной сибаритской жизни огорчению и трудностям активной политической деятельности. Действие телефильма происходило на улицах современной Москвы. Роль англоговорящего Обломова исполнил американский актер Дж. Вендт, обращающиеся к Обломову москвичи говорили по-русски.⁵

В 1992 г. спектакль «Обломов», осуществленный силами итальянского Театро Стабиле ди Фриули — Венеция — Джулия, был показан в Триесте и Риме. Полемиче-

¹ Schostack R. Wer weiß, was das Gute ist // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1989. N 56. 7 März. S. 29.

² Hübel W. Der Schlaf der Vernunft gebiert Bleiernes // Süddeutsche Zeitung. 1989. N 55. 7 März. S. 48.

³ Ibid. S. 48.

⁴ Интерпретация была оспорена П. Тиргеном в статье «Oblomowerei, Perestrojka und Franz Xaver Kroetz», по мнению которого трактовка образа Штольца, «превратившегося в сатиру на немца и только немца, тогда как Гончаров видел в этом персонаже синтез русского и немецкого начал», является недопустимо карикатурной (Zielsprache Russisch. 1990. N 1. S. 1—6).

⁵ См.: Peace R. Oblomov: A Critical Examination of Goncharov's Novel // Birmingham Slavonic Monographs. 1991. N 20. P. 2.

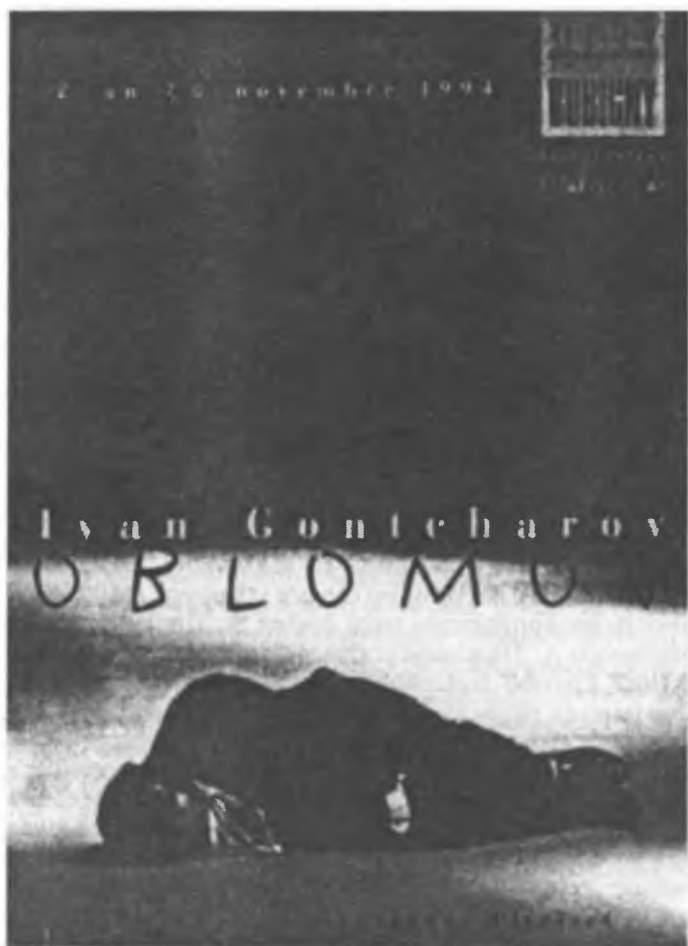
ским адресатом этой постановки являлся хорошо известный в Италии кинофильм Н. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». Режиссер Ф. Бордон возражал главным образом против идиллического живописания обломовщины. Созданная в его спектакле атмосфера запустения и упадка должна была свидетельствовать об «убожестве жизни главного героя» и «трагедии необретенного смысла жизни».¹ Роль Обломова исполнил актер Г. Маури, Захара — Т. Скирцини, Штольца — Дж. Ланца, Ильинской — Л. Феррари, Пшеницыной — Б. Вальморин. «Кроме убедительно решенных образов главных героев, к достоинствам постановки следует отнести выразительную, хотя и традиционную, сценографию С. д'Осмо (кроме одного досадного «ляпсуса» — окна петербургской квартиры героя выходят на большой Кремлевский дворец (!)) и с большим вкусом подобранную музыку», — писали газеты.²

Парижскую постановку «Обломова», осуществленную Д. Питуазе на сцене Центра искусств Бобиньи в 1994 г., также сравнивали с фильмом Н. Михалкова. Русский рецензент писал о частном по своему характеру случае зависимости интерпретации роли Захара Ж. Прива от образа, созданного А. Поповым в киноленте Михалкова;³ французский критик, выстраивая более общую модель влияния, замечал разницу между положенными в основу этих драматических версий принципами инсценизации: «„Несколько дней из жизни Обломова“. Пятнадцать лет назад Никита Михалков, для предупреждения возможных недоразумений, дал своему фильму название, которое подчеркивало неизбежное несоответствие его роману. Доминик Питуазе не прибегает к подобного рода предосторожностям: с самого начала действия он утверждает право на радикальные преобразования, необходимые для перехода от одного эстетического порядка к другому. Он смело выступает против неизбежного разочарования ревностных читателей, не способных отказаться от ностальгии по роману, чтобы открыть для себя театральное действие под названием „Обломов“, и доходит в своем вызове до пуб-

¹ Рус. мысль. 1992. № 3952. 30 окт. С. 14.

² Там же. С. 14.

³ См.: Заславский Г. Умереть от любви // Моск. наблюдатель. 1995. № 1—2. Май. С. 75.



Программка спектакля «Обломов». Центр искусств
Бобиньи, Париж. Постановка Д. Питуазе. 1994 г.

ликации пьесы,¹ ритм которой ясно обозначен подзаголовками актов («Часы», «Времена года», «Годы»), сложных для сцены, но необходимых для общего замысла драматурга. (...) В результате можно сказать, что Доминик Питуазе и Андре Маркович задумали настоящую сценическую адаптацию. В основном эта адаптация совпадает с уже имеющимися в романе диалогами, но вместе с тем включает в себя и повествовательные пассажи».² Одним из этапов создания адаптации стала поездка Д. Питуазе в С.-Петербург и посещение отдела рукописей С.-Петербургской государственной театральной библиотеки, где им были просмотрены многие из хранящихся здесь рукописных сценариев конца XIX—начала XX в.

Главной особенностью сценической концепции Питуазе и Марковича являлось то, что действие пьесы постоянно соотносилось с текстом романа, либо воспроизводимым на заднике сцены, либо звучащим в исполнении чтеца: «...сцена — большая, правильной прямоугольной формы — начисто лишена уюта. Уютен один только диванчик-думка. В трех метрах от него — темная синяя чашка с золотым ободком, а в углу у края, вблизи от публики, — рассыпанные листы бумаги, пюпитр и деревянный стул. Над диванчиком — тусклая желтоватая лампа. Пол и низкие, чуть выше человеческого роста, стены затянуты бежево-серым холстом. Все прочее — во мраке. На холщовой стене проступают написанные от руки строчки романа: „В Гороховой улице, в одном из больших домов, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов“. Слова зажглись и погасли, погасла потом и лампочка. И снова зажглась: все осталось как было, прибавились только Обломов да шлепанцы перед диваном».³ Сценографом и художником по костюмам была К.-М. Люмьер, роли в спектакле исполнили: Обломов — Э. Пьер, Штольц — Ж. Прива, Захар — Ж.-П. Дюбуа, Ольга — К. Вуйез, Пшеницына — С. Лаббе, чтец — Н. Россье.

¹ *Gontcharov I. Oblomov, adaptation scénique de Dominique Pitoiset et André Marcowicz, éditée par la Compagnie Pitoiset, le Théâtre Vidy de Lausanne, le Théâtre national de Bretagne...* [S. l.], 1994; в дальнейшем (в процессе постановки) эта версия была значительно расширена.

² *Le Roux M. Oblomov: Du livre à la scène // Quinzaine littéraire.* 1994. 16—30 nov.

³ Моск. наблюдатель. 1995. № 1—2. Май. С. 75.

В качестве самой удачной актерской работы отмечалась роль Обломова в исполнении Э. Пьера.¹ Образ Штольца впервые трактовался как образ искусителя («...он чертовски обаятелен, обаятелен именно как черт. Он рыж, одет во все черное. Его черные лакированные ботинки посверкивают как копытца»),² что в свою очередь повлияло, по-видимому, на решение этой роли в спектакле театра «Русская антреприза» (см. выше).

В 1995 г. английский режиссер Э. Вайман поставил на сцене лондонского театра «Плезэнс» пьесу начинающего шотландского писателя С. Шарки «Oblomov. A slack Romance». Художественная задача драматурга состояла в сатирическом изображении образа жизни многочисленных эмигрантов в английской столице конца XX в. Единственным напоминанием о романе Гончарова были здесь фамилия главного героя, его русское происхождение и огромный диван, неизбежно сопутствующий эмигранту Обломову во всех перипетиях сюжета.³ Спектакль «Oblomov oder Freund Leidenschaften», шедший в том же году в Штутгарте (Германия), являлся очередной постановкой пьесы Ф.-К. Крёца, осуществленной режиссером К. Лоем на сцене «Театра в депо» (филиал Штутгартского государственного театра).⁴

В 1996 г. была опубликована сильно измененная, привлекающая техникой модернизации и отчуждения драматическая версия «Обломова» («Oblomows Traum»), на-

¹ «С первых же минут на сцене Эрве Пьер производит впечатление силы, нечто вроде физической насыщенности, не имеющей ничего общего с располагающей к неподвижности и молчанию тучностью. Персонажи, сошедшие на подмостки со страниц романов, часто страдают недостаточной жизненностью. Тем не менее Эрве Пьер через своего Обломова лучше многих интерпретаторов „больших“ ролей театрального репертуара дает почувствовать это неповторимое присутствие тела в театре {...} даже если он в позе эмбриона лежит на полу в глубине сцены, или, в ожидании своей возлюбленной, стоит на авансцене спиной к публике» (Quinzaine littéraire. 1994. 16—30 nov.).

² Моск. наблюдатель. 1995. № 1—2. Май. С. 76.

³ Кнежевић С. Обломов у Лондону // Политика. Београд, 1997. № 30006. 8 мај. Четвртак. С. 23.

⁴ См. рецензии на спектакль: Müller R. Leihstimmen in Moll (Kroetz' «Oblomow» im Stuttgarter Theater im Depot) // Stuttgarter Zeitung. 1995. N 94. 24 Apr. S. 8; Ueding C. Auf Marotten reduziert: (Kroetz' «Oblomow» in einer Stuttgarter Aufführung) // Frankfurter Rundschau. 1995. N 19. 4 Mai. S. 8.

писанная Й.-М. Кёрблем.¹ Композиция пьесы, жанр которой определялся автором как «немецкая драма по мотивам и при участии действующих лиц романа», представляла собой многоуровневый, изощренно выстроенный диалог участников, пытающихся выяснить, кто из них кому снится в условиях абсолютной допустимости какого угодно события (вроде убийства Захара и Ольги, временного превращения Тарантьева в собаку и т. п.); проблематика лишь отдаленно соответствовала проблематике романа и включала в себя наиболее обсуждаемые вопросы современности в области политики, социологии, литературы и науки. На протяжении всей пьесы персонажи Кёрбля рассуждали об эксплуатации, депрессии, кризисе идентичности, теории Дарвина, смерти Бога, полетах на Луну, проблемах теоретической физики, гигиене тела и пр.; используемый в речи героев текст Гончарова ощущался как цитата. Пьеса в виде сценического чтения исполнялась в 1996 г. на пробной сцене «Берлинского ансамбля».²

В 1999 г. в рамках С.-Петербургского Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» был показан спектакль «Обломов. Пробуждаясь, мы умираем. Фантазия на тему романа И. Гончарова „Обломов“» итальянского театра «Понтедера». Драматургия и постановка спектакля принадлежали Р. Баччи (соратнику и единомышленнику основателя театра Е. Гротовского). О спектакле писали: «Строго говоря, мы имеем дело с особым видом „монодрамы“, когда все, что видит зритель, суть лишь фантазии главного героя, а если и реальность, то через сознание этого героя пропущенная. В том, как показано в этом спектакле сновидение, чувствуется верность концепции „бедного театра“ Е. Гротовского: никаких затемнений, никакого рапида и, уж конечно, никакой „загадочной“ музыки. Пластическую партитуру составляют выверенно-легкие, почти балетные движения актеров, звуковую — пропеваемый актерами текст. И то и другое кажется в спектакле значимым — имен-

¹ Koerbl J.-M. Oblomows Traum: Ein deutsches Drama nach Personen und Motiven der Romans «Oblomow» von I. A. Gontscharow // Theater der Zeit. 1996. N 1—2. S. 74—99.

² Рецензию см.: Funke Chr. Der Philosoph auf dem Sofa // Der Tagesspiegel. 1996. N 15. 17 Apr. S. 24.

но так, как воспринимается нами все происходящее во сне».¹

Наиболее характерной чертой этого спектакля являлась абстрагированность происходящего на сцене действия от любого национального (в том числе и русского) контекста. В прочтении Р. Баччи классический роман русской литературы становился универсальной философской притчей о жизни и смерти человека. Главный герой — единственный неподвижный центр в окружающем его мятущемся мире, воплощал в себе последнюю возможность постижения этого мира. Такой подход неизбежно приводил к сокращению числа действующих лиц (Обломов, Ольга, няня, Захар, Штольц — исполнители: Д. Кастальдо, К. Капато, Дж. М. Корбелли, Р. Ловизолло, Ф. Пулео) и редукции темы обломовщины как в бытовом, так и в оценочном ее аспектах: к концу XX в. Обломов освобождался наконец от самого известного своего атрибута.

В конце 1999 г. на Югославском Международном театральном фестивале в Ужице был показан еще один спектакль «Обломов» (драматургия и постановка Е. Савина, Крнгорский народный театр).²

За последние десятилетия ясно обозначилась тенденция к эмансипации главного героя Гончарова от породившего его текста. Узнаваемость Обломова настолько высока, что не требует воспроизведения литературного первоисточника, а известность позволяет безболезненно встраиваться в любые культурно-исторические обстоятельства, что означает возможность моделировать новые тексты.³ Все это свидетельствует о вхождении гончаровского героя в общемировую парадигму литературных сверхтипов. И здесь в особенности важно, что первое знакомство зарубежного зрителя (и не всегда — читателя) с Обломовым чаще всего происходит именно в театре.

¹ Пасуев А. Что в имени тебе моем? // На дне. 1999. № 23 (76). 1—15 дек. С. 18.

² См.: *Gončarov Ivan Aleksandrovič. Oblomov: Dramatizacija* Egon Savin. Podgorica, 1999.

³ См. пьесы М. Ф. Тименса, С. Шарки, Й.-М. Кёрбля, сценарий С. Шредера, фантазию Р. Баччи, а также романы П. Низона, У. Грюнинга, Г. Рюккера. О романах подробнее см. выше, с. 422—423.

«Обломов» — единственный широко известный за границей роман Гончарова. Он переведен на 47 языков, вышел сотнями изданий, неоднократно публиковался в Европе при жизни писателя. В 1861 г., через два года после появления романа, Э. Вавра¹ перевел «Обломова» на чешский язык;² в 1868 и 1885 гг. вышло два немецких перевода;³ опубликованный в 1872—1873 гг. во Франции перевод части первой романа переиздавался в 1877 и 1886 гг.;⁴ в 1887 г. вышли нидерландский⁵ и два шведских перевода,⁶ сделанные с немецкого издания 1885 г. (пер. Койхеля); в 1888 г. роман был напечатан на украинском;⁷ в 1891 г. — на сербохорватском;⁸ в 1884 и 1886 гг. два от-

¹ Эмануэль Вавра (Vávra; 1839—1891) — переводчик с русского и французского языков. Родился в Праге. Редактировал в 1870 г. «Рижский вестник». Преподавал в Оренбурге и Ереване. Еще в Праге перевел «Мертвые души» Н. В. Гоголя (1862), «Петербургские трущобы» Вс. Крестовского (1868), а также произведения Лермонтова и Тургенева. См. о нем: Ottuv Slovnik naučný. Praha, 1907. Vol. 26. S. 469. О его переводах произведений Гончарова см. также: наст. изд., т. 1, с. 667; т. 3, с. 539.

² *Goncarov I. A. Oblomov: Roman. Sv. 1—4 / Z ruštiny prel. E. Vávra.* Praha: J. L. Kober, 1861 (Slovanské besedy; R. 1, sv. 3—6).

³ *Gontscharow I. Oblomow: Russisches Lebensbild / Deutsch von B. Horsky.* Leipzig: Kollman, 1868. Bd. 1—2; *Gontscharow J. A. Oblomow: Roman / Aus dem Russische übers. von G. Keuchel; Mit einem Vortwort von E. Zabel.* Berlin: A. Deubner, 1885. Bd. 1—2 (переизд.: Souderhausen: Eupel, 1887).

⁴ Une journée de M. Oblomoff / Trad. du russe de Gontcharoff, par P. Artamoff et Ch. Deulin // *Revue de France.* 1872. T. 4. Déc. P. 558—586; 1873. T. 5. Mars. P. 595—614; T. 7. Juillet. P. 154—168; T. 8. Oct. P. 165—176 (отд. изд.: *Gontcharoff I. Oblomoff: Scènes de la vie russe / Trad. de P. Artamoff, revue, corrigée et augmentée d'une étude sur l'auteur par Ch. Deulin.* Paris: Didier, 1877; *Gontcharoff I. Oblomoff / Trad. avec l'autorisation de l'auteur par P. Artamoff et Ch. Deulin.* Paris: Perrin, 1886).

⁵ *Gontsjarov I. A. Oblomow: Russische roman / Vert. van J. P. C. Meijnadier.* Amsterdam: A. Rössing, 1887.

⁶ *Gontscharow I. A. Oblomow: Sedeskildring fråen Russland / Övers af E. Lundquist.* Stockholm: A. Bonnier, 1887; *Gontscharow I. A. Oblomow: Tidsmålning / Övers af E. Kock.* Upsala: Universalbibliotekets förlagsexpediton, 1887. D. 1—2.

⁷ *Гончаров I. О. Обломов: Роман у 4-х частях / З великоруського переложив свобідно М. Подолинський.* Львів: Діло, 1888.

⁸ *Gončarov I. A. Oblomov: Roman u četiri diela / Prev. Martin Lovrenčević etc.* Zagreb, 1891. Этот прижизненный перевод ранее в гончаровских библиографиях не упоминался.

рывка из романа («Сон Обломова» и «Плоды воспитания») были опубликованы на латышском языке, а в 1889 г. отрывок, названный «Утро ленивца», напечатан по-эстонски. Известный японский писатель Фтабатэй Симэй перевел отрывок из «Сна Обломова» в 1888 г., но перевод был опубликован значительно позже.¹ Всего в печати при жизни Гончарова появилось двенадцать переводов «Обломова», включая переводы отдельных глав, несмотря на то что писатель «...никогда не добивался <...> европейской известности» (из письма к П. Г. Ганзену от 24 мая 1878 г.), а от появлявшихся переводов своих произведений подчеркнул дистанцировался: «Все переводы и переделки его сочинений <...> появившиеся в последние годы в печати на французском и других языках, сделаны не только без его, Гончарова, участия и разрешения, но даже и без его ведома» (из письма к А. Гинцбургу от 12 января 1887 г.). О существовании некоторых переводов он мог и не знать, а те, о которых узнавал, становились для него поводом еще раз поговорить о своей национальной ограниченности или даже причиной сильнейших душевных потрясений. Гончаров, скорее всего, не был знаком с чешским, шведским, голландским, эстонским, латышским и сербохорватским переводами романа. Увидев в Швальбахе в продаже первый немецкий перевод «Обломова» (см. об этом в письме к С. А. Никитенко от 4 (16) июля 1868 г.), он не проявил к нему никакого интереса. А о французском «Обломове», впервые опубликованном, как уже говорилось, в 1872—1873 гг., узнал только четыре года спустя из письма одного из переводчиков.

Диапазон отношений Гончарова к переводам собственных произведений на иностранные языки колебался от показного безразличия: «...я сам всего менее занимаюсь участью своих сочинений, особенно в переводах» (из письма к Ганзену от 12 марта 1878 г.) — до откровенного неприятия: «...терпеть не могу видеть себя переведенным...» (из упомянутого выше письма к Никитенко). Это кажется парадоксальным. И его университетское образование, и круг знакомых, и путешествие на «Палладе», и частые поездки в Европу, и, наконец, собственный переводческий опыт (служба в должности переводчика в Де-

¹ См. ниже, с. 483, сноска 1.

партаменте внешней торговли Министерства финансов, а также переводы собственно литературные) — все это, казалось бы, должно было расположить писателя к открытости в интернациональных контактах. Тем не менее жизненные обстоятельства, собственные представления о языке и некоторые психологические факторы сформировали абсолютно изоляционистскую позицию: «Я никогда не только не поощрял, — признавался Гончаров Ганзену 12 марта 1878 г., — но, сколько от меня зависело, даже удерживал переводчиков от передачи моих сочинений на иностранные языки. Это происходило — частью, не скажу, от скромности (это была бы претензия), а, скорее, от — своего рода — застенчивости, от недоверия к себе, а больше, кажется, от того, что все действующие лица в моих сочинениях, нравы, местность, колорит слишком национальные, русские, — и от того, казалось мне всегда, они будут мало понятны в чужих странах, мало знакомых, как и Вы справедливо говорите, с русскою жизнью!».

«Я даже думаю, — сообщал он тому же корреспонденту 24 мая 1878 г., — что не только я и подобные мне, но и такие крупные писатели, как Гоголь, Островский, как исключительно и тесно-национальные живописцы быта и нравов русских, почти неизвестных за границу, не могут быть переводимы на чужие языки без явного ущерба достоинству их сочинений. Ибо что, вне этих картин и сцен быта, скажет иностранцам нового и яркого самое содержание их сочинений?».

А в письме к Н. С. Лескову от 3 февраля 1888 г. взгляд Гончарова на проблему перевода выражен уже безотносительно к русской литературе, неизвестности русского быта и т. п.: «Всякий писатель — и не мне чета — линяет в переводе на иностранный язык: и чем он народнее, национальнее, тем он будет беднее в переводе. От этого я и недолюбиваю переводы своих сочинений на другие языки».

Это высказывание свидетельствует о некоторой осведомленности писателя в языковедческих теориях. Гончаровская логика, как представляется, созвучна учению В. Гумбольдта, введшему в языковедение понятие «дух народа». Так, о том же предмете Гумбольдт писал: «...существует гораздо большее количество понятий, а также своеобразных грамматических особенностей, которые так

органично сплетены со своим языком, что не могут быть общим достоянием всех языков и без искажения не могут быть перенесены в другие языки».¹ Сочинения Гумбольдта были в России известны; в 1859 г. его программная работа «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» была переведена на русский язык П. Билярским.

Вообще в XIX в. довольно долго только поэтический перевод был предметом критического анализа. Приговор В. А. Жуковского: «Переводчик в *прозе* есть раб...»² — на время вывел прозаические переводы за рамки теоретических дискуссий и предопределил отношение к прозаическому переводу как к ремеслу.

Среди суждений о переводе других русских писателей и критиков высказывания Гончарова стоят несколько особняком. В. Г. Белинский, например, мнение которого Гончаров очень ценил, придерживался совершенно противоположной точки зрения, полагая, что в хорошем переводе гений понятен всем. Оценивая французский перевод пяти повестей Гоголя, он замечал: «...таково свойство оригинального и самобытного творчества, ознаменованного печатью силы и глубокости: повести Гоголя с честью выдержали перевод на язык народа, столь чуждого нашим коренным национальным обычаям и понятиям, и сохранили свой отпечаток таланта и оригинальности» («Перевод сочинений Гоголя на французский язык» (1845); *Белинский*. Т. VIII. С. 471). Белинский утверждал, что именно национальный колорит привлекает иноязычного читателя: «Для иностранцев интереснее других были бы в хороших переводах те создания Пушкина и Лермонтова, в которых содержание взято из русской жизни. Таким образом, „Евгений Онегин“ был бы для иностранцев интереснее „Моцарта и Сальери“, „Скупого рыцаря“ и „Каменного гостя“. И вот почему самый интересный для иностранцев русский поэт есть Гоголь... Гоголь — самый национальный из русских поэтов, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причине самой национальности его сочинений, и в лучшем переводе не может не ослабиться их

¹ Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 17.

² Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 189 («О басне и баснях Крылова» (1809)).

колорит» («Мысли и заметки о русской литературе» (1846); Там же. С. 43).

Для Гончарова именно эта невозможность передачи национального колорита и была решающим аргументом против переводной литературы. Он полагал, что язык «то же для человека, что родной воздух», что «язык, а с ним русскую жизнь всасывают с молоком матери», что «язык есть образ всего внутреннего человека: его ума, того, что называют сердцем {...} выразитель воспитания, всех сил умственных и нравственных» (из письма к Е. А. Нарышкиной от 18 февраля 1877 г.), а следовательно, адекватный перевод художественного произведения на другой язык чрезвычайно труден. Таким образом, для Гончарова очень важна личность переводчика. «Владея так хорошо русским языком, — писал он Ганзену 24 мая 1878 г., — с Вашим образованием, литературным вкусом и критикой, — Вы, конечно, не только верно и тонко передадите оригинал, но Вашим критическим анализом и объясните отечественной Вашей публике значение иностранного писателя. Много ли найдется переводчиков с такими драгоценными качествами?

От этого одного, то есть от недостатка таких переводчиков, уже нельзя желать видеть свои сочинения переведенными на иностранные языки».

В идеале переводить должен билингв. В письме к Ганзену от 7 июля 1878 г. содержатся редчайшие для писателя слова восхищения по адресу переводчика: «Если есть много дурных переводов с русского на другие языки, то зато есть один образцовый перевод драмы Толстого „Смерть Иоанна Грозного“ на немецкий язык Каролиною Павловою. Она русская немка, то есть родившаяся от немцев в России, и оба языка — ей родные».

Впрочем, приведенные суждения Гончарова объясняют его нелюбовь к переводам лишь отчасти. Существовали и личные причины такого отношения. Широко переводить русскую литературу начали в конце 1860-х—начале 1870-х гг. В это время появились и переводы всех романов Гончарова. А 1870-е гг. для писателя — время творческого кризиса. Гончаров все чаще и чаще говорит о своей ненужности, о том, что его романы устарели, новых замыслов нет. Он подписывается в письмах: «отставной литератор и чиновник»; он равнодушен к появлению новых изданий, тем более равнодушен к появлению переводов.

Нежелание быть переведенным объясняется опасением быть неправильно понятым. После резкого неприятия русской критикой романа «Обрыв» это выглядит вполне естественно. Если на родине не поняли замысла его романа и он вынужден был объясняться дополнительно, то как же поймут иностранцы? Излагая в письме к Ганзену от 12 марта 1878 г. собственное представление о своей «трилогии», Гончаров с сожалением прибавлял: «Но это всё могла бы обнаружить тонкая, проницательная критика, вооруженная выработанным вкусом, тактом и — главное — знанием той страны и жизни, где происходит действие. Как же требовать этого от иностранца, когда в настоящее время и у нас самих эстетическая критика отсутствует, за недосугом, отвлекаемая к другим, более важным вопросам и требованиям времени».

Таким образом, негативное отношение Гончарова к переводам своих произведений на иностранные языки, с одной стороны, объясняется его убежденностью в принципиальной невозможности адекватной передачи иноязычного текста, в том, что перевод а priori ущербен по отношению к оригиналу. Такое отношение к переводу было обусловлено представлениями Гончарова о языке, созвучными лингвофилософским идеям В. Гумбольдта. С другой стороны, отношение Гончарова к переводам своих произведений сформировалось в основном в конце 1860—начале 1870-х гг., во время неприятия критикой «Обрыва» и общего творческого кризиса. Ощущение себя как непонятого, неактуального писателя, естественно, определило и нежелание искать европейской известности.

* * *

Первый немецкий перевод «Обломова» Гончаров, как уже упоминалось, видел за границей в 1868 г. Скорее всего, он не прочел его. Во всяком случае 10 лет спустя, отвечая Ганзену, указавшему на «...ошибки, которыми изобилует немецкий перевод „Обломова“ (von Horsky)», Гончаров писал, что перевода этого «...не видал, и, кажется, лучше будет, если и не увижу совсем — так как в нем, по словам Вашим, много ошибок! Мне кто-то прежде говорил, что он переведен на немецкий язык дурно, а теперь я просто ужасаюсь за участь бедного „Обломова“ перед не-

мецкой публикой...» (из письма к Ганзену от 12 марта 1878 г.).

Перевод Хорски (или Горского) иногда действительно чересчур буквален, в том числе в передаче синтаксической структуры русских фраз (отчасти поэтому перевод должен скверно звучать по-немецки). Переводчик не всегда точен. Так, Гороховая улица превращается в «Gorochowgasse»¹ — «Гороховый переулок», «родительская суббота» — в «häusliche Festlichkeit»² — «домашний праздник», «медный таз» — в «Zinnteller»³ — «оловянную тарелку». У Гончарова маленького Обломова поят от простуды малиной; у Хорски — «Himbeersaft»⁴ — «малиновым соком». У Гончарова от угара лечат так: «...положит клюквы в уши и нюхает хрен»; у Хорски: «...положит хлопчатой бумаги в уши».⁵ У Гончарова: «...кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой»; у Хорски: «...кузнец Тарас чуть было не сгорел вместе со своей хижинкой, так что их обоих пришлось поливать водой».⁶ У Гончарова: «Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот»; у Хорски: «Смерть у них приключалась оттого, что прежде больного внесли в комнату головой, а не ногами вперед».⁷ Некоторых слов переводчик либо не понял, либо не в состоянии был передать по-немецки (вместо: «Антипка явится на знакомой пегашке» — в немецком варианте: «...появится на знакомой станции»;⁸ вместо: «Пошел свое! Всё, видишь, я мешаю» — «Пошел ко всем!...»⁹).

Впрочем, переводчик иногда довольно удачно разрешал сложные проблемы, находя, например, немецкие эквиваленты русским фразеологизмам: «Ученье не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!» — «Lehrmeister-

¹ *Gontscharow I. Oblomow: Russisches Lebensbild / Deutsch von B. Horsky. Bd. 1. S. 1.*

² Ibid. S. 260.

³ Ibid. S. 193.

⁴ Ibid. S. 268.

⁵ Ibid. S. 252—253.

⁶ Ibid. S. 198.

⁷ Ibid. S. 224.

⁸ Ibid. S. 261.

⁹ Ibid. S. 18.

Qualgeister»,¹ т. е. «Учитель-мучитель»; «Не замайте: вас не гонят» — «Lösch nicht, was euch nicht brennt»,² т. е. «Не тушите, если у вас не горит»; «Дождичек вымочит, солнышко высушит» — «Der Regen befruchtet, Frau Sonne reift»,³ т. е. «Дождь плоды зачинает, госпожа Солнце соком их наливает». Некоторые трудные для перевода пассажи (в описаниях и особенно в диалогах) переводчик просто опустил, но объем сокращений невелик. В тексте также устранено деление на четыре части, внутри томов — сплошная нумерация глав.⁴

Перевод 1868 г. был сделан по русскому изданию 1859 г., а не по исправленному изданию 1862 г. Трудно судить, был ли такой выбор осознанным, или же переводчик просто не знал о новом издании.

К 1885 г. перевод Хорски становится библиографической редкостью.⁵ Перевод Койхеля, охарактеризованный в предисловии Е. Цабеля как «приятный и правильный»,⁶ стилистически более совершенен. В основном перевод самостоятелен, однако в некоторых фрагментах («Сон Обломова») Койхель сбивается на стилистическую правку перевода Хорски. Поправляя некоторые существенные неточности предшественника, он непременно заглядывает в оригинал. Переводчик обращается с текстом еще более свободно, чем Хорски, вслед за которым игнорирует деление на части, объединяя главы (обычно по две-три — в одну). В первом томе у него тринадцать глав, во втором — десять и эпилог. Значительны сокращения текста романа: например, целиком снято окончание главы IX части второй, полностью изъята глава VIII части четвертой, для устранения «вялости» стиля урезано множество описаний, диалогов и т. д. В предисловии Цабель оправдывает сокращения тем, что Гончаров слишком уж детализирует описания, чем напоминает французских натуралистов, дает чересчур развернутые психологические комментарии: «Искусство вовремя остановиться так же

¹ Ibid. S. 262.

² Ibid. S. 199.

³ Ibid. S. 192.

⁴ Редакция благодарит за помощь в анализе первого немецкого перевода Г. Е. Потапову.

⁵ См.: *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman / Aus dem Russische überz. von G. Keuchel; Mit einem Vortwort von E. Zabel. Bd. 1. S. VI.*

⁶ Ibid.

Obломow.

Russisches Lebensbild

von

S. A. Gontscharow.

Deutsch von B. Horský.

Erster Band.

Leipzig,
Verlag von Ch. E. Kollmann.
1868.

«Обломов». Титульный лист первого немецкого издания
(перевод Б. Хорски). 1868 г.

мало составляет его сильную сторону, как и искусство композиции»,¹ — пишет критик. Вместе с тем, по мнению Цабеля, роман принадлежит к оригинальнейшим явлениям русской литературы последних десятилетий.² Особую симпатию автора предисловия вызывает Штольц. Гончаров, считает Цабель, «...представляет немца как пример деятельной силы и верности долгу и дает ему достигнуть определенной цели в жизни, в то время как русский, именем которого назван роман, погибает по причине полного отсутствия энергии».³ Гончаров знал мнение Цабеля об обломовщине и не соглашался с ним: «Я в газетах читал, что он написал в каком-то немецком журнале (Rundschau) отзыв об „Обломове“ и, между прочим, относит его к *лишним людям*: вот и не понял! Я был прав, говоря, что иностранцам неясен будет тип Обломова. Таких *лишних людей* полна вся русская толпа, скорее *нелишних* меньше. Но Вы сами хорошо понимаете, что значит у нас *обломовщина*» (из письма к Ганзену от 9 февраля 1885 г.).

Перевод Койхеля сделан по изданию 1884 г.⁴

Более серьезные переживания доставили автору французские переводчики. Французский перевод и переписка⁵ Гончарова с Ш. Деленом⁶ стали основной причиной того, что в июле 1878 г. писатель вновь обратился к «Необыкновенной истории», которую в 1876 г. считал законченной: «Я запечатал было все предыдущие 50 листов, думая

¹ Ibid. S. VII.

² См.: Ibid. S. V.

³ Ibid. S. VI.

⁴ Гончаров писал Ганзену 9 февраля 1885 г.: «...Цабель (...) выпросил у моего книгопродавца, г-на Глазунова, экземпляр нового издания моих сочинений».

⁵ Переписка долгое время считалась утраченной и опубликована лишь недавно. В настоящем издании письма цитируются по архивному источнику (ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 117), так как редакционное прочтение и перевод в некоторых случаях отличаются от предложенных публикаторами в сборнике: И. А. Гончаров в кругу современников: Неизданная переписка / Сост., подгот. текста и коммент. Е. К. Демиховской и О. А. Демиховской. Псков, 1997. С. 283—304.

⁶ Шарль Делен (Deulin; 1827—1877) — французский писатель, автор повестей и рассказов: «Contes d'un buveur de bière» (1863); «Char-donnette» (1872); «Contes du roi Cambrinus» (1874); «Histoires de petit ville» (1875); «Chez les voisins» (1876); «Les contes de ma mère l'Oye avant Perrault» (1878).

остановиться там, где кончил. Но в течение этих двух с половиною лет случилось многое, относящееся к этому делу...» («Необыкновенная история»). Таким образом, первый французский перевод «Обломова» (точнее, перевод части первой, потому что полностью роман вышел по-французски в следующем веке) имеет непосредственное отношение и к творческой истории этого текста.

В предисловии к изданию 1877 г. Делен сообщил, что переводить «Обломова» предложил ему Петр Артамов «восемнадцать лет назад», т. е. в 1859 г. Делен в это время впервые приехал в Париж и, вероятно, счел участие в переводе чрезвычайно популярного русского романа счастливой возможностью начать собственную литературную карьеру. Роль Делена, как явствует из предисловия, заключалась в стилистической правке французского текста, поскольку русского языка он не знал. Никакие другие переводы Делена неизвестны. Коллективная работа над переводом, когда подстрочник или предварительный перевод делался русским, а стилистическая шлифовка — носителем языка, французом, была обычным делом. Тургенев в 1845 г. переводил Гоголя вместе с Л. Виардо, а над переводами Пушкина работал совместно с Флобером и Мериме.¹ Переводческие тандемы существовали и позднее. Как писал современник, в 1880—1890-е гг. «образовался род лабораторий, в которых работали русские, не знавшие французского языка, и французы, не знавшие по-русски».² Конечно, в данном случае ситуация была несколько иной. Петр Артамов³ прекрасно знал француз-

¹ Подробнее об этом см.: *Алексеев М. П.* И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе // Труды Отдела новой русской литературы. М.; Л., 1948. С. 39—80.

² *Род Э.* Русский роман и французская литература // *РВ.* 1893. № 8. С. 209.

³ Петр Артамов (псевдоним; наст. имя и фам. — Владимир де ла Фит де Пельпор, граф; 1818—1870) — самая колоритная фигура среди переводчиков «Обломова». Его отец — французский офицер, плененный под Данцигом в 1813 г., остался в России, женился на немке и жил в имении Крюково Вяземского уезда Смоленской губернии. Де ла Фит принадлежал к древнему (известному с XIII в.) роду маркизов де ла Фит де Пельпор. Подробные сведения о графе де ла Фит де Пельпор, его публицистической и литературной деятельности суммированы в статье: *Черных В. А.* Вяземский мужичок Петр Артамов (граф де ла Фит де Пельпор) // Революционная ситуация в России в середине XIX века: Деятели и историки. М., 1986. Сб. 9. С. 115—126. Впрочем, о переводе им «Обломова» ни в этой статье, ни в других ис-

ский и был основным переводчиком, что и указано на титульном листе издания 1877 г. Впрочем, в предисловии Делен признается, что французский перевод «Обломова» — плод сотрудничества многих людей: «...в действительности этот перевод не принадлежит исключительно двум лицам, под ним подписавшимся, это коллективный труд самых известных членов русской колонии, находившихся в Париже зимой 1860 г. Все вечера мы — мой сотрудник и я — проводили у господина Н. Жеребцова,¹

точниках не сообщается. Среди прочего исследователь цитирует материалы дела «Об отставном французской армии унтер-офицере Владимире де Лафит де Пеллепоре», заведенного в январе 1852 г. в III Отделении Императорской канцелярии. «Поводом для этого, — пишет Черных, — послужило всеподданнейшее прошение, посланное <...> 16 января 1852 г. из Женевы. Называя себя „французом по духу, православным по вероисповеданию и в особенности славянином по чувствам“, де ла Фит де Пельпор призывал Николая I способствовать „уничтожению римской лжи“ и повсеместному распространению „истинного православия“, что должно было, по его мнению, привести к „разрешению великой задачи революции 48 года“ и спасти несчастную Францию» (Там же. С. 116). В ответ на запрос III Отделения русский посол в Париже Н. Д. Киселев, в частности, сообщал: «...Владимир Осипов де ла Фит де Пельпор <...> прекрасно говорит по-русски, по-немецки и по-французски. Во время своего пребывания во Франции он занимался переводом повестей Пушкина на французский язык в надежде поместить свои переводы в какое-нибудь из парижских обозрений (*Revue*). Не успев в этом, он думал основать специальный журнал с целью ознакомить Францию с русскою литературою, но этот план остался без исполнения» (Там же. С. 117).

В конце 1850 г. де Пельпор публиковал статьи в заграничных русских изданиях «Голоса из России» (Лондон, 1859) и «Русский заграничный сборник» (Париж, 1859. Ч. II, тетр. 4), в начале 1860-х гг. печатался в «Журнале Министерства народного просвещения» и «Православном обозрении». Во Франции в 1860-х гг. регулярно выходили его брошюры политического содержания. Артамову принадлежат следующие книги: *Histoire d'un bouton*. Paris, 1862 (3-me éd. Paris, 1863); *La ménagerie littéraire*. Paris, 1863; *Les instruments de musique du diable*. Paris, 1864; *Histoire d'un conseiller municipal*. Paris, 1865; *La nuit de la Saint-Sylvestre*. Paris, s. a.; а также обширная иллюстрированная энциклопедия России: *La Russie historique monumentale et pittoresque par Piotr Artamof avec la collaboration de M. J.-G.-D. Armengaud*. Paris, 1862—1865. Т. 1—2.

¹ Николай Арсеньевич Жеребцов (1807—1868) — писатель, по образованию инженер путей сообщения, «действительный статский советник, служивший в генеральном штабе, бывший потом <...> виленским гражданским губернатором, принимавший впоследствии <...> участие в учреждении пароходства на Волге и в других общепользных патриотических предприятиях» (СПч. 1858. № 207. 22 сент.); автор книги «*Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie*» (Paris, 1858.

действительного статского советника, человека необыкновенно умного, который опубликовал по-французски замечательную книгу об истории цивилизации в России. Туда приходило множество самых разных русских, и сделанное нами за день критиковалось с такой тщательностью, что иногда нам приходилось часами искать лучший способ передать ту или иную фразу. Большие почитатели Гончарова, его соотечественники хотели, чтобы перевод „Обломова” был, насколько это возможно, безупречен. Они настаивали прежде всего на том, чтобы был сохранен русский колорит, который, по общему мнению, был свойствен этому автору более, чем кому-либо из его собратьев; и я старался удовлетворить этим требованиям настолько, насколько позволял дух нашего языка».¹

Интересно, что качество французского перевода Гончарова вполне удовлетворило (случай редкий). В письме к Ганзену от 24 мая 1878 г. он отметил: «...справедливость требует сознаться, что французский перевод 1-й части сделан очень хорошо: немудрено, если над ним трудились, по словам переводчика, многие русские». В письме

Vol. 1—2), вызвавшей резкую критику Добролюбова (см.: *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. III. С. 255—335) и одобрителный отзыв «Северной пчелы» (см.: *СПч.* 1858. № 207. 22 сент.). Перу Жеребцова принадлежат также работы: «О кадастре», «О распространении знаний в России» (1848), «О двух современных экономических вопросах» (1849), «О современной политической и внутренней жизни России», «Хозяйственные заметки об Англии и Шотландии» (1862) и несколько брошюр на политические темы, написанных по-французски. По мнению Б. Ф. Егорова, Жеребцов мог послужить прототипом Паншина в «Дворянском гнезде»; см. об этом: *Egorov B.* Tourguéniev et Nicolai Jerebtsov (sur deux phrases extraites de «Nid de gentilhomme») // *Cahiers Ivan Tourguéniev*, Pauline Viardot, Maria Malibran. 1986. № 10. P. 179—183. В указанной статье также высказано предположение о личном знакомстве и встрече Жеребцова и Тургенева в 1858 г. во Флоренции. Роль Жеребцова в появлении французского перевода «Обломова» пока не вполне понятна, так же как и роль еще одного человека, которому было посвящено первое отдельное издание, — князя Александра Цетнера (Cetner), галицийского помещика, представителя старинного рода. С 1831 г. он начал службу в армии генерала Дверницкого. Цетнер скончался в Париже 20 ноября 1873 г. Известна его брошюра: «*Myśli o założeniu przez akcie żelaznej kolei w Galicji*» (Lwow, 1844). Что было причиной посвящения книги человеку, который скончался четыре года назад, какое отношение Цетнер имел к переводу «Обломова», принимал ли он в нем какое-либо участие либо просто был другом Делена, Артамова или Жеребцова — это пока выяснить не удалось.

¹ *Gontcharoff I.* Oblomoff: Scènes de la vie russe. P. XVII.

к самому Делену от 11 июля 1878 г. Гончаров признавался, что у него «нет ни одного замечания по поводу перевода как такового. Он замечателен, и если бы роман целиком был бы переведен с тем же талантом и изяществом, то он бы много выиграл и мог бы обеспечить автору некоторый успех у французской публики».¹ В «Необыкновенной истории» перевод назван верным и исправным.

Не все разделяли такую точку зрения. Известный французский критик Т. де Вызева² в октябре 1891 г. так характеризовал Делена: «Некий бельгиец, который заявил в предисловии, что не знает русского, и который еще меньше знает французский, перевел первые главы „Обломова“. Он даже не взял на себя труда указать, что роман не заканчивается там, где он его закончил; вообразите себе русского писателя, представляющего своим соотечественникам в качестве романа Бальзака три первые главы „Кузины Бетты“».³

Изданный и исправленный Деленом перевод Артамова не лишен противоречий. Сохраняя признаки национального колорита с помощью транслитерации: «kwas, mougik, barin, ispravnik, obrok, balalayka, gorelki» и т. п., переводчик в то же время не только лишает персонажей отчества (Илья Ильич всегда просто Elie), но и считает нужным в комментарии возвести русские имена к французским (Миша — уменьшительное от Michel, Даша — уменьшительное от Dorothee и т. п.) и даже дать этимологические объяснения по поводу фамилий героев. Обломов, по его мнению, однозначно восходит к слову «облом»,⁴ а фамилия Свинкин комментируется почему-то и вовсе однословно — «поросенок».⁵ Вообще комментарий к тексту иногда обнаруживает действительно хорошее знание рус-

¹ Французский текст переписки здесь и далее приводится в редакционном переводе.

² Теодор де Вызева (Wyzewa; 1862—1917) — французский критик и писатель польского происхождения, автор статей о музыке и живописи, переводчик с русского, немецкого, английского, польского языков. В частности, перевел поздние произведения Л. Н. Толстого («Воскресение» и др.). Печатался в таких изданиях, как «La Revue des Deux Mondes», «La Revue Bleue», «La Revue Wagnérienne», а также в польской периодике. Подробнее о нем см.: *Liverman Duval E. Téodor de Wyzewa: Critic without a country. Genève; Paris, 1961.*

³ *Wyzewa T. de. Ecrivains étrangers. Deuxième série. Paris, 1897. P. 218.*

⁴ *Gontcharoff I. Oblomoff: Scènes de la vie russe. P. 20.*

⁵ *Ibid. P. 39.*

ских реалий (цитата из русской песни в речи Захара), а иногда просто нелеп. Так, смысл текста:

«— Да чем же не нравится отец, например? — спросил Илья Ильич.

— А тем, что приехал в нашу губернию в одном сюртуке да в башмаках, в сентябре, а тут вдруг сыну наследство оставил, — что это значит?» (наст. изд., т. 4, с. 52) — комментатор растолковывает следующим образом: «В России люди ходят только в сапогах».¹ Кроме того, переводчик постоянно обнаруживает у Гончарова несуществующую игру слов и приписывает совершенно фантастические значения обыденной русской фразеологии. Так, выражение «на белом свете», по его мнению, означает противопоставление «*du monde noire, c'est à dire inconnu*»² — «черному, так сказать, неизвестному, свету (миру)».

Основной недостаток первого французского перевода — неполнота. Оборвав изложение, переводчик был вынужден придумать собственное окончание части первой. Чтобы текст казался более или менее завершенным, его нельзя было закончить приездом Штольца, поэтому Андрей, неоднократно упоминаемый, так и не появляется, а текст заканчивается так: «— Дай... квасу... — говорил он в промежутках зевоты.

Обломов одним махом опустошил ее (кружку. — *Ред.*) и, проснувшись совершенно, решил одеться и начать свой день в половине пятого вечера».³

В предисловии Делен сообщил, что первоначально предполагалось перевести роман полностью, но потом у издателей возникло опасение, «...как бы этот кусок не оказался слишком велик для аппетита наших читателей».⁴ В письме же к Гончарову от 22 июня 1877 г. Делен признался, что основной автор перевода, граф де ла Фит, увлекшись журналистикой, просто не довел работу до конца.⁵

Гончаров, разумеется, не помнил, давал ли он 17 лет назад разрешение на перевод своего романа. В первом письме к Делену от 11 (23) июля 1877 г. он писал: «Согла-

¹ Ibid. P. 98.

² Ibid. P. 197.

³ Ibid. P. 298.

⁴ Ibid. P. XIV.

⁵ ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 117, л. 1—1 об.

ситесь, милостивый государь, что семнадцать лет — срок достаточно большой для того, чтобы перестали существовать весьма относительные права на литературное произведение, и даже для того, чтобы стерлись сами воспоминания, которые могли иметь отношение к происхождению этих прав. Я не нахожу в моих бумагах никакого следа переписки, на которую Вы намекаете, но, напрягши память, я вспомнил, что действительно получил когда-то письмо за двумя подписями, господина де ла Фита и другого человека, чье имя я забыл, в котором просили моего разрешения на перевод „Обломова”. Я, должно быть, дал разрешение, раз Вы так говорите, но совершенно невозможно, чтобы я дал его — на перевод не всего произведения, а только одного тома или одной какой-то части по критическому выбору или желанию переводчика».¹

Писатель был раздосадован как произвольным сокращением текста, так и тем, что переведена именно часть первая. «Том, который Вы в Вашем предисловии представляете и хотите рекомендовать французской публике как *лучшую* часть моей книги, по моему мнению и по мнению русской критики, ее самая слабая часть, — сообщал он в том же письме. — Первая часть вовсе не создает верного понятия о главном герое, характер которого еще не выражен и развивается позже, а не в гротескных и комических сценах с его слугой».²

Гончаров был возмущен и тем, что издатель заявил свои эксклюзивные права на перевод: «Я сейчас почувствовал тут руку Тургенева, тем более что на этой книжке, на заглавном листе, мельчайшим шрифтом напечатано: „Tous droits réservés” («Все права сохраняются» (*фр.*)). Это значит, что другой переводчик не имеет права переводить и издавать „Обломова”, — по крайней мере, первой части» («Необыкновенная история»). Недовольство писателя вызвали и критические суждения в предисловии, заимствованные у ненавистного ему С. Курьера.³

Но основная претензия Гончарова заключалась в том, что роман не был переведен целиком: «...честь, которую я

¹ Там же, л. 3—3 об.

² Там же, л. 3 об.

³ Селест Курьер (Courrière) — французский критик, автор книги «Histoire de la littérature contemporaine en Russie» (Paris, 1875), которая вызвала неудовольствие Гончарова невыгодными сравнениями его с Тургеневым.

IVAN GONTCHAROFF

OBLOMOFF

SCÈNES DE LA VIE RUSSE

TRADUCTION DE PIOTRE ARTAMOFF

revue, corrigée et augmentée d'une étude sur l'auteur

PAR

CHARLES DEULIN



PARIS

LIBRAIRIE ACADEMIQUE

DIDIER ET C^{ie}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

35, QUAI DES AUGUSTINS, 35

1877

Tous droits réservés.

«Обломов». Титульный лист первого французского издания
(перевод П. Артамова и Ш. Делена). 1877 г.

воздаю Вашему перу, милостивый государь, не отменяет моих предыдущих замечаний по поводу ущерба, нанесенного моей книге переводом одной лишь ее части. Если какой-нибудь недоброжелательный или ревнивый соперник пожелал бы причинить мне большой урон, думаю, он мог бы позаимствовать у Вас идею, которую Вы осуществили, не желая причинить мне вреда».¹

В письме к И. И. Монахову от 10 июля 1877 г. Гончаров изложил историю с французским переводом значительно эмоциональнее и резче. В частности, язвительная, но вряд ли понятная Делену фраза о гипотетическом недоброжелательном сопернике трансформировалась следующим образом: «...тут издали слышен запах русской кошки! Она подкралась, нагадила по-кошачьи, тайком и спряталась. Скверный запах слышен, а кошки нет!».² В «Необыкновенной истории» сюжет с переводом Артамова и Делена излагается вновь, неожиданно обрастая новыми подробностями. Гончаров вдруг вспоминает, что Тургенев был причастен к этой истории с самого начала: «Когда вышел „Обломов“, ко мне адресовались со всех сторон здесь, а из-за границы присылали письмо двое каких-то с просьбой позволить перевести avec l'autorisation de l'auteur (с согласия автора (*фр.*)). Я отнес, в наивности своей, письмо к Тургеневу и просил написать, что пусть, мол, переводят и делают, что хотят! Он схватил жадно письмо. „Хорошо, хорошо, я напишу!“ — сказал он — и долго спустя, не показав мне ответа, сказал вскользь, что он сделал какому-то книгопродавцу запрос и употребил, говорит, следующую фразу: „Je ne doute pas de leur parfaite honorabilité“ («Я не сомневаюсь в их абсолютной порядочности» (*фр.*)) и т. д. А что далее, я и до сих пор не знаю. Вероятно, отказал моим именем — и тем дело и кончилось. Иначе бы незачем было и употреблять эту фразу. Но я к этим переводам всегда был равнодушен, и, когда у меня просили позволения, я говорил, что „лучше бы не переводить, а впрочем, делайте, как хотите: я процесса заводить не стану!“. Перевод меня на французский язык между тем, особенно заблаговременно, зарезал бы Тургенева и обличил бы его бледные подделки, а еще бо-

¹ ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 117, л. 4.

² Гончаров имеет в виду, разумеется, Тургенева. В тексте «Необыкновенной истории» Тургенев неоднократно сравнивается с кошкой.

лее помешал бы ему *передать то, что он не взял из „Обрыва“ сам, иностранным литераторам, между прочим, Флоберу, потом Ауэрбаху*».

Это «воспоминание» вызывает серьезные сомнения. Во-первых, нигде более об участии Тургенева в этом деле с 1859 г. не говорилось ни Гончаровым, ни его корреспондентами, во-вторых, даже если это так, то Тургенев не отказал, потому что Артамов и Делен начали работу над переводом, наконец, по словам Делена в письме к Гончарову от 4 августа 1877 г., переводчик располагал письмом, в котором автор разрешал ему и графу де ла Фиту перевести роман. Впрочем, Делен в первом письме действительно упоминает Тургенева: «Недавно мне посчастливилось быть представленным г-ну Тургеневу, но г-н Тургенев, меня прекрасно принявший и говоривший о Вас с величайшей симпатией, был, к сожалению, накануне отъезда в Санкт-Петербург...».¹ По свидетельству Гончарова в «Необыкновенной истории», Тургенев упоминался и во втором письме Делена: «...он уже признался, что *Тургенев тут что-то ему советовал или поправлял* (в безобразном нелепом и фальшивом «Предисловии»), тогда как в первом письме сказал, что Тургенев ничего не делал!». Нет возможности подтвердить это свидетельство документально — копия второго письма Делена от 4 августа 1877 г. сохранилась лишь частично, текст, в котором шла речь о Тургеневе, утрачен. Однако нет никаких оснований сомневаться в словах Гончарова — все остальное, что в «Необыкновенной истории» касается переписки с Деленом, подтверждается текстами писем. Таким образом, Тургенев, видимо, участвовал в издании французского перевода части первой «Обломова», но это выразилось лишь в каких-то советах и поправках к предисловию. Никакого отношения к появлению сокращенного варианта романа, а тем более к надписи «Tous droits réservés», он, очевидно, не имел. Поэтому безусловно несправедливы обвинения Гончаровым Тургенева в том, что тот «хотел воспрепятствовать переводу всего „Обломова“ потому, что французская публика, прочитавши его, конечно, нашла бы, что и „Обрыв“ писан одним и тем же умом, воображением и пером (...) следовательно, обнаружилось бы, что не я заимствовал „Обрыв“ у Флобера, а что этот роман сшит из ка-

¹ ИРЛИ, ф. 163, оп. 1, № 117, л. 1 об.

ких-то клочков на живую нитку и кем-то пересажен на французскую почву... и что тамошняя натуральная школа привита от другой, предшествовавшей ей школы в России... усердным русским пересадчиком!!!» («Необыкновенная история»)¹.

Французский перевод «Обломова» делался в 1860 г. и, естественно, был выполнен по изданию 1859 г. Никаких поправок, учитывающих новое русское издание романа, ни в 1872—1873, ни в 1877 г. не вносилось. Второе отдельное издание 1886 г. печаталось со старого набора 1877 г. В 1886 г. было снято предисловие уже умершего Делена.²

Говоря о прижизненных переводах романа, следует упомянуть и о том, что в 1875 г. Ганзен перевел часть первую и половину части второй романа на датский язык, но прервал работу, решив, что начинать следует с «Обыкновенной истории» (см. его письмо к Гончарову от 12 апреля 1878 г.). Ганзен планировал завершить перевод «Обломова» и даже заручился обещанием датского издателя, «если „Об(ы)кновенная» и(с)тория» встретит сочувствие, то будет приступлено к изданию перевода „Обломова»» (из письма Ганзена к Гончарову от 21 февраля 1878 г.). Но перевод не был окончен. Переводчик в письме к Гончарову от 12 апреля 1878 г. жаловался, что в Омске, где он служил телеграфистом, текст «Обломова» недоступен, и 29 июня того же года писал: «Конечно, мне более хотелось бы продолжать перевод возлюбленного „Обломова», но пока я ведь должен дожидаться нового издания; надеюсь, Вы не заставите еще долго ждать!».

Гончаров был настолько покорен любезностью и правильным русским языком сибирского датчанина, что безоговорочно отдал ему пальму первенства среди своих переводчиков, хотя присланной из Омска «хорошенькою книгою» (датским переводом «Обыкновенной истории») мог любоваться, по его словам, лишь «платонически». Первоначально Гончаров одобрил планы Ганзена: «Благо-

¹ Единственным обстоятельством, чрезвычайно несущественным, мелким, которое может очень косвенно, очень предположительно указывать хоть на какое-то участие Тургенева в судьбе французского перевода с самого начала, являются сведения о встрече Тургенева и Жеребцова в 1858 г. (впрочем, также лишь предположительной). См. об этом выше, с. 465.

² Подробнее о французском переводе «Обломова» см.: Гуськов С. Хрустальный башмачок Обломова // РЛ. 2002. № 3. С. 44—52.

дарю и за Ваше намерение переводить „Обломова” на датский язык. Я могу только радоваться, что перевод попал в такие хорошие руки, как Ваши. Владея так хорошо русским языком, с Вашим образованием, литературным вкусом и критикой, — Вы, конечно, не только верно и тонко передадите оригинал, но Вашим критическим анализом и объясните отечественной Вашей публике значение иностранного писателя. Много ли найдется переводчиков с такими драгоценными качествами?» (из письма к Ганзену от 24 мая 1878 г.). Но, узнав об отсрочке перевода «Обломова», Гончаров остался равнодушен: «...я не недоволен тем, что Вы отложили перевод „Обломова” на неопределенное время, и может быть — совсем. О причине я уже Вам писал неоднократно — и опять скажу, что *Обломов* — до того русский тип, что иностранцам он покажется бледен, скучен, непонятен и незанимателен. Вы мне сказали — и я вижу это, что *Вы* поняли его: а почему? Между прочим, потому, что Вы живете между русскими людьми и — кроме того, конечно, — тонко развиты критически. А от иностранной публики — по крайней мере — первого из этих условий требовать нельзя» (из письма к Ганзену от 17 июля 1878 г.); а в следующем письме от 30 августа того же года прямо призвал: «Откиньте „Обломова” в сторону и займитесь гр. Толстым!». Окончательное мнение по этому поводу Гончаров высказал почти год спустя в письме от 8 июня 1879 г.: «Что касается до переводов „Обломова” и „Обрыва”, то я все-таки стою на том, что переводить эти старые романы не стоит труда, что это могло бы быть сделано с успехом лет 20 и 10 тому назад, когда они появились и произвели благоприятное впечатление на русскую публику. Теперь же они состарились, вместе с автором, и уступают место другим, более свежим и сильным дарованиям! По крайней мере я охотно сторонюсь и даю другим дорогу, нуждаясь в одном — покое моральном и физическом!

Поэтому и Вы — не тратьте времени и труда на переводы их: так много есть хорошего, куда Вы употребите и то и другое — гораздо с бóльшим блеском и пользою!».

Судьба перевода Ганзена неизвестна, на датском языке роман «Обломов» был опубликован только в 1960 г. в переводе И. Малиновского.¹

¹ *Gontsjarov I. A. Oblomov / Övers af I. Malinovski. Kjøbenhavn: Borgen, 1960 (переизд.: Kjøbenhavn: Editio, [1971]).*

На английский язык роман впервые был переведен в 1915 г. с огромными сокращениями.¹ Первый полный перевод романа сделан в 1929 г. Н. А. Даддингтон.² Не-

¹ *Goncharov I. A. Oblomov* / Transl. by C. J. Hogarth. London: G. Allen & Unwin; New York: Macmillan & Co., 1915 (переизд.: Cambridge: Bentley, 1979).

² *Goncharov I. A. Oblomov* / Transl. by N. A. Duddington. London: G. Allen & Unwin; New York: Macmillan & Co., 1929 (переизд.: London; Toronto: J. M. Dent-sons; New York: E. P. Dutton, [1932] (Everyman's Library); London: J. M. Dent-sons; New York: E. P. Dutton & Co., 1953 (также: 1959; 1960; 1969); [London]: Heron Books; New York: Knopf, 1992; London: D. Campbell, 1992).

Наталья Александровна Даддингтон (Duddington; 1886—1972) — переводчица, старшая из двух дочерей русского писателя А. И. Эртеля — родилась в Твери, где Эртель отбывал административную ссылку. Имя ей дали в честь жены Герцена: «За несколько месяцев до появления дочери на свет Эртеля прочли переписку Герцена со своей невестой Н. А. Захарьиной и были так очарованы образом Натальи Александровны, что решили назвать будущее дитя, если родится дочка, ее именем» (*Ласунский О. Г.* Переписка с дочерью А. И. Эртеля // *Ласунский О. Г.* Литературные раскопки: Рассказы литературоведа. Воронеж, 1972. С. 178). До пятнадцатилетнего возраста Н. А. Эртель училась дома, потом в Алферовской гимназии в Москве и Стоюнинской в Петербурге. По окончании гимназии в 1905 г. подала документы на Высшие женские (Бестужевские) курсы. Но регулярных занятий в этом году по известным причинам не было. Летом 1906 г. Н. А. Эртель поехала на каникулы в Лондон и поступила в Лондонский университет. В 1911 г. получила степень магистра философии, затем вышла замуж и осталась в Англии навсегда. Это не было случайностью — в семье Эртелей существовал культ Англии: домашние говорили друг с другом по-английски, в библиотеке Эртеля английские книги составляли значительную часть.

Еще в 1904 г. Н. А. Эртель познакомилась через жену П. А. Кропоткина с известной переводчицей Констанцией Гарнетт. «А когда я поступила в Лондонский университет осенью 1906 года, — сообщала она Ласунскому, — Гарнетты меня обласкали, и с годами я совсем „вросла“ в их семью. Mrs Garnett очень плохо видела — одно время ей разрешалось читать, самое большее, один час в день — и я читала ей вслух по-русски, она переводила на английский, а я записывала ее перевод, и вот таким сложным способом она перевела всего Достоевского, Чехова, Гоголя и много другого (Тургенева и Толстого она перевела раньше, и сначала ей помогал Степняк). Ей нужно было много терпения на это дело, но для меня оно было великолепной школой переводческого искусства» (из письма Даддингтон к Ласунскому от 13—14 июня 1968) (Там же. С. 192).

Даддингтон перевела «Капитанскую дочку» (1928), «Дубровского», «Пиковую даму», «Арапа Петра Великого», «Станционного смотрителя», «Метель» (1933) А. С. Пушкина, «Господ Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1931), «Дым» И. С. Тургенева (1949),

которые англоязычные исследователи отмечают, что перевод Даддингтон грешит неточностями.¹ На наш взгляд, перевод Даддингтон точен до педантизма. Кажущиеся погрешности объясняются тем, что перевод — и в этом его отличительная особенность — выполнен по изданию 1862 г. Личность переводчицы позволяет предположить, что выбор мог быть сделан осознанно, однако документальными подтверждениями мы не располагаем. Автор другого, весьма распространенного в англоязычном мире перевода «Обломова» — Д. Магаршак.² Менее известны переводы 1961³ и 1963⁴ гг. Отрывки из романа (особенно часто «Сон Обломова») неоднократно печатались по-английски в составе различных сборников и антологий.⁵

«Русские сказки» А. Н. Афанасьева (1967), несколько рассказов В. Г. Короленко, 47 стихотворений А. А. Ахматовой (ритмической прозой), третий том «Курса русской истории» В. О. Ключевского, посвященный XVII в., а также философские работы Д. С. Мережковского, Вл. Соловьева, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, С. Л. Франка. Подробнее о ней см.: Там же. С. 172—200.

¹ См., например: *Lyngstad A., Lyngstad S. Ivan Goncharov. New York, 1971. P. 177; Goncharov's «Oblomov»: A Critical Companion / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern University Press, 1998. P. 189—190.*

² *Goncharov I. A. Oblomov / Transl. by D. Magarshack. Harmondsworth (England); Baltimor: Penguin Books, 1954 (также: 1967; 1978; 1986; 1997). Давид Магаршак (Magarshack; 1899—1977) — славист, переводчик; родился в Риге, учился в русской школе. Переехал в Англию в 1920 г. Получил английское гражданство в 1931 г. Закончил Университи Колледж в Лондоне по специальности «Английский язык и литература». Работал на Флит-стрит, опубликовал несколько романов. Известен переводами на английский произведений Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Пастернака. Автор биографических исследований о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Чехове. О некоторых лингвистических особенностях перевода Магаршака см.: *Алексеев Ю. Г. О передаче лексических единиц в переводе Д. Магаршака романа И. А. Гончарова «Обломов» на английский язык // Гончаров. Материалы 1998. С. 97—103.**

³ *Goncharov I. A. Oblomov / Edit. and transl. by W. Killy and J. Hahn. London: Fisher, 1961.*

⁴ *Goncharov I. A. Oblomov / Transl. by A. Dunnigan. New York: New American Library of World Literature, 1963 (переизд.: Toronto: New American Library of Canada, 1963).*

⁵ *Goncharov I. A. Oblomov (excerpt) // University Anthology 1899. Vol. 29; Goncharov I. A. Oblomov (excerpt) // [Wiener L.] Anthology of Russian Literature from the earliest period to the present time. New York; London, 1903. Vol. 2. P. 259—271; Goncharov I. A. Oblomov (excerpt) // The Warner Library. The World's Best Literature: In 30 vol. New York,*

В 1966 г. вышел албанский перевод.¹

На арабском языке «Обломов» опубликован в 1985 г. в Дамаске (перевод Ю. Салман).

По-болгарски роман впервые вышел в 1919 г.,² новый перевод сделан в 1954 г.³

Впервые на венгерский «Обломов» переведен в 1906 г.⁴ Э. Сабо,⁵ известны также переводы 1944⁶ и 1953 гг.⁷ От-

1917. Vol. 11; *Goncharov I. A. Oblomov* (excerpt) // [Bechhofer C. E.] A Russian Anthology in English. London; New York, 1917. P. 57—64; *Goncharov I. A. Oblomov and his Servant* // [Roberts C. E.] A Russian Anthology in English. London, 1917; *Goncharov I. A. Oblomov* (excerpt) // The Columbia University Course in Literature. New York, 1928. Vol. 10: Scandinavian and Slavonic Literature; *Goncharov I. A. Oblomov* (excerpt) // [Spector I.] The Golden Age of Russian Literature. Caldwell (Idaho), 1939 (также: 1943); *Goncharov I. A. Oblomov, Oblomov's Elders, Oblomovism* (excerpts) // [Cournos J.] A Treasure of Russian Life and Humor. New York, 1943; *Goncharov I. A. Oblomov's dream* // [Avghelo G. Rappopon.] Selections from Russian prose. London, s. a. P. 33—46.

¹ *Goncarov I. A. Oblomovi* / P. Zhejli. Tiranë: Naim Frashëri, 1966 (переизд.: Prishtinë: Rilindja, 1971).

² *Гончаров И. А. Обломов: Роман в 4 ч.* / Прев. В. Юрданов. София: Живот, 1919.

³ *Гончаров И. А. Обломов: Роман в 4 ч.* / Прев. от рус. Г. Константинов. София: Народна култура, 1954 (также: 1974).

⁴ *Goncsarov I. Oblomov* / Ford. E. Szabó. Budapest: Révai, 1906. К. 1.

⁵ Эндре Сабо (Шабо) (E. Szabó; 1849—1924) — переводчик на венгерский язык. Начав собственную литературную деятельность в 1870-е гг., приобрел известность благодаря переводам русской классической литературы: стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, прозы Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова (см. о нем: *Зельдхеи Ж. Эндре Сабо — венгерский популяризатор русской литературы* // Венгерско-русские литературные связи. М., 1964. С. 126—173). Относительно подробный разбор перевода Сабо сделан в статье Ж. Зельдхеи-Деак «Первый венгерский перевод „Обломова“ Гончарова» (*Studia Slavica Hungarica*. 1993. Vol. 38. № 1—2. P. 229—239). Интересно, что первый венгерский перевод сделан по изданию 1862 г. (так же как и перевод Н. А. Даддингтон). Отмечая неизбежные неточности перевода, исследовательница пишет, что «...переводчик относится к подлиннику с уважением», и в целом характеризует перевод как точный и полный.

⁶ *Goncsarov I. Oblomov* / Ford. E. Szerellemhegyi. Budapest: Gábor Áron kiadó, [1944] (*A világirodalom titánjai*). По мнению Ж. Зельдхеи-Деак, высказанному во второй из названных выше ее статей, этот перевод, сделанный с немецкого, значительно уступает первому венгерскому переводу 1906 г.

⁷ *Goncsarov I. Oblomov* / Ford. L. Németh. Budapest: Új Magyar Könyvkiadó, 1953 (*Orosz remikírók*) (переизд.: Budapest: Európa, 1960 (также: 1984); Budapest: Magyar Helikon, 1972; Bukarest: Kriterion, 1974;

рывки из романа в переводе Сабо и Немета печатались в 1947 и 1956 гг. соответственно.

Помимо уже упомянутого выше прижизненного перевода в Нидерландах появилось еще три перевода «Обломова». Их авторы — Е. Буковска,¹ В. Гуисман,² А. Лангевельд.³

На иврите впервые был опубликован отрывок,⁴ значительно позднее вышел полный текст романа.⁵ Каталог Библиотеки Конгресса — единственный источник, указывающий перевод «Обломова» на идиш;⁶ ни имя переводчика, ни степень полноты перевода нам неизвестны.

Популярен «Обломов» в Испании и в испаноязычных странах. Впервые на испанский роман перевела Т. Энко де Валеро,⁷ затем в течение трех десятилетий вышло еще четыре перевода.⁸ Чаше других переиздавался перевод Э. де Хуана, печатавшийся в многотомной серии «Maestros rusos...»;⁹ известны также еще два перевода «Обломо-

Bratislava: Madách, 1984). Ласло Немет (1901—1975) — венгерский писатель и переводчик.

¹ *Gontsjarow I. A. Oblomow* / Vert. E. Bukowska. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1938 (переизд.: Amsterdam; Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1954 (также: 1956); Brussel; Amsterdam: D. A. P. De Arbeiderspers, 1966; Amsterdam, 1982).

² *Gontsjarow I. A. Oblomow* / Vert. door W. Huisman. Amsterdam: Van Oorshot, 1958 (также: 1983; 1990 (7-е изд.); переизд.: Amsterdam: Muntinga, 1996).

³ *Gontsjarow I. A. Oblomow* / Vert., naw. en noten A. Langeveld. Amsterdam: Veen, 1994.

⁴ [*Goncharov I. A.*] Halomo shel Oblomov: Perek min ha-roman Oblomov / Tirg. Menahem Poznanski. Jaffa: Hotsa'at Sifriyah-hakla'it, [1918 или 1919].

⁵ *Goncharov I. A. Oblomov* / Izhak Oren. Tel-Aviv: M. Newman, 1959.

⁶ *Goncharov I. A. Oblomov*. New York, 1921.

⁷ *Goncharov I. Oblomov: Novela* / Trad. del ruso ha sido hecha por T. Enco de Valero. Madrid: [Calpe], 1924—1925. Vol. 1—2.

⁸ *Gontcharoff J. Oblomoff: La novela de la indolencia rusa* / Trad. de B. Salanova. Madrid: Jason, 1931 (переизд.: Madrid: Júcar, 1985); *Goncharov I. A. Oblomoff* / Trad. de T. Sirinov y C. Vidal. Barcelona: Tartessos, [1943]; *Goncharov I. A. Ivan Oblomov*. Madrid: Espasa, 1953. Vol. 1—2; *Goncharov I. Oblomov* / Trad. y prologo de R. Sangenis. Barcelona: Fama, [1954].

⁹ *Goncharov I. A. Oblomov* / Trad. de E. de Juan // *Maestros rusos: Novelas, Relatos, Teatro* / Selec. e introd. de S. J. Arbatoff. Barcelona: Planeta, 1961. Vol. 2. P. 165—655 (переизд.: La Habana, 1979; Barcelona: Planeta, 1985).

ва».¹ В сборнике «Grandes escritores rusos...» неоднократно переиздавался «Сон Обломова».²

В Италии наиболее известен перевод «Обломова» Э. Ло Гатто,³ многократно переизданный.⁴ В его же переводе печатались отрывки из романа.⁵ Кроме этого, существуют еще семь переводов романа на итальянский язык.⁶

¹ *Gontxarov I. A. Oblómov* / Trad. de J. H. Güell. Barcelona: Proa, [1986]; *Goncharov I. A. Oblómov: Novela en cuatro partes* / Trad. de L. Küper de Velasco. Barcelona: Alba, [1999].

² *Goncharov I. A. El sueño de Oblomov* // *Grandes escritores rusos: Pushkin, Gogol, Lermontov, Goncharov, Turgueniev, Korolenko, Chejov, Bunin, Andreiev, Kuprin, Gorky* / Estudio preliminar por Pablo Schostakovsky; Trad. de Nina Maganov. Buenos Aires: W. M. Jackson, 1948. P. 167—190 (также: 1953; переизд.: Barcelona: Exitó, [1951] (также: [1960])).

³ Этторе Ло Гатто (Lo Gatto; 1890—1983) — итальянский славист, переводчик; известен как своими переводами с русского произведений Пушкина, А. Н. Островского, Салтыкова-Шедрина, Достоевского, Л. Н. Толстого, Чехова, Куприна, Мамина-Сибиряка, Ф. К. Соллогуба, Булгакова и др., так и несколькими монографиями по истории русской литературы и русского театра. Достаточно известны и другие переводчики «Обломова» на итальянский: Л. С. Малавази (Malavasi) из Милана, перу которой принадлежат также переводы Гоголя, Тургенева, Л. Н. Толстого, Чехова; Г. Де Доминичи Джорио (De Dominicis Jorio), автор переводов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, А. Н. Островского, Достоевского, Л. Н. Толстого, Чехова, М. Горького, Шолохова; Э. Гуэрчетти (Guercetti) — переводчица Гоголя, Чехова, Достоевского, Булгакова, а также современных русских литераторов.

⁴ *Goncarov I. Oblomov* / Trad. di E. Lo Gatto. Torino: Slavia, 1928. Vol. 1—2 (переизд.: Torino: Einaudi, 1938 (также: 1941; 1946; 1949; 1955; 1959; 1965; 1979; 1983; 1992; [2000]); Milano: Mondadori, 1964 (также: 1977); Genève: Editio-Service, [1972]).

⁵ *Gonciarov I. Due brani di «Oblomov»* / Trad. di E. Lo Gatto // *Narratori russi: Antologia* / A cura di T. Landolfi. Milano: Bompiani, 1948; *Conciarov I. Il sogno di Oblomov* / Trad. di E. Lo Gatto // *Le più belle pagine della letteratura russa: Antologia* / A cura di E. Lo Gatto. Milano: Nuova Académia, 1957.

⁶ *Gonciarov I. Oblomov* / Unica trad. di O. Malavasi Arpshofen. Bologna: Capelli, 1928; *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. notevolmente ridotta a cura di G. Leblanc. Torino: UTET, 1933 (Grandi scrittori stranieri) (также: 1936; 1942; 1945); *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. di S. Bogdanoff-Vitagliano. Torino: UTET, 1964; *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. di G. de Dominicis Jorio. Milano: Mursia, 1965 (переизд.: 1970 (в составе собр. соч., т. 1); Milano: Garzanti, 1974 (также: [1984])); *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. di L. S. Malavasi. Milano: Rizzoli, 1966 (переизд.: 1985 (с предисл. В. Страды); Milano: Fabbri, 2000); *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. di A. Micchettoni; Introduzione di F. Malcovati. Milano: Garzanti, [1988] (также: 2000); *Gonciarov I. Oblomov* / Trad. di E. Guercetti. [Milano]: Frassinelli, [1996].

На китайский «Обломов» переведен в 1943 г. Ци Шуфу (перевод переиздавался в 1949, 1951, 1956 и 1979 гг.); на монгольском роман впервые вышел в 1963 г. (переводчик — О. Очибрат).

«Обломов» пользуется огромной популярностью в Германии.¹ В 1902 г. появился перевод К. Браунер, заявленный как первое полное издание романа и впоследствии неоднократно переиздававшийся;² не менее часто издавались переводы Р. фон Вальтера³ и Й. Хана.⁴ Существует и перевод, издававшийся дважды,⁵ и перевод, вышедший единственным изданием;⁶ известны также несколько изданий, авторство переводов в которых не указано.⁷ Неоднократно переводили на немецкий отрывки из романа.⁸

¹ См. об этом выше, с. 415—423.

² *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman in 4 Teilen. Erste ungekürzte deutsche Ausgabe* / Übers. von C. Brauner. Wien: Wiener Verlag, 1902 (переизд.: Berlin: Cassierer, 1910 (также: 1919; 1923 (в составе собр. соч., т. 2)); Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg, 1961; Berlin; Schöneberg: Weiss, 1962; Zürich: Manesse-Verlag, 1980 (с послесл. Ф. Эрнста) (также: 1993)).

³ *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman / Deutsch von R. von Walter; Mit einem Nachwort von A. Paquet*. Leipzig: P. List, 1925 (также: 1951; 1954 (с предисл. В. Виктора); 1961 (с послесл. В. Дювеля); переизд.: Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1932; Berlin; Darmstadt: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1956; Düsseldorf: Rauch, 1956 (с предисл. А. Лютепа); Gütersloh: Bertelsmann; Stuttgart: Europäische Bildungsgemeinschaft, 1972; Wien: Buchgemeinschaft Donauland, 1974; Leipzig; Weimar: Kiepenheuer, 1979; Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1981 (также: 1984; 1986; 1987; 1990; 2003)).

⁴ *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman / Aus dem Russische übers. und mit einem Nachwort versehen von J. Hahn. Vollständige Ausgabe*. München: Winkler, 1960 (также: 1980; 1988; переизд.: Frankfurt am Main; Hamburg: Fischer-Bücherei, 1961 (Exempla classica) (с послесл. А. Ноймана); München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1980 (также: 1981; 1983; 1986; 1989; 1991); München: Artemis & Winkler, 1994; Düsseldorf; Zürich: Artemis & Winkler, 1999).

⁵ *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman in 4 Teilen / Aus dem Russische übers. von H. W. Röhl*. Berlin: Propiläen-Verlag, 1923 (переизд.: Köln: Könnemann, 2000).

⁶ *Gontscharow I. A. Oblomow: Roman / Aus dem Russische übers. von W. Jollos*. Zürich: Artemis-Verlag, [1945].

⁷ *Gontscharow I. A. Oblomov*. Köln: Lingen, 1980; *Gontscharow I. A. Oblomow*. München: Dünndruck-Ausgabe, 1980; *Gontscharow I. A. Oblomow*. Salzburg: Caesar-Verlag, 1982.

⁸ *Gontscharow I. A. Der Traum Oblomows: Auszug aus dem Roman «Oblomow» / Verkürzt und kritisch durchgesehen; Mit Anmerkungen von H. Walden*. Engels: Deutscher Staatsverlag, 1935 (также: 1936) («Сон Об-

«Обломов» переведен в Норвегии,¹ Польше,² Португалии,³ Румынии,⁴ Турции.⁵

Велик интерес к роману в Финляндии, где он издавался в отрывках и полностью;⁶ первый перевод романа на

ломова»); *Gontscharow I. A. Der Diener weckt den Herrn // Der Glockenturm: Russische Verse und Prosa übertr. von S. Radecki. Zürich, 1940. S. 195—198* (перевод главы XI части первой); *Gontscharow I. A. Ein ländliches Idyll (Aus «Oblomow») // Die Weisheit Russlands: Meisterwerke der russischen Literatur. Die Bedeutung des russischen Geistes in der Kulturkrise der Gegenwart, von M. Hirschberg. Stockholm; Zürich; New York; London, 1947. S. 285—292* (отрывок из «Сна Обломова»); *Gontscharow I. A. Oblomows Traum / Deutsch von E. Jökel // Klassische Erzählungen Russlands: von Puschkin bis Gorki. Leipzig, 1953. S. 97—138* («Сон Обломова»); *Gontscharow I. A. Oblomows Traum / Deutsch von R. von Walter // Russische Meistererzähler. Berlin, 1958. S. 96—164* («Сон Обломова»); *Gontscharow I. A. Oblomows Traum / Übers. und hrsg. von H. Rothe. Stuttgart: Philipp Reclam, 1987* («Сон Обломова»).

¹ *Gontjarov I. A. Oblomov / M. Bratten. Oslo: Gylendal, 1973.*

² *Gonczarow I. A. Oblomow / Przekł. F. Rawita-Gawronski. Warszawa, 1922; Gonczarow I. A. Oblomow / Przekł. N. Drucka. Warszawa: PIW, 1951* (также: 1959; 1978; переизд.: Warszawa: Wspolpraca, 1988; Wrocław; Krakow etc.: Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1990). О восприятии творчества Гончарова в Польше см.: *Szysko T. Iwan Gonczarow // Pisarze i krytycy: Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Wrocław, 1975. S. 197—210.*

³ *Goncharow I. A. Oblomov, o Magnifico Preguiçoso / Trad. de D. Gonçalves. Porto: Civilização, 1970* (переизд.: Lisboa: Círculo de Leitores, 1973).

⁴ *Gonciarov I. A. Oblomov / Trad. de A. Frunza // Viata românească. 1923. N 10—11; 1924. N 1—10; 1925. N 1—12; 1926. N 1—9; Gonciarov I. A. Oblomov / Dupa trad. lui A. Frunza si Val. Cordun. Bucureşti: Forum, [1949]; Gonciarov I. A. Oblomov / Trad. de S. Velisar Teodoreanu si T. Berindei. Bucureşti: Cartea rusa, 1955* (также: 1958; 1967 (в составе собр. соч., т. 4); переизд.: Bucureşti: Editura pentru literatura universală, 1962 (также: 1964; 1973)).

⁵ *Goncarov I. A. Oblomov / S. Eyübugly ile E. Günei. Ankara: Millî Egitim basimevi, 1945* (также: 1948; переизд.: Istanbul: May Matbaasi, 1968; Istanbul: Bilge Pazarlama, 1982; Istanbul: Sosyal Yayinlar, 1982; Istanbul: Dogus Matbaasi, 1983).

⁶ *Gontsarov I. A. Oblomowin unelma: Kuvaus wenäläisistä oloista / Suomentanut A. F. H. Jyväskylässä, 1894* («Сон Обломова»); *Gontsarov I. A. Herra Oblomov: Romaani maaorjuuden ajoilta / Venäjänkielestä suomentanut I. Calamnius-Kianto. Porvoosa: Söderström, 1908; Gontsarov I. A. Oblomov / Suomentanut J. Konkka. Helsinki: Kirjayhtymä, 1961* (также: 1967; 1991; переизд.: Helsinki: Tammi, 1999); *Gontsarow I. A. Oblomov / Suomentanut J. A. Hollo. Helsinki: Ex libris Concert Hall Society, 1969* (переизд.: S. l., 1969; Helsinki: Otava, 1970 (также: 1975)).

финский язык сделан И. Кианто.¹ По-фински отрывок из романа был опубликован в Петрозаводске.²

Во Франции еще в XIX в. признавали, что Обломов — один из самых широко известных и репрезентативных типов русской литературы.³ Тем не менее перевод Артамова и Делена долгие годы оставался единственным, несмотря на то что уже в 1886 г. это издание было практически недоступно.⁴ В 1895 г. был опубликован «Сон Обломова»,⁵ и только в 1926 г. вышел новый перевод⁶ Е. А. Извольской.⁷ Текст романа был переведен с сокращениями. Лишь в 1946 г. в Брюсселе вышел первый полный перевод романа на французский язык,⁸ во Франции это произошло позже,⁹ в XX в. французы перевели «Обломова» еще дважды.¹⁰ Первый перевод «Обломо-

¹ Илмари Кианто (Kianto; 1874—1970) — финский писатель, автор романа «*Punainen viiva*» («Красная черта») (1909) и др. Переводил также Л. Н. Толстого. Подробнее о нем см.: *Nevala M.-L. Ilmari Kianto: Anarkisti ja ihmisyiden puolustaja*. Helsinki, 1986.

² *Gontsarov I. A. Herra Oblomov* // *Rintama*. Petroskoi, 1936. N 5. S. 39—47.

³ См.: *Vogüe M.-E. de. Les livres Russes en France* // *Revue des Deux Mondes*. 1886. T. 78. P. 835.

⁴ См.: *Ibid.*

⁵ *Gontcharov I. A. Le songe d'Oblomov* // *Chrestomathie russe, morceaux choisis et annotés par L. Leger*. Paris: A. Colin, 1895. P. 229—240.

⁶ *Gontcharoff I. Oblomoff* / Trad. du russe par H. Iswolsky. Paris: NRF, 1926 (переизд.: Paris: Gallimard, 1982).

⁷ Елена Александровна Извольская (1896—1975) — переводчица и писательница. После Октябрьской революции жила во Франции и США. Кроме «Обломова» перевела на французский произведения Н. Бердяева, А. Блока, Вяч. Иванова, Л. Сейфуллиной; автор книг «*Femmes soviétiques*» (1937), «*Soul of Russia*» (1944) и др. Большой популярностью пользовалась ее книга «*La Vie de Bakounine*», выдержавшая не менее девяти изданий.

⁸ *Gontcharov J. A. Oblomov* / Trad. intégrale du russe par J. Leclère; Préface de H. Kharitonoff. Bruxelles: La Boétie, 1946 (переизд.: S. l.: Cercle du bibliophile, [1969] (с предисл. Ж. Сиро); Genève: Editio-Service, 1969).

⁹ *Gontcharov I. A. Oblomov* / Trad. de A. Adamov. Paris: Le Club français du livre, 1959 (переизд.: *Gontcharov I. A. Oblomov* / Trad. de A. Adamov; *Melnikov P. I. Dans les forêts* / Trad. de S. Luneau. Paris; Lausanne: Rencontre, 1967).

¹⁰ *Gontcharov I. A. Oblomov* / Trad. de R. Huntsbucler. M.: Прогресс; Paris: Agence littéraire et artistique parisienne pour les échanges culturelles, 1972; *Gontcharov I. A. Oblomov* / Trad. du russe par L. Jurgenson. Paris: L'Age d'homme, 1986 (переизд.: Lausanne: L'Age d'homme, 1986 (также: 1988; [1994]); Genève: L'Age d'homme, 1986; Paris: Librairie générale française, 1999).

ва» на французский в XXI в. вновь оказался сокращенным.¹

В Чехии и Словакии всегда отмечался интерес к произведениям Гончарова.² В XX в. там появилось несколько новых переводов «Обломова».³ Отдельно был напечатан в переводе на чешский «Сон Обломова».⁴

Из переводов на сербохорватский язык⁵ наиболее известный принадлежит М. Глишичу.⁶ «Обломов» переведен на словенский язык.⁷

В XX в. появился только один шведский перевод романа.⁸

¹ *Gontcharov I. Oblomov: Extraits / Présent., trad. et notes de J. Dublanchet; Bilingue, texte accentué. S. l.: Librairie du Globe, 2001.*

² См. об этом: наст. изд., т. 1, с. 750; т. 3, с. 539.

³ *Goncarov I. A. Oblomov / Prel. V. Mrštík. Praha: J. Otto, 1902—1903 (Ruská knihovna, 36) (также: 1922; переизд.: Praha: Vyšehrad, 1950 (также: 1951)); Goncarov I. A. Oblomov / Prel. St. Minarik. Praha: St. Minarik, 1926 (Minarikova knihovna, 13—14); Goncarov I. A. Oblomov / Prel. J. Vavro. Turiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1945 (Prekladová kniznica Matice slovenskej); Goncarov I. A. Oblomov / Prel. P. Voskovec. Praha: SNKLHU, 1956 (Knihovna klasiku: Spisy I. A. Goncarova. Sv. II) (также: 1957; 1963; переизд.: Praha: Melantrich, 1973); Goncarov I. A. Oblomov / Prel. Z. Jesenská. Bratislava: SVKL, 1957 (Edícia svetových klasikov, 82); Goncarov I. A. Oblomov / Prel. J. Studený. Praha: Dilia, 1959; Goncarov I. A. Oblomov / Prel. M. Smetana. Praha: Dilia, 1975; Goncarov I. A. Oblomov / Prel. H. Kostolanská. Bratislava: Tatran, 1979.*

⁴ *Goncarov I. A. Oblomovův sen / Prel. J. Zavada // Jaro národů ve slovanských literaturách / Usporalad a úvody opatril K. Krejčí. S. l., 1948. S. 71—75.*

⁵ *Гончаров И. А. Обломов: Роман у 4 дела / Прев. М. Глишић. Београд, 1898 (переизд.: Нови Сад: Матица српска, 1949; Београд: Култура, 1952 (также: 1960); Нолит, 1967; Бранко Джоновић, 1974); Gončarov I. A. Oblomov. Zabreb: Minerva, 1934; Гончаров И. А. Обломов. Загреб: Напријед, 1960; Гончаров И. А. Обломов / Прев. Д. Кришковић. Београд, 1987.*

⁶ Милован Глишич (Глишић; 1847—1908) — сербский писатель и переводчик. Кроме «Обломова» перевел «Тараса Бульбу» и «Мертвые души» Гоголя, «Войну и мир» и «Крейцерову сонату» Л. Н. Толстого. См. о нем: *Skerlic I. Pisci i knjige. H. Beograd, 1905; Бадалич Й. М. Русские писатели в Югославии / Пер. с сербохорватск. М., 1966.*

⁷ *Gončarov I. A. Oblomov / Prev. J. Vidmar. Ljubljana, 1935 (также: 1965, 1986).*

⁸ *Gontjarov I. A. Oblomov / Övers. av H. Dahl. Stockholm: A. Bonnier, 1923 (переизд.: Helsingfors, 1923 (также: 1944, 1958); Stockholm: Natur och kultur, 1944; Halsingborg: Bokfrämjandet, 1969; S. l., 1978; Stockholm: Wahlström & Wibstrand; М.: Прорпеец, 1980; Stockholm: Wahlström & Wibstrand, 1983).*

В Японии чаще издавались отрывки, но существуют и полные переводы.¹

Роман «Обломов» печатался также в переводах на азербайджанский (1954, 1969, 1980), армянский (1941, 1981), белорусский (1939), грузинский (1951), казахский (1954), киргизский (1960), латышский (1971, 1980), литовский (1948, 1969), молдавский (1956), татарский (1960), украинский (1936, 1938, 1950, 1982), чувашский (1956), эстонский (1934, 1953, 1979) языки.

Отрывки из романа переведены на армянский (1931), башкирский (1938), коми (1941, 1944, 1960), марийский (1933, 1938, 1940), таджикский (1942), украинский (1930, 1935), черкесский (1935), чувашский (1927, 1928, 1959), эстонский (1957), якутский (1954) языки.

Судя по количеству переводов и изданий, роман «Обломов» наиболее популярен в Италии, Чехии и Словакии (вместе) (по 8 переводов). По числу изданий лидирует Германия (46 по самым скромным подсчетам), где роман был переведен 7 раз; в Италии роман печатался не менее 28 раз; в Чехии и Словакии — 13. На испанский роман переводился 7 раз, но выходил лишь в 8 изданиях; по-французски «Обломов» существует в 7 вариантах (включая перевод Артамова) и 16 изданиях; одинаковое число раз (по 5) переводили роман на японский и английский языки, но по числу изданий японцы отстают: 10 против 18. 24 раза роман выходил на языках народов СССР.

¹ *Гончаров И. А.* Детство Обломова / Пер. Танбисэй [Я. Синсиро] // Сигарами дзоси. Токио, 1894. № 55. С. 1—6 (отрывок из «Сна Обломова») (переизд.: Катэй засси. Токио, 1895. № 61. С. 2—7; Саганоя сюдзин. Фуми но кура. Токио: Сюньедо, 1986. С. 113—120); *Гончаров И. А.* Детство / Пер. Фтабатэй Симэй [Х. Тацуносукэ] // Бунсё сэкай. Токио, 1913. № 8. С. 10—21 (отрывок из «Сна Обломова», перевод 1888 г.) (переизд.: Токио: Тикума сёбо, 1985 (в составе собр. соч. Фтабатэй Симэй, т. 2)); *Гончаров И. А.* Обломов-дитя / Пер. Кикүти Дзинко // Росиа нидзюитининсю. Токио: Дзэмбунся, 1922 (отрывок из «Сна Обломова»); *Гончаров И. А.* Обломов / Пер. Яманоти Хосукэ. Токио: Синтёся, 1917. Т. 1—2 (переизд.: Токио: Сюньедо, 1932. Т. 1—4); *Гончаров И. А.* Обломов / Пер. Сома Тайдзо. Токио: Сюньедо, 1925; *Гончаров И. А.* Обломов: Ч. I—IV / Пер. Ёнэкава Масао. Токио: Иванами сётан, 1947—1949 (также: 1952; переизд.: Токио, 1976); *Гончаров И. А.* Обломов: Ч. I—IV / Пер. Иноуэ Мицуру. Токио: Шудося, 1959 (переизд.: Токио: Хэйбонся, 1965; Токио: Ниппон букку курабу, 1971); *Гончаров И. А.* Обломов / Пер. Кимура Сёити, Хайя Кэйдзо. Токио: Коданся, 1983. Сведения о переводах «Обломова» на японский язык предоставлены профессором К. Савадой.

В Италии наиболее распространен перевод Э. Ло Гатто 1928 г., выдержавший 15 изданий. В Германии нет ярко выраженного издательского и читательского предпочтения одного из переводов: хотя перевод Р. фон Вальтера (1925) выходил наиболее часто (16 изданий), совсем немного отстают от него переводы Й. Хана (1960) (11 изданий) и К. Браунер (1902) (8 изданий). Во Франции наибольшее число раз издавался предпоследний по времени (1986) перевод Л. Юргенсон. В англоязычном мире наиболее популярны переводы Н. А. Даддингтон (1829) (8 изданий) и Д. Магаршака (1954) (5 изданий).

Следует отметить современный интерес к роману в Италии: только в 2000 г. роман вышел тремя изданиями в разных переводах; роман продолжает оставаться популярным в Германии, Франции, Великобритании и США, Голландии, Испании, Польше, Финляндии. Во всех этих странах он издавался в 1990-е гг. В то же время в Чехии и Словакии интерес к роману явно снизился, последнее известное нам издание относится к 1979 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 5.* *В Гороховой улице...* — Речь идет об одной из центральных улиц Петербурга (первоначальное название — 2-я Адмиралтейская перспектива; Гороховой стала называться в 1756 г. по имени купца Горохова, поставившего здесь первый каменный дом). Берет начало у Адмиралтейства и пересекает четыре административные части города (о частях см. также ниже, с. 568, примеч. к с. 297): 1-ю, 2-ю, 3-ю Адмиралтейские и Московскую. При этом 1-я и 2-я Адмиралтейские части, по свидетельству «Путеводителя» 1843 г., были «предназначены для жительства высшего класса общества, сановников, богатейших купеческих фамилий и иностранцев». «Присутственные места, канцелярии гражданского и военного управления, обширные магазины, лавки и лучшие кондитерские сосредоточены в двух Адмиралтейских частях, оттого и квартиры здесь гораздо дороже, чем в других частях». 3-я Адмиралтейская часть, включающая Никольский и Сенной

* Здесь и далее указываются страницы т. 4 наст. изд.

рынки, «отличается большею населенностью и может назваться главным пунктом промышленной деятельности Петербурга {...}. Жители ее принадлежат к среднему и низшему классу общества...». Кварталы же Гороховой ул. в Московской части (от Фонтанки до Звенигородской ул.) «представляют будто отдельный мир гражданских чиновников, отставных военных, искателей мест, ходатаев по делам и мелочных спекулянтов. Кварталы здесь дешевле и просторнее, хозяйки менее бранчивы и добрее, чем в центре города, оттого-то бессемейные люди преимущественно стараются приискивать себе здесь помещения на хлебах» (Пушкарев. С. 73—75).

Гороховая ул. упоминается у А. С. Пушкина («Барышня-крестьянка»), М. Ю. Лермонтова («Княгиня Лиговская»), Н. В. Гоголя («Невский проспект» и др.), Ф. М. Достоевского («Бедные люди»); выразительное описание одного из домов на Гороховой оставил А. И. Герцен (письмо к Ю. Ф. Курута от 11 июня 1840 г. — *Герцен*. Т. XXII. С. 81). В 1840-х гг. И. С. Тургенев «задумал серию очерков о жизни „петербургских углов“, о сумрачном городе, о пестром люде, населяющем его центральные улицы и отдаленные кварталы». Среди записанных им «сюжетов» под третьим номером значилось: «Один из больших домов на Гороховой и т. д.» (Тургенев. Соч. Т. I. С. 415). На Гороховой же «поселил» Н. Г. Чернышевский героиню романа «Что делать?» Веру Павловну («в многоэтажном доме {...} между Садовой и Семеновским мостом»), сделав это, как предположил Ю. М. Лощиц, в полемических по отношению к гончаровскому роману целях: «Этой героине романа-утопии Чернышевского тоже будут сниться сны-мечты. Но обращенные не в прошлое, не к идиллической обстановке помещичьего быта, а в совершенно противоположную сторону...» (Лощиц. С. 190). На Гороховой проживали и Зуровы, герои ранней повести Гончарова «Лихая болезнь» (1838) (см.: наст. изд., т. 1, с. 37, 640). О месте жительства Обломова Н. И. Соловьев писал: «Странно только, что автор поместил своего героя в Петербурге, да еще на самой многолюдной улице, на Гороховой; самое настоящее место его — в Москве, на какой-нибудь Спиридоновке; все, что идет на покой, отправляется в Москву» («Обломов» в критике. С. 169).

С. 5. ...даже в складки шлафрока. — Шлафрок (нем. Schlafrock) — просторная домашняя одежда без пуговиц

(халат), в которой не считалось предосудительным принимать гостей. Ср.: «У него была полная коллекция разных модных шлафроков ~ нарядившись в красивый парижский шлафрок...» (наст. изд., т. 5, с. 97). О шлафроке см.: *Щурова И. В.* Белый *шлафрок* и пунцовый *фуляр* // Рус. речь. 2000. № 4. С. 117—119.

С. 12. ...к *Святой неделе*... — Святая (Светлая) неделя (седмица) — первая неделя по Пасхе.

С. 17. ...вдохнул *ароматы Востока*... — Гончаров использует один из штампов так называемого светского романа. Ср. в романе В. С. Филимонова «Непостижимая» (СПб., 1841. Т. 1). С. 119): «...для нее не нужны ни волшебные звуки, ни аромат Востока...», по поводу которого иронизировал В. Г. Белинский (см.: *Белинский*. Т. IV. С. 487—493).

С. 17. *Рейт-фрак* — фрак для верховой езды (от нем. reiten — ездить верхом).

С. 17. *Ведь сегодня первое мая ~ едем в Екатерингоф*. — «Первомайский праздник у городских жителей есть первое весеннее гулянье за городом в роще, где более катаются в экипажах, чем гуляют пешие {...}. Это гулянье, неизвестное в сельском быту на Руси, есть иностранное и новое...» (*Снегирев*. Вып. 3. С. 81). По свидетельству другого этнографа, «майское гулянье заведено жителями в позднее время; наши поселяне не знают и не ведают об нем. {...} Наши старые школьные майские праздники перешли к нам из Польши и Литвы. Тамошние *maiówki*, *recreacie maiowe* поселились в прежней Киевской академии и оттуда распространились по духовным и светским училищам в XVIII столетии» (*Сахаров*. С. 266). В Петербурге ежегодное гулянье на 1 мая, ставшее традиционным при Петре I, проходило в Екатерингофе — парке на западной окраине города, заложенном в 1711 г. Пришедший к началу XIX в. в совершенное запустение, Екатерингоф был возрожден в 1823 г.: «Красивейшие постройки, павильон, беседки и вокзал были возведены молодым архитектором Монферраном {...}. В одно лето вырыт канал, по сторонам его сделана насыпь, отделяющая два пруда {...}. Против лежащий Гутуевский остров был тоже расчищен, и самые рыбачьи дома на нем возведены в стиле сельских строений окрестностей Рима» (*Пыляев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1889. С. 86 (Репринт: М., 1991); ср. также упоминание Екатерингофского гулянья во «Фрегате „Паллада“» —

наст. изд., т. 2, с. 541; т. 3, с. 720—721). «Екатерингофское гулянье 1 мая любил и неизменно посещал император Николай I со всею царскою фамилиею. (...) За двором тянулась вся знать в Екатерингоф на гулянье, а за нею и вся остальная имущая масса. Цена коляски в этот день доходила до 25 рублей...» (*Божерянов И. Н. Встреча лета в Екатерингофе* // Божерянов И. Н., Никольский В. А. Петербургская старина: Очерки и рассказы. СПб., 1909. С. 34). «По старому, еще в давнее время установившемуся обычаю, — вспоминал А. Я. Алексеев-Яковлев, — в Екатерининском парке в день 1 мая происходило большое весеннее гулянье, сюда съезжались из города, приезжали также представители двора и дипломатического корпуса. Этот обычай сохранялся до конца восьмидесятых годов, когда прилегающие районы стали все больше застраиваться новыми заводами и фабриками (...). Многотысячная толпа, направлявшаяся в Екатерингоф с чадами и домочадцами, переполняла прилегающие к нему улицы и бульвар по набережной Обводного канала. Вереница экипажей, собственных и наемных, с одетыми по-весеннему седоками тянулась по набережной Екатерининского канала, по Старо-Петергофскому проспекту, по шоссе вдоль Обводного канала, иначе говоря, вдоль всего Екатерингофского парка и по его центральным аллеям. Целая флотилия яликов, шлюпок, гичек и разных лодок плыла по Екатерининскому каналу и Фонтанке, направляясь к Екатерингофу. (...) „Лодочная публика“ приставала к берегу Екатерингофа у так называемого Петровского домика, то есть у Летнего дворца Петра I, где и располагалась на начинавшей зеленеть травке, принимаясь за привезенные с собой закуски. (...) На двух главных аллеях парка в разных концах гремели назначенные по наряду полковые оркестры в парадной форме и хоры военных песенников, тоже в ярких мундирах. В этот день открывался „Екатерингофский воксал“. На лужайках вертелись карусели, раздавались присказки „панорамщиков“, кричали, нарочито гнусявя, „петрушечники“, щелкали выстрелы у стрельбищ, шла бойкая торговля разнообразной мелочью (...). Катались с деревянных гор, захаживали в „рогожные балаганы“...» (Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. Л.; М., 1948. С. 37—38). Отчеты о гулянье ежегодно помещались в газетах и журналах; см., например: *Цмнь* (*Циммер*

ман В.) Первое мая в Петербурге // *СПбВед.* 1843. № 95. 1 мая.

С. 18. *Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. ~ Ах! ведь нужно ехать камелий достать...* — Цветочные венки и букеты «впервые появились в Петербурге в сезон итальянской оперы 1843 / 1844 годов, ими осыпали Виардо, Рубини и Тамбурины наши знатные меломаны. Впоследствии букеты, войдя в моду, утратили свое лестное значение для артистов, и мания „цветобесия” была осмеяна графом В. А. Соллогубом в водевиле „Букеты” (в 1846 г.)» (*РВ.* 1881. Кн. 4. С. 605). Водевиль В. А. Соллогуба «Букеты, или Петербургское цветобесие. Шутка в одном действии» (СПб., 1845) содержал, в частности, такие куплеты:

Весь Петербург старается,
Хлопочет о цветах,
И столько их бросается,
Что зелено в глазах!
Сперва — певцов Италии
Все стали осыпать,
А там пошло и далее,
Во всех пошли швырять!

(Там же. С. 16).

Свидетельница «цветобесия» в первый сезон итальянской оперы, Евг. П. Майкова, писала в Париж В. Андр. Солоницыну 30 декабря 1843 г.: «Здесь Итальянский театр производит такой фурор, о котором не имеют понятия за границую, и решительно все журналы говорят, что наша опера лучше всех европейских опер в мире. Viardo Garcia, говорят, выше и Гризи и Персиани; а Петров, Петров, говорят, на удивление поет, он один из русских участвует. Эти знаменитости бывают закиданы венками; на днях будет бенефис примадонны, и ей готовится венок из камней и бриллиантов в 30 тысяч р(ублей): в этом участвует царская фамилия и публика. Я не имею надежды услышать оперу, все абонировано; но наши дамы решаются ходить в кресла, а я готова отправиться в раек, только бы услышать Гарцию» (цит. по: Лица: Биогр. альм. СПб., 2001. Т. 8. С. 68). Ср.: «Ныне введен обычай в Итальянском театре бросать на сцену букеты цветов и цветочные гирлянды несравненной нашей Виардо-Гарции» (*СПч.* 1843. № 268. 27 нояб.). О том же увлечении (не прекращавшемся и позднее) писал «Современник»: «Итальянские певцы ввели у нас в большую моду цветы, венки и бриллианты. Со времени Рубини и Гарции в Петербурге

истреблено великое множество камелий, садовники начинают наживаться, наживаются и ювелиры. В итальянской опере и балете не проходит ни одного представления без цветов, а к концу театрального года лучший петербургский ювелир Вальян готовит обыкновенно венки, диадемы и браслеты, подносимые аристократической публикою. {...} Воспитание камелий сделалось ремеслом, и в газетных объявлениях появлялись целые трактаты об искусстве составлять букеты» (*«Без подписи»*). Цветобесие // С. 1850. № 4. Отд. VI. С. 193—194). О «цветобесии» см. также: *Яхонтов А. Н.* Петербургская итальянская опера в 1840-х годах // Рус. старина. 1886. № 12. С. 743—744.

С. 18. *А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, gothique. Летом, говорят, будут танцы, живые картины.* — Как отметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 651), Волков здесь и ниже (см.: наст. изд., т. 4, с. 19) перечисляет, насколько можно судить по роману К. К. Павловой «Двойная жизнь» (между 1844 и 1847 гг.), наимоднейшие увлечения высшего света: «Прошло уже несколько дней с тех пор, как Вера Владимировна переселилась в одно из тех милых готическо-фантастическо-китайских зданий, какими усеян Петровский парк. Тут также все соответствовало требованиям и условиям света. {...} Приближался день, который Вера Владимировна всегда праздновала, — день рождения Цецилии. И в этот раз она делала разные приготовления, чтобы его провести как можно веселее: обед, концерт, *bal champêtre* (сельский бал — *фр.*), ужин, — все только возможное учреждалось с большим старанием и с большими издержками. Веселие людей высшего круга неимоверно дорого» (Павлова К. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 252, 268. («Б-ка поэта»; Большая сер.)). По свидетельству М. И. Пыляева, в аристократических домах Петербурга «в Николаевское время славились домашние театры с балетами, живыми картинами {...} которые обставлялись иногда с царскою пышностью» (Пыляев М. И. Старое житье: Очерки и рассказы. СПб., 1897. С. 187. (Репринт: М., 1990. 2-е изд.)). На масленице живые картины ставились и в Михайловском театре (см. объявление об этом: СПч. 1843. № 73. 1 апр.).

С. 19. *Напрасно я забыть ее стараюсь / И страсть хочу рассудком победить...* — Первые строки романса Д. Т. Ленского (впервые: Репертуар русских театров. СПб.,

1840. Т. 2. Отд. «Смесь». С. 27), известного в музыкальной обработке Вл. Арсеньева (1842), Н. Новикова (1843), Н. Ф. Вителаро (1851), К. А. Тарновского (1862). Другое название — «Я не могу ее забыть».

С. 19. *...только и слышишь: венецианская школа...* — Венецианская — одна из основных художественных школ Италии, которую во время ее расцвета в середине XV—XVI вв. представляли семья Беллини, В. Карпаччо, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Тинторетто, а в XVIII в. — Д. Б. Тьеполо, А. Каналетто, П. Лонги, Ф. Гварди.

С. 19. *...посижу да пообедаю у генерала...*; см. также с. 440: *...курьер от генерала...* — В обиходе (не на службе) вместо гражданских наименований чинов часто использовались равные им по классу наименования военных чинов, например «майор» вместо «коллежский ассессор» или «генерал» для тех, кто имел чины V класса и выше по Табели о рангах.

С. 19. *...ну а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре.* — Русским назывался Александринский театр (ныне пл. Островского, 2). В репертуаре театра в 1840-е гг. преобладали русские и переводные комедии и водевили, также историческая драма (Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой, Р. М. Зотов и др.). Французский театр — Михайловский (ныне Театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского; пл. Искусств, 1). Со времени открытия театра в ноябре 1833 г. в нем шли спектакли французской и немецкой драматических трупп. В течение длительного времени на Михайловской сцене играли выдающиеся французские актеры; французская труппа театра считалась одной из лучших в Европе. Репертуар определялся модными новинками парижской сцены, здесь шли «все лучшие и новейшие произведения театров Водевиля, Гимназии, Variétés, Пале-Рояльского и больших бульварных (Porte St. Martin, Ambigu, Gaité) (...)». Французский театр отличался от других своею публикою: ложи бельэтажа заняты особами высшего круга, дипломатического корпуса и т. п.; в первом и во втором видим семейства образованного среднего класса; в креслах сидят знатные особы, военные и гражданские, офицеры гвардии, юные дипломаты и вообще *раззолоченная молодежь*; места за креслами наполнены публикою собственно французскою: артистами, конторщиками, ремесленниками, модными торговками...» (Театрал: Карманная книжка для любите-

лей театра. СПб., 1853. С. 55). Гончаров позднее в романе «Обрыв» (часть четвертая, глава V) с иронией отзывался о понятиях и философии, добытых «с досок Михайловского театра».

С. 19. *Вот опера будет, я абонируюсь.* — Главной оперной сценой Петербурга был Большой (Каменный) театр (находился на Театральной пл., на месте нынешнего здания Консерватории). Абонемент в театр покупался на сезон, т. е. с октября до февраля-марта: театральные представления как в опере, так и в драме заканчивались на масленице, с началом Великого поста. Здесь речь идет об абонементах на спектакли итальянской оперной труппы, впервые выступавшей в Каменном театре в сезон 1843/1844 гг. (о времени действия в части первой романа см. ниже, с. 499—500, примеч. к с. 33). По свидетельству А. Н. Вольфа, «два абонемента, один на 30 представлений по понедельникам и пятницам, а другой на 15 по средам, были мгновенно расхвачены. На представления, в которых участвовали Виардо и Рубини, забирались в верхние ярусы и раек лица, никогда не бывавшие выше бельэтажа» (Вольф. Ч. 1. С. 107). О первом итальянском сезоне см. цикл рецензий Р. М. Зотова «Большой театр: Итальянские спектакли» (СПч. 1843. № 246, 247, 261, 262, 292, 293; 1844. № 18, 20), а также: Яхонтов А. Н. Петербургская итальянская опера в 1840-х годах. С. 735—748; Михайлов Н. Из прошлого итальянской оперы: (Воспоминания театрала) // Колосья. 1885. № 3. С. 301—310; Иванов М. М. Первое десятилетие постоянного итальянского театра в Петербурге в XIX веке (1843—1853 гг.) // Ежегодник императорских театров. Сезон 1893—1894 гг. Прил. Кн. 2. СПб., 1895. С. 55—95; Fisher. P. 105—106, 114—115. Ср. также в «Обыкновенной истории» обращенные к жене слова Петра Ивановича Адуева: «...говорят, на нынешнюю зиму ангажирован сюда Рубини; у нас будет постоянная итальянская опера; я просил оставить для нас ложу...» (наст. изд., т. 1, с. 459).

С. 20. *А не хотите ли со мной есть устриц?*; см. также с. 183: *...определяя весну привозом устриц и омаров...* — Свежие устрицы доставлялись в Петербург весной, когда открывалась навигация и прибывали первые иностранные суда, т. е. как раз в то время, о котором здесь идет речь. Противопоставляя Петербург Москве (где свежие устрицы были недоступны), фельетонист «Северной пчелы»

писал: «Со времени заведения в Петербурге пароходства мы имеем устрицы и омары столь же свежие, как в Гавре и Фленсбурге...» (СПЧ. 1843. № 12. 16 янв.).

С. 21. *Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый...* — В соответствии с «Положением о гражданских мундирах» (1834) мундир, вицмундир, мундирный фрак и сюртук гражданских чиновников почти всех ведомств (за несколькими исключениями) были темно-зеленого сукна; на «желтых» мундирных пуговицах изображался государственный герб. Мундирный фрак, двубортный, с отложным воротником, приравнивался к «вседневному» вицмундиру; в отличие от него парадный мундир имел стоячий воротник и шитье (см.: Шепелёв. С. 227—230). Об указе 1837 г. «О воспрещении гражданским чиновникам носить усы и бороду» см. ниже, с. 496—497, примеч. к с. 25.

С. 21. *Начальник отделения!* — Речь идет о должности чиновника гражданской службы в подразделениях департаментов министерств (отделениях), которая, как правило, соответствовала чину VI класса (коллежского советника) по Табели о рангах.

С. 21. *...на будущий год в статские махнешь.* — Статский советник — чин V класса по Табели о рангах.

С. 21. *Еще нынешний год корону надо получить; думал, за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...* — Речь может идти об орденах Св. Анны и Св. Станислава: знаком «возвышенного достоинства» для первой и второй степеней этих орденов служила императорская корона. Чиновник VI класса мог претендовать на получение ордена Св. Анны или Св. Станислава первой степени. Как производство в следующий классный чин (с занятием новой должности), так и получение следующего «в порядке постепенности» ордена осуществлялись либо по истечении положенного срока (обычно три года), либо до срока — «за отличия» (см.: Шепелёв. С. 333, 338, 346—347).

С. 21. *Вице-директор* — министерский чиновник, наряду с директором возглавлявший департамент министерства (как правило, не ниже V класса по Табели о рангах, статский советник).

С. 22. *...в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»...* — В труде Н. В. Варадинова «Делопроизводство, или Теоретическое и практиче-

ское руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству, к составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к ведению самых дел с приложением к оным образцов и форм» (СПб., 1857), цензором которого был Гончаров и который был ему подарен автором 28 марта 1857 г. (см.: *Летопись*. С. 71; *Библиотека*. С. 25. № 28), обе формулировки существуют на равных правах. Лишь во втором издании книги Варадинова (СПб., 1873) примеры первой («покорнейший слуга») в количественном отношении значительно уступают примерам второй (см.: *ЛП «Обломов»*. С. 652). Ср. также в более раннем издании: «Письма оканчиваются различно; впрочем, больше и чаще всего пишут: с истинным почтением имею честь быть, ваш покорный слуга, имя и прозвание; иногда прибавляют к истинному почтению и совершенную преданность» (Руководство к сочинению писем и деловых бумаг. С образцами, примерами и формами. М., 1847. Ч. 1. С. 65).

С. 22. ...*формулярных списков по два экземпляра не велено представлять*. — Формулярный список — послужной список (введен в 1798 г.), в который вносились сведения о рождении, происхождении, образовании, семейном положении, прохождении службы, наградах, отличиях, нахождении под судом и проч. Сенатским указом от 17 ноября 1841 г. была введена норма представления в Герольдию полного и краткого формулярных списков: «...губернские правления, прочие присутственные места и все вообще начальства, обязанные, на основании существующих узаконений, представлять в Герольдию послужные списки о состоящих в ведомстве их классных чиновниках, должны, сверх того, к 1 марта и к 1 сентября каждого года присылать туда же о службе означенных лиц и особые краткие списки» (*ПСЗ*. Т. 17. Отд. I. С. 836—837). Законодательные акты, упраздняющие данную норму, не издавались.

С. 22. *У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений*. — Столом назывался особый разряд дел внутри отделений департаментов. Чиновник особых поручений — должность при директорах департаментов министерств (а также при губернаторах), предоставлявшая особые полномочия; исполнитель разовых поручений.

С. 23. ...*тысяча двести рублей жалованья, особо столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот, пособия*

девятьсот, на разъезды пятьсот да награды рублей до тысячи. — Жалованье чиновника VI класса обычно составляло 225 рублей серебром или около 800 рублей ассигнациями в год (о соотношении серебра и ассигнаций см. ниже, с. 504—505, примеч. к с. 44). Столовые же и квартирные деньги не являлись «общей принадлежностью содержания гражданских чинов» и определялись «не по чинам, но штатами и положениями для некоторых только должностей» или назначались какому-либо лицу «особыми высочайшими повелениями». Денежная награда не должна была превышать годового жалованья. Удостоенный этой награды мог быть представлен к чину или к ордену, но только «за особенное отличие» и «по действительным заслугам» (см.: ЛП «Обломов». С. 652). О жалованье чиновников, от высших до низших, см. также: Раскин. С. 609.

С. 23. *Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!* — Эта подробность важна в контексте многочисленных упоминаний на страницах романа об итальянской опере в Петербурге; см. выше, с. 488—489, 491, примеч. к с. 18, 19; ниже, с. 550—552, 576—577, примеч. к с. 179, 399. Отмечено: Fisher. P. 107.

С. 23. *Вон Пересветов прибавочные получает...* — «Прибавочное за отличную службу жалование лично чиновникам назначается, соответственно ходатайству начальства и заслугам чиновников, с условием, пока удостоившийся сей награды будет находиться в настоящей должности или в том же ведомстве» (Свод законов Российской империи. СПб., 1842. Т. 3. С. 201).

С. 23. *...получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки...* — В соответствии с пунктом 1 «Правил для проезжающих на почтовых лошадях» таковые «должны иметь непременно подорожные, по установленной форме, на то число лошадей, какое им следует по званию». Как начальник отделения, т. е. чиновник VI класса, Судьбинский должен был получить прогоны на трех лошадей; пять лошадей, видимо, служили знаком благоволения начальства. Суточные его вместе с квартирными должны были составить 0.9 рублей серебром, что по официальному курсу равнялось примерно 3 рублям ассигнациями (см.: ЛП «Обломов». С. 652).

С. 24. *...отец действительный статский советник...* — Речь идет о чине IV класса по Табели о рангах.

С. 24. *...дали Владимира...* — Орден Св. Владимира (четырёх степеней) был третьим в «порядке постепенности» российских орденов (старше орденов Св. Станислава и Св. Анны); «кавалеры ордена Св. Владимира двух старших степеней „имели вход с особами IV класса“, а младших степеней — „с особами VI класса“. <...> Вместе с тем награждение орденом обычно сокращало срок выслуги следующего чина» (Шепелёв. С. 347). Орден Св. Владимира 4-й (низшей) степени давал право потомственного дворянства (Там же. С. 348).

С. 24. *Олешкин — его превосходительство.* — «Ваше (его) превосходительство» — официальная форма титулования (так называемый общий титул) лиц в чинах III—IV классов по Табели о рангах. Пользование общим титулом по чину было обязательно во всех случаях обращения к вышестоящему по службе или по общественному положению. В XIX в. в России существовало пять общих титулов: I—II классы — ваше высокопревосходительство; III—IV классы — ваше превосходительство; V класс — ваше высокородие; VI—VIII классы — ваше высокоблагородие; IX—XIV классы — ваше благородие (см.: Шепелёв. С. 142—143). Здесь речь идет о чине IV класса (действительный статский советник), соответствовавшем, как правило, должности директора департамента в министерстве.

С. 24. *Такой обязательный...* — Обязательный — здесь: предупредительный, внимательный (см.: наст. изд., т. 1, с. 210; т. 3, с. 31).

С. 24. *...не то мнение или законы подведешь в записке...; см. также с. 56: ...писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли записками...* — «Записками» официально именовались представления из министерств в высшие органы власти (Государственный совет, Комитет министров). Формуляр записок (и даже формат бумаги) был строго регламентирован и включал обязательные разделы, в том числе раздел «Законы». В «Заключении» «подводилось» (т. е. давалось, определялось) «мнение» — официальное (на уровне главы ведомства) заключение по данному вопросу. Министерским «запискам» «принадлежала важнейшая роль в системе делопроизводства», они «являлись инициативными документами и содержали основные фактические сведения по затрагивавшимся ими проблемам» (Шепелёв. С. 51—52).

С. 25. ...у постели его стоял ~ господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. — Эспаньолка (фр. *espagnol*) — короткая остrokонечная бородка. В изображении Гончарова, как отметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 652—653), Пенкин — фрондер не только в своих речах. И во внешнем облике он, как человек свободной профессии, подчеркивает свою партикулярность, независимость от таких установлений, как сенатский указ от 2 апреля 1837 г. «О воспреещении гражданским чиновникам носить усы и бороду». В указе, в частности, говорилось: «...Государь император <...> сам изволил заметить, что многие гражданские чиновники, в особенности вне столицы, дозволяют себе носить усы и не брить бороды по образцу жидов или подражая французским модам. Его императорское величество изволит находить сие совершенно неприличным...» (ПСЗ. Т. 12. Отд. I. С. 206). В благонамеренном обществе ношение бороды и усов считалось проявлением вольнодумства. Ср.: «...Осипов казался мне вольнодумцем, потому что, как вольный художник, носил усы и эспаньолку. При Николае Павловиче усы и борода были большою редкостью. Никто из служащих в гражданской службе не имел права отпускать их, а военные носили только усы, но не бороду» (*Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки. (1854—1886) / Ред., статья и коммент. И. Н. Розанова. М.; Л., 1934. С. 35—36). Случаи нарушения сенатского указа 1837 г. привлекали внимание самых разных авторов. Об этом писал в романе «Меж двух огней» М. В. Авдеев: «Справедливо или нет, но у нас рашение волос сверх известной меры и на недозволенных по штату местах всегда считалось признаком и своего рода мундиром вольнодумства и наравне с ним подвергалось преследованию» (*Авдеев М. В.* Меж двух огней. СПб., 1869. С. 48). В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» об Иване Петровиче Птицыне, жившем ростовщичеством, замечено: «Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями» (*Достоевский*. Т. VIII. С. 77). О ношении бороды как «признаке вольнодумства» см. также: *Нарышкина Е. А.* Мои воспоминания. СПб., 1906. С. 144, 145; *Лорер Н. И.* Записки. М., 1931. С. 218; и др. Ср. также многочисленные свидетельства о преследовании славянофилов за ношение бороды в 1840—1850-х гг.: *Мазур Н. Н.* Дело о бороде: (Из архива Хомякова: письмо о запрещении носить бороду и

русское платье) // Новое лит. обозрение. 1994. № 6. С. 127—138. Среди гражданских служащих, как отмечает современный исследователь, указ 1837 г. «особенно задевал пожилых чиновников, которым в случае утраты зубов бриться было затруднительно» (Шепелёв. С. 231).

С. 27. ...*автор велик! в нем слышится то Дант, то Шекспир...* — Возможный отголосок журнальной ситуации середины 1830-х гг., а именно широко известной и многократно осмеянной современниками манеры О. И. Сенковского «производить» в гении авторов «Библиотеки для чтения». Так, Н. В. Кукольника Сенковский сравнивал и с Гете, и с Байроном («Я так же громко восклицаю: „великий Кукольник!“ ... как восклицаю: „великий Байрон!“» — БдЧ. 1834. Т. 1. Отд. V. С. 37), а в более поздней рецензии заявлял, что Кукольник «обнаруживает уже исполинский, ужасающий своей огромностью талант как писателя» (БдЧ. 1841. № 3. Отд. VI. С. 3). Явление «производства в гении» не утратило актуальности и в журналистике 1840-х гг. (см. об этом: Белинский. Т. I. С. 48; Т. III. С. 81, 198, 545; Т. IV. С. 325, 586; Дружинин. С. 143; Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 101). Ср. суждение В. Г. Белинского в статье «Стихотворения Лермонтова» (1841): «Пока еще мы не назовем его ни Байроном, ни Гете, ни Пушкиным и не скажем, чтоб из него со временем вышел Байрон, Гете или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов...» (Белинский. Т. III. С. 276).

С. 27. ...*нет того, что там у вас называется гуманизмом.* ∞ *В их рассказе слышны не «невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость...* — Германизм «гуманитет» (нем. Humanität) характерен для гончаровского словаря; ср. рассуждения о светском воспитании, которое «придает обществу чрезвычайно много по крайней мере наружного гуманитета», в главе первой «Фрегата „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 57). Общеупотребительным в середине прошлого века был латинизм «гуманность» (см.: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка: 30-е—90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 90—92; Бельчиков Ю. А. Из истории слова «гуманность» // Сб. статей по языкознанию, посвященный проф. Моск. ун-та акад. В. В. Виноградову. М., 1958. С. 54—66). В. Г. Белинский, например, в статье «Взгляд на русскую

литературу 1847 года» (с разбором «Обыкновенной истории» и романа «Кто виноват?») так определял главную мысль в произведениях А. И. Герцена: «Это — страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла, это то, что немцы называют *гуманностью* (*Humanität*). Те, кому покажется непонятною мысль, заключающаяся в этом слове, в сочинениях Искандера найдут самое лучшее ее объяснение. О самом же слове скажем, что немцы сделали его из латинского слова *humanus*, что значит человеческий. Здесь оно берется в противоположность слову *животный*. <...> Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием» (Белинский. Т. VIII. С. 378; слова «гуманность» и «человечность» с поясняющим нем. *Humanität* встречаются и в других статьях Белинского — Белинский. Т. III. С. 53; Т. IV. С. 100).

«Невидимые слезы» — реминисценция из главы VII тома первого «Мертвых душ»; ср. у Н. В. Гоголя: «...озирать всю громадно несущуюся жизнь, оживать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (Гоголь. Т. VI. С. 134).

Рассуждениям о «грубом смехе, злости» в литературе близко высказывание Л. Н. Толстого (в его письме к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г.): «У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть *возмущенным, желчным, злым* очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского — верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой не в нормальном положении. Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи» (Толстой. Т. 60. С. 74—75).

С. 28. *Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но всё человек же, то есть вы сами.* — По наблюдению Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 653), слова Обломова напоминают авторское рассуждение Н. В. Гоголя в томе втором «Мертвых душ» по поводу чичиковского «анекдота» о «черненьких и беленьких»: «В самом деле, необыкновенно странны были своею противоположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. <...> Что значит, однако же, что и в падении своем

гибнувший грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? Или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревянеющую кору мерзостей, еще вопиющий: „Брат, спаси”. Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата» (Гоголь. Т. VII. С. 167—168). Согласно другому мнению, «литературно-критические воззрения Обломова» сформированы статьями Вал. Майкова (см.: Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды...»: Путь И. А. Гончарова к реализму // Контекст 1991: Литературно-теоретические исследования / Отв. ред. А. В. Михайлов. М., 1991. С. 129—130); ср.: «Гоголь ни на одно мгновение не упускал из вида общечеловеческих условий характера каждого из своих героев, и потому все действующие лица его поэмы прежде всего являются *людьми*, как бы малы и ничтожны ни были они по положению своему в обществе, до какого бы нравственного уничтожения ни были доведены воспитанием и неизбежным течением дел. {...} Из этого великого достоинства „Мертвых душ” прямо вытекает необходимое условие для живописца: ни под каким видом не делать из действующих лиц поэмы немощных уродов, односторонних карикатур... Это будет вопиющая ошибка против идеи, положенной в основание каждого характера, созданного Гоголем» (Майков. С. 313). По мысли М. В. Отрадина, ратуя за истинное отношение к человеку, Обломов «пересказывает» выводы К. С. Аксакова о «Мертвых душах» Гоголя (см.: Отрадин. С. 121).

С. 29. ...наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня... — Ресторан Сен-Жоржа находился на набережной Мойки, близ Полицейского моста (ныне Народный), «в особом на дворе домике, со вкусом убранном. При доме хороший тенистый сад. Каждый посетитель, с знакомыми, может занять особую комнату. Сервизы превосходные; вино отличное. Обыкновенные обеды за 3 и 5 руб⟨лей⟩ ассиг⟨нациями⟩. Летом нигде нельзя отобедать с бóльшим удовольствием, как у Жоржа» (Пушкарев. С. 452).

С. 33. Тарантьев обедать придет: сегодня суббота. — Первое мая приходилось на субботу в 1843 г. Это дало повод А. Г. Цейтлину отнести начало действия в романе к 1843 г. (подробнее о хронологии «Обломова» см.: Цейтлин. С. 162—164). Ср. также о реалиях 1840-х гг. выше,

с. 488—489, 491, примеч. к с. 18, 19, и ниже, с. 542—544, 576—577, примеч. к с. 174, 399.

С. 35. *А под Иванов день еще три мужика ушли...*; см. также с. 160: *Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается...* — Иванов день (24 июня) по церковному календарю — Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). Совпадает с праздником Ивана Купала, называемым в народе «веселым», «любовным» и сопровождаемым «купальскими» (языческими) обрядами. Накануне Иванова дня в деревнях проходят гулянья, ярмарки. В ночь на Ивана Купала, по народным поверьям, цветет папоротник, «и, кто успеет сорвать его, невзирая на все ужасы, какие будут ему представляться, тот сыщет клад» (*Снегирев*. Вып. 4. С. 38). «Сбором трав в этот день занимались преимущественно люди, промышляющие знахарством и колдовством, бабы, слывающие за ведьм» (*Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 73).

С. 35. *...исправнику кланялся...* — Исправник — начальник уездной полиции, председатель земского суда (см. подробнее ниже, с. 501—502, примеч. к с. 39).

С. 35. *Обломов взглянул на конец письма. ∞ Он задумался.* — Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 653—654) отметила, что в рукописи и первом отдельном издании романа этого фрагмента, уточняющего дату письма, не было. Он мог быть введен Гончаровым под влиянием критической рецензии Г. А. Кушелева-Безбородко «О значении романа нравов в наше время. (По поводу нового романа г. Гончарова «Обломов»)» в журнале «Русское слово» (1859. № 7; подпись: «К. Б.»). По-видимому, Гончаров обратил внимание на одно замечание рецензента: «В этом письме нас несколько удивила жалоба старосты, которая вовсе невероятна: во-первых, *пятую неделю дождей нет — эдакой засухи старики не запомнят*. Обломов получил письмо это за несколько дней до 1-го мая — полагая, что на почте оно осталось по крайней мере одну или полторы недели. За пять недель до отсылки письма из имения еще было начало марта месяца, в это время, как кажется, дождей нельзя ждать, только бы морозы покончились, да реки все прошли, и то ладно. Потом староста толкует о побеге в Иванов день, т. е. 24-го июня, некоторых крестьян и пишет об этом еще в апреле месяце. Стало быть, он предугадывает побег? он не только мошенник, но даже колдун!» (Там же. С. 9).

С. 38. ...*определился в какую-то канцелярию писцом...* — Речь идет о низшей должности «канцелярских служителей», не имевших классных чинов; ср. в первоначальной редакции части первой сказанное о начальнике Обломова: «...говорит с последним писцом ласково и вежливо...» (наст. изд., т. 5, с. 86).

С. 38. *Отец его, провинциальный подьячий старого времени...* — Подьячий — изначально (в XVI—XVII вв.) младший служащий в приказах, подчинявшийся приказным дьякам; в XIX в. — мелкий чиновник при земских судах, писец, ходатай по делам (см. ниже).

С. 38. ...*искусство и опытность хождения по чужим делам ~ поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам.* — Речь идет о должности ходатай, или поверенного, по делам, которая существовала при губернских палатах уголовного и гражданского суда и имела крайне низкую общественную репутацию. Выразительную характеристику представителей этой профессии находим в очерках нравов Ф. В. Булгарина «Ходатай на ловле», в которых рассказывается о плутнях ходатаев (Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч. СПб., 1844. Т. VII. С. 1—10).

С. 38. ...*в присутственном месте...* — Присутственные места — учреждения (по всем отраслям административной, судебной и иной деятельности), где собирались должностные лица для производства дел.

С. 38. ...*и начал было разбирать Корнелия Непота...*; см. также с. 153: *Отец спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык.* — Корнелий Непот (ок. 100—после 32 г. до н. э.) — римский историк; его основной труд — сборник биографий «О знаменитых людях» («De illustribus viris», 16 книг), полностью не сохранился. Благодаря ясности изложения и простоте языка написанные Непотом биографии исторических деятелей Греции и Рима в школьной практике считались образцовыми. Вспоминая время подготовки к экзамену в Московский университет, Гончаров писал: «Я переводил à livre ouvert Корнелия Непота, по которому все учились, как по „Телемаку“ Фенелона во французском языке» («В университете», 1887).

С. 39. ...*в земском или уездном суде...* — «Уездный суд — низшая судебная инстанция в дореформенной России, первая инстанция для мелких уголовных и гражданских дел всех сословий уезда (кроме городских). Во главе уездного суда стоял уездный судья, избиравшийся дворя-

нами независимо от образовательного ценза и юридических познаний. Решение дел в таком суде зависело от секретаря, знавшего, в отличие от судьи, законы, вникавшего во все дела канцелярии; секретарь подготавливал все справки по делам, докладывал их общему присутствию суда, состоявшему из судьи и выборных от дворянства заседателей. Земский суд — уездный административно-полицейский орган, ведавший охраной порядка; участвовал в предварительном следствии и исполнял судебные приговоры. Земский суд состоял из заседателей: дворянских (4—5) и с 1837 г. — от государственных крестьян (2), а также возглавлявшего суд *исправника* (капитана-исправника, земского исправника), стоявшего и во главе уездной полиции. Должность исправника была не слишком уважаемой, на нее выбирали не самых родовитых и не самых богатых дворян. Еще меньшим уважением пользовались другие должности в земском суде: занимавшие их чиновники не упускали всевозможных способов для обогащения» (Раскин. С. 606).

С. 39. ...перейти служить по винным откупам. — Откуп — приобретавшееся за определенный денежный взнос в государственную казну монопольное право торговли какими-либо товарами или право взыскания налогов от подобной торговли. В России широкое распространение (особенно с 1827 г.) получил винный откуп (отмененный только в 1860 г.), дававший откупщикам, а через них и казне миллионные доходы. В 1858 г. на страницах печати разгорелась полемика об откупной системе. В 1859 г. развернулось широкое движение против откупов, сопровождавшееся, особенно в Поволжье, разгромом питейных заведений. «Откупная система, — по словам современника, — (...) существует многие десятки лет, и все и вся пили всякую бурду, какую угодно было, по какой угодно цене давать откупщикам, созидавшим себе на этой бурде великолепные палаты, зимние сады и миллионы» (ОЗ. 1859. № 2. Отд. «Современная хроника России». С. 73). Гончаров выскажется об этом в письме к С. А. Никитенко от 15 (27) мая 1869 г.: «Нам в России, кстати замечу при этом, предстоит решить свою особенную экономическую задачу, какой на Западе нет: это — изобрести или создать другую большую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питейный доход, а затем уже начать великое дело — отучать народ от пьянства. Это будет вместе

и нравственная задача. А в ось Бог даст нам какого-нибудь финансиста и моралиста с светлой головой и великим сердцем между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино морально убивает бóльшую часть, что есть лучшего в народном духе, в силах и дарованиях. Это не ново, но требует непрестанного повторения, чтобы народ проникся идеею воздержания, как одиннадцатую заповедь».

С. 40. ...*два русские пролетария*... — Слова «пролетарий», «пролетариат» появляются в русской публицистике со второй половины XIX в. в связи с ее интересом к положению рабочего класса на Западе и событиям июня 1848 г. в Париже — в статьях В. Г. Белинского и Вал. Майкова, в «Письмах из Франции и Италии» (1847—1855) и «С того берега» (1847—1850) А. И. Герцена, в статье «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» (1847) В. А. Милютина и др., однако «в условиях домарксистской мысли семантическое наполнение этих слов оказывалось в течение всех 40—70-х гг. очень неустойчивым. (...) в языке представителей различных социальных и литературных направлений они становились неопределенными синонимами русских слов *неимущий, бедняк*...» (подробнее см.: *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка: 30-е—90-е годы XIX века. С. 100—103). «Пролетариями» в России называли обыкновенно и многочисленных мелких чиновников. Так, например, в поданной Николаю I в 1847 г. записке С. С. Уваров рассуждал о чиновничестве как «многочисленном сословии людей без прошедшего и будущего, имеющих свое особое направление и совершенно похожих на класс пролетариев», а П. А. Валуев в записке Александру II (1861 г.) отмечал: «В рядах чиновного сословия, к сожалению столь многочисленного, ежедневно более и более переполняющегося и породившего у нас особый класс пролетариев, обнаруживаются самые противоправительственные стремления...» (цит. по: *Шепелёв*. С. 175, 123). О «многочисленном и поистине несчастном классе приказных, или канцелярских служителей», о «нищих во фраке» писал императору в 1864 г. и М. А. Корф (см.: *Евреинов В. А.* Гражданское чинопроизводство в России: Исторический очерк. СПб., 1887. С. 54).

С. 40. ...*без рук для производительности и только с желудком для потребления*...; см. также с. 64: ...*как бы*

там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель...; с. 127: Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. — В романе неоднократно звучат отголоски политико-экономических теорий, широко обсуждавшихся в научной литературе и на страницах журналов (см. об этом выше, с. 176—178). В условиях России 1830—1850-х гг. особый интерес вызывали теории производительности, связанные с именами А. Смита (1723—1790), Ж. Б. Сея (см. о нем подробнее ниже, с. 553—554, примеч. к с. 181), Ж. Сисмонди (1773—1842). Передовое направление в отечественной политической экономии было представлено запиской А. П. Заблоцкого «О крепостном состоянии в России» (1841) и его же работой «Причины колебания цен на хлеб в России» (ОЗ. 1847. № 5, 6), рукописью В. Н. Майкова «Об отношении производительности к распределению богатства» (1842) и его же статьей «Общественные науки в России» (Финский вестн. 1845. № 1), работами В. С. Порошина «О земледелии в политико-экономическом отношении» (СПб., 1846), Д. П. Журавского «Об источниках и употреблении статистических сведений» (Киев, 1846), В. А. Милютина «Мальтус и его противники: Обзор различных мнений об отношении производительности к развитию населения» (С. 1847. № 8, 9) и др. (см. также: ЛП «Обломов». С. 655).

С. 44. ...изволь в английском магазине купить; см. также с. 392: ...и чернила из английского магазина... — Английский магазин Никольса и Плинке, торговавший разнообразными товарами, от тканей и канцелярских принадлежностей до ювелирных изделий и заграничных вин, находился на Большой Морской улице, недалеко от Невского пр. (см.: Пушкирев. С. 447, 451; Михневич. С. 483).

С. 44. ...вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку. — Десятирублевая купюра называлась так по ее цвету.

С. 44. Он выхватил из рук Обломова ассигнацию... — Ассигнация — бумажная купюра (достоинством в 200, 100, 50, 25, 10 и 5 руб.), введенная в обращение при Екатерине II. Манифест от 1 июня 1843 г. «О замене ассигнаций и других денежных представителей кредитными билетами» положил начало изъятию ассигнаций из обращения (см.: ПСЗ. Т. 18. Отд. I. С. 360—369, а также: Пе-

чорин Я. Наши государственные ассигнации (до замены их кредитными билетами) // *ВЕ.* 1876. № 8. С. 607—648). Обмен ассигнаций на кредитные билеты был начат 15 января 1844 г. и завершен 1 января 1848 г. (см.: *ПСЗ.* Т. 22. Отд. I. С. 519—520). Курс ассигнаций в 1840-х гг. составлял 3.5 рубля ассигнациями за один серебряный рубль. Упоминание ассигнаций в «Обломове» — одно из указаний на время действия в романе (см. выше, с. 499—500, примеч. к с. 33).

С. 44. ...*в питейной конторе...* — Так назывались государственные учреждения, осуществлявшие надзор за розничной питейной торговлей.

С. 45. ...*на Выборгскую сторону...* ~ *Да туда, говорят, зимой волки забегают.* — Выборгская сторона — северная, заречная часть Петербурга; «пустынная зимой, она оживает лишь летом, когда жители из центра города переезжают на дачи. В образе жизни, даже в самых нравах, привычках обитатели Выборгской части сохранили провинциальную незатейливость, добродушие, простоту в наружном обхождении...» (*Пушкарев.* С. 77). Дом Пшеницыной, в котором поселится Обломов, находился на Бочарной улице (в 1858 г. она была переименована в Симбирскую, ныне ул. Комсомола). На это определенно указывал А. Ф. Кони: «От академии мы сворачиваем вправо и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в „Обломове“, приходим, миновав Новый Арсенал, в пригородную местность, носящую название Полюстрово...» (*Кони А. Ф.* Петербург: Воспоминания старожила // *Собр. соч.:* В 8 т. М., 1969. Т. VII. С. 36).

С. 47. *Там Безбородкин сад, Охта под боком, Нева в двух шагах...* — Безбородкин сад (Безбородкина дача) — обширный парк и дворец на правом берегу Невы, на Большой Охте, с 1790 г. принадлежавший графской семье Кушелевых-Безбородко, в 1868 г. уничтожен пожаром (остатки сада сохранились вокруг дома № 40 по Свердловской наб.). Сад арендовал владелец ресторанов и завода искусственных минеральных вод И. И. Излер, устроивший здесь увеселительное заведение «Тиволи», которое пользовалось большой популярностью у петербуржцев. Безбородкина дача, где Гончаров бывал неоднократно, часто упоминается им в письмах 1858—1859 гг. (Ю. Д. Ефремовой, П. В. Анненкову и др.). Большая и

Малая Охта — окраинные районы Петербурга на правом берегу Невы, в первой половине прошлого века заселенные крестьянами.

С. 48. *Целковый* — серебряный рубль.

С. 50. *...разумеется со вложением...* — Описанию «системы чиновничьих доходов» 1840-х гг. Гончаров посвятил несколько страниц в очерке «На родине» (1887), где, в частности, упомянул и о «вложениях» как о норме того времени.

С. 52. *...и в службе за надворного перевалился...* — Надворный советник — чин VII класса по Табели о рангах; обычно соответствовал должности старшего столоначальника в департаментах министерств.

С. 52. *Акции какие-то... Ох эти мне акции, так душу и мутят!*; см. также с. 393: *...он его еще акциями допечет.* — Акционерные компании появляются в России в 1820—1830-х гг. (Российско-Американская компания, упоминаемая в сибирских главах «Фрегата „Паллада“», была учреждена в 1799 г. — см. о ней, с. 555—556, примеч. к с. 184). Первыми в Петербурге возникли страховые акционерные общества: Общество первоначального страхового заведения транспортов (1822), Первое страховое от огня общество (1827) и Второе страховое от огня общество (1835); затем в 1830—1850-х гг. — несколько «обществ на акциях» для освещения газом Петербурга, для строительства железных дорог и развития пароходства (см. ниже, с. 546, примеч. к с. 176), наконец, ряд обществ в провинции — Крымское для виноделия, Тифлисское для шелководства, Керченское для хлебной торговли и т. д. (см. подробнее: Семенов. С. 266—271; Шепелёв Л. Е. 1) Акционерное учредительство в России: (Историко-статистический очерк) // Из истории империализма в России. М.; Л., 1959. С. 134—182; 2) Из истории русского акционерного законодательства: (Закон 1836 г.) // Внутренняя политика царизма (середина XVI—начало XX в.). Л., 1967. С. 168—174). После исключительных успехов первых обществ на акциях «стремление к созданию акционерных компаний вскоре усилилось до такой степени, что лишь только замышлялось какое-нибудь предприятие, акции его были с жадностью разбираемы и число желающих участвовать в нем своими капиталами нередко превышало определенный для них размер» (С. 1847. № 5. Отд. IV. С. 1). Характерно, что в число первых акционеров вошли

видные представители российской бюрократии: члены Государственного совета, министры (Д. Н. Блудов, М. М. Сперанский и др.). Начиная с 1830-х гг. возникают и фабрики на паях; так, в 1832 г. Царскосельская обойная фабрика «поставлена на торговом основании, с тем чтобы, не требуя от кабинета денег (...) покрывать расходы собственными оборотами» (Семенов. С. 341). Среди первых акционированных заводов был Царскосельский стекольный и фарфоровый, что заставляет вспомнить о «промышленнике» Петре Ивановиче Адуеве в «Обыкновенной истории». Однако известный словарь петрашевцев указывал: «...как проявление промышленности новейшего времени акции нигде еще не получили полного развития; не везде вселяют доверенность, часто рушатся и разоряют предприимчивых антрепренеров и доверчивых акционеров, почему и существует весьма много суждений pro и contra об этом предмете» (Словарь 1845—1846. Вып. 1. С. 6). В середине 1830-х гг. в Министерстве внутренних дел и Министерстве финансов, где служил Гончаров, шла подготовка акционерного законодательства, закончившаяся изданием 6 декабря 1836 г. «Положения о компаниях на акциях» (см.: Шепелёв Л. Е. Из истории русского акционерного законодательства: (Закон 1836 г.). С. 168—196). В 1851 г., согласно городскому справочнику, на петербургской бирже «имели ход» акции пятнадцати компаний (см.: Греч. С. 8—9).

С. 53. ...в смирительный дом не отправишь? — Смирительным домом в XVIII—XIX вв. называлась тюрьма для осужденных за нетяжкие преступления.

С. 54. ...коллежский секретарь чином...; см. также с. 57: Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина... — Коллежский секретарь — чин X класса по Табели о рангах; ему обычно соответствовала должность младшего помощника столоначальника в департаментах министерств. В данном случае чин свидетельствует либо о том, что Обломов вышел из университета с ученой степенью кандидата (именно эта степень давала право на получение чина X класса при вступлении в государственную службу), либо о соответствующей выслуге лет. Упоминание о чине Ильи Ильича вступает в противоречие как с тем, что сообщается в главе VI о его нерадивом учении, так и с тем, что говорится о характере и продолжительности его службы «канцеляр-

ским чиновником» («...прослужил кое-как года два...»). По тем данным, которые имеются в тексте романа, определить происхождение чина Обломова невозможно. Ср. текст утвержденного 25 июля 1834 г. «Положения о порядке производства в чины по гражданской службе»: «Имеющие ученые аттестаты высших учебных заведений производятся, при доброй нравственности и похвальной службе, за выслугу лет: из 14 в 12 класс чрез 3 года. Из 12 в 10 класс чрез 3 года. (...) Имеющие вышеозначенные аттестаты могут быть представляемы за особые отличия: из 14 в 12 класс чрез 2 года. Из 12 в 10 класс чрез 2 года» (ПСЗ. Т. 9. Отд. I. С. 659). Согласно университетскому уставу, утвержденному в 1835 г., «удостоенные ученых степеней утверждаются, при вступлении в гражданскую службу, в следующих классах: доктор в 8, магистр в 9, кандидат в 10. Студенты, с успехом окончившие университетский курс, получают, на том же основании, 12 класс» (Там же. Т. 10. Отд. I. С. 851). Родовые дворяне, вступавшие в службу без всякого чина — «канцелярскими служителями», первый чин (14 класс) получали по истечении двух лет службы (Там же. Т. 2. С. 896). См., кроме того, сенатский указ от 25 января 1837 г. «О поступлении в гражданскую службу молодых людей из дворян»: «Отныне впредь поступающих вновь на службу молодых людей дворянского происхождения или имеющих по учебным их аттестатам право на классные чины, так как они пользуются в службе значительными пред другими преимуществами, не определять прямо в департаменты и канцелярии министерств и отдельных управлений, прежде чем они прослужат по крайней мере три года в местах губернских или им равных, в столицах или вне оных, дабы доставить означенным местам возможность открывшиеся в оных вакансии замещать людьми, получившими хорошее образование, а молодым людям тем случай приобрести навык к делам». В Дополнении к указу уточнялось: «Молодых дворян (...) которые определяются на службу в губернии, распределяют, по усмотрению губернаторов, в их канцелярии, в губернские правления, в палаты гражданского и уголовного суда или казенную в звании писцов, или чиновников для письма» (Там же. Т. 12. Отд. I. С. 58, 59). Характерно, что в первоначальной редакции части первой было: «губернский секретарь чином» (наст. изд., т. 5, с. 79), т. е. имелся в виду чин XII класса по Табели о ран-

гах. Сам Гончаров окончил Московский университет со степенью действительного студента, дававшей право на получение именно этого чина (см. об этом подробнее: наст. изд., т. 1, с. 762, 764, примеч. к с. 219, 235).

С. 55. *Но он всё сбирался и готовился начать жизнь...* — Как отметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 692), это возможное заимствование из поэмы В. С. Филимонова «Дурацкий колпак» (1828); ср.: «Я все откладывал, все медлил наслаждаться. / Я все *сбирался жить...*» (Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 145 («Б-ка поэта»; Большая сер.)).

С. 56. *...писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли записками...* — См. выше, с. 495, примеч. к с. 24.

С. 57. *Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина...* — См. выше, с. 507—509, примеч. к с. 54.

С. 57—58. «В этом свидетельстве сказано было ~ и всякой деятельности». — По мнению Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 656—657), выданный Обломову документ является своеобразной пародией Гончарова на стиль и характер медицинских рекомендаций и документов того времени. На это указывает, в частности, полученная самим Гончаровым справка врача Д. Ф. Обломиевского, необходимая для предоставления писателю «заграничного отпуска для лечения». Вот ее текст, датированный 6 марта 1859 г.: «Сим свидетельствую, что г-н статский советник Иван Александрович Гончаров давно страдает от брюшного полнокровия приливами крови к голове, бессонницею, трудным пищеварением, головными болями, ипохондрическим раздражением (*1 нрзб*), что употребленные им на месте в 1857-м году мариенбадские воды доставили ему большое облегчение, которым он пользовался около году, но потом, от сидячего рода жизни и усиленных занятий, снова оказались те же припадки и достигли прежнего развития. Почему полагаю для его необходимым снова употребление у источника той же мариенбадской воды, а чтоб упрочить ее действие, после вод для развлечения путешествие в течение полутора месяца и, наконец, купанье в Средиземном море» (РГИА, ф. 772, оп. 1, № 4807, л. 3—3 об.).

С. 58. *...два-три непривилегированные поцелуя...* — Непривилегированный — здесь: официально не разре-

шенный, не узаконенный (ср.: наст.изд., т. 1, с. 527; т. 2, с. 332). Ср. также выражение «омут непривилегированных поборов» (о поборах, которые «и не назывались взятками») в очерке «На родине».

С. 59. ...«мучительные дни и неправедные ночи»... — Слова из романа Н. Ф. Павлова «Не называй ее небесной» (первая половина 1834) на музыку М. И. Глинки. Впервые: Романсы и песни М. Глинки. СПб., 1834. Ср.:

Вглядишь в пронзительные очи —
Не небом светятся они:
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные дни.

(Павлов Н. Ф. Соч. М., 1985. С. 232).

Позднее стихотворение (под назв. «Романс») было положено на музыку А. С. Даргомыжским, Ю. Э. Нагелем, Б. А. Фитингоф-Шеллем; в песенники включалось с 1860-х гг. Строку из этого романа («...гаснет вера в лучший край») Гончаров вспоминает и в «Обрыве» (глава XIII части первой); указано: Гейро Л. С. О проблемах научного издания Гончарова // РЛ. 1982. № 3. С. 131; ЛП «Обломов». С. 657.

С. 61. — *И ты, Брут, против меня!..* — Перефразировка (в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599; д. 3, явл. 1)) легендарных слов Гая Юлия Цезаря (102 или 100—44 до н. э.), обращенных к Марку Юнию Бруту (85—42 до н. э.).

С. 62. ...*под ферулой мысли и науки.* — Ферула (лат. *ferula*) — розга; здесь в значении: строгие правила.

С. 63. *Начальник заведения, подписью своею на аттестате ∞ Он учился всем существующим и давно не существующим правам, прошел курс и практического судопроизводства...;* см. также с. 360: ...*я проходил и высшую алгебру, и политическую экономию, и права...* — В окончательном тексте романа нет прямых указаний на то, что Обломов окончил университет. В первоначальной редакции части первой «заведение», куда Обломова определили шестнадцати лет, называлось то «школой», то «пансионом», то «училищем» (см.: наст. изд., т. 5, с. 102, 103, 108, 109). Однако из перечня пройденных им предметов все же следует, что Обломов учился на юридическом факультете университета, как Александр Адуев в «Обыкновенной истории» (ср. пройденные последним «богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипло-

мацию, политическую экономию» — наст. изд., т. 1, с. 215 и примеч. к ней) и Борис Райский в «Обрыве». На этом факультете учился старший брат писателя (см. о нем: *Макеев А. Г. Н. Потанин о Николае Александровиче Гончарове* // Материалы юбилейной гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 278—284).

С. 64. ...как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель... — См. выше, с. 503—504, примеч. к с. 40.

С. 65.. ...Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире. — Как отметила Е. И. Ляпушкина, «сама ситуация, когда герой живет в мире, созданном его воображением, есть своего рода цитата из поэзии начала века» (Ляпушкина. С. 110). Эта ситуация характерна и для романтической прозы 1830-х гг., особенно эпигонской (например, ранние повести И. И. Панаева). Ср. пародирующие этот мотив замечания об Александре Адуеве в «Обыкновенной истории»: «Он называл это *творить особый мир* и, сидя в своем уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нем, а на службу ходил редко...»; «...а ночью он уходил в свой особенный, сотворенный им *мир* и продолжал творить» (наст. изд., т. 1, с. 265, 268). Ирония Гончарова направлена на важнейшую в романтической эстетике идею ухода от низкой «существенности» в «идеальный» мир мечты. В 1840-е гг. мотив «ухода» стал общим местом расхожего, «бытового» романтизма (см. подробнее: наст. изд., т. 1, с. 768—769).

С. 65. ...испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремление куда-то вдаль, туда... — «Тоска», «стремление куда-то вдаль, туда» — поданные в ироническом освещении романтическое «Sehnsucht» (нем. тоска, томление) и «Dahin!» (нем. «Туда!»). «Dahin, dahin...» — рефрен в песне Миньоны из романа И.-В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796; кн. III, гл. 1), утвердившийся в русской поэзии как «традиционная формула романтического томления» (Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 112). В статье «Русская литература в 1845 году» (1845) о мечтательности «романтических ленивцев» В. Г. Белинский отзывался с едкой иронией: «...небрежно, в сладкой задумчивости, опустив руки в пустые карманы, прогуливаются они по дороге жизни, глядя все вперед, туда, в туманную даль {...}. Их призвание — страдать, и они горды своим

призванием. Не спрашивайте их, по чем, отчего они страдают: они презирают страдание, которое можно объяснить какою-нибудь причиною. Они любят страдание для страдания» (Белинский. Т. VIII. С. 8—9).

С. 66. *Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит...* — Наполеон I (Наполеон Бонапарт) — французский император в 1804—1814 и в марте—июне 1815 гг. («сто дней»), в результате победоносных войн значительно расширивший территорию империи. Еруслан Лазаревич — былино-сказочный и лубочный герой, близкий образу Ильи Муромца, символ богатырства и рыцарства. Сюжет сказки о Еруслане, восходящий к поэме Фирдоуси «Шахнаме» и другим эпическим поэмам Востока (сказания об Арслане-льве, Уруслане, Рустеме и др.), был перенесен на Русь предположительно в XIII—XV вв. и впервые зафиксирован в рукописных списках середины XVII в. Повествование о Еруслане в XVIII—XIX вв. широко бытовало как в устной (сказка и былина), так и в рукописной и печатной традициях — в сказочных сборниках, многочисленных лубочных изданиях; в последних сказка приобрела черты волшебного-рыцарского романа и повсеместно читалась наряду с лубочными романами о Бове-королевиче (см. ниже, с. 522, примеч. к с. 116), Францыле Венециане, Английском милорде, Петре Златых Ключей и проч. Среди литературных обработок сюжета — использование мотива боя с головой в «Руслане и Людмиле» (1816) А. С. Пушкина. Свидетельства о популярности сказки о Еруслане оставили В. Л. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский и многие другие авторы (см. подробнее: *Пушкарёв Л. Н.* Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980). Характерна запись М. Ю. Лермонтова в альбоме В. Ф. Одоевского: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжкого сна — и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия» (*Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. VI. С. 384—385). В «Автобиографии» (1858) Гончаров писал о том, что в детстве, «находя в лакейской в доме у себя сказки о Еруслане Лазаревиче, Бове-королевиче и другие, читал и их».

С. 66. *...или устроит он новые крестовые походы...* — Восемь крестовых походов на Ближний Восток (в Сирию, Палестину, Северную Африку) под лозунгом борьбы против «неверных» и освобождения «гроба Господня» были предприняты в 1096—1270 гг. В результате 1-го похода (1096—1099) крестоносцами был захвачен Иерусалим, в результате 4-го (1202—1204) — Константинополь.

С. 67. *Он был уже не прямой потомок тех русских Калемов...* — Имеется в виду Калев Бальдерстон — дворецкий графа Равенсвуда в романе Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» (1819; рус. пер. — 1827). «Русским Калемом» В. Г. Белинский назвал Савельича в «Капитанской дочке» (см.: *Белинский*. Т. VI. С. 490, 647). Это сопоставление повторил И. С. Тургенев в повести «Бригадир» (1867) (см.: *Алексеев М. П.* «Бригадир» // Тургеневский сб. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 256—257).

С. 67. *...рыцарей лакейской, без страха и упрека...* — Рыцарем без страха и упрека был прозван французский воин Пьер дю Террайль Баярд (1476—1524). Источник выражения — книга «La très-joyeuse et tres-plaisante histoire (...) des faits et gestes du bon chevalier sans peur et sans reproche, le chevalier Bayart...», написанная слугой Баярда и изданная в 1527 г.

С. 67. *...норовит усчитать ∞ гривенник и непременно присвоит ∞ медную гривну...* — Гривенник — 10 копеек серебром; гривна 10 копеек медью.

С. 70. *Транспарант* (фр. transparent — прозрачный) — рамка с прозрачной тканью или бумагой с рисунком, рассеивающая свет.

С. 75. *Приходили показывать и зверя морского...* — «Зверь морской» — это, по свидетельству Д. В. Григоровича в очерке «Петербургские шарманщики» (1845), «тюлень, заключенный в ящике и показываемый толпе с обычным присловием: „Посмотрите, господа, на зверя морского“...» (Физиология Петербурга / Изд. подгот. В. И. Кулешов. М., 1991. С. 53. («Лит. памятники»)). Сцена со «зверем морским» есть и в водевиле Ф. А. Кони «Петербургские квартиры» («Квартира четвертая. Журналиста на Козьем болоте»); во дворе дома журналиста Задырина (Ф. В. Булгарина) раздаётся пение: «Выходите, господа, / Посмотрите, господа, / На зверя морского, / На зверя морского!» (Пантеон. 1840. № 10. С. 43).

С. 75. ...несколько серьезных, коренных статей об оброке, о запашке...; см. также с. 266: *говорит о запашке...* — Запашка — общая площадь вспаханных земель.

С. 84. — *Поезжайте в Киссинген или в Эмс или в Тироль...* — Киссинген в Баварии, на юге Германии, и Эмс на западе — знаменитые курорты с минеральными источниками. Гончаров был в Киссингене в 1868 и 1869 гг. Тироль — альпийская область Австрии.

С. 85. ...*сядьте в Англии на пароход да прокатитесь до Америки...* — В начале 1850-х гг. плавание из Европы в Америку занимало около двух недель. Ср. замечание во «Фрегате „Паллада”»: «...из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, — пуф, шутка, конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания» (наст. изд., т. 2, с. 13; т. 3, с. 543).

С. 90. ...*ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать.* — На то, что сцены «пропекания» Захара сближают роман Гончарова с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, впервые обратил внимание Д. Н. Овсянко-Куликовский (см.: *Овсянко-Куликовский 1989. Т. 2. С. 240*). Ср. у Н. В. Гоголя: «...а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех...» — и далее: «Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер...» (*Гоголь. Т. VIII. С. 324*).

С. 91. *Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе.* — Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — Имеется в виду народная «любовная» песня XVIII в. «Чем тебя я огорчила...» или же совпадающая с ней первым стихом песня А. П. Сумарокова «Чем тебя я оскорбила...» (<1770>; в песенниках варианты: «огорчила», «досадила»); см.: *Новикова А. М. Русская поэзия XVIII—первой половины XIX века и народная песня. М., 1982. С. 35; Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 1. С. 79—80, 575. («Б-ка поэта»; Большая сер.). В первоначальной редакции части первой романа песня названа точно: «...он отвечал барину известной песней чем тебя я огорчила, только в прозе» (наст. изд., т. 5, с. 157).*

С. 92. ...не поработает, так и не поест. — Отсылка к новозаветной заповеди (2 Фес. 3: 10).

С. 93. ...определил ему ∼ отсыпной хлеб... — Отсыпной хлеб (или отсыпное) — мера хлеба, зерна, выделяемая как паек.

С. 95. «А может быть, еще Захар постарается так уладить ∼ авось обойдутся ∼ ну, как-нибудь да сделают! ∼ и, наконец, в этих примирительных и успокоительных словах авось, может быть и как-нибудь... — Слово «авось», входящее в состав многих пословиц и поговорок, начиная с XVIII в. стало своеобразным языковым мифом, отразившим особенности русского национального характера и мировосприятия и соотносимым с понятием «русский Бог». Ср., например: «Авось, небось да как-нибудь первые супостаты наши»; «Русский Бог — авось, небось да как-нибудь», а также очерк В. И. Даля «Три супостата»: «...русский-де человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь» (Полн. собр. соч. Владимира Даля (Казака Луганского): [В 10 т.] М., 1897. Т. VI. С. 324). Широкое хождение в списках имело стихотворение И. М. Долгорукова «Авось» (1798); в стихотворении П. А. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» ((1810)) есть строки: «У вас авось — / России ось — / Крутит, вертит, / А кучер спит»; ср. также в главе десятой «Евгения Онегина»: «Авось, о Шиболет народный, / Тебе б я оду посвятил...». И далее: «Авось, аренды забывая, / Ханжа запрется в монастырь, / Авось по манью Николая / Семействам возвратит Сибирь (...) / Авось дороги нам исправят...». См. подробнее: Рейсер С. А. «Русский бог» // Изв. АН СССР. Отд.-ние лит. и яз. 1961. Т. 20. Вып. 1. С. 69; Лотман. Комментарий. С. 402—404; Отин Е. С. А во се, авось и авоськать // Рус. речь. 1983. № 4. С. 121—122; Попова Е. А. «Авось, о Шиболет народный...» // Там же. 2000. № 6. С. 96—101. Гончаров заметил во «Фрегате „Паллада“»: «...говорят, что беспечность в характере русского человека: полноте, она в характере — просто человека» (наст. изд., т. 2, с. 551).

С. 95. ...как в ковчеге завета отцов наших... — Изначально ковчег завета — ларец, в котором хранились скрижали со священным древнеиудейским текстом («Законы Моисея»); ср.: «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними...» (Чис. 10:33). Упоминается во Второзаконии, книгах Иисуса

Навина, Судей, 1-й, 2-й, 3-й Книгах Царств, Иеремии, Ездры и др.

С. 98. ...нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого; см. также с. 99: *Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека ~ когти и зубы дикого зверя...* — Здесь, как позднее во «Фрегате „Паллада”» (глава «Плавание в Атлантических тропиках»), подчеркиваются и декларируются антиромантические мотивы. Об Обломовке как «мире, чуждом романтическому сознанию», как «явно неромантическом» см. подробнее: *Отрадин. С. 76—78; Бёмиг М. «Сон Обломова»: Апология горизонтальности // Гончаров. Материалы 1994. С. 31—32; Ляпушкина Е. И. Миф в художественной структуре «Сна Обломова» // Имя — сюжет — миф: Межвуз. сб. / Под ред. Н. М. Герасимовой. СПб., 1996. С. 112—113; и др. «Очень может быть, — пишет М. В. Отрадин, — что, подчеркивая неэкзотичность обломовского уголка, где протекало детство героя романа {...} Гончаров спорит с Карамзиным, который писал в „Рыцаре нашего времени”: „Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя-тремя словами, но который описывать подробно не советую никакому стихотворцу. Страшные дикие скалы, шумные реки, черные леса, африканские пустыни действуют на воображение сильнее долин Темпейских”» (*Отрадин. С. 77; приведенная цитата: Карамзин. Т. 1. С. 587*).*

С. 100. ...воздуха, напоенного — не лимоном и не лавром... — Реминисценция из «Каменного гостя» (1830); ср. у Пушкина: «Недвижим теплый воздух, ночь лимоном / И лавром пахнет...» (сцена II). В 1840-х гг., когда была написана и опубликована глава «Сон Обломова», Испания оставалась модной темой в русской поэзии и драматургии; см.: *Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964. С. 171—206; Алексеев М. П. «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия // Алексеев М. П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С. 190; Егоров Б. Ф. В. П. Боткин — автор «Писем об Испании» // Боткин В. П. Письма об Испании / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, А. Звигильский. Л., 1976. С. 265. («Лит. памятники»).*

Ср. также отзыв В. Г. Белинского о «Каменном госте» в статье одиннадцатой о Пушкине (1846): «...какие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимоном и

лавром пахнет!..» (Белинский. Т. VI. С. 483). Увлечение испанским колоритом в 1850-х гг. стало предметом пародий; ср. стихотворение Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем» (С. 1854. № 2. Отд. «Литературный ералаш». С. 15—16). Та же реминисценция возникает во «Фрегате „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 83).

С. 101. ...и вечер тепел там, и ночь душна. — Возможная шутивая реминисценция из песни второй пушкинской «Полтавы» (1828—1829): «Тиха украинская ночь. ∞ И летней, теплой ночи тьма / Душна, как черная тюрьма».

С. 101. Грозы не страшны, а только благотворны там ∞ не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе. — Ильин день (пророка Илии) — 20 июля. По народным преданиям, «Илья пророк управляет громом и молнией, и в то время, когда слышны раскаты грома в воздухе, народ набожно крестится и верит, что это едет Илья пророк в своей огненной колеснице» (Забылин. С. 96). «Повсюду на Руси он именуется „грозным“, и повсюду день, посвященный его памяти (20 июля), считается одним из самых опасных. Во многих местах крестьяне даже постятся всю ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев пророка и спасти от его стрел свои поля, свои села и скотину. Самый же день 20-го июля крестьяне называют „сердитым“ и проводят его в полнейшей праздности, так как даже пустая работа считается великим грехом и может навлечь гнев Ильи. Если в этот день на небе появятся тучки, народ с боязнью следит за ними глазами; если дело доходит до грозы, то боязнь эта переходит в панический страх: все население забивается в дома, затворяет наглухо двери, занавешивает окна и, зажигая перед образом четверговые свечи, молит пророка сложить гнев на милость» (Максимов. С. 395).

С. 101. Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. — Египетские язвы — одно из десяти бедствий, ниспосланных на Египет (Исх. 7:12—25); ср.: «и наведет на тебя все язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе» (Втор. 28:60); «Тогда они воззвали к Богу своему, — и Он поразил всю землю Египетскую неисцельными язвами» (Юд. 5:12); «Посещу живущих в земле Египетской, как Я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровую язвою» (Иер. 44:13).

С. 101. ...ни шаров огненных, ни внезапной темноты... — Об огненных шарах см. ниже, с. 524—525, примеч. к с. 117. «Всякое затемнение, лунное и солнечное, по уверению грубых невежд, значит неотменно общественное несчастье, то есть или мор, или войну, наводнения, пожары и прочая, и даже доныне никто уверить не может сей сожальный человеческий род, что то неотменное действие натуры...» (Чулков. С. 197—198). Мотив внезапной темноты может восходить и к Библии; ср.: «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою»; «За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие...» (Иер. 13:16; 23:12).

С. 101. ...не водится там ядовитых гадов... — Один из библейских мотивов; ср., например: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых» (Чис. 21:6); «А сынов Твоих не одолели и зубы ядовитых змиев, ибо милость Твоя пришла на помощь и исцелила их» (Прем. 16:10).

С. 101. ...саранча не залетает туда... — Развитие библейского сюжета «египетских язв» (см. выше); ср.: «Тогда Господь сказал Моисею: прости руку твою на землю Египетскую, и пусть нападет саранча на землю Египетскую и поест всю траву земную [и все плоды древесные], все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю Египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи и после сего не будет такой; она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле Египетской» (Исх. 10:12—15). Также в Апокалипсисе: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы»; «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней

как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие» (Откр. 9:3, 7).

С. 101. ...нет ни львов рыкающих, ни тигров реву-щих... — Выражение «львы рыкающие» восходит к Библии; ср., например: «раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий»; «львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе» (Пс. 21:14; 103:21); «Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом» (Пс. 28:15); «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).

С. 102. ...никто и не знал, что за луна такая, — все называли ее *месяцем*. — Луна упомянута здесь (наряду с розой, соловьем) как один из банальных литературных «поэтизмов» и именно в этом качестве противопоставлена «фольклорному» месяцу. В славянской мифологии «Солнце и Месяц были представляемы в родственной связи — или как сестра и брат, или как супруги {...} по славянским преданиям, от божественной четы Солнца и Месяца родились звезды». Вместе с тем «названия, придаваемые месяцу и звездам, так же колебались между мужским и женским родом, как и названия солнца... Как месяц представляется мужем богини солнца, так луна, согласно с женскою формою этого слова, есть солнцева супруга...» (Афанасьев А. Н. *Древо жизни*: Избр. статьи. М., 1983. С. 42—43). О солярной стихии в романе и анти-тезе «солнце — луна» см.: Бёмиг М. «Сон Обломова»: Апо-логия горизонтальности. С. 32; Фаустов А. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека. Тарту, 1990. С. 8, 12.

С. 102. ...эпизод о войне двух роз... — Война алой и белой розы (1455—1485) — междоусобная война за английский престол между двумя ветвями династии Плантагенетов — Ланкастерами (алая роза в гербе) и Йорками (белая роза в гербе). Гибель в войне главных представителей обеих династий облегчила установление абсолютизма Тюдоров. Династия Плантагенетов упоминается Гончаровым во «Фрегате „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 215).

С. 102. ...картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта. — Исключительная популярность в России исторических романов Вальтера Скотта (Scott, 1771—1832) относится к 1820—1830-м гг.; именно тогда, по словам А. А. Григорьева,

«шотландский бард» возбуждал «восторг до поклонения, обожание до нетерпимости»; в 1840-е гг. он «отошел уже для нас в прошедшее, — не возбуждает уже в нас прежних восторгов — тем менее может возбуждать уже фанатизм» (Григорьев. *Воспоминания*. С. 77). См. подробнее об увлечении «картинами» В. Скотта: *Левин Ю. Д.* Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // *Эпоха романтизма: Из истории международных связей русской литературы*. Л., 1975. С. 5—67; *Долинин А. А.* История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988; *Манн Ю. В.* В. Скотт в русском эстетическом сознании // *Проблема автора в художественной литературе: Сб. трудов*. Ижевск, 1993. С. 196—206.

По признанию Гончарова в Автобиографии (1858), он еще в юношеские годы обратился «к новейшей эпопее Вальтера Скотта и изучил его пристально». На опыт Скотта Гончаров так или иначе ориентировался в работе над несохранившимся романом «Старики» (1843—1844), по поводу которого В. Андр. Солоницын писал его автору 25 апреля 1844 г.: «Вы хвалите Скотта. Но потрудитесь взглянуть, исполнил ли он хоть в одном из своих романов то, чего Вы от себя требуете. Нет, не исполнил. Он шел совсем по другой дороге: он хотел только занимать, возбуждать любопытство и ничего более. Между тем романы его считаются образцовыми. Картинами и эффектами презирать также не должно: ими не презирал ни один романист; Скотт ими питался. Разумеется, впрочем, что эффекты должны быть умеренные, естественные...» (*Груздев А. И.* В. А. Солоницын о неизвестном романе И. А. Гончарова // *Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена*. 1948. Т. 67. С. 112; см. об этом подробнее: наст. изд., т. 1, с. 623—624).

Ирония писателя в «Обломове» по поводу поэтического инвентаря Скотта, в целом характерная для постромантической эпохи 1840-х гг., не отразилась на его позднейших оценках. Так, в статье «Непраздничные заметки» (1875) английский романист назван «лучшим истолкователем истинного смысла исторических событий» (ср., кроме того, «〈Материалы, заготавливаемые для критической статьи об Островском〉» (1874), «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» (1876)). Скотта Гончаров упоминает также в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 403), в «Обрыве» (среди «тысяч двух томов» домашней

библиотеки — глава X части первой). Об отражении творчества Скотта в прозе Гончарова см.: наст. изд., т. 1, с. 704—705; *Мазон*. Р. 316, 326; *Жиякова И. М.* И. А. Гончаров и Вальтер Скотт // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 13. С. 197—214; *Краснощекова*. С. 446—448; и др.

С. 104. *Подать* — взнос в казну с так называемых податных (т. е. не избавленных от этого взноса) сословий — крестьян, мещан, купечества.

С. 104. ...*чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке...* — Землянка — «баня в земле {...}. Черная баня в огороде» (Словарь русских народных говоров. Л., 1976. Вып. 11. С. 258). Слово «землянка» в значении «баня» было распространено на родине Гончарова, в Поволжье (на территории бывших Уфимской и Казанской губерний).

С. 105. *Сажень* — 2.134 м.

С. 105. ...*сельцо Верхлёво...* — Л. С. Гейро отметила различие между «селом» и «сельцом» (см.: *ЛП «Обломов*. С. 660): «сельцом» называлась деревня, где располагалась усадьба владельца (без церкви); «селом» — деревня с церковью (ср.: *Даль*. Т. 4. С. 172; *Забылин*. С. 452). Далее в тексте романа Верхлёво называется селом (наст. изд., т. 4, с. 152).

С. 106. ...*беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей...* — Девчонка (или девка) — название крепостной женской прислуги независимо от возраста.

С. 109. ...*да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.* — Ю. М. Лотман, комментируя «Евгения Онегина» (строка «Унынным голосом поют...»), отмечает, что «мысль об „унылом” характере русских песен высказывалась Пушкиным несколько раз», и приводит также слова В. Г. Белинского: «Грусть есть мотив нашей поэзии — и народной и художественной» (*Лотман. Комментарии*. С. 384).

С. 110. *Какие телята утучнялись там к годовым праздникам!*; см. также с. 386: ...*всё это достойно ознаменовало годичный праздник.* — «Годинный, годовинный — до години, до известной поры или времени относящийся» (*Даль*. Т. 1. С. 365). Здесь: годовой (годичный) праздник — именины.

С. 111. ...*подле своей пешни...* — Пешня — тяжелый том на деревянной рукоятке.

С. 116. ...*а потом женится на какой-нибудь неслышанной красавице Милитрисе Кирбитьевне.* — Речь идет о героине лубочной повести (сказки) о Бове-королевиче. Авантюрно-рыцарский сюжет повести, возникший в средневековой Франции, приобрел популярность во многих странах Европы; на Руси известен с середины XVI в.: «...на русской почве это произведение (...) постепенно теряло облик переводного рыцарского романа, превращалось в любовную авантюрную „гисторию” с элементами богатырства» (Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964. С. 48). Во всех известных вариантах повести (рукописных, лубочных, сказочных) «прекрасная Милитриса» — «злодейка», устойчивый отрицательный персонаж: влюбленная в королевича Дадона, она по воле своего отца Кирбита выходит замуж за старика Гвидона, которого убивает в сговоре с Дадонем, чтобы затем соединиться с возлюбленным. Сын Милитрисы от Гвидона — королевич Бова, вынужденный из-за жестоких преследований матери покинуть королевство, мстит ей за прелюбодеяние и убийство отца (см. о вариантах сюжета подробнее: Там же. С. 17—132).

Ср. использование того же образа в фарсе В. К. Кюхельбекера «Нашла коса на камень» (1839), представляющем собой переделку шекспировской пьесы «Укрощение строптивой». У Кюхельбекера хан Кирбит имеет «двух красавиц-дочерей: старшую, строптивую и злую Меликтрису, и младшую, кроткую, послушную Роксану». Сюжет фарса выстраивается как «укрощение» Меликтрисы (см.: Левин Ю. Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988. С. 68). Ср. также слова барыни Плодомасовой о женской прислуге в «Соборянах» Н. С. Лескова: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчут, да в гостиницах по коридорам расхаживают, да знакомятся...» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. IV. С. 140).

С. 116. ...*о подвигах наших Ахиллов и Улиссов...* — Ахилл — один из героев, осаждавших Трою; Улисс (Одиссей) — герой троянского цикла мифов, царь Итаки. Об античных мотивах в «Сне Обломова» см.: Мельник В. И. Античность в романе И. А. Гончарова «Обломов»: (К вопросу о своеобразии типизации) // Структура литературно-

го произведения: Межвуз. сб. Владивосток, 1983. С. 86—96; *Мельник 1995*. С. 32—39, 43—48.

С. 116. ...об удали *Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича...* — Упомянуты «старшие» богатыри русского былинного эпоса (киевский цикл).

С. 116. ...о *Полкане-богатыре...* — Полкан-богатырь — персонаж сказки о Бове-королевиче (см. выше), противник Бовы, полуконь-получеловек (кентавр).

С. 116. ...о *Колечище прохожем...* — «„Калеки перехожие” — древнейшее, общее и более употребительное в народе название для странников, убогих и им подобных; они же отчасти слагатели, а еще более носители и певцы стихов, народных произведений, в которых творчество устремлено к предметам веры, к содержанию преимущественно духовному» (Калики перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1861. Вып. 1. С. 1). В собрании П. А. Бессонова под рубрикой «Каковы были калеки перехожие в старину на Руси» приводится духовный стих «Сорок калик со каликою» с вариантами (Там же. С. 7—20). Стих бытовал и в качестве былины: странники имеют богатырский облик, совершают богатырские подвиги, «стих» сказывается на былинный лад. «Ради паломничества к религиозным местам калики могли создавать сплоченные, хорошо организованные группы, которые подчинялись строгим правилам и имели во главе атамана» (*Путилов Б. Н.* Примечания // *Былины*. Л., 1986. С. 532. («Б-ка поэта». Большая сер.)). Калечища, калика — «паломник, странник, богатырь в смирении, в убожестве и богоугодных делах {...}. Ныне — нищий, распевая стихи, псалмы, духовные песни»; «нищенствующий, милосердный богатырь; калики перехожие, в виде смирения, искали подаяния, гостеприимства и в то же время богатырских походов» (*Даль*. Т. 2. С. 78, 80). Калики перехожие действуют в былине «Исцеление Ильи Муромца», а также в сказке «История о славном и храбром богатыре Илье Муромце и о Соловье-разбойнике». Написание «колека» («колика») встречается редко (ср.: *Общий церковно-славяно-русский словарь...* СПб., 1834. Стб. 1173).

С. 117. *Она с простотою и добродушием Гомера ввела в детскую память и воображение илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами...* — Первоначально гомериды — корпорация древнегреческих эпических певцов

(рапсодов) на о. Хиос, исполнявших поэмы Гомера и создававших подражания ему; впоследствии гомеридами назывались авторы, занимавшиеся созданием гимнов в стиле гомеровского эпоса. Ср. определение в словаре петрашевцев: «Значение этого слова до сих пор не решено филологами. Можно полагать, что так назывались древние греческие народные песни, которые переходили из рода в род, от отца к сыну, как бы по наследству. Возникает вопрос: не означает ли и слово *Гомер* — сборник таких гомерид, только олицетворенный греками» (*Словарь 1845—1846*. Вып. 1. С. 43).

С. 117. ...и у *Алеша Поповича* искал защиты от окружавших его бед... — Алешу Поповича отличает от других былинных богатырей не сила (иногда даже подчеркивается его слабость, хромота), но находчивость, сметливость, хитроумие и лукавство.

С. 117. *А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары...* — Характерное смешение христианской и языческой символики. Образ огненного столпа восходит к библейским текстам; ср.: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исх. 13:21; также: Исх. 13:22; 14:24; Чис. 14:14; Неем. 9:12, 19). Кроме того: «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные...» (Откр. 10:1). Огненные шары в народных поверьях — летающие змеи, демоны: «О грозных демонах (великанах и чертях) рассказывают, что они, убегая от преследований громовника, скатываются с облачных гор в виде пламенеющего клубка или шара; по свидетельству русских сказок, змеиные города и дворцы (громовые тучи) свертываются в медное, серебряное и золотое яйца или шары и катятся вслед за сказочными героями»; «Змей, говорят крестьяне, летит по поднебесью в виде огненного шара и рассыпается искрами, словно горячее железо, когда его куют молотом...» (*Афанасьев А. Н. Древо жизни*. С. 131, 255); «Известно всем и каждому на Руси, что такое за диво огненный змей. Все знают, зачем он и куда летает; но вслух об этом никто не решается говорить. Огненный змей не свой брат; у него нет пощады: верная смерть от одного удара» (*Сахаров*. С. 233). Ср.: «*Огненные змеи*. Воздушный метеор, который часто ви-

дим несущимся по воздуху в виде длинной и широкой ленты из красноватых искр, летящей или наклонно, или горизонтально. Русские люди считают его злым духом или огненным змеем, посещающим в вечернее или ночное время вдову или девицу, скучающих одинокой жизнью...» (Забывлин. С. 266). См. также: Пузырев Н. Летучие, огненные змеи // Этногр. обозрение. 1897. № 4. С. 126—127.

С. 117. ...и допрашивались причин у немых, неясных иероглифов природы. — Ср. определение поэзии в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) В. Г. Белинского: «Поэзия — <...> тот божественный пафос, в котором земное сияет небесным, а небесное сочетается с земным, и вся природа является в брачном блеске, разгаданным иероглифом помирившегося с нею духа...» (Белинский. Т. III. С. 229—230).

С. 119. ...что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган... — Обычай показывать в балаганных представлениях всевозможных уродцев (карликов, великанов и проч.) сохранялся до середины XIX в. Балаганы устраивались в Петербурге на масленой и Святой неделе; главным местом «гульбищ» городской публики была Адмиралтейская площадь (см. ниже, с. 584, примеч. к с. 475).

С. 120. ...в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке; см. также с. 329: Этакой холод, а я только в ваточной шинели... — Я тоже в ваточном платье. — Плис (швед. plys) — хлопчатая ткань с ворсом; ваточный — стеганный, на вате.

С. 121. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших... — Имеется в виду кара за грехопадение Адама: «...в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:19).

С. 122. ...с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. — Веста в римской мифологии — богиня священного очага городской общины, курии, дома. Жрицы Весты, весталки, поддерживали в очаге храма Весты постоянный огонь как символ надежности и устойчивости. Ср. обращение к тому же образу в «Обыкновенной истории» и «Пепиньерке» (наст. изд., т. 1, с. 267, 518). Выражение «священный огонь» (фр. feu sacré) неоднократно используется Гончаровым в публицистике, мемуарах, письмах.

С. 122. ...заговенья, розговенья... — Заговенье — последний день, когда можно употреблять мясную пищу, канун поста; розговенье — первый день после поста.

С. 122. *Они отступятся от весны ∞ если не испекут в начале ее жаворонка*; см. также с. 375: *В марте напекли жаворонков...* — Речь идет о народном обычае встречать («кликать») весну. В разных областях России встреча весны совпадала с днем Св. Евдокии (1 марта), днем сорока мучеников (9 марта, по-народному «сороки») или Благовещеньем (25 марта). «Сороки, с полным основанием, можно назвать детским праздником: еще накануне женщины месят из ржаной муки тесто и пекут „жаворонков” (в большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками), а утром, в день праздника, раздают их детям. <...> Когда жаворонки поспеют, дети берут их и громадной гурьбой, с криками и звонким детским смехом, несут куда-нибудь в сарай или под ригу — закликать жаворонков. Там они сажают своих птиц, всех вместе, на возвышенное место и, сбившись в кучу, начинают что есть мочи кричать: „Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела”. <...> Так продолжается до самого обеда: деревня полна детских песен, детского крика, детского смеха. Набегавшись вволю, ребятишки опять собираются в одно место и начинают есть своих ржаных птиц» (Максимов. С. 293—294; также: Сахаров. С. 250; Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. С. 41—44). Кроме жаворонков в день встречи весны пекли и куликов (отсюда одно из названий праздника — «кулики»).

С. 123. ...*которая уселась было под галереей с донцом ∞ пошла за мочками*. — Донце — «дощечка, на которую садится у нас пряжа, втыкая в нее же гребень или кудель» (Даль. Т. 1. С. 441); мочка — вычесанный и свернутый пучок льна для прядения, кудель.

С. 124. ...*у предводителя в дому!* — Имеется в виду предводитель дворянства, избравшийся на трехлетие губернским или уездным дворянским собранием.

С. 125. ...*жестким диваном, обитым полинялым голубым бараканом...* — Баракан (баркан) — «плотная шерстяная ткань для обивки мебели, в коей нити основы вдвое толще и круче нитей утока» (Толль. Т. 1. С. 211).

С. 127. *Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обра-*

ния капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. — См. выше, с. 503—504, примеч. к с. 40.

С. 128. *Она и семика не дождалась...* — Семик — четверг на седьмой неделе по Пасхе; «любимый народный или, лучше сказать, девичий праздник, когда гуляют в рощах, завивают венки, кумятся (целуются сквозь венки), гадают, пуская венки по воде» (см.: *Снегирев*. Вып. 3. С. 99—126). В семик также принято поминать усопших.

С. 128. *...в петровки здесь была...* — Петровки — время народных праздничных гуляний, хороводов, катаний на качелях, продолжавшееся в разных областях России с первого воскресенья после Петрова дня (29 июня, апостолов Петра и Павла; по земледельческому календарю — середина лета) и до первого Спаса (1 августа, медовый Спас); см. подробнее: *Снегирев*. Вып. 4. С. 62—68; *Забылин*. С. 85—86.

С. 128. *...а до Прохора и Никанора гостила.* — Память 70 апостолов (в их числе апостолы Прохор и Никанор) отмечается дважды в году — 28 июля и 4 января (день, предшествующий крещенскому сочельнику и Крещению).

С. 129. *...как дождемся святок ∞ ужю будет повеселее ∞ И олово лить, и воск топить, и за ворота бегать...* — Речь идет об обычае святочных гаданий девушек (святки — время от кануна Рождества (24 декабря) до кануна Крещения (6 января)): «Льют олово или свинец, воск и золото в воду, загадывая прежде, и какое изображение выльется, то и верят крепко, что то в жизни с ними случится. <...> Выходят за ворота с первым куском во рту и спрашивают у мимоидущего об имени, веря, что тем именем муж ее будущий называться будет» (*Чулков*. С. 150—151).

С. 130. *...все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги.* — Ср. в «Илиаде» Гомера: «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба...» (песнь 1, ст. 599; пер. Н. И. Гнедича).

С. 132. *...играют ∞ в свои козыри...* — Свои козыри — одна из несложных карточных игр, в которой еще до сдачи карт каждый называет козырную масть по выбору; упоминается в «Обыкновенной истории», во «Фрегате „Паллада“» (см.: наст. изд., т. 1, с. 393; т. 2, с. 112), также в очерке «Май месяц в Петербурге» (опубл. 1892) (ср.: «Квартира опустела. Только оставленные беречь ее лакеи

расселись на барских диванах и играли в носки и в свои козыри»).

С. 132. *Марьяж* (фр. mariage — свадьба, брак) — соединение дамы и короля в карточной игре и гадании на картах.

С. 133. *Пришли последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство...* — Выражение «последние времена» используется в целом ряде библейских текстов (книги Ездры, пророка Даниила; послания апостолов Петра, Иоанна, Иуды и др.); ср. его использование во «Фрегате „Паллада”» (наст. изд., т. 1, с. 212). «Восстанет язык на язык, царство на царство...» — евангельская цитата (Мф. 24:7; Мк. 13:8; Лк. 21:10).

С. 133. *...даже кометы в тот год не было...* — Появление кометы считалось предвестием бед: «...явившаяся и проходящая комета, а особливо с хвостом, значит в простом народе общественное несчастье, то есть мор, голод или войну и прочая» (Чулков. С. 225). Любопытно, что именно в 1843 г. (предположительное время действия в части первой романа; см. об этом с. 499—500, примеч. к с. 33) наблюдали очередную комету; см. очерки Р. Зотова: «Комета 1843 года», «Еще некоторые сведения о комете»; «Еще несколько подробностей о комете» (СПч. 1843. № 73, 74, 91. 2, 5, 27 апр.); ср. также статьи «О новой комете» (СПбВед. 1843. № 76. 4 апр.), «Комета 1843 года» (БдЧ. 1843. № 5. Отд. VIII. С. 1—6).

С. 133. *...ушибленное место потрут бодягой или зарей...* — Бадяга (бодяга) — водяное, заря (или зоря) — травянистое растения, оба применяются в народной медицине при ушибах.

С. 133. *...закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в «Роберте-дьяволе».* — Имеется в виду сцена на кладбище (д. 3, явл. 2) в романтической опере Джакомо Мейербера (1791—1864) «Роберт-дьявол» (1831; либретто Э. Скриба и К. Делавиня). Впервые прозвучавшая на петербургской сцене 2 декабря 1834 г. опера пользовалась исключительной популярностью и к началу 1840-х гг. выдержала более ста представлений (см.: Вольф. Ч. 1. С. 41, 48, 54 и др.). По настоянию митрополита Филарета и с одобрения Николая I опера шла в России под усеченным названием «Роберт» (см.: Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. Л., 1959. С. 713—714). Оперой увлекались молодые В. Г. Белинский, В. П. Боткин, А. А. Григорьев; последний передал свое сильнейшее

впечатление в рецензии «Роберт-дьявол» (1846), где не обошел вниманием и сцену на кладбище: «Вот блудящие огни засверкали на гробах, вот под однообразные звуки начали лопаться крыши... (...) Вот льются какие-то прыгающие, беснующиеся, адские звуки ужающей, могильной, богохульной радости...» (Григорьев. *Воспоминания*. С. 186). Гончаров упоминает «Роберта» в «Лихой болести», «Иване Савиче Поджабрине», во «Фрегате „Паллада“» (см.: наст. изд., т. 1, с. 48, 118; т. 2, с. 329). О Мейербере см. также ниже, с. 557, примеч. к с. 195.

С. 136. — *С почтой надо ∞ — А что туда сто́ит? Обломов достал старый календарь.* — В старых календарях содержались сведения по астрономии, географии, истории, роспись церковных праздников, известия о прибытии и отбытии почты и т. п.

С. 136. *Голиков ли попадетсЯ ему, новейший ли Сонник, Хераскова Россияда, или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости...* — Иван Иванович Голиков (1735—1801) — историк, автор обширного сочинения «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» (СПб., 1788—1789), составляющего вместе с «Дополнениями к Деяниям Петра Великого» (СПб., 1790) 30 томов. «Россиада» (1779) — эпическая поэма писателя-классициста Михаила Матвеевича Хераскова (1733—1807). Александр Петрович Сумароков (1717—1777) — автор басен, лирических песен, комедий; его трагедии — «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750), «Артистона» (1750), «Семира» (1751), «Вышеслав» (1768), «Мстислав» (1774), «Димитрий Самозванец» (1770). Сочинения Сумарокова (в 10-ти томах) были изданы в Петербурге в 1787 г. Обломов-старший, скорее всего, читал «Московские ведомости» (издавались с 1756 г.).

С. 136. *Эти восклицания относились к авторам — звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением; он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которое питали к ним люди старого времени. ∞ почитал сочинителя не иначе как ∞ пьяницей и потешником, вроде плясуна.* — Гончаров писал С. А. Никитенко 8 (20) июня 1860 г.: «У нас литератор не был растением, рождающимся на общественной почве, из общественных потребностей; это было какое-то одинокое, отдельное, случайное растение, роскошь, а отнюдь не потребность, и притом рос-

кошь, признававшаяся долго вредной, как табак в старину. Его топтали, давили, истребляли — и он почти всегда был контрабандой. Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное». Ср. также запись в «Дневнике» А. В. Никитенко от 8 августа 1840 г.: «Один мне знакомый действительный статский советник отзывает меня в сторону и говорит:

— Это Брюллов с вами? Рад, что вижу его, я еще никогда не видал его. Замечательный, замечательный человек! А скажите, пожалуйста, ведь он, верно, пьяница: они все таковы, эти артисты и художники!

Вот какое сложилось у нас мнение о „замечательных людях”» (*Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. [Л.], 1955. Т. 1. С. 224*). В XVIII в., как пишет Ю. М. Лотман, «быть актером, живописцем <...> музыкантом, архитектором, с одной стороны, и профессором, академиком, врачом, переводчиком, с другой, представляется унижительным. <...> Драма Островского „Лес” демонстрирует, что подобное отношение к призванию актера сохранялось еще во второй половине XIX в.» (*Лотман Ю. М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958—1993). СПб., 1997. С. 118—119*). См. также: *Степанов В. П. К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в. // Русская культура XVIII—начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 105—120 (XVIII век; Сб. 14)*.

С. 137. ...из Гаги пишут... — Т. е. из Гааги, столицы Нидерландов.

С. 137. ...сочинения госпожи Жанлис перевели на российский язык. — См. ниже, с. 554—555, примеч. к с. 183.

С. 137. ...морген фри — нос утри. — Вероятно, искаж. нем.: *morgen früh* — завтра утром.

С. 137—138. «Сегодня родительская неделя ∞ блины будем печь». ∞ что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе... — Поминание блинами совершается во все поминальные дни церковного годового круга. Родительская неделя (весенняя) — последняя (мясопустная) неделя перед масленицей, суббота этой недели — вселенская родительская суббота, день поминовения всех усопших христиан. Родительская неделя (осенняя) — неделя между празднованием Казанской иконы Божией Матери (22 октября) и днем Св. Димитрия Солунского (26 октября); Димитриевская суббота (накануне 26 октября) называется родительской, как и другие поми-

нальные субботы — Троицкая родительская (перед Троицей), суббота перед Петровым днем (29 июня), перед Успеньем (15 августа).

С. 138. *...на Фоминой неделе не учатся...* — Фомина неделя (апостола Фомы, или Антипасха) — первая неделя по пасхальной. Фомино воскресенье (первое после Пасхи), в народе называемое Красной горкой, — день хоровадов, игр, гуляний, деревенских свадеб. Вторник Фоминой недели, Радоница (Радуница) — день поминовения усопших. «Еще загодя крестьянские женщины пекут пироги, блины пшеничные, оладьи, кокурки, готовят пшеники и лапшевики, варят мясо, студень и жарят яичницу. Со всеми этими яствами они отправляются на погост...» (Максимов. С. 352).

С. 139. *...не щадил ∞ доннерветтеров...* — Доннерветтер — гром и молния! черт возьми! (нем. Donnerwetter!).

С. 139. *Времена Простаковых и Скотининых миновались давно.* — Намек на героев комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782).

С. 139. *...вместе с книгами, развозимыми букинистами.* — Представление о букинистах того времени дает очерк П. Ефеговского «Петербургские разносчики». Мешки букиниста, по словам автора очерка, «набиты вздорными романами и дурными путешествиями <...>. Дельных книг он не носит с собой вовсе <...>. Что весьма важно также для небогатых любителей книг, имеющих дело с букинистом: этот промышленник берет за книги не только деньгами, но всем, чем угодно. У него все идет в счет: сапоги, халат, оборванные книги, изломанные стулья и столы, наконец, даже старые афишки, банки, бутылки, огарки, веревочки, тряпки. Он ничем не пренебрегает, потому что всему находит сбыт. Спрашивается, не удивительный ли, не преполезный ли человек букинист? Представляя вам ежемесячный рапорт о ходе книжного дела, он еще очищает дом ваш от всякого хлама и, взамен того, доставляет средства наполнять вашу голову — другим хламом...» (Вчера и сегодня: Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом. СПб., 1846. Кн. 2. С. 107—114).

С. 139. *...что старым подъячим ∞ состаревшимся в давнишних привычках, кавычках и крючках...* — О «подъячем старого времени» см. выше, с. 501, примеч. к с. 38. «Крючок» в деле — «придирка, кривое, проискливое направление»; «ковыка», «кавычка» — помеха, заминка, пре-

пятствие (*Даль*. Т. 2. С. 208, 71). Ср.: наст. изд., т. 1, с. 161, 672 («Иван Савич Поджабрин»).

С. 139. *Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом.* — По указу Александра I от 6 августа 1809 г., инициатором которого был М. М. Сперанский, для производства чиновников, не имевших высшего образования, из IX класса (титулярный советник) в VIII (коллежский асессор) требовалось прохождение специального экзамена по установленной программе (см. подробнее: *Шепелёв*. С. 114—115, 167—171). И до указа 1809 г. для производства в VIII класс (чиновники VIII класса становились потомственными дворянами; так было до 1845 г., когда это право стали давать произведенным в V класс) требовалось не три года, как обычно, а 12 лет выслуги. Для подготовки к экзамену при университетах были созданы специальные вечерние курсы, а для его сдачи — особые комитеты. Этот указ вызвал неудовольствие не только чиновников, но и ряда видных деятелей. Так, Н. М. Карамзин в записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» замечал, что «несчастный указ» об экзаменах «был осыпан везде язвительными насмешками». «Доселе, — писал он, — в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимое для их звания: науки инженерной — от инженера, законоведения — от судьи и проч. У нас же председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойства кислорода и всех газов, вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское право {...}. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные. Никогда любовь к наукам не производила действия, столь несогласного с их целью {...} вместо всеобщих знаний должно от каждого человека требовать единственно нужных для той службы, коей он желает посвятить себя {...}. Хотеть лишнего или не хотеть должного равно предосудительно» (*Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // *Рус. арх.* 1870. Стб. 2297—2298; см. также: *Евреинов В. А.* Гражданское чиновничество в России: Исторический очерк. С. 44—45). Впечатление от указа передают и распространявшиеся в спи-

сках произведения, например «язвительная» «Элегия» (1809) А. Н. Нахимова и анонимное стихотворение «На экзамен коллежских асессоров» (между 1809 и 1812?) (см.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII—первой половины XIX века. Л., 1970. С. 242—243, 451—452. («Б-ка поэта». Большая сер.)). Уже в 1812 г., после ссылки Сперанского, в указе произведены некоторые изменения, а в 1834 г. он был отменен. Характерно, что экзамены упоминались, например, и Ф. М. Достоевским в «Господине Прохарчине» (1846), Л. Н. Толстым в «Войне и мире» (1863—1869) и др.

С. 139. *Они мечтали и о шитом мундире для него...* — Т. е. мечтали о карьере чиновника. В соответствии с «Общим положением о разделении шитья по разрядам для различия должностей» богатство шитья на парадном мундире зависело от классного чина и должности чиновника. О разновидностях мундирного шитья см. подробнее: *Шепелёв*. С. 211—326.

С. 139. *...воображали его советником в палате...* — Имеется в виду, скорее всего, должность советника в казенной палате — губернском хозяйственно-финансовом учреждении (местный орган Министерства финансов), ведавшем ревизиями податного населения, казенными сборами, питейными откупам (о них см. выше, с. 502—503, примеч. к с. 39), делами по подрядам и проч. Положение советника казенной палаты было весьма выгодным в силу возможности получения «безгрешных доходов», прежде всего по питейным сборам и подрядам. Должность советника существовала и в других учреждениях губернского уровня — палатах уголовного и гражданского суда (см.: *Раскин*. С. 606; *Шепелёв*. С. 85, а также ниже, с. 565, примеч. к с. 266).

С. 144. — *Неугодлив, видно?* — «Неугода — брюзга, человек, на которого не угодишь» (*Даль*. Т. 2. С. 540).

С. 144. *...не дает повадки!»* — Т. е. поблажки, потачки (см.: *Даль*. Т. 3. С. 139).

С. 148. *Дедушка-то, я знаю, кто у вас был: приказчик с толкучего. ∞ Мать тоже на толкучем торговала краденными да изношенными платьями.* — Толкучий рынок в Петербурге находился на Садовой улице, внутри Апраксина двора, и представлял собою «центр лоскутного торга, разумея под сим продажу и покупку всевозможного старья и хлама» (*Михневич*. С. 459).

С. 148. *Полпивная* — заведение, торгующее полпивом (брагой).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 152. ...разбирал по складам Гердера, Виланда... — Иоганн Готфрид Гердер (Herder, 1744—1803) — немецкий философ, писатель-просветитель, теоретик искусства, собиратель народных песен (сб. «Volkslieder», 1840); автор ряда философских работ, в том числе «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» («Идеи к философии истории человечества», 1784—1791) и «Briefe zur Beförderung der Humanität» («Письма для поощрения гуманности», 1793—1797). На русский язык была переведена только первая часть «Идей...» (кн. I—V): «Мысли, относящиеся к философской истории человечества, по разумению и начертанию Гердера» (СПб., 1829; рец.: Моск. телеграф. 1829. Ч. 29. № 7. С. 89—91). Кристоф Мартин Виланд (Wieland; 1733—1813) — немецкий писатель-просветитель, поэт; автор религиозно-дидактических сочинений и имевших большой успех исторических романов «Агатон» (1766), «Абдеритяне» (1774), «Аристипп» (1800) и др., рыцарской поэмы «Оберон» (1780). Отрывки из сочинений Гердера и Виланда (нравоучительные новеллы, анекдоты, басни, диалоги) в первой половине XIX в. традиционно включались в немецкие хрестоматии и книги для чтения; см., например: Выбор образцов немецких прозаистов и стихотворцев... М., 1836. С. 9—10, 25—27, 76—78, 88—90; Книга для чтения в пользу начинающих учиться немецкому языку. М., 1838. С. 8—9, 15, 64—69. О Виланде см. также ниже, с. 570, примеч. к с. 312.

С. 152. ...а с матерью ∞ разбирал по складам же «Телемака»; см. также с. 153: ...он стал читать «Телемака», как она сама... — Имеется в виду роман французского писателя Франсуа де Салиньяка де ла Мота Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака» (1699); он упоминается также в «Обрыве» (глава VI части первой) и воспоминаниях «В университете» (1887), где Гончаров замечает, что по «Телемаку» учились французскому языку, как учились латыни по Корнелию Непоту (см. выше, с. 501, примеч. к с. 38). Русский стихотворный перевод «Телемака» — «Телемахиду» В. К. Тредиаковского (впервые: СПб., 1766. Т. 1—2), Гончаров упоминает во «Фрегате „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 334).

С. 153. — *Добрый бурш будет...* — О бурше см. ниже, с. 536—537, примеч. к с. 157.

С. 153. ...и забудется за Герцем...; см. также с. 158: ...варьяции Герца...; с. 422: ...варьяции Герца... — Генрих Герц (Hertz; 1803—1888) — австрийский композитор, пианист и педагог, живший в Париже; автор более 100 популярных музыкальных пьес (фантазии, вариации, ноктюрны, вальсы, этюды), «кои, кроме блеска, ничем особенным не отличаются» (Толль. Т. 1. С. 641). Имя Герца оказалось неожиданно связано с публикацией романа «Обрыв». В письме к М. М. Стасюлевичу от 7 декабря 1868 г. Гончаров писал: «Вчера пришел ко мне один знакомый и, увидев на столе пробный лист „Обрыва“, хотел прочесть эпиграф и не мог. Вообразите: вместо *Schers* напечатано *Gerz*: Герц (не знаю, жив ли) был очень хороший пианист, но я не хочу его в эпиграф».

С. 153. ...он стал читать «Телемака», как она сама... — См. выше, с. 534, примеч. к с. 152.

С. 153. ...и земскую полицию... — Речь идет о полицейском органе уезда; во главе земской полиции стоял исправник (см. выше, с. 500, примеч. к с. 35, и с. 501—502, примеч. к с. 39). «С 1837 г. уезды были разделены на *станции* во главе со станowymi приставами, которым подчинялись выборные от государственных и удельных крестьян сотские и десятские, выполнявшие низшие вспомогательные полицейские функции» (Раскин. С. 606).

С. 153. Отец спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык. — См. выше, с. 501, примеч. к с. 38.

С. 154. Поташ — углекислый калий, получаемый из древесной или травяной золы; употреблялся при очистке тканей, в стекольном производстве, мыловарении.

С. 154. На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. — О понятии «джентльмен» у Гончарова см. ниже, с. 546—548, примеч. к с. 177.

С. 157. ...как бьют зорю в кавалерии и пехоте... — По воинскому уставу о закате и восходе солнца оповещал барабанный бой.

С. 157. ...что это английская драка. — Проникновение в Россию сведений о боксе связано с выходом книги: Egan P. Voxiana: Scetches of ancient and modern Pugilism. London, 1812. Особенно популярен был ее французский перевод: Voxiana, ou Encyklopedia du pugilat ancienne et moderne. Paris, 1824. Боксом в юности увлекался

А. С. Пушкин (см.: Лукашев М. Н. «Пушкин учил меня боксировать...» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1991. Вып. 24. С. 83—96).

С. 157. ...и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера. — Противопоставление бурша (нем. Bursche — парень, малый, а также студент, принадлежащий к одной из студенческих корпораций) филистеру (нем. Philister — обыватель) приобрело в русской литературе 1820—1830-х гг., вослед немецкой, устойчивый характер. На общеупотребительность и общеизвестность этой оппозиции указывает одно из поздних писем Гончарова (к П. Г. Ганзену от 30 августа 1878 г.), где писатель касается образа Александра Адуева: «Этот последний выражает собой именно юношеские *порывы*, составляющие обыкновенную историю всех молодых людей, и потом превращается в тип положительного человека (дядя), как бывает с большинством. У немцев — *бурши и филистеры*». Как пишет современная исследовательница, «обращаясь к немецким источникам этого немецкого слова <филистер>, мы прежде всего сталкиваемся с общепринятым ныне смыслом слова — „обыватель”. Исторически philister — это филистимлянин (совр. палестинец) немецкой библии Лютера, т. е. враг, иноплеменник, некто негативный. Слово приобрело внебиблейский смысл в 1693 г., когда горожане, бюргеры, убили в Иене буйного студента, а пастор Гётце на его похоронах, пользуясь естественной для протестанта ветхозаветной лексикой, обозвал враждебных студентам мещан филистерами (бюргеры для студентов были тем же, чем библейские филистимляне для иудеев). Слово вошло в студенческий лексикон, обозначая что-то недостойное, низкое, стоящее за пределами их корпоративного союза» (Телетова Н. К. «Душой филистер геттингенский» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. 14. С. 206). В литературной традиции противопоставление буршей филистерам характерно для «штюрмеров» и романтиков (Ф. Шиллер, Э.-Т.-А. Гофман и др.). Ср. также высказывание о филистерах В. Г. Белинского: «...толпа есть собрание людей, живущих по *преданию* и рассуждающих по *авторитету*, другими словами — из людей, которые „Не могут сметь / Свое суждение иметь”. Такие люди в Германии называются *филистерами*, и пока на русском языке не приищется для них учтвого выражения, будем называть их этим именем» (Белинский. Т. III. С. 442).

Характерно, что определения «бурш» и «филистер» оказались значимыми и для критиков, писавших о романе. Так, с точки зрения Н. Д. Ахшарумова, Штольц «был и остался филистером» (см.: «Обломов» в критике. С. 153—154), а Н. И. Соловьев, возражая Добролюбову и вспоминая тургеневского «бурша» Базарова, писал: «Вот от этого-то буршества, этого наездничества и вандализма и попятился назад Обломов и заснул навсегда» (Там же. С. 172).

С. 158. ...*сто талеров*... — Талер (нем. Taler) — серебряная монета, впервые отчеканенная в 1518 г.; с середины XVI в. — денежная единица северогерманских государств, Пруссии и Саксонии (1 талер равнялся 3 золотым маркам); упразднен в 1907 г. Название «талер» применялось с некоторыми изменениями к крупным серебряным монетам Италии — таллеро, Нидерландов — даалдер, Испании — далеро, США — доллар и др.

С. 158. ...*университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына*. — Противопоставление германских и русских университетов, отчетливо намеченное в окончательной редакции и еще более заметное в черновой рукописи романа (см.: наст. изд., т. 5, с. 252, вариант к с. 158, строка 14), акцент на общественно-нравственном значении русских университетов во многом связаны с обстоятельствами времени. О том значении, которое придавал университетскому образованию Гончаров, см. подробнее в примечаниях к его мемуарам «В университете».

С. 158. ...*варьяции Герца*... — См. выше, с. 535, примеч. к с. 153.

С. 160. *Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается*... — См. выше, с. 500, примеч. к с. 35.

С. 162. ...*как входят в грот с надписью *ma solitude, mon hermitage, mon repos**... — Перечислены обычные названия парковых павильонов эпохи классицизма и барокко. Гроты составляли принадлежность паркового стиля предромантизма и романтизма и подобных названий не имели (см.: Лихачев Д. С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. М., 1998. С. 41, 280, 316). Ср.: «...или в павильон *mon hermitage, mon repos*» (наст. изд., т. 5, с. 254, вариант к с. 162, строка 17); те же названия павильонов упомянуты в «Необыкновенной истории» (конец 1870-х гг.).

С. 163. — *Страсти, страсти всё оправдывают*, — говорили вокруг него... — Эта мысль восходит к учению Жан-Жака Руссо (о нем см. ниже, с. 554, примеч. к с. 183), к его роману «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Как полагает Л. С. Гейро, смысл этого фрагмента проясняют воспоминания А. А. Григорьева о том, какое значение в жизни его поколения имел Руссо, «пустивший в ход {...} теорию абсолютной правоты страстей в своей „Юлии“» (Григорьев. *Воспоминания*. С. 5; Гейро Л. С. О проблемах научного издания Гончарова. С. 131). Ср. также в «Рыцаре нашего времени» (1802) Н. М. Карамзина: «Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода...» (Карамзин. Т. 1. С. 586—587; отмечено: Мельник В. И. И. А. Гончаров и Н. М. Карамзин: (К вопросу о некоторых традициях) // XVIII век. СПб., 1991. Сб. 17. С. 290). О соотношении «страсть — покой» в «Обломове» см.: Мельник 1982. С. 93—96; Краснощекова. С. 321—323, 328—333; и др.

С. 163. ...тем глубже «коснел» он в своем упрямстве... — Взятое в кавычки слово «коснел» отсылает к библейскому тексту: «Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его» (Еккл. 8:12).

С. 163. Он говорил, что «нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста ∞ и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них». — Рассуждение о четырех «временах года», четырех «возрастах» восходит, согласно комментарию Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 665), к поэмам французского поэта-дидактика Жака Делиля (1738—1813) «L'Homme des champs, ou les Géorgiques françaises» (1802) и «Imagination» (1806). Отрывки из поэм под названием «Четыре возраста человеческих» и «Четыре времени года» в переводе А. Ф. Воейкова были напечатаны в журнале «Новости литературы» (1824. № 16. С. 58—63; 1826. Май. С. 110—112). Делиль пользовался широкой известностью в России главным образом как автор поэмы «Сады, или Искусство украшать сельские виды» (1782; пер. А. Ф. Воейкова: СПб., 1816). Есть основания для соотнесения комментируемого фрагмента и с английской дидактической поэмой; ср., например, поэму Александра Поупа (1688—1744) «Пасторали» («Pas-

totals», 1709; в рус. пер.: Идиллии. Четыре времени года / Пер. из Попия; перевел И. Синягин. М., 1787; Поэма Четыре времени года: Творение г-на Попе / Пер. с англ. М. Макарова. М., 1809) или поэму Джеймса Томсона (1700—1748) «Времена года» («Seasons», 1726—1730; в рус. пер.: Четыре времени года: Поэма Томсона / (Пер. Д. И. Дмитриевского). М., 1798; Четыре времени года / (Пер. Н. М. Карамзина) // Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса. СПб., 1802. Ч. 2. С. 339—413). См. подробнее: *Левин Ю. Д.* Восприятие английской литературы в России: Исследования и материалы / Отв. ред. П. Р. Заборов. Л., 1990. С. 164—183, 213—220. По замечанию В. И. Мельника, идеал «меры», «плавных переходов» в развитии жизни объединяет Гончарова с Н. М. Карамзиным. Ср. у последнего в эссе «О счастливейшем времени жизни»: «Дни цветущей юности и пылких наслаждений! Не могу жалеть о вас. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было в сей бурной стремительности чувств к беспрестанным наслаждениям, которые бывают мукою (...) не в летах кипения страстей, а в полном действии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни единообразной, успокоенной хотел бы я сказать солнцу: остановись!» (*Карамзин Н. М.* Соч. СПб., 1835. Т. 8. С. 137—138; ср.: *Мельник В. И.* И. А. Гончаров и Н. М. Карамзин: (К вопросу о некоторых традициях). С. 291).

С. 165. ...и что только отверзалось и откликалось на зов этого ∞ сердца. — Образный строй этой характеристики Обломова отчасти восходит к церковнославянскому стиху Евангелия: «...ищите и обрящете, толцете, и отверзется вам» (Мф. 7:7).

С. 166. В Египте ты будешь через две недели, в Америке через три. — Отголосок авторских размышлений об успехах цивилизации во «Фрегате „Паллада“» (ср.: наст. изд., т. 2, с. 13 и др.). О пароходном сообщении с Америкой см. выше, с. 514, примеч. к с. 85. Отношения с Египтом были для России новостью: торговый договор с Турцией, распространявшийся и на Египетский пашалык (владения паши), был подписан в 1846 г. (см.: *Семенов.* С. 309—312).

С. 166. Кто же ездит в Америку и Египет! Англичане: так уж те так Господом Богом устроены; да и негде им

жить-то у себя. — Об образе вездесущего английского купца во «Фрегате „Паллада”» см.: наст. изд., т. 3, с. 503—511.

С. 166. *Лучше бы дать им паспорта да и пустить на все четыре стороны.* — Помещичьи крестьяне имели право отлучаться «на заработки и для распродажи сельских продуктов» лишь при наличии письменного вида «от своих местных начальств» или особого билета, выдававшегося волостным правлением или удельным приказом, удостоверявшим «отлучку» не более 3 месяцев и не далее 30 верст от места проживания. Предприятия более длительные (от 6 месяцев до 3 лет) и более отдаленные (более 30 верст) удостоверялись «плакатными паспортами», которые фактически приравнивали крестьян, занимающихся торговлей, к купеческому сословию (см.: *Щербань Н. В.* О паспортах // *РВ.* 1860. № 1. Отд. «Совр. летопись». С. 41—51). Отлучившийся без паспорта или вида «подвергался относительно своей оседлости последствиям безвестной отлучки или побега» — «денежному штрафу по 10 копеек в сутки, если же звания своего не докажет, то и суду, как бродяга» (Там же. С. 41). Штольц, таким образом, ратует не за освобождение крестьян, а за превращение их в купцов и предпринимателей.

С. 167. *Грамотность вредна мужику: выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет...* — О близости этого утверждения тому, «что возвестил миру Гоголь в „Выбранных местах из переписки с друзьями”», писал Д. Н. Овсяннико-Куликовский (см.: *Овсяннико-Куликовский* 1982. Т. 2. С. 240). В словах Обломова и в последующем возражении Штольца присутствует и отголосок споров, вызванных публикацией статей В. И. Даля «Письмо к издателю» (Рус. беседа. 1856. № 3. Отд. «Смесь». С. 1—16) и «О грамотности» (*СПбВед.* 1857. № 245), в которых высказывалось убеждение о вреде грамотности для простонародья, поддержанное некоторыми органами печати (ср., например: Выписка из письма по поводу статей В. И. Даля // *СПч.* 1857. № 278). «Грамота сама по себе ничему не вразумит крестьянина; она, скорее, собьет его с толку, а не просветит, — писал Даль. — Перо легче сохи; вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, коштаны, мироеды, а не в пахари, он склоняется не к труду, а к тунейдству» (Рус. беседа. 1856. № 3. Отд. «Смесь». С. 3). Выступления против грамотности вызвали почти единодушную отрицательную реакцию об-

щества и прессы (см. об этом: *Порудоминский В.* Даль. М., 1971. С. 324—331); в частности, с Далем резко полемизировал Е. П. Карнович (С. 1857. № 10. Отд. II. С. 123—138; № 12. Отд. II. С. 167—176), позднее Достоевский, писавший в «Ряде статей о русской литературе» (1861): «Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логично ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. {...} Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба» (*Достоевский*. Т. XVIII. С. 62—63, 267).

С. 169. — *Вот книга!* ~ «Путешествие в Африку». И страница ~ заплесневела. — По предположению Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 666), это могло быть «Путешествие во внутреннюю Африку» Ег. П. Ковалевского (СПб., 1849). Отрывок из этой книги «Из путешествия во внутреннюю Африку» был помещен в том же номере «Современника» (1848. № 12. Отд. II. С. 49—64), где Гончаров анонимно напечатал второе и третье письма из «Писем столичного друга к провинциальному жениху» (см.: наст. изд., т. 1, с. 470—493, 785). Книгу Ковалевского позднее упомянул А. В. Дружинин в рецензии «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» (см.: *Дружинин*. С. 118). Впрочем, Обломов мог читать, к примеру, и сочинение Мунго Парка «Путешествие во внутренность Африки» (М., 1806—1808. Ч. 1—2; ср. упоминание этого издания в Автобиографии (1858) Гончарова среди книг, прочитанных им в детстве). О путешествиях в Африку, русских и иностранных, которыми пользовался Гончаров, работая над «Фрегатом „Паллада“», см.: наст. изд., т. 3, с. 575—577, примеч. к с. 146, 153, 154.

С. 170. — *Что это на тебе один чулок нитяный, а другой бумажный?*; см. также с. 336: *...надвязать чулки-то? Я бумаги и ниток закажу.* — Нитяный — льняной или шерстяной; бумажный — хлопковый.

С. 171. *Экзекутор* — «особое должностное лицо в присутственных местах, обязанность коего вообще наблюдать за внешним порядком» (*Толль*. Т. 3. С. 1075).

С. 172. *...тот получил аренду*. — Аренда — особое, «по Высочайшему благоусмотрению», вознаграждение за

государственную службу в виде казенного земельного надела, отдаваемого в пользование награжденному на определенный срок (обычно 12 лет) или пожизненно; арендой назывался и назначенный в качестве вознаграждения доход с казенного надела.

С. 173. — *Свет, общество! ~ Всё это мертвецы, спящие люди ~ Разве это не мертвецы? ~ — Это всё старое, об этом тысячу раз говорили...* — В своем монологе Обломов повторяет одно из «общих мест», характерных для «анти-светских» мотивов в романтической поэзии и прозе 1820—1830-х гг.

С. 173. *...мы в первом ряду кресел...* — Несколько рядов кресел устанавливались в театрах в передней части зрительного зала, перед сценой; кресла абонировались аристократической публикой, причем находиться в креслах могли только мужчины, тогда как дамы занимали ложи.

С. 174. *И пошел о Лудовике-Филиппе...* — Явный отголосок событий 1840-х гг. Людовик-Филипп (точнее: Луи-Филипп; Louis-Philippe; 1773—1850) — французский король с 1830 по 1848 г., когда его сменил на престоле Людовик-Наполеон (Наполеон III; его Гончаров упоминал во «Фрегате „Паллада“» — см.: наст. изд., т. 2, с. 83; т. 3, с. 562—563). Яркие и пристрастные оценки Луи-Филиппа содержались в парижских письмах 1843—1844 гг. В. Андр. Солоницына к Евг. П. Майковой (см.: Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. / Подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой // Лица: Биограф. альм. СПб., 2001. Т. 8. С. 121). См. также статью «Луи-Филипп, король французов» в разделе «Биографии знаменитых современников» (ОЗ. 1843. № 11. Отд. VI. С. 34—47; 1844. № 1. Отд. VI. С. 9—20).

С. 174. *Сегодня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь ~ Завтра не удалось Дон Карлосу...* — Ср. о том же в первоначальной редакции главы IV части второй романа: наст. изд., т. 5, с. 195. Правитель Египта с 1805 по 1848 г. Мехмет (Мухаммед) Али (1769—1849) в 1839—1841 гг. вел войну против турецкого султана, стремясь завоевать Стамбул (Константинополь); фактически отделил Египет от Турции. Имя Мехмета Али достаточно часто встречается в журнальных публикациях (см., например: Египет под управлением Мехмета Али — БДЧ. 1843. № 3. Отд. III. С. 1—30); ср. гончаровский «этюд» «Хоро-

шо или дурно жить на свете?» (⟨1841—1842⟩), посвященный Екатерининскому институту, в котором упоминаются и «война англичан с китайцами», и «египетский паша» (наст. изд., т. 1, с. 509, 808—809).

Дон Карлос Старший (Don Carlos Mayor; 1788—1855) — поддерживаемый «карлистами» претендент на испанский престол, провозгласивший себя королем Карлом V, участник 1-й Карлистской войны (1833—1840) с царствующей династией испанских Бурбонов. Война сопровождалась народными мятежами в отдельных областях, продолжавшимися до 1843 г. Ср. в «Иване Савиче Поджабрине» (1842) «хлестаковские» рассуждения главного героя: «Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать: об испанских делах, о французском министерстве...» (наст. изд., т. 1, с. 164, 672).

Комментарием к «политическим» высказываниям Обломова может служить письмо Гончарова к А. Ф. Кони от 2 сентября 1881 г., в котором писатель иронизирует: «Газеты, как ленивые, откормленные собаки, перекликаются сонным лаем друг на друга и рады-рады, когда выудят какие-нибудь faits divers ⟨происшествия (рубрика в газете) — *фр.*⟩ вроде того, как змея заползла в рот мужику или как солдат откусил в драке ухо другому солдату. Даже не слышать, чтобы родились где-нибудь тройни или чья-нибудь жена ушла с чужим мужем. Все тихо и гладко. И важные события, такие, например, что Абдуррахман побил Эюб-хана или, наоборот, что Гамбетта обмолвился еще речью, а Геймерле рассердился на Румынию, мало волнуют нас. Что стало с нами, не понимаю?» (см. об этом: *Мельник 1982. С. 89—90*).

С. 174. *Там роют канал...* — Речь идет о проектах строительства Суэцкого канала, информация о которых регулярно появлялась в печати в 1840—1850-е гг. Проекты прорытия канала известны с древности, их серьезная разработка под руководством Фердинанда Лессепса (французский генеральный консул в Каире) была начата в 1840 г. и продолжалась в 1846—1847 и 1854—1858 гг. В 1846 г. правителем Египта Мехметом Али (о нем см. выше) было создано Общество для исследования Суэцкого перешейка, в 1858 г. объявлена подписка на акции для строительства канала (см.: *Канализация Суэцкого перешейка // С. 1856. № 5. Отд. «Заграничные известия». С. 233—234. Учреждение всемирной компании для прорытия Суэчко-*

го перешейка // С. 1858. № 9. Отд. XIX. С. 273—278). Движение по каналу открыто в 1869 г.

С. 174. ...*тут отряд войска послали на Восток...*; см. также с. 186: ...*беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток...*; с. 273: ...*зачем англичане посылают корабли с войском на Восток...* — Отправка английских войск на Восток может подразумевать как англо-китайскую, или первую «опиумную», войну (1839—1842), о которой Гончаров несколько раз упоминает во «Фрегате „Паллада”» (см.: наст. изд., т. 2, с. 396, 402, 431, 472 и примеч. к ним), так и Крымскую, или Восточную, войну (1853—1856).

С. 175. — *Детей воспитаешь, сами достанут: умей направить их так... — Нет, что из дворян делать мастеровых! — сухо перебил Обломов.* — Этот диалог, как полагает Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 666—667), мог служить своеобразным отголоском споров и размышлений, характерных для жизни дворянского общества середины XIX в. Ср., например, запись Л. Н. Толстого в дневнике 1847 г., сделанную в связи с разбором «Наказа» Екатерины II: «Наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла по причине бедности; а бедность произошла от того, что благородные стыдились заниматься торговлею» (*Толстой*. Т. 46. С. 21). Л. Д. Опульская по этому поводу замечает: «Вполне возможно, что эта запись и соответствующий ей ход мысли отразились в первом черновике „Четырех эпох развития”. Но, описывая спор родителей о судьбе сыновей, Толстой вложил в уста княгини-матери такие слова: „Твои планы насчет детей — отдать их в коммерческое училище, послать их за границу, дать им капитал и сделать их коммерциантами большой руки — так ли? — мне не по душе, я откровенно скажу, я боюсь. Ты хочешь, чтобы они были тем, чего у нас в России нет. Знаю, знаю, ты будешь приводить мне примеры молодых людей, которых я много видела за границей, — там это очень хорошо, и у нас может быть, но со временем только»» (*Толстой Л. Н.* Детство; Отрочество; Юность. М., 1978. С. 483. («Лит. памятники»); приведенная цитата: *Толстой*. Т. 1. С. 116). Ср. также замечание Гончарова о старшем Адуеве в статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879): «...он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда, от 20-х до 40-х годов, это была смелая новизна, чуть не

унижение (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно». А. Г. Цейтлин, комментируя эту проблему в романе (см.: *Цейтлин*. С. 464), ссылаясь на фельетон И. И. Панаева «Петербургская жизнь» (С. 1858. № 1) и автобиографическую повесть Е. П. Карновича «Воспоминания Охотовского» (Там же. № 3). По мнению В. И. Мельника, реплика Обломова о «мастеровых» перекликается с одним из мотивов романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (см.: *Мельник* 1982. С. 89).

С. 176. *Как же прокормить с тремьятами душ такой пансион?*; см. также с. 323: — *Как же с тремьятами душ женятся другие?* — Обломов, судя по числу крепостных, принадлежал к среднепоместным дворянам. Доход от имения в 6000 рублей (ассигнациями) представлялся герою романа весьма незначительной суммой: «Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?» (наст. изд., т. 4, с. 36). Ср. сведения Д. И. Раскина: 6000 рублей в год в начале XIX в. — жалованье директора департамента, губернатора (см.: *Раскин*. С. 609). Своеобразный комментарий к вопросу о доходах Обломова, т. е. к тому, какой уровень жизни они ему обеспечивали, можно извлечь из письма Гончарова к брату Николаю Александровичу в Симбирск от 30 июня 1858 г., в котором писатель в связи с желанием адресата переехать в Петербург замечал: «Если б ты был еще не женат, тогда дело другое, ты бы мог поступить на 700 руб. сер⟨ебром⟩ жалованья, а женатому человеку в провинции в наше время и с тысячью рублями трудно прожить, ты это знаешь, а в Петербурге с 1500 руб. сер⟨ебром⟩ семейному едва можно прокормиться... В Петербурге надо получать не менее двух тысяч руб. сер⟨ебром⟩, чтобы жить безбедно...». Ср. также в первоначальной редакции части первой замечание о жалованье Тарантьева: «...и, несмотря на его бедность ⟨...⟩ несмотря на его семьсот пятьдесят рублей жалованья...» (наст. изд., т. 5. С. 53). О соотношении серебра и ассигнаций см. выше, с. 504—505, примеч. к с. 44.

С. 176. — *Сейчас же в ломбард, — сказал Обломов, — и жил бы процентами.* — Ломбард (при Опекунском совете — см. ниже, с. 565, примеч. к с. 266) принимал на хра-

нение как движимое имущество, так и деньги с выплатой установленных процентов.

С. 176. ...куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу? — Имеется в виду компания на акциях, или акционерное общество (см. выше, с. 506—507, примеч. к с. 52).

С. 176. — *Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы...* — Если протяженность первой в России железной дороги (между Петербургом, Царским Селом и Павловском), открытой в 1838 г., составляла 24 версты, то к 1861 г. общая длина всех железных дорог составила 1589 верст. В 1843 г. на Волге было основано первое пароходное общество («Волжское»), в 1849 г. — общество «Меркурий», в 1853 г. — товарищество Волжского легкого пароходства «Самолет», в том же году — товарищество «Медиатор» для сообщения и перевозки грузов между Петербургом и другими балтийскими портами (см.: Семенов. С. 266—267).

С. 177. — *Барин!* — повторил Штольц ∞ *Джентльмен — такой же барин.* — *Джентльмен есть такой барин ∞ который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги.* — Обломов вкладывает в слово «джентльмен» вполне определенное социальное содержание: благородный, дворянин. Таково было первоначальное значение этого слова в Англии вплоть до XVII в., позднее любой обеспеченный человек считался «джентльменом» (см.: Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских. 1825—1853 гг. М., 1982. С. 165—169). «Однако за пределами Англии, — пишет Н. А. Ерофеев, — в частности в России, акцент делался зачастую прежде всего на соблюдении определенных моральных норм» (Там же. С. 169). Именно этот «акцент» передают словари середины прошлого века. Ср.: «Джентльмен — в прямом смысле значит дворянин; в применении — человек с изящными манерами и аристократическими привычками, одним словом, порядочный человек, как теперь говорится» (Д. С. Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском языке. М., 1859. С. 26); «Джентльмен, *англ.* gentle, *фр.* gentil, — общее название в Англии порядочного человека, воспитанного, вежливого и исполненного чести и благородства» (Михельсон М. И. Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1865. С. 195). Так понимала это слово и мать Штольца (ср.: «На ее взгляд, во всей немецкой нации не

было и не могло быть ни одного джентльмена» — наст. изд., т. 4, с. 154).

Гончаров в понятие «джентльмен», как и в той или иной мере синонимичные ему понятия «порядочный человек», «светский человек», вкладывал гораздо более значимое социально-нравственное содержание, чем аристократизм и благовоспитанность, стремясь возвысить эти расхожие и отчасти девальвированные понятия (хотя они же подчас использовались им и с открытой иронией, например в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» (1848); см. подробнее: наст. изд., т. 1, с. 788—792; ср.: с. 771, примеч. к с. 295). Стержневое в этом фельетоне расхоже-утилитарное понятие «уменье жить» («savoir vivre») в «Обломове» (вслед за «Обыкновенной историей») возводится на иной смысловой уровень: «Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неумением жить» (наст. изд., т. 4, с. 392). Без какой бы то ни было иронии, вполне апологетически, звучат определения «светский человек», «светское воспитание» во «Фрегате „Паллада“» (см.: наст. изд., т. 2, с. 57).

В воспоминаниях «На родине» (1887) Гончаров считал необходимым отметить: в начале XIX в. слова «джентльмен» «еще не было в русском словаре», что, разумеется, не исключало «джентльменства» как явления жизни. «Это был, — вспоминал писатель о своем крестном отце и воспитателе Н. Н. Трегубове, — чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом „джентльмен“». То, что Гончаров не связывал «джентльменства» с принадлежностью к дворянству, видно из очерка «Литературный вечер» (1880): «— Не высший, не низший, а просто круг благовоспитанных людей, то, что называется — джентльменов у англичан или порядочных людей у нас!». Показательна (в этом контексте) характеристика, данная Гончаровым Гамлету (и отцу Гамлета) в очерке «Опять „Гамлет“ на русской сцене» (1875): «В нормальном положении Гамлет ничем не отличается от других. Он не лев, не герой, не грозен, он строго честен, благороден, добр — словом, джентльмен, как был его отец, как был он сам, если б остался жив. Он светло и славно прожил бы свой век, если бы в мире всё было светло и славно, но он столкнулся сначала с горькою (потеря отца и

вторичный поспешный брак матери), потом с страшной действительностью. {...}

Типичные черты или капитальные свойства Гамлета — это его доброта, честность, благородство и строгая логика. Свойства слишком общие, свойственные человеческой натуре вообще и не кладущие никакой особой видимой печати на характер. Это совершенный джентльмен — или „человек“, каким был его отец, по его словам.

Подчеркнутое внимание писателя к образу «джентльмена» было замечено и современной ему критикой. Д. И. Писарев, к примеру, в статье об «Обломове» вспоминал героя «Обыкновенной истории»: «Петр Иванович Адуев, дядя, неверен с головы до ног. Это какой-то английский джентльмен, пробивший себе дорогу в люди силою своего ума, составивший себе карьеру и при этом нисколько не загрязнившийся» («Обломов» в критике. С. 92).

С. 178. ...потому что жизнь есть поэзия. — Ср. в статье В. Г. Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (1841): «Поэзия есть выражение жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. {...} Отсюда вытекает новый вопрос, решение которого и будет решением вопроса о поэзии, — вопрос: если сама жизнь заключает в себе столько поэзии, так что в сущности своей жизнь и поэзия тождественны, — то зачем же еще другая поэзия {...}?» (Белинский. Т. III. С. 225). Ср. также в статье Вал. Майкова «Романы Вальтера Скотта...» (1847): «Где жизнь, там и поэзия...» (Майков. С. 234). Вместе с тем рассуждениям Обломова можно найти аналогии не только в эстетике ближайших современников Гончарова, но и в поэзии В. А. Жуковского, например в его элегии «Я Музу юную, бывало...» (1823):

Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение слетало
С небес, незванное, ко мне;
На всё земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.

(Жуковский В. А.
Полн. собр. соч. и писем:
В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 235).

С. 178. ...или наступит красноречивое молчание ~ не от сенатского дела...; см. также с. 180: ...ни одного вопроса

о сенате... — Правительствующий сенат — высшая судебная инстанция и высший орган административного надзора в России. Сенат рассматривал жалобы учреждений, должностных и частных лиц на незаконные действия властей, главным образом губернских.

С. 178—179. *Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки ∞ Разве была бы девок по щекам?* — Ср. в поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин» (1825): «Занятий мало ль есть у ней? / Грибы солить, кормить гусей...» — и в «Евгении Онегине»: «Она езжала по работам, / Солила на зиму грибы, / Вела расходы, брила лбы, / Ходила в баню по субботам, / Служанок была осердясь...» (глава вторая, строфа XXXII). Талька — «ручное мотовило для крестьянской пряжи», а также и мера пряжи — «моток ниток, известной меры, снятый с тальки» (Даль. Т. 4. С. 389).

С. 179. *...а выучил бы повара в Английском клубе или у посланника.* — Членами Английского клуба (или Английского собрания), основанного в 1770 г., первоначально состояли жившие в Петербурге иностранцы, позднее — «почтенные особы», «в числе которых находились высшие государственные сановники. <...> В пятидесятых годах нынешнего столетия в Английском клубе считалось около четырехсот членов и более тысячи кандидатов, которые по старшинству и занимали открывающиеся вакансии. Первейшие люди домогались как бы чина вступить в число членов этого клуба. Князь Чернышев и граф Клейнмихель так и умерли, не попав в члены Английского клуба» (Пыляев М. И. Старый Петербург. С. 226). В 1830—1859 гг. клуб находился в Демидовском переулке (ныне пер. Гривцова, д. 1, во дворе); здесь четыре раза в неделю бывали «общие обеденные столы <...>. Кушанье готовится и сервируется большей частью на английский манер» (Пушкарёв. С. 459—460; Греч. С. 17). Посетителем Английского клуба был Петр Иванович Адуев (см.: наст. изд., т. 1, с. 336, 775). В 1840—1850-е гг. в звании посланника состояли представители семи иностранных государств в Петербурге, остальные дипломаты числились в звании поверенных в делах или консулов (см.: Греч. С. 196).

С. 179. *...темно; туман, как опрокинутое море, висит над рожью...* — По мнению Х. Роте, в данном случае Гончаров перефразирует строку из стихотворения Ф. И. Тютчева «Восток белел. Ладыя катилась...», впервые опубли-

кованного в «Современнике» за 1836 г. (Т. 4. С. 37) и вошедшего в издание «Стихотворения Ф. Тютчева» (СПб., 1854. С. 36). Ср. у Тютчева: «Как опрокинутое небо, под нами море трепетало...» (см. подробнее: *Rothe H. Ein Tjutčevzitat bei Gončarov // Colloquium Slavicum Basillense: Gedenkschrift für Hildegard Schroeder. Bern, 1981. S. 675—695*).

С. 179. «*Casta diva, Casta diva!*» ~ *Не могу равнодушно вспомнить «Casta diva», — сказал он, пропев начало каватины, — как выплакивает сердце эта женщина! ~ Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне... — «Casta diva» — начало арии Нормы из одноименной оперы (1831) Винченцо Беллини (1801—1835), либретто Феличе Романи (1788—1865). Норма, жрица богини Дианы, принадлежит к касте друидов, жрецов древних кельтских племен, в своей ночной молитве взывает к Диане, богине Луны: «Непорочная богиня, разливающая серебристые свои лучи по этому древнему, священному лесу, обрати к нам прелестный свой лик без облака и без покрова. Охрани, удержи пылкие сердца от безумного рвения и надели землю миром, которым ты наполняешь небо!» (Норма: Двухактная лирическая трагедия / Текст Феличе Романи, музыка Винченцо Беллини. СПб., 1877. С. 16—17; перевод слов «Casta diva» как «Пречистая Дева» в большинстве современных изданий романа неточен; «Пречистая Дева» — обращение к Богородице). В 1830—1840-х гг. «Норма» неоднократно исполнялась в Петербурге различными труппами: немецкой — с 1835 г., русской — с 1837 г., итальянской — с 1844 г. (см.: *Вольф. Ч. 1. С. 38—40, 48*; подробнее об исполнении оперы по всей России: *Fisher. P. 105—106, 114*). В 1849 г. один из современников так сравнивал трактовки «Casta diva» различными певицами: «Общий характер роли Нормы — пафос драматизма, но посреди этого общего характера всех вокальных нумеров в этой роли есть одна ария — знаменитое адажио „Casta diva“, прямо противоположная другим, с характером чисто лирическим. Это соприсутствие противоположного элемента было постоянным камнем преткновения для всех певиц, бравших на себя исполнение этой громадной роли или части ее. На нашей памяти пели эту партию сполна г-жи Виардо, Борси и Гейнефеттер и часть ее г-жа Фреццолини. О г-же Виардо не говорим, потому что у нас ее Норма была первым опытом; г-жа Борси никогда не знала ровного пения, которое необходимо для удовлетворительного исполнения*

„Casta diva”; г-жа Фреццолини передала вернее характер этой дивной арии, но она утратила наивность и простоту ее и потеряла все эффекты средних нот. Одна Гейнефеттер поняла истинный характер „Casta diva” и была в этой арии недостижимо высока: в голосе ее была какая-то грусть <...>. Произведение чисто лирическое, повторяем опять — „Casta diva” требует пения ровного, при отсутствии всякого драматизма. Вот почему мы протестуем против того характера, который сообщила этой арии г-жа Гризи: самый темп был взят ею слишком скорый. <...> Наши замечания касаются искажения надлежащего характера арии, но драматическое исполнение ее г-жою Гризи само по себе все-таки прекрасно» (*Без подписи*). Музыкальная хроника // ОЗ. 1849. № 10. Отд. VIII. С. 124). В письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября—6 ноября 1847 г. Гончаров упоминает двух из названных выше певиц: «Фреццолини принята хорошо, но не с безумием, как у нас водится, — и слава Богу! что за жалкое и смешное ребячество выражать восторг до унижения! <...> Борси, которой не изменили, несмотря на Фреццолини, остается всё той же... какой бы? ну хоть вдохновенной Нормой, пожалуй. Etc. etc. Впрочем, я еще никого не слышал: это я так только» (см. подробный комментарий к этому письму: Fisher. Р. 107, 115). Восторженный отзыв о «Casta diva» в исполнении Джулии Гризи (1811—1869), гастролировавшей в Петербурге в 1849—1852 гг., оставил В. П. Боткин в статье «Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» (С. 1850. № 1. Отд. VI. С. 91—93).

В. И. Дмитриева вспоминала, что «каждый раз, бывая у Майковых, он <Гончаров> непременно усаживал Екатерину Павловну <Майкову> за фортепьяно и просил спеть популярную тогда арию из оперы „Норма” Casta diva... Очевидно, с этой арией у Гончарова были связаны глубокие личные переживания» (цит. по: *Чемена О. М.* Создание двух романов: Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М., 1966. С. 40). Ср. упоминание «Casta diva» во «Фрегате „Паллада»» (наст. изд., т. 2, с. 705). По свидетельству П. А. Кропоткина, «образ Ольги вызывал чувство почти благоговейного поклонения ей в тысячах молодых читателей; ее любимая песнь „Casta diva” сделалась любимой песнью молодежи» (*Кропоткин П.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907. С. 173). О соотношенности истории любви Обломова и Ольги с опер-

ным сюжетом см.: *Фаустов А. А.* Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Художественная структура и концепция человека. С. 11; *Отрадин*. С. 117—119; *Fisher*. Р. 105—116 (в частности, о противопоставлении покоя «мятежным порывам» как в сюжете оперы, так и в самой музыке Беллини); *Fried I.* L'air «Casta Diva» dans «Oblomov» de Gontcharov // *Revue de Littérature Comparée*. Paris, 1987. N 3. Р. 284—293. Каватина (ит. cavatina) — небольшая лирическая ария. О музыкальных темах в прозе Гончарова см. подробнее: *Ляцкий 1912*. С. 195; *Платек Я. М.* «Музыка в нервах»: Проза И. А. Гончарова // *Платек Я. М.* Под сенью дружных муз. М., 1987. С. 219—230; *Недзвецкий*. С. 115—117; и др.

С. 180. ...ни одного вопроса о сенате... — См. выше, с. 548—549, примеч. к с. 178.

С. 181. ...ведь мы, Андрей, сбирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить Швейцарию пешком... — Швейцария в романе (как и в целом в русской литературе), замечает В. И. Мельник, — «символ, связанный с философско-педагогическими, нравственными принципами Руссо (стоит припомнить «Кто виноват?» Герцена, «Идиота» Достоевского). Отголоски руссоистских идей обнаруживаются и в других произведениях Гончарова, например в „Обрыве“» (*Мельник 1982*. С. 92; см. также ниже, с. 554, примеч. к с. 183).

С. 181. ...спуститься в Геркулан. — Речь идет о древнем городе вблизи Неаполя, погибшем в 79 г. н. э. во время извержения Везувия. Раскопки города велись с 1738 г. до 1930-х гг.

С. 181. Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой Ночи, на Аполлона Бельведерского ∞ Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? — Кисти Рафаэля Санти (1483—1520) принадлежит большое количество «мадонн», среди которых наиболее известна «Сикстинская мадонна» (1515—1519; первоначально в церкви монастыря Сан-Систо в Пьяченце, с 1754 г. в Дрезденской галерее). О «Сикстинской мадонне» Гончаров упоминал в статье «„Христос в пустыне“, картина г-на Крамского» (1874); а в письме великому князю Константину Константиновичу от 20 июля 1887 г. признавался: «Ни Тициан, ни Гвидо Рени, ни Мурильо, ни Рубенс с Рембрандтом не достигали (хотя и гении) той

высоты творчества, какой достиг Рафаэль в Сикстинской Мадонне (больше всего) и потом в других своих Мадоннах-матерях и в младенцах». Речь идет также о картине Антонио Корреджо (ок. 1489—1534) «Ночь», или «Святая ночь», или «Рождество» (ок. 1530; с 1763 г. в Дрезденской галерее), составлявшей часть диптиха с полотном «День», или «Мадонна со Св. Иеронимом» (1527—1528; музей г. Парма). Знаменитый Аполлон Бельведерский, реплика античной статуи работы Леохара (IV в. до н. э.), находится в Ватикане. Главные творения Микеланджело Буонарроти (1475—1564) в Риме — роспись Сикстинской капеллы в Ватикане, собор Св. Петра (руководил строительством с 1546 г.) и ансамбль Капитолия. Тициан (ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576) — глава венецианской школы Высокого Возрождения (см. о ней выше, с. 490, примеч. к с. 19).

С. 181. ...перевод из Сея... — Французский экономист Жан Батист Сей (Say; 1767—1832) — один из основателей политической экономии, последователь А. Смита, автор ряда популярных, многократно переизданных и переведенных на основные европейские языки трудов: *Traité d'économie politique, ou Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses*. Paris, 1803; *Catéchisme d'économie politique, ou Instruction familière qui montre de quelle manière les richesses sont produites, distribuées et consommées dans la société*. Paris, 1815 (в рус. пер.: Сокращенное учение о государственном хозяйстве, или Дружеские разговоры, в которых объясняется, каким образом богатство производится, делится и потребляется в обществе. СПб., 1816; Катехизис политической экономии, или Краткое учение о составлении, распределении и потреблении богатства в обществе. СПб., 1833); *Cours complet d'économie politique pratique*. Paris, 1828—1830. Vol. 1—6. Сей был также автором статистического исследования «*De l'Angleterre et des Anglais*» (Paris, 1815; в рус. пер.: Об Англии и англичанах / Пер. с фр. П. Яковлева. СПб., 1817), пользовавшейся огромным успехом книги мыслей и изречений «*Petit volume, contenant quelques aperçus des hommes et de la société*» (Paris, 1817) и многих других работ. О публикации отрывка из Сея см. выше, с. 176—177).

С. 181. ...сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене... — Упоминаются университетские цент-

ры Германии. Университет в Бонне основан в 1786 г., в Иене — в 1547 г., в Эрлангене — в 1743 г.

С. 183. ...с *Пречистенки ходил в Кудрино*... — Пречистенка — одна из аристократических улиц в центре Москвы с большим количеством сохранившихся зданий XVIII в. Кудрино — район на западе Москвы.

С. 183. *Не забыл Руссо, Шиллера, Гете, Байрона*... — Литературными симпатиями молодой Обломов напоминает Александра Адуева; ср. сказанное о последнем: «Он, в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном, призывал тень Байрона, ссылаясь на Гете и на Шиллера» (наст. изд., т. 1, с. 268). Об отражении идей названного в ряду «апостолов романтизма» сентименталиста Жан-Жака Руссо (Rousseau; 1712—1778) в «Обломове» см.: *Мельник 1982*. С. 86—97; *Мельник Т. В. И. А. Гончаров и французские просветители: (Вольтер и Руссо) // Гончаровские чтения. 1994. Ульяновск, 1995*. С. 62—71; *Краснощекова*. С. 260—284; ср. также выше, с. 538, примеч. к с. 163.

С. 183. ...отнимал у них романы *Коттен, Жанлис* ∞ *хотел очистить их вкус?* — Мари-Софи Ристо Коттен (Cottin; 1773—1807) — французская писательница, автор исторических романов «*Claire d'Albe*» (1792), «*Malvina*» (1801), «*Amélie de Mansfield*» (1803), «*Mathilde, ou Mémoires tirés de l'Histoire Croisades*» (1805), «*Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie*» (1806) и др. Герой «*Матильды*» Малек-Адель был идеалом романтических барышень XIX в. (см. об этом: *Лотман. Комментарий*. С. 211). Собрания сочинений Коттен выходили в Париже с 1817 по 1826 г. практически ежегодно. Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен Жанлис (Genlis; 1746—1830) — французская писательница, автор педагогических сочинений и многочисленных популярных в Европе рыцарских и светских романов, в которых нравоучительность соседствовала с довольно фривольными положениями и картинками. Переводы Жанлис стали появляться в России с 1790-х гг. Наибольшей известностью пользовались романы «*Les Chevaliers du Cygne, ou la Cour de Charlemagne*» (Paris, 1795) и «*Mademoiselle de Clermon*» (Paris, 1802). Как вспоминал А. А. Григорьев, «„Рыцари Лебеда“ г-жи Жанлис — и знаменитая „Матильда, или Крестовые походы“ г-жи Коттен — вот что составляло насущную пищу читающей „публики“, преимущественно женской ее половины. {...}

Над „Матильдой” проливалось несчетное количество слез и Малек-Аделем ее решительно бредили барыни и барышни ⟨...⟩. Скучнее всего были романы г-жи Жанлис, хотя по странной игре судьбы в упомянутом мною пошлом ее издании „Рыцари Лебеда” — может быть, нагляднее всех других выражался тогдашний французский дореволюционный дух и его тогдашнее отношение к средним векам, рыцарству и проч., так что даже весьма скандальных непристойностей немало в произведениях сухой и чинной гувернантки Орлеанского ⟨Жанлис с 1782 г. была воспитательницей герцога Орлеанского⟩, а легкомыслие общего взгляда на жизнь доказывает, что не бесследно прошло для нее знакомство с сочинениями Вольтера и с ним самим. Да и рыцари, взятые ею напрокат без малейшего знакомства с историей из времен Карла Великого, нисколько не похожи на рыцарей немецких романов: это люди очень легкомысленные и ветреные, — помимо, конечно, ее ведома...» (Григорьев. *Воспоминания*. С. 71). Осмеянию этих романов много способствовал В. Г. Белинский (как правило, упоминавший в паре имена Жанлис и Коттен): «...они изображали не общество, не людей, не действительность, а призраки больного или праздного воображения» (Белинский. Т. IV. С. 362; см. также: Т. I. С. 304, 398, 442; Т. II. С. 172, 174, 362; Т. III. С. 58, 61; и др.). Произведения Коттен упоминаются также в «Обрыве».

С. 183. ...определяя весну привозом устриц и омаров... — См. выше, с. 491—492, примеч. к с. 20.

С. 184. ...а оттого, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму... — Реминисценция из лермонтовского «Мцыри» (1839): «Знай, этот пламень с юных дней, / Таяся, жил в груди моей; / Но ныне пищи нет ему, / И он прожег свою тюрьму...». Мотив «запертого света» П. Тирген считает шиллеровским (см.: *Тирген*. С. 29). Ср. в первоначальной редакции главы IV части второй романа: «...а оттого, что двадцать лет в этом теле ∞ был заперт вихрь, который искал выхода и точил, жег, рвал свою тюрьму...» (наст. изд., т. 5, с. 209—210).

С. 184. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху. — Один из многочисленных в романе отголосков путешествия Гончарова на фрегате «Паллада». Ситка (Ситха) — город на о-ве Ситка (о-в Баранова) у побережья Северной Америки, административный центр торгово-промышленного акцио-

нерного общества «Российско-Американская компания» (основано в 1799 г. русскими купцами, с 1844 г. находилось под покровительством правительства), занимавшегося освоением земель и торговлей на Аляске и Дальнем Востоке. Подробнее см.: наст. изд., т. 3, с. 603, примеч. к с. 302, и с. 753, примеч. к с. 632.

С. 184. *Да я ли один? ∞ наше имя легион!* — Выражение восходит к тексту Евангелия: «И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5:9; ср.: Лк. 8:30). В первоначальной редакции части первой романа этот мотив был постоянно связан с Алексеевым (наст. изд., т. 5, с. 25, 28). О мотиве двойничества «Обломов — Алексеев» см.: *Десницкий В. А.* Избр. статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958. С. 296; полемику см.: *Отрадин*. С. 123—124.

С. 185. *Тарантас надо какой-нибудь... ∞ До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека...* — По предположению В. И. Мельника (см.: *Мельник* 1982. С. 97; также: *ЛП «Обломов»*. С. 669), мысль о путешествии на тарантасе («крытая повозка на длинных дрогах, чаще всего употреблявшаяся для езды на долгих по России» — *Толль*. Т. 3. С. 611) возникает не без влияния исключительно популярной в 1840-е гг. повести В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления» (1845), в которой также ставилась проблема соотношения патриархальных и буржуазных (европейских) начал. Упоминания о передвижении в почтовом экипаже, или мальпосте (фр. malle-poste — почтовая карета), часты в письмах Гончарова из-за границы 1857 и 1859 гг. Любек — вольный город в Германии, на Балтийском побережье. Акционерное общество для постоянного пароходного сообщения между Петербургом и Любеком было создано в 1830 г., пароходное сообщение открыто в 1850 г.; пароход в Любек отправлялся из Петербурга еженедельно (см.: *Семенов*. С. 284; *Греч*. С. 8).

С. 185. *Это слово снилось ему ночью, написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру.* — По библейской легенде (Дан. 5:25—28), на стенах чертога, в котором пировал царь Валтасар, внезапно появились огненные слова «Mene, thekel, fares» («Исчислено, взвешено, разделено» — *халд.*). Пророческая надпись, разгаданная пророком Даниилом, предвещала гибель Валтасара и раздел его царства. Гончаров использует этот библейский сюжет также

в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 387) и «Фрегате „Паллада”» (наст. изд., т. 2, с. 48).

С. 186. *Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского*; см. также с. 187: «Теперь или никогда!» «Быть или не быть!» — Имеется в виду начало монолога Гамлета в одноименной трагедии В. Шекспира (акт III, сцена 1). О «гамлетовском» в Обломове см. подробнее: Лощиц. С. 185—187; Кантор. С. 192—193; Отрадин. С. 116—117. «Гамлетовский» вопрос повторялся также во «Фрегате „Паллада”» и очерке «Через двадцать лет» (наст. изд., т. 2, с. 341, 352, 725).

С. 186. *...беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток...». — См. выше, с. 544, примеч. к с. 174.*

С. 188. *...бумага, даже гербовая...; см. также с. 294: ...с листом гербовой бумаги... — Имеется в виду бумага для официальных документов, оплаченная особым (гербовым) сбором и имевшая в верхней части изображение государственного герба.*

С. 190. *Одни считали ее простой, недалней, неглубокой, потому что не сыпались с языка ее ни мудрые сентенции о жизни ∞ ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе... — По мнению ряда исследователей, в этой характеристике Ольги заключен авторский выпад против жоржзандизма (см.: Мельник 1995. С. 20). Об отражении в романе идей Жорж Санд см. выше, с. 249—253, и ниже, с. 558—559, примеч. к с. 203.*

С. 195. *...там Мейрбер зашевелит меня... — Джакомо Мейербер (Meयरbeer; наст. имя и фамилия — Якоб Либман Бер (Beer); 1791—1864) — немецкий композитор, работавший главным образом в Италии и Франции, автор героико-романтических опер «Роберт-дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1849) и др., имевших огромный успех как в Европе, так и в России. См. о нем, например: Очерк истории французской оперы: Опера до Мейербера; Мейербер и его влияние // *РиП*. 1853. Кн. X. Отд. «История и теория искусства». С. 1—26. «О Роберте-дьяволе» см. выше, с. 528—529, примеч. к с. 133.*

С. 196. *...сквозила в трельяже с плющом. — Трельяж — решетка для вьющихся растений.*

С. 198. *Он ∞ смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер...; см. также с. 199: «Да, я что-то добываю из нее ∞ из нее что-то переходит в меня. У сердца, вот здесь, начинает будто кипеть и*

биться... — Имеется в виду «животный магнетизм», или «месмеризм» (по имени открывшего и обосновавшего явление магнетизма в 1778 г. Франца Месмера (1733—1815)), — «влияние, оказываемое одним человеком на другого посредством прикосновения руками к некоторым частям тела, или посредством особых движений, или даже посредством одной воли. <...> Сущность животного магнетизма объясняют присутствием чрезвычайно тонкой жидкости, подобной электричеству. Бóльшая часть магнетизеров настоящего времени утверждают, что эта жидкость тождественна с жидкостью нервов и что воля, подобно тому как она управляет жидкостью нервов относительно органов движения, может тоже испустить эту жидкость из себя и заставить ее проникнуть в тело другого человека. Они думают, что чрез скопление этой жидкости в человеческом теле можно умножить жизненные силы» (*Толль. Т. 2. С. 758—759*). Идеи Месмера имели особый успех в России в 1820—1830-е гг. (см.: *Москвитянин А. Месмеризм, или Нечто о животном магнетизме. СПб., 1840; Животный магнетизм / С фр. М., 1840; Рафалович А. О животном магнетизме // СО. 1842. Ч. 3. С. 45—46; Ч. 4. С. 52—104; Ч. 5. С. 1—60; Долгоруков А. Взгляд на современный ход животного магнетизма в России // БдЧ. 1845. № 5. Отд. VII. С. 1—10*). Один из русских сторонников метода Месмера писал: «Любовь некоторые относят к числу явлений животного месмеризма, оно и правда!.. и нет!.. глаза есть первый язык любви <...>. Любовь рождается от двух родов месмерования: от устремления мыслей и влияния зрения одного существа на другое, а потому неоспоримо она есть явление физико-психического животного месмеризма». И далее: «Магнетизер просто становится против месмеруемого и наводит прямо на его глаза, и так продолжает действовать во весь сеанс» (*Долгоруков А. Животный месмеризм. СПб., 1844. С. 16, 67*). О характерном для писателей-романтиков уподоблении любви электричеству, магнитным и химическим процессам см.: наст. изд., т. 1, с. 653, примеч. к с. 70.

С. 203. *...среди плющей в боскете...* — Боскет (фр. *bosquet*) — небольшая искусственная рощица, садик с подстриженными деревьями.

С. 203. *...это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж Занды, да сбиваются в сторону.* — Идеи женской эмансипации в романах Жорж Санд (Занд) (*Sand*;

наст. имя и фамилия — Аврора Дюпен (Dupin), по мужу Дюдеван (Dudevant); 1804—1876) приобрели популярность в России в 1830—1840-х гг. О восприятии в России творчества Санд см. выше, с. 249—253.

С. 212. *Счастливый, сияющий, точно «с месяцем во лбу»...* — Фольклорный мотив, восходящий к древнейшим славянским преданиям (см.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 593). У В. И. Даля зафиксировано народное речение: «Еще какого захотела ⟨жениха⟩, во лбу месяц, а в затылке ясны звезды?» (Даль. Т. 2. С. 371).

С. 213. *...в Абиссинию пошлет!* — Т. е. в Эфиопию.

С. 218. *...смотришь, уж овладел, играет, как будто на инструменте...* — Возможная реминисценция из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601); ср. реплику Гамлета, обращенную к Гильденстерну: «Ты хочешь играть на душе моей, а вот, не умеешь сыграть даже на этой дудке. Разве я хуже, проще, нежели эта флейта? Считаю меня чем тебе угодно — ты можешь мучить меня, но не играть мною!» (д. 3, явл. 2; пер. Н. А. Полевого). См. об этом мотиве: ЛП «Обломов». С. 670; Отрадин. С. 116—117.

С. 221. *...имения Ольги, которое как-то попало в залог при одном подряде, да там и село.* — При заключении подрядного договора с казенным учреждением подрядчик был обязан предварительно внести залог или поручительство, соразмерное сумме неустойки. Многочисленные объявления о казенных подрядах ежедневно печатались в прибавлениях к «С.-Петербургским ведомостям».

С. 221. *...и в петлице фрака носил много ленточек.* — В рукописи уточнение: «орденских ленточек» (см.: наст. изд., т. 5, с. 286, вариант к с. 221, строка 21). Имеется в виду общая для России и Европы традиция носить ленты соответствующих орденов (высших степеней) в петлице непарадного мундира или фрака. При этом концы ленты «продеваются наружу в поперечный разрез, имеющийся на левой стороне мундира (вицмундира) несколько ниже талии» (Лобачевский А. Памятная книжка о ношении орденов и медалей и других знаков отличия с приложением рисунков их ношения и описания иностранных орденов. 2-е изд. СПб., 1887). Ср. в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 193, 320, 350).

С. 224. *Гулять с молодым человеком, с франтом — это другое дело...* — Ср. у Гончарова классификацию типов

светских людей в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» (1848): «Франт. — Лев. — Человек хорошего тона. — Порядочный человек» (наст. изд., т. 1, с. 471—472).

С. 226. ...*кончил курс ученья, надел эполеты...* — Речь идет о производстве юнкера в офицеры по окончании кадетского корпуса или военного училища: «Момент, когда человек получал первый офицерский чин, был важнейшим в его жизни: он переступал грань, очерчивавшую высшее в стране сословие, переход в которое коренным образом менял его положение в обществе (если он не был дворянином), и входил в наиболее престижную для дворянина социально-профессиональную общность. Совершенно естественно, что это был акт особого значения — гораздо большего, чем поступление на военную службу или получение высших чинов, вплоть до генеральских (ибо в социально-правовом плане между прапорщиком и генерал-фельдмаршалом разницы не было, тогда как между старшим унтер-офицером — фельдфебелем или подпрапорщиком — и прапорщиком она была огромной)» (Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 49). Ср. ситуацию производства из юнкеров в офицеры Грушницкого в «Герое нашего времени» («Княжна Мери») М. Ю. Лермонтова.

С. 227. *Контрданс* (фр. contredanse) — старинный танец, род кадрили.

С. 231. ...*перед ними Рубикон ∞ надо перешагнуть*. — Рубикон — река в Верхней Италии, во времена римлян служившая границей между Умбрией и Цизальпинской Галлией. Замечательна переходом через нее Цезаря, начавшего таким образом гражданскую войну (49 г. до н. э.). «Перейти Рубикон» — сделать решительный, бесповоротный шаг.

С. 232. ...*я читал «Историю открытий и изобретений»*. ∞ — *Нет, по-английски*; см. также с. 237: *К «Истории открытий и изобретений» он всё примешивал какие-нибудь новые открытия...* — Вероятно, имеется в виду издание: Beckmann J. A History of Inventions, Discoveries and Origins. London, 1846. Vol. 1—2.

С. 233. *Сонетка* (фр. sonnette) — звонок для вызова прислуги или же лента или шнурок (как правило, художественной работы), соединяющиеся с колокольчиком звонка.

С. 235. ...*Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом.* — Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, знаменитый скульптор, полюбивший изваянную им статую девушки Галатеи, оживленную Афродитой. Разнообразно истолкованное, это предание много раз становилось предметом художественного воплощения.

С. 236. ...*заиграет музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы.* ∞ «*Это, должно быть, силы играют ∞ говорила она его словами, чутко вслушиваясь в небывалый трепет...*» — Вспоминая эту сцену в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 1860 г., Гончаров писал: «Это силы играют <...> от рождающегося чувства любви; натура в известный период просыпается, обожженная жизнью, просит движения, жаждет деятельности и наслаждения...». «Музыка нерв», «трепет нерв» — устойчивые образы у Гончарова, определяющие состояние слияния физического (телесного) и «артистического»; ср. далее в тексте романа: «...без трепета ∞ без игры и музыки нерв» (наст. изд., т. 4, с. 380); также в черновиках: «Нервы его пели, музыка нерв...» (наст. изд., т. 5, с. 6, сноска 6, пункт 5); во «Фрегате „Паллада“» ощущение «какой-то музыки в нервах» во время «службы с певчими» в Вестминстерском аббатстве (наст. изд., т. 2, с. 42) или рассуждения о чувстве Веры к Тушину в «Обрыве»: «Не полюбила она его страстно, — то есть физически: это зависит не от сознания, не от воли, а от какого-то нерва (должно быть, самого глупого, — думал Райский, — отправляющего какую-то низкую функцию, между прочим, влюблять)...» (глава XVIII части пятой). «Шум сфер» («хор», «пенье», «музыка», «гармония сфер») — реминисценция из пифагорейской философии, согласно которой небесные тела через определенные гармонически упорядоченные интервалы издают звуки, воздействующие на людей, но не воспринимаемые ими; представление о музыке сфер вошло в романтическую концепцию любви, получив широкое распространение в поэзии и прозе 1820—1830-х гг. Этот образ использован Гончаровым в «этюде» «〈Хорошо или дурно жить на свете?〉» (1841—1842): «Начинается музыка сфер, заговорили какие-то голоса» (наст. изд., т. 1, с. 512; 810—811). Выражение «прислушиваться к росту травы» восходит к тексту Младшей Эдды (1, 27) и подразумевает особую поэтическую чут-

кость. Приобрело популярность в романтическую эпоху, в частности благодаря часто цитируемому стихотворению «На смерть Гете» (1832) Е. А. Баратынского, в котором создан образ поэта-мудреца, ясновидца природы: «С природой одною он жизнью дышал: / Ручья разумел лепетанье, / И говор древесных листов понимал, / И чувствовал трав прозябанье...» (см. об этом: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 116). Ср. тот же образ во «Фрегате „Паллада“»: «...подслушивать, как растет трава» (наст. изд., т. 2, с. 245; т. 3, с. 590).

С. 237. *К «Истории открытий и изобретений» он всё примешивал какие-нибудь новые открытия...* — См. выше, с. 560, примеч. к с. 232.

С. 238. *Поговаривают съездить в Финляндию, на Иматру.* — Иматра — водопад на реке Вуокса в Финляндии.

С. 239. — *Нет, я читал «Revue».* — Подразумевается, скорее всего, петербургский журнал «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts», издававшийся в 1832—1863 гг. книжным магазином Белизара и помещавший специально для высшего петербургского общества повести и романы новейших французских писателей (О. де Бальзака, Э. Сю, А. Карра, Ж. Жанена, А. де Виньи и др.). Несколько выпусков этого журнала за 1856—1857 гг. имелись в библиотеке Гончарова (см.: *Библиотека.* С. 119). Возможно также, что речь идет о широко читавшемся в Петербурге французском литературном журнале «Revue de Paris» (выходил с 1829 г. под ред. Луи-Дезире Верона (Veron), затем Франсуа Бюлоза (Buloz)) или же журнале «Revue des Deux Mondes» (издавался с 1831 г. под ред. Бюлоза), которые печатали тех же авторов.

С. 241. *...приступила к нему с вопросами о двойных звездах: он имел неосторожность сослаться на Гершеля...* — Открытие систем двойных и сложных звезд (т. е. звезд, обращающихся по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс), одно из величайших в астрономии, принадлежит английскому астроному Вильяму (Фридриху Вильгельму) Гершелю (Herschel; 1738—1822), составившему их описание и каталог. Исследованием двойных звезд, туманностей, звездных скоплений занимался также и его сын — Джон Фредерик Вильям Гершель (Herschel; 1792—1871), астроном и физик, лектор и популяризатор астрономии; в 1834—1838 гг. он находился с экспедицией на мысе Доброй Надежды (см. упоминание о нем во «Фрега-

те „Паллада”» — наст. изд., т. 2, с. 153; т. 3, с. 576). Основное популяризаторское сочинение Дж. Гершеля — «*Outlines of astronomy*» (1849; рус. пер.: *Гершель Дж. Очерки астрономии* / Пер. с англ. А. Драшусова. М., 1861). Пассаж о двойных звездах в рукописи отсутствовал и появился лишь в первой публикации романа.

С. 241. *Увраж* (фр. *ouvrage*) — сочинение, литературное произведение.

С. 243. «*Это слова... как будто Корделии!*» ∞ — *Жизнь — долг, обязанность; следовательно, любовь — тоже долг* ∞ — *Корделия!* — Ср. признание Корделии в «Короле Лире» (1605): «Моя любовь не скажется словами. / Я, государь, люблю вас так, как мне / Мой долг велит, не больше и не меньше» (д. 1, сц. 1; С. 1856. № 11. С. 221; отд. изд.: *Шекспир В. Король Лир* / Пер. А. В. Дружинина. СПб., 1858. С. 81). Подробнее об этом мотиве в романе см. выше, с. 180—181.

С. 246. *И Ольга не справлялась, поднимет ли страстный друг ее перчатку ∞ бросится ли для нее в бездну...* — Намек на мотив испытания любви героя в балладах Ф. Шиллера «*Der Handschuh*» (1797) и «*Der Taucher*» (1797) — «Перчатка» и «Кубок» в пер. В. А. Жуковского.

С. 260. — *Нет, любят только однажды!* — повторил он, как школьник, заученную фразу. — Ср. в «Обыкновенной истории»: «— Да! — говорил Александр, — вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив, буду любить вечно и однажды» (наст. изд., т. 1, с. 240).

С. 260. *С вами не страшна судьба!* — *Эти слова я недавно где-то читала... у Сю, кажется ∞ только их там говорит женщина мужчине...* — Ср.: «С вами я ничего не боюсь! ∞ Ах, эти слова я вчера читала у Сю» (наст. изд., т. 5, с. 313, варианты к с. 260, строки 39—40 и 41—42). Романы Эжена Сю (Sue; 1804—1857), французского романтика, принадлежавшего к школе «неистойой словесности», были особенно популярны в 1830—1840-х гг. К середине 1840-х гг. (время действия в первых частях «Обломова» — см. об этом выше, с. 499—500, примеч. к с. 33). Сю опубликовал несколько «морских» (или «сатанинских»), исторических и нравоописательных романов, а также имевшие исключительный успех романы-фельетоны «Матильда» (1840; печатался частями, как газетный фельетон, в «*La Presse*»; отд. изд.: Paris, 1841. Vol. 1—6) и «Парижские тайны» (1842—1843; о нем см. ниже, с. 585—586,

примеч. к с. 490). В данном случае, как предположил А. Мазон (см.: *Mazon*. Р. 314), у Гончарова присутствует отсылка к одному из мотивов романа Сю «Плик и Плок» (1831). Однако у Сю, как в оригинале, так и в переводе, ситуация иная: объяснение в любви контрабандиста Хитано и живущей в монастыре Розиты происходит на могиле монашенки Пепы, замученной в монастырской темнице после ее неудачной попытки бежать со своим возлюбленным. Розита, признаваясь в любви Хитано, говорит ему, что не страшится судьбы Пепы (ср.: «...подобно ей, я умерла бы за своего любезного. О! я это знала, я об этом думала. — Как! сия ужасная участь... — В тысячу раз менее ужасна, нежели один день, проведенный без тебя...» (*Сю Е. Плик и Плок*, сцены на море / Пер. В. Волжского. СПб., 1832. С. 227; ср.: *Sue E. Plik et Plok*. Paris, 1831. Р. 157).

Перевод двух глав из романа Сю «Атар-Гюль», опубликованный без подписи Гончарова в «Телескопе» Н. И. Надеждина в 1832 г., был литературным дебютом будущего писателя (см.: наст. изд., т. 1, с. 534—546; 822—827). Цитата из «Атар-Гюля» (определение «истинной любви») вошла в текст «Обыкновенной истории» (там же, с. 323). А. Мазон полагал также, что повлиять на создателя «Обломова» мог и роман Э. Сю «*La Paresse*» (см. об этом выше, с. 174—175). На тему «Гончаров и Э. Сю» см.: *Мельник Т. В.* И. А. Гончаров и французская литература: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов и лицеистов. Ульяновск, 1995. С. 12—16; о переводах и восприятии Сю см.: *Покровская Е. Б.* Литературная судьба Е. Сю в России (1830—1857) // *Язык и литература*. Л., 1930. Т. 5. С. 227—238; *Фролова Р. И.* Э. Сю в русской литературе и критике // *Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях*. Казань, 1982. С. 32—43.

С. 265. *И не родился еще Иисус Навин, который бы сказал ей: «Стой и не двигайся!»* — Иисус Навин, остановив солнце, продлил день, чтобы довести до конца сражение, сулившее победу его народу (ср.: «Иисус воззвал к Господу в тот день {...} и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Нав. 10:12).

С. 265. *...грудь ее облегалась в звуках Шуберта...* — О соотнесенности в романе музыки Ф. Шуберта (1797—1828), создателя романтической песни-романса (ок. 600 на стихи Ф. Шиллера, И.-В. Гете, Г. Гейне), автора лири-

ко-романтических симфоний и фортепьянных миниатюр лирико-психологического характера, и В. Беллини см.: *Fisher*. P. 113.

С. 265—266. *Вот почитаешь о французах, об англичанах ∞ Ездят себе по всей Европе, иные даже в Азию и в Африку ∞ кто рисовать альбом или древности откапывать, кто стрелять львов или змей ловить.* — См., например, заметку, перепечатанную «из одной французской газеты», — «весьма интересное письмо одного охотника за львами в Алжире» (*РиП*. 1846. № 11. Отд. «Смесь». С. 392—394), а также «Путешествие английского туриста по Востоку» (С. 1848. № 3 (пер. неизв. автора); № 4 (пер. неизв. автора); № 5 (пер. В. Ап. Солоницына); № 6 (пер. Вл. Н. Майкова)). Об охотниках на львов в Африке Гончаров говорит и во «Фрегате „Паллада“» (см.: наст. изд., т. 2, с. 132). Речь может идти и об упоминаемой во «Фрегате „Паллада“» книге путешествий Ж. Араго, в которой имеется глава «Охота на львов» (см.: *Араго Ж. Воспоминания слепого. Путешествие вокруг света* / Пер. П. А. Корсакова и др. СПб., 1844. Т. 1. С. 89—94).

С. 266. *...говорит о запашке...* — См. выше, с. 514, примеч. к с. 75.

С. 266. *Он берется выслать все документы для заклада имения в совет. «Пришли я ему доверенность, в палату ступай засвидетельствовать» ∞ А я и не знаю, где палата ∞ и Ольга спрашивает, был ли он в палате.* — Имеется в виду Опекунский совет, который осуществлял контроль за соблюдением личных и имущественных прав несовершеннолетних, душевнобольных и т. п. При Опекунских советах существовали ссудные кассы (ломбарды), выдававшие деньги под залог имущества и недвижимости. Для залога имения требовалось закладное письмо, или закладная, — подробная опись имения (количество крепостных душ, состояние строений, имущества), заверенная в губернской палате гражданского суда (гражданская палата) или подписанная двумя свидетелями. При гражданских палатах «существовали т. н. крепостные отделения — для оформления документов о продаже недвижимых имуществ, купчих (купчая крепость), доверенностей, духовных завещаний» (*Раскин*. С. 606). Гражданская палата в Петербурге находилась на Адмиралтейской пл. (угол Гороховой ул.) в здании губернских присутственных мест (см.: *Греч*. С. 168, 331).

С. 272. *...сколько ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него.* — Ср. признание Гончарова в письме к И. И. Льховскому от 13 (25) июня 1857 г.: «Кажется, пропасть дурного — бездонна в человеке, но чуть ли источник хорошего еще не глубже и неиссякаемое. {...} Я хочу сказать, что глубина дурного не превышает глубину хорошего в человеке и что дно у хорошего даже... да у него просто нет дна, тогда как у зла есть...».

С. 273. *...зачем англичане посылают корабли с войском на Восток...* — См. выше, с. 544, примеч. к с. 174.

С. 273. *...интересовался, когда проложат новую дорогу в Германии или Франции.* — Подобная информация часто появлялась на страницах журналов; см., например: *Лист Ф.* Система железных дорог в Германии как средство к усилению промышленности таможенного союза и вообще к укреплению национальной связи Германии // *ОЗ.* 1840. № 2. Отд. II. С. 29—44; Железные дороги в Европе // *БдЧ.* 1847. № 9. Отд. III. С. 65—115; Железные дороги в Европе и Америке в 1848 г. // Там же. 1849. № 2. Отд. III. С. 88—145; Движение по немецким железным дорогам в 1847 г. // С. 1848. № 12. Отд. «Современные заметки». С. 173—174; и др.

С. 276. *Селадон* — дамский угодник, волокита; по имени героя романа «Астрей» (1610—1619) французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 289. *Сейчас в управу подаст...; см. также с. 391: ...и бумаги не умеешь в управу написать...* — Имеется в виду управа благочиния, орган городского полицейского управления. Полиция разделялась на столичную (С.-Петербург и Москва), городскую провинциальную и сельскую. В губернских городах полиция подчинялась управам благочиния, возглавляемым полицеймейстерами. Кроме них в состав управ входили по два пристава (уголовных и гражданских дел) и ратманы — выборные от купечества. Город делился на части, каждая из которых возглавлялась частным приставом, а части — на кварталы во главе с квартальным надзирателем (см. ниже, с. 573, примеч. к с. 362).

С. 290. — *Ну так заплати же мне теперь по крайней мере за извозчика ∞ три целковых. ∞ Да отсюда три целковых — вот двадцать два рубля!* — Как заметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 273), 6 целковых (т. е. 6 серебряных рублей) в переводе на ассигнационные рубли (см. выше, с. 504—505, примеч. к с. 44) составляют 21 рубль. Следовательно, верный себе Тарантьев пытается обчислить Обломова на рубль. Но затем, забывая об этом, он, получив от Обломова четыре целковых (14 рублей ассигнациями), ожидает от него еще семи рублей, т. е. производит правильный расчет.

С. 290. — *Отсюда дилижанс ходит за полтинник...* — Судя по стоимости проезда в Петербург дилижансом, Обломов жил в Парголове (см.: Мухневич. С. 66; ср.: Греч. С. 194—195; отмечено: ЛП «Обломов». С. 273). Это подтверждается и расстоянием до города, указанным Обломовым в письме к Штольцу: «...я живу на даче, в двенадцати верстах от города» (первоначальная редакция начала главы V части второй романа; см.: наст. изд., т. 5, с. 220). О Парголове, расположенном на 12-й версте от Петербурга по Выборгской дороге и принадлежавшем графам Шуваловым, современник писал: «По очаровательному местоположению и превосходному устройству сада трудно найти ныне, в окрестностях столицы, другое место, столь приятное для гулянья и сельской жизни» (Пушкарев. С. 466). В Парголово Гончаров ездил как раз летом 1843 г. (навещать Вл. Н. Майкова, Старика, в отсутствие его родителей); ср. в его письме Евг. П. и Н. А. Майковым в Германию от 22 июля 1843 г.: «Ваш Старик проживает в Парголове в мирной неге, ходит в сереньком сюртучке и целует беспрестанно свою тетеньку всюду — я думаю, теперь уж некуда ему и целовать ее. Я был в Парголове два раза и не знаю, поеду ли еще, особенно глядя на наше лето: удивительное! Вот уж дней 12 дождь так и льет!». Ср. упоминание прогулок в Петергоф и Парголово в «Лихой болезни» (наст. изд., т. 1, с. 37) и «Фрегате „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 11).

С. 291. *..ковы строят...* — «Строить ковы, козни, крамолы», по В. И. Далю, — «коварничать, поступать коварно, лукаво и зло, пронырничать» (Даль. Т. 2. С. 127).

С. 294. *Что это все они как будто сговорились торопиться жить!* — Реминисценция из стихотворения П. А. Вя-

земского «Первый снег» (1819): «По жизни так скользит горячность молодая, / И жить торопится, и чувствовать спешит!», строка которого взята эпитафией к главе первой «Евгения Онегина».

С. 294. ...с листом гербовой бумаги... — См. выше, с. 557, примеч. к с. 188.

С. 294—295. Он не знал хорошенько, где палата, и заехал ∞ спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать. — О гражданской палате см. выше, с. 565, примеч. к с. 266. Гражданская палата делилась на два департамента.

С. 295. «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына»... — О коллежском секретаре см. выше, с. 507—509, примеч. к с. 54.

С. 297. ...мне надо искать квартиру в другой части города... — Город делился на 13 административных частей, отличавшихся характером застройки, социальным, а иногда и национальным составом населения, так что они образовывали как бы город в городе. Выразительные характеристики частей Петербурга см.: Пушкарёв. С. 73—77; Михневич. С. 57—62, а также: Цылов Н. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и обывательских домов. СПб., 1849. См. также выше, с. 484—485, примеч. к с. 5.

С. 297—298. — В канцелярии. ∞ — Где мужиков записывают... я не знаю, как она называется; см. также с. 486: ...на прежнее место секретаря в канцелярии, «где записывают мужиков»... — Имеется в виду губернская казенная палата (см. о ней выше, с. 533, примеч. к с. 139). Казенная палата в С.-Петербурге располагалась в доме Министерства финансов, на углу М. Мещанской ул. и Екатерининского канала (см.: Греч. С. 173, 279).

С. 298. ...с Николы перестала... — День Св. Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 6 декабря (Никола зимний) и 9 мая (Никола вешний).

С. 298. ...в Ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы ходили. — Что ж, там много бывает? ∞ — Нет, нынешний год немного было ∞ А то много бывает. — Ильинская пятница — пятница той недели, на которую приходится Ильин день (20 июля; о нем см. выше, с. 517, примеч. к с. 101). Пороховые заводы находились в пригороде Петербурга, граничившем с Выборгской частью; в 1721 г.

там была построена церковь Илии Пророка. «Из празднеств, совершаемых при сем храме, достойно особенного внимания одно, в день Илии Пророка (20 июля), по следующему случаю. В 1730 году, среди лета, Петербург постигнут был столь великою засухой, что все леса в окрестностях столицы горели, и густой дым затмевал почти солнечное сияние. Тогда императрица велела, для умиловливания Бога, совершить со всем синклитом, находящимся в Петербурге, крестный ход к церкви Илии Пророка, и после сего вскоре благотворный дождь освежил атмосферу. Императрица Елизавета Петровна <...> установила с 1744 года крестный ход ежегодно» (*Пушкарев*. С. 276—277). Крестный ход совершался вокруг заводов (см.: *Михневич*. С. 165; Приб. С. III); в этот день «на Пороховые собиралось до 150 тыс. верующих и проходило большое народное гулянье» (*Святыни Санкт-Петербурга*. С. 188). Особо почитаема была и часовня Св. Параскевы Пятницы при храме Илии; в день памяти Параскевы Пятницы (28 октября) на Пороховые также стекалось большое количество народа (см.: Там же).

С. 298. *Братец с Михеем Андреичем на тоню ходят, уху там варят...* — Тоня — участок реки с расчищенным дном для ловли рыбы закидным неводом. О тонях, расположенных на Выборгской стороне и Охте, см.: *Греч*. С. 519.

С. 298. *В прошлом году были в Колпине...* — Колпино — «село Петербургской губернии, Царскосельского уезда, с 1500 жителями и Ижорскими литейными заводами» (*Толль*. Т. 2. С. 514); ныне город вблизи Петербурга. В Колпино 9 мая, в день Св. Николая, бывала многолюдная праздничная ярмарка, на которую приезжали жители столицы (см.: Колпино, селение Ижорских императорских заводов. СПб., 1854. С. 63—70).

С. 302. *...в Морскую или в Конюшенную...* — Большая Морская и Малая Морская улицы располагались в 1-й Адмиралтейской, Большая Конюшенная и Малая Конюшенная — во 2-й Адмиралтейской (аристократических) частях города (см. выше, с. 484—485, примеч. к с. 5).

С. 304. *...и надел свой дикий сюртучок...* — Дикий цвет — «сероватый, серый, пепельный, подседный; не буро-серый, а голубо-серый» (*Даль*. Т. 1. С. 436).

С. 311—312. — *Абонируйся в кресло, — прибавила она* ~ «Господи! — подумал он в ужасе. — А у меня всего триста

рублей денег». — Абонемент в кресла (см. выше, с. 542, примеч. к с. 173) обычно приобретался состоятельной публикой. Об абонементах на сезон Итальянской оперы 1843—1844 гг. см. выше, с. 491, примеч. к с. 19.

С. 312. *Если есть симпатия душ, если родственные сердца чувствуют друг друга издали, то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисьи*. — Здесь шутливо обыгрывается понятие «симпатия душ», характерное для этических представлений раннего немецкого сентиментализма, например К.-М. Виланда (см. о нем выше, с. 534, примеч. к с. 152); позднее присутствует у Н. М. Карамзина. Одним из ключевых в философской системе романтиков становится понятие «сродство (родство) душ» (благодаря роману И.-В. Гете «*Wahlverwandschaften*» — «Избирательное сродство», 1809). Заглавие романа — научный термин для обозначения причины химического соединения элементов (буквально: сродство по избранию). Подразумевается высшая предопределенность, избранность в духовном сближении людей. Мотив «родственных душ», скоро превратившийся в романтическое «общее место», уже с конца 1820-х гг. использовался иронически. Ср. в «Обыкновенной истории»: «...ведь ты всё еще веришь в неизбежное назначение кого любить, в симпатию душ!»; «...где же тут симпатия душ, о которой проповедуют чувствительные души?» (наст. изд., т. 1, с. 347, 373; 775—776).

С. 313. *...по части ∞ чистки блонд...*; см. также с. 394: *Дома жена в блондах...* — Блонды (от фр. blond — белокурый, русый) — шелковые кружева с золотистым отливом.

С. 315. — *К Рождеству: это наш приход*. — Гончаров обычно точен в топографии Петербурга. Однако ни одним справочником не подтверждается то, что на Выборгской стороне была церковь Рождества. На Бочарной ул., где жила Пшеницына (см. выше, с. 505, примеч. к с. 45), находилась церковь Происхождения Честных Древ Всемилостивого Спаса (называвшаяся в народе Спасо-Бочаринской): деревянное здание церкви было построено в 1744 г., каменное — в 1749—1752 гг. (не сохр.). В приходе церкви в 1840-х гг. состояло 19 дворов (см.: *Пушкарёв*. С. 218—222; Спасо-Бочаринская церковь: По поводу 150-летия ее существования // *Всемирное обозрение*. 1902. № 46. Стб. 569—570; *Святыни Санкт-Петербурга*. С. 230—231).

С. 323. — *Как же с тремьятами душ женятся другие?* — См. выше с. 545, примеч. к с. 176.

С. 325. *Успеньев день* — 15 августа, Успение Богородицы.

С. 329. *...листья все упали, feuilles d'automne* — *помнишь Гюго?* — Речь идет о популярном в России сборнике стихотворений Виктора Мари Гюго (Hugo; 1802—1885) «Осенние листья» (1831), отдельные переводы из которого публиковались на страницах русских «толстых» журналов начиная с 1832 г. (см.: Морщинер М. С., Пожарский Н. И. Библиография русских переводов произведений Виктора Гюго. М., 1953. С. 32—38).

С. 329. *Этакой холод, а я только в ваточной шинели...* — *Я тоже в ваточном платье.* — См. выше, с. 525, примеч. к с. 120.

С. 330—331. *Какая это церковь?* ∞ — *Смольный!* — Имеется в виду архитектурный ансамбль Смольного монастыря на левом берегу Невы, построенный в 1748—1764 гг. по проекту В. Растрелли.

С. 336. *...некогда покладываться...* — Слово, характерное для гончаровского словаря (от «не покладывая (покладая) рук»). Ср. в «Счастливой ошибке» (1838): «Да и как не любить сумерек? ∞ Все прочие любят это время; не говорю уже о простом народе, мастеровых, рабочих, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжкого труда...» (наст. изд., т. 1, с. 65); в письме Гончарова к А. Г. Тройницкому от 19 июня (1 июля) 1868 г.: «Вы теперь — как я слышал — опекун Николаевского института. А там есть у меня старая моя знакомая, некто Варвара Лукинишна *Лукьянова*, классная дама. Она некогда была в Симбирске гувернанткой, знала мою мать, сестер и брата — и в течение 20 лет известна мне своим образованием, отличным характером, распорядительностью, трудолюбием и женским умением делать всякое хорошее женское дело. Она была два раза замужем и имеет пару детей. Ни тот ни другой муж ничего ей не доставили — и она ест институтский хлеб и работает усердно и для института, и занимается своими детьми, всё это не покладывая рук». См. также ниже, с. 575, примеч. к с. 383.

С. 336. *...надвязать чулки-то? Я бумаги и ниток закажу.* — См. выше, с. 541, примеч. к с. 170.

С. 338. *Это всё Андрей: он привил любовь, как опсу, нам обоим;* см. также С. 383: *...о той любви, которую он не-*

давно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку... — Мотив любви-болезни (оспа, корь, горячка, лихорадка), любви-аномалии (т. е. нарушения искомой «нормы любви») проходит через художественные и эпистолярные тексты Гончарова. Ср., например, в «Обрыве» слова Марка Волохова: «...я вижу любовь: она, как корь, еще не высыпала наружу...» (глава IV части третьей). В данном случае мотив заражения оспой, вероятно, восходит к роману Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), повторяя сюжет одной из гравюр (гравюры с текстами Руссо вышли отдельным выпуском в 1761 г. вслед за романом). Пятая гравюра (часть III, письмо XIV) сопровождалась подписью: «Заражение во имя любви» (или «Прививка любви») (*фр.* «L'inoculation de l'amour»; букв. «Оспопрививание любовью») — и текстом: «Сцена происходит ночью, в спальне Юлии; кругом беспорядок, обычный в комнате больного. Юлия, заболевшая оспой, лежит в постели; у нее жар. Полог задернут неплотно. Видна свисающая с кровати рука, к которой приник поцелуем Сен-Пре; почувствовав его поцелуй, Юлия другой рукой отдергивает полог и, узнав своего друга, смотрит на него, удивленная, взволнованная, готовая броситься к нему. Сен-Пре стоит на коленях у постели и, схватив руку Юлии, целует ее в порыве скорби и любви, — видно, что он не только не боится заразиться страшной болезнью, но хочет этого. Клара, стоящая с зажженной свечой, замечает движение Юлии и, взяв Сен-Пре за руку, отрывает его от печального свидания, чтобы насильно увести из комнаты. В это время к изголовью кровати подходит горничная, уже немолодая женщина, и старается удержать Юлию. Надо каждое действующее лицо показать в движении — очень жизненном, быстром и чтобы в изображаемый момент все они составляли единое целое» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. 1961. Т. 2. С. 697, 762). Тот же источник, возможно, имеет и мотив «прививки любви», возникающий в беседе гостей в салоне княгини Бетси Тверской («Анна Каренина», глава VII части второй): «— Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо пройти. — Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспе» (Толстой. Т. 17. С. 145).

С. 339. ...мосты уже сняли, и Нева собралась замерзнуть. — Все три моста через Большую Неву — Исаакиев-

ский, Троицкий и Воскресенский — были в то время наплавными, насланнми на плоских лодках (плашкоутах), с разводными частями, через которые ночью проходили суда. Выборгскую часть города соединял с центром Воскресенский мост (служил продолжением Воскресенского пр.; ныне пр. Чернышевского). Просуществовал с 1786 по 1879 г., когда ниже по течению Невы был построен Литейный мост.

С. 349. *...сходить к Сергию пешком.* — Имеется в виду Троице-Сергиева пустынь, мужской монастырь, основанный в 1734 г. и расположенный на 15-й версте от Петербурга по Петергофской дороге, близ Стрельны.

С. 353. *...ехать на Рыбинскую пристань...* — Эта пристань на Волге была крупным центром рыбной и хлебной торговли, главной перевалочной базой для волжских грузов, направлявшихся в Петербург.

С. 356. *Кстати, теперь выборы: не пожелали ли бы вы баллотироваться в уездные судьи?* — См. выше, с. 501—502, примеч. к с. 39.

С. 356—357. *...сколько четвертей хлеба снято ~ сколько сыпано в магазины...* — Четверть — мера объема сыпучих тел, основная торговая хлебная мера, существовавшая в России с XV в., равнялась одному кулю или 7 пудам 10 фунтам (210 л); мера для приема хлеба в казну называлась казенной четвертью и равнялась приблизительно 9 пудам. Магазин (фр. *magasin*) — здесь: амбар, склад.

С. 359. — *А сколько оброку вы полагаете? ~ кажется, тридцать рублей с тягла.* — «Тягло, в крепостном быту — крестьянская семья, состоящая из мужа и жены. Во всякой деревне считали обыкновенно тягло наполовину против числа ревизских душ. Каждое тягло непременно должно было обработать одну десятину ярового, а сена убрать две десятины» (Толль. Т. 3. С. 751).

С. 360. *...я проходил и высшую алгебру, и политическую экономию, и права...* — См. выше, с. 510—511, примеч. к с. 63.

С. 362. *Надзиратель придет...* — Имеется в виду квартальный надзиратель — полицейский чин, стоявший во главе квартала, низшей полицейской инстанции в городах; с 1862 г. — полицейский надзиратель.

С. 363. *А чтоб там квартиры на Литейной, ковры да жениться на богатой...* — Речь идет об улице в Литейной части города (ныне Литейный пр.), которая, по словам го-

родского путеводителя, «красотою зданий и удобностию помещений равняется первым двум частям (Адмиралтейским — см. выше, с. 484—485, примеч. к с. 5) и считается также местом жительства людей лучшего общества» (Пушкарев. С. 75).

С. 364. *...уехала в Царское Село...* — Царское Село — дворцово-парковый ансамбль XVII—XVIII вв. в 25 км от Петербурга, императорская резиденция, к которой в 1837 г. была проложена первая в России железная дорога.

С. 371. *Он в ответ улыбнулся как-то жалко ~ как нищий, которого упрекнули его наготой. ~ «Да, я скуден, жалок, нищ... бейте, бейте меня!..»* — По смыслу и ритму, возможно, восходит к Евангелию: «Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей...» (Откр. 3:17—18).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 375. *В марте напекли жаворонков...* — См. выше, с. 526, примеч. к с. 122.

С. 375. *...пришли разные праздники: Троица, семик, первое мая; всё это ознаменовалось березками, венками; в роще пили чай.* — Троица, или Пятидесятница, — пятидесятый день по Пасхе. О семике и обычае его праздновать см. выше, с. 527, примеч. к с. 128; о городских гуляньях на 1 мая см. выше, с. 486—488, примеч. к с. 17. В данном случае у Гончарова неточность: как семик (40-й день по Пасхе), так и 1 мая предшествуют Троице.

С. 375—376. *С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках: Иванове дне ~ и об Ильине дне...* — Об Иванове (24 июня) и Ильине (20 июля) днях см. выше, с. 500, 517, примеч. к с. 35, 101.

С. 376. *Поговаривали об Ильинской пятнице ~ на Пороховые Заводы ~ о празднике на Смоленском кладбище, в Колпине.* — Об Ильинской пятнице на Пороховых заводах и о празднике в Колпине (9 мая) см. выше, с. 568—569, примеч. к с. 298. В церкви иконы Смоленской Божией Матери на Смоленском кладбище (на Васильевском о-ве, на берегу р. Смоленки) служили праздничную службу

28 июля, в день почитания иконы. Однако маловероятно, что семья Пшеницыной ездила на другой конец города, на Васильевский остров. Здесь речь могла идти о празднестве местной иконы Смоленской Божией Матери в тот же день, 28 июля, в храме Сошествия Св. Духа на Большеохтинском кладбище (по имевшемуся здесь же храму Св. Георгия Победоносца кладбище называлось Георгиевским): «В сей день с давнего времени совершается крестный ход вокруг всей Большой Охты» (*Пушкарев*. С. 274; ср.: *Михневич*. Приб. С. II); «Георгиевское кладбище с окрестными лугами издавна было местом гуляний, связанных с храмовыми праздниками и родительскими субботаами. По старинному обычаю в престольный праздник Георгиевской церкви перед воротами кладбища окропляли святой водой скот. Множество народа собиралось в день иконы Смоленской Божией матери, 28 июля, когда большой крестный ход шел через все кладбище {...}. По окончании обедни масса торговцев, большей частью с лакомствами, раскидывала у кладбища свои палатки. Появлялись фокусники, бродячие музыканты, громадная толпа нищих и калек» (*Кобак А. В., Пирютко Ю. М.* Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель. СПб., 1993. С. 407; ср.: *Святыни Санкт-Петербурга*. С. 226—229).

С. 376.. ...и обнюхает ∼ *Милютины лавки*... — Милютины лавки — «фруктовые, занимающие по северной стороне Невского проспекта все пространство от Казанского моста до Серебряного ряда {...} исстари славились продажей ранних фруктов, ягод и привозных сладостей. С некоторого времени, однако, между фруктовыми лавками начали там показываться лавки галантерейных товаров и тому под.» (*Греч*. С. 350). Ср. в первоначальной редакции части первой: «...заехать в Милютины лавки, купить что-нибудь лакомое к столу...» (наст. изд., т. 5, с. 88).

С. 376. *Вино он брал с биржи*... — Биржа — торговая площадь, рынок, торговая пристань.

С. 383. ...непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат... — См. выше, с. 571, примеч. к с. 336.

С. 383. ...о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку... — См. выше, с. 571—572, примеч. к с. 338.

С. 386. ...*какому-то господину с большим крестом на шее*. — Форму большого креста, который носился на ленте, надеваемой на шею, имели несколько российских орден.

С. 386. ...*всё это достойно ознаменовало годичный праздник*. — См. выше, с. 521, примеч. к с. 110.

С. 386. ...*третьего будто бы жалованья*. — Т. е. жалованья за 4 месяца.

С. 391. ...*и бумаги не умеешь в управу написать...* — См. выше, с. 566, примеч. к с. 289.

С. 392. ...*и чернила из английского магазина...* — См. выше, с. 504, примеч. к с. 44.

С. 393. ...*он его еще акциями допечет*. — См. выше, с. 506—507, примеч. к с. 52.

С. 394. ...*ты забыл, что я всего десятый год секретарем*. — Имеется в виду должность секретаря губернской казенной палаты; о службе «братца» см. выше, с. 568, примеч. к с. 297—298.

С. 394. *Дома жена в блондах...* — См. выше, с. 570, примеч. к с. 313.

С. 399. *Вообразите, абонировался в оперу и до половины абонемент не дослушал*. — *Рубини не слышал*. — Речь идет об абонементе на первый сезон Итальянской оперы в Петербурге (октябрь 1843—февраль 1844 г.; см. подробнее выше, с. 489—490, 492—493, примеч. к с. 18, 19; о времени действия в романе — с. 500, примеч. к с. 33). Джованни Баттиста Рубини (Rubini; 1794 или 1795—1854) — итальянский тенор («король теноров»); в 1831—1845 гг. неоднократно пел на оперных сценах Парижа и Лондона. Весной 1843 г., после концертов в Германии и Нидерландах, впервые выступал в Петербурге и, по словам театрального рецензента «Северной пчелы», «совершенно опрокинул все наши преждебывшие понятия о сценическом пении {...}. Восторг публики был неописуем {...}. Звуки этого голоса потрясают все фибры, исторгают слезы» (Р. З. <Рафаил Зотов>. Рубини и опера // СПч. 1843. № 124. 7 июня; № 125. 8 июня). С октября 1843 г. по февраль 1844 г. выступал в составе сформированной им итальянской труппы в петербургском Большом театре (см.: Вольф. Ч. 1. С. 106—107; Ч. 2. С. 104—105). Гастролировал в России также в сезон 1844 / 1845 гг. и в 1847 г. Гончаров, несомненно сам слышавший Рубини, упоминает его в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 459) и во «Фрегате

„Паллада”» (см. сравнение с итальянским тенором мистера Бена (английского инженера Эндрю Бейна) — наст. изд., т. 2, с. 201; т. 3, с. 586).

С. 407. *Вспомнила* ∼ *писателей, «мыслителей о любви»*... — Как отметила Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 676), в рукописи эти слова отсутствуют; они появились в журнальном тексте, возможно на стадии корректуры. Таким образом, есть основания для предположения, что внимание Гончарова привлекла опубликованная в «Отечественных записках» (1859. № 3. Отд. «Обозрение иностранной литературы». С. 1—28), в том же номере, где публиковалась часть третья «Обломова» (Там же. С. 1—84), статья Н. Н. (Н. С. Назарова) «Нынешняя любовь во Франции» (по поводу книги Мишле). В статье дается выразительный перечень книг: «L'Amour» Ж. Мишле, «De L'Amour» Стендаля, «De L'Amour et de la Jalousie» Ж. де Сталь, «Le bien et le mal qu'on a dit de l'amour» Э. Дешанеля, «Les femmes» и «Encore les femmes» А. Кappa, «Les femmes comme elles sont» А. Гуссе, «Physiologie du mariage» О. де Бальзака, «The Koran» Л. Стерна, «Madame Bovary (Mœurs de province)» Г. Флобера, «Fanny» Э. Федо, «Le roman d'un jeune homme pauvre» О. Фелье, «Geschichte der französischen Litteratur» Ю. Шмидта.

Видимо, иронию Гончарова вызвали сами попытки теоретизировать на тему «о любви». Ср. замечание во «Фрегате „Паллада”»: «Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного...» (наст. изд., т. 2, с. 36—37).

С. 410. *Корнет* — первый офицерский чин в кавалерии.

С. 412. *Немезида* (Немесиды) — в греческой мифологии богиня возмездия.

С. 413. «*Оставь надежду навсегда*» — надпись над воротами ада в «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь третья).

С. 419. «*Ваше настоящее люблю* ∼ *за свою ошибку...*». — Здесь текст письма не полностью совпадает с тем, который был включен в часть вторую (ср.: наст. изд., т. 4, с. 251).

С. 422. *...варьяции Герца...* — См. выше, с. 535, примеч. к с. 153.

С. 428. *Фермуар* (фр. *fermoir*) — ожерелье.

С. 430. ...и пошел поблизости, в публичный сад. — Имеется в виду Безбородкин сад (см. выше, с. 505—506, примеч. к с. 47) с увеселительным заведением И. И. Излера «Тиволи».

С. 440. ...курьер от генерала... — См. выше, с. 490, примеч. к с. 19.

С. 441. ...язык прилипне к гортани. — Восходит к псалму 136; ср.: «...прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего» (Пс. 136:6).

С. 445. ...обнес его перед начальством... — Обнести — очернить, оклеветать, оговорить.

С. 445. *Бесчестье? Ты заплатишь мне за это! Сейчас просьбу генерал-губернатору...* — По уложению 1845 г. бесчестье, или личная обида, являлось уголовно наказуемым деянием. В то же время обиженный мог, не возбуждая уголовного дела, предъявить иск для присуждения платы за бесчестье (см.: ПСЗ. Т. 20. Отд. I. С. 957—958).

С. 447. ...флигель Эрара. — Флигель (флюгель) — то же, что рояль. Себастьян Эрар (Erard; 1752—1831) — владелец фабрики музыкальных инструментов, пользовавшейся европейской известностью; с 1768 г. вместе с братом Жаном Батистом вел дело в Париже и Лондоне; после его смерти фабрика перешла к его племяннику Пьеру Эрару (1794—1855).

С. 448. ...любовь, с силою архимедова рычага, движет миром... — Греческому ученому Архимеду (ок. 287—212 гг. до н. э.) принадлежит математическое обоснование законов рычага. Ему приписывают фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Комментируемые слова можно считать своеобразной отсылкой к финальным стихам «Божественной Комедии» Данте; ср.: «Здесь изнемог высокий духа взлет; / Но страсть и волю мне уже стремил, / Как если колесу дан ровный ход, / Любовь, что движет солнца и светила» («Рай», песнь 33; пер. М. Лозинского). Характерно, что упомянутая выше статья «Нынешняя любовь во Франции» (см. выше, с. 577, примеч. к с. 407) начиналась отсылкой к «Дантовой космогонии», согласно которой «любовь управляет и солнцем, и всеми небесными светилами». «Мы думаем даже, — продолжал автор статьи, — что любовь есть единственный рычаг и конечная цель всей деятельности человека...» (С. 1859. № 3. Отд. «Обозрение иностранной литературы». С. 1). В данном

случае Штольц высказывается как типичный романтик. Его слова сопоставимы, например, с монологом главного героя поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» (1862); ср.: «Она меня роднила со вселенной, / Всех истин я источник видел в ней, / Всех дел великих первую причину. / Через нее я понимал уж смутно / Чудесный строй законов бытия, / Явлений всех сокрытое начало» (Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1963. Т. 2. С. 31; см. об этом: ЛП «Обломов». С. 677—678; Недзвецкий. С. 47, 93—101). Гончаров писал С. А. Никитенко 21 августа (2 сентября) 1866 г.: «...Вы правы, подозревая меня тоже в вере в всеобщую, всеобъемлющую любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, управлять волей людской и направлять ее к деятельности и прочее. Может быть, я и сознательно и бессознательно, а стремился к этому огню, которым греется вся природа...».

С. 448. ...на пастушков с румяными лицами ∞ и на их Хлой с барашками. — Ср. с идиллическими картинами Ликейских островов во «Фрегате „Паллада“»: «„Что это такое? — твердил я, удивляясь всё более и более, — этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках”. А тут кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии» (наст. изд., т. 2, с. 495). В данном случае, как и во «Фрегате „Паллада”», Гончаров отсылает к французским идиллиям Антуанетты де Лигье дель Гард Дезульер (1638—1694), например «Овечки», «Ручей», «Цветы» (ср. в рус. пер.: Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым. М., 1807), — и прозаическим идиллиям швейцарца Саломона Геснера (1730—1788; ср. в рус. пер.: Идиллии и пастушьи поэмы господина Геснера / Переведены с подлинника В. Левшиным. М., 1787; Полное собрание сочинений г-на Геснера / Пер. с нем. И. Тимковского. М., 1802. Ч. 1); ср. названия идиллий Геснера: «Филлида и Хлоя», «Дафна и Хлоя» и др. См. подробнее: наст. изд., т. 3, с. 703, примеч. к с. 495. Одна из идиллий Геснера упоминается также в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 364, 778). Речь может идти и о героине буколического («пастушеского») романа «Дафнис и Хлоя» древнегреческого писателя Лонга (2—3 вв. н. э.).

С. 448—449. ...застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся Вертеры... — Вертер — главный герой романа

И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Среди восторженных поклонников Вертера были и такие, кто повторил судьбу литературного героя, покончив жизнь самоубийством. Это побудило Гете при издании второго тиража книги предпослать частям первой и второй романа эпиграфы, предостерегающие от подобных попыток.

С. 450. *...от праздного раздражения мысли.* — Перифраз строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1830); у Лермонтова: «пленной мысли раздраженье».

С. 454. *...бранила его «старым немецким париком».* — Т. е. упрямым рутинером, консерватором; скорее всего, подразумевается выражение «*vieille perruque*» (фр., букв.: старый парик).

С. 454. *...но никогда не сглаживался в восприимчивом уме рисунок ∞ и не потухал огонь, которым он освещал творимый ей космос.* — В комментируемых словах присутствует скрытое сопоставление Штольца с немецким путешественником и ученым Александром фон Гумбольдтом (1769—1859), благодаря последнему, незаконченному произведению которого «*Kosmos*» (т. 1 опубликован в 1847 г.; рус. пер.: Гумбольдт А. фон. Космос: Опыт физического мирописания. СПб., 1848—1863. Ч. 1—5) слово «космос» (в значении: мир, вселенная) становится особенно распространенным в Европе и России. Книга эта (ч. 1) была подарена Гончарову ее переводчиком Н. Г. Фроловым (см. подробнее: наст. изд., т. 3, с. 542, примеч. к с. 10). Ср. во «Фрегате „Паллада“»: «Всё было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к Творцу и любви к Его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разума указал путь тысячам за собою. „Космос!“ Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами и на живой космос. „Подал бы я, — думалось мне, — доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением”» (наст. изд., т. 2, с. 10).

С. 456. *Ужели синий чулок!* — Данное выражение (англ. blue stocking; фр. bas-bleu) восходит к названию литературно-ученого кружка в Англии, собиравшегося у леди Монтегю (Montagu); во главе кружка стоял Б. Стеллингфлит (1702—1771), носивший, пренебрегая модой, синие чулки. Выражение особенно распространилось после того, как Байрон употребил его в своей сатире на леди Монтегю «The Blues» (1820). По словам современника, «Англия придумала прозвище синих чулок для женщин, пускающихся в литературу...» (*Без подписи*). Четыре дюжины синих чулок в Англии // *Рул.* 1848. Отд. «Смесь». С. 17).

С. 460. *Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани ∞ Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне...* — Эти размышления героя романа перекликаются со строками письма Гончарова к С. А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 г.: «Мыслящий, наблюдательный ум и человек с глубокой душой, даже не будучи христианином, непременно должен прийти вследствие жизненного опыта к этой мысли и убеждению, то есть к непрочности всех земных привязанностей, в их призрачности, и непременно воспитает в себе сильное подозрение, что в нас есть что-то, что нас привязывает и призывает к чему-то невидимому, что мы, несмотря ни на какой разврат мысли и сердца, не потеряем никогда этого таинственного влечения, связующего нас с мировой силой» (см. об этом: *Краснощекова*. С. 332).

С. 461. *Мы не титаны, с тобой ∞ мы не пойдём, с Манфредами и Фаустами...* — Манфред — герой философской поэмы Д. Н. Г. Байрона «Манфред» (1817). Фауст — герой одноименной трагедии И.-В. Гете (завершена в 1832 г.). О связи романа Гончарова с «Фаустом» Гете см. выше, с. 190—191.

С. 470. *...провесная рыба...* — Т.е. вяленая или сушеная.

С. 470. *Надо перо другого Гомера, чтоб исчислить с полнотой и подробностью...* — Для стиля гомеровского эпоса характерно искусство детализированного, пластически выразительного, поэтизирующего описания труда земледельца или ремесленника, мирного и военного быта, сражений, поведения и поступков героев, их внутреннего состояния (см.: *Лосев А. Ф.* Гомер. М., 1960. С. 257—267; *Сахарный Н.* Гомеровский эпос. М., 1976. С. 306—340). Ср. определение гомеровского стиля у Геге-

ля: «...он очень обстоятельно описывает жезл, скипетр, постель, доспехи, одеяния, дверные косяки, не забывает даже упомянуть о петлях, на которых вращается дверь. Нам такие описания показались бы очень внешними и неинтересными, более того — мы на нашей ступени развития относимся с важной чопорностью ко многим предметам, вещам и названиям <...> обстоятельные описания Гомера не должны нам казаться поэтической прибавкой к более голому сюжету, но такой подробный учет — в духе описанных людей и уклада...» (*Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Соч. М., 1958. Т. XIV. С. 239*). «Что или кто был реальнее Гомера? — писал Гончаров П. А. Валуеву 6 июня 1877 г. — Какая правда в живописи деталей: в пирах, в битвах, в описаниях ран, до мелочных описаний домашней жизни, утвари в „Одиссее“? etc. etc. etc.».

С. 470. *Кухня была истинным палладиумом деятельности великой хозяйки...* — Палладий (лат. palladium) — у древних греков изображение (как правило, деревянное) вооруженного божества, считавшегося охранителем города; наиболее известен в мифологии троянский палладий (статуя богини Афины Паллады). Здесь: оплот.

С. 471. *...приносимые детьми из графского сада гиацинты...* — Речь, вероятно, идет о «Безбородкином саде» (см. выше, с. 505—506, примеч. к с. 47).

С. 472. *...точно в диораме...* — Диорама (изобретенная Ж.-Л. Дагерром в 1822 г.) «представляла глазам зрителя, поставленного в центре круглой залы или ротонды, изображение великих явлений природы, целого какого-нибудь города, живописного положения, внутренности готического здания и т. п. Посредством различных искусных постановок, действий перспективы и светотени (clair-obscur) эффект диорамы бывает совершенный» (*Словарь 1845—1846. Ч. 1. С. 62*). В Петербурге постоянным помещением для демонстрации диорам (а также панорам, полиорам, косморам) служил детский театр Лемольта, расположенный на углу Б. Морской ул. и Кирпичного пер. Эффекты диорамы петербургский обозреватель описывал так: «Вообразите себе картину в *десять футов* вышины и в *двенадцать футов* ширины, которая сначала представляется вам ясно и чисто и вдруг начинает бледнеть, фигуры всех предметов начинают искажаться или разрушаться, все покрывается каким-то туманом, из

которого обрисовываются *новые* формы, и наконец появляется *новая* картина. Например, картина представляет *вид замка в Швейцарии* в зимнюю пору. Вдруг *зима* обращается в *лето*, и вы видите тот же замок в зелени и, наконец, присутствуете при его пожаре и т. п. Леса, озера, здания вдруг превращаются в великанов, в животных, словом, полное очарование!» (СПч. 1843. № 33. 11 февр.). «Легкость красок представляющегося ландшафта, — отзывался о диорамах Лемольта другой обозреватель, — постепенное образование отдельных частей его, обрисовывание фигур, соединенное с медленным исчезновением прежней картины, чрезвычайно хороши» (Цим(мерма)н В. О механических видах г-на Лемольта // СПбВед. 1843. № 68). Многочисленные временные панорамы и диорамы демонстрировались в специально выстроенных павильонах в различных частях города. О виденной Гончаровым в 1852 г. в Лондоне диораме восхождения на Монблан см. подробнее: наст. изд., т. 3, с. 560, примеч. к с. 53.

С. 472. ...*молила Бога, чтоб ~ избавил его от всякой «скорби, гнева и нужды»*... — Слова из Ектении великой: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды»; входят также в Ектению просительную.

С. 473. ...*цепцы заказывались ~ чуть ли не на Литейной, башмаки не с Апраксина, а из Гостиного двора, а шляпка — представьте, из Морской!* — Перечисляются городские районы (части), в которых располагались дорогие магазины и мастерские (см. выше, с. 569, 573—574, примеч. к с. 302, 363).

С. 474. *Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и ублаживала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения!* — Сравнение Ильи Ильича с Платоном, пишет М. В. Отрадин, «в сюжете романа имеет глубокий смысл. В первой половине XIX века это сравнение обозначало прежде всего склонность к мечтательности» (Отрадин. С. 99). Платон различал два основных типа жизни: жизнь «созерцательную» и «деятельную». Согласно Платону, «главное в созерцательной жизни — знать истину, а в деятельной — делать то, что велит разум». И далее: «Созерцание — самое важное и привлекательное, всегда доступное и всегда зависящее от нас самих», «философу пристало непрерывное созерцание» (Платон. Диалоги. М., 1986. С. 437—438). По мнению Л. С. Гейро (см.: ЛП «Обломов». С. 679), Гончаров намека-

ет на диалог Платона (427—347 гг. до н. э.) «Теэтет», в котором помещена знаменитая речь об истинном философе.

С. 475. *На масленице и на Святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гулянье кататься и в балаганы...* — Речь идет о традиционных городских гуляньях с качелями и балаганами. «Балаганы строятся на масленице и к Святой неделе на Адмиралтейской площади, лицом к бульвару. В старину доступные только простому народу, балаганы посещаются, в первых местах, лучшею публикою, с тех пор что их перевели с Театральной площади и Царицына луга на Адмиралтейскую площадь и начали строить по красивым образцам с удобством для посетителей. Теперь между балаганными знаменитостями отличается Легат; представления его замечательны декорациями и машинами» (Греч. С. 26). Гулянья и балаганы на Адмиралтейской площади устраивались с 1827 по 1872 г. Подробнее см.: Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. С. 47—50; Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII—начало XX века. Л., 1988. С. 159—198; Конечный А. М. 1) Петербургские гулянья // Декоративное искусство СССР. 1986. № 9. С. 34—35; 2) Петербургские народные гулянья на масленной и пасхальной неделях // Петербург и губерния: Историко-этнографические исследования. Л., 1989. С. 21—52; Петербургские балаганы / Сост., вступ. ст. и коммент. А. М. Конечного. СПб., 2000.

С. 475. *...он мог бы телеграфировать рукой до утра...* — Подразумевается действие оптического телеграфа, в отличие от электромагнитного передававшего известия с помощью условных знаков.

С. 478. — *Про англичан, что они ружья да пороху кому-то привезли. ∞ война будет. ∞ — В Испанию или в Индию — не помню, только посланник был очень недоволен. — С кем война-то? — С турецким пашой, кажется.* — Англичане и их военные действия, недовольство посланника, турецкий паша упоминаются в романе в четвертый раз (ср. выше, с. 544, 557, 566, примеч. к с. 174, 186, 273); в устах Алексеева эти «новости» обретают подчеркнуто «обломовский» характер.

С. 480. *...он достиг той обетованной земли...* — Выражение «обетованная земля» восходит к Библии (Исх. 3:8, 17).

С. 480. *«Милитриса Кирбитьевна!»*... — См. выше, с. 522, примеч. к с. 116.

С. 484. *Многое переменялось и на Выборгской стороне: пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами...* — О Бочарной улице, на которой жил Обломов, см. выше, с. 505, примеч. к с. 45.

С. 485. *Где он? Где?* — *На ближайшем кладбище...* — Речь идет, видимо, о Большеохтинском Георгиевском кладбище (см. о нем выше, с. 574—575, примеч. к с. 376).

С. 486. *...на прежнее место секретаря в канцелярии, «где записывают мужиков»*... — См. выше, с. 568, примеч. к с. 297—298.

С. 486. *Четвертак* — серебряная монета в четверть рубля.

С. 487. *Просвирня* — женщина, занимающаяся выпечкой просфор (просвир).

С. 490. *Не хочешь ли писать «Mystères de Pétersbourg»?* — Иронический намек на роман Э. Сю «Les Mystères de Paris» (об Э. Сю, переводах и восприятии его в России см. выше, с. 563—564, примеч. к с. 260). Роман печатался в 1842—1843 гг. в фельетоне ежедневной парижской газеты «Journal des Débats»; параллельно (сериями) выходило отдельное издание романа в 10 томах (Paris, 1842—1843). «Парижские тайны» в переводе В. М. Строева появились первоначально в 1843—1844 гг. в «Репертуаре и Пантеоне», затем вышли отдельным изданием (СПб., 1844). О романе Э. Сю В. Г. Белинский писал: «...по выходе этого романа отдельным изданием, он в короткое время был расхвачан, прочитан, перечитан, зачитан, растрепан и затерт во всех концах земли <...> возбудил множество толков, еще более нелитературных, нежели сколько литературных, и породил великое желание подражать ему...» (Белинский. Т. VII. С. 60). Среди подражаний роману Э. Сю особенно популярны были «Лондонские тайны» французского писателя Поля Феваля (1817—1887), изданные им под псевдонимом Френсис Тrollop (см.: Лондонские тайны / Пер. П. Фурмана. СПб., 1845). Отдельной книжкой были изданы анонимные «Берлинские тайны» (см.: Берлинские тайны, составленные по запискам уголовного судьи / Пер. с нем. В. П. и П. Фурмана. СПб., 1846). «Затем появляется длинная вереница всевозможных „Тайн“ — „Брюссельские“, „Венские“, „Стокгольмские“, „Мадридские“, вплоть до „Тайн Нижегородской ярмарки“

известного сочинителя Василия Потапова» (*Покровская Е. Б. Литературная судьба Е. Сю в России (1830—1857). С. 245*).

В данном случае мог подразумеваться и конкретный «физиологический» роман — «Петербург днем и ночью» Ег. П. Ковалевского (*БдЧ. 1845. № 9—10*): именно он был назван «Петербургскими тайнами» Вал. Н. Майковым (см.: *Майков. С. 232*; подробнее: *Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды...». С. 130, 134*). Ср. также суждение о романе В. Г. Белинского: «„Петербург днем и ночью“ — пародия на „Парижские тайны“; сочинитель, впрочем, не думал писать пародию — пародия вышла против его воли, и оттого читать ее очень скучно. Ни образов, ни лиц, ни характеров, ни правдоподобия, ни естественности, ни мыслей! Зато фраз, фраз — разливанное море!» (*Белинский. Т. VIII. С. 22—23*).

С. 491. ...померла в холеру... — После страшной эпидемии холеры 1847—1848 гг. отдельные вспышки заболевания наблюдались в начале 1854 г.

С. 491. Сапоги сами снимают с себя: какую-то машинку выдумали! — Ср. в главе первой «Фрегата „Паллада“» упоминание англичанина, который «снимает с себя машинкой сапоги» (наст. изд., т. 2, с. 61). Приспособление для снятия сапог («bootjack») известно с 1841 г. (там же, т. 3, с. 561).

С. 491. ...булавой наотмашь... — Булава — жезл с шаром наверху, принадлежность парадной формы швейцара.

РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ

С. 6.* *Обломов вскакивал иногда с постели и ночью (как В. А. Яз(ыков)), метался в тоске...* — По мнению Е. В. Бершовой, речь идет о Василии Андреевиче Языкове (см.: *Бершова Е. В. Работа И. А. Гончарова над образом Ольги в романе «Обломов» // Учен. зап. Калнинингр. пед. ин-та. 1958. Вып. 4. С. 130*). По всей видимости, имеется в виду один из членов семьи Языковых, со многими из которых Гончаров был знаком, а с иными — дружен.

С. 7. ...еще со времен Тамерлана... — Тамерлан (Тимур; 1336—1405) — полководец, разгромивший Золотую Орду, создатель государства в Средней Азии со столицей в Самарканде, эмир (с 1370 г.).

* Здесь и далее указываются страницы т. 5 наст. изд.

С. 8. ...*бронза, фарфор и те ненужные вещицы, которые нужным считает иметь у себя всякий так называемый порядочный человек. Словом, условия комфорта и порядочности были, по-видимому, соблюдены до мельчайших подробностей.* — В разных гончаровских текстах понятия «порядочный человек», «светский человек» звучат то иронически, то вполне серьезно; см. подробнее в примечаниях к «Письмам столичного друга к провинциальному жениху» (наст. изд., т. 1, с. 788—792), а также выше, с. 546—548, примеч. к с. 177. Особый смысл вкладывал Гончаров и в понятие «комфорт»; см., например, его рассуждения о комфорте и роскоши в главе «Сингапур» «Фрегата „Паллада“»: «...как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрустированном, золоченом кресле, ест на золоте и на серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом или, много, фарфором. <...> Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели как кажется с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго» (наст. изд., т. 3, с. 272). Любопытное определение понятия «комфорт» находим в словаре петрашевцев: «Английское слово, не переводимое ни на какой другой язык. Комфортом называется совокупность внешних условий спокойной и удобной жизни. Жить с комфортом значит доставлять себе все прихоти, убажывающие тело, и удалять от себя все беспокойства. Само собою разумеется, что ставить комфорт выше всех других благ — значит быть материалистом в высшей степени» (*Словарь 1845—1846*. Вып. 1. С. 127).

С. 8. ...*убирающуюся в павлиньи перья...* — Выражение «ворона в павлиньих перьях» восходит к басне И. А. Крылова «Ворона» (1825); ср. его использование в «Иване Савиче Поджабрине» и «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» (наст. изд., т. 1, с. 125, 442, 669).

С. 9. ...что это была скороспелая работа Гостиного двора. — Как писал автор городского справочника, «различают мебель двоякого рода: „немецкой” работы, как отменно добросовестной, и „рыночной” — сомнительного достоинства» (Пушкарев. С. 500). Мебелью торговали все гостиные дворы города: Апраксин, Щукин, Андреевский, Никольский и другие, однако центром мебельной торговли был Малый (или Ямшиковский) Гостиный двор, расположенный за Перинным рядом Большого Гостиного двора, по Думской ул., Чернышову пер. и Екатерининскому каналу (см.: Там же. С. 458—459; Греч. С. 160—164). «Перейдя Думную улицу, — сообщал путеводитель, — зайдите на минуту в Малый Гостиный двор {...} Не нужно ли вам мебель? Вот новая, с иголки, красного дерева, работанная на Охте, которую едва успеете расставить в вашей комнате, как вся почти истрескается; вот поддержанная, старого фасона, с заклеенными щелями, чрезвычайно крепкая, сделанная также охтинскими столярами, только под надзором немца...» (Пушкарев И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии СПб., 1841. Т. 3. С. 6).

С. 9. На картине, изображавшей, по словам хозяина, Минина и Пожарского ~ один сидел, зевая, на постели ~ другой стоял перед ним и зевал, протянув руки к первому. — Кузьма Минин (Кузьма Минич Сухорукий; ум. до сер. 1616) — нижегородский посадский, затем земский староста, один из руководителей земского ополчения 1611—1612 гг. Призвал к военному руководству ополчением князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578—1642), что и послужило сюжетом для большого числа картин, на которых обычно изображался Минин, простирающий руки к подымающемуся с одра болезни Пожарскому (последний был ранен в 1611 г.).

С. 25. Он женится, плодится...; См. также с. 26: ...он иногда женится, плодится; ...такой человек иногда женится и плодится. — Восходит к Библии (Быт. 1:22, 28; 8:17; 9:1 и др.).

С. 25. Ни мир, ни улица, и, может быть, всего лучше было назвать его легион. — Вероятно, выражение «Ни мир, ни улица» — вариант лат. «urbi et orbi» — «городу и миру», формула благословения папы римского, иронически используемая в значении: «всем и каждому». О евангельском «легион имя мне» см. выше, с. 556, примеч. к с. 184.

С. 26. ...он иногда женится, плодится; ...такой человек иногда женится и плодится. — См. выше, примеч. к с. 25.

С. 28. ...его увидишь в кондитерской за газетой... — Чтение утренних газет в кондитерской — обычное занятие петербуржца. Так, в 1830—1840-х гг. при кондитерской Вольфа и Беранже (находилась на углу Невского пр. и р. Мойки; ныне Невский пр., д. 18) имелась особая читальня, куда поступали свежие номера газет и журналов (см.: Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 279—280).

С. 41. Синий с металлическими пуговицами фрак... — Мундирный фрак Тарантьева был дореформенным; в соответствии с «Положением о гражданских мундирах» (1834) мундир, вицмундир, мундирный фрак и сюртук гражданских чиновников почти всех ведомств были темно-зелеными с «желтыми» мундирными пуговицами (см. выше, с. 492, примеч. к с. 21).

С. 44. ...бойко переводил Корнелия Непота [и Плиния]... — О Корнелии Непоте см. выше, с. 501, примеч. к с. 38. Плиний Старший (24—79) — римский писатель, ученый; из его сочинений сохранилась «Естественная история» в 37 книгах — энциклопедия естественнонаучных знаний античности, содержащая также сведения по истории искусства, истории и быту Рима.

С. 48. ...«И шуме и гуде»...; см. также с. 50: ...раздавались звуки гитары и Шума и гуда... — Первый стих малоросийской народной песни: «І шумє, і гудє, дрібен дощик іде» (см., например: Гурьянов И. М. Полный новейший песенник в тринадцати частях, содержащий в себе собрание всех лучших песен известных наших авторов... М., 1835. Ч. 4: Песни малороссийские и цыганские. С. 109—111).

С. 48. ...«Пряди, моя пряха»... — Первый стих русской народной песни (см.: Кашин Д. Русские народные песни. М., 1833. Ч. 3. С. 65).

С. 48. ...экосезы, матрадуры... — Экосез (фр. écosais — шотландский) — старинный танец, шотландский по происхождению; матрадура — старинный французский танец, известный в России со времен Петра I.

С. 50. ...раздавались звуки гитары и Шума и гуда... — См. выше, примеч. к с. 48.

С. 55. Зеленчак — сыромолотый, из зеленых листьев, крепкий нюхательный табак.

С. 61. ...*та, что от [Денкера?] этого немца-то?* — Виноторговец Денкер владел несколькими винными погребками в Петербурге — на Невском пр., Б. Морской ул., на 1-й линии Васильевского о-ва, на Литейном пр. (см.: *Пушкарев*. С. 483; *Городской указатель, или Адресная книга на 1850 год*. СПб., 1849. С. 60).

С. 85. ...*«Ах, зачем мы, горемычные, родились на белый свет»*. — Из хора девушек в опере А. Н. Верстовского (1799—1862) «Аскольдова могила» (1835).

С. 86. ...*возьмет том свода о наказаниях и укажет ему статью...* — Речь идет, вероятно, о 15-томном «Своде законов» — систематическом собрании действовавших в России законов, последний том которого составляли «Уложение о наказаниях, уголовных и исправительных» и «Устав о наказаниях». «Свод законов» издавался в 1832, 1842 и 1857 гг.

С. 96. ...*он нанимал квартиру где-то у Владимирской*. — Имеется в виду расположенная на Владимирском пр. (ныне д. 20) церковь Владимирской иконы Божией Матери (построена в 1760—1769 гг.).

С. 100. ...*не съездил ни разу в Кронштадт...* — Кронштадт — портовый город и крепость на острове Котлин, против устья Невы в Финском заливе; основан Петром I в 1703 г. Были популярны морские прогулки в Кронштадт; туда, к примеру, ездили Зуровы, герои гончаровской «Лихой болести» (см.: наст. изд., т. 1, с. 62); пароходы Кронштадтской компании отправлялись ежедневно от пристани на Васильевском острове (см.: *Греч*. С. 425).

С. 103. ...*читал я в газетах, есть наука: психоядрие какое-то!* — Психоядрие — искаж.: психиатрия (термин, определявший науку о душевных болезнях, передавался по-разному; ср.: психиятрия — *Толль*. Т. 3. С. 231).

С. 103. *Синенькая* — пятирублевая ассигнация (по цвету купюры).

С. 103. *Десть* — единица счета писчей бумаги (в России — 24 листа).

С. 104. *Что за пример ему какой-нибудь Карл V, Лютер, Фридрих Великий?* — Карл V (1500—1558) — испанский король (Карлос I; 1516—1556), император Священной Римской империи (1519—1556). Пытался осуществить план создания мировой христианской державы, вел войны с Францией (Итальянские войны — см. ниже,

с. 592, примеч. к с. 109) и Османской империей. История его правления изложена в главном труде В. Робертсона (см. ниже, с. 596, примеч. к с. 205). Мартин Лютер (Luther; 1483—1546) — деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства. Фридрих Великий (Фридрих II; 1712—1786) — прусский король (1740—1786).

С. 104. ...из *Пунических войн* или из *Реформации*? — Пунические — войны между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье (1-я — 264—241 гг.; 2-я — 218—201 гг.; 3-я — 149—146 гг.). Реформация — широкое движение в Западной и Центральной Европе XVI в., положившее начало протестантизму; началась в Германии с выступления Лютера.

С. 104. ...*Плутарха, Тацита, Саллюстия*... — Плутарх (ок. 45—ок. 127) — греческий историограф, автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» греческих и римских государственных деятелей. Тацит Публий Корнелий (ок. 58—после 117) — римский писатель и историк. Саллюстий Гай Крисп (86—ок. 35 до н. э.) — римский историк; из его сочинений сохранились письма к Цезарю, монографии «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война», во фрагментах — «Римская история» (в 5-ти книгах). Саллюстия Гончаров упоминает чаще других — например, в «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» (наст. изд., т. 1, с. 477), его же читает Козлов в «Обрыве» (глава IX части третьей). Сочинения Саллюстия издавались в Базеле (1824—1831), Лейпциге (1828—1853), Берлине (1855), а также в Москве: Caii Crispi Sallustii opera quae extant... Mosque, 1839 (рец.: ОЗ. 1839. № 6. Отд. VII. С. 67—68).

С. 104. ...*выучивая историю Шрека*; см. также с. 105: ...*живые физиономии тех людей, которых учил у Шрека и у других*... — Иоганн Маттиас Шрек (Schröckh; 1733—1808) — немецкий историк, автор ряда трудов по истории церкви (в том числе «Christliche Kirchengeschichte» (Leipzig, 1768—1803. Т. 1—35)) и пользовавшегося большой популярностью изложения всемирной истории для детей, — «Weltgeschichte für Kinder» (Leipzig, 1779—1784. Т. 1—6).

С. 105. ...*в политической экономии с изменением разных обстоятельств и условий государственного быта изменяются и самые истины*... — См. подробнее выше, с. 176—178, а также с. 503—504, примеч. к с. 40.

С. 107. ...явилось «и Божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь». — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...», 1825). Цитируется также в «Обыкновенной истории» (наст. изд., т. 1, с. 214).

С. 109. ...заговорив при нем о падении Римской империи, об Альфреде Великом, о каких-нибудь Итальянских войнах... — В 476 г. под натиском германских племен прекратила существование Западная Римская империя, а в 1453 г. — Восточная (Византия), побежденная турками. Альфред Великий (ок. 849—899) — король англосаксонского королевства Уэссекс; объединил ряд соседних королевств, способствовал созданию законодательства. Итальянские войны (1494—1559) — войны между Францией, Испанией и Священной Римской империей (с участием других государств) за обладание Италией при короле Карле V (о нем см. выше, с. 590—591, примеч. к с. 104). В результате войн большая часть территории Италии оказалась под властью Испании.

С. 110. ...Карл, Рашид, Югурта, Аттила — всё это теснилось в беспорядке... — Вероятно, Карл V (о нем см. выше, с. 590—591, примеч. к с. 104). Кого упоминает Гончаров под именем Рашида, установить невозможно. Югурта (160—104 гг. до н. э.) — царь Нумидии (Сев. Африка), потерпевший поражение от римлян в Югуртинской войне (111—105), история которой была изложена Саллюстием (см. выше, с. 591, примеч. к с. 104). Аттила (?—453 гг.) — предводитель гуннов, возглавлявший походы в Восточную Римскую империю (443, 447—448), Галлию (541), Северную Италию (452).

С. 110. ...он Локка перенесет куда-нибудь в Италию, а Макиавеля — в Англию, а Спинозу провозгласит китайским мудрецом. — Джон Локк (Locke; 1632—1704) — английский философ; Никколо Макиавелли (Machiavelli; 1469—1527) — итальянский политический мыслитель; Бенедикт (Барух) Спиноза (Spinoza; 1632—1677) — нидерландский философ.

С. 114. Он мог ехать только на долгих... — «В этих случаях лошадей на станциях не меняли, а давали им отдохнуть, ночью тоже, естественно, не двигались с места (ночная езда была обычной при гоньбе перекладных), отчего скорость путешествия резко уменьшалась» (Лотман. Комментарий. С. 108).

С. 114. ...*тяжеле индийской колесницы, на которой возят идолов Ягернаута*. — Джаггернаут (Jaggernaut, Juggennath) — европейское искажение имени верховного индуистского божества, «мировладыки» Джаганнатха (Jagan-nātha), одного из воплощений Вишну. На «поле Джаггернаута» (около г. Пури) находится около пятидесяти посвященных этому божеству храмов, между которыми проходят торжественные процессии; на колеснице везут огромное изображение Джаггернаута; эти праздники привлекают к себе многие тысячи богомольцев и происходят несколько раз в году. См. описание колесницы в «Мельмоте скитальце» Ч. Р. Метьюрина (кн. третья, гл. XVI): «На огромное сооружение, напоминавшее собою не столько триумфальную колесницу, сколько дворец на колесах, было поставлено изваяние Джаггернаута; эту машину волокли сотни людей, и в их числе священнослужители, жертвы, брамины, факиры и многие другие. Несмотря на огромную силу, которую они составляли все вместе, толчки были до того неравномерны, что вся эта громадина качалась и кренилась то в одну, то в другую сторону, и это удивительное сочетание неустойчивости и великолепия, ущербной шаткости и устрашающего величия давало верное представление о фальши всего этого показного блеска и внутренней пустоте религии, основой которой было идолопоклонство» (Метьюрин Ч. Р. Мельмот скиталец / Изд. подготовили М. П. Алексеев и А. М. Шадрин. 2-е изд. М., 1983. С. 287, 674 («Лит. памятники»)).

С. 123. ...*как кладеный кот...* — Кладеный от класть — «кротить, легчить, холостить, скопить» (Даль. Т. 2. С. 114).

С. 146. ...*это только медведь и волк ядовитые бывают: они режут народ...* — Обыгрывается слово «ядовитый», созвучное «едовитый», т. е. способный съесть.

С. 151. *Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли ~ чтобы за деньги господам показывать.* — Возможно, речь идет о «звере морском», упоминаемом в основном тексте романа (см. выше, с. 513, примеч. к с. 75).

С. 181. *И сон, и квас, и русская речь... о, fūmus patriae...* — Выражение «Dulcis fumus patriae» («Сладок дым отечества») восходит к тексту «Одиссеи» (I, 56—58), цитируется в «Письмах с Понта» Овидия (I, 3, 33) и имеет богатую литературную традицию (см.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 307). Ср. использова-

ние того же выражения во «Фрегате „Паллада”» (наст. изд., т. 2, с. 269, 709).

С. 185. — *А когда раздавали дивиденд? ∞ ведь об этом объявляют в газетах?* — Объявления о выплате дивидендов регулярно помещали «С.-Петербургские ведомости», в особенности в 1836—1838 и 1857—1859 гг., на которые, согласно статистическим данным, собранным Л. Е. Шепелёвым, приходился заметный рост количества акционерно-паевых предприятий в России (см.: *Шепелёв Л. Е. Акционерное учредительство в России: (Историко-статистический очерк)* // Из истории империализма в России. М.; Л., 1959. С. 138).

С. 186. — *А из гражданской палаты был запрос?* — О гражданской палате см. выше, с. 565, примеч. к с. 266.

С. 189. *...ассигнаций множество старых ∞ разорваны на-двое и вставлены в бумагу...* — О времени замены ассигнаций на кредитные билеты см. выше, с. 504—505, примеч. к с. 44.

С. 189. — *«О дружба! это ты!»* — Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Дружба» (1805). Процитировано также в воспоминаниях Гончарова «На родине» (1887).

С. 190. *...читаю Карамзина «Историю».* — Речь идет об «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина (1766—1826); двенадцать томов этого сочинения вышли в 1816—1829 гг.

С. 192. *...фрак не от Руча...* — Руч — петербургский портной, упомянутый Н. В. Гоголем в «Записках сумасшедшего» («Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде...» — *Гоголь. Т. III. С. 198*; отмечено: *ЛП «Обломов». С. 689*). В городских указателях середины XIX в. мастерская Руча не упоминается; по косвенным данным, она находилась на углу Невского пр. и Б. Морской ул. (см.: *Адресная книга Санкт-Петербурга на 1892 год. СПб., 1892. Стб. 513*).

С. 193. *Измен волнение ∞ Толпы безумное велье Или блистательный позор.* — Неточная цитата из поэмы «Цыганы» (1824). У Пушкина: «Толпы безумное гоненье».

С. 193. *Любви стыдятся, мысли гонят и т. д.* — Также цитата из «Цыган».

С. 193. *...как перед этим Хохоревым жеманились и ежились все эти франты с стеклышком в глазу...* — По предположению Л. С. Гейро (см.: *ЛП «Обломов». С. 690*), Гончаров мог иметь в виду В. А. Кокорева (1817—1889),

миллионера, откупщика, автора ряда статей по экономическим вопросам в «Русском вестнике» и других изданиях.

С. 195. *Этот о митинге, об О'Коннеле...* — Даниел О'Коннел (O'Connell; 1775—1847) — ирландский сепаратист, борец за эмансипацию католиков в Ирландии, с 1829 г. глава ирландской фракции в английском парламенте. Политическая ситуация в Ирландии, где в 1842—1843 гг. проходили массовые митинги, привлекала внимание русской прессы. «В нынешнее время, — писал обозреватель «Библиотеки для чтения», — внимание всей Европы возбуждено в высочайшей степени странным зрелищем, которое представляют Ирландия и Англия, готовые дойти до величайших крайностей в ссоре, которая многим на твердой земле кажется настоящею загадкою. <...> Участие к судьбе Ирландии происходит большею частью не от искреннего сострадания к соотечественникам О'Коннела, а от более или менее скрытой ненависти к Англии» (БдЧ. 1844. № 3. Отд. III. С. 41).

С. 195. *Сегодня [Али] Ахмет-паша корабль послал в Константинополь...* — В данном случае не может иметься в виду Ахмет Фети (1800—1858) — турецкий паша с 1834 г.: он не мог послать корабль в столицу собственного государства. Речь, скорее, идет о египетском паше Мехмете (Мухаммеде) Али (см. выше, с. 542—543, примеч. к с. 174).

С. 195. *...и в личных сапожишках...* — «Личные сапоги — сшитые мездру внутрь, стороною, где была шерсть, наружу» (Даль. Т. 2. С. 259).

С. 196. — *Нет, это не жизнь, а беготня...* — Возможная пушкинская реминисценция, отсылающая к «Стихам, написанным ночью во время бессонницы» (1830) (опубликованы впервые (под назв. «Ночью, во время бессонницы») в посмертном издании «Сочинений» поэта: Пушкин А. С. Соч. СПб., 1841. Т. IX. С. 163). У Пушкина: «...жизни мышья беготня... / Что тревожишь ты меня?». Выражение «мышья беготня» встречается в «этюде» «Хорошо или дурно жить на свете?» (наст. изд., т. 1, с. 507), во «Фрегате „Паллада“» (наст. изд., т. 2, с. 321), а также в «Обрыве» (глава IV части четвертой).

С. 202. *... [Россини, Беллини...]* — Оперы Джоакино Россини (1792—1868) и Винченцо Беллини (1801—1835) в 1830—1850-х гг. входили в постоянный репертуар русской оперы, давались на сцене петербургской немецкой

оперы, включались в гастрольные программы итальянской труппы. О Беллини см. также выше, с. 550—552, примеч. к с. 179.

С. 205. ...хотел изучать камеральные науки... — Камеральные науки, камералистика (нем. Kameralistik) — в германской экономической науке XVII—XVIII вв. совокупность экономических знаний по ведению государственного хозяйства; специальный цикл административных и экономических дисциплин, преподававшийся в европейских университетах, с середины XIX в. — и в университетах России.

С. 205. *Помнишь, ты читал Робертсона, Юма?* — Вильям Робертсон (Robertson; 1721—1793) — шотландский историк, автор трудов по истории Шотландии, Англии, Соединенных Штатов Америки, Индии. Его главный труд — «The History of the Emperor Charles V» (1769); в рус. пер.: История государствования императора Карла V. М., 1839. Т. 1—4. Дэвид Юм (Hume; 1711—1776) — английский философ, сформулировавший основные принципы агностицизма, историк, экономист. В этике развивал теорию утилитаризма, объявив полезность критерием нравственности, в политэкономии разделял трудовую теорию стоимости А. Смита. Автор трудов: «A Treatise of Human nature» (1739—1740), «An Enquiry Concerning Human Understanding» (1748), «An Enquiry Concerning the principles of Morals» (1752) и др. Его главное историческое сочинение — «The History of England» (1754—1762). Интересно, что Юм и Робертсон были первоначально упомянуты Пушкиным в описании библиотеки Онегина (ср.: «...Юм, Робертсон, Руссо, Мабли...» — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.; Л.], 1937. Т. VI. С. 438; вариант строфы XXII главы седьмой). По мнению Ю. М. Лотмана, Онегин мог читать во французских переводах «Историю Англии» Юма и «Историю Карла V» Робертсона, при этом «интерес к истории Англии и Шотландии мог быть вызван у него Вальтером Скоттом» (*Лотман. Комментарий.* С. 317). Об интересе студента Обломова к истории и политэкономии см. выше, с. 503—504, примеч. к с. 40.

С. 206. ...по-английски начал учиться... — Вероятная автобиографическая подробность. Ср. авторское замечание об английском языке во «Фрегате „Паллада“»: «...ловлю эти неуловимые звуки языка ∞ благословляя судьбу,

что когда-то учился ему...» (наст. изд., т. 2, с. 41; т. 3, с. 554). В письме к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 г. Гончаров, между прочим, сообщал, что «много читал еще с детства и по-русски и по-французски, а позднее по-немецки, по-английски».

С. 207. *...за пустой бред горячки?..* — Парафраза строки «Евгения Онегина»: «Простим горячке юных лет / И юный жар и юный бред» (глава вторая, строфа XV).

С. 207. *...ты хотел не верхоглядом пробежать по трактирам Европы...* — Ср. высказывание Гончарова во «Фрегате „Паллада“»: «Нет науки о путешествиях <...> писатель свободен <...> описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры...» (наст. изд., т. 2, с. 13).

С. 209. *...сходками у Дюссо...;* см. также с. 262 (вариант к с. 170, строка 41): *...у Донон или у Дюссо...* — Речь идет о дорогих ресторанах города; ресторан Донон находился на наб. Мойки, близ Певческого моста, ресторан Дюссо — на Большой Морской ул.

С. 209. *...[или чуждые толки втихомолку о сэр Роберте Пиле, о Карле X]...* — Роберт Пиль (1788—1850) — в 1834—1835 и 1841—1846 гг. премьер-министр Великобритании. См. статью «Сэр Роберт Пиль» в разделе «Биографии знаменитых современников» (ОЗ. 1844. № 2. Отд. VI. С. 90—106). Карл X (1757—1836) — французский король (1824—1830), свергнутый Июльской революцией 1830 г.

С. 209. *...определяя ~ лето — излеровскими гуляньями...* — Иван Иванович Излер (1811—1877) — владелец ресторана, кофейной и заведения искусственных минеральных вод на берегу Малой Невки (открыто в 1834 г.), в котором устраивались «занимательные музыкальные вечера с иллюминацией, фейерверком и другими развлечениями» (Греч. С. 233). Ему же принадлежало и пользовавшееся большой популярностью у петербуржцев увеселительное заведение «Тиволи» на Большой Охте на «Безбородкиной даче» (см. подробнее выше, с. 505—506, примеч. к с. 47).

С. 210. *...всё историей занимался, с Нибуrom да с Тьерри возился.* — Бертольд Георг Нибур (Niebuhr; 1776—1831) — немецкий историк античности, основоположник «критического метода» в изучении истории; его основной труд — «Römanische Geschichte» (1811—1832. Bd. 1—3).

О сочинениях Нибура Гончаров получил представление из лекций М. Т. Каченовского в Московском университете (см. о нем ниже, с. 601—603, примеч. к с. 247 (вариант к с. 152, строки 5—8)). Огюстен Тьерри (Thierry; 1795—1856) — французский историк, основоположник романтического направления во французской историографии, автор трудов «Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands» (Paris, 1825. Vol. 1—4), «Dix ans d'études historique» (Paris, 1834), «Récits des temps mérovingiens» (Paris, 1840. Vol. 1—2) и др. С трудами О. Тьерри Гончаров был знаком по университетским лекциям М. П. Погодина, позднее он цензурировал перевод его «Истории завоевания Англии норманнами» (СПб., 1858). Оба историка упоминаются в черновиках «Обрыва», где о Райском-студенте сказано: «В истории Нибура не прочел, а выучил почти наизусть Тьерри». Тьерри упомянут также в черновом автографе мемуаров «В университете» (см. подробнее: *Ильинская Т. Б.* Огюстен Тьерри в черновиках И. А. Гончарова: («Обрыв» и воспоминания «В университете») // *РЛ*. 2001. № 2. С. 122—132). Отличавшую Тьерри-романтика поэтичность научного повествования высоко ценили Н. В. Гоголь, А. И. Герцен (см. его перевод из Тьерри — «Рассказы о временах Меровингских», 1841), В. Г. Белинский, А. А. Григорьев.

С. 210. ...о количестве вычета... — Вычет — удержания из жалованья (на уплату налогов и проч.).

С. 212. ...запишусь в клуб... ∞ там и газеты все есть, народу много ∞ А потом выберут в старшины... — Об Английском клубе см. выше, с. 549, примеч. к с. 179.

С. 214. Во Франции увижу Лувр, Версаль, Трианон, там, где жили Людовики... — Лувр — художественный музей (с 1791 г.) в Париже. Версаль — пригород Парижа, в 1682—1789 гг. резиденция французских королей; крупнейший дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма XVII—XVIII вв., в который входят и дворцы Большой Трианон (1687) и Малый Трианон (1762—1764).

С. 215. ...напоминая о пройденной половине жизни... — Как заметила Л. С. Гейро (см.: *ЛП «Обломов»*. С. 691—692), это и более позднее признание Обломова позволяют вспомнить начало «Божественной Комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины» (пер.

М. Лозинского). Ср. ниже в письме Обломова Штольцу: «...я мгновенно проснулся и вот уже стою на возвратном пути с моей темной тропинки — опять к свету, к блеску, к счастью, к жизни» (наст. изд., т. 5, с. 221).

С. 217. ...[пошли мне вновь «Ангела наставника, хранителя душ и телес наших»]. — Слова из Ектении просительной: «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим». Эта молитвенная формула повторяется (с вариантами) в молитвах «на сон грядущим»; ср., например в молитве Макария Великого: «И пошли мне ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему...».

С. 220. ...вышли, пожалуйста, Гейне сочинение да Мишле второй том... — Трудно сказать, какое именно «сочинение» Генриха Гейне (Heine; 1797—1856) имеется здесь в виду. В 1840—1850-е гг. неоднократно выходили немецкие издания его стихотворений, поэм, песен, «романсеро», басен и романсов, драм, а также путевых очерков. Первые сборники поэзии Гейне в русских переводах были изданы в конце 1850-х гг.: Стихотворения из Гейне / Пер. И. Генслера. СПб., 1857; Песни Гейне / В пер. М. Л. Михайлова. СПб., 1858; Стихотворения из Гейне / Пер. И. Семенова. СПб., 1858 (см.: Генрих Гейне: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке / [Сост. А. Г. Левинтон]. М., 1958. С. 103). Жюль Мишле (Michelet; 1798—1874) — французский историк романтического направления, автор трудов: «Précis d'histoire moderne» (1827; в рус. пер.: Обзорение новейшей истории. СПб., 1838); «Histoire de France» (1833—1867. Vol. 1—16; 6 томов вышли в 1833—1846 гг., остальные 10 — в 1855—1867 гг.); «Histoire de la Révolution française» (1847—1853. Vol. 1—7) и других сочинений. О каком издании идет речь, определить затруднительно.

С. 222. Я опять принялся за Винкельмана... — Иоганн Иоахим Винкельман (Winckelmann; 1717—1768) — немецкий историк античного искусства, основоположник эстетики классицизма. Об интересе Гончарова к трудам Винкельмана см. выше, с. 188.

С. 222. ...твержу «Римские элегии», письма из Рима... — «Римские элегии» (1790), «Итальянское путешествие» (1816—1829), которое Обломов называет «письмами из Рима», — сочинения И.-В. Гете.

С. 237. *Штольц всегда смотрел на женитьбу как на гроб — не любви...* — Афоризм «Всякий брак — любви могила» приписывается поэту Д. Д. Минаеву (см.: *Михельсон М. И.* Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 72). Ср. в «Обрыве»: «Брак есть могила любви» (глава XIX части третьей).

С. 242. *...ткала ей существование, как Пенелопа...* — Чтобы избавиться от домогательств женихов во время долголетнего отсутствия мужа, Пенелопа, верная супруга Одиссея, прибегла к хитроумной уловке: она упросила их ждать ответа, пока не закончит ткать покрывало на гроб тестя. Ночью она распускала все, что успевала соткать за день («Одиссея», песнь II, ст. 88).

ВАРИАНТЫ

С. 247 (вариант к с. 152, строки 5—8). *...от «Слова о полку Игоревом»...* — «Слово о полку Игореве» (XII в.) было открыто на рубеже XIX в. и тогда же впервые опубликовано (см.: *Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича*, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800). Однако после гибели во время пожара Москвы в 1812 г. сборника с единственным его списком возникли сомнения в его подлинности и древности. В полемике вокруг «Слова», развернувшейся в первой половине XIX в., принимали участие многие русские и европейские ученые и литераторы — как представители «скептической школы», так и сторонники подлинности памятника. Один из эпизодов этой полемики — спор между А. С. Пушкиным, посетившим Московский университет в 1832 г., и «скептиком» М. Т. Каченовским (см. о нем ниже), Гончаров запечатлел в воспоминаниях «В университете» (1887), где писал: «Нечаянно между ними завязался, по поводу „Слова о полку Игоревом“, разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. {...} Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть,

к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин».

С. 247 (вариант к с. 152, строки 5—8). ...языком говорил и думал русским ∞ со всеми его старыми и новыми заплатами, которые ∞ нашивали на него ∞ Шишков, Каченовский, Булгарин и Греч. — Александр Семенович Шишков (1754—1841) — государственный деятель, писатель и поэт-архаист. В вызвавших бурные споры статьях и книгах «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804), «Разговоры о словесности» (1811) и «Прибавление к разговорам о словесности» (1812) ориентировал современную литературу на старославянский язык и высокий гражданский стиль. Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842) — русский историк, основатель «скептической школы» в русской историографии, переводчик, критик, издатель. В Московском университете преподавал теорию изящных искусств и археологию (с 1811 г.), историю, статистику и географию (с 1821 г.), историю и российскую словесность (с 1830 г.); с 1837 г. — ректор университета. Как историк популяризировал идеи Б.-Г. Нибура (см. о нем выше, с. 597—598, примеч. к с. 210), в полемике о старом и новом слоге российского языка поддерживал Шишкова. Его основные полемические выступления — речь «О славянском языке вообще и в особенности о церковном» (1816), статья «Исторический взгляд на грамматику славянских наречий» (1817). О лекциях Каченовского Гончаров вспоминал в очерке «В университете»: «Это был тонкий, аналитический ум, скептик в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем. При этом — строго справедливый и честный человек. Он читал русскую историю и статистику; но у него была масса познаний по всем частям. Он знал древние и новые языки, иностранные литературы, но особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу — археология и проч. {...} И всю историю так читал, точно смотрел в нее глубоко, как в бездну, сквозь свои критические очки». Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) — журналист, писатель, критик, издатель. В «Сцене из частной жизни в 2028 году от Рож-

дества Христова» Булгарин изобразил сочувственное отношение потомков к его деятельности за то, что «этот Сочинитель даже сильно критиковал безграмотных сочинителей своего века, а особенно дурных стихоплетов» (Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч. СПб., 1844. Т. VII. С. 67). Иронические выпады против Булгарина имеются в гончаровской «Лихой болести» и «Счастливой ошибке» (см.: наст. изд., т. 1, с. 61, 83, 644, 654), уничтожающая его оценка содержится в письме Гончарова к М. М. Кирмалову от 17 декабря 1849 г.: «Булгарин поэт! Сказал бы ты здесь это хоть на улице, то-то бы хохоту было. {...} Булгарин имеет редкое свойство походить наружно и на человека, и вместе на свинью». Ср. также гончаровскую пародию на Булгарина («тирада о дружбе») в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября 1852 г. Николай Иванович Греч (1787—1867) — журналист, издатель, беллетрист, многолетний сотрудник Булгарина по «Северной пчеле», а также автор ряда получивших признание трудов по русскому языку и истории российской словесности: «Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности» (СПб., 1819); «Практическая русская грамматика» (СПб., 1827; 2-е изд. СПб., 1834); «Начальные правила русской грамматики» (СПб., 1828; с 10-го изд. (1843) под назв. «Краткая русская грамматика»); «Пространная русская грамматика» (СПб., 1827. Т. 1; 2-е изд. СПб., 1830), за которую избран членом-корреспондентом Академии наук (1827). Особую роль в творческой деятельности Гончарова сыграло первое из указанных учебных пособий Греча — по нему в середине 1830-х гг. Гончаров преподавал русскую словесность А. Н. Майкову, готовя его к поступлению в университет, эту же «Учебную книгу...» писатель вспоминает в очерках «Слуги старого века» (1888) (см. подробнее: Письмо А. Н. Майкова к сыновьям с воспоминаниями о И. А. Гончарове / Публ. А. Ю. Балакина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998—1999 годы. СПб., 2003. С. 215—223). Ироническое упоминание Греча содержится в очерке Гончарова «Через двадцать лет» (1874; 1879): «Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка!» (наст. изд., т. 2, с. 723). В своей публицистике Греч педантически поправлял речевые

погрешности в произведениях литераторов-современников (главным образом тех, которые были идейными противниками «Северной пчелы»).

С. 248 (вариант к с. 152, строка 21). ...и мирно курит свой кнастер... — Кнастер — курительный табак (нем. Knaster, или Canaster, от исп. canastro — упаковочная коробка).

С. 248 (вариант к с. 153, строка 15). ...держат в хлопках... — Хлопки — «очески <...> пеньки и льну» (Даль. Т. 4. С. 551). Держать в хлопках — нежить, баловать.

С. 252 (вариант к с. 158, строка 14). ...в различие немецких университетов от русских, в результаты этого воспитания он входил мало. — См. выше, с. 537, примеч. к с. 158.

С. 254 (вариант к с. 162, строка 24). ...верил изречению Гамлета: друг Горацио и т. д. — Имеется в виду реплика Гамлета (д. 1, явл. 3) в трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1600): «Горацио! есть многое и на земле, и в небе / О чем мечтать не смеет наша мудрость» (пер. Н. А. Полевого). О «гамлетовских» мотивах романа см. подробнее выше, с. 178—179). Ср. рассуждение Гончарова в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 24 июня (6 июля) 1860 г.: «Замечали ли Вы, что к чему, например, устремлены все Ваши помыслы, желания, весь огонь Вашей мысли и сердца, — никак не дается, а в другой раз Вы не думаете, не помните и вдруг нечаянно повели рукой по воздуху и поймали дело? <...> На всяком, на всяком шагу какое-то противоречие, травля желаний; этот кто-то или что-то находит неутомимое наслаждение, должно быть, дразнить нас, вызывать силы и вгонять их назад, то мять, душить желания, то неожиданно давать им простор и свободу? Кто же это и зачем? Вот вопросы, на которые можно бы было много раз в ответ вспомнить друга Горацио. Будет ли эта игра, или эти — вероятно, законы нашей нравственной природы, исследованы и подчинятся ли человеческому ведению и управлению?».

С. 255 (вариант к с. 162, строка 24). ...начиная от месмеризма до вертящихся столов включительно. — О животном магнетизме, или месмеризме, см. выше, с. 557—558, примеч. к с. 198. Столоверчение — «вошедшее в новейшее время в обычай месмерическое или магнетическое сообщение бездушным предметам самодвижной силы, как сообщает ее, например, и электричество, магнит и пр.» (Даль. Т. 4. С. 329).

С. 255 (вариант к с. 162, строки 35—40). ...от искусно прикрытого цветами обмана... — Возможная реминисценция из «Ромео и Джульетты»; у Шекспира: «Змея, змея, сокрытая в цветах» (д. 3, сцена 8; пер. М. Н. Каткова).

С. 257 (вариант к с. 165, строка 13). ...будь он мрачнее Байрона, злее Каина... — Каин — герой одноименной боготорческой мистерии (1823) Д. Н. Г. Байрона.

С. 262 (вариант к с. 170, строка 41). ...у Донон или у Дюссо... — См. выше, с. 597, примеч. к с. 209.

С. 318 (вариант к с. 263, строки 37—39). ...как статуя, какая не грезилась ни Канове, ни самому Фидию. — Антонио Канова (Canova; 1757—1822) — итальянский скульптор-классицист. Фидий (нач. V в.—ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор классического периода.

С. 325 (вариант к с. 271, строки 26—28). ...это на картине представлена женщина, но не Корделия, а, кажется... Клеопатра... — О сопоставлении Ольги с Корделией см. выше, с. 180—181. Клеопатра (69—30 до н. э.), царица Египта (с. 51 г.) из династии Птолемеев, любовница Юлия Цезаря, затем Марка Антония, запечатлена на полотнах Д. Тьеполо, П. П. Рубенса и других живописцев.

С. 345 (вариант к с. 298, строка 36). Ходим в Спаса на Охту, 26 августа (?), на Смоленское — там праздник. — В справочных изданиях нет сведений о храме Спасителя, находившемся на Охте. О празднике на Смоленском кладбище см. выше, с. 574—575, примеч. к с. 376.

С. 403 (вариант к с. 399, строка 42). Рубини / Гризи. — О Ж. Б. Рубини см. выше, с. 576—577, примеч. к с. 399. Джулия Гризи (1811—1869) — итальянская певица (сопрано и меццо-сопрано), с 1834 г. солистка «Театр Итальян» в Париже. В Петербурге гастролировала в 1850—1852 гг. Об исполнении ею «Casta diva» см. также выше, с. 550—552, примеч. к с. 179.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Архивохранилища

- ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).
РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург).
СПбГТБ — С.-Петербургская государственная театральная библиотека (С.-Петербург).

Печатные издания

- Анненков — Анненков П. В.* Критические очерки / Под ред. И. Н. Сухих. СПб., 2000.
Белинский — Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976—1982.
БдЧ — «Библиотека для чтения» (журнал).
Библиотека — Описание библиотеки Ивана Александровича Гончарова: Каталог / Сост. А. И. Кукуева, Н. И. Никитина и В. А. Сукайло. Ульяновск, 1987.
ВЕ — «Вестник Европы» (журнал).
Вольф — Вольф А. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 1—2.
Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965.
Говоруха-Отрок — Елагин Ю. *Говоруха-Отрок Ю. Н.* Литературно-критические очерки. VII. И. А. Гончаров // РВ. 1892. № 1. С. 330—346.
Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [Л.], 1937—1952.
Гончаров в воспоминаниях — И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Отв. ред. Н. К. Пиксанов;

- Вступ. статья А. Д. Алексеева; Подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969.
- Гончаров. Материалы 1992* — И. А. Гончаров: Материалы юбилейной Гончаровской конференции 1987 года. Ульяновск, 1992.
- Гончаров. Материалы 1994* — И. А. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994.
- Гончаров. Материалы 1998* — И. А. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998.
- Греч — Греч А. Н.* Весь Петербург в кармане: Справочная книга для столичных жителей с планом Санкт-Петербурга и четырех театров. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1851.
- Григорьев — Григорьев А. А.* Литературная критика / Сост., вступ. статья и примеч. Б. Ф. Егорова. М., 1967.
- Григорьев. Воспоминания — Григорьев А. А.* Воспоминания / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров. М., 1988. («Лит. памятники»).
- Даль — Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1882. Т. 1—4. (Репринт: М., 1995).
- Достоевский — Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990.
- Дружинин — Дружинин А. В.* Прекрасное и вечное / Сост., вступ. статья Н. Н. Скатова; Коммент. В. А. Котельникова. М., 1988.
- Дружинин. Дневник — Дружинин А. В.* Повести. Дневник / Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, В. А. Жданов. М., 1986. («Лит. памятники»).
- ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».*
- Забылин — Забылин М.* Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880. (Репринт: М., 1990).
- Кантор — Кантор В.* «Долгий навек ко сну» // Кантор В. В поисках личности: Опыт русской классики. М., 1994. С. 176—210.
- Карамзин — Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984.
- Краснощекова — Краснощекова Е. А.* Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.

- Летопись* — *Алексеев А. Д.* Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л., 1960.
- ЛН* — Литературное наследство. М., 1931—2000. Т. 1—102 — (издание продолжается).
- ЛН Гончаров* — Литературное наследство. М., 2000. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования / Отв. ред. С. А. Макашин, Т. Г. Динесман.
- Лотман. Комментарий* — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983.
- Лощиц* — *Лощиц Ю.* Гончаров. М., 1977. («Жизнь замечательных людей»).
- ЛП «Обломов»* — *Гончаров И. А.* Обломов: Роман в четырех частях / Изд. подгот. Л. С. Гейро. Л., 1987. («Лит. памятники»).
- Ляпушкина* — *Ляпушкина Е. И.* Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов». СПб., 1996.
- Ляцкий 1912* — *Ляцкий Е. А.* Гончаров: Жизнь, личность, творчество. СПб., 1912.
- Ляцкий 1920* — *Ляцкий Е. А.* Гончаров: Жизнь, личность, творчество. 3-е изд. Стокгольм, 1920.
- Майков* — *Майков В. Н.* Литературная критика: Статьи. Рецензии / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. Ю. С. Сорокина. Л., 1985.
- Максимов* — *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. (Репринт: СПб., 1994).
- Мельник 1982* — *Мельник В. И.* Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» // *РЛ*. 1982. № 3. С. 81—99.
- Мельник 1985* — *Мельник В. И.* Реализм И. А. Гончарова. Владивосток, 1985.
- Мельник 1995* — *Мельник В. И., Мельник Т. В.* И. А. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995.
- Мережковский* — *Мережковский Д. С.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893.
- Михневич* — *Михневич В.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874.
- Недзвецкий* — *Недзвецкий В. А.* И. А. Гончаров — романист и художник. М., 1992.
- Некрасов* — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.; СПб., 1981—2000.
- «Обломов» в критике* — Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике: Сб. статей / Сост., вступ. статья и коммент. М. В. Отрадина. Л., 1991.

- Овсянико-Куликовский 1912a* — Овсянико-Куликовский Д. Н. Поэт обломовщины // Неделя «Современного слова». 1912. № 216. 28 мая. С. 1817—1820.
- Овсянико-Куликовский 1912b* — Овсянико-Куликовский Д. Н. И. А. Гончаров // ВЕ. 1912. № 6. С. 193—210.
- Овсянико-Куликовский 1989* — Овсянико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы: В 2 т. / Сост., подгот. текста и примеч. И. Михайловой. М., 1989.
- ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).
- Отрадин* — Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.
- Переверзев* — Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. М., 1989.
- ПСЗ* — Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1830—1885. Т. 1—55.
- Пушкарёв* — Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его Ивана Пушкарёва. СПб., 1843.
- Раскин* — Раскин Д. И. Исторические реалии биографий русских писателей XIX—нач. XX вв. // Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 593—613.
- РВ* — «Русский вестник» (журнал).
- РиП* — «Репертуар и Пантеон» (журнал).
- РЛ* — «Русская литература» (журнал).
- С* — «Современник» (журнал).
- Сахаров* — Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым: Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. Народный дневник. Праздники и обычаи. М., 1990.
- Святыни Санкт-Петербурга* — Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб., 1994. Т. 1.
- Семенов* — Семенов А. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год. СПб., 1859. Ч. 2.
- Словарь 1845—1846* — Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. СПб., 1845—1846. Вып. 1—2.
- Снегирев* — Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837—1839. Вып. 1—4.
- СО* — «Сын отечества» (журнал; с 1862 г. газета).
- СПбВед* — «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
- СПч* — «Северная пчела» (газета).

- Тирген — Тирген П.* Обломов как человек-обломок: (К постановке проблемы «Гончаров и Шиллер») // *РЛ*. 1990. № 3.
- Толль — Толль Ф.* Настольный словарь для справок по всем отраслям знания: (Справочный энциклопедический лексикон): В 3 т. СПб., 1863—1864.
- Толстой — Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928—1958.
- Тургенев и круг «Современника» — Тургенев и круг «Современника»:* Неизданные материалы, 1847—1861. М.; Л., 1930.
- Тургенев. Соч. — Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1978—1986.
- Тургенев. Письма — Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Письма: В 18 т. М., 1982—2003. Т. 1—14 — (издание продолжается).
- Цейтлин — Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров.* М., 1950.
- Чулков — Чулков М. Д.* Абевега русских суеверий. М., 1786.
- Шепелёв — Шепелёв Л. Е.* Чиновный мир России: XVIII—начало XX в. СПб., 1999.
- Fisher — Fisher L., Fisher W.* Bellini's «Casta Diva» and Gončarov's «Oblomov» // *Mnemosina: Studia litteraria russica in honorem Vsevolod Setchkarev.* München, 1974. P. 105—116.
- Leben, Werk und Wirkung — Ivan A. Gončarov: Leben, Werk und Wirkung: Beiträge der I Internationalen Gončarov-Konferenz.* Bamberg, 8—10 Oktober 1991 / Hrsg. von P. Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 1994.
- Mazon — Mazon A.* Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov. 1812—1891. Paris, 1914.

Примечания к роману составили: А. Г. Гродецкая (реальный комментарий к тексту романа и разделу «Рукописные редакции и варианты»), С. Н. Гуськов (примечания, разд. 11), Н. В. Калинина (примечания, разд. 6, 10), Т. И. Орнатская (примечания, разд. 1, 2), М. В. Отрадин (примечания, разд. 8), А. В. Романова (примечания, разд. 3), В. А. Туниманов (примечания, разд. 4, 5, 7, § 3 разд. 8, разд. 9).

Рецензент тома — Т. Б. Ильинская.

Редакторы тома — Т. А. Лапицкая, В. А. Туниманов.

Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома к печати осуществлена А. Ю. Балакиным.

СОДЕРЖАНИЕ

Примечания	5
История текста романа (С. 5—123). — Прототипы романа (С. 123—170). — Литературная родословная романа (С. 170—213). — Понятие «обломовщина» в критике XIX—XX вв. (С. 213—248). — Проблема идеальной героини в романе (С. 248—276). — Чтения романа (С. 276—281). — Критические отзывы о романе (С. 281—404). — Темы и мотивы романа в русской и зарубежной литературе (С. 405—423). — Инсценировки романа (С. 423—452). — Переводы романа (С. 453—483). — Реальный комментарий к роману (С. 483—604)	
Список условных сокращений	605

Научное издание

**ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОНЧАРОВ**

*Полное собрание сочинений
в двадцати томах*

Том 6

Печатается по постановлению
Бюро Отделения литературы и языка
Российской академии наук

Редактор издательства Т. А. Лапицкая
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры О. И. Буркова, Ю. Б. Григорьева,
Ф. Я. Петрова и Е. В. Шестакова
Компьютерная верстка Л. Н. Напольской

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 10.06.03. Подписано к печати 23.06.04.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 32.3. Уч.-изд. л. 37.4.
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3152. С 49

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
main@nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

ISBN 5-02-027097-0



9 785020 127097 8

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН**

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

**ПУШКИН: ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Т. XVIII—XIX**

В очередном томе публикуются статьи, подготовленные для академической «Пушкинской энциклопедии» по разделу «Пушкин и мировая литература». В совокупности они содержат самый полный на сегодняшний день свод фактов и сведений об обращении Пушкина к творчеству иностранных авторов и обзор наиболее авторитетных, устоявшихся интерпретаций, точек зрения. Освещены важнейшие принципиальные разногласия и дискуссионные положения, не нашедшие окончательного или общепризнанного решения. Каждая статья сопровождается библиографией, в которой с максимальной полнотой учтены относящиеся к теме работы, опубликованные за полтора столетия существования пушкиноведения как научной дисциплины.

Для филологов, преподавателей, аспирантов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

БИБЛИОТЕКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ

Научное описание

Книга, продолжающая традицию фундаментальных трудов Пушкинского Дома, содержит полное аннотированное описание личной библиотеки Ф. М. Достоевского на основе всех известных в настоящее время печатных и рукописных списков книг (в том числе неопубликованных), составленных женой писателя А. Г. Достоевской. В разделе «Приложения» помещены дополнения к основному своду книг — издания, не вошедшие в списки А. Г. Достоевской, а также впервые публикуемое в полном виде описание книг, лично принадлежавших жене писателя.

Для специалистов-филологов, преподавателей и студентов вузов, для всех, интересующихся русской культурой.

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52

197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-05-67

Магазины «Академкнига» с указанием отделов «Книга — почтой»

690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
(код 4232) 5-27-91

620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
(код 3432) 55-10-03

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»);
(код 3952) 46-56-20

660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90

220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 73; (код 10375-17) 232-00-52,
232-46-52

117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00

117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79

103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96

103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73

630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60

630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
(код 3832) 30-09-22

142292 Пушкино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»);
(13) 3-38-60

443022 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
(код 8462) 37-10-60

191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
199034 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

